

Владимир
КОРОЛЕНКО

Слепой музыкант



Слепой музыкант // Эксмо, Москва, 2006

ISBN: 5-699-16929-6

FB2: MСat78 "MСat78 " <MСat78@ya.ru >, 18 November 2008, version 2.0

UUID: 33147915-06a5-102c-99a2-0288a49f2f10

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Владимир Галактионович Короленко

Слепой музыкант (сборник)

Совестью эпохи называли современники Владимира Галактионовича Короленко (1853–1921). Яркий, самобытный талант рассказчика, искусно владевшего живописным словом, сочетался в нем с публицистическим даром и неутомимой общественной деятельностью. В книгу вошли наиболее известные повести, рассказы и очерки писателя.

Содержание

Чудная Очерк из 80-х годов	0008
Убивец	0041
I. Бакланы	0041
II. Лог под «чертовым пальцем»	0046
III. «Убивец»	0056
IV. Сибирский вольтерианец	0091
V. «Искоренитель»	0105
VI. Евсеич	0115
VII. Заседатель	0121
VIII. «Иван тридцати восьми лет»	0126
IX. Ход	0135
Сон Макара Святочный рассказ	0142
I	0142
II	0145
III	0150
IV	0154
V	0164
VI	0181
VII	0195
Соколинец Из рассказов о бродягах	0197
I	0197
II	0216
III	0219
IV	0229
V	0240

VI	0245
VII	0260
VIII	0277
IX	0281
Федор Бесприютный Из рассказов о бродягах	0288
I	0288
II	0290
III	0298
IV	0309
V	0317
VI	0323
VII	0337
VIII	0341
IX	0357
X	0366
Река играет Эскизы из дорожного альбома	0379
I	0379
II	0382
III	0385
IV	0391
V	0397
VI	0404
VII	0412
VIII	0428
Ат-Даван Из сибирской жизни	0435
I	0435
II	0442

III	0448
IV	0455
V	0459
VI	0465
VII	0473
VIII	0502
IX	0511
X	0514
Марусина заимка Очерки из жизни в далекой стороне	0518
I. Уголок	0518
II. «Бродяжий брак»	0533
III. Пахарь Тимоха	0548
IV. Белая ночь	0576
V. Война	0585
VI. Степан	0610
VII. Заключение	0642
Мороз	0649
I	0649
II	0653
III	0658
IV	0661
V	0678
VI	0684
VII	0697
Огоньки	0699
В дурном обществе Из детских воспоминаний моего приятеля	0701

I. Развалины	0701
II. Проблематические натуры	0714
III. Я и мой отец	0741
IV. Я приобретаю новое знакомство	0751
V. Знакомство продолжается	0765
VI. Среди «серых камней»	0774
VII. На сцену является пан Тыбурций	0783
VIII. Осенью	0797
IX. Кукла	0807
Заключение	0821
Лес шумит Полесская легенда	0823
I	0823
II	0831
III	0861
Слепой музыкант этюд	0866
От автора К шестому изданию	0866
Глава первая	0868
Глава вторая	0898
Глава третья	0937
Глава четвертая	0965
Глава пятая	0980
Глава шестая	1025
Глава седьмая	1103
Эпилог	1112

**Владимир Короленко
Слепой музыкант (Сборник)**

Чудная Очерк из 80-х годов

I

— Скоро ли станция, ямщик?
— Не скоро еще, до метели вряд ли доехать, — вишь, закуржавело как, сивера́ идет.

Да, видно, до метели не доехать. К вечеру становится все холоднее. Слышно, как снег под полозьями поскрипывает, зимний ветер — сивера́ — гудит в темном бору, ветви елей протягиваются к узкой лесной дороге и угрюмо качаются в опускающемся сумраке раннего вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, под бока давит, да еще некстати шашки и револьверы провожатых болтаются. Колокольчик выводит какую-то длинную, однообразную песню, в тон запевающей метели.

К счастью — вот и одинокий огонек станции на опушке гудящего бора.

Мои провожатые, два жандарма, бряцая целым арсеналом вооружения, стряхивают

снег в жарко натопленной, темной, закопченной избе. Бедно и неприветно. Хозяйка укрепляет в светильне дымящую лучину.

– Нет ли чего поесть у тебя, хозяйка?

– Ничего нет-то у нас...

– А рыбы? Река тут у вас недалече.

– Была рыба, да выдра всю позобала.

– Ну, картошки...

– И-й, батюшки! Померзла картошка-то у нас ноне, вся померзла.

Делать нечего; самовар, к удивлению, нашелся. Погрелись чаем, хлеба и луковиц принесла хозяйка в лукошке. А вьюга на дворе разыгрывалась, мелким снегом в окна сыпало, и по временам даже свет лучины вздрагивал и колебался.

– Нельзя вам ехать-то будет – ночуйте! – говорит старуха.

– Что ж, ночуем. Вам ведь, господин, торопиться-то некуда тоже. Видите – тут сторона-то какая!.. Ну, а там еще хуже – верьте слову, – говорит один из провожатых.

В избе все смолкло. Даже хозяйка сложила свою прясницу с пряжей и улеглась, перестав светить лучину. Водворился мрак и молча-

ние, нарушаемое только порывистыми ударами налетавшего ветра.

Я не спал. В голове под шум бури поднимались и летели одна за другой тяжелые мысли.

– Не спится, видно, господин? – произносит тот же провожатый – «старшой», человек довольно симпатичный, с приятным, даже как будто интеллигентным лицом, расторопный, знающий свое дело и поэтому не педант. В пути он не прибегает к ненужным стеснениям и формальностям.

– Да, не спится.

Некоторое время проходит в молчании, но я слышу, что и мой сосед не спит, – чувствуется, что и ему не до сна, что и в его голове бродят какие-то мысли. Другой провожатый, молодой «подручный», спит сном здорового, но крепко утомленного человека. Временами он что-то невнятно бормочет.

– Удивляюсь я вам, – слышится опять ровный грудной голос унтера, – народ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать, – а как свою жизнь проводите...

– Как?

– Эх, господин! Неужто мы не можем пони-

мать!.. Довольно понимаем, не в эдакой, может, жизни были и не к этому с измалетства-то привыкли...

– Ну, это вы пустое говорите... Было время и отвыкнуть...

– Неужто весело вам? – произносит он тоном сомнения.

– А вам весело?..

Молчание. Гаврилов (будем так звать моего собеседника), по-видимому, о чем-то думает.

– Нет, господин, невесело нам. Верьте слову: иной раз бывает – просто, кажется, на свет не глядел бы... С чего уж это, не знаю, – только иной раз так подступит – нож острый, да и только.

– Служба, что ли, тяжелая?

– Служба службой... Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все же не с этого...

– Так отчего же?

– Кто знает?..

Опять молчание.

– Служба что. Сам себя веди аккуратно, только и всего. Мне, тем более, домой скоро.

Из сдаточных я, так срок выходит. Начальник и то говорит: «Оставайся, Гаврилов, что тебе делать в деревне? На счету ты хорошем...»

– Останетесь?

– Нет. Оно, правда, и дома-то... От крестьянской работы отвык... Пицца тоже. Ну и, само собой, обхождение... Грубость эта...

– Так в чем же дело?

Он подумал и потом сказал:

– Вот я вам, господин, ежели не поскучаете, случай один расскажу... Со мной был...

– Расскажите...

II

Поступил я на службу в 1874 году, в эскадрон, прямо из сдаточных. Служил хорошо, можно сказать, с полным усердием, все больше по нарядам: в парад куда, к театру, – сами знаете. Грамоте хорошо был обучен, ну и начальство не оставляло. Майор у нас земляк мне был и, как видя мое старание, призывает раз меня к себе и говорит: «Я тебя, Гаврилов, в унтер-офицеры представляю... Ты в командировках бывал ли?» – «Никак нет, говорю, ваше высокоблагородие». – «Ну, говорит, в следующий раз назначу тебя в подручные, при-

смотришься – дело нехитрое». – «Слушаю, говорю, ваше высокоблагородие, рад стараться».

А в командировках я точно что не бывал ни разу, – вот с вашим братом, значит. Оно хоть, скажем, дело-то нехитрое, а все же, знаете, инструкции надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо...

Через неделю этак места зовет меня дневальный к начальнику и унтер-офицера одного вызывает. Пришли.

«Вам, говорит, в командировку ехать. Вот тебе, – говорит унтер-офицеру, – подручный. Он еще не бывал. Смотрите, не зевать, справьтесь, говорит, ребята, молодцами, – барышню вам везти из замка, политичку. Морозову. Вот вам инструкция, завтра деньги получай, и с богом!..»

Иванов, унтер-офицер, в старших со мною ехал, а я в подручных, – вот как у меня теперь другой-то жандарм. Старшему сумка казенная дается, деньги он на руки получает, бумаги; он расписывается, счета эти ведет, ну а рядовой в помощь ему: послать куда, за вещами присмотреть, то, другое.

Ну, хорошо. Утром, чуть свет еще, – от начальника вышли, – гляжу: Иванов мой уж выпить где-то успел. А человек был, надо прямо говорить, неподходящий – разжалован теперь... На глазах у начальства – как следует быть унтер-офицеру, и даже так, что на других кляузы наводил, выслуживался. А чуть с глаз долой, сейчас и завертится, и первым делом – выпить!

Пришли мы в замок, как следует, бумагу подали – ждем, стоим. Любопытно мне – какую барышню везти-то придется, а везти назначено нам по маршруту далеко. По самой этой дороге ехали, только в город уездный она назначена была, не в волость. Вот мне и любопытно в первый-то раз: что, мол, за политичка такая?

Только прождали мы этак с час места, пока ее вещи собирали, – а и вещей-то с ней узелок маленький – юбочонка там, ну, то, другое, – сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего с ней не было; небогатых, видно, родителей, думаю. Только выводят ее – смотрю: молодая еще, как есть ребенком мне показалась. Волосы русые, в одну косу собраны, на щеках

румянец. Ну, потом увидел я – бледная совсем, белая во всю дорогу была. И сразу мне ее жалко стало... Конечно, думаю... Начальство, извините... зря не накажет... Значит, сделала какое-нибудь качество по этой, по политической части... Ну а все-таки... жалко, так жалко – просто, ну!

Стала она одеваться: пальто, калоши... Вещи нам ее показали, – правило, значит: по инструкции мы вещи смотреть обязаны. «Деньги, спрашиваем, с вами какие будут?» Рубль двадцать копеек денег оказалось, – старшой к себе взял. «Вас, барышня, говорит ей, я обыскать должен».

Как она тут вспыхнет. Глаза загорелись, румянец еще гуще выступил. Губы тонкие, сердитые... Как посмотрела на нас, – верите: оробел я и подступить не смею. Ну а старшой, известно, выпивши: лезет к ней прямо. «Я, говорит, обязан; у меня, говорит, инструкция!..»

Как тут она крикнет, – даже Иванов и тот от нее попятился. Гляжу я на нее – лицо побледнело, ни кровинки, а глаза потемнели, и злая-презлая... Ногой топает, говорит шибко, –

только я, признаться, хорошо и не слушал, что она говорила... Смотритель тоже испугался, воды ей принес в стакане. «Успокойтесь, – просит ее, – пожалуйста, говорит, сами себя пожалейте!» Ну, она и ему не уважила. «Варвары вы, говорит, холопы!» И прочие тому подобные дерзкие слова выражает. Как хотите: супротив начальства это ведь нехорошо. Ишь, думаю, змееныш... Дворянское отродье!

Так мы ее и не обыскивали. Увел ее смотритель в другую комнату, да с надзирательницей тотчас же и вышли они. «Ничего, говорит, при них нет». А она на него глядит и точно вот смеется в лицо ему, и глаза злые всё. А Иванов, – известно, море по колена, – смотрит да все свое бормочет: «Не по закону; у меня, говорит, инструкция!..» Только смотритель внимания не взял. Конечно, как он пьяный. Пьяному какая вера!

Поехали. По городу проезжали, – все она в окна кареты глядит, точно прощается либо знакомых увидеть хочет. А Иванов взял да занавески опустил – окна и закрыл. Забилась она в угол, прижалась и не глядит на нас. А я, признаться, не утерпел-таки: взял за край од-

ну занавеску, будто сам поглядеть хочу, – и открыл так, чтобы ей видно было... Только она и не посмотрела – в уголку сердитая сидит, губы закусила... В кровь, так я себе думал, искушает.

Поехали по железной дороге. Погода ясная этот день стояла – осенью дело это было, в сентябре месяце. Солнце-то светит, да ветер свежий, осенний, а она в вагоне окно откроет, сама высунется на ветер, так и сидит. По инструкции-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Иванов мой, как в вагон ввалился, так и захрапел; а я не смею ей сказать. Потом осмелился, подошел к ней и говорю: «Барышня, говорю, закройте окно». Молчит, будто не ей и говорят. Постоял я тут, постоял, а потом опять говорю:

«Простудитесь, барышня, – холодно ведь».

Обернулась она ко мне и уставилась глазами, точно удивилась чему... Поглядела да и говорит: «Оставьте!» И опять в окно высунулась. Махнул я рукой, отошел в сторону.

Стала она спокойнее будто. Закроет окно, в пальтишко закутается вся, греется. Ветер, говорю, свежий был, студено! А потом опять к

окну сядет, и опять на ветру вся, – после тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселела даже, глядит себе, улыбается. И так на нее в те поры хорошо смотреть было!.. Верите совети...

Рассказчик замолчал и задумался. Потом продолжал, как будто слегка конфузясь:

– Конечно, не с привычки это... Потом много возил, привык. А тот раз чудно мне показалось: куда, думаю, мы ее везем, дитё этакое... И потом, признаться вам, господин, уж вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить да в жены ее взять... Ведь уж я бы из нее дурь-то эту выкурил. Человек я тем более служащий... Конечно, молодой разум... глупый... Теперь могу понимать... Попу тогда на духу рассказал, он говорит: «Вот от этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, верно, и в бога-то не верит...»

От Костромы на тройке ехать пришлось; Иванов у меня пьян-пьянешенек: проспится и опять заливаает. Вышел из вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, как бы денег казенных не растерял. Ввалился в почтовую телегу, лег и разом захрапел. Села она рядом, – неловко.

Посмотрела на него – ну, точно вот на гадину на какую. Подобралась так, чтобы не тронуть его как-нибудь, – вся в уголку и прижалась, а я-то уж на облучке уселся. Как поехали – ветер сиверный, – я и то продрог. Закашляла крепко и платок к губам поднесла, а на платке, гляжу, кровь. Так меня будто кто в сердце кольнул булавкой. «Эх, говорю, барышня, – как можно! Больны вы, а в такую дорогу поехали, – осень, холодно!.. Нешто, говорю, можно этак!»

Вскинула она на меня глазами, посмотрела, и точно опять внутри у нее закипать стало.

«Что вы, говорит, глупы, что ли? Не понимаете, что я не по своей воле еду? Хорош, говорит, сам везет, да туда же еще с жалостью суется!»

«Вы бы, говорю, начальству заявили – в больницу хоть слегли бы, чем в этакой холод ехать. Дорога-то ведь не близкая!»

«А куда?» – спрашивает.

А нам, знаете, строго запрещено объяснять преступникам, куда их везти приказано. Видит она, что я позамялся, и отвернулась. «Не

надо, говорит, это я так... Не говорите ничего, да уж и сами не лезьте».

Не утерпел я. «Вот, говорю, куда вам ехать. Не близко!» Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачал я головой... «Вот то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значит!»

Крепко мне досадно было... Рассердился... А она опять посмотрела на меня и говорит:

«Напрасно, говорит, вы так думаете. Знаю я хорошо, что это значит, а в больницу все-таки не слегла. Спасибо! Лучше уж, коли помирать, так на воле, у своих. А то, может, еще и поправлюсь, так опять же на воле, а не в больнице вашей тюремной. Вы думаете, говорит, от ветру я, что ли, заболела, от простуды? Как бы не так!» – «Там у вас, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся?» Это я потому, как она мне выразила, что у *своих* поправляться хочет.

«Нет, говорит, у меня там ни родни, ни знакомых. Город-то мне чужой, да, верно, такие же, как и я, ссыльные есть, товарищи». Подивился я – как это она чужих людей своими называет, – неужто, думаю, кто ее без денег там

поить-кормить станет, да еще незнакомую?.. Только не стал ее расспрашивать, потому вижу я: брови она поднимает, недовольна, зачем я расспрашиваю.

Ладно, думаю... Пущай! Нужды еще не видала. Хлебнет горя, узнает небось, что значит чужая сторона...

К вечеру тучи надвинулись, ветер подул холодный, – а там и дождь пошел. Грязь и прежде была не высохши, а тут до того развезло – просто кисель, не дорога! Спину-то мне как есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Одним словом сказать, что погода, на ее несчастье, пошла самая скверная: дождиком прямо в лицо сечет; оно хоть, положим, кибитка-то крытая и рогожей я ее закрыл, да куда тут! Течет всюду; продрогла, гляжу: вся дрожит и глаза закрыла. По лицу капли дождевые потекли, а щеки бледные, и не двинется, точно в бесчувствии... Испугался я даже. Вижу: дело-то, выходит, неподходящее, плохое... Иванов пьян – храпит себе, горюшка мало... Что тут делать, тем более я в первый раз.

В Ярославль-город самым вечером приеха-

ли. Растолкал я Иванова, на станцию вышли, велел я самовар согреть. А из городу из этого пароходы ходят, только по инструкции нам на пароходах возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгоднее, – экономию загнать можно, да боязно. На пристани, знаете, полицейские стоят, а то и наш же брат, жандарм местный, клязузу подвести завсегда может. Вот барышня-то и говорит нам: «Я, говорит, далее на почтовых не поеду. Как знаете, говорит, пароходом везите». А Иванов еле глаза продрал с похмелья – сердитый. «Вам об этом, говорит, рассуждать не полагается. Куда повезут, туда и поедете!» Ничего она ему не сказала, а мне говорит:

«Слышали, говорит, что я сказала: не еду».

Отозвал я тут Иванова в сторону. «Надо, говорю, на пароходе везти. Вам же лучше: экономия останется». Он на это пошел, только трусит. «Здесь, говорит, полковник, так как бы чего не вышло. Ступай, говорит, спросись, – мне, говорит, нездоровится что-то». А полковник неподалеку жил. «Пойдем, говорю, вместе и барышню с собой возьмем». Боялся я: Иванов-то, думаю, спать завалится спьяну,

так как бы чего не вышло. Чего доброго – уйдет она или над собой что сделает – в ответ попадешь. Ну, пошли мы к полковнику. Вышел он к нам. «Что надо?» – спрашивает. Вот она ему и объясняет, да тоже и с ним не ладно заговорила. Ей бы попросить смирененько: так и так, мол, сделайте божескую милость, – а она тут по-своему: «По какому праву», говорит, ну и прочее; все, знаете, дерзкие слова выражает, которые вы вопче, политики, любите. Ну, сами понимаете, начальству это не нравится. Начальство любит покорность. Однако выслушал он ее и ничего – вежливо отвечает: «Не могу-с, говорит, ничего я тут не могу. По закону-с... нельзя!» Гляжу, барышня-то моя опять покраснелась, глаза – точно угли. «Закон!» – говорит и засмеялась по-своему, сердито да громко. «Так точно, – полковник ей, – закон-с!»

Признаться, я тут позабылся немного да и говорю: «Точно что, вашескородие, закон, да они, ваше высокоблагородие, больны». Посмотрел он на меня строго. «Как твоя фамилия?» – спрашивает. «А вам, барышня, говорит, если больны вы, – в больницу тюремную

не угодно ли-с?» Отвернулась она и пошла вон, слова не сказала. Мы за ней. Не захотела в больницу; да и то надо сказать: уж если на месте не осталась, а тут без денег да на чужой стороне точно что не приходится.

Ну, делать нечего. Иванов на меня же накинулся: «Что, мол, теперь будет; непременно из-за тебя, дурака, оба в ответе будем». Велел лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, так к ночи и выезжать пришлось. Подошли мы к ней: «Пожалуйста, говорим, барышня, – лошади поданы». А она на диван прилегла – только согреться стала. Вспрыгнула на ноги, встала перед нами, – выпрямилась вся, – прямо на нас смотрит в упор, даже, скажу вам, жутко на нее глядеть стало. «Проклятые вы», говорит, – и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: «Ну, говорит, теперь ваша воля, вы меня замучить можете, – что хотите делайте. Еду!» А самовар-то все на столе стоит, она еще и не пила. Мы с Ивановым свой чай заварили, и ей я налил. Хлеб с нами белый был, я тоже ей отрезал. «Выкушайте, говорю, на доро-

гу-то. Ничего, хоть согрееетесь немного». Она калоши надевала, бросила надевать, повернулась ко мне, смотрела, смотрела, потом плечами повела и говорит: «Что это за человек такой! Совсем вы, кажется, сумасшедший. Стану я, говорит, ваш чай пить!» Вот до чего мне тогда обидно стало: и посейчас вспомню, кровь в лицо бросается. Вот вы не брезгаете же с нами хлеб-соль есть. Рубанова-господина везли, – штаб-офицерский сын, а тоже не брезгал. А она побрезгала. Велела потом на другом столе себе самовар особо согреть, и уж известно: за чай, за сахар вдвое заплатила. А всего-то и денег – рубль двадцать!

III

Рассказчик смолк, и на некоторое время в избе водворилась тишина, нарушаемая только ровным дыханием младшего жандарма и шипением метели за окном.

– Вы не спите? – спросил у меня Гаврилов.

– Нет, продолжайте, пожалуйста, – я слушаю.

– ...Много я от нее, – продолжал рассказчик, помолчав, – много муки тогда принял. Дорогой-то, знаете, ночью все дождик, погода

злая... Лесом поедешь, лес стоном стонет. Это мне и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а поверите, – так она у меня перед глазами и стоит, то есть даже до того, что вот, точно днем, ее вижу: и глаза ее, и лицо сердитое, и как она иззябла вся, а сама все глядит куда-то, точно все мысли свои про себя в голове ворочает. Как со станции поехали, стал я ее тулупом одевать. «Наденьте, говорю, тулуп-то, – все, знаете, теплее». Кинула тулуп с себя. «Ваш, говорит, тулуп, – вы и надевайте». Тулуп точно что мой был, да догадался я и говорю ей: «Не мой, говорю, тулуп, казенный, по закону арестованным полагается». Ну, оделась...

Только и тулуп не помог: как рассвело, – глянул я на нее, а на ней лица нет. Со станции опять поехали, приказала она Иванову на облучок сесть. Поворчал он, да не посмел послушаться, тем более – хмель-то у него прошел немного. Я с ней рядом сел.

Трои сутки мы ехали и нигде не ночевали. Первое дело, по инструкции сказано: не останавливаться на ночлег, а «в случае сильной усталости» – не иначе как в городах, где есть

караулы. Ну а тут, сами знаете, какие города!

Приехали-таки на место. Точно гора у меня с плеч долой, как город мы завидели. И надо вам сказать: в конце она почитай что на руках у меня и ехала. Вижу – лежит в повозке без чувств; тряхнет на ухабе телегу, так она головой о переплет и ударится. Поднял я ее на руку на правую, так и вез; все легче. Сначала оттолкнула было меня: «Прочь, говорит, не прикасайтесь!» А потом ничего. Может, оттого, что в беспамятстве была... Глаза-то закрыты, веки совсем потемнели, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже так было, что засмеется сквозь сон и просветлеет, прижимается ко мне, к теплому-то. Верно, ей, бедной, хорошее во сне грезилось. Как к городу подъезжать стали, очнулась, поднялась... Погода-то прошла, солнце выглянуло, – повеселела... Только из губернии ее далее отправили, в городе в губернском не оставили, и нам же ее дальше везти привелось – тамошние жандармы в разъездах были. Как уезжать нам, – гляжу, в полицию народу набирается: барышни молодые да господа студенты, видно, из ссыльных... И все, точно знакомые, с ней го-

ворят, за руку здороваются, расспрашивают. Денег ей сколько-то принесли, платок пуховый на дорогу, хороший... Проводили...

Ехала веселая, только кашляла часто. А на нас и не смотрела.

Приехали в уездный город, где ей жительство назначено; сдали ее под расписку. Сейчас она фамилию какую-то называет. «Здесь, говорит, такой-то?» – «Здесь», – отвечают. Исправник приехал. «Где, говорит, жить станете?» – «Не знаю, говорит, а пока к Рязанцеву пойду». Покачал он головой, а она собралась и ушла. С нами и не попрощалась...

IV

Рассказчик смолк и прислушался, не сплю ли я.

– Так вы ее больше и не видели?

– Видал, да лучше бы уж и не видать было...

...И скоро даже я опять ее увидел. Как приехали мы из командировки, – сейчас нас опять нарядили и опять в ту же сторону. Студента одного возили, Загряжского. Веселый такой, песни хорошо пел и выпить был не дурак. Его еще дальше послали. Вот поехали мы

через город тот самый, где ее оставили, и стало мне любопытно про житее ее узнать. «Тут, спрашиваю, барышня-то наша?» Тут, говорят, только чудная она какая-то: как приехала, так прямо к ссыльному пошла, и никто ее после не видал, – у него и живет. Кто говорит: больна она, а то бают: вроде она у него за любовницу живет. Известно, народ болтает... А мне вспомнилось, что она говорила: «Помереть мне у своих хочется». И так мне любопытно стало... и не то что любопытно, а, попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидаю ее. От меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Сам схожу...

Пошел, – добрые люди дорогу показали; а жила она в конце города. Домик маленький, дверца низенькая. Вошел я к ссыльному-то к этому, гляжу: чисто у него, комната светлая, в углу кровать стоит, и занавеской угол отгорожен. Книг много, на столе, на полках... А рядом мастерская махонькая, там на скамейке другая постель положена.

Как вошел я, – она на постели сидела, шалью обернута и ноги под себя подобрала, – шьет что-то. А ссыльный... Рязанцев господин

по фамилии... рядом на скамейке сидит, в книжке ей что-то вычитывает. В очках, человек, видно, сурьезный. Шьет она, а сама слушает. Стукнул я дверью, она, как увидела, приподнялась, за руку его схватила, да так и замерла... Глаза большие, темные да страшные... ну, все, как и прежде бывало, только еще бледнее с лица мне показалась. За руку его крепко стиснула, – он испугался, к ней кинулся: «Что, говорит, с вами? Успокойтесь!» А сам меня не видит. Потом отпустила она руку его – с постели встать хочет. «Прощайте, – говорит ему, – видно, им для меня и смерти хорошей жалко». Тут и он обернулся, увидел меня – как вскочит на ноги. Думал я – кинется... убьет, пожалуй. Человек, тем более, рослый, здоровый...

Они, знаете, подумали так, что опять это за нею приехали... Только видит он – стою я и сам ни жив, ни мертв, да и один. Повернулся к ней, взял за руку. «Успокойтесь, говорит. А вам, спрашивает, кавалер, что здесь, собственно, понадобилось?.. Зачем пожаловали?»

Я объяснил, что, мол, ничего мне не нуж-

но, а так пришел, сам по себе. Как вез, мол, ба-
рышню и были они нездоровы, так узнать
пришел... Ну, он обмяк. А она все такая же
сердитая, кипит вся. И за что бы, кажется?
Иванов, конечно, человек необходимый.
Так я же за нее заступался...

Разобрал он, в чем дело, засмеялся к ней:
«Ну вот видите, говорит, я же вам говорил».
Я так понял, что уж у них был разговор обо
мне... Про дорогу она, видно, рассказывала.

«Извините, говорю, ежели напугал вас...
Не вовремя или что... Так я и уйду. Прощайте,
мол, не поминайте лихом, добром, видно, не
помянете».

Встал он, в лицо мне посмотрел и руку по-
дает.

«Вот что, говорит, поедете назад, свободно
будет, – заходите, пожалуй». А она смотрит на
нас да усмехается по-своему, нехорошо.

«Не понимаю я, говорит, зачем ему захо-
дить? И для чего зовете?» А он ей: «Ничего,
ничего! Пусть зайдет, если сам опять захо-
чет... Заходите, заходите, ничего!»

Не все я, признаться, понял, что они тут
еще говорили. Вы ведь, господа, мудрено

иной раз промеж себя разговариваете... А любопытно. Ежели бы так остаться, послушать... ну, мне неловко, – как бы чего не подумали. Ушел.

Ну, только свезли мы господина Загрязского на место, едем назад. Призывает исправник старшого и говорит: «Вам тут оставаться вперед до распоряжения; телеграмму получил. Бумаг вам ждать по почте». Ну, мы, конечно, остались.

Вот я опять к ним: дай, думаю, зайду – хоть у хозяев про нее спрошу. Зашел. Говорит хозяин домовый: «Плохо, говорит, как бы не померла. Боюсь, в ответ не попасть бы, – потому, собственно, что попа звать не станут». Только стоим мы, разговариваем, а в это самое время Рязанцев вышел. Увидел меня, поздоровался, да и говорит: «Опять пришел? Что ж, войди, пожалуй». Я и вошел тихонько, а он за мной вошел. Поглядела она, да и спрашивает: «Опять этот странный человек!.. Вы, что ли, его позвали?» – «Нет, говорит, не звал я, – сам он пришел». Я не утерпел и говорю ей:

«Что это, говорю, барышня, – за что вы сердце против меня имеете? Или я враг вам

какой?»

«Враг и есть, говорит, – а вы разве не знаете? Конечно, враг!» Голос у нее слабый стал, тихий, на щеках румянец так и горит, и столь лицо у нее приятное... кажется, не нагляделся бы. «Эх, думаю, не жилища она на свете, – стал прощения просить, – как бы, думаю, без прощения не померла». «Простите меня, говорю, коли вам зло какое сделал». Известно, как по-нашему, по-христиански полагается... А она опять, гляжу, закипает... «Простить! вот еще! Никогда не прощу, и не думайте, никогда! Помру скоро... так и знайте: не простила!»

Рассказчик опять смолк и задумался. Потом продолжал тише и сосредоточеннее:

– Опять у них промежду себя разговор пошел. Вы вот человек образованный, по-ихнему понимать должны, так я вам скажу, какие слова я упомянул. Слова-то запали и посейчас помню, а смыслу не знаю. Он говорит:

«Видите: не жандарм к вам пришел сейчас... Жандарм вас вез, другого повезет, так это он все по инструкции. А сюда-то его разве инструкция привела? Вы вот что, говорит, господин кавалер, не знаю как звать вас...»

«Степан», – говорю.

«А по бабушке как?»

«Петровичем звали».

«Так вот, мол, Степан Петрович. Вы ведь сюда почему пришли? По человечеству? Правда?»

«Конечно, говорю, по человечеству. Это, говорю, вы верно объясняете. Ежели по инструкции, так это нам вовсе даже не полагается, чтоб к вам заходить без надобности. Начальство узнает – не похвалит...»

«Ну, вот видите», – он ей говорит и за руку ее взял. Она руку выдернула.

«Ничего, говорит, не вижу. Это вы видите, чего и нет. А мы с ним вот (это значит сомной) люди простые. Враги так враги, и нечего тут антимионии разводиться. Ихнее дело – смотри, наше дело – не зевай. Он, вот видите: стоит, слушает. Жалко, не понимает, а то бы в донесении все написал...»

Повернулся он в мою сторону, смотрит прямо на меня, в очки. Глаза у него острые, а хорошие: «Слышите? – мне говорит. – Что же вы скажете?.. Впрочем, не объясняйте ничего: я так считаю, что вам это обидно».

Оно, скажем, конечно... по инструкции так полагается, что ежели что супротив интересу, то обязан я по присяжной должности на отца родного донести... Ну, только как я не затем, значит, пришел, то верно, что обидно мне показалось, просто за сердце взяло. Повернулся к дверям, да Рязанцев удержал.

«Погоди, говорит, Степан Петрович, не уходи еще». А ей говорит: «Нехорошо это... Ну, не прощайте и не миритесь. Об этом что говорить. Он и сам, может, не простил бы, ежели бы как следует все понял... Да ведь и враг тоже человек бывает... А вы этого-то вот и не признаете. Сек-тан-тка вы, говорит, вот что!»

«Пусть, – она ему, – а вы равнодушный человек... Вам бы, говорит, только книжки читать...»

Как она ему это слово сказала, – он, чудное дело, даже на ноги вскочил. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

«Равнодушный? – он говорит. – Ну, вы сами знаете, что неправду сказали».

«Пожалуй, – она ему отвечает... – А вы мне – правду?..»

«А я, – говорит, – правду: настоящая вы бо-

рыня Морозова...»

Задумалась она, руку ему протянула; он руку-то взял, а она в лицо ему посмотрела-посмотрела, да и говорит: «Да, вы, пожалуй, и правы!» А я стою, как дурак, смотрю, а у самого так и сосет что-то у сердца, так и подступает. Потом обернулась ко мне, посмотрела на меня без гнева и руку подала. «Вот, говорит, что я вам скажу: враги мы до смерти... Ну, да бог с вами, руку вам подаю, – желаю вам когда-нибудь человеком стать – вполне, не по инструкции... Устала я», – говорит ему.

Я и вышел. Рязанцев тоже за мной вышел. Стали мы во дворе, и вижу я: на глазах у него будто слеза поблескивает.

«Вот что, говорит, Степан Петрович, долго вы еще тут пробудете?»

«Не знаю, говорю, может, и еще дня три, до почты».

«Ежели, говорит, еще зайти захотите, так ничего, зайдите. Вы, кажется, говорит, человек, по своему делу, ничего...»

«Извините, говорю, напугал...»

«То-то, говорит, уж вы лучше хозяйке сначала скажите».

«А что я хочу спросить, говорю: вы вот про боярыню говорили про Морозову. Они, значит, боярского роду?»

«Боярского, говорит, или не боярского, а уж порода такая: сломать ее, говорит, можно... Вы и то уж сломали... Ну, а согнуть, – сам, чай, видел: не гнутся этакие».

На том и попрощались.

V

...Померла она скоро. Как хоронили ее, я и не видал – у исправника был. Только на другой день ссыльного этого встретил; подошел к нему – гляжу: на нем лица нет...

Росту он был высокого, с лица сурьезный, да ранее приветливо смотрел, а тут зверем на меня, как есть, глянул. Подал было руку, а потом вдруг руку мою бросил и сам отвернулся. «Не могу, говорит, я тебя видеть теперь. Уйди, братец, бога ради, уйди!..» Опустил голову, да и пошел, а я на фатеру пришел, и так меня за-сосало, – просто пици дня два не принимал. С этих самых пор тоска и увязалась ко мне. Точно порченый.

На другой день исправник призвал нас и говорит: «Можете, говорит, теперь отпра-

ляться: пришла бумага, да поздно». Видно, опять нам ее везти пришлось бы, да уж бог ее пожалел: сам убрал.

...Только что еще со мной после случилось – не конец ведь еще. Назад еду, приехали мы на станцию одну... Входим в комнату, а там на столе самовар стоит, закуска всякая, и старушка какая-то сидит, хозяйку чаем угощает. Чистенькая старушка, маленькая да веселая такая и говорливая. Все хозяйке про свои дела рассказывает: «Вот, говорит, собралась я пожитки, дом-то, по наследству который достался, продала и поехала к моей голубке. То-то обрадуется! Уж и побранит, рассердится, знаю, что рассердится, – а все же рада будет. Писала мне, не велела приезжать. Чтобы даже ни в каком случае не смела я к ней ехать. Ну, да ничего это!»

Так тут меня ровно кто под левый бок толкнул. Вышел я в кухню. «Что за старушка?» – спрашиваю у девки-прислуги. «А это, говорит, самой той барышни, что вы тот раз везли, матушка родная будет». Тут меня шатнуло даже. Видит девка, как я в лице расстроился, спрашивает: «Что, говорит, служивый, с

тобой?» – «Тише, говорю, что орешь... барышня-то померла».

Тут она, девка эта, – и девка-то, надо сказать, гулящая была, с проезжающими баловала, – как всплеснет руками да как заплачет, и из избы вон. Взял и я шапку, да и сам вышел, – слышал только, как старуха в зале с хозяйкой все болтают, и так мне этой старухи страшно стало, так страшно, что и выразить невозможно. Побрел я прямо по дороге, – после уж Иванов меня догнал с телегой, я и сел.

VI

...Вот какое дело!.. А исправник донес, видно, начальству, что я к ссыльным ходил, да и полковник костромской тоже донес, как я за нее заступался, – одно к одному и подошло. Не хотел меня начальник и в унтер-офицеры представлять. «Какой ты, говорит, унтер-офицер – баба ты! В карцер бы тебя, дурака!» Только я в это время в равнодушии находился и даже нисколько не жалел ничего.

И все я эту барышню сердитую забыть не мог, да и теперь то же самое: так и стоит, бывает, перед глазами.

Что бы это значило? Кто бы мне объяснил!

Да вы, господин, не спите?

Я не спал... Глубокий мрак закинутой в лесу избушки томил мою душу, и скорбный образ умершей девушки вставал в темноте под глухие рыдания бури...

1880

Убивец

I. Бакланы

Когда я на почтовой тройке подъехал к перевозу, уже вечерело. Свежий, резкий ветер рябил поверхность широкой реки и плескал в обрывистый берег крутым прибоем. Заслышав еще издали почтовый колокольчик, перевозчики остановили «плашкот» и дождались нас. Затормозили колеса, спустили телегу, отвязали «чалки». Волны ударили в дощатые бока плашкота, рулевой круто повернул колесо, и берег стал тихо удаляться от нас, точно отбрасываемый ударявшею в него зыбью.

Кроме нашей, на плашкоте находились еще две телеги. На одной я разглядел немолодого, солидного мужчину, по-видимому купеческого звания, на другой – трех молодцов, как будто из мещан. Купец неподвижно сидел в повозке, закрываясь воротником от осеннего свежего ветра и не обращая ни малейшего внимания на случайных спутников. Мещане,

наоборот, были веселы и общительны. Один из них, косоглазый и с рваною ноздрей, то и дело начинал наигрывать на гармонии и напевать диким голосом какие-то песни; но ветер скоро обрывал эти резкие звуки, разнося и швыряя их по широкой и мутной реке. Другой, державший в руке полуштоф и стаканчик, потчевал водкой моего ямщика. Только третий, мужчина лет тридцати, здоровый, красивый и сильный, лежал на телеге в растяжку, заложив руки под голову, и задумчиво следил за бежавшими по небу серыми тучами.

Вот уже второй день, в моем пути от губернского города N, то и дело встречаются эти примелькавшиеся фигуры. Я еду по спешному делу, погоняя, что называется, и в хвост и в гриву, но ни купец на своей кругленькой кобылке, запряженной в двухколесную кибитку, ни мещане на своих поджарых клячах не отстают от меня. После каждой моей деловой остановки или роздыха я настигаю их где-нибудь в пути или на перевозе.

– Что это за люди? – спросил я у моего ямщика, когда тот подошел к телеге.

– Кóстюшка с товарищами, – ответил он сдержанно.

– Кто такие? – переспросил я, так как имя было мне незнакомо.

Ямщик как будто стеснялся сообщать мне дальнейшие сведения, ввиду того что разговор наш мог быть услышан мещанами. Он оглянулся на них и потом торопливо ткнул кнутом в направлении к реке.

Я посмотрел в том же направлении. По широкой водной поверхности расходилась темными полосами частая зыбь. Волны были темны и мутны, и над ними носились, описывая беспокойные круги, большие белые птицы вроде чаек, то и дело падавшие на реку и подымавшиеся вновь с жалобно-хищным криком.

– Бакланы! – пояснил ямщик, когда плашкот подъехал к берегу и наша тройка выхватила нас на дорогу. – Вот и мещанишки эти, – продолжал он, – те же бакланы. Ни у них хозяйства, ни у них заведений. Землишку, слышь, какая была, и ту летось продали. Теперь вот рыщут по дорогам, что тебе волки. Житья от них не стало.

– Грабят, что ли?

– Пакостят. Чемодан у проезжающего срезать, чаю место-другое с обоза стянуть – ихнее дело... Плохо придется, так и у нашего брата, у ямщика обратного, лошадь, то и гляди, уведут. Известно, зазеваешься, заснешь – грешное дело, а он уж и тут. Этому вот Кóстюшке ямщик кнутом ноздрю-то вырвал... Верно!.. Помни: Коська этот – первеющий варвар... Товарища вот ему настоящего теперь нету... И был товарищ, да обозчики убили...

– Попался?

– Попался в деле. Не пофáртило. Натешились над ним ребята, обозчики то есть.

Рассказчик засмеялся в бороду.

– Первое дело – пальцы рубили. Опосля огнем жгли, а наконец того палку сунули, выпустили кишки, да и бросили... Помер, собака!..

– Да ты-то с ними знакомый, что ли? С чего они тебя водкой-то потчевали?

– Будешь знаком, – сказал ямщик угрюмо. – Сам тоже винища им выпоил немало, – потому – опасаюсь во всякое время... Помни: Кóстюшка не даром и нонче-то выехал... Э-только места даром коней гонять не станет...

Фарт чуёт, дьявол, это уж верно!.. Купец вот тоже какой-то... – задумчиво добавил ямщик после некоторого молчания, – не его ли охаживают теперича?.. Только вряд, не похоже будто... И ещё с ним новый какой-то. Не видавали мы его раньше.

– Это который в телеге лежал?

– Ну, ну... Жиган, полагать надо... Здоровенный, дьявол!.. Ты вот что, господин!.. – заговорил он вдруг, поворачиваясь ко мне. – Ты ужó, мотри, поберегайся... Ночью не ездят. Не за тобой ли, грехом, варвары-то увязались...

– А ты меня знаешь? – спросил я.

Ямщик отвернулся и задергал вожжами.

– Нам неизвестно, – отвечал он уклончиво. – Сказывали – кудиновский приказчик из губернии проедет... Дело не наше...

Очевидно, меня здесь знали. Я вел процесс купцов Кудиновых с казною и на днях его выиграл. Мои патроны были очень популярны в той местности да и во всей Западной Сибири, а процесс производил сенсацию. Теперь, получив из губернского казначейства очень крупную сумму, я торопился в город NN, где предстояли срочные платежи. Времени было

немного, почта в NN ходила редко, и потому деньги я вез с собой. Ехать приходилось днем и ночью, кое-где для скорости сворачивая с большой дороги на прямые проселки. Ввиду этого предшествовавшая мне молва, способная поднять целые стаи хищных «бакланов», не представляла ничего утешительного.

Я оглянулся назад. Несмотря на наступавший сумрак, по дороге виднелась быстро скакавшая тройка, а за нею на некотором расстоянии катилась купеческая таратайка.

II. Лог под «чертовым пальцем»

На ...ской почтовой станции, куда я прибыл вечером, лошадей не оказалось.

– Эх, батюшка, Иван Семеныч! – уговаривал меня почтовый смотритель, толстый добряк, с которым во время частых переездов я успел завязать приятельские отношения. – Ей-богу, мой вам совет: плюньте, не ездите к ночи. Ну их и с делами! Своя-то жизнь дороже чужих денег. Ведь тут теперь на сто верст кругом только и толков, что о вашем процессе да об этих деньжищах. Бакланишки, поди, уже заметались... Ночуйте!..

Я, конечно, сознавал всю разумность этих советов, но последовать им не мог.

– Надо ехать... Пошлите, пожалуйста, за «вольными»... И то время уходит...

– Эх вы, упрямец! Ну, да тут-то я вам дам «дружка»[1] надежного. Он вас доставит в Б. к молокану. А уж там непременно ночуйте. Ведь ехать-то мимо Чертова лога придется, место глухое, народец аховый... Хоть свету дождитесь.

Часа через два я сидел уже в телеге, напутствуемый советами приятеля. Добрые лошади тронулись сразу, а ямщик, подбодренный обещанием на водку, гнал их всю дорогу, как говорится, в три кнута; до Б. мы доехали живо.

– Куда теперь меня доставишь? – спросил я у ямщика.

– К «дружку», к молокану. Мужик хороший.

Проехав мимо нескольких раскиданных по лесу избенок, мы остановились у ворот просторного, очевидно зажиточного, дома. Нас встретил с фонарем в руке старик с длинной седою бородой, очень почтенного вида. Он поднял свой фонарь над головой и, огля-

дев мою фигуру своими подслеповатыми глазами, сказал спокойным старческим голосом:

– А, Иван Семеныч!.. То-то сказывали тут ребята проезжие: поедет кудиновский приказчик из городу... Коней, мол, старик, готовь... А вам, я говорю, какая забота?.. Они, может, ночевать удумают... Дело ночное.

– А какие ребята-то? – перебил мой ямщик.

– А шут их знает. Бакланишки, надо быть! На жиганов тоже смахивают по виду-то... Думаю так, что из городу, а кто именно – сказать не могу... Где их всех-то узнаешь... А ты, господин, ночуешь, что ли?

– Нет. Лошадей мне, пожалуйста, поскорей! – сказал я, не слишком-то довольный предшествовавшей мне молвой.

Старик немного подумал.

– Заходи в избу, чего здесь-то стоять... Вишь, горе-то, лошадей у меня нету... Третье-годнись в город с кладью парнишку усрал. Как теперь будешь?.. Ночуй.

Эта новая неудача сильно меня обескуражила. Ночь между тем сгустилась в такую беспросветную тьму, какая возможна только в сибирскую ненастную осень. Небо сплошь

было покрыто тяжелыми тучами. Взглянув вверх, можно было с трудом различить, как неслись во мраке тяжелые, безобразные громады; но внизу царствовала полная темнота. На два шага не видно было человека. Моросил дождик, слегка шумя по деревьям. В густой тайге шел точно шорох и таинственный шепот. И все-таки ехать было необходимо. Войдя в избу, я попросил хозяина послать за лошадьми к кому-нибудь из соседей.

– Ох, господин, – закачал старик своею седою головой, – на грех ты торопишься, право... Да и ночка же выдалась! Египетская тьма, прости господи!

В комнату вошел мой ямщик, и у него с хозяином пошли переговоры и советы. Оба еще раз обратились ко мне, прося остаться. Но я настаивал. Мужики о чем-то шептались, перебирали разные имена, возражали друг другу, спорили.

– Ладно, – сказал ямщик, как будто неохотно соглашаясь с хозяином. – Будут тебе лошади. Съезжу сейчас недалече тут, на заимку.

– Нельзя ли поближе найти? Пожалуй, долго будет...

– Недолго! – решил ямщик, а хозяин добавил сурово:

– Куда торопиться-то? Знаешь, пословица говорится: скоро, да не споро... Успеешь...

Ямщик стал одеваться за перегородкой. Хозяин продолжал что-то внушать ему своим дребезжавшим старческим голосом. Я начал дремать у печки.

– Ну, парень, – услышал я голос хозяина уже за дверью, – скажи «убивцу»-то, пуцай поторапливается... Вишь, ему не терпится...

Почти тотчас же со двора послышался топот скачущей лошади.

Последняя фраза старика рассеяла мою дремоту. Я сел против огня и задумался. Темная ночь, незнакомое место, незнакомые люди и не совсем понятные речи, и, наконец, это странное, зловещее слово... Мои нервы были расстроены.

Через полтора часа под окнами послышался звон колокольчика. Тройка остановилась у подъезда. Я собрался и вышел.

Небо чуть-чуть прояснилось. Тучи бежали быстро, точно торопились куда-то убраться вовремя. Дождь перестал, только временами

налетали откуда-то сбоку, из мрака, крупные капли, как будто второпях роняемые быстро бежавшими облаками. Тайга шумела. Подымался к рассвету ветер.

Хозяин вышел провожать меня с фонарем, и благодаря этому обстоятельству я мог рассмотреть моего ямщика. Это был мужик громадного роста, крепкий, широкоплечий, настоящий гигант. Лицо его было как-то спокойно-угрюмо, с тем особенным отпечатком, какой кладет обыкновенно застарелое сильное чувство или давно засевшая невеселая дума. Глаза глядели ровно, упорно и мрачно.

Правду сказать, у меня мелькнуло-таки желание отпустить восвояси этого мрачного богатыря и остаться на ночь в светлой и теплой горнице молокана, но это было только мгновение. Я ощупал револьвер и сел в повозку. Ямщик закрыл полог и неторопливо полез на козлы.

– Ну, слышь, «убивец», – напутствовал нас старик, – смотри, парень, в оба. Сам знаешь...

– Знаю, – ответил ямщик, и мы нырнули в тьму ненастной ночи.

Мелькнуло еще два-три огонька разроз-

ненных избенок. Кое-где на фоне черного леса клубился в сыром воздухе дымок, и искры вылетали и гасли, точно таяли во мраке. Наконец последнее жильё осталось сзади. Вокруг была лишь черная тайга да темная ночь.

Лошади бежали ровно и быстро мчали меня к роковому логу, однако до лога оставалось еще верст пять, и я мог на свободе обдумать свое положение. Как это случается иногда в минуту возбуждения, оно представилось мне вдруг с поразительной ясностью. Вспомнив хищнические фигуры «бакланов», таинственность сопровождавшего их купца, затем странную неотвязчивость, с какою все они следовали за мною, — я пришел к заключению, что в логу меня непременно ожидает какое-нибудь приключение. Роль, какую примет при этом угрюмый возница, оставалась для меня загадкой Эдипа.

Загадка эта скоро, однако, должна была разрешиться. На посветлевшем несколько, но все еще довольно темном небе выделялся уже хребет. На нем, вверху, шумел лес, внизу, в темноте, плескалась речка. В одном месте большая черная скала торчала кверху. Это и

был «Чертов палец».

Дорога жалась над речкой, к горам. У «Чертова пальца» она отбегала подальше от хребта, и на нее выходил из ложбины проселок... Это было самое опасное место, прославленное многочисленными подвигами рыцарей сибирской ночи. Узкая каменистая дорога не допускала быстрой езды, а кусты скрывали до времени нападение. Мы подъезжали к ложбине. «Чертов палец» надвигался на нас, все вырастая вверху, во мраке. Тучи пробегали над ним и, казалось, задевали за его вершину.

Лошади пошли тихо. Коренная осторожно постукивала копытами, внимательно вглядываясь в дорогу. Пристяжки жалась к оглоблям и пугливо храпели. Колокольчик вздрагивал как-то неровно, и его тихое потренькивание, отдаваясь над рекой, расплывалось и печально тонуло в чутком воздухе...

Вдруг лошади остановились. Колокольчик порывисто дрогнул и замер. Я привстал. По дороге меж темных кустов что-то чернело и двигалось. Кусты шевелились.

Ямщик остановил лошадей как раз вовремя: мы избежали нападения сбоку; но и теперь

положение было критическое. Вернуться назад, свернуть в сторону было невозможно. Я хотел уже выстрелить наудачу, но вдруг остановился.

Громадная фигура ямщика, ставшего на козлах, закрыла кусты и дорогу. «Убивец» поднялся, неторопливо передал мне вожжи и сошел на землю.

– Держи ужо. Не пали!..

Он говорил спокойно, но в высшей степени внушительно. Мне не пришло в голову послушаться: моих подозрений как не бывало; я взял вожжи, а угрюмый великан двинулся вперед, по направлению к кустам. Лошади тихо и как-то разумно двинулись за хозяином сами.

Шум колес по каменистой дороге мешал мне слушать, что происходило в кустах. Когда мы поравнялись с тем местом, где раньше заметно было движение, «убивец» остановился.

Все было тихо, только вдали от дороги, по направлению к хребту, шумели листья и слышался треск сучьев. Очевидно, там пробирались люди. Передний, видимо, торопился.

– Кóстюшка это, подлец, впереди всех бе-

жит, – сказал «убивец», прислушиваясь к шуму. – Э, да один, гляди-ко, остался!

В это время из-за куста, очень близко от нас, выделилась высокая фигура и как-то стыдливо нырнула в тайгу вслед за другими. Теперь явственно слышался в четырех местах шум удалявшихся от дороги людей.

«Убивец» все так же спокойно подошел к своим коням, поправил упряжку, звякнул дугой с колокольчиком и пошел к облучку.

Вдруг на утесе, под «Пальцем», сверкнул огонек. Грянул ружейный выстрел, наполнив пустоту и молчание ночи. Что-то шлепнулось в переплет кошевки и шарахнулось затем по кустам.

«Убивец» кинулся было к утесу, как разъяренный, взбесившийся зверь, но тотчас же остановился.

– Слышь, Коська, – сказал он громко, глубоко взволнованным голосом, – не дури, я те говорю. Ежели ты мне теперича невинную животину испортил, уходи за сто верст, я те достану!.. Не пали, господин! – добавил он сурово, обращаясь ко мне.

– Мотри и ты, «убивец», – слышался от

утеса чей-то сдержанный, как будто не Кóстюшкин голос. – Не в свое дело пошто суешься?

Говоривший как будто боялся быть услышанным тем, к кому обращался.

– Не грози, ваше степенство, – с презрением ответил ямщик. – Не страшен небось, даром что с «бакланами» связался!

Через несколько минут лог под «Чертовым пальцем» остался у нас назади. Мы выехали на широкую дорогу.

III. «Убивец»

Мы проехали версты четыре в глубоком молчании. Я обдумывал все случившееся, ямщик только перебирал вожжи, спокойно понукая или сдерживая своих коней. Наконец я заговорил первый:

– Ну, спасибо, приятель! Без тебя мне, пожалуй, пришлось бы плохо!

– Не на чем, – ответил он.

– Ну, как не на чем? Эти молодцы, видно, народ отчаянный...

– Отчаянный, это верно!

– А ты их знаешь?

– Кóстюшку знаю... Да его, варвара, почитай, всякая собака знает... Купца тоже ранее примечал... А вот того, который остался, не видал будто... Видишь ты, понадеялся на Кóстюшку, остался. Да нет, Кóстюшка, брат, не того десятка... Завсегда убежит в первую голову... А этот смелый...

Он помолчал.

– Не бывало этого ранее, никогда не бывало, – заговорил он опять тихо, покачивая головой. – Кóстюшка его откуда ни то раздобыл... Скликает воронья на мою голову, проклятый...

– А почему они тебя так боятся?

– Боятся, верно это!.. Уложил я у них тут одного...

Он остановил лошадей и повернулся на козлах.

– Погляди, – сказал он, – вон он, лог-то, виднеется, погляди, погляди!.. Тут вот, в этом самом логу, я этого человека убил...

Мне показалось, что, когда он высказывал это признание, голос его дрожал; мне показалось также, что я вижу в его глазах, слабо освещенных отблеском востока, выражение

глубокой тоски.

Повозка стояла на гребне холма. Дорога шла на запад. Сзади, за нами, на светлеющем фоне востока, вырисовывалась скалистая масса, покрытая лесом; громадный камень, точно поднятый палец, торчал кверху. Чертов лог казался близехонько.

На вершине холма нас обдавало предупредительным ветром. Озябшие лошади били копытами и фыркали. Коренная рванула вперед, но ямщик мгновенно осадил всю тройку; сам он, перегнувшись с облучка, все смотрел по направлению к логу.

Потом он вдруг повернулся, собрал вожжи, приподнялся на козлах и крикнул... Лошади сразу подобрались, подхватили с места, и мы помчались с вершины холма под гору.

Это была бешеная скачка. Лошади прижали уши и понеслись, точно в смертельном страхе, а ямщик то и дело приподнимался и без слова помахивал правой рукой. Тройка как будто чуяла, хотя и не могла видеть этих движений... Земля убегала из-под колес, деревья, кусты бежали навстречу и будто падали за нами назад, скошенные бешеным вихрем...

На ровном месте мы опять поехали тише. От лошадей валил пар. Коренная тяжело дышала, а пристяжки вздрагивали, храпели и водили ушами. Помаленьку они, однако, становились спокойнее. Ямщик отпустил вожжи и ласково ободрял коней...

– Тише, милые, тише!.. Не бойся... Вот ведь лошадь, – повернулся он ко мне, – бессловесная тварь, а тоже ведь понимает... Как на угор этот выехали да оглянулись, – не удержишь... Грех чувуют...

– Не знаю, – сказал я, – может, оно и так; да только на этот раз ты ведь сам их погнал.

– Погнал нешто? Ну, может, и впрямь погнал. Эх, барин! Кабы знал ты, что у меня на сердце-то...

– Что ж? Ты расскажи, так узнаю...

«Убивец» потупился.

– Ладно, – сказал он, помолчав, – расскажу тебе... Эх, милые! Ступай, ступай, не бойся...

Лошади застучали по мягкой дороге ровную, частою рысцей.

* * *

...Видишь ты... Было это давно... Оно хоть и не очень давно, ну, да воды-то утекло много.

Жизнь моя совсем по-иному пошла, так вот поэтому и кажется все, что давно это было. Крепко меня люди обидели – начальники. А тут и бог, вдобавок, убил: жена молодая да сынишко в одночасье померли. Родителей не было, – остался один-одинешенек на свете: ни у меня родных, ни у меня друга. Поп – и тот последнее имение за похороны прибрал. И стал я тогда задумываться. Думал, думал и наконец того, пошáтился в вере. В старой-то пошáтился, а новой еще не обрел. Конечно, дело мое темное. Грамоте обучен плохо; разуму своему тоже не вовсе доверяю... И взяла меня от этих мыслей тоска, то есть такая тоска страшная, что, кажется, рад бы на белом свете не жить... Бросил я избу свою, какое было еще хозяйствишко – все кинул... Взял про запас полушубок, да порты, да сапоги-пару, вырезал в тайге посошок и пошел...

– Куда?

– Да так, никуда. В одном месте поживу, за хлеб поработаю – поле вспашу хозяину, а в другое – к жатве поспею. Где день проживу, где неделю, а где и месяц; и все смотрю, как люди живут, как богу молятся, как веруют...

Праведных людей искал.

– Что же, нашел?

– Как сказать тебе?.. Конечно, всякие тоже люди есть, и у всякого, братец, свое горе. Это верно. Ну, только все же плохо, братец, в нашей стороне люди бога-то помнят. Сам тоже понимаешь: так ли бы жить-то надо, если по божьему закону?.. Всяк о себе думает, была бы мамона сыта. Ну, что еще: который грабитель в кандалах закован идет, и тот не настоящий грабитель... Правду ли я говорю?

– Пожалуй... Ну и что же?

– Ну, еще пуще стал на миру тосковать... Вижу, что толку нету, – мечусь, все равно как в лесу... Теперь, конечно, маленькое понятие имею, да и то... Ну а тогда вовсе стал без ума. Надумал, например, в арестанты поступить...

– Это как же?

– А так, очень просто: назвался бродягой – и посадили. Вроде крест на себя наложил...

– Что ж, легче ли стало от этого?

– Какой-те легче! Конечно, глупость одна. Ты вот, может, в тюрьме не бывал, так не знаешь, а я довольно узнал, каков это есть монастырь. Главное дело – без пользы всякой жи-

вут люди, без работы. Суется это он из угла в угол, да пакость какую ни есть и надумает. На скверное слово, на отчаянность – самый скорый народ, а чтоб о душе подумать, о боге там – это за большую редкость, и даже еще смеются... Отчаянный самый народ. Вижу я, что по глупости своей не в надлежащее место попал, и объявил свое имя, стал из тюрьмы проситься. Не пускают. Справки пошли, то, другое... Да еще говорят: как смел на себя самовольно этакое звание принять?.. Истомили вконец. Не знаю уж, что б и было со мной, да вышел тут случай... И плохо мне от этого самого случая пришлось... ну а без него-то, пожалуй, было бы еще хуже...

Прошел как-то по тюрьме говор: Безрукого, мол, покаянника опять в острог приведут. Слышу я разговоры эти: кто говорит: «правда», другие спорятся, а мне, признаться, в ту пору и ни к чему было: ведут так ведут. Мало ли каждый день приводят? Пришли это из городу арестантики, говорят: «Верно. Под строгим конвоем Безрукого водят... К вечеру беспрерменно в острог». *Шпанка*[2] на двор повадила – любопытно. Вышел и я погулять тоже:

не то чтобы любопытно было, а так, больше с тоски, все, бывало, по двору суешься. Только стал я ходить, задумался и о Безруком забыл совсем. Вдруг отворяют ворота, смотрю – ведут старика. Старичонка-то маленький, худенький, борода седая болтается, длинная; идет, сам пошатывается – ноги не держат. Да и рука одна без действия висит. А между прочим, пятеро конвою с ним, и еще штыки к нему приставили. Как увидел я это, так меня даже шатнуло... «Господи, думаю, чего только делают. Неужели же человека этак водить подбавляет, будто тигру какую? И диви бы, еще богатырь какой, а то ведь старичок ничтожный, неделя до смерти ему!..»

Взяла меня страшная жалость. И что больше смотрю, то больше сердце у меня разгорается. Провели старика в контору: кузнеца позвали – ковать в ручные и ножные кандалы накрепко. Взял старик железы, покрестил старым крестом, сам на ноги надел. «Делай!» – говорит кузнецу. Потом «наручни» покрестил, сам руки продел. «Сподоби, говорит, господи, покаяния ради!»

Ямщик замолчал и опустил голову, как

будто переживая в воспоминании рассказанную сцену. Потом, тряхнув головой, заговорил опять:

– Прельстил он меня тогда, истинно тебе говорю: за сердце взял. Удивительное дело! После-то я его хорошо узнал: чистый дьявол, прости, господи, сомуститель и враг. А как мог из себя святого представить! Ведь и теперь, как вспомню его молитву, все не верится: другой человек тогда был, да и только.

Да ведь и не я один. Поверишь ли, «шпанка» тюремная – и та притихла. Смотрят все, молчат. Которые раньше насмехались, и те примолкли, а другой даже и крестное знамение творит. Вот, брат, какое дело!

Ну а уж меня он прямо руками взял. Потому как был я в то время в задумчивости, вроде оглашенного, и вошло мне в голову, что есть этот старик истинный праведник, какие в старину бывали. Ни с кем я в ту пору не то что дружбу водить, а даже не разговаривал. Я ни к кому, и ко мне никто. Иной раз и слышу там разговоры ихние, да все мимо ушей, точно вот мухи жужжат... Что ни надумаю – все про себя; худо ли, хорошо ли – ни у кого не

спрашивал. Вот и задумал я к старику к этому в «секретную» пробраться; подошел случай, сунул часовым по пятаку, они и пропустили, а потом и так стали пускать, даром. Глянул я к нему в оконце, вижу: ходит старик по камере, железы за ним волочатся, да все что-то сам себе говорит. Увидел меня, повернулся и подходит к дверям.

– Что надо?

– Ничего, говорю, не надо, а так... наве- стить пришел. Чай, одному-то скучно.

– Не один я здесь, отвечает, а с богом, с бо- гом-то не скучно, а все же доброму человеку рад.

А я стою перед ним дурак дураком, он даже удивляется, посмотрит на меня и покачает го- ловой. А раз как-то и говорит:

– Отойди-ка, парень, от оконца-то, хочу те- бя всего видеть.

Отошел я маленько, он глаз-то к дыре при- ставил, смотрел, смотрел и говорит:

– Что ты за человек за такой, сказывайся.

– Чего сказываться-то, – отвечаю ему, – са- мый потерянный человек, больше ничего.

– А можно ли, говорит, на тебя положить-

ся? Не обманешь?..

– Никого, мол, еще не обманывал, а тебя и подавно. Что прикажешь, все сделаю верно.

Подумал он немножко, а потом опять говорит: «Нужно мне человека на волю спосылать нынче ночью. Не сходишь ли?» – «Как же мне, говорю, отсюда выйти?» – «Я тебя научу», – говорит. И точно, так научил, что вышел я ночью из тюрьмы, все равно как из избы своей. Нашел человека, которого мне он указал, сказал ему «слово». К утру назад. Признаться, как стал подходить к острогу, на самой зорьке, стало у меня сердце загораться. «Что, думаю, мне за неволя в петлю лезти? Взять да уйти!..» А острог-то, знаешь, за городом стоит. Дорога тут пролегла широкая. У дороги на травушке роса блестит, хлеба стоят-наливаются, за речкой лесок шумит маленечко... Приволье!.. А назад оглянешься: острог стоит, точно сыч насупившись... Да еще ночью-то, дело, конечно, сонное... А вспомнишь, как тут с зарей день колесом завертится, – просто беда! Сердце не терпит, так вот и подмывает уйти по дороге на простор да на волюшку...

Однако вспомнил про старика своего...

«Неужто, думаю, я его обману?» Лег на траву, в землю уткнулся, полежал маленечко, потом встал, да и повернулся к острогу. Назад не гляну... Подошел поближе, поднял глаза, а в башенке, где у нас были секретные камеры, на окошке мой старик сидит да на меня из-за решетки смотрит.

Пробрался я днем-то в его камеру, обсказываю все, как, значит, его приказание исполнил. Повеселел он. «Ну, говорит, спасибо тебе, дитяtko. Сослужил ты мне службу, век не забуду. А что, парень, – спрашивает после, – на волю-то небось крепко хочется?» А сам смеется. «Так, говорю, хочется, смерть!» – «То-то, говорит. А за что ты сюда-то попал, за какое качество?» – «Никакого, говорю, качества не было. Так, глупость моя, больше ничего». Покачал он тут головой. «Эх, говорит, посмотреть на тебя, парень, и то обидно. Эдакую тебе бог дал силу, и года твои, можно сказать, уж не маленькие, а ты, кроме глупостей этих, ничего не знаешь на свете. Вот сидишь теперь тут... Что толку? На миру, брат, грех, на миру и спасенье...»

«Греха, отвечаю, много».

«А здесь мало, что ли? Да и грехи-то здесь все бестолковые. Мало ли ты здесь нагрешил-то, а каешься ли?» – «Горько мне, говорю». – «Горько! А о чем – и сам не знаешь. Не есть это покаяние настоящее. Настоящее покаяние сладко. Слушай, что я тебе скажу, да помни: без греха один бог, а человек по естеству грешен и спасается покаянием. А покаяние по грехе, а грех на миру. Не согрешишь – и не покаешься, а не покаешься – не спасешься. Понял ли?»

А я, признаться, в ту пору не совсем его слова понимал, а только слышу, что слова хорошие. Притом и сам уже я ранее думал: какая есть моя жизнь? Все люди как люди, а я точно и не живу на свете: все равно как трава в поле или бы лесина таежная. Ни себе, ни другим.

«Это, говорю, верно. На миру хоть и не без греха жить, так по крайности жить, чем этак-то маяться. А только как мне жить, не знаю. Да еще когда из острога-то выпустят».

«Ну, – говорит старик, – это уж мое дело. Молился я о тебе: дано мне извести из темницы душу твою... Обещаешь ли меня слушать».

ся – укажу тебе путь к покаянию». – «Обещаюсь, говорю». – «И клянешься?» – «И клянусь...» Поклялся я клятвой, потому что в ту пору совсем он завладел мною: в огонь прикажи – в огонь пойду, а в воду – так в воду.

Верил я этому человеку. И стал было мне один арестантик говорить: «Ты, мол, зачем это с Безруким связываешься? Не гляди, что он живой на небо пялится: руку-то ему купец на разбое пулей прострелил!..» Да я слушать не стал, тем более что и говорил-то он во хмелю, а я пьяных страсть не люблю. Отвернулся я от него, и он тоже осердился: «Пропадай, говорит, дурья голова!» А надо сказать: справедливый был человек, хоть и пьяница.

Вскорости Безрукому облегчение вышло. Перевели его из секретной в общую, с другими прочими вместе. Только и он, как я же, все больше один. Бывало, начнут арестанты приставать, шутки шутить, он хоть бы те слово в ответ. Поведет только глазами, так тут самый отчаянный опешит. Нехорошо смотрел...

Ну а еще через малое время – и совсем освободился. Гулял я раз, летнее дело, по двору; смотрю, заседатель в контору прошел, по-

том провели к нему Безрукого.

Не прошло полчаса, выходит Безрукой с заседателем на крыльцо, в своей одежде, как есть на волю выправился, веселый. И заседатель тоже смеется. «Вот ведь, думаю, привели человека с каким отягчением, а между прочим, вины за ним не имеется». Жалко мне, признаться, стало – тоска. Вот, мол, опять один останусь. Только огляделся он по двору, увидел меня и манит к себе пальцем. Подошел я, снял шапку, поклонился начальству, а Безрукой-то и говорит:

«Вот, ваше благородие, нельзя ли этого парня обсудить поскорее? Вины за ним большой нету».

«А как тебя звать-то?» – спрашивает заседатель.

«Федором, мол, зовут, Силиным».

«А, говорит, помню. Что ж, это можно. И судить его не надо, потому что за глупость не судят. Вывести за ворота, дать по шее раза, чтоб напередки не в свое место не совался, только и всего. А между прочим, справки-то, кажись, давно у меня получены. Через неделю непременно отпущу его...»

«Ну вот и отлично, – говорит Безрукой. – А ты, парень, – отозвал он меня к сторонке, – как ослобонишься, ступай на Кильдеевскую заимку, спроси там хозяина Ивана Захарова, я ему о тебе поговорю, дитятко; да клятву-то помни».

И ушли они. А через неделю, точно, и меня на волю отпустили. Вышел я из острога и тотчас отправился в эти вот самые места. Разыскал Ивана Захарова. Так и так, говорю, меня Безрукой прислал. «Знаю, говорит. Сказывал об тебе старик. Что ж, становись пока в работники ко мне, там увидим». – «А сам-то, мол, Безрукой где же находится?» – «В отлучке, говорит, по делам он все ездит. Никак, скоро будет».

Вот и стал я жить на заимке – работником не работником, так, живу, настоящего дела не знаю. Семья у них небольшая была. Сам хозяин, да сын большой, да работник... Я четвертый. Ну, бабы еще, да Безрукой наезжал. Хозяева – люди строгие, староверы, закон соблюдают; табаку, водки – ни-ни! А работник Кузьма – тот у них полоумный какой-то был, лохматый да черный, как эфиоп. Чуть, бывало,

колокольчик забрякает, он сейчас в кусты и захоронится. А Безрукого-то пуще всех боялся. Издали, бывало, завидит, тотчас бегом в тайгу и все в одно место прятался. Зовут хозяева, зовут – не откликается. Пойдет к нему сам Безрукой, слово скажет, он и идет за ним, как овечка, и все опять справляет, как надо.

Наезжал Безрукой на заимку-то не часто и со мной почитай что не разговаривал. Беседует, бывало, с хозяином да на меня смотрит, как я работаю; а подойдешь к нему, все некогда. «Погоди, говорит, дитяtko, ужо на заимку перейду, тогда поговорим. Теперь недосут». А мне тоска. Хозяева, положим, работой не притесняли, пища хорошая, слова дурного не слыхивал. С проезжающими и то посылали редко. Все больше либо сам хозяин, либо сын с работником, особенно ночью. Ну, да мне без работы-то еще того хуже: пуще дума одолевает, места себе не найду...

Прошло, никак, недель пять, как я из тюрьмы вышел. Приезжаю раз вечером с мельницы; гляжу, народу у нас в избе много... Распрег коня; только хочу на крылец идти – хозяин мне навстречу. «Не ходи, говорит, погоди

малость, сам позову. Да слышь! – не ходи, я тебе говорю». Что же, думаю себе, за оказия такая? Повернулся я, пошел к сеновалу. Лег на сено – не спится. Вспомнил, что топор у меня около ручья оставлен. Сходить, думаю: станет народ расходиться, как бы кто не унес. Пошел мимо окон да как-то и глянул в избу. Вижу: полна изба народу, за столом заседатель сидит; водка перед ним, закуска, перо, бумага – следствие, одним словом. А в стороне-то, на лавке, Безрукой сидит. Ах ты, господи!.. Точно меня обухом по голове шибануло!.. Волосы у него на лоб свесились, руки назад связаны, а глаза точно угли... И такой он мне страшный тогда показался, сказать не могу...

Отшатнулся я от окна, отошел к сторонке... Осенью дело это было. Ночь стояла звездная да темная. Никогда мне, кажется, ночи этой не забыть будет. Речка эта плещется, тайга шумит, а сам я точно во сне. Сел на бережку, на траве, дрожу весь... Господи!..

Долго ли, коротко ли сидел, только слышу: кто-то идет из тайги тропочкой мимо, в белом пинжаке, в фуражке, палочкой помахивает. Писарь... верстах в четырех жил. Про-

шел он по мостику и прямо в избу. Потянуло тут и меня к окну: что будет?

Писарь вошел в двери, снял шапку, смотрит кругом. Сам, видно, не знал, зачем позвали. Потом пошел к столу мимо Безрукого и говорит ему: «Здравствуй, Иван Алексеевич!» Безрукой его так и опалил глазами, а хозяин за рукав дернул да шепнул что-то. Писарь, видно, удивляется. Подошел к заседателю, а тот, уже порядочно выпивши, смотрит на него мутными глазами, точно спросонья. Поздоровались. Заседатель и спрашивает:

«Знаете вы этого человека?» – сам в Безрукого пальцем тычет.

Посмотрел писарь, с хозяином переглянулся.

«Нет, говорит, не видывал будто».

Что такое, думаю, за оказия? Ведь и заседатель-то его хорошо знает.

Потом заседатель опять:

«Это не Иван Алексеев, здешний житель, по прованию Безрукой?»

«Нет, – отвечал писарь, – не он».

Взял заседатель перо, написал что-то на бумаге и стал вычитывать. Слушаю я за окном,

дивлюсь только. По бумаге-то выходит, что самый этот старик Иван Алексеев не есть Иван Алексеев; что его соседи, а также и писарь не признают за таковое лицо, а сам он именуется Иваном Ивановым и пачпорт кажет. Вот ведь удивительное дело! Сколько народу было, все руки прикладывали, и ни один его не признал. Правда, и народ тоже подобрали на тот случай! Все эти понятия у Ивана Захарова чуть не кабальные, в долгу.

Кончили это дело, понятых отпустили... Безрукого заседатель развязать велел еще раньше. Иван Захаров выносит деньги, дает заседателю, тот сосчитал, сунул в карман. «Теперь, говорит, тебе, старик, беспрременно месяца на три уехать надо. А не уедешь – смотри, – на меня не пеняй... Ну, лошадей мне давайте!..»

Отошел я от окна, прошел на сеновал, думаю, сейчас кто-нибудь к лошадям выйдет. Не хотелось мне, чтобы меня под окном-то увидали. Лежу на сене, спать не сплю, а все будто сон вижу, с мыслями не могу справиться... Слышу – проводили заседателя. Побрякал колокольцами, уехал... В доме все улеглись,

огни погасли. Стал было и я дремать, да вдруг это слышу опять: динь, динь, динь! Колокольчик звенит. А ночь-то тихая-претихая, далеко слышно. И все это ближе да ближе: из-за реки к нам будто едут. Малое время спустя и в избе колокольчик-то услышали, огонь вздули. Тройка на двор въехала. Знакомый ямщик проезжающих привез, – значит, по дружбе; мы к нему возили, он к нам.

Ну, думаю себе, может, ночевать станут. Да и то: ночью редко меня посылали; больше сам хозяин либо сын да работник. Стал я опять дремать, да вдруг слышу: Безрукой с хозяином тихонько под навесом разговаривают.

«Ну, как же быть? – старик-то говорит. – Да где же Кузьма?»

«То-то вот, – хозяин отвечает. – Иван с заседателем уехал, а Кузьма, как народ увидал, так сейчас теку. И в кустах его, слышь, нету. Дурак парень этот. Совсем, кажись, ума решился».

«Ну а Федор?» – старик опять спрашивает: это уж про меня.

«Федор, мол, вечер с мельницы приехал, хотел в избу идти, да я не пустил».

«Хорошо, говорит, надо быть, спать завалялся. Ничего не видал?»

«Надо полагать – ничего. Прямо на сеновал ушел».

«Ну, ладно. Пустить его, видно, сегодня в дело...»

«Ладно ли будет?» – говорит Захаров.

«Ничего, ладно. Парень этот простой, а сила в нем чудесная; и меня слушает – кругом пальца его оберну. И то сказать: я ведь в самом деле теперича на полгода еду, а парня этого надо к делу приспособить. Без меня дело не обойдется».

«Все же будто сумнительный человек, – говорит Захаров. – Не по уму он мне что-то, даром что дурачком глядит».

«Ну-ну, – старик отвечает. – Знаю я его. Простой парень. Нам таких и надо. А уж Кузьму как-нибудь сбывать придется. Как бы чего не напрокудил».

Стали меня окликать: Федор, а Федор! А у меня духу нет ответить. Молчу. Полез старик на сеновал, ощупал меня. «Вставай, Федорушка! – говорит, да таково ласково. – Ты, спрашивает, спал ли?» – «Спал, говорю...» – «Ну,

говорит, дитятко, вставай, запрягай коней; с проезжающим поедешь. Помнишь ли, в чем клялся?» – «Помню», – говорю. А у самого зубы-то щелкают, дрожь по телу идет, холод. «Может, – говорит старик, – подошло твое время. Слушайся, что я прикажу. А пока – запрягай-ка проворней: проезжающие торопятся».

Вытащил я из-под навеса телегу, захомутил коренную, стал запрягать, а сердце так и стучит, так и колотится! И все думаю, не сонное ли, мол, все это видение? В голове суэта какая-то, а мыслей нету...

Безрукой, гляжу, тоже коня седлает, а конек у него послушный был, как собачонка. Одной рукой он его седлал. Сел потом на него, сказал ему слово тихонько, конь и пошел со двора. Запрет я коренную, вышел за ворота, гляжу: Безрукой рысцей уже в тайгу въезжает. Месяц-то хоть не взошел еще, а все же видно маленько. Скрылся он в тайгу, и у меня на сердце-то полегчало.

Подал я лошадей. В избу меня проезжающие позвали – барыня молодая да трое ребят, мал мала меньше! Старшему-то четыре годика, а младшей самой девочке года два, не бо-

лее. И куда только, думаю, тебе, горемычной, экое место ехать доводится, да еще одной, без мужа? Барыня-то тихая, приветная. Посадила меня за стол, чаем напоила. Спрашивает: «Какие места, нет ли шалостей?» – «Не слыхивал», – говорю, а сам думаю: ох, родная, боишься ты, видно. Да и как ей, бедной, не бояться: клади с ней много, богато едет, да еще с ребятами; материнское сердце – вещун. Тоже, видно, неволюшка гонит.

Ну, сели, поехали. До свету еще часа два оставалось. Выехали на дорогу, с версту этак проехали; гляжу, пристяжка у меня шарахнулась. Что, думаю, такое тут? Остановил коней, оглядываюсь: Кузьма из кустов ползет на дорогу. Встал обок дороги, смотрит на меня, сам лохмами своими трясет, смеется про себя... Фу ты, окаянная сила! У меня и то кошки по сердцу скребнули, а барыня моя, гляжу, ни жива ни мертва... Ребята спят, сама не спит, мается. На глазах слезы. Плачет... «Боюсь я, говорит, всех вас боюсь...»

«Что ты, говорю, Христос с тобой, милая. Или я душегуб какой?.. Да вы почто же ночевать-то не остались?..»

«Там-то, говорит, еще того хуже. Прежний ямщик сказал: к ночи в деревню приедем, а сам в глухую тайгу завез, на заимку... У старика-то, – говорит барыня, – пуще всех глаза нехорошие...»

Ах ты, господи, думаю, что мне теперича с нею делать? Убивается, бедная.

«Что ж, говорю, теперича, как будете: назад ли вернетесь или дальше поедем?» – Хожу я круг ее – не знаю, как и утешить, потому жалко. А тут еще и лог этот недалече; с проселку на него выезжать приходилось, мимо «Камня». Вот видит она, что и сам я с нею опешил, и засмеялась:

«Ну, садись, говорит, поезжай. Не вернусь я назад: там страшнее... С тобой лучше поеду, потому что лицо у тебя доброе». Теперь это, братец, люди меня боятся, «убивцем» зовут, а тогда я все одно как младенец был, печати этой каиновой на мне еще не было.

Повеселел и я с нею. Сел на козлы. «Давай, – говорит моя барыня, – станем разговаривать». Спрашивает про меня и про себя сказывает, едет к мужу. Сосланный муж у нее, из богатых. «А ты, говорит, у этих хозяев давно

ли живешь; в услужении ли, как ли?» – «В услужении, говорю, недавно нанялся». – «Что, мол, за люди?» – «Люди, говорю, ничего... А впрочем, кто их знает. Строгие... водки не пьют, табуку не курят». – «Это, говорит, пустяки одни, не в этом дело». – «А как же, говорю, жить-то надо?» Вижу я: она хоть баба, да с толком; не скажет ли мне чего путного? «Ты, спрашивает, грамотный ли?» – «Маленечко, мол, учился». – «Какая, говорит, большая заповедь в Евангелии?» – «Большая, мол, заповедь – любовь!» – «Ну, верно. А еще сказано: больше той любви не бывает, если кто душу готов отдать за други своя! Вот тут и весь закон. Да еще ум, говорит, нужен – значит, рассудить: где польза, а где пользы нету. А персты эти, да табак там – это одна наружность...» – «Ну, правда твоя, отвечаю. А все же и строгости маленько не мешает, чтобы человек во всякое время помнил».

Ну, разговариваем этак, едем себе не торопясь. К тайге подъехали, к речушке. Перевоз тут. Речка в малую воду узенькая: паром толканешь, он уж и на другой стороне. Перевозчиков и не надо. Ребятки проснулись, продра-

ли глазенки-то, глядят: ночь ночью. Лес это шумит, звезды на небе, луна только перед светом подымается... Ребятам-то и любо... Известное дело – несмысли!

Ну, только, братец, въехали в тайгу, – меня точно по сердцу-то холодом обмахнуло. Гляжу: впереди по тропочке ровно бы кто на вершной бежит. Явственно-то не видно, а так кажется, будто серый конек Безрукого, и топоток слышно. Упало у меня сердце: что, мол, это такое будет? Зачем старик сюда выехал? Да еще клятву мне напомнил ранее... Не к добру... Задумался я... Страх перед стариком разбирает. Прежде я любил его, а с этого вечера бояться стал; как вспомню, какие глаза у него были, так дрожь и пройдет, и пройдет по телу.

Примолк я; думать ничего не думаю и не слышу ничего. Барыня моя слово-другое скажет – я все молчу. Стихла и она, бедная... Сидит...

Место пошло узкое, темное место. Тайга самая злющая, чернь. А на душе у меня тоже черно, просто сказать – чернее ночи. Сижу сам не свой. Кони дорогу знают, бегут к «Кам-

ню» этому – я не правлю. Подъезжаем – так и есть.... Стоит на дороге серый конек, старик на нем сидит, глаза у него, – веришь ли богу, – как угли... Я и вожжи-то выпустил из рук. Кони вплоть подъехали к серому, стали сами собой. «Федор! – старик говорит, – сойди-ка на землю!» Сошел я с козел, послушался его, он тоже с седла слезает. Конька-то своего серого поперек дороги перед тройкой поставил. Стоят мои кони, ни один не шелохнется. Я тоже стою как околдованный. Подошел он ко мне, говорит что-то, за руку взял, ведет к кошевке. Гляжу: в руке у меня топор!..

Иду за ним... и слов у меня супротив его, душегуба, нету, и сил моих нету противиться. «Согреши, говорит, познаешь сладость покаяния...» Больше не помню. Подошли мы вплоть к кошевушке... Он стал обок. «Начинай, – говорит. – Сначала бабу-то по лбу!» Глянул я тут в кошевку... Господи боже! Барыня-то моя сидит, как голубка ушибленная, ребятки руками кроет, сама на меня большими глазами смотрит. Сердце у меня повернулось. Ребятки тоже проснулись, глядят, точно пташки. Понимают ли, нет ли...

И точно я с этого взгляду от сна какого прокинулся. Отвел глаза, подымаю топор... А самому страшно: сердце закипает. Посмотрел я на Безрукого, дрогнул он... Понял. Посмотрел я в другой раз: глаза у него зеленые, так и бегают. Поднялась у меня рука, размахнулся... состонать не успел старик, повалился мне в ноги, а я его, братец, мертвого... ногами... Сам зверем стал, прости меня, господи боже!..

Рассказчик тяжело перевел дух.

– Что же после? – спросил я, видя, что он замолк и задумался...

– Ась? – откликнулся он. – Да после-то? Очнулся я, смотрю: скачет к нам Иван Захаров на вершной, в руках ружье держит. Подскакал вплоть; я к нему... Лежать бы и ему рядом с Безруким, уж это верно, да спасибо, сам догадался. Как глянул на меня – повернул коня да давай его ружейным прикладом по бокам нахлестывать. Тут у него меринок человеческим голосом взвыл, право, да как взовьется, что твоя птица!

Опомнился я вовсе... Не гляжу на людей... Сел на козлы, коней хлестнул... ни с места. Глядь, а серый конек все поперек дороги сто-

ит. Я про него и забыл. Вот ведь, дьявол, как был приучен! Перекрестился я. Видно, думаю, и животину дьявольскую тут же уложить придется. Подошел к коньку: стоит он, только ухми прядет. Дернул я за повод, упирается. Ну, говорю, выходи, барыня, из кошевки, как бы не разнесли кони-то с испугу, потому что он вплоть перед ними стоит. Барыня, что твой ребенок послушный, выходит... Ребята повывлезли, к матери жмутся. Страшно и им, потому место глухое, темное, а тут еще я с дьяволами с этими вожжаюсь.

Спятил я свою тройку, взял топор в руки, подхожу к серому. «Иди, говорю, с дороги – убью!» Повел он ухом одним. Не иду, мол. Ах ты! Потемнело у меня в глазах, волосы под шапкой так и встают... Размахнулся изо всей силы, бряк его по лбу... Скричал он легонько, да и свалился, протянул ноги... Взял я его за ноги, сволок к хозяину и положил рядом, обок дороги. Лежите!..

«Садитесь!» – говорю барыне. Посадила она младших-то ребят, а старшенького-то не сдюжает... «Помоги», – говорит. Подошел я; мальчонко-то руки ко мне тянет. Только хотел я

взять его, да вдруг вспомнил... «Убери, говорю, ребенка-то подальше. Весь я в крови, негоже младенцу касаться...»

Кое-как уселись. Тронул я... Храпят мои кони, не идут... Что тут делать?.. «Посади-ко, – говорю опять, – младенца на козлы». Посадила она мальчонку, держит его руками. Хлестнул я вожжой – пошли, так и несутся... Вот как теперь же, сам ты видел. От крови бегут...

Наутро доставил я барыню в управу, в село. Сам повинился. «Берите меня, я человека убил». Барыня рассказывает все, как было. «Он меня спас», – говорит. Связали меня. Уж плакала она, бедная. «За что же, говорит, вы его вяжете? Он доброе дело сделал, моих ребят от злодеев защитил». Видит, что никто на ее слова внимания не берет, кинулась ко мне, давай развязывать сама. Тут уж я ее остановил... «Брось, говорю, не твое дело. Теперь уж дело-то людское да божье. Виноват ли я, правли – рассудит бог да добрые люди...» – «Да какая же, говорит, может быть вина твоя?» – «Гордость моя, – отвечаю. – Через гордость я и к злодеям этим попал самовольно. От миру отбился, людей не слушался, все своим сове-

том поступал. Ан вот он, свой-то совет, и довел до душегубства...»

Ну, отступилась, послушалась меня. Стала уезжать, подошла ко мне прощаться, обняла... «Бедный ты!..» Ребяток обнимать заставляет. «Что ты? – говорю. – Не скверни младенцев. Душегуб ведь я...» Опасался признаться, что детки и сами греха моего заботятся. Да нет, поднесла она маленьких, старшенький сам подошел. Как обвился мальчонко вокруг шеи моей ручками – не выдержал я, заревел. Слезы так и бегут. Хорошая же душа у бабы этой!.. Может, за ее добрую душу и с меня господь греха моего не взыщет...

«Если, – говорит она, – есть на свете сколько-нибудь правды, мы ее для тебя добудем. Век тебя не забуду!» И точно, не забыла. Сам знаешь суды-то наши... волокита одна. Держали бы меня в остроге и по сю пору, да уж она с мужем меня бумагами оттуда добыли.

– А все-таки держали в остроге?

– Держали, и даже порядочное время. Главная причина – через деньги. Послала мне барыня денег полтысячи и письмо мне с мужем написали. Как пришли деньги эти, и сейчас

мое дело зашевелилось. Приезжает заседатель, вызвал меня в контору. «Ну, говорит, дело твое у меня. Много ли дашь, я тебя вовсе оправлю?»

Ах ты, думаю, твое благородие!.. За что деньги просит! Суди ты меня строго-настрога, да чтоб я твой закон видел – я тебе в ноги поклонюсь. А он на-ко! – за деньги...

«Ничего, говорю, не дам. По закону судите, чему я теперича подвержен».

Смеется. «Дурак ты, я вижу, говорит. По закону твое дело в двух смыслах выходит. Закон на полке лежит, а я, между прочим, – власть. Куда захочу, туда тебя и суну».

«Это, мол, как же так выйдет?»

«А так, говорит. Глуп ты! Послушай вот! ты в этом разе барыню-то с ребятами защитил?»

«Ну, мол, что дальше-то?»

«Ну, защитил. Можно это к добродетели твоей приписать? Вполне, говорит, можно, потому что это доброе дело. Вот тебе один смысл».

«А другой, мол, какой будет?»

«Другой-то? А вот какой: посмотри ты на себя, какой ты есть детина. Вот супротив тебя

старик – все одно как ребенок. Он тебя сомущать, а ты бы ему благородным манером ручки-то назад да к начальству. А ты, не говоря худого слова, бац!.. и свалил. Это надо приписать к твоему самоуправству, потому что этак не полагается. Понял?»

«Понял, говорю. Нет у вас правды! Кабы ты мне это без корысти объяснил... так ли, этак ли, – я б тебе в ноги поклонился. А ты вот что! Ничего тебе от меня не будет».

Осердился он.

«Хорошо же, мол. Я тебя, голубчика, пока еще суд да дело, в остроге сгною».

«Ладно, говорю, не грози».

Вот и стал он меня гноить, да, вишь ты, барыня-то не отступилась, нашла ходы. Пришла откуда-то такая бумага, что заседатель мой аж завертелся. Призвал меня в контору, кричал, кричал, а наконец того взял да в тот же день и отпустил. Вот и вышел я без суда... Сам теперь не знаю. Сказывают люди, будут и у нас суды правильные, вот я и жду: привел бы бог у присяжных судей обсудиться, как они скажут.

– А что же Иван-то Захаров?

– А Иван Захаров без вести пропал. У них, слышь, с Безруким-то уговор был, ехать Захарову за мной невдалеке. Ежели, значит, я на душегубство согласия не дам, тут бы меня Захарову из ружья стрелять. Да, вишь, бог-то судил иначе... Прискакал к нам Захаров, а дело-то уж у меня кончено. Он и испужался. Сказывали люди опосля, что прибежал он тогда на заимку и сейчас стал из земли деньги свои копать. Выкопал, да как был, никому не сказавшись, – в тайгу... А на заре взяло заимку огнем. Сам ли как-нибудь заронил, а то, сказывают, Кузьма петуха пустил, неизвестно. Только как полыхнуло на зорьке, к вечеру угольки одни остались. Пошло все гнездо варваров прахом. Бабы и сейчас по миру ходят, а сын – на каторге. Откупиться-то стало уж нечем.

– Тпру, милые!.. Приехали, слышь, слава те, господи... Вишь ты, и солнышко божье как раз подымается.

IV. Сибирский вольтеррианец

Прошло около месяца. Покончив с делами, я опять возвращался в губернский город на почтовых и около полудня приехал на N-скую станцию.

Толстый смотритель стоял на крылечке и дымил сигарой.

– Вам лошадей? – спросил он, не дав мне еще и поздороваться.

– Да, лошадей.

– Нет.

– Э, полноте, Василий Иванович! Я ведь вижу...

Действительно, под навесом стояла тройка в шлеях и хомутах.

Василий Иванович засмеялся.

– Нет, в самом деле, – сказал он затем серьезно. – Вам теперь, вероятно, не к спеху... Пожалуйста, я вас прошу: погодите!

– Да зачем же? Уж не губернатора ли дожидаетесь?

– Губернатора! – засмеялся Василий Иванович. – Куда махнули! И всего-то надворного советника, да уж очень хочется мне этого пар-

ня уважить, право... Вы не обижайтесь, я и вам тоже всею душой. Но ведь я вижу: вам не к спеху, а тут, можно сказать, интерес гуманности, правосудия и даже спасения человечества.

– Да что у вас с правосудием тут? Какие дела завязались?

– А вот погодите, расскажу. Да что же вы здесь стоите? Заходите в мою хибарку.

Я согласился и последовал за Васильем Ивановичем в его «хибарку», где за чайным столом нас ждала уже его супруга, полная и чрезвычайно добродушная дама.

– Да, так вы насчет правосудия спрашивали? – заговорил опять Василий Иванович. – Вы фамилию Проскурова слышали?

– Нет, не слышал.

– Да и чего слышать-то, – вмешалась Матрена Ивановна. – Такой же вот озорник, как и мой, и даже в газетах строчит.

– Ну, уж это вы напрасно, вот уж напрасно! – горячо заговорил Василий Иванович. – Проскуров, матушка моя, человек благонадежный, на виду у начальства. Ты еще угодику моему свечку должна поставить за то,

что муж твой с такими лицами знакомство ведет. Ты что о Проскурове-то думаешь? Какого-нибудь шалопаю сделают разве следователем по особо важным делам?

– Что вы это мелете? – вступился я. – Какие тут следователи, да еще по особо важным делам?

– То-то и я говорю, – ободрилась Матрена Ивановна, – врешь ты все, я вижу. Да что я-то, по-твоему, дура набитая, что ли? Неужто важные-то начальники такие бывают?

– Вот вы у меня Матрену Ивановну и смутили, – укоризненно покачал головой смотритель. – А ведь, в сущности, напрасно. Оно конечно, по штату такой должности у нас не предполагается, но если человек все-таки ее исполняет по особому, так сказать, доверию, то ведь это еще лучше.

– Ничего я тут не понимаю, – сказал я.

– То-то вот. Сами не понимаете, а женщину неопытную смутили! Ну а слышали вы, что у нас есть тут компания одна, вроде как бы на акциях, которая ворочает всеми делами больших дорог и темных ночей?.. Неужели и этого не слышали?

– Да слыхал, конечно.

– Ну, то-то. Компания, так сказать, всеобщая. Дело ведется на широкую ногу, под девизом: «Рука руку моет», и даже не чуждается некоторой гласности: по крайней мере, все отлично знают о существовании сего товарищества и даже лиц в нем участвующих, – все, кроме, конечно, превосходительного... Но вот недавно как-то, после одного блестящего дела, «самого» осенила внезапная мысль: надо, думает, «искоренить». Это, положим, бывало и прежде: искореняли сами себя члены компании, и все обходилось благополучно. Но на этот раз осенение вышло какое-то удивительное. Очень уж изволили сердиться, да и назначили своего чиновника особых поручений, Проскурова, следователем, с самыми широкими полномочиями по делам не только уже совершившимся, но и имеющим впредь совершиться, если в них можно подзреть связь с прежними.

– Что же тут удивительного?

– Оно конечно, бог умудряет и младенцы. Человек-то попался честный и энергичный, – вот что удивительно! Месяца три уж искоре-

няет: поднял такую возню, не дай господи! Лошадей одних заездили около десятка.

– Что же тут хорошего, особенно для вас?

– Да ведь заездил-то не Проскуров... Этот ездит аккуратно. Земская полиция все за ним на обывательских гоняется. Соревнование, знаете. Стараются попасть ранее на место преступления... для пользы службы, конечно. Ну, да редко им удается. Проскуров у нас настоящий Лекок. Раз, правда, успели один кончик ловко у него из-под носу вытащить... Огорчили бедного до такой степени, что он даже в официальном рапорте забылся: «Старанием, говорит, земских властей приняты были все меры к успешному сокрытию следов преступления». Ха-ха-ха!

– То-то вот, – сказала Матрена Ивановна, – я и говорю: озорник. Одного с тобой поля ягода-то!..

– Ну, уж не озорник, – возразил Василий Иванович, – Не-ет! А что раз промахнулся, так это и с серьезнейшими людьми бывает. Сам после увидал, что дал маху. Приступили к нему; пришлось бедняге оправдываться опиской... «На предбудущее время, – говорят ему, –

таких описок не допускать, под опасением отставки по расстроенному здоровью». Чудак! Ха-ха-ха!

– Ну а вы-то тут при чем? – спросил я.

Василий Иванович принял комически-серьезный вид.

– А я, видите ли, содействую. У нас тут, – спросите вот у Матрены Ивановны, – настоящий заговор, тайное сообщество. Он искореняет, а я ему, знаете ли, лошадок всегда наготове держу. Взять хоть сегодня: там, где-то по тракту, убийство, и его человек к нему с известием поскакал. Ну, значит, и сам искоренитель скоро явится; вот у меня лошади в хомутах, да и на других станках просил приятелей приготовить. Вот оно и выходит, что на скромном смотрительском месте тоже можно человечеству оказывать немаловажные услуги, д-да-с...

Под конец этой тирады веселый смотритель опять не выдержал серьезного тона и захохотал.

– Погодите, – сказал я ему. – Вы смеетесь. Скажите-ка мне серьезно: сами-то вы верите в эту искоренительную миссию или только

наблюдаете?

Василий Иванович крепко затянулся сигарой и замолчал.

– Представьте, – сказал он довольно серьезно, – ведь я еще сам не предлагал себе подобного вопроса. Погодите, дайте подумать... Да нет, какая к черту тут миссия! Загремит он скоро кверху тормашками, это верно. А тип, я вам скажу, интереснейший! Да вот вам пример: ведь оказывается, в сущности, что я в успех его дела не верю; иногда смешон мне этот искоренитель до последней крайности, а содействую, и даже, если хотите, Матрена Ивановна права: возбуждаю против себя «настоящее» начальство. Из-за чего? Да и я ли один? Везде у него есть свои люди... «сочувствующие». В этом его сила, конечно. Только... странно, что, кажется, никто в его успех не верит. Вот вы слышали: Матрена Ивановна говорит, что «настоящие начальники не такие бывают». Это отголоски общественного мнения. А между тем, пока этот младенец ломит вперед, «высоко держа знамя», как говорится в газетах, всякий человек с капелькой души или просто лично не заинтересован-

ный старается мимоходом столкнуть с его пути один, другой камешек, чтобы младенец не ушибся. Ну, да это, конечно, не поможет.

– Но почему? При сочувствии населения, в этом случае даже прямо заинтересованного?..

– То-то вот. Сочувствие это какое-то не вполне доброкачественное. Сами вы увидите, может быть, какое это чадо. Прет себе без всякой «политики» и горюшка мало, что его бука съест. А сторонний человек смотрит и головой качает: «Съедят, мол, младенца ни за грош!» Ну, и жалко. «Погоди-ка, – говорит сторонний человек, – я вот тут тебе дорожку почищу, а уж дальше съест тебя бука, как пить даст». А он идет, ничего! Поймите вы, что значит сочувствие, если нет веры в успех дела? Тут, мол, надо начальника настоящего, мудрого, яко змий, чтобы, знаете, этими обходцами ползать умел, величие бы являл, где надо, а где надо – и взяточкой бы не побрезгал, – без этого какой уж и начальник! Ну, тогда могла бы явиться и вера: «Этот, мол, скрутит!» Только... черт возьми! тогда не было бы сочувствия, потому что все дело объяснялось бы столкновением «начальственных» интере-

сов... Вот тут и поди!.. Э-эх, сторона наша, сторонушка!.. Давайте-ка лучше чай пить!

Василий Иванович круто оборвал и повернулся на стуле.

– Наливай, Матренчик, чаю, – сказал он как-то мягко жене, слушавшей все время с большим интересом речи супруга. – А прежде, – обратился он ко мне, – не дернуть ли нам по первой?..

Василий Иванович и сам представлял тоже один из интереснейших типов, какие, кажется, встречаются только в Сибири; по крайней мере, в одной Сибири вы найдете такого философа где-нибудь на почтовом станке в должности смотрителя. Еще если бы Василий Иванович был «из сосланных», то это было бы не удивительно. Здесь немало людей, которых колесо фортуны, низвергнуши с известной высоты, зашвырнуло в места отдаленные и которые здесь начинают вновь карабкаться со ступеньки на ступеньку, внося в эти «низменные» сферы не совсем обычные в них приемы, образование и культуру. Но Василий Иванович, наоборот, за свое вольнодумство

спускался медленно, но верно, с верхних ступеней на нижние. Он относился к этому с спокойствием настоящего философа. Получив под какими-то педагогическими влияниями, тоже нередкими в этой «ссылной стране», с ранней юности вкусы и склонности интеллигентного человека, он дорожил ими всю жизнь, пренебрегая внешними удобствами. Кроме того, в нем сидел художник. Когда Василий Иванович бывал в ударе, его можно было заслушаться до того, что вы забывали и дорогу, и спешное дело. Он сыпал анекдотами, рассказами, картинками; перед вами проходила целая панорама чисто местных типов своеобразной и забытой реформой страны: все эти заседатели, голодные, беспокойно-юркие и алчные; исправники, отъевшиеся и начинающие ощущать «удовольствие существования»; горные исправники, находящиеся на вершинах благополучия; советники, старшие советники, чиновники «всяких» поручений... И над всем этим миром, знакомым Василию Ивановичу до мельчайших закоулков, царило благодущие и величие местных юпитеров, с демонстративно-помпадурской грозой и с

младенчески наивным неведением страны, с кругозором петербургских департаментских канцелярий и властью могущественнейших сатрапов. И все это в рассказах Василия Ивановича освещалось тем особенным внутренним чувством, какое кладет истинный художник в изображение интересующего его предмета. А для Василия Ивановича его родина, которую он рисовал такими часто непривлекательными красками, составляла предмет глубоко интересный. Интеллигентный человек, в настоящем смысле этого слова, он с полным правом мог применить к себе стих поэта:

Люблю отчизну я, но странною любовью!

И он действительно любил ее, хоть эта плохо оцененная любовь и вела его к постепенной, как он выражался, «деградации». Когда, после одного из крушений, вызванных его обличительным зудом, ему предложили порядочное место в России, он, немного подумав, ответил предлагавшему:

«Нет, батюшка, спасибо вам, но я не могу...

Не могу-с! Что мне там делать? Все чужое. Помилуйте, да мне и выругать-то там будет некого».

Вообще, когда мне приходится слышать или читать сравнение Сибири с дореформенною Россией, сравнение, которое одно время было в таком ходу, мне всегда приходит на ум одно резкое различие. Различие это воплощается в виде толстой фигуры моего юмориста-приятеля. Дело в том, что у дореформенной России не было соседства России же реформированной, а у Сибири есть это соседство, и оно порождает то ироническое отношение к своей родной действительности, которое вы можете встретить в Сибири даже у людей не особенно интеллигентных. Наш российский Сквозник-Дмухановский в простоте своей душевной непосредственности полагал, что «так уж самим богом установлено, и волтерианцы напрасно против этого вооружаются». Сибирский же Сквозник видел упразднение своего русского прототипа, видел торжество волтерианцев, и его непосредственность давно уже утрачена. Он рвет и мечет, но в свое провиденциальное назна-

чение не верит. Пойдут одни «вевания» – он радуется; пойдут другие – он впадает в уныние и скрежещет. Правда, к отчаянию всегда примешивается частица надежды: «авось и на этот раз пронесет еще мимо», зато и ко всякой надежде примешивается горькое сомнение: «надолго ли?» Ибо «рубят лес за Уралом, а в Сибирь летят щепки». А тут еще в стороне стоит свой родной «волтерианец» во фризовой шинели и улыбается: «Что, мол, батюшка, покуда еще бог грехам терпит, ась?» – да втихомолку строчит корреспонденции в российские бесцензурные издания.

– Кстати, – спросил у меня Василий Иванович, когда после чаю мы закурили сигары, продолжая свою беседу, – вы мне ведь еще не рассказали, что такое случилось с вами тот раз в логу?

Я рассказал все уже известное читателю. Василий Иванович сидел задумчиво, рассматривая кончик нагоревшей сигары.

– Да, – сказал он, – странные люди...

– Вы их знали?

– Как вам сказать? Ну, встречал, и беседо-

вал, и чай, вот как с вами, пивал. А знать... ну, нет! Заседателей вот или исправников, быть может по родственности духа, насквозь вижу, а этих понять не могу. Одно только знаю твердо: несдобровать этому Силину – не теперь, так после покончат с ним непременно.

– Почему вы думаете?

– Да как же иначе? Происшествие с вами уже не первое. Во всех подобных опасных случаях, когда ни один ямщик не решится везти, обращаются к этому молодцу, и он никогда не откажется. И заметьте: никогда он не берет с собой никакого оружия. Правда, он всем импонирует. С тех пор как он уложил Безрукого, его сопровождает какое-то странное обаяние, и он сам, кажется, тоже ему поддается. Но ведь это иллюзия. Поговаривают уж тут разные ребята: «Убивца», мол, хоть заговоренною пулей, а все же взять можно...» Кажется, упорство, с каким этот Константин производит по нем свои выстрелы, объясняется именно тем, что он запасся такими заговоренными пулями.

V. «Искоренитель»

Василий Иванович насторожил среди разговора свои привычные уши.

– Погодите-ка, – сказал он, – кажется, колокольчик... Должно быть, Проскуров.

И при этом имени Василия Ивановича, очевидно, вновь обуяла его смешливая веселость. Он быстро подбежал к окну.

– Ну, так и есть. Катит наш искоренитель. Посмотрите-ка, посмотрите: ведь это картина. Ха-ха-ха!.. Вот всегда этак ездит. Аккуратнейший мужчина!

Я подошел к окну. Звон колокольчика быстро приближался, но сначала мне видно было только облако пыли, выкатившееся как будто из лесу и бежавшее по дороге к стану. Но вот дорога, пролежавшая под горой, круто свернула к станции, и в этом месте мы могли видеть ехавших – прямо и очень близко под нами.

Почтовая тройка быстро мчала легонькую таратайку. Из-под копыт разгорячившихся коней летел брызгами щебень и мелкая каменная пыль, но ямщик, наклонившись с об-

лучка, еще погонял и покрикивал. За ямщиком виднелась фигура в форменной фуражке с кокардой и штатском пальто. Хотя на ухабистой дороге таратайку то и дело трясло и подкидывало самым жестоким образом, но господин с кокардой не обращал на это ни малейшего внимания. Он тоже перегнулся, стоя, через облучок и, по-видимому, тщательно следил за каждым движением каждой лошади, контролируя их и следя, чтобы ни одна не отставала. По временам он указывал ямщику, какую, по его мнению, следует подхлестнуть, иногда даже брал у него кнут и старательно, хоть и неумело, подхлестывал сам. От этого занятия, поглощавшего все его внимание, он изредка только отрывался, чтобы взглянуть на часы.

Василий Иванович все время, пока тройка неслась в гору, хохотал как сумасшедший; но когда колокольчик, забившись отчаянно перед самым крыльцом, вдруг смолк, смотритель сидел уже на кушетке и, как ни в чем не бывало, курил свою сигару.

Несколько секунд со двора слышно было только, как дышат усталые лошади. Но вдруг

наша дверь отворилась, и в комнату вбежал новоприезжий. Это был господин лет тридцати пяти, небольшого роста, с несоразмерно большой головой. Широкое лицо, с выдававшимися несколько скулами, прямыми бровями, слегка вздернутым носом и тонко очерченными губами, было почти прямоугольно и дышало своеобразной энергией. Большие серые глаза смотрели в упор. Вообще физиономия Проскурова на первый взгляд поражала серьезностью выражения, но впечатление это после нескольких мгновений как-то стиралось. Аккуратные чиновничьи «котлетки», обрамлявшие гладко выбритые щеки, пробор на подбородке, какая-то странная торопливость движений тотчас же примешивали к первому впечатлению комизм, который только усиливался от контрастов, совмещавшихся в этой своеобразной фигуре.

Войдя в комнату, Проскуров сначала на мгновение остановился, потом быстро окинул ее взглядом и, увидев Василия Ивановича, тотчас же устремился к нему.

– Господин смотритель!.. Василий Иванович, голубчик!.. лошадей!.. Лошадей мне, ми-

лостивый государь, ради бога, поскорее!

Василий Иванович, развалясь на кушетке, хранил холодно-дипломатический вид.

– Не могу-с... Да вам, кажется, почтовых и не полагается, а земские нужны под заседателя – он скоро будет.

Проскуров сначала горестно изумился, потом вдруг вспыхнул.

– Что вы, что вы это? Ведь я прибыл раньше. Нет, позвольте-с... Во-первых, ошибаетесь и насчет почтовых: у меня на всякий случай подорожная... Но, кроме того, на законном основании...

Но Василий Иванович уже смеялся.

– А, черт возьми! Вечно вы с вашими шутками, а мне некогда! – досадливо сказал Проскуров, очевидно не в первый раз попадавший в эту ловушку. – Скорее, бога ради, у меня тут дело!

– Знаю, убийство...

– Да вы почему знаете? – встревожился Проскуров.

– Почему знаете! – передразнил смотритель. – Да ведь заседатель-то уж там. От него слышал.

– Э, врете вы опять, – просиял Проскуров, – они-то еще и ухом не повели, а уж у моих, знаете ли, и виновный, то есть, собственно... правильнее сказать – подозреваемый, в руках. Это, батюшка, такое дельце выйдет... громчайшее!.. Вот вы посмотрите, как я их тут всех ковырну!

– Ну, уж вы-то ковырнете! Смотрите, не ковырнули бы вас.

Проскуров вдруг встрепенулся. Во дворе забрякали колокольцы.

– Василий Иванович, – заговорил он вдруг каким-то заискивающим тоном, – там, я слышу, запрягают. Это мне, что ли?

При этом он схватил зрителя за руку и бросил тревожный взгляд в мою сторону.

– Ну, вам, вам... успокойтесь! Да что у вас там в самом-то деле?

– Убийство, батюшка! Опять убийство... Да еще какое! С явными признаками деятельности известной вам шайки. У меня тут нити. Если не ошибаюсь, тут несколько таких хвостиков прищемить можно... Ах, ради бога, поскорее!..

– Сейчас. Да где же это случилось?

– Все в этом же логу проклятом. Взорвать бы это место порохом, право! Ямщика убили..

– Что такое? Уж не ограбление ли почты?

– Э, нет, «вольного».

– «Убивца»? – вскрикнул я, пораженный внезапною догадкой.

Проскуров обернулся ко мне и впился в мое лицо своими большими глазами.

– Д-действительно-с... убитого так звали. А позвольте спросить: почему это вас так интересует?

– Гм... – промычал Василий Иванович, и в глазах его забегали веселые огоньки. – Допросите-ка его, хорошенько допросите!

– Я встречался с ним ранее.

– Та-ак-с!.. – протянул Василий Иванович, – встречались... А не было ли у вас вражды или соперничества, не ожидали ли по покойном наследства?

– Да ну вас, с вашими шутками! Что за несносный человек! – досадливо отмахнулся опять Проскуров и обратился ко мне: – Извините, милостивый государь, собственно, я во все не имел в виду привлечь вас к делу, но вы понимаете... интересы, так сказать...

– Правосудия и законности, – ввернул опять неисправимый смотритель.

– Одним словом, – продолжал Проскуров, бросив на Василия Ивановича подавляющий взгляд, – я хотел сказать, что внимание к интересам правосудия обязательно для всякого, так сказать, гражданина. И если вы можете сообщить какие-либо сведения, идущие к делу, то... вы понимаете... одним словом, обязаны это сделать.

У меня мелькнуло вдруг смутное соображение.

– Не знаю, – ответил я, – насколько могут способствовать раскрытию дела те сведения, какие я могу доставить. Но я рад бы был, если б они оказались полезны.

– Превосходно! Подобная готовность делает вам честь, милостивый государь. Позвольте узнать, с кем имею удовольствие?..

Я назвался.

– Афанасий Иванович Проскуров, – отрекомендовался он в свою очередь. – Вы вот изъявили сейчас готовность содействовать правосудию. Так вот, видите ли, чтоб уж не делать дело вполовину, не согласитесь ли вы,

милостивый государь... одним словом... ехать теперь же со мною?

Василий Иванович захохотал.

– Н-ну, уж это... я вам скажу... Это черт знает что такое! Да вы что, арестовать его, что ли, намерены?

Проскуров быстро и как будто сконфуженно схватил мою руку.

– Не думайте, пожалуйста, – заговорил он. – Помилуйте, какие же основания?..

Я поспешил его успокоить, что мне вовсе не приходило в голову ничего подобного.

– Да и Василий Иванович, конечно, шутит, – добавил я.

– Я рад, что вы меня понимаете. Мне время дорого! Тут всего, знаете ли, два перегона. Дорогой вы мне сообщите, что вам известно. Да, кстати же, я без письмоводителя.

Я не имел причины отказать.

– Напротив, – сказал я Проскурову, – я сам хотел просить вас взять меня с собою, так как меня лично крайне интересуется это дело.

Передо мной, точно живой, встал образ «убийца», с угрюмыми чертами, со страдальческой складкой между бровей, с затаенною

думой в глазах. «Скликает воронья на мою головушку, проклятый!» – вспомнилось мне его тоскливое предчувствие. Сердце у меня сжалось. Теперь это воронье кружилось над его угасшими очами в темном логоу, и прежде уже омрачившем его чистую жизнь своею зловещею тенью.

– Эге-ге! – закричал вдруг Василий Иванович, внимательно вглядываясь в окно. – Афанасий Иванович, не можете ли сказать, кто это едет вон там под самым лесом?

Проскуров только взглянул в окно и тотчас же кинулся к выходу.

– Поскорей, ради бога, – кинул он мне на ходу, хватая со стола фуражку.

Я тоже наскоро собрался и вышел. В ту же минуту к ступеням крыльца подкатила ретивая тройка.

Взглянув в сторону леса, я увидел вдали быстро приближавшуюся повозку. Седок при вставал иногда и что-то делал над спиной ямщика; виднелись поднимаемые и опускаемые руки. Косвенные лучи вечернего солнца переливались слабыми искорками в пуговицах и погонах.

Проскуров расплачивался с привезшим его ямщиком. Парень осклабился с довольным видом.

– Много довольны, ваше благородие...

– Сказал товарищу, вот ему? – ткнул

Проскуров в нового ямщика.

– Знаем, – ответил тот.

– Ну, смотри, – сказал следователь, усаживаясь в повозку. – Приедешь в полтора часа – получишь рубль, а минутой – понимаешь? – одной только минутой позже...

Тут лошади подхватили с места, и Проскуров поперхнулся, не докончив начатой фразы.

VI. Евсеич

До Б. было верст двадцать. Проскуров сначала все посматривал на часы, сличая расстояние, и по временам тревожно озирался назад. Убедившись, что тройка мчится лихо и погони сзади не видно, он обратился ко мне:

– Ну-с, милостивый государь, что же, собственно, нам известно по этому делу?

Я рассказал о своем приключении в логу, о предчувствии ямщика, об угрозе, которую послал ему один из грабителей, как мне казалось, – купец. Проскуров не проронил ни одного слова.

– Д-да, – сказал он, когда я кончил. – Все это будет иметь свое значение. Ну-с, а помните ли вы лица этих людей?

– Да, за исключением разве купца.

Проскуров бросил на меня взгляд, исполненный глубокой укоризны.

– Ах, боже мой! – воскликнул он, и в тоне его слышалась горечь разочарования. – Гм... Конечно, вы не виноваты, но его-то именно вам следовало заметить. Жаль, очень жаль... Ну, да все же он не избегнет правосудия.

Менее чем в полтора часа мы были уже на стане. Распорядившись, чтобы поскорей запрягли, Проскуров приказал позвать к себе сотского.

Тотчас же явился мужичок небольшого роста, с жидкой бородкой и плутоватыми глазами. Выражение лица представляло характерную смесь добродушия и лукавства, но в общем впечатление от этой фигуры было приятное и располагало в пользу ее обладателя. Худой зипунишко и вообще рваная, убогая одежка не обличали особенного достатка. Войдя в избу, он поклонился, потом выглянул за дверь, как бы желая убедиться, что никто не подслушивает, и затем подошел ближе. Казалось, в сообществе с Проскуровым он чувствовал себя не совсем ловко и даже как будто в опасности.

– Здравствуй, здравствуй, Евсеич, – сказал чиновник радушно. – Ну, что? Птица-то у нас не улетела?

– Пошто улетит? – сказал Евсеич, переминаясь. – Сторожим тоже.

– Пробовал ты с ним заговаривать?.. Что говорит?

– Пробовал-то пробовал, да, вишь, он разговаривать-то не больно охоч. Перво я к нему было добром, а опосля, признаться, пострадал-таки маленько! «Что, мол, такой-сякой, лежишь, ровно статуя? Знаешь, мол, кто я по здешнему месту?» – «А кто?» – спрашивает. «Да начальство, мол, вот кто... сотский!» – «Этаких, говорит, начальствов мы по морде бивали...» Что ты с ним поделаешь? Отчаянный!.. Известно, жиган!

– Ну, хорошо, хорошо! – перебил нетерпеливо Проскуров. – Сторожите хорошенько. Я скоро вернусь.

– Не убеет. Да ён, ваше благородие – надо правду говорить – смирной... Кою пору все только лежит да в потолок смотрит. Дрыхнет ли, так ли отлеживается, шут его знает... Раз только и вставал-то: поесть бы, сказывает, охота. Покормил я его маленько, попросил он еще табачку на цигарку да опять и залег.

– Ну и отлично, братец. Я на тебя надеюсь. Если приедет фельдшер, посылай на место.

– Будьте благонадежны. А что я хотел спросить, ваше благородие?..

Евсейч опять подошел к двери и выглянул

В сени.

– Ну, что еще? – спросил Проскуров, направлявшийся было к выходу.

– Да, значит, теперича так мы мекаем, – начал Евсеич, политично переминаясь и искоса поглядывая на меня, – теперича ежели мужикам на *них* налегнуть, так в самую бы пору... Миром, значит, или бы сказать: скопом.

– Ну? – сказал Проскуров и нагнул голову, чтобы лучше вслушаться в бессвязное объяснение мужика.

– Да как же, ваше благородие, сами судите! Терпеть не можно стало; ведь беспокойство! Какую теперича силу взяли, и все нипочем... Теперича хоть бы самый этот жиган... Он что такое? Можно сказать – купленный человек, больше ничего, что за деньги... Не он, так другой...

– Справедливо, – поощрил Проскуров, очевидно, сильно заинтересованный. – Ну, продолжай, братец. Ты, я вижу, мужик с головой. Что же дальше?

– Ну, больше ничего, что ежели теперича мужики видели бы себе подмогу... мы бы, может, супротив *их* осмелились... Мало ли тепе-

рича за ними качеств? Мир – великое дело.

– Что ж, помогите вы правосудию, и правосудие вам поможет, – сказал Проскуров не без важности.

– Известно, – произнес Евсеич задумчиво. – Ну, только опять так мы, значит, промежду себя мекаем: ежели, мол, теперича вам, ваше благородие, супротив начальников не выстоять будет, тут мы должны вовсе пропасть и с ребятами. Потому – ихняя сила...

Проскуров вздрогнул, точно по нем пробежала электрическая искра, и, быстро схватив фуражку, выбежал вон. Я последовал за ним, оставив Евсеича в той же недоумевающей позе. Он разводил руками и что-то бормотал про себя.

А Проскуров садился в повозку в полном негодовании.

– Вот так всегда! – говорил он. – Все компромиссы, всюду компромиссы... Обеспечь им успех, тогда они согласны оказать поддержку правосудию... Что вы на это скажете? Ведь это... это-с – разврат наконец... Отсутствие сознания долга.

– Если уж вы обратились ко мне с этим во-

просом, – сказал я, – то я позволю себе не согласиться с вами. Мне кажется, они вправе требовать от «власти» гарантии успеха правого дела *на легальном пути*. Иначе в чем же состоит самая идея власти?.. Не думаете ли вы, что раз миру воспрещен самосуд, то тем самым взяты известные обязательства? И если они не исполняются, то...

Проскуров живо повернулся в мою сторону и, по-видимому, хотел что-то сказать, но не сказал ничего и глубоко задумался.

Мы отъехали верст шесть, и до лога оставалось не более трех, когда сзади послышался колокольчик.

– Ага! – сказал Проскуров, – едет без перепряжки. Ну да тем лучше: не успеет повидаться с арестованным. Я так и думал.

VII. Заседатель

Солнце задело багряным краем за черту горизонта, когда мы подъехали к логу. Свету было еще достаточно, хотя в логу залегали уже густые вечерние мѳроки. Было прохладно и тихо. «Камень» молчаливо стоял над туманами, и над ним подымался полный, хотя еще бледный, месяц. Черная тайга, точно заклиная, дремала недвижимо, не шелохнув ни одною веткой. Тишина нарушалась только звоном колокольчика, который гулко носился в воздухе, отдаваемый эхом ущелья. Сзади слышался такой же звон, только послабее.

У кустов курился дымок. Караульные крестьяне сидели вокруг костра в утрюмом молчании. Увидев нас, они встали и сняли шапки. В сторонке, под холщовым покрывалом, лежало мертвое тело.

– Здравствуйте, братцы! – сказал следователь тихо.

– Здорово, ваше благородие! – отвечали крестьяне.

– Ничего не трогали с места?

– Ничего будто... *Его* маленьчко обрядили:

не хорошо, значит... Скотину не тронули.

– Какую скотину?

– Да ведь как же: пегашку-то пристрелили же варвары... На вершной покойник-то возвращался.

Действительно, в саженьях тридцати у дороги виднелась убитая лошадь.

Проскуров занялся осмотром местности, пригласив с собою и караульных. Я подошел к покойнику и поднял полог с лица.

Мертвенно-бледные черты были спокойны. Потускневшие глаза смотрели вверх, на вечернее небо, и на лице виднелось то особенное выражение недоумения и как будто вопроса, которое смерть оставляет иногда как последнее движение улетающей жизни... Лицо было чисто, не запятнано кровью.

Через четверть часа Проскуров с крестьянами прошел мимо меня, направляясь к перекрестку. Навстречу им подъезжала задняя повозка.

Из нее вышел немолодой мужчина в полицейской форме и молодой штатский господин, оказавшийся фельдшером.

Заседатель, видимо, сильно устал. Его ши-

рокая грудь работала, как кузнечные мехи, и все тучное тело ходило ходуном под короткою форменною шинелью довольно изящного покроя. Щеки тоже вздувались и опадали, причем нафабранные большие усы то подымались концами и становились перпендикулярно, то опять припадали к ушам. Большие, сероватые с проседью и курчавые волосы были покрыты пылью.

– У-уф, – заговорил он, пыхтя и отдуваясь. – За вами, Афанасий Иванович, не поспеешь. Здравствуйте!

– Мое почтение, – ответил Проскуров холодно. – И напрасно изволили торопиться. Я мог бы и обождать.

– Нет, зачем же-с?.. У-уф!.. Служба прежде всего-с... Не люблю, знаете ли, когда меня дожидаются. Не в моих правилах-с.

Заседатель говорил сильным армейским басом, при звуках которого невольно вспоминается запах рому и жуковского табаку. Глаза его, маленькие, полинявшие, но все еще довольно живые и бойкие, бегали между тем по сторонам, тревожно исследуя обстановку. Они остановились на мне.

– Это мой знакомый, – отрекомендовал меня Проскуров, – господин NN, временно исполняющий обязанности моего письмоводителя.

– Имел удовольствие слышать-с. Очень приятно-с. Отставной штабс-капитан Безрылов.

Безрылов поднес руку к козырьку и молодежато щелкнул шпорами.

– Отлично-с. Теперь мы можем приступить к исследованию. Отделаем по-военному, живо, пока еще засветло. Эй, понятые, сюда!..

Караульные крестьяне приблизились к начальству и все вместе двинулись к мертвому телу. Первым подошел очень развязно Безрылов и сразу отдернул весь полог.

Мы все отшатнулись при виде открывшейся при этом картины. Вся грудь убитого представляла одну зияющую рану, прорезанную и истыканную в разных направлениях. Невольный ужас охватывал душу при виде этих следов иступленного зверства. Каждая рана была бы смертельна, но было очевидно, что большинство из них нанесены мертвому.

Даже господин Безрылов потерял всю свою

развязность. Он стоял неподвижно, держа в руке конец полога. Его щеки побагровели, а концы усов угрожающе торчали, как два копья.

– Р-рак-ка-льи! – произнес он наконец и как-то глубоко вздохнул.

Быть может, в этом вздохе сказалось сожаление о том, что для господина Безрылова нет уже возврата с пути укрывательства и потачек.

Он тихо закрыл полог и обратился к Проскурову, который между тем уставился на него своими упорными глазами.

– Пожалуйста, – попросил заседатель, опуская глаза, – опишем при вскрытии, завтра... Теперь исследуем обстановку и перенесем тело в Б.

– А там произведем допрос арестованному по этому делу, – сказал Проскуров жестко.

Глаза Безрылова забегали, как два затравленных зверька.

– Арестованному? – переспросил он. – У вас есть уже и арестованный?.. Как же мне... как же я ничего не знал об этом?

Он был жалок, но тотчас же попытался

оправиться. Кинув быстрый, враждебный взгляд на крестьян и на своего ямщика, он обратился опять к Проскурову:

– Вот и отлично-с. У вас дело кипит в руках... зам-мечательно...

VIII. «Иван тридцати восьми лет»

Около полуночи, отдохнув несколько и напившись чаю, чиновники приступили к следствию.

В довольно просторной комнате, за столом, уставленным письменными принадлежностями, поместился посередине Проскуров. Его несколько комичная подвижность исчезла; он стал серьезен и важен. Справа уселся Безрылов, успевший совершенно оправиться и вновь приобретший свою армейскую развязность. Во время короткого роздыха он умылся, нафабрил усы и взбил свои седоватые кудри. Вообще Безрылов стал бодр и великолепен. Похлебывая густой чай из стоявшего перед ним стакана, он посматривал на следователя с снисходительной улыбкой. Я уселся на другом конце стола.

– Прикажете ввести арестованного, – ска-

зал Проскуров, подымая глаза от листа бумаги, на котором он быстро писал форму допроса. Безрылов кивнул только головой, и Евсеич бросился вон из избы.

Через минуту входная дверь отворилась, и в ней резко обрисовалась высокая фигура того самого мужчины, которого я видел с Кóстюшкой на перевозе задумчиво следящим за облаками.

Входя в комнату, он слегка запнулся за порог, оглядел то место, за которое задел, потом вышел на середину и остановился. Его походка была ровна и спокойна. Широкое лицо, с грубоватыми, но довольно правильными чертами, выражало полное равнодушие. Голубые глаза были несколько тусклы и неопределенно смотрели вперед, как будто не видя ближайших предметов. Волосы подстрижены в скобку. На новой ситцевой рубахе виднелись следы крови.

Проскуров передал мне «форму» и, подвинув перо и чернильницу, приступил к обычному опросу.

– Как зовут?

– Иван тридцати восьми лет.

– Где имеете место жительства?

– Без приюту... в бродяжестве...

– Скажите, Иван тридцати восьми лет, вами ли совершено сего числа убийство ямщика Федора Михайлова?

– Так точно, ваше благородие, моя работа...

Что уж, видимое дело...

– Молодец! – одобрил бродягу Безрылов.

– Что ж, ваше благородие, зачем чинить напрасную проволочку?.. Не отопрешься.

– А по чьему научению или подговору? – продолжал следователь, когда первые ответы были записаны. – И откуда у вас те пятьдесят рублей тридцать две копейки, которые найдены при обыске?

Бродяга вскинул на него своими задумчивыми глазами.

– Ну, уж это, – ответил он, – ты, ваше благородие, лучше оставь! Ты свое дело знаешь – ну и я свое тоже знаю... Сам по себе работал, больше ничего... Я, да темная ночка, да тайга-матушка – сам-третей!..

Безрылов крякнул и с наслаждением отхлебнул сразу полстакана, кидая на Проскурова насмешливый взгляд. Затем он опять уста-

вился на бродягу, видимо любуясь его образцовой тюремной выправкой, как любитесь служака-офицер на бравого солдата.

Проскуров оставался спокоен. Видно было, что он и не особенно рассчитывал на откровенность бродяги.

– Ну а не желаете ли сказать, – продолжал он свой допрос, – почему вы так зверски изрезали убитого вами Федора Михайлова? Вы имели против покойного личную вражду или ненависть?

Допрашиваемый смотрел на следователя с недоумением.

– Пырнул я его ножиком раз и другой... Более, кажись, не было... Свалился он...

– Десятник, – обратился Проскуров к крестьянину, – возьмите свечу и посветите арестанту. А вы взгляните в ту комнату.

Бродяга все тою же ровною походкой подошел к двери и остановился. Крестьянин, взяв со стола одну свечу, вошел в соседнюю горницу.

Вдруг жиган вздрогнул и отшатнулся. Потом, взглянув с видимым усилием еще раз в том же направлении, он отошел к противополо-

ложной стене. Мы все следили за ним в сильнейшем волнении, которое как будто передавалось нам от этой мощной, но теперь сложенной и подавленной фигуры.

Он был бледен. Некоторое время он стоял, опустив голову и опершись плечом о стену. Потом он поднял голову и посмотрел на нас смутным и недоумевающим взглядом.

– Ваше благородие... хрестьяне православные, – заговорил он умоляющим тоном, – не делал я этого. Верьте совести – не делал!.. Со страху нешто, не помню... Да нет, не может этого быть...

Вдруг он оживился. Глаза его в первый раз сверкнули.

– Ваше благородие, – заговорил он решительно, подходя к столу, – пишите: Кóстюшка это сделал, – Костинкин, – рваная ноздря!.. Он, беспрременно он, подлец!.. Никто, как он, человека этак испакостил. Его дело... Все одно: товарищ, не товарищ – знать не хочу!.. Пишите, ваше благородие!..

При этой неожиданной вспышке откровенности Проскуров быстро выхватил у меня перо и бумагу и приготовился записывать

сам. Бродяга тяжело и как будто с усилием стал развертывать перед нами мрачную драму.

Он бежал из N-ского острога, где содержался за бродяжество, и некоторое время слонялся без дела, пока судьба не столкнула его в одном «заведении» с Кóстюшкой и его товарищами. Тут в первый раз услышал он разговор про покойного Михалыча: «Убивец», мол, такой человек, его ничем не возьмешь, ни ножом, ни пулей, потому заколдован». – «Пустое дело, господа, – я говорю, – не может этого быть. Всякого человека железом возьмешь». – «А вы, спрашивают, кто такие будете, какого роду-племени?» – «А это, говорю, дело мое. Острог – мне батюшка, а тайга – моя матушка. Тут и род, тут и племя, а что не люблю слушать, когда, например, пустяки этакие говорят... вот что!» Ну, слово за слово, разговорились, приняли они меня в компанию свою, полуштоф поставили, потом Костинкин и говорит: «Ежели вы, говорит, человек благонадежный, то не желаете ли с нами на фарт[3] идти?» – «Пойду», – говорю. «Ладно, мол, нам человек нужен. Днем ли, ночью ли, а уж в ло-

гу беспременно дело сделать надо, потому что капиталы повезет тут господин из города большие. Только смотри, говорит, не хвастаешь ли? Ежели с другим ямщиком господин этот поедет, сделаем дело, раздуванием честь честью... Ну а ежели „убивец“ опять повезет – смотри, убеgehь». – «Не будет этого, говорю, чтоб я убег». – «Ну, ладно, мол: ежели имеешь в себе такой дух, то будешь счастливый человек, – за „убивца“ можешь себе награду получить большую!..»

– Награду? – переспросил Проскуров. – От кого же?

– Ты вот что, господин, – сказал бродяга, – ты слушай меня, пока я говорю, а спрашивать будешь после... Ну, признаться сказать, на первый-то раз убег я, испужался. Главная причина – товарищи выдали. Идет на нас Михалыч, стыдно сказать, с кнутиком, а Костинкин с ружьем в первую голову убежал. Ну, подался и я, сробел... Да он же, подлец, потом первый на смех меня поднял. Язвительный он, Костинкин то есть. «Ладно, говорю, идем опять. Да смотри, Костюша, убеgehь ежели, – сам жив от меня не останешься!» Три дня мы

в логу этом прожили, все его дожидались. На третий день проехал он под вечер: значит, ночью ему назад ворочаться. Изготовились мы; слышим: едет тихонько на вершной. Выпал Костинкин из ружья, пегашку свалил. Михалыч кинулся в кусты, как раз на меня... прямо... Стукнуло у меня сердце-то, признаться, да вижу – все одно, мол: либо он, либо я!.. Изловчился, хватить его ножиком, да плохо. Схватил он меня за руку, нож вырвал, самого – обзечь. Силен был покойник. Подмял; гляжу – пояс снимает, хочет вязать. А у меня за голенищем другой ножик в запасе. Добыл я его тихонько, повернулся да опять его... под ребро... Состонал он, повернул меня лицом кверху, наклонился, посмотрел в глаза... «А! – говорит, – чуяло мое сердце!.. Ну, теперь ступай с богом, не тирань. Убил ты меня до смерти...» Встал я, гляжу: мается он... хотел было подняться – не смог. «Прости меня», – говорю. «Ступай, отвечает, ступай себе... бог простит ли, а я прощаю...» Я ушел и не подходил более, поверьте совести... Костинкин это, видно, после меня на него набросился...

Бродяга смолк и тяжело опустился на лав-

ку. Проскуров быстро дописал. Было тихо.

– Теперь, – заговорил опять следователь, – докончите ваше чистосердечное признание. Какой купец был с вами во время первого нападения и от чьего имени Кóстюшка обещал награду за убийство Федора Михайлова?

Безрылов разочарованно смотрел на ослабевшего бродягу. Но тот вдруг поднялся со скамьи и принял прежний равнодушно-рассеянный вид.

– Будет! – сказал он твердо. – Боле не стану... Довольно!.. Про Кóстюшку-то все записали?.. Ну и ладно, вперед не пакости он! Прикажите, ваше благородие, увести меня, более ничего не скажу.

– Послушайте, Иван тридцати восьми лет, – сказал следователь, – считаю нужным предупредить вас, что чем полнее будет ваше сознание, тем мягче отнесется к вам правосудие. Сообщников же ваших вы все равно не спасете.

Бродяга пожал плечами.

– Это дело не наше. Мне все единственно.

Очевидно, не было надежды добиться от него чего-либо еще. Его вывели.

IX. Ход

Предстоит допрос свидетелей.

Они столпились кучкой у задней стены. Серая толпа с угрюмыми лицами стояла, переминаясь, в тяжелом молчании. Впереди всех был Евсеич. Лицо его было красно, губы сжаты, лоб наморщен. Он кидал исподлобья довольно мрачные взгляды, останавливая их то на Безрылове, то на следователе. По всему было видно, что в этой толпе и в Евсеиче, ее представителе, созрело какое-то решение.

Безрылов сидел на лавке, расставив широко ноги и пощелкивая пальцем одной руки по другой. Пока крестьяне входили и занимали места, он смотрел на них внимательно и вдумчиво. Потом, окинув всю толпу холодным, презрительным взглядом, он слегка, почти незаметно покачал головой и, усмехнувшись, обратился к Проскурову:

– Кстати, Афанасий Иванович, я ведь и забыл поздравить вас с приятною новостью... Уж извините... Все эти хлопоты... Просто из ума вон...

– С чем это? – спросил Проскуров, не отры-

ваясь от чтения протокола.

– Как? – просиял Безрылов. – Значит, вам ничего неизвестно, и я, некоторым образом, первый буду иметь удовольствие сообщить вам это приятное известие? Очень, оч-чень приятно-с...

Проскуров поднял глаза на заседателя, который между тем подходил к нему, брякая шпорами и обворожительно улыбаясь.

– Вы получаете назначение исправляющим должность казначея в Н-ск... Ну, да это, конечно, одна форма; без сомнения, вы будете утверждены окончательно. Поздравляю, голубчик, – продолжал Безрылов самым задушевным и благожелательным тоном, завладевая рукой удивленного Проскурова, – поздравляю от всего сердца.

Но Проскуров плохо оценил дружеское поздравление; он быстро отдернул руку и вскочил с места.

– По... позвольте-с, милостивый государь, – заговорил он торопливо и даже заикаясь. – Здесь шутить не место. Н-не место-с!.. Думаете, я не понимаю вашей тактики? Ошибаетесь, милостивый государь. Я не теленок... да-

с, милостивый государь, не теленок-с!..

– Что вы, бог с вами, Афанасий Иванович! – изумился Безрылов и даже развел руками и оглянулся, как будто призывая всех присутствующих в свидетели черной неблагодарности Проскурова. – Смею ли я шутить?.. Официальное назначение... сам читал бумагу-с... Уверяю вас... Ну, и местечко, я вам скажу! – продолжал он, изменив тон и вновь впадая в дружескую фамильярность. – Теперь уж вам не придется возиться с этими неприятными делами. Даже и настоящее дело нам, несчастным, придется, вероятно, кончать без вашего незаменимого содействия... Жаль, конечно!.. Зато за вас... приятно-с. Место тихое, спокойное... ха-ха-ха!.. Как раз... ха-ха-ха!.. по вашему нраву... И притом... от купечества... ха-ха-ха-ха-ха!.. благодарность...

Безрылов как будто перестал стесняться, и его смех, от которого сотрясалась вся его тучная фигура, становился даже неприличен... А Проскуров стоял перед ним точно окаменелый, держась за стол обеими руками. Его лицо сразу как-то осунулось и пожелтело, и на нем застыло выражение горестного изумле-

ния. В эту минуту – увы! – он действительно напоминал... теленка.

Я посмотрел на крестьян. Все они как-то подались головами вперед, только Евсеич стоял, низко нагнув голову, по своему обычаю, и слушал внимательно, не проронив ни одного слова.

Дальнейший допрос не представлял уже в моих глазах ни малейшего интереса. Я вышел в переднюю...

Там, в углу на лавке, сидел жиган. Несколько крестьян-караульных стояли в стороне. Я подошел к арестованному и сел рядом. Он посмотрел на меня и подвинулся.

– Скажите мне, – спросил я у него, – неужели у вас действительно не было никакой вражды к покойному Михайлову?

Бродяга вскинул на меня своими спокойными голубыми глазами.

– Чего? – переспросил он. – Какая может быть вражда? Нет, не видывал я его ранее.

– Так из-за чего же вы убили? Ведь уж наверное не из-за тех пятидесяти рублей, что при вас найдены?

– Конечно, – произнес он задумчиво. – Нам,

при нашей жизни, вдесятеро столько – и то на неделю хватит, а так, что значит... может ли быть, например, эдакое дело, чтобы вдруг человека железом не взять...

– Неужто из любопытства стоило убивать другого да и себе жизнь портить?

Бродяга посмотрел на меня с каким-то удивлением.

– Жизнь, говоришь?.. Себе то есть?.. Какая может быть моя жизнь? Вот нынче я Михалыча прикончил, а доведись иначе, может, он бы меня уложил...

– Ну нет, он не убил бы.

– Твоя правда: мог он убить меня – сам жив бы остался.

– Тебе его жалко?

Бродяга посмотрел на меня, и взгляд его сверкнул враждой.

– Уйди ты! Что тебе надо? – сказал он и потом прибавил, понутив голову: – Такая уж моя линия!..

– Какая?

– А вот такая же... Потому как мы с измалетства на тюремном положении...

– А бога ты не боишься?

– Бога-то? – усмехнулся бродяга и тряхнул головой. – Давненько что-то я с ним, с богом-то, не считался... А надо бы! Может, еще за ним сколько-нибудь моего замоленного осталось... Вот что, господин, – сказал он, переменяв тон, – ничего этого нам не требуется. Что ты пристал? Говорю тебе: линия такая. Вот теперь я с тобой беседую как следует быть, аккуратно. А доведись, в тайге-матушке или хоть тот раз, в логу, – тут опять разговор был бы иного рода... Потому – линия другая... Эхма!

Он опять встряхнул своими русыми волосами.

– Нет ли, господин, табачку покурить? Страсть курить охота! – заговорил он вдруг как-то развязно, но мне эта развязность показалась фальшивой.

Я дал ему папиросу и вышел на крыльцо. Из-за лесу подымалось уже солнце. С «Камня» над логом снимались ночные туманы иплыли на запад, задевая за верхушки елей и кедров. На траве сверкала роса, а в ближайшее окно виднелись желтые огоньки восковых свечей, поставленных в изголовье мертвого

Тела.

1882

Сон Макара

СВЯТОЧНЫЙ рассказ

I

Этот сон видел бедный Макар, который загнал своих телят в далекие, угрюмые страны, – тот самый Макар, на которого, как известно, валятся все шишки.

Его родина – глухая слободка Чалган – затерялась в далекой якутской тайге. Отцы и деды Макара отвоевали у тайги кусок промерзшей землицы, и, хотя угрюмая чаща все еще стояла кругом враждебной стеной, они не унывали. По расчищенному месту побежали изгороди, стали скирды и стога; разрастались маленькие дымные юртенки; наконец, точно победное знамя, на холмике из середины поселка выстрелила к небу колокольня. Стал Чалган большою слободой.

Но пока отцы и деды Макара воевали с тайгой, жгли ее огнем, рубили железом, сами они незаметно дичали. Женясь на якутках, они перенимали якутский язык и якут-

ские нравы. Характеристические черты великого русского племени стирались и исчезали.

Как бы то ни было, все же мой Макар твердо помнил, что он коренной чалганский крестьянин. Он здесь родился, здесь жил, здесь же предполагал умереть. Он очень гордился своим званием и иногда ругал других «погаными якутами», хотя, правду сказать, сам не отличался от якутов ни привычками, ни образом жизни. По-русски он говорил мало и довольно плохо, одевался в звериные шкуры, носил на ногах торбаса,[4] питался в обычное время одною лепешкой с настоем кирпичного чая, а в праздники и в других экстренных случаях съедал топленого масла именно столько, сколько стояло перед ним на столе. Он ездил очень искусно верхом на быках, а в случае болезни призывал шамана, который, беснуясь, со скрежетом кидался на него, стараясь испугать и выгнать из Макара засевшую хворь.

Работал он страшно, жил бедно, терпел голод и холод. Были ли у него какие-нибудь мысли, кроме непрерывных забот о лепешке и чае?

Да, были.

Когда он бывал пьян, он плакал. «Какая наша жизнь, – говорил он, – господи боже!» Кроме того, он говорил иногда, что желал бы все бросить и уйти на «гору». Там он не будет ни пахать, ни сеять, не будет рубить и возить дрова, не будет даже молотить зерно на ручном жернове. Он будет только спасаться. Какая это гора, где она, он точно не знал; знал только, что гора эта есть, во-первых, а во-вторых, что она где-то далеко, – так далеко, что оттуда его нельзя будет добыть самому тойону-исправнику... Податей платить, понятно, он также не будет...

Трезвый он оставлял эти мысли, быть может сознавая невозможность найти такую чудную гору; но пьяный становился отважнее. Он допускал, что может не найти настоящую гору и попасть на другую. «Тогда пропадать буду», – говорил он, но все-таки собирался; если же не приводил этого намерения в исполнение, то, вероятно, потому, что поселенцы-татары продавали ему всегда скверную водку, настоящую, для крепости, на махорке, от которой он вскоре впадал в бесси-

лие и становился болен.

II

Дело было в канун Рождества, и Макару было известно, что завтра большой праздник. По этому случаю его томило желание выпить, но выпить было не на что: хлеб был в исходе; Макар уже задолжал у местных купцов и у татар. Между тем завтра большой праздник, работать нельзя, – что же он будет делать, если не напьется? Эта мысль делала его несчастным. Какая его жизнь! Даже в большой зимний праздник он не выпьет одну бутылку водки!

Ему пришла в голову счастливая мысль. Он встал и надел свою рваную *сону* (шубу). Его жена, крепкая, жилистая, замечательно сильная и столь же замечательно безобразная женщина, знавшая насквозь все его нехитрые помышления, угадала и на этот раз его намерение.

– Куда, дьявол? Опять один водку кушать хочешь?

– Молчи! Куплю одну бутылку. Завтра вместе выпьем. – Он хлопнул ее по плечу так

сильно, что она покачнулась, и лукаво подмигнул. Таково женское сердце: она знала, что Макар непременно ее надует, но поддалась обаянию супружеской ласки.

Он вышел, поймал в *аласе*[5] старого лысанку, привел его за гриву к саням и стал запрягать. Вскоре лысанка вынес своего хозяина за ворота. Тут он остановился и, повернув голову, вопросительно поглядел на погруженного в задумчивость Макара. Тогда Макар дернул левою вожжей и направил коня на край слободы.

На самом краю слободы стояла небольшая юртенка. Из нее, как и из других юрт, поднялся высоко-высоко дым камелька, застилая белую, волнующеюся массою холодные звезды и яркий месяц. Огонь весело переливался, отсвечивая сквозь матовые льдины. На дворе было тихо.

Здесь жили чужие, дальние люди. Как попали они сюда, какая непогода кинула их в далекие дебри, Макар не знал и не интересовался, но он любил вести с ними дела, так как они его не прижимали и не очень стояли за плату.

Войдя в юрту, Макар тотчас же подошел к камельку и протянул к огню свои иззябшие руки.

– Ча! – сказал он, выражая тем ощущение холода.

Чужие люди были дома. На столе горела свеча, хотя они ничего не работали. Один лежал на постели и, пуская кольца дыма, задумчиво следил за его завитками, видимо, связывая с ними длинные нити собственных дум. Другой сидел против камелька и тоже вдумчиво следил, как перебегали огни по нагоревшему дереву.

– Здорово! – сказал Макар, чтобы прервать тяготившее его молчание.

Конечно, он не знал, какое горе лежало на сердце чужих людей, какие воспоминания теснились в их головах в этот вечер, какие образы чудились им в фантастических переливах огня и дыма. К тому же у него была своя забота.

Молодой человек, сидевший у камелька, поднял голову и посмотрел на Макара смутным взглядом, как будто не узнавая его. Потом он тряхнул головой и быстро поднялся со

стула.

– А, здорово, здорово, Макар! Вот и отлично! Напьешься с нами чаю?

Макару предложение понравилось.

– Чаю? – переспросил он. – Это хорошо!.. Вот, брат, хорошо... Отлично!

Он стал живо разоблачаться. Сняв шубу и шапку, он почувствовал себя развязнее, а увидав, что в самоваре запылали уже горячие угли, обратился к молодому человеку с излиянием:

– Я вас люблю, верно!.. Так люблю, так люблю... Ночи не сплю...

Чужой человек повернулся, и на лице его появилась горькая улыбка.

– А, любишь? – сказал он. – Что же тебе надо?

Макар замялся.

– Есть дело, – ответил он. – Да ты почему узнал?.. Ладно. Ужо чай выпью, скажу.

Так как чай был предложен Макару самими хозяевами, то он счел уместным пойти далее.

– Нет ли жареного? Я люблю, – сказал он.

– Нет.

– Ну, ничего, – сказал Макар успокоительным тоном, – съем в другой раз... Верно? – переспросил он, – в другой раз?

– Ладно.

Теперь Макар считал за чужими людьми в долгу кусок жареного мяса, а у него подобные долги никогда не пропадали.

Через час он опять сел в свои дровни. Он добыл целый рубль, продав вперед пять возов дров на сходных сравнительно условиях. Правда, он клялся и божился, что не пропьет этих денег сегодня, а сам намеревался это сделать немедленно. Но что за дело? Предстоящее удовольствие заглушало укоры совести. Он не думал даже о том, что пьяному ему предстоит жестокая трепка от обманутой верной супруги.

– Куда же ты, Макар? – крикнул, смеясь, чужой человек, видя, что лошадь Макара, вместо того чтобы ехать прямо, свернула влево, по направлению к татарам.

– Тпру-у!.. Тпру-у!.. Видишь, конь проклятый какой... куда едет! – оправдывался Макар, все-таки крепко натягивая левую вожжу и незаметно подхлестывая лысанку правой.

Умный конек, помахивая укоризненно хвостом, тихо поковылял в требуемом направлении, и вскоре скрип Макаровых полозьев затих у татарских ворот.

III

У татарских ворот стояли на привязи несколько коней с высокими якутскими седлами.

В тесной избе было душно. Резкий дым махорки стоял целой тучей, медленно вытягиваемый камельком. За столами и на скамейках сидели приезжие якуты; на столах стояли чашки с водкой; кое-где помещались кучки играющих в карты. Лица были потны и красны. Глаза игроков дико следили за картами. Деньги вынимались и тотчас же прятались по карманам. В углу, на соломе, пьяный якут покачивался сидя и тянул бесконечную песню. Он выводил горлом дикие скрипучие звуки, повторяя на разные лады, что завтра большой праздник, а сегодня он пьян.

Макар отдал деньги, и ему дали бутылку. Он сунул ее за пазуху и незаметно для других отошел в темный угол. Там он наливал чашку

за чашкой и тянул их одна за другой. Водка была горькая, разведенная, по случаю праздника, водой более чем на три четверти. Зато махорки, видимо, не жалели. У Макара каждый раз захватывало на минуту дыхание, а в глазах ходили какие-то багровые круги.

Вскоре он опьянел. Он тоже опустился на солому и, обхватив руками колени, положил на них отяжелевшую голову. Из его горла сами собой полились те же нелепые скрипучие звуки. Он пел, что завтра праздник и что он выпил пять возов дров.

Между тем в избе становилось все теснее и теснее. Входили новые посетители – якуты, приехавшие молиться и пить татарскую водку. Хозяин увидел, что скоро не хватит всем места. Он встал из-за стола и окинул взглядом собрание. Взгляд этот проник в темный угол и увидел там якута и Макара.

Он подошел к якуту и, взяв его за шиворот, вышвырнул вон из избы. Потом подошел к Макару. Ему, как местному жителю, татарин оказал больше почета: широко отворив двери, он поддал бедняге сзади ногою такого леща, что Макар вылетел из избы и ткнулся но-

сом прямо в сугроб снега.

Трудно сказать, был ли он оскорблен подобным обращением. Он чувствовал, что в рукавах у него снег, снег на лице. Кое-как выбравшись из сугроба, он поплелся к своему лысанке.

Луна поднялась уже высоко. Большая Медведица стала опускать хвост книзу. Мороз крепчал. По временам на севере, из-за темного полукруглого облака, вставали, слабо играя, огненные столбы начинавшегося северного сияния.

Лысанка, видимо понимавший положение хозяина, осторожно и разумно поплелся к дому. Макар сидел на дровнях, покачиваясь, и продолжал свою песню. Он пел, что выпил пять возов дров и что старуха будет его колотить. Звуки, вырывавшиеся из его горла, скрипели и стонали в вечернем воздухе так уныло и жалобно, что у чужого человека, который в это время взобрался на юрту, чтобы закрыть трубу камелька, стало от Макаровой песни еще тяжелее на сердце. Между тем лысанка вынес дровни на холмик, откуда видны были окрестности. Снега ярко блестели, обли-

тые лунным сиянием. Временами свет луны как будто таял, снега темнели, и тотчас же на них переливался отблеск северного сияния. Тогда казалось, что снежные холмы и тайга на них то приближались, то опять удалялись. Макару ясно виднелась под самую тайгой снежная плешь Ямалахского холмика, за которым в тайге у него поставлены были ловушки для всякого лесного зверя и птицы.

Это изменило ход его мыслей. Он запел, что в ловушку его попала лисица. Он продаст завтра шкуру, и старуха не станет его колотить.

В морозном воздухе раздался первый удар колокола, когда Макар вошел в избу. Он первым словом сообщил старухе, что у них в плашку попала лисица. Он совсем забыл, что старуха не пила вместе с ним водки, и был сильно удивлен, когда, невзирая на радостное известие, она немедленно нанесла ему ногою жестокий удар пониже спины. Затем, пока он повалился на постель, она еще успела толкнуть его кулаком в шею.

Над Чалганом между тем неся, разливаясь далеко-далеко, торжественный празднич-

IV

Он лежал на постели. Голова у него горела. Внутри жгло, точно огнем. По жилам разливалась крепкая смесь водки и табачного настоя. По лицу текли холодные струйки талого снега; такие же струйки стекали и по спине.

Старуха думала, что он спит. Но он не спал. Из головы у него не шла лисица. Он успел вполне убедиться, что она попала в ловушку; он даже знал, в которую именно. Он ее видел, – видел, как она, прищемленная тяжелой плахой, роет снег когтями и старается вырваться. Лучи луны, продираясь сквозь чащу, играли на золотой шерсти. Глаза зверя сверкали ему навстречу.

Он не выдержал и, встав с постели, направился к своему верному лысанке, чтобы ехать в тайгу.

Что это? Неужели сильные руки старухи схватили за воротник его соны и он опять брошен на постель?

Нет, вот он уже за слободою. Полозья ров-

но поскрипывают по крепкому снегу. Чалган остался сзади. Сзади несется торжественный гул церковного колокола, а над темною чертой горизонта, на светлом небе мелькают черными силуэтами вереницы якутских всадников в высоких, остроконечных шапках. Якуты спешат в церковь.

Между тем луна опустилась, а вверху, в самом зените, стало белесоватое облачко и засияло переливчатым фосфорическим блеском. Потом оно как будто разорвалось, растянулось, прыснуло, и от него быстро потянулись в разные стороны полосы разноцветных огней, между тем как полукруглое темное облачко на севере еще более потемнело. Оно стало черно, чернее тайги, к которой приближался Макар.

Дорога вилась между мелкою, частою порослью. Направо и налево подымались холмы. Чем далее, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Голые деревья лиственниц были опушены серебряным инеем. Мягкий свет сполоха, продираясь сквозь их вершины, ходил по ней, кое-где открывая то снежную по-

лянку, то лежащие трупы разбитых лесных гигантов, запущенных снегом... Мгновение – и все опять тонуло во мраке, полном молчания и тайны.

Макар остановился. В этом месте, почти на самую дорогу, выдвигалось начало целой системы ловушек. При фосфорическом свете ему была ясно видна невысокая городьба из валежника; он видел даже первую плаху – три тяжелых длинных бревна, упертых на отвесном колу и поддерживаемых довольно хитрою системой рычагов с волосяными веревочками.

Правда, это были чужие ловушки; но ведь лисица могла попасть и в чужие. Макар торопливо сошел с дровней, оставил умного лысанку на дороге и чутко прислушался.

В тайге ни звука. Только из далекой, невидной теперь слободы несся по-прежнему торжественный звон.

Можно было не опасаться. Владелец ловушек, Алешка-чалганец, сосед и кровный враг Макара, наверное, был теперь в церкви. Не было видно ни одного следа на ровной поверхности недавно выпавшего снега.

Он пустился в чащу, – ничего. Под ногами хрустит снег. Плахи стоят рядами, точно ряды пушек с открытыми жерлами, в безмолвном ожидании.

Он прошел взад и вперед, – напрасно. Он направился опять на дорогу.

Но, чу!.. Легкий шорох... В тайге мелькнула красноватая шерсть, на этот раз в освещенном месте, так близко!.. Макар ясно видел острые уши лисицы; ее пушистый хвост вилял из стороны в сторону, как будто заманивая Макара в чащу. Она исчезла между стволами, в направлении Макаровых ловушек, и вскоре по лесу пронесся глухой, но сильный удар. Он прозвучал сначала отрывисто, глухо, потом как будто отдался под навесом тайги и тихо замер в далеком овраге.

Сердце Макара забилось. Это упала плаха.

Он бросился, пробираясь сквозь чащу. Холодные ветви били его по глазам, сыпали в лицо снегом. Он спотыкался; у него захватывало дыхание.

Вот он выбежал на просеку, которую некогда сам прорубил. Деревья, белые от инея, стояли по обеим сторонам, а внизу, суживаясь,

маячила дорожка, и в конце ее насторожилось жерло большой плахи... Недалеко...

Но вот на дорожке, около плахи, мелькнула фигура, – мелькнула и скрылась. Макар узнал чалганца Алешку: ему ясно была видна его небольшая коренастая фигура, согнутая вперед, с походкой медведя. Макару казалось, что темное лицо Алешки стало еще темнее, а большие зубы оскалились еще более, чем обыкновенно.

Макар чувствовал искреннее негодование. «Вот подлец!.. Он ходит по моим ловушкам». Правда, Макар и сам сейчас только прошел по плахам Алешки, но тут была разница... Разница состояла именно в том, что, когда он сам ходил по чужим ловушкам, он чувствовал страх быть застигнутым; когда же по его плахам ходили другие, он чувствовал негодование и желание самому настигнуть нарушителя его прав.

Он бросился наперерез к упавшей плахе. Там была лисица. Алешка своею развалистою, медвежьей походкой направлялся туда же. Надо было поспевать ранее.

Вот и лежачая плаха. Под нею краснеет

шерсть прихлопнутого зверя. Лисица рылась в снегу когтями именно так, как она ему виделась прежде, и так же смотрела ему навстречу своими острыми, горящими глазами.

– *Тытымá (не тронь)!.. Это мое!* – крикнул Макар Алешке.

– *Тытымá!* – отдался, точно эхо, голос Алешки. – *Мое!*

Они оба побежали в одно время и торопливо, наперебой, стали поднимать плаху, освобождая из-под нее зверя. Когда плаха была приподнята, лисица поднялась также. Она сделала прыжок, потом остановилась, посмотрела на обоих чалганцев каким-то насмешливым взглядом, потом, загнув морду, лизнула прищемленное бревном место и весело побежала вперед, приветливо виляя хвостом.

Алешка бросился было за нею, но Макар схватил его сзади за полу соны.

– *Тытым а!* – крикнул он. – *Это мое!* – и сам побежал вслед за лисицей.

– *Тытым а!* – опять эхом отдался голос Алешки, и Макар почувствовал, что тот схватил его, в свою очередь, за сону и в одну се-

кунду опять выбежал вперед.

Макар обозлился. Он забыл про лисицу и устремился за Алешкой.

Они бежали все быстрее. Ветка лиственницы сдернула шапку с головы Алешки, но тому некогда было подымать ее: Макар уже настигал его с яростным криком. Но Алешка всегда был хитрее бедного Макара. Он вдруг остановился, повернулся и нагнул голову. Макар ударился в нее животом и кувыркнулся в снег. Пока он падал, проклятый Алешка схватил с головы Макара шапку и скрылся в тайге.

Макар медленно поднялся. Он чувствовал себя окончательно побитым и несчастным. Нравственное состояние было отвратительно. Лисица была в руках, а теперь... Ему казалось, что в потемневшей чаще она насмешливо вильнула еще раз хвостом и окончательно скрылась.

Потемнело. Белесоватое облачко чуть-чуть виднелось в зените. Оно как будто тихо таяло, и от него, как-то устало и томно, лились еще замиравшие лучи сияния.

По разгоряченному телу Макара бежали

целые потоки острых струек талого снега. Снег попал ему в рукава, за воротник соны, стекал по спине, лился за торбаса. Проклятый Алешка унес с собой его шапку. Рукавицы он потерял где-то на бегу. Дело было плохо. Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в тайгу без рукавиц и без шапки. Он шел уже долго. По его расчетам, он давно должен бы уже выйти из Ямалаха и увидеть колокольню, но он все кружил по тайге. Чаща, точно заколдованная, держала его в своих объятиях. Издали доносился все тот же торжественный звон. Макару казалось, что он идет на него, но звон все удалялся, и, по мере того как его переливы доносились все тише и тише, в сердце Макара вступало тупое отчаяние.

Он устал. Он был подавлен. Ноги подкашивались. Его избитое тело ныло тупою болью. Дыхание в груди захватывало. Руки и ноги членели. Обнаженную голову стягивало точно раскаленными обручами.

«Пропадать буду, однако!» – все чаще и чаще мелькало у него в голове. Но он все шел.

Тайга молчала. Она только смыкалась за

ним с каким-то враждебным упорством и нигде не давала ни просвета, ни надежды.

«Пропадать буду, однако!» – все думал Макар.

Он совсем ослаб. Теперь молодые деревья прямо, без всяких стеснений, били его по лицу, издеваясь над его беспомощным положением. В одном месте на прогалину выбежал белый ушкан (заяц), сел на задние лапки, повел длинными ушами с черными отметинками на концах и стал умываться, делая Макару самые дерзкие рожи. Он давал ему понять, что он отлично знает его, Макара, – знает, что он и есть тот самый Макар, который настроил в тайге хитрые машины для его, зайца, гибели. Но теперь он над ним издевался.

Макару стало горько. Между тем тайга все оживлялась, но оживлялась враждебно. Теперь даже дальние деревья протягивали длинные ветви на его дорожку и хватали его за волосы, били по глазам, по лицу. Тетерева выходили из тайных логовищ и уставлялись в него любопытными круглыми глазами, а косачи бегали между ними, с распущенными хвостами и сердито оттопыренными крыльями.

ми, и громко рассказывали самкам про него, Макара, и про его козни. Наконец в дальних чащах замелькали тысячи лисьих морд. Они тянули воздух и насмешливо смотрели на Макара, поводя острыми ушами. А зайцы становились перед ним на задние лапки и хохотали, докладывая, что Макар заблудился и не выйдет из тайги.

Это было уже слишком.

«Пропадать буду!» – подумал Макар и решил сделать это немедленно.

Он лег в снег.

Мороз крепчал. Последние переливы сияния слабо мерцали и тянулись по небу, заглядывая к Макару сквозь вершины тайги. Последние отголоски колокола доносились с далекого Чалгана.

Сияние полыхнуло и погасло. Звон стих.

И Макар умер.

Как это случилось, он не заметил. Он знал, что из него должно что-то выйти, и ждал, что вот-вот оно выйдет... Но ничего не вышло.

Между тем он сознавал, что уже умер, и потому лежал смирно, без движения. Лежал он долго, – так долго, что ему надоело.

Было совершенно темно, когда Макар почувствовал, что его кто-то толкнул ногою. Он повернул голову и открыл сомкнутые глаза.

Теперь лиственницы стояли над ним смиренные, тихие, точно стыдясь прежних проказ. Мохнатые ели вытягивали свои широкие, покрытые снегом лапы и тихо-тихо качались. В воздухе так же тихо садились лучистые снежинки.

Яркие добрые звезды заглядывали с синего неба сквозь частые ветви и как будто говорили: «Вот, видите, бедный человек умер».

Над самым телом Макара, толкая его ногою, стоял старый попик Иван. Его длинная ряса была покрыта снегом; снег виднелся на меховом *бергесе* (шапке), на плечах, в длин-

ной бороде попа Ивана. Всего удивительнее было то обстоятельство, что это был тот самый попик Иван, который умер назад тому четыре года.

Это был добрый попик. Он никогда не притеснял Макара насчет рути,[6] никогда не требовал даже денег за требы. Макар сам назначал ему плату за крестины и молебны и теперь со стыдом вспомнил, что иногда платил маловато, а порой не платил вовсе. Поп Иван и не обижался; ему требовалось одно: всякий раз надо было поставить бутылку водки. Если у Макара не было денег, поп Иван сам посылал за бутылкой, и они пили вместе. Попик напивался непременно до положения риз, но при этом дрался очень редко и не сильно. Макар доставлял его, беспомощного и незащитного, домой на попечение матушки-попадьи.

Да, это был добрый попик, но умер он нехорошою смертью. Однажды, когда все вышли из дому и пьяный попик остался один лежать на постели, ему вздумалось докурить. Он встал и, шатаясь, подошел к огромному, жарко натопленному камельку, чтобы закурить у огня трубку. Он был слишком уж пьян,

покачнулся и упал в огонь. Когда пришли домочадцы, от попа остались лишь ноги.

Все жалели доброго попа Ивана; но так как от него остались одни только ноги, то вылечить его не мог уже ни один доктор в мире. Ноги похоронили, а на место попа Ивана назначили другого.

Теперь этот попик, в целом виде, стоял над Макаром и поталкивал его ногою.

– Вставай, Макарушко, – говорил он. – Пойдем-ка.

– Куда я пойду? – спросил Макар с неудовольствием.

Он полагал, что раз он «пропал», его обязанность – лежать спокойно и ему нет надобности идти опять по тайге, бродя без дороги. Иначе зачем было ему пропадать?

– Пойдем к большому Тойону[7]

– Зачем я пойду к нему? – спросил Макар.

– Он будет тебя судить, – сказал попик скорбным и несколько умиленным голосом.

Макар вспомнил, что действительно после смерти надо идти куда-то на суд. Он это слышал когда-то в церкви. Значит, попик был прав. Приходилось подняться.

И Макар поднялся, ворча про себя, что даже после смерти не дают человеку покоя.

Попик шел впереди. Макар за ним. Шли они все прямо. Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. Шли на восток.

Макар с удивлением заметил, что после попа Ивана не остается следов на снегу. Взглянув себе под ноги, он также не увидел следов: снег был чист и гладок, как скатерть. Он подумал, что теперь ему очень удобно ходить по чужим ловушкам, так как никто об этом не может узнать; но попик, угадавший, очевидно, его сокровенную мысль, повернулся к нему и сказал:

– *Кабысь* (брось, оставь)! Ты не знаешь, что тебе достанется за каждую подобную мысль.

– Ну, ну! – ответил недовольно Макар. – Уж нельзя и подумать! Что ты нынче такой стал строгий? Молчи ужо!..

Попик покачал головой и пошел дальше.

– Далеко ли идти? – спросил Макар.

– Далеко, – ответил попик сокрушенно.

– А чего будем есть? – спросил опять Макар с беспокойством.

– Ты забыл, – ответил попик, повернув-

шись к нему, – что ты умер и что теперь тебе не надо ни есть, ни пить.

Макару это не очень понравилось. Конечно, это хорошо в том случае, когда нечего есть, но тогда уж надо бы лежать так, как он лежал тотчас после своей смерти. А идти, да еще идти далеко, и не есть ничего, это казалось ему ни с чем не сообразным. Он опять заворчал.

– Не ропщи! – сказал попик.

– Ладно! – ответил Макар обиженным тоном, но сам продолжал жаловаться про себя и ворчать на дурные порядки: «Человека заставляют ходить, а есть ему не надо! Где это слыхано?»

Он был недоволен все время, следуя за попом. А шли они, по-видимому, долго. Правда, Макар не видел еще рассвета, но, судя по пространству, ему казалось, что они шли уже целую неделю: так много они оставили за собой падей и сопок,[8] рек и озер, так много прошли лесов и равнин. Когда Макар оглядывался, ему казалось, что темная тайга сама убегает от них назад, а высокие снежные горы точно таяли в сумраке ночи и быстро

скрывались за горизонтом.

Они как будто поднимались все выше. Звезды становились все больше и ярче. Потом из-за гребня возвышенности, на которую они поднялись, показался краешек давно закатившейся луны. Она как будто торопилась уйти, но Макар с попиком ее нагоняли. Наконец она вновь стала подниматься над горизонтом. Они пошли по ровному, сильно приподнятому месту.

Теперь стало светло – гораздо светлее, чем при начале ночи. Это происходило, конечно, оттого, что они были гораздо ближе к звездам. Звезды, величиною каждая с яблоко, так и сверкали, а луна, точно дно большой золотой бочки, сияла, как солнце, освещая равнину от края и до края.

На равнине совершенно явственно виднелась каждая снежинка. По ней пролегалo множество дорог, и все они сходились к одному месту на востоке. По дорогам шли и ехали люди в разных одеждах и разного вида.

Вдруг Макар, внимательно всматривавшийся в одного всадника, свернул с дороги и побежал за ним.

– Постой, постой! – кричал попик, но Макар даже не слышал. Он узнал знакомого татарина, который шесть лет назад увел у него пегого коня, а пять лет назад скончался. Теперь татарин ехал на том же пегом коне. Конь так и взвивался. Из-под копыт его летели целые тучи снежной пыли, сверкавшей разноцветными переливами звездных лучей. Макар удивился при виде этой бешеной скачки, как мог он, пеший, так легко догнать конного татарина. Впрочем, завидев Макара в нескольких шагах, татарин с большою готовностью остановился. Макар запальчиво напал на него.

– Пойдем к старосте, – кричал он, – это мой конь. Правое ухо у него разрезано... Смотри, какой ловкий!.. Едет на чужом коне, а хозяин идет пешком, точно нищий.

– Постой! – сказал на это татарин. – Не надо к старосте. Твой конь, говоришь?.. Ну и бери его! Проклятая животина! Пятый год еду на ней, и все как будто ни с места... Пешие люди то и дело обгоняют меня; хорошему татарину даже стыдно.

И он занес ногу, чтобы сойти с седла, но в

это время запыхавшийся попик подбежал к ним и схватил Макара за руку.

– Несчастный! – вскричал он. – Что ты делаешь? Разве не видишь, что татарин хочет тебя обмануть?

– Конечно, обманывает, – вскричал Макар, размахивая руками, – конь был хороший, настоящая хозяйская лошадь... Мне давали за нее сорок рублей еще по третьей траве... Нет, брат! Если ты испортил коня, я его зарезу на мясо, а ты заплатишь мне чистыми деньгами. Думаешь, что – татарин, так и нет на тебя управы?

Макар горячился и кричал нарочно, чтобы собрать вокруг себя побольше народу, так как он привык бояться татар. Но попик остановил его:

– Тише, тише, Макар! Ты все забываешь, что ты уже умер... Зачем тебе конь? Да притом, разве ты не видишь, что пешком ты двигаешься гораздо быстрее татарина? Хочешь, чтоб тебе пришлось ехать целых тысячу лет?

Макар смекнул, почему татарин так охотно уступал ему лошадь.

«Хитрый народ!» – подумал он и обратился к татарину:

– Ладно ужó! Поезжай на коне, а я, брат, сделаю на тебя прошение.

Татарин сердито нахлобучил шапку и хлестнул коня. Конь взвился, клубы снега посыпались из-под копыт, но пока Макар с попом не тронулись, татарин не уехал от них и пяди.

Он сердито плюнул и обратился к Макару:

– Послушай, догóр (приятель), нет ли у тебя листочка махорки? Страшно хочется курить, а свой табак я выкурил уже четыре года назад.

– Собака тебе приятель, а не я! – сердито ответил Макар. – Видишь ты: украл коня и просит табаку! Пропадай ты совсем, мне и то не будет жалко.

И с этими словами Макар тронулся далее.

– А ведь напрасно ты не дал ему листок махорки, – сказал ему поп Иван. – За это на суде Тойон простил бы тебе не менее сотни грехов.

– Так что ж ты не сказал мне этого ранее? – огрызнулся Макар.

– Да уж теперь поздно учить тебя. Ты дол-

жен был узнать об этом от своих попов при жизни.

Макар осердился. От попов он не видал никакого толку: получают ругу, а не научили даже, когда надо дать татарину листок табаку, чтобы получить отпущение грехов. Шутка ли: сто грехов... и всего за один листочек!.. Это ведь чего-нибудь сто́ит!

– Постой, – сказал он. – Будет с нас одного листочка, а остальные четыре я отдам сейчас татарину. Это будет четыре сотни грехов.

– Оглянись, – сказал попик.

Макар оглянулся. Сзади расстилалась только белая пустынная равнина. Татарин мелькнул на одну секунду далекою точкой. Макару казалось, что он увидел, как белая пыль летит из-под копыт его пегашки, но через секунду и эта точка исчезла.

– Ну, ну, – сказал Макар. – Будет татарину и без табаку ладно. Видишь ты: испортил коня, проклятый!

– Нет, – сказал попик, – он не испортил твоего коня, но конь этот краденый. Разве ты не слышал от стариков, что на краденном коне далеко не уедешь?

Макар действительно слышал это от стариков, но так как во время своей жизни видел нередко, что татары уезжали на краденых конях до самого города, то, понятно, он старикам не давал веры. Теперь же он пришел к убеждению, что и старики говорят иногда правду.

И он стал обгонять на равнине множество всадников. Все они мчались так же быстро, как и первый. Кони летели, как птицы, всадники были в поту, а между тем Макар то и дело обгонял их и оставлял за собою.

Большую часть это были татары, но попадались и коренные чалганцы; некоторые из последних сидели на краденых быках и подгоняли их талинками.

Макар смотрел на татар враждебно и каждый раз ворчал, что этого им еще мало. Когда же он встречался с чалганцами, то останавливался и благодушно беседовал с ними: все-таки это были приятели, хоть и воры. Порой он даже выражал свое участие тем, что, подняв на дороге талинку, усердно подгонял сзади быков и коней; но лишь только сам он делал несколько шагов, как уже всадники остава-

лись сзади чуть заметными точками.

Равнина казалась бесконечною. Они то и дело обгоняли всадников и пеших людей, а между тем вокруг все казалось пусто. Между каждыми двумя путниками лежали как будто целые сотни или даже тысячи верст.

Между другими фигурами Макару попался незнакомый старик; он был, очевидно, чалганец; это было видно по лицу, по одежде, даже по походке, но Макар не мог припомнить, чтоб он когда-либо прежде его видел. На старике была рваная сона, большой ухастьый бергес, тоже рваный, кожаные старые штаны и рваные телячьи торбасá. Но, что хуже всего, – несмотря на свою старость, – он тащил на плечах еще более древнюю старуху, ноги которой волочились по земле. Старик трудно дышал, заплетался и тяжело налегал на палку. Макару стало его жалко. Он остановился. Старик остановился тоже.

– Капсé (говори)! – сказал Макар приветливо.

– Нет, – ответил старик.

– Что слышал?

– Ничего не слышал.

– Что видел?

– Ничего не видал.

Макар помолчал немного и тогда уже счел возможным расспросить старика, кто он и откуда плетется.

Старик назвался. Давно уже, – сам он не знает, сколько лет назад, – он оставил Чалган и ушел на «гору» спасаться. Там он ничего не делал, ел только морошку и корни, не пахал, не сеял, не молот на жернове хлеба и не платил податей. Когда он умер, то пришел к Тойону на суд. Тойон спросил, кто он и что делал. Он рассказал, что ушел на «гору» и спасался. «Хорошо, – сказал Тойон, – а где же твоя старуха? Поди приведи сюда твою старуху». И он пошел за старухой, а старуха перед смертью побиралась, и ее некому было кормить, и у нее не было ни дома, ни коровы, ни хлеба. Она ослабела и не может волочить ног. И он теперь должен тащить к Тойону старуху на себе.

Старик заплакал, а старуха ударила его ногою, точно быка, и сказала слабым, но сердитым голосом:

– Неси!

Макару стало еще более жаль старика, и он порадовался от души, что ему не удалось уйти на «гору». Его старуха была громадная, рослая старуха, и ему нести ее было бы еще труднее. А если бы вдобавок она стала пинать его ногою, как быка, то, наверное, скоро заездила бы до второй смерти.

Из сожаления он взял было старуху за ноги, чтобы помочь догóру, но едва сделал два-три шага, как должен был быстро выпустить старухины ноги, чтоб они не остались у него в руках. В одну минуту старик с своей ношей исчезли из виду.

В дальнейшем пути не встречалось более лиц, которых Макар удостоил бы своим особенным вниманием. Тут были воры, нагруженные, как вьючная скотина, краденым добром и подвигавшиеся шаг за шагом; толстые якутские тойоны тряслись, сидя на высоких седлах, точно башни; задевая за облака высокими шапками. Тут же, рядом, вприпрыжку бежали бедные *комночиты* (работники), поджарые и легкие, как зайцы. Шел мрачный убийца, весь в крови, с дико блуждающим взором. Напрасно кидался он в чистый снег,

чтобы смыть кровавые пятна. Снег мгновенно обогрелся кругом, как кипень, а пятна на убийце выступали яснее, и в его взоре виднелись дикое отчаяние и ужас. И он все шел, избегая чужих испуганных взглядов.

А маленькие детские души то и дело мелькали в воздухе, точно птички. Они летели большими стаями, и Макара это не удивляло. Дурная, грубая пища, грязь, огонь камельков и холодные сквозняки юрт выживали их из одного Чалгана чуть не сотнями. Поравнявшись с убийцей, они испуганной стаей кидались далеко в сторону, и долго еще после того слышался в воздухе быстрый, тревожный звон их маленьких крыльев.

Макар не мог не заметить, что он подвигается сравнительно с другими довольно быстро, и поспешил приписать это своей добродетели.

– Слушай, агабыт (отец), – сказал он, – как ты думаешь? Я хоть и любил при жизни выпить, а человек был хороший. Бог меня любит...

Он пытливо взглянул на попа Ивана. У него была задняя мысль: выведать кое-что от

старого попаика. Но тот сказал кратко:

– Не гордись! Уже близко. Скоро узнаешь сам.

Макар и не заметил раньше, что на равнине как будто стало светать. Прежде всего из-за горизонта выбежали несколько светлых лучей. Они быстро пробежали по небу и потушили яркие звезды. И звезды погасли, а луна закатилась. И снежная равнина потемнела.

Тогда над нею поднялись туманы и стали кругом равнины, как почетная стража.

И в одном месте, на востоке, туманы стали светлее, точно воины, одетые в золото.

И потом туманы заколыхались, золотые воины наклонились долу.

И из-за них вышло солнце, и стало на их золотистых хребтах, и оглянуло равнину.

И равнина вся засияла невиданным, ослепительным светом.

И туманы торжественно поднялись огромным хороводом, разорвались на западе и, колеблясь, понеслись кверху.

И Макару казалось, что он слышит чудную песню. Это была как будто та самая, давно знакомая песня, которою земля каждый раз

приветствует солнце. Но Макар никогда еще не обращал на нее должного внимания и только в первый раз понял, какая это чудная песня.

Он стоял и слушал и не хотел идти далее, а хотел вечно стоять здесь и слушать...

.....

.....

Но поп Иван тронул его за рукав.

– Войдем, – сказал он. – Мы пришли.

Тогда Макар увидел, что они стоят у большой двери, которую раньше скрывали туманы.

Ему очень не хотелось идти, но – делать нечего – он повиновался.

VI

Они вошли в хорошую, просторную избу, и, только войдя сюда, Макар заметил, что на дворе был сильный мороз. Посредине избы стоял камелек чудной резной работы, из чистого серебра, и в нем пылали золотые поленья, давая ровное тепло, сразу проникавшее все тело. Огонь этого чудного камелька не резал глаз, не жег, а только грел, и Макару опять захотелось вечно стоять здесь и греться. Поп Иван также подошел к камельку и протянул к нему иззябшие руки.

В избе было четверо дверей, из которых только одна вела наружу, а в другие то и дело входили и выходили какие-то молодые люди в длинных белых рубахах. Макар подумал, что это, должно быть, работники здешнего Тойона. Ему казалось, что он где-то их уже видел, но не мог вспомнить, где именно. Немало удивляло его то обстоятельство, что у каждого работника на спине болтались большие белые крылья, и он подумал, что, вероятно, у Тойона есть еще другие работники, так как эти, наверное, не могли бы с своими крыльями-

ми пробираться сквозь чащу тайги для рубки дров или жердей.

Один из работников подошел тоже к камельку и, повернувшись к нему спиной, заговорил с попом Иваном:

– Говори!

– Нечего, – отвечал попик.

– Что ты слышал на свете?

– Ничего не слышал.

– Что видел?

– Ничего не видал.

Оба помолчали, и тогда поп сказал:

– Привел вот одного.

– Это чалганец? – спросил работник.

– Да, чалганец.

– Ну, значит, надо приготовить большие весы.

И он ушел в одну из дверей, чтобы распорядиться, а Макар спросил у попа, зачем нужны весы и почему именно большие?

– Видишь, – ответил поп несколько смущенно, – весы нужны, чтобы взвесить добро и зло, какое ты сделал при жизни. У всех остальных людей зло и добро приблизительно уравнивают чашки; у одних чалган-

цев грехов так много, что для них Тойон велел сделать особые весы с громадной чашкой для грехов.

От этих слов у Макара как будто скребнуло по сердцу. Он стал робеть.

Работники внесли и поставили большие весы. Одна чашка была золотая и маленькая, другая – деревянная, громадных размеров. Под последней вдруг открылось глубокое черное отверстие.

Макар подошел и тщательно осмотрел весы, чтобы не было фальши. Но фальши не было. Чашки стояли ровно, не колеблясь.

Впрочем, он не вполне понимал их устройство и предпочел бы иметь дело с безменом, на котором в течение долгой жизни он отлично выучился и продавать и покупать с некоторой выгодой для себя.

– Тойон идет, – сказал вдруг поп Иван и стал быстро обдергивать ряску.

Средняя дверь отворилась, и вошел старый-престарый Тойон, с большою серебряною бородой, спускавшеюся ниже пояса. Он был одет в богатые, неизвестные Макару меха и ткани, а на ногах у него были теплые сапо-

ги, обшитые плисом, какие Макар видел на старом иконописце.

И при первом же взгляде на старого Тойона Макар узнал, что это тот самый старик, которого он видел нарисованным в церкви. Только тут с ним не было сына; Макар подумал, что, вероятно, последний ушел по хозяйству. Зато голубь влетел в комнату и, покружившись у старика над головою, сел к нему на колени. И старый Тойон гладил голубя рукою, сидя на особо приготовленном для него стуле.

Лицо старого Тойона было доброе, и, когда у Макара становилось слишком уж тяжело на сердце, он смотрел на это лицо, и ему становилось легче.

А на сердце у него становилось тяжело потому, что он вспомнил вдруг всю свою жизнь до последних подробностей, вспомнил каждый свой шаг, и каждый удар топора, и каждое срубленное дерево, и каждый обман, и каждую рюмку выпитой водки.

И ему стало стыдно и страшно. Но, взглянув в лицо старого Тойона, он ободрился.

А ободрившись, подумал, что, быть может,

кое-что удастся и скрыть.

Старый Тойон посмотрел на него и спросил, кто он, и откуда, и как зовут, и сколько ему лет от роду.

Когда Макар ответил, старый Тойон спросил:

– Что сделал ты в своей жизни?

– Сам знаешь, – ответил Макар. – У тебя должно быть записано.

Макар испытывал старого Тойона, желая узнать, действительно ли у него записано все.

– Говори сам, не молчи! – сказал старый Тойон.

И Макар опять ободрился.

Он стал перечислять свои работы, и хотя он помнил каждый удар топора, и каждую срубленную жердь, и каждую борозду, проведенную сохой, но он прибавлял целые тысячи жердей, и сотни возов дров, и сотни бревен, и сотни пудов посева.

Когда он все перечислил, старый Тойон обратился к попу Ивану:

– Принеси-ка сюда книгу.

Тогда Макар увидел, что поп Иван служит у Тойона *суруксумом* (писарем), и очень осер-

дился, что тот по-приятельски не сказал ему об этом раньше.

Поп Иван принес большую книгу, развернул ее и стал читать.

– Загляни-ка, – сказал старый Тойон, – сколько жердей?

Поп Иван посмотрел и сказал с прискорбием:

– Он прибавил целых тринадцать тысяч.

– Врет он! – крикнул Макар запальчиво. – Он, верно, ошибся, потому что он пьяница и умер нехорошею смертью!

– Замолчи ты! – сказал старый Тойон. – Брал ли он с тебя лишнее за крестины или за свадьбы? Вымогал ли он ругу?

– Что́ говорить напрасно! – ответил Макар.

– Вот видишь, – сказал Тойон, – я знаю и сам, что он любил выпить...

И старый Тойон осердился.

– Читай теперь его грехи по книге, потому что он обманщик и я ему не верю, – сказал он попу Ивану.

А между тем работники кинули на золотую чашку Макаровы жерди, и его дрова, и его пахоту, и всю его работу. И всего оказа-

лось так много, что золотая чашка весов опустилась, а деревянная поднялась высоко-высоко, и ее нельзя было достать руками, и молодые божьи работники взлетели на своих крыльях, и целая сотня тянула ее веревками вниз.

Тяжела была работа чалганца!

А поп Иван стал вычитывать обманы, и оказалось, что обманов было – двадцать одна тысяча девятьсот тридцать три обмана; и поп стал вычитывать, сколько Макар выпил бутылок водки, и оказалось – четыреста бутылок; и поп читал далее, а Макар видел, что деревянная чашка весов перетягивает золотую и что она опускается уже в яму, и, пока поп читал, она все опускалась.

Тогда Макар подумал про себя, что дело его плохо, и, подойдя к весам, попытался незаметно поддержать чашку ногою. Но один из работников увидел это, и у них вышел шум.

– Что там такое? – спросил старый Тойон.

– Да вот он хотел поддержать весы ногою, – ответил работник.

Тогда Тойон гневно обратился к Макару и сказал:

– Вижу, что ты обманщик, ленивец и пьяница... И за тобой осталась недоимка, и поп за тобою считает ругу, и исправник грешит из-за тебя, ругая тебя каждый раз скверными словами!..

И, обратясь к попу Ивану, старый Тойон спросил:

– Кто в Чалгане кладет на лошадей более всех клади и кто гоняет их всех больше?

Поп Иван ответил:

– Церковный трапезник. Он гоняет почту и возит исправника.

Тогда старый Тойон сказал:

– Отдать этого ленивца трапезнику в мерины, и пусть он возит на нем исправника, пока не заедит... А там мы посмотрим.

И только что старый Тойон сказал это слово, как дверь отворилась и в избу вошел сын старого Тойона и сел от него по правую руку.

И сын сказал:

– Я слышал твой приговор... Я долго жил на свете и знаю тамошние дела: тяжело будет бедному человеку возить исправника! Но... да будет!.. Только, может быть, он еще что-нибудь скажет. Говори, *барахсан* (бедняга)!

Тогда случилось что-то странное. Макар, тот самый Макар, который никогда в жизни не произносил более десяти слов кряду, вдруг ощутил в себе дар слова. Он заговорил и сам изумился. Стало как бы два Макара: один говорил, другой слушал и удивлялся. Он не верил своим ушам. Речь у него лилась плавно и страстно, слова гнались одно за другим вперегонку и потом становились длинными, стройными рядами. Он не робел. Если ему и случилось запнуться, то тотчас же он оправлялся и кричал вдвое громче. А главное – чувствовал сам, что говорил убедительно.

Старый Тойон, немного осердившийся сначала за его дерзость, стал потом слушать с большим вниманием, как бы убедившись, что Макар не такой уж дурак, каким казался сначала. Поп Иван в первую минуту даже испугался и стал дергать Макара за полу соны, но Макар отмахнулся и продолжал по-прежнему. Потом и попик перестал пугаться и даже расцвел улыбкой, видя, что его прихожанин режет правду и что эта правда приходит по сердцу старому Тойону. Даже молодые люди в длинных рубахах и с белыми крыльями

ми, жившие у старого Тойона в работниках, приходили из своей половины к дверям и с удивлением слушали речь Макара, поталкивая друг друга локтями.

Он начал с того, что не желает идти к трапезнику в мерины. И не потому не желает, что боится тяжелой работы, а потому, что это решение неправильно. А так как это решение неправильно, то он ему не подчинится и не поведет даже ухом, не двинет ногою. Пусть с ним делают что хотят! Пусть даже отдадут чертям в вечные комночиты, – он не будет возить исправника, потому что это неправильно. И пусть не думают, что ему страшно положение мерина: трапезник гоняет мерина, но кормит его овсом, а его гоняли всю жизнь, но овсом никогда не кормили.

– Кто тебя гонял? – спросил старый Тойон с сердцем.

Да, его гоняли всю жизнь! Гоняли старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя подати; гоняли попы, требуя ругу; гоняли нужда и голод; гоняли морозы и жары, дожди и засухи; гоняла промерзшая земля и злая тайга!.. Скотина идет вперед и смотрит в зем-

лю, не зная, куда ее гонят... И он также... Разве он знал, что поп читает в церкви и за что идет ему руга? Разве он знал, зачем и куда увели его старшего сына, которого взяли в солдаты, и где он умер, и где теперь лежат его бедные кости?

Говорят, он пил много водки? Конечно, это правда: его сердце просило водки...

– Сколько, говоришь ты, бутылок?

– Четыреста, – ответил поп Иван, заглянув в книгу.

Хорошо! Но разве это была водка? Три четверти было воды и только одна четверть настоящей водки, да еще настой табаку. Стало быть, триста бутылок надо скинуть со счета.

– Правду ли он говорит все это? – спросил старый Тойон у попа Ивана, и видно было, что он еще сердится.

– Чистую правду, – торопливо ответил поп, а Макар продолжал.

Он прибавил тринадцать тысяч жердей? Пусть так! Пусть он нарубил только шестнадцать тысяч. А разве этого мало? И притом, две тысячи он рубил, когда у него была больна первая его жена... И у него было тяжело на

сердце, и он хотел сидеть у своей старухи, а нужда его гнала в тайгу... И в тайге он плакал, и слезы мерзли у него на ресницах, и от горя холод проникал до самого сердца... А он рубил!

А после баба умерла. Ее надо было хоронить, а у него не было денег. И он нанялся рубить дрова, чтобы заплатить за женин дом на том свете... А купец увидел, что ему нужна, и дал только по десяти копеек... И старуха лежала одна в нетопленной мерзлой избе, а он опять рубил и плакал. Он полагал, что эти работы надо считать впятеро и даже более.

У старого Тойона показались на глазах слезы, и Макар увидел, что чашки весов колыхнулись и деревянная приподнялась, а золотая опустилась.

А Макар продолжал: у них все записано в книге... Пусть же они поищут: когда он испытал от кого-нибудь ласку, привет или радость? Где его дети? Когда они умирали, ему было горько и тяжело, а когда вырастали, то уходили от него, чтобы в одиночку биться с тяжелою нуждой. И он состарился один со своей второю старухой и видел, как его остав-

ляют силы и подходит злая, бесприютная дряхлость. Они стояли одинокие, как стоят в степи две сиротливые елки, которых бьют отовсюду жестокие метели.

– Правда ли? – спросил опять старый Тойон.

И поп поспешил ответить:

– Чистая правда!

И тогда весы опять дрогнули... Но старый Тойон задумался.

– Что же это, – сказал он, – ведь есть же у меня на земле настоящие праведники... Глаза их ясны, и лица светлы, и одежды без пятен... Сердца их мягки, как добрая почва; принимают доброе семя и возвращают крин сельный и благовонные всходы, запах которых угоден передо мною. А ты посмотри на себя...

И все взгляды устремились на Макара, и он устыдился. Он почувствовал, что глаза его мутны и лицо темно, волосы и борода всклокочены, одежда изорвана. И хотя задолго до смерти он все собирался купить сапоги, чтобы явиться на суд, как подобает настоящему крестьянину, но все пропивал деньги, и теперь стоял перед Тойоном, как последний

якут, в дрянных торбасишках... И он пожелал провалиться сквозь землю.

– Лицо твое темное, – продолжал старый Тойон, – глаза мутные, и одежда разорвана. А сердце твое поросло бурьяном, и тернием, и горькою полынью. Вот почему я люблю моих праведных и отвращаю лицо от подобных тебе нечестивцев.

Сердце Макара сжалось. Он чувствовал стыд собственного существования. Он было понурил голову, но вдруг поднял ее и заговорил опять.

О каких это праведниках говорит Тойон? Если о тех, что жили на земле в одно время с Макаром, в богатых хоромах, то Макар их знает... Глаза их ясны, потому что не проливали слез столько, сколько их пролил Макар, и лица их светлы, потому что обмыты духами, а чистые одежды сотканы чужими руками.

Макар опять понурил голову, но тотчас же опять поднял ее.

А между тем разве он не видит, что и он родился, как другие, – с ясными, открытыми очами, в которых отражались земля и небо, и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все

прекрасное в мире? И если теперь он желает скрыть под землю свою мрачную и позорную фигуру, то в этом вина не его... А чья же? Этого он не знает... Но он знает одно, что в сердце его истощилось терпение.

VII

Конечно, если бы Макар мог видеть, какое действие производила его речь на старого Тойона, если б он видел, что каждое его гневное слово падало на золотую чашку, как свинцовая гиря, он усмирил бы свое сердце. Но он всего этого не видел, потому что в его сердце вливалось слепое отчаяние.

Вот он оглядел всю свою горькую жизнь. Как мог он до сих пор выносить это ужасное бремя? Он нес его потому, что впереди все еще маячила – звездочкой в тумане – надежда. Он жив, стало быть, может, должен еще испытать лучшую долю... Теперь он стоял у конца, и надежда угасла...

Тогда в его душе стало темно, и в ней забушевала ярость, как буря в пустой степи глухою ночью. Он забыл, где он, пред чьим лицом предстоит, – забыл все, кроме своего гне-

Ва...

.....
.....

Но старый Тойон сказал ему:

– Погоди, барахсан! Ты не на земле... Здесь и для тебя найдется правда...

И Макар дрогнул. На сердце его пало сознание, что его жалеют, и оно смягчилось; а так как перед его глазами все стояла его бедная жизнь, от первого дня до последнего, то и ему стало самого себя невыносимо жалко. И он заплакал...

И старый Тойон тоже плакал... И плакал старый попик Иван, и молодые божьи работники лили слезы, утирая их широкими белыми рукавами.

А весы все колыхались, и деревянная чашка подымалась все выше и выше!

.....
.....

Соколинец

Из рассказов о бродягах

I

Мой сожитель уехал. Мне приходилось ночевать одному в нашей юрте.

Не работалось; я не зажигал огня и, полулежа на своей постели, незаметно отдавался тяжелым впечатлениям молчания и мрака, пока короткий северный день угасал среди холодного тумана. Последние слабые лучи по немногу уходили сквозь льдины окон из небольшой юрты; густая тьма выползала из углов, заволакивала наклонные стены, которые, казалось, все плотнее сдвигаются над головой. Несколько времени маячили еще в глазах очертания стоявшего в середине юрты громадного камелька. Казалось, неуклюжий пенат якутского жилья простирает навстречу тьме широко раздвинутые руки, точно в молчаливой борьбе... Но вот и эти смутные очертания исчезли... Тьма!.. Только в трех местах тихо мерцали расплывчатые фосфорические

пятна; это снаружи сквозь оконные льдины тускло заглядывал в юрту мертвящий якутский мороз.

Минуты, часы безмолвною чередой пробегали над моею головой, и я спохватился, как незаметно подкрался тот роковой час, когда тоска так властно овладевает сердцем, когда «чужая сторона» враждебно веет на него всем своим мраком и холодом, когда перед встревоженным воображением грозно встают неизмеримую, неодолимую далью все эти горы, леса, бесконечные степи, которые залегли между тобой и всем дорогим, далеким, потерянным, что так неотступно манит к себе и что в этот час как будто совсем исчезает из виду, рея в сумрачной дали слабым угасающим огоньком умирающей надежды... А подавленное, но все же неотвязное горе, спрятанное далеко-далеко в глубине сердца, смело подымет теперь зловещую голову и среди мертвого затишья во мраке так явственно шепчет ужасные роковые слова: «Навсегда... в этом гробу, навсегда!..»

Легкий, ласковый визг, донесшийся до меня с плоской крыши сквозь трубу камелька,

вывел меня из тяжелого оцепенения. Это умный друг, верный пес Цербер, продрогший на своем сторожевом посту, спрашивал, что со мною и почему в такой страшный мороз я не зажигаю огня.

Я отряхнулся, почувствовал, что изнемогаю в борьбе с молчанием и мраком, и решил прибегнуть к спасительному средству, которое было тут же под руками. Средство это – бог юрты, могучий огонь.

У якутов по зимам никогда не прекращается топка, и потому у них нет приспособлений для закрывания трубы. Мы кое-как приладили эти приспособления, наша труба закрывалась снаружи, и каждый раз для этого приходилось взбираться на плоскую крышу юрты.

Я взошел на нее по ступенькам, протоптанным в снегу, которым юрта была закидана доверху. Наше жилье стояло на краю слободы, в некотором отдалении... Обыкновенно с нашей крыши можно было видеть всю небольшую равнину, и замыкавшие ее горы, и огни слободских юрт, в которых жили давно обьякутившиеся потомки русских поселенцев и частью ссыльные татары. Но теперь

все это потонуло в сером, холодном, непроницаемом для глаз тумане. Туман стоял неподвижно, выжатый из воздуха сорокаградусным морозом, и все тяжелее налегал на при- молкшую землю; всюду взгляд упирался в бесформенную, безжизненную серую массу, и только вверху, прямо над головой, где-то далеко-далеко висела одинокая звезда, пронизывавшая холодную пелену острым лучом.

А вокруг все замерло. Горный берег реки, бедные юрты селения, небольшая церковь, снежная гладь лугов, темная полоса тайги – все погрузилось в безбрежное туманное море. Крыша юрты, с ее грубо сколоченною из глины трубой, на которой я стоял с прижимавше- юся к моим ногам собакой, казалась остро- вом, закинутым среди бесконечного, необо- зримого океана... Кругом – ни звука... Холодно и жутко... Ночь притаилась, охваченная ужа- сом – чутким и напряженным.

Цербер тихо и как-то жалобно взвизгивал. Бедному псу, по-видимому, тоже становилось страшно ввиду наступающего царства мерт- вящего мороза; он прижимался ко мне и, за- думчиво вытягивая острую морду, настора-

живая чуткие уши, внимательно вглядывался в беспросветно серую мглу.

Вдруг он повел ушами и заворчал. Я прислушался. Сначала все было по-прежнему тихо. Потом в этой напряженной тишине выделился звук, другой, третий... В морозном воздухе издали неся слабый топот далеко по лугам бегущей лошади.

Подумав об одиноком всаднике, которому, судя по слабому топоту, предстояло проехать еще версты три до слободы, я быстро сбежал с крыши по наклонной стенке и кинулся в юрту. Минута в воздухе с открытым лицом грозила отмороженным носом или щекою. Цербер, издав громкий, торопливый лай в направлении конского топота, последовал за мною.

Вскоре в камельке, широко зиявшем открытою пастью в середине юрты, вспыхнул огонек зажженной мною лучины. К этому огоньку я приставил сухих поленьев смолистой лиственницы, и в несколько мгновений мое жильё изменилось до неузнаваемости. Молчаливая юрта наполнилась вдруг говором и треском. Огонь сотней языков перебе-

гал между поленьями, охватывал их, играл с ними, прыгал, рокотал, шипел и трещал. Что-то яркое, живое, торопливое и неугомонно-болтливое ворвалось в юрту, заглядывая во все ее углы и закоулки. По временам трескучее, разыгравшееся пламя стихало. Тогда мне было слышно, как, вылетая в короткую прямую трубу камелька, шипели, трескались в морозном воздухе горячие искры. Но через минуту огонь принимался за свою игру с новой силой, и в юрте раздавались частые взрывы, точно пистолетные выстрелы.

Теперь я уже не чувствовал себя в такой степени одиноким, как прежде. Все, казалось, вокруг меня шевелится, говорит, суетится и пляшет. Оконные льдины, в которые за минуту перед тем глядела снаружи морозная ночь, теперь искрились и переливались отблеском пламени, точно самоцветные камни. Я находил особого рода отраду в мысли, что во мгле холодной ночи моя одинокая юрта сверкает светлыми льдинами и сыплет, точно маленький вулкан, целым снопом огненных искр, судорожно трепещущих в воздухе, среди клубов белого дыма.

Цербер уселся против камелька, устался на огонь и сидит неподвижно, точно белое изваяние; по временам только он поворачивает ко мне голову, и в умных глазах собаки я читаю благодарность и ласку. Тяжелые шаги скрипят по двору у наружной стены, но Цербер остается спокоен, а только снисходительно взвизгивает; он знает, что это наши лошади, стоявшие до сих пор где-нибудь под плетнем, прижав уши и пожимаясь от мороза, вышли на огонь, чтобы стать у стены и смотреть на весело прыгающие искры, на широкую ленту теплого белого дыма.

Но вот собака с неудовольствием отвернулась от меня и заворчала. Через минуту она бросилась к двери. Я выпустил Цербера, и пока он неистовствовал и заливался на своем обычном сторожевом посту, на крыше, я выглянул из сеней. Очевидно, одинокий путник, которого приближение я слышал ранее среди чуткого безмолвия морозной ночи, соблазнился моим веселым огнем. Он раздвигал теперь жерди моих ворот, чтобы провести во двор оседланную и навьюченную лошадь.

Я не ждал никого из знакомых. Якут едва

ли приехал бы в слободу так поздно, а если бы и приехал, то, без сомнения, знал бы, где живут его догóры,[9] а не повернул бы на первый огонь. Стало быть, рассуждал я, это может быть только поселенец. В обыкновенное время мы не особенно радовались подобным гостям, но теперь живой человек был очень кстати. Я знал, что скоро веселый огонь станет смолкать, пламя лениво и томно потянется по раскаленному дереву, потом останется только куча углей, и по ним, нашептывая что-то, побегут огненные змейки все тише, все реже... Тогда в юрте настанет опять безмолвие мрака, а в мое сердце опять вошьется тоска. Камелек глянет в темноте слабою искоркой из-под пепла, точно из полузакрытого глаза, – глянет раз и другой и... заснет. А я опять останусь один... один перед долгою, тоскливою, бесконечною ночью.

Мысль о том, что, быть может, мне придется провести ночь с человеком, прошлое которого запятнано кровью, не приходила мне в голову. Сибирь приучает видеть и в убийце человека, и хотя ближайшее знакомство не позволяет, конечно, особенно идеализиро-

вать «несчастненького», взламывавшего замки, воровавшего лошадей или проламывавшего темною ночью головы ближних, но все же это знакомство позволяет трезво ориентироваться среди сложных человеческих побуждений. Вы узнаете, когда и чего можно ждать от человека. Убийца не все же только убивает, он еще и живет, и чувствует то же, что чувствуют все остальные люди, в том числе и благодарность к тому, кто его приютил в мороз и непогоду. Но когда мне приходилось приобретать в этой среде новое знакомство и если при этом у нового знакомого оказывалась оседланная лошадь, а в седле болтались вьючные «сумы-переметы», то вопрос о принадлежности лошади внушал некоторые сомнения, а содержимое «переметов» вызывало на размышления о способе его приобретения.

Тяжелая, обитая конской шкурой дверь юрты приподнялась в наклонной стене; со двора хлынула волна пара, и к камельку подошел незнакомый пришелец. Это был мужчина высокого роста, широкоплечий и статный. Уже на первый взгляд можно было отличить, что это не якут, хотя одет он был по-

якутски. На ногах у него были надеты торбаса из белой, как снег, конской шкуры. Широчайшие рукава якутской соны подымались складками на плечах выше ушей. Голова и шея были закутаны большою шалью, концы которой завязаны вокруг стана. Вся шаль, вместе с острою верхушкой торчавшей над нею якутской шапки (бергес), была обильно усыпана хлопьями крепкого, плотно смерзшегося инея.

Незнакомец приблизился к камельку и неловко, полужастывшими руками стал развязывать шаль, потом ремешки шапки. Когда он откинул свой треух на плечи, я увидел молодое, покрасневшее от мороза лицо мужчины лет тридцати; крупные черты его были отмечены тем особенным выражением, какое нередко приходилось мне замечать на лицах старост арестантских артелей и вообще на лицах людей, привыкших к признанию и авторитету в своей среде, но в то же время вынужденных постоянно держаться настороже с посторонними. Черные выразительные глаза его кидали быстрые, короткие взгляды. Нижняя часть лица несколько выдавалась

вперед, обнаруживая пылкость страстной натуры, но бродяга (по некоторым характерным, хотя трудно уловимым признакам, я сразу предположил в моем госте бродягу) давно уже привык сдерживать эту пылкость. Только легкое подергивание нижней губы и нервная игра мускулов выдавали по временам беспокойную напряженность внутренней борьбы.

Усталость, морозная ночь, а быть может, и тоска, которую испытывал одинокий путник, пробиравшийся среди непроницаемого тумана, – все это несколько смягчило резкие очертания лица, залегло над бровями и в черных глазах выражением страдания, гармонизировавшего с моим настроением в этот вечер, и внушило мне сразу невольную симпатию к незнакомому гостю.

Не раздеваясь дальше, он прислонился к камельку и вынул из кармана трубку.

– Здравствуйте, господин, – сказал он, вытряхивая трубку об уголок и в то же время искоса окидывая меня внимательным взглядом.

– Здравствуйте, – ответил я, продолжая, в свою очередь, пытливо осматривать незнако-

мую фигуру.

– Вы уж меня, господин, извините, что я так прямо к вам взошел. Мне вот только обогреться маленько да трубочку покурить – я и уеду, потому что у меня тут знакомые, которые меня во всякое время принимают, в двух верстах отсель, на заимке.

В его голосе слышалась сдержанность человека, очевидно не желавшего показаться навязчивым. Говоря это, он кинул на меня несколько коротких внимательных взглядов, как будто выжидая, что я скажу, чтобы сообразно с этим установить дальнейшие отношения. «Как ты со мной, так и я с тобой», – казалось, выражали эти пристальные, холодные взгляды. Во всяком случае, приемы моего гостя составляли приятный контраст с обычной назойливостью якутского поселенца, хоть для меня и было очевидно, что если бы он не рассчитывал остаться у меня ночевать, то не стал бы вводить лошадь во двор, а привязал бы ее к городьбе, снаружи.

– Кто вы такой, – спросил я, – как вас зовут?

– Меня-то? Зовут меня *Багылай*, то есть это,

видите ли, по-здешнему, а настоящей-то, по-расейски – Василий... Может, слышали? Байагантайского улусу.

– Родом с Урала, бродяга?..

На губах незнакомца чуть-чуть промелькнула улыбка удовольствия.

– Ну, вот, вот! Он самый. Вы, стало быть, обо мне маленько наслышаны?

– Да, слышал от Семена Ивановича. Вы ведь с ним жили по соседству.

– Верно. Семен Иваныч меня довольно знают.

– Ну, рад гостю, милости просим. Оставайтесь у меня ночевать, кстати же я один. Сейчас самовар поставим.

Бродяга охотно принял приглашение.

– Спасибо, господин! Ежели уж вы приглашаете, то я останусь. Надо вот переметы с седла снять, кое-что в избу внести. Оно хоть, скажем, конь-то у меня во дворе привязан, а все же лучше: народ-то у вас в слободе фартовый, особенно татары.

Он вышел и через минуту внес в юрту две переметные сумы. Развязав ремни, он стал вынимать оттуда привезенные с собою при-

пасы: крути мерзлого масла, мороженого молока, несколько десятков яиц и т. д. Кое-что из привезенного он разложил у меня на полках, остальное вынес на мороз, в сени, чтобы не растаяло. Затем он снял шаль, шубу и кафтан и, оставшись в красной кумачной рубаше и шароварах из «бильбирета» (род плиса), уселся против огня на стуле.

– Вот, господин, – поднял он голову и усмехнулся, – стану вам правду говорить: еду это к вашим воротам, а сам думаю: неужто не пустит меня ночевать? Потому что я довольно хорошо понимаю: есть из нашего брата тоже всякого народу достаточно, которого и пустить никак невозможно. Ну, я не из таких, по совести говорю... Да вы, вот, сказываετε, про меня слыхали.

– Действительно, слышал.

– Ну, вот! Живу, могу сказать, не похваставшись, честно и благородно. Имею у себя корову, бычка по третьему году, лошадь... Землю пашу, огород.

Бродяга говорил все это странным тоном, как-то раздумчиво, глядя в одну точку, а при последних словах даже развел руками, как

будто удивляясь: «А что, ведь и вправду все это так и есть в действительности!»

– Да, – продолжал он тем же тоном, – работаю! То есть вполне даже как следует, по божьему приказанию. Что ж, я так понимаю, что это гораздо лучше, нежели воровать или наипаче еще разбойничать. Вот скажем хоть к этому примеру: еду я ночью, увидел огонь и заезжаю к вам... и сейчас вы мне уважение, самоварчик... Я это должен ценить. Так ли я говорю?

– Конечно, – подтвердил я, хотя, в сущности, бродяга обращался больше к себе самому, себя убеждал в преимуществах своей настоящей жизни.

Я действительно знал Василия по слухам от товарищей; это был бродяга-поселенец, уже два года живший в своем домике, среди тайги, над озером, в одном из больших якутских *наслегов*. [10] В бесшабашной и потерянной среде поселенцев, бедствовавших, воровавших и нередко разбойничавших по наследгам, он был одним из немногих, предпочитавших трудовую жизнь, которая здесь давала легкую возможность подняться. Якуты, вооб-

ще говоря, народ очень добродушный, и во многих улусах принято, как обычай, оказывать новоприбывшим поселенцам довольно существенную помощь. Правда, что без этой помощи человеку, закинутому в суровые условия незнакомой страны, пришлось бы или в самом скором времени умереть от голода и холода, или приняться за разбой; правда также, что всего охотнее эта помощь оказывается в виде пособия «на дорогу», посредством которого якутская община старается как можно скорее выпроводить поселенца куда-нибудь на прииск, откуда уже большая часть этих неудобных граждан не возвращается; тем не менее человеку, серьезно принимающемуся за работу, якуты по большей части также помогают стать на ноги. Василий получил от наслегу избу, быка, и на первый год ему засеяли обществом шесть пудов хлеба. Урожай выдался хороший; кроме того, он выгодно нанялся у якутов косить сено, стал слегка торговать табаком, и года в два хозяйство его сложилось. Якуты относились к нему с почетом, поселенцы величали в глаза Василием Ивановичем и только за глаза звали

Васькой; попы, выезжая на потребу, охотно заезжали к нему на перепутье и сами сажали его за стол, когда ему случалось приезжать к ним. Водил он также знакомство и с нашею братиею, интеллигентными людьми, брошенными судьбой в эти далекие страны. Казалось бы, всем житье бродяге – оставалось только жениться; тут, конечно, встречалось маленькое затруднение, так как бродяг обыкновенно не венчают, но в той стороне за небольшие деньги, за телку или хорошего жеребенка можно было устроить и это.

И тем не менее, взглядываясь в энергичное лицо молодого бродяги, я все яснее различал в нем какую-то странность. Теперь это лицо нравилось мне уже несколько менее, чем в первую минуту, но все же оно было довольно приятно. Темные глаза глядели по временам задумчиво и умно, все черты выражали энергию; обращение его было свободно, в тоне слышалось удовлетворенное самолюбие гордой природы. Только по временам нижняя часть лица как-то нервно вздрагивала и блеск глаз потухал. Было видно, что Багылаю стоит некоторого усилия держать этот ровный тон,

сквозь который что-то как будто силилось пробиться наружу, что-то горькое, подавляемое только напряжением воли...

Сначала я не мог отдать себе отчета, что именно это было. Теперь я уже знаю: привычный бродяга обманывал себя, уверяя, что он доволен своим спокойным существованием, своим домком, и коровкой, и бычком по третьему году, и оказываемым ему уважением. В глубине души он сознавал, – хотя и подавлял пока это сознание, – что эта серая жизнь, жизнь на чужбине, постылой и неприветной, не про него. Из глубины души уже подымались в нем призывы тайги, его манила уже от серых будней безвестная, заманчивая и обманчивая даль. Так объяснил я себе эту черту впоследствии, но тогда я видел только, что бродягу, несмотря на кажущееся спокойствие, что-то гложет внутри, что-то прорывается наружу...

Пока я хлопотал с самоваром, Василий сидел против камелька, задумчиво глядя на огонь. Я окликнул его, когда все было готово.

– Спасибо, господин, – сказал он, подымаясь. – Много доволен и на ласковом слове. Ах,

господин, господин! – обратился он вдруг ко мне как-то страстно, – поверишь ты: как завидел я твой огонек, сердце во мне взыграло, – право, не лгу! Потому что знаю: у расейского человека этот огонь горит... Ехал это лугами... темень, мороз... Юрта где задымится в сторонке, – конь так и воротит к ней, так и воротит; известно, скотина якутская, лестно ей. Ну а у меня сердце туда не лежит. Что мне в ней, хоть бы и в юрте? Конечно, согреют, может, и водка нашлась бы. Да нет!.. А твой огонь увидал – вот, думаю, куда заезжать, если примет. Спасибо, что не прогнал. В нашем наслеге, может, когда быть доведется, – милости просим ко мне. Найдем чем угостить, слава те господи! Примем как следует, честно!

Напившись чаю, Василий опять уселся против огня. Ему нельзя было еще ложиться: приходилось выждать, пока остынет его лошадь, чтобы спустить ее к сену. Якутская лошадь не особенно сильна, зато удивительно нетребовательна; якут доставляет на ней масло и другие припасы на дальние прииски или в тайгу к тунгусам, на дальний Учур,[11] проходя сотни верст по местам, где нечего и думать о запасах сена. Приехав на ночевку в дикой тайге, он разгребает снег, разводит костер, а стреноженных лошадей пускает в тайгу; привычный конь добывает себе из-под снега высохшую прошлогоднюю траву и наутро опять готов для утомительного перехода.

Но при этом у якутской лошади есть одна особенность: ее нельзя кормить тотчас после поездки, и перед отправлением в путь сытую лошадь тоже выдерживают без пищи иногда в течение суток и даже больше.

Василию нужно было выждать часа три. Я тоже не ложился, и мы сидели оба, изредка перекидываясь словами. Василий, или, как он

уже привык называть себя, Багылай, то и дело подкладывал в огонь по одному полену. Это в нем сказывалась местная привычка, приобретенная в течение длинных вечеров якутской зимы.

– Далеко! – сказал он вдруг после долгого молчания, как будто отвечая собственной мысли.

– Что это? – спросил я.

– Наша-то сторона, Расея... Здесь вот все не по-нашему, что ни возьми. Взять хоть скотину, лошадь, к примеру: у нас лошади, ежели приехал на ней, первым делом требуется пища, а эту вот накорми горячую – подохнет. Как тепло станет, сейчас у ней в сердце делается льдина, и кончено! Тоже и народ взять: живут по лесу, конину жрут, сырое мясо едят, падаль, прости господи, и ту трескают... тьфу! Стыда у здешнего народа нисколько нету: вынь в юрте у них кисет с табаком, и сейчас, сколько ни есть тут народу, всякий к тебе руку тянет: давай!

– Что ж, это у них обычай, – возразил я. – Зато и сами они дают. Ведь вот помогли же вам завести хозяйство.

– Помогли, правда.

– Довольны вы своею жизнью? – спросил я, вглядываясь в лицо бродяги.

Он как-то загадочно улыбнулся.

– Да, жизнь... – сказал он, помолчав и подбрасывая в огонь новое полено.

Пламя осветило его лицо: глаза глядели тускло.

– Эх, господин, ежели рассказать вам!.. Не видал я в жизни своей хорошего и теперь не вижу. Только и видел хорошего до восемнадцати лет. Ладненько тогда жил, пока родителей слушал. Перестал слушаться – и жизнь моя кончилась. С самых тех пор, я так считаю, что и на свете не живу вовсе. Так... бьюсь только понапрасну.

По красному лицу бродяги пробегают тени, и нижняя губа нервно вздрагивает, как у ребенка, точно он на это время опять возвратился к тому возрасту, когда «слушался родителей», точно вновь стал ребенком, только этот ребенок готов теперь расплакаться над собственной разбитою жизнью!

Заметив, что я пытливо гляжу на него, бродяга спохватился и тряхнул головой.

– Ну, да что тут... Не хотите ли лучше послушать, как мы с Соколиного острова бежали?

Я, конечно, согласился и всю ночь до рассвета прослушал рассказы бродяги.

III

В летнюю ночь 187* года пароход «Нижний Новгород» плыл по водам Японского моря, оставляя за собой в синем воздухе длинный хвост черного дыма. Горный берег Приморской области уже синел слева в серебристо-сизом тумане; справа в бесконечную даль уходили волны Лаперузова пролива. Пароход держал курс на Сахалин, но скалистых берегов дикого острова еще не было видно.

На пароходе все было спокойно и тихо. На рубке виднелись освещенные луной фигуры лоцманов и дежурных офицеров. Огни из люков трепетали, отражаясь на темной поверхности океана.

«Нижний Новгород» шел с «грузом арестантов», назначенных на Сахалин. Морские уставы вообще очень строги, а на корабле с подобным грузом они еще строже. Днем арестантов

станты посменно гуляли по палубе, оцепленные крепким караулом. Остальное время они проводили в своих помещениях под палубой.

Обширная камера под низко нависшим потолком... Свет проникает днем сквозь небольшие люки, которые выделяются на темном фоне, точно два ряда светлых пуговиц, все меньше и меньше, теряясь на закругленных боках пароходного корпуса. В середине трюма оставлен проход вроде коридора; чугунные столбы и железная решетка отделяют этот коридор от помещения с нарами для арестантов. В проходе, опершись на ружья, стоят конвойные часовые. По вечерам тут же печально вытянутою линией тускло горят фонари.

Вся жизнь серых пассажиров парохода проходит на виду, за этою решеткой. Стоит ли над морем яркое тропическое солнце, свистит ли ветер, скрипят и гнутся снасти, ударит ли волной непогода, разыграется ли грозная буря и пароход весь застонет под ударами шторма, — здесь, все так же взаперти, прислушиваются к завыванию ветра сотни людей, которым нет дела до того, что происходит там, наверху, и куда несется их плавающая тюрьма.

Арестантов гораздо больше на пароходе, чем конвоя, но зато каждый шаг, каждое движение серой толпы введены твердою рукой в заранее намеченную железную колею, и экипаж обеспечен против всякой возможности бунта.

Впрочем, здесь принято во внимание все, даже и невероятное: если бы в толпе прорвался ожесточенный разъярившийся зверь и она в отчаянии стала бы кидаться на явную опасность, если бы выстрелы сквозь решетку не оказали действия и зверь грозил бы сломать свою железную клетку, – тогда в руках командира оставалось бы еще одно могучее средство. Ему стоило только крикнуть в машинное отделение несколько слов:

«Рычаг такой-то... отдать!»

«Есть!» – и вслед за этим ответом в арестантское помещение были бы пущены из машины струи горячего пара, точно в щель с тараканами. Это страшное средство предотвращало всякую возможность общего бесчинства со стороны серого населения пароходного трюма.

Тем не менее и под давлением строгого ре-

жима это серое население жило за железными решетками своею обычною жизнью. И в ту самую ночь, когда пароход шлепал колесами по спокойному морю, дробясь в мрачной зыбучей глубине своими огнями, когда часовые, опершись на ружья, дремали в проходах трюма и фонари, слегка вздрагивая от ударов никогда не засыпавшей машины, разливали свой тусклый, задумчивый свет в железном коридоре и за решетками... когда на нарах рядами лежали серые неподвижные фигуры спавших арестантов, – там, за этими решетками, совершалась безмолвная драма. Серое кандальное общество казнило своих отступников.

На следующее утро, во время переклички, три арестанта не поднялись с своих мест. Они остались лежать на нарах, несмотря на грозные оклики начальства. Когда вошли за решетку и приподняли халаты, которыми они были прикрыты, то начальство убедилось, что эти трое никогда уже не поднимутся на перекличку.

Во всякой арестантской артели все важнейшие дела вершатся более влиятельным и

сплоченным ядром. Для массы, по-арестантски «шпанки», серой, безличной толпы, подобные события нередко бывают совершенною неожиданностью. Пораженное мрачною ночью трагедией, население пароходного трюма вначале примолкло; под низким потолком стояла пугливая тишина. Только плеск моря доносился снаружи, бежали с рокотом вдоль ватерлинии разбиваемые грудью парохода волны, да тяжелое пыхтение машины глухо отдавалось вместе с мерными ударами поршней.

Но скоро начались среди арестантов разговоры и толки о последствиях «происшествия». Начальство, очевидно, не намерено было замять неприятное дело, приписав смерть случайности или скоропостижным болезням. Признаки насилия были очевидны; пошли допросы. Арестанты отвечали единодушно; быть может, в другое время начальству и нетрудно было бы найти несколько человек, которых страхом или обещанием выгоды можно бы склонить к доносу, но теперь, кроме чувства «товарищества», языки были скованы ужасом. Как ни страшно начальство,

как ни грозны его окрики, – «артель» еще страшнее: в эту ночь там, на нарах, на виду у часовых, она показала свое ужасное могущество. Без сомнения, многие в ту ночь не спали; не одно ухо чутко ловило заглушенные звуки борьбы «под крышкой», [12] хрипение и вздохи, не совсем похожие на вздохи спящих, но никто ни одним словом не выдал исполнителей страшного приговора. Начальству не осталось ничего более, как приняться за официальных ответчиков: старосту и его помощника. В тот же день их обоих заковали в кандалы.

Помощником был Василий, носивший тогда другое имя.

Прошло еще дня два, и дело было обсуждено арестантами с полной обстоятельностью. На первый взгляд казалось, что концы спрятаны, виновных открыть невозможно и закованным представителям артели грозила лишь легкая дисциплинарная ответственность. На все вопросы у них был прямой и резонный ответ: «Спали!»

Однако при более тщательном рассмотрении дело стало возбуждать некоторые сомне-

ния. Сомнения эти относились именно к Василию. Правда, в подобных случаях артель действует всегда таким образом, чтобы неприкосновенность к делу первых «ответчиков» кидалась по возможности в глаза, и в этом случае Василий мог легко доказать, что он не принимал в ночной трагедии прямого участия. Тем не менее, обсуждая положение помощника старосты, опытные арестанты, прошедшие и огонь, и медные трубы, покачивали головами.

«Слышь, парень, – подошел раз к Василию старый, бывалый в переделках бродяга, – как приедем на Соколиный остров, запасай ноги. Дело, братец, твое неприятно. Совсем табак твое дело!»

«А что?»

«Да вот то же!.. Ты в первый раз осужден или вторично?»

«Вторично».

«То-то. А помнишь, покойный Федька на кого доносил? Все на тебя же. Ведь из-за него ты ходил неделю в наручниках, так ли?»

«Было дело».

«Ну а что ты ему тогда сказал? Солдаты-то

ведь слышали! Ты как об этом думаешь? Ведь это есть угроза!»

Василий и другие слушатели поняли, что тут было от чего почесаться.

«Ну вот! Сообрази-ка ты все это, да и готовься к расстрелу!»

В партии поднялся ропот.

«Не болтай, Буран», – заговорили арестанты с неудовольствием.

«Хлопает старик зря».

«От старости, видно, из ума выжил. Шутка ли чего сказал: к расстрелу!»

«Не выжил я из ума, – сердито заговорил старик и плюнул с досады. – Много вы, шпанье,[13] понимаете! Вы судите по-расейски, а я по-здешнему. Я здешние-то порядки знаю... Верно тебе говорю, Василий: пошлют дело к амурскому генерал-губернатору, – готовься к расстрелу. А ежели за великую милость на кобылу[14] велят ложиться, так это еще хуже: с кобылы-то уж не встанешь. Потому что ты понимай: это, братец, корापъ! На корабле закон против сухопутья вдвое строже. Ну а впрочем, – глухо добавил старик, запыхавшийся от этой длинной речи, – мне все одно, хоть

пропадите вы все пропадом...»

Потухшие глаза старого, разбитого незадачливою жизнью бродяги давно уже глядели на мир тускло и с угрюмым равнодушием. Он махнул рукой и отошел к сторонке.

Среди арестантских партий встречается немало юристов, и если такая партия во всем составе по тщательном обсуждении данного дела постановит свой предполагаемый приговор, то он почти всегда в точности совпадает с действительным. В данном случае все такие юристы согласились с мнением Бурана, и с этих пор было решено, что Василий должен бежать. Так как он мог пострадать из-за «артельного дела», то артель считала себя обязанной оказать ему помощь. Запас сухарей и галет, образовавшийся из «экономии», поступил в его распоряжение, и Василий стал «сбивать партию» желающих участвовать в победе.

Старый Буран бегал уже с Сахалина, и потому первый выбор пал на него. Старик долго не раздумывал.

«Мне, – ответил он, – на роду уж написано в тайге помирать. Да оно, пожалуй, в тайге-то

бродяге и лучше. Одно вот только: годы мои не те, поизносился».

Старый бродяга заморгал тусклыми глазами.

«Ну, ин сбивай артель. Вдвоем али втроем нечего и идти – дорога трудная. Наберется человек десять – и ладно. А уж я пойду, поколе ноги-то носят. Хоть помереть бы мне в другом месте, а не на этом острове».

Буран заморгал еще сильнее, и по сморщенному, обветреному лицу покатались старческие слезы.

«Ослаб старый бродяга», – подумал Василий и пошел «сбивать артель», подыскивать других товарищей.

IV

Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. Арестанты толпились у люков и с тревожным любопытством смотрели на горные высокие берега острова, все выроставшие среди сумрака приближавшегося вечера.

Темною ночью подошел пароход к порту. Очертания берега надвинулись и встали черною громадой. Пароход остановился, команда выстроилась; стали выводить арестантов.

На берегу в темноте виднелись кое-где огни; море плескалось в берег, на небе висели тучи, а на сердце у всех такая же темная, такая же мрачная нависла тоска.

«Порт это, – тихо говорил Буран, – Дуя[15] называемый. Тут на первое время в казармах жить придется».

После проверки в присутствии местного начальства вывели партию на берег. Проведя несколько месяцев на море, арестанты впервые чувствовали под ногами твердую почву. Пароход, на котором они прожили столько времени, покачивался в темноте и вздыхал среди ночи клубами белого пара.

Впереди задвигались огни. Послышались голоса:

«Партия, что ли?»

«Партия».

«Ступай сюда, в седьмую казарму!»

Арестанты двинулись на огонь. Шли вразброд, в беспорядке, и всех поражало то обстоятельство, что сбоку никто не толкает их прикладами.

«Братцы, – слышались удивленные голоса, – никак, караулу-то с нами нету?»

«Молчи! – угрюмо проворчал в ответ на это Буран. – Зачем тебе здесь караул? Небось и без караулу не убежишь. Остров этот большой, да дикой. В любом месте с голоду поколеешь. А кругом острова море. Не слышишь, что ли?»

Действительно, среди влажной ночи подымался ветер; огни фонарей неровно мерцали под его порывами, и глухой гул моря доносился с берега, точно рев просыпающегося зверя.

«Слышь, как ревет? – обратился Буран к Василию. – Вот оно: кругом-то вода, посередке беда... Беспременно море переплывать надо, да еще до переправы островом сколько идти

придется... Гольцы, да тайга, да кордоны!.. На сердце у меня что-то плохо; нехорошо море-то говорит, неблагоприятно. Не избыть мне, видно, Соколиного острова, не избыть будет – стар! Два раза бегал; раз в Благовещенске, другой-то раз в Расее поймали, – опять сюда... Видно, судьба мне на острове помереть».

«Авось не помрешь!» – ободрил старика Василий.

«Молод ты, а я уж износился. Эх, море-то, море-то как жалостно да сердито взыграло!»

Из казармы № 7 вывели всех живших в ней каторжных и отвели ее новоприбывшим, приставив на первое время караул. Привыкши к тюремной неволе и крепким запорам, они непременно разбились бы по острову, как овцы, выпущенные из овчарни. Других, живших здесь подольше, не запирали: поглядевшись и ознакомившись с условиями, ссыльные убеждаются, что побег на острове – дело крайне рискованное, почти верная смерть, и потому на это дело отваживаются только исключительные удальцы, да и то после тщательных сборов. А таких все равно запирай не запирай – убегут, если не из тюрь-

мы, то с работы.

«Ну, Буран, советуй теперь, – приставал к Бурану Василий дня через три по приезде на остров, – ты ведь у нас старший будешь, тебе впереди идти, тебе и порядки давать. Чай, ведь запас нужно делать».

«Чего советовать-то, – ответил старик вяло. – Трудно... годы мои не те. Вот видишь ты: пройдет еще дня три, караулы поснимут, станут партиями в разные места на работы выводить, да и так из казармы выходить дозволяется. Ну, только с мешком из казармы не выпустят. Вот тут и думай».

«Ты придумай, Буранушка, – тебе лучше знать».

Но Буран ходил осунувшийся, угрюмый и опустившийся. Он ни с кем не говорил и только что-то бормотал про себя. С каждым днем, казалось, старый бродяга, очутившийся в третий раз на старом месте, «ослабевал» все больше и больше. Между тем Василий успел подобрать еще десять охотников, молодец к молодцу, и все приставал к Бурану, стараясь расшевелить его и вызвать к деятельности. Порой это удавалось, но даже и тогда старик

всегда сводил речь на трудность пути и дурные предзнаменования.

«Не избыть острова!» Это была постоянная фраза, в которой вылилась безнадежная уверенность неудачника-бродяги. Тем не менее в светлые минуты он оживлялся воспоминаниями о прежних попытках, и тогда, в особенности по вечерам, лежа на нарах рядом с Василием, он рассказывал ему об острове и о пути, по которому придется идти беглецам.

Порт Дуэ расположен на западной стороне острова, обращенной к азиатскому берегу. Татарский пролив в этом месте имеет около трехсот верст в ширину; переплыть его в небольшой лодочке, понятно, нечего и думать, и потому беглецы поневоле направляются в ту или другую сторону по острову. Побег, собственно на острове, нетруден. «Куда хошь ступай, – говорил Буран, – коли помирать хочется: остров большой, весь в гольцах да в тайге. Гиляк-инородец на что привычный человек, и тот не во всяком месте держится. На восток ежели пойдешь – заплутаешься в камнях: либо пропадешь, расклюет тебя голодная птица, либо сам к зиме опять

сюда явишься. На полдень пойдешь – дойдешь до конца острова, а там море-окиян: на корабле разве переплыть. Одна нам дорога – на север, все берегом держаться. Море-то само дорогу укажет. Верст триста пройдем, будет пролив, узкое место; тут нам и переправу держать на амурскую сторону на лодках».

«Ну только что скажу тебе, парень, – начал Буран обычный унылый припев, – и тут трудно, потому что мимо кордонов идти придется, а в кордонах солдаты. Первый кордон Варки называется, предпоследний Панги, последний самый – Погиба. А почему Погиба? – больше всех тут нашему брату гибель. И хитро же у них кордоны поставлены: где этак узгорочек круто заворачивает, тут и кордон выстроен. Идешь, идешь да прямо на кордон и наткнешься. Не дай господи!»

«Ну, да ведь уж два раза ходил, чай, знаешь?»

«Ходил, парень, ходил... – и потухшие глаза старика опять вспыхнули. – Ну, слушай меня, да делайте, как я велю. Станут скоро на мельницу на постройку людей выкликать, вы все в то число становитесь; станут туда про-

визию запасать, и вы свои сухари да галеты в телегу складывайте. На мельнице-то Петруха сидит, из каторжных. От него вам и будет ход, с мельницы то есть. Три дня здесь вас не спохватятся, такой здесь порядок: три дня можно на перекличку не являться – ничего. Доктор от наказания избавляет, потому что, говорит, больница плохая; иной это притомится на работе, занеможет: чем ему в больницу идти, лучше он в кусты уйдет да там как-нибудь на воздухе-то и отлежится. Ну а уж если на четвертый день не явился, то прямо считают в бегах. И сам после явишься, все равно: приходи да прямо на кобылу и ложись».

«Зачем на кобылу? – сказал Василий. – Даст бог уйдем, так уж охотой не вернемся».

«А не вернешься, – глухо заворчал Буран, и глаза его опять потухли, – не вернешься, так все равно воронье тебя расклюет в пади где-нибудь, на кордоне. Кордону-то небось с нашим братом возиться некогда; ему тебя не представлять обратно, за сотни-то верст. Где увидел, тут уложил с ружья – и делу конец».

«Не каркай, старая ворона!.. Завтра, смотри, идем мы. Ты Боброву сказывай, чего на-

до, – артель отпустит».

Старик проворчал что-то в ответ и отошел, понутив голову, а Василий пошел к товарищам сказать, чтобы готовились. От должности помощника старосты он отказался ранее, и на его место уже выбрали другого. Беглецы уложили котомочки, выменяли лучшую одежду и обувь, и на следующий день, когда действительно стали снаряжать рабочих на мельницу, они стали в число выкликаемых. В тот же день с постройки все они ушли в кусты. Не было только Бурана.

Отряд подобрался удачно. С Василием пошел его приятель, который «по бродяжеству» носил кличку Володька, Макаров, силач и хват, бегавший два раза с Кары, два черкеса, народ решительный и незаменимый в отношении товарищеской верности, один татарин, плут и проныра, но зато изобретательный и в высшей степени ловкий. Остальные были тоже бродяги, искусившиеся в путешествиях по Сибири.

Артель просидела в кустах уже день, переночевала, и другой день клонился к вечеру, а Бурана все не было. Послали татарина в ка-

зарму; пробравшись туда тихонько, он вызвал старого арестанта Боброва, приятеля Василия, имевшего в среде арестантов вес и влияние. На следующее утро Бобров пришел в кусты к беглецам.

«Что, братцы, как бы мне вам какую помощь сделать?»

«Посылай непременно Бурана. Без него нам не ход. Да если чего просить станет из запаса – дайте. За Бураном у нас только и дело-то стало».

Вернулся Бобров в казарму, а Буран и не думает собираться. Суется по камере, сам с собою разговаривает да размахивает руками.

«Ты чего же это, Буран, думаешь?» – окликнул его Бобров.

«А тебе что?»

«Как что? Почему не собрался?»

«В могилу мне собираться, вот куда!»

Бобров рассердился.

«Да ты что в самом деле! Ведь ребята четвертые сутки в кустах. Ведь им теперь на кобылу ложиться... А еще старый бродяга!»

Заплакал от покоров старик.

«Отошло мое время... Не избыть мне остро-

ва... Износился!..»

«Износился ты аль нет, это дело твое. Не дойдешь, помрешь в дороге, – за это никто не завинит; а ежели ты подвел одиннадцать человек под плети, то обязан идти. Ведь мне стоит артели сказать, что тогда над тобой сделают?»

«Знаю, – сказал Буран сумрачно, – сделают крышку, потому что стóю... Нечестно старому бродяге помирать такую смертью. Ну, ин видно, идти мне доводится. Только вот ничего-то у меня не припасено».

«Все живою рукою будет. Что надо?»

«А вот что: первым делом неси мне двенадцать хороших халатов, новых».

«Да ведь у ребят свои есть».

«Ты слушай меня, что я говорю, – заговорил Буран с сердцем, – знаю, что есть у них по халату, а надо по два. Гилякам за лодку с человека по халату придется. Да еще надо мне двенадцать ножей хороших, по три четверти, да два топора, да три котла».

Бобров собрал артель и объяснил, в чем дело. У кого были лишние халаты, все поступились в пользу беглецов. У всякого арестанта

живуче какое-то инстинктивное сочувствие смелой попытке вырваться из глухих стен на вольную волю. Котлы и ножи нашлись частью даром, частью за деньги у старожилов-ссылных. Все было готово дня в два.

Со времени прибытия партии на остров прошло тринадцать дней.

На следующее утро Бобров доставил Бурана в кусты вместе с запасом. Беглецы «стали на молитву», отслужили нечто вроде молебна на этот случай по особому арестантскому уставу, попрощались с Бобровым и двинулись в дорогу.

— Что же, небось весело было в путь отправляться? – спросил я, вслушиваясь в окрепший голос рассказчика, вглядываясь в его оживившиеся в этом месте рассказа черты.

– Да как же не весело! Как изошли из кустов да тайга-матушка над нами зашумела, – верите, точно на свет вновь народились. Таково всем радостно стало. Один только Буран идет себе впереди, голову повесил, что-то про себя бормочет. Невесело вышел старик. Чуюло, видно, Бураново сердце, что недалеко уйти ему.

Видим мы с первого разу, что командер у нас не очень надежный. Он хоть бродяга опытный и даже с Соколиного острова два раза бегал, да и дорогу, видно, знает: идет, знай, покачивается, по сторонам не глядит, ровно собака по следу, – ну а все же нас с Володькой, с приятелем, сомнение берет.

«Гляди-ко, – говорит мне Володька, – с Бураном как бы на беду не напороться. Видишь: он не в себе что-то».

«А что?» – говорю.

«А то, что старик как будто не в полном рассудке. Сам с собой разговаривает, голова у него мотается, да и распоряжений от него никаких не видится. Нам бы давно уж хоть маленький привал сделать, а он, видишь, прет себе да прет. Неладно, право!»

Вижу и я, что неладно. Подошли мы к Бурану, окликнули:

«Дядя, мол, а дядя! Что больно разошелся? Не пора ли привал сделать, прилечь отдохнуть?»

Повернулся он к нам, посмотрел да опять вперед пошел.

«Погодите, говорит, зачем торопитесь ложиться? Вон в Варках либо в Погибе уложат пулями – належитесь еще».

«Ах, чтоб те пусто было!» Ну все же спорить не стали, потому что он старый бродяга. И притом сами видим, что не дело и мы затеяли: в первый-то день побольше уйти надо – тут не до отдыху.

Прошли еще сколько-то. Володька опять меня толкает:

«Слышь, Василий, дело-то все же неладно!»

«Что такое опять?»

«До Варков-то, сказывали, двадцать верст; ну, уж мы восемнадцать-то верных прошли. Как бы на кордон не напороться».

«Буран, а Буран!.. Дядя!» – кричим опять.

«Что вам?»

«Варки, чай, близко».

«Далеко еще», – отвечает и опять пошел.

Была бы тут беда, да, на счастье, увидели мы – на речке челнок зачален стоит. Как увидели мы этот челнок, так все и остановились. Бурана Макар силой удержал. Уж ежели, дураем себе, челнок стоит, значит, и житель близко. Стой, ребята, в кусты!

Вот вошли мы в тайгу, а на ту пору шли мы падью по речке; по одну сторону горы и по другую тоже горы, лиственью поросли густо. С весны с самой по Соколиному острову туманы теплые ходят, и в тот день с утра тоже туман был. А как взобрались мы на гору да прошли малое место верхами, –дохнул из пади ветер, туман, как нарочно, в море и угнало. Смотрим мы: внизу за горкой кордон, как на ладонке, солдаты по двору ходят, собаки лежат, дремлют. Все мы тут ахнули: ведь без ма-

лого волку в пасть своюю охотой не полезли.

«Как же, говорим, дядя Буран. Ведь это кордон».

«Кордон, – отвечает Буран. – Самые это Варки».

«Ну, – говорим мы ему, – уж ты, дядя, не прогневайся: хоть ты и старше нас всех, однако, видно, нам самим о себе промышлять надо. С тобой как раз беды наживешь».

Заплакал старик.

«Братцы! – говорит, – стар я, простите ради Христа. Сорок лет хожу, весь исходился, видно, память временами отшибать стало: кое помню, а кое вовсе забыл. Не взыщите! Надо теперь поскорей уходить отсюда: не дай бог за ягодой кто к кордону пойдет или ветер бродяжьим духом на собаку пахнёт – беда будет».

Пошли мы дальше. Дорогой поговорили меж собой и все так порешили, чтобы за Бураном смотреть. Меня ребята выбрали вожаком; мне, значит, привалами распоряжаться, порядки давать; ну а Бурану все же впереди идти, потому что он с дороги-то не сбивается. Ноги у бродяги привычные: весь изомрет, а ноги-то все живы, – идет себе, с ноги на ногу

переваливается. Так ведь до самой смерти все старик шел.

Шли мы больше горами; оно хоть труднее, да зато безопаснее: на горах-то только тайга шумит да ручьи бегут, по камню играют. Житель, гиляк, в долинах живет, у рек да у моря, потому что питается рыбой, которая рыба в реки ихние с моря заходит, *кыта́* называемая. И столь этой рыбы много, так это даже удивлению подобно. Кто не видал, поверить трудно: сами мы эту рыбу руками добывали.

Так все и идем, нос-то по ветру держим. Где этак безопаснее, к морю аль к речке спустимся, а чуть малость сомневаться станем, сейчас опять на верхи. Кордоны-то обходим со всякою осторожностью, а кордоны-то стоят разно: где двадцать верст расстояние, а где и все пятьдесят. Угадать никак невозможно. Ну, все же как-то нас бог миловал, обходили все кордоны благополучно, вплоть до последнего...

VI

Рассказчик нахмурился и замолчал. Спустя некоторое время он поднялся с места.

– Что же дальше? – спросил я.

– Лошадь вот... Чай, уж просохла. Пора, пожалуй, спустить с привязи.

Мы оба вышли на двор. Мороз сдавал, туман рассеялся. Бродяга посмотрел на небо.

– Стожары-то высоко поднялись, – сказал он. – За полночь зашло.

Теперь юрты соседней слободы виднелись ясно, так как туман не мешал. Слобода спала. Белые полосы дыма тихо и сонно клубились в воздухе; по временам только из какой-нибудь трубы вдруг вырывались снопы искр, неистово прыгая на морозе. Якуты топят всю ночь без перерыва: в короткую незакрытую трубу тепло вытягивает быстро, и потому первый, кто проснется от наступившего в юрте холода, подкладывает свежих поленьев.

Бродяга постоял некоторое время в молчании, глядя на слободу. Затем он вздохнул.

– Вот и ровно бы село наше, право! Давно уж я села не видал. Якуты по наслегам живут,

как звери в лесу, все в одиночку... Эх, хоть бы сюда мне перебраться, что ли. Может, и выжил бы здесь.

– Ну а в наслеге разве не выживете? Ведь у вас хозяйство. Вот вы говорили, что довольны своим положением.

Бродяга ответил не сразу.

– Мочи моей нету, вот что! Не глядели бы глаза на здешнюю сторону.

Он подошел к коню, пощупал у него под гривой, потрепал по шее. Умный конек повернул к нему голову и заржал.

– Ну, ладно, ладно! – сказал Василий ласково. – Спущу сейчас. Смотри, Серко, завтра не выдай!.. В бега его завтра пущу с татарами. Конек хороший, набегал я его – теперь с любым скакуном потягается. Ветер!

Он снял недоуздок, и конь веселою рысцой побежал к сену. Мы вернулись в избу.

Лицо Василия сохраняло пасмурное выражение. Он как будто забыл или не хотел продолжать свой рассказ. Я напомнил ему, что жду продолжения.

– Да что рассказывать-то, – сказал он угрюмо, – не знаю, право... Нехорошо у нас вышло.

Ну, да уж начал, так надо кончать...

...Шли мы уже двенадцать ден и все еще с Соколиного острова не вышли, а по-настоящему надо бы на восьмой день уже на амурскую сторону перебраться. И все потому, что опасаемся, на командёра своего надежды не имеем. Где бы ровным местом идти, берегом, а мы по верхам рыщем, по оврагам, по гольцам, да тайгой, да по бурелому... Много ли тут уйдешь? Вот и стала у нас провизия кончаться, потому что всего на двенадцать ден и запасали. Стали мы поначалу порции уменьшать; сухарей понемногу отпускали, и промышляй всяк для своей утробы как знаешь: ягоды-то по тайге много. И пришли мы таким родом к заливчику, лиман называемый. Вода в том заливчике соленая, а как припрет ину пору с Амуру, то и пресная бывает. Вот хорошо: надо в этом месте лодки добывать, на амурскую сторону переправу иметь.

Стали мы тут думать-гадать: где нам взять лодки? Приступили к Бурану: советуй! А Буран-старик притомился у нас вовсе: глаза потускли, осунулся весь и никакого совету не знает. «У гиляков, говорит, лодки добывать

надо», а где они, гиляки эти, и каким, например, способом лодки у них получить, этого не объясняет.

Вот и говорим мы с Володькой ребятам: «Погодите-ка вы здесь, а уж мы по берегу пойдем, может, на гиляков наткнемся: как-нибудь лодку ли, две ли промыслим. А вы тут, ребята, смотрите, ходите с опаской, потому что кордон, надо быть, поблизости находится».

Остались ребята, а мы втроем пошли по берегу. Шли-шли, вышли на утесик, глядим, а внизу, над речкой, гиляк стоит, снасть чинит. Бог нам его, Оркуна этого, послал.

– Это что же Оркун, имя, что ли? – спросил я рассказчика.

– Кто его знает? Может, и имя, а вернее, что старосту это по-ихнему обозначает. Нам неизвестно, а только как подошли мы к нему потихоньку (не сбежал бы, думаем), окружили его, он и стал тыкать себя пальцем в грудь: Оркун, говорит, Оркун; а что такое Оркун – мы не понимаем. Однако стали с ним разговаривать. Володька взял в руки палочку и начертил на земле лодку; значит: вот нам от те-

бя какой предмет требуется! Гиляк сообразил сразу; замотал головой и начинает нам пальцы казать: то два покажет, то пять, то все десять. Не могли мы долго в толк взять, что такое он показывает, а потом Макаров догадался:

«Братцы, говорит, да ведь это ему надо знать, сколько нас, какую лодку готовить».

«Верно!» – говорим и показываем гиляку, что, мол, двенадцать нас всех человек. Замотал головой, – понял.

Потом велит себя к остальным товарищам вести. Взяло нас тут маленько раздумье, да что станешь делать? Пешком по морю не пойдешь! Привели. Возроптали на нас товарищи: «Это вы, мол, зачем гиляка сюда-то притащили? Казать ему нас, что ли?..» – «Молчите, говорим, мы с ним дело делаем». А гиляк ничего, ходит меж нас, ничего не опасается; знай себе халаты пощупывает.

Отдали мы ему запасные халаты, он их ремнем перевязал, вскинул на плечи и пошел себе вниз. Мы, конечно, за ним. А внизу-то, смотрим, юртенки гиляцкие стоят, вроде как бы деревушка.

«Что ж теперь? – сумлеваются ребята. – Ведь он в деревню пошел, народ стонять станет!..»

«Ну, так что ж, – говорим мы им. – Их всего-то четыре юрты – много ли тут народу наберется? А ведь нас двенадцать человек, ножи у нас по три четверти аршина, хорошие. Да и где же гиляку с русским человеком силой равняться? Русский человек – хлебной, а он рыбу одну жрет. С рыбы-то много ли он силы наест? Куда им!»

Ну все-таки надо правду говорить, маленько и у меня по сердцу скребнуло: не было бы какого худа. Вот, мол, и край Соколиного острова стоим, а приведет ли бог на амурской-то стороне побывать? А амурская-то сторона за проливом край неба горами синееет. Так бы, кажись, птицей снялся да полетел. Да, вишь, локоть и близок, а укусить – не укусишь!..

Вот хорошо. Подождали мы маленько, смотрим, идут к нам гиляки гурьбой. Оркун впереди, и в руках у них копьа. «Вот видите, – ребята говорят, – гиляки биться идут!» Ну, мол, что будет... Готовь, ребята, ножи. Смотрите: живьем никому не сдаваться, и живого

им в руки никого не давать. Кого убьют, делать нечего – значит, судьба! А в ком дух остался, за того стоять. Либо всем уйти, либо всем живым не быть. Стой, говорю, ребята, крепче!

Однако на гиляков мы это подумали напрасно. Увидел Оркун, что мы сумлеваемся, обобрал у своих копыя, одному на руки сдал, а с остальными к нам идет без оружия. Тут уж и мы увидали, конечно, что у гиляков дело на чести, и пошли с ними к тому месту, где у них лодки были спрятаны. Выволокли они нам две лодки: одна побольше, другая поменьше. В большую-то Оркун приказывает восьмерым садиться, в маленькую – остальным.

Вот мы, значит, и с лодками стали, а только переправляться-то сразу нельзя. Повеял с амурской стороны ветер, волна по проливу пошла крупная, прибой так в берег и хлещет. Никак нам в этих лодочках по этой погоде переехать невозможно.

И пришлось нам из-за ветру прожить на берегу еще два дня. Припасы-то между тем все прикончились, ягодой только брюхо набиваем, да еще Оркун, спасибо ему, четыре

юколы дал – рыба у них такая. Так вот юколой этой еще сколько-нибудь питались. Честных правил, отличный гиляк был, дай ему, господи! И по сию пору о нем вспоминаю.

День прошел, все мы на берегу томимся. И до чего досадно было, так и сказать невозможно. Ночь переночевали, на другой день – все ветер. Тоска донимает, просто терпеть нельзя. А амурская-то сторона из-под ветру-то еще явственнее выступает, потому что туман с моря согнало. Буран наш как сел на утесике, глазами на тот берег уставился, так и сидит. Не говорит ничего и ягод не собирает; жальится кто над стариком, принесет ему ягоды в шапке – ну он поест, а сам ни с места. Загорелось у старика бродяжье сердце. А может, и то: смерть свою увидал... Бывает!..

Наконец всем уже невтерпеж стало, и стали ребята говорить: ночью как-никак едем! Днем невозможно, потому что кордонные могут увидеть, ну а ночью-то от людей безопасно, а бог авось помилует, не потопит. А ветер-то все гуляет по проливу, волна так и ходит; белые зайцы по гребню играют, *старички* (птица такая вроде чайки) над морем лета-

ют, криком кричат, ровно черти. Каменный берег весь стоном стонет, море на берег лезет.

«Давайте, говорю, ребята, спать ляжем. Луна с полночи взойдет, тогда что бог даст, поплывем. Спать уж тогда немного придется, надо теперь силы наспать».

Послушались ребята, легли. Выбрали мы место на высоком берегу, близ утесу. Снизу-то, от моря, нас и не видно: деревья кроют. Один Буран не ложится: все в западную сторону глядит. Легли мы, солнце-то еще только-только склоняться стало, до ночи далеко. Перекрестился я, послушал, как земля стонет, как тайгу ветер качает, да и заснул.

Спим себе, беды и не чаем.

Долго ли, коротко ли спали, только слышу я: Буран меня окликает. Проснулся от сна, гляжу: солнце-то садиться хочет, море утихло, мороки над берегом залегают. Надо мною Буран стоит, глаза у него дикие. «Вставай, говорит, пришли уж... по душу, говорит, пришли!..» – рукой этак в кусты показывает.

Вскочил я тут на ноги, гляжу: в кустах солдаты...

Один, поближе, из ружья целится, другой,

подальше, подбегает, а с горки этак еще трое спускаются, ружья поднимают. Мигом сон с меня соскочил; крикнул я тут громким голосом, и поднялись ребята сразу все, как один. Только успел первый солдат выстрелить, мы уж на них набежали...

Глухое волнение сдавило голос рассказчика; он понурил голову. В юрте стояла полутьма, так как бродяга забыл подкладывать поленья.

– Не надо бы рассказывать, – сказал он тоном, в котором слышалось что-то вроде просьбы.

– Нет уж, все равно, кончайте! Что же дальше?

– А дальше... да что уж тут... сами подумайте: ведь их всего-то пять человек, а нас двенадцать. Да еще думали они нас сонных накрыть, все равно как тетеревей, а вместо того мы им и оглянуться-то и собраться в кучу не дали... Ножи у нас длинные...

Выстрелили они по разу наспех – промахнулись. Бегут с горки, и удержаться-то трудно. Сбежит вниз, а тут внизу мы его и принимаем...

– Верите вы? – как-то жалостливо проговорил рассказчик, поднимая на меня глаза с выражением тоски, – и оборониться-то они несколько не умели: со штыками этак, как от собак, отмахиваются, а мы на них, мы на них, как лютые волки!..

Пхнул один солдат штыком меня в ногу, оцарапал только, да я споткнулся, упал... Он на меня. Сверху еще Макаров навалился... Слышу: бежит по мне кровь... Мы-то с Макаровым встали, а солдатик остался...

Поднялся я на ноги, гляжу – последние двое на пригорок выбежали. Впереди-то Салтанов, начальник кордона, лихой, далеко про него слышно было; гиляки – и те его пуще шайтана боялись, а уж из нашего-то брата не один от него смерть себе получил. Ну, на этот раз не пришлось... Сам себя потерял...

Было у нас два черкеса, проворны, как кошки, и храбрость имели большую. Кинулся один к Салтанову навстречу, в половине пригорка сошлись. Салтанов в него из револьвера выпалил; черкес нагнулся, оба упали. А другой-то черкес подумал, что товарищ у него убит. Как бросится туда же... Оглянуться мы

не успели, он уж Салтанову голову напрочь ножом отмахнул.

Вскочил на ноги, зубы оскалил... в руках голову держит. Замерли мы все тут, глядим... Скрикнул он что-то по-своему, звонко. Размахал голову, размахал и бросил...

Полетела голова поверх деревьев с утесу... Тишина у нас настала, стоим все ни живы, ни мертвы и слышим: внизу по морю плеск раздался – пала голова в море.

И солдатик последний на пригорке стоит, остановился. Потом ружье бросил, закрыл лицо руками и убежал. Мы и не гонимся: беги, бог с тобой! Один он, бедняга, на всем кордоне остался, потому что было двадцать человек. Тринадцать на амурскую сторону за провизией поехали, да из-за ветру не успели еще вернуться, а шестерых мы уложили.

Кончилось все, а мы испугались, никак сообразиться не можем, друг на друга глядим: что же, мол, это такое – во сне али вправду? Только вдруг слышим: сзади, на том месте, где спали мы, под деревом, Буран у нас стоит...

А Бурана нашего первый солдат из ружья

убил. Не вовсе убил, – помаялся старик еще малое время, да недолго. Пока солнце за гору село, из старика и дух вон. Страсть было жалко!..

Подошли мы к нему, видим: сидит старик под кедрой, рукой грудь зажимает, на глазах слезы. Поманил меня к себе. «Вели, говорит, ребятам могилу мне вырыть. Все одно вам сейчас плыть нельзя, надо ночи дожждаться, а то как бы с остальными солдатами в проливе не встретиться. Так уж похороните вы меня, ради Христа».

«Что ты, что ты, дядя Буран! – говорю ему. – Нешто живому человеку могилу роют? Мы тебя на амурскую сторону свезем, там на руках понесем... Бог с тобой». – «Нет уж, братец, – отвечает старик, – против своей судьбы не пойдешь, а уж мне судьба лежать на этом острове, видно. Так пусть уж... чуяло сердце... Вот всю-то жизнь, почитай, все из Сибири в Расею рвался, а теперь хоть бы на сибирской земле помереть, а не на этом острове проклятом...»

Подивился я тут на Бурана – совсем не тот старик стал: говорит как следует, в полной памяти, глаза у него ясные, только голос сла-

бый. Собрал нас всех вокруг себя и стал наставлять.

«Слушайте, говорит, ребята, что я стану рассказывать, да запоминайте хорошенько. Придется теперь вам без меня по Сибири идти, а мне здесь оставаться. Дело ваше теперь очень опасно – пуще всего, что Салтанова убили. Слух теперь пройдет об этом деле далеко: не то что в Иркутске, в Расее об этом деле узнают. Станут вас в Николаевском сторожить. Смотри, ребята, идите опасно; голод, холод терпите, а уж в деревни-то заходите поменьше, города обходите подальше. Гиляка и гольда не бойтесь – эти вас не тронут. Ну, теперь замечайте хорошенько, стану вам про дорогу по амурской стороне рассказывать. Будет тут перед Николаевским городом заимка, в той заимке наш благодетель живет, приказчик купца Тарханова. Торговал он раньше на Соколином острове с гиляками, заехал с товарами в горы, да и сбился с дороги, заблудился. А с гиляками у него нелады были, ссора. Увидели они, что забрался он в глухое место, и застучали его в овраге; совсем было убили, да как раз на ту пору шли мы самым тем овра-

гом, соколинские бродяжки... В первый раз еще тогда я с Соколина уходил. Вот слышали мы, что русский человек в тайге голосом голосит, кинулись в овраг и приказчика от гильяков избавили; с тех самых пор он нашу добродетель помнит. „Должон я, говорит, по гроб моей жизни соколинских ребят наблюдать...“ И действительно, с тех пор нашим от него всякое довольствие идет. Разыщите его – счастливы будете и всякую помощь получите».

Вот рассказал нам старик все дороги, наставления дал, а потом говорит:

«Теперь, говорит, ребята, вам времени-то терять незачем. Прикажи-ка, Василий, на этом месте домовину мне вырыть, потому что место хорошее. Пусть хоть ветер с амурской стороны долетает да море оттуда плещет. Не мешкайте, полно, ребята! Принимайтесь за работу живее!»

Послушались мы.

Тут старик под кедрой сидит, а тут мы ему могилу роём; вырыли могилу ножами, помолились богу, старик уж у нас молчит, только головой качает, слезно плачет. Село солнце,

старик у нас помер. Стемнело, мы уж и яму сровняли.

Как выплыли мы на середину пролива, луна на небо вошла, посветлело. Оглянулись все, сняли шапки... За нами, сзади, Соколинный остров горами высится, на утесике-то Буранова кедровая стоит...

VII

Переехали мы на амурскую сторону, а уж там гиляки говорят: «Салтанова голова... вода». Бедовые эти инородцы, сороки им на хвосте вести носят. Что ни случись, все в ту же минуту узнают. Повстречали мы их несколько человек у моря, рыбу они ловили. Мотают головами, смеются; видно, что рады сами. А мы думаем: хорошо, мол, вам, чертям, смеяться, а нам-то каково! Из-за этой головы нам, может, всем теперь своих голов не сносить. Ну, дали они нам рыбы, расспросили мы их про все дороги, какие тут были, и пошли себе по своей. Идем по земле, словно по камню горячему, каждого шороху пугаемся, каждую займку обходим, от русского человека тотчас в тайгу хоронимся, следы заметаем.

Страшно ведь...

Днем больше в тайге отдыхали, по ночам шли напролет. К Тархановой заимке подошли на рассвете. Стоит в лесу заимка новая, кругом огорожена, ворота заперты накрепко. По приметам выходит та самая, про какую Буран рассказывал. Вот подошли мы, вежливенько постучались, смотрим: вздувают в заимке огонь. «Кто, мол, тут, что за люди?»

– Бродяжки, – говорим, – от Бурана Стахею Митричу поклон принесли.

А на ту пору Стахей Митрич, главный-то приказчик тархановский, в отлучке находился, а на заимке подручного оставил, и был от него подручному наказ: в случае придут соколинские ребята давать им по пяти рублей на брата, да сапоги, да полушубок, белья и провизии – сколько потребуется. «Сколько бы их ни было, говорит, всех удовлетвори, собери работников, да при них выдачу и засвидетельствуй. Тут и отчет весь!»

А уж на заимке тоже про Салтанова узнали. Приказчик-то увидел нас и испужался.

«Ах, братцы, – говорит, – не вы ли же этого Салтанова прикончили? Беда ведь!»

«Ну, мол, мы аль не мы, об этом разговаривать нечего. А не будет ли от вашей милости какой помощи? От Бурана мы к Стахею Митричу с поклоном».

«А сам-то Буран что же? Али опять на остров попал?»

«Попал, говорим, да приказал долго жить».

«Ну, царство ему небесное... Хороший бродяга был, честных правил, хотя и незадачливый. Стахей Митрич и по сю пору его вспоминает. Теперь, чай, в поминанье запишет, только вот имя-то ему как? Не знаете ли, ребята?»

«Не знаем мы. Буран да Буран, так и звали. Чай, покойник и сам-от свое имя забыл, потому что бродяге не к чему».

«То-то вот. Эх, братцы, жизнь-то, жизнь ваша!.. Захочет поп об вас богу сказать, и то не знает, как назвать... тоже, чай, у старика в своей стороне родня была: братья и сестры, а может, и родные детки».

«Как, чай, не быть. Бродяга-то хоть имя свое крещеное бросил, а тоже ведь и его баба родила, как и людей...»

«Горькая ваша жизнь, ох, горькая!»

«Чего горше: едим прошеное, носим брошеное, помрем – и то в землю не пойдём. Верно! Не всякому ведь бродяге и могила-то достанется. Помрешь в пустыне – зверь сожрет, птица расклюет... Кости – и те серые волки врозь растащут. Как же не горькая жизнь?» Пригорюнились мы... Хоть жалостные-то слова мы для приказчика говорим, – потому сибиряку чем жалостнее скажешь, то он больше тебя наградит, – ну а все же видим и сами, что правда, так оно и по-настоящему точка в точку выходит. Вот, думаем, он сейчас зевнет, да перекрестится, да и завалится спать... в тепле, да в сытости, да никого-то он не боится, а мы пойдём по дикой тайге путаться глухою ночью да точно нечисть болотная с петухами от крещеных людей хорониться.

«Ну, однако, ребята, – говорит приказчик, – пора мне и на боковую. Жертвую вам от себя по двугривенному на брата да по положению, что следует, получите и ступайте себе с богом. Рабочих всех будить не стану, – трое есть у меня понадежнее, так они и засвидетельствуют для отчета. А то как бы с вами беды не нажить... Смотрите, в Николаевский город луч-

ше не заглядывайте. Намеднись я оттуда приехал: исправник ноне живет бойкой; приказал всех прохожих имать, где какой ни объявится. „Сороке, говорит, пролететь не дам, заяц мимо не проскачет, зверь не прорыщет, а уж этих я молодцов-соколинцев изымаю“. Счастливы будете, ежели удастся вам мимо пройти, а уж в город-то ни за коим делом не заходите».

Выдал он нам по положению, рыбы еще дал несколько, да от себя по двугривенному накинул. Потом перекрестился на небо, ушел к себе на заимку и дверь запер. Погасили сибиряки огни, легли спать – до свету-то еще не близко. А мы пошли себе своею дорогой, и очень нам всем в ту ночь тоскливо было.

Ох, и люта же тоска на бродягу живет! Ночка-то темная, тайга-то глухая... дождем тебя моет, ветром тебя сушит, и на всем-то, на всем белом свете нет тебе родного угла, ни приюту... Все вот на родину тянешься, а приди на родину, там тебя всякая собака за бродягу знает. А начальства-то много, да начальство-то строго... Долго ли на родине погуляешь – опять тюрьма!

Да еще и тюрьма-то иной раз раем вспоминается, право... Вот и в ту ночь, идем-идем, вдруг Володька и говорит:

«А что, братцы, что-то теперь наши поделывают?»

«Это ты про кого, мол?»

«Да наши, на Соколином острове, в седьмой казарме. Чай, спят себе теперь, и горюшка мало!.. А мы вот тут... Эх, не надо бы и ходить-то...»

Прикрикнул я на него. «Полно, мол, тебе бабиться! И не ходил бы, коли дух в тебе короткий – на других тоску нытьем нагоняешь».

А сам, признаться, тоже задумался. Притомились мы, идем – дремлем; бродяге это в привычку на ходу спать. И чуть маленько забудусь, сейчас казарма и приснится. Месяц будто светит и стенка на свету поблескивает, а за решетчатыми окнами – нары, а на нарах арестантики спят рядами. А потом приснится, и сам будто лежу, потягиваюсь... Потянусь – и сна не бывало...

Ну, нет того сна лютее, как отец с матерью приснятся. Ничего будто со мною не бывало – ни тюрьмы, ни Соколиного острова, ни этого

кордону. Лежу будто в горенке родительской, и мать мне волосы чешет и гладит. А на столе свечка стоит, и за столом сидит отец, очки у него надеты, и старинную книгу читает. Начетчик был. А мать будто песню поет.

Проснулся я от этого сна – кажись, нож бы в сердце, так в ту же пору. Вместо горенки родительской – глухая тропа таежная. Впереди-то Макаров идет, а мы за ним гусем. Ветер подымет, пошелестит ветвями и стихнет. А вдали, сквозь дерев, море виднеется, и над морем край неба просвечивает – значит, скоро заря, и нам куда-нибудь в овраге хорониться. И никогда-то – может, и сами слышали, – никогда оно не молчит, море-то. Все будто говорит что-то, песню поет али так бормочет... Оттого мне во сне все песня и снилась. Пуще всего нашему брату от моря тоска, потому что мы к нему не привычны.

Стали ближе к Николаевскому подаваться; займки пошли чаще, и нам еще опаснее. Как-никак подвигаемся помаленьку вперед, да тихо; ночью идем, а с утра забиваемся в глушь, где уж не то что человек – зверь не прорыщет, птица не пролетит.

Николаевск город надо бы подальше обойти, да уж мы притомились по пустым местам, да и припасы кончились. Вот подходим к реке под вечер, видим: на берегу люди какие-то. Пригляделись, ан это вольная команда[16] с сетями рыбу ловит. Ну и мы без страха подходим:

«Здорово, мол, господа, вольная команда!»

«Здравствуйте, – отвечают. – Издалеча ли бог несет?»

Слово за слово, разговорились. Потом староста ихний посмотрел на нас пристально, отозвал меня к сторонке и спрашивает:

«Вы, господа проходящие, не с Соколиного ли острова? Не вы ли это Салтанова „накрыли“?»

Постеснялся я, признаться, сказать ему откровенно всю правду. Он хошь и свой брат, да в таком деле и своему-то не сразу доверишься. Да и то сказать: вольная команда все же не то, что арестантская артель: захочет он, например, перед начальством выслужиться, придет и доложит тайком – он ведь «вольный». В тюрьмах у нас все фискалы наперечет – чуть что, сейчас уж знаем, на кого ду-

мать. А на воле-то как узнаешь?

Вот видит он, что я позамялся, и говорит опять:

«Вы меня не опасайтесь: я своего брата выдавать никогда не согласен, да и дела мне нет. Не вы, так и не вы! А только, как было слышно в городе, что на Соколине сделано качество, и вижу я теперь, что вас одиннадцать человек, то я и догадался. Ох, ребята, беда, ведь это, право, беда! Главное дело: качество-то большое, да и исправник у нас ноне дошлый. Ну, это дело ваше... Пройдете мимо – счастливы будете, а покамест вот осталось у нас артельного припасу достаточно, и как нонче нам домой возвращаться, то получайте себе наш хлеб, да еще рыбы вам отпустим. Не нужно ли котла?»

«Пожалуй, говорю, лишний не помешает».

«Берите артельный... Да еще из городу ночью я вам кое-чего привезу. Надо ведь своему брату помощь делать».

Легче тут нам стало. Снял я шапку, поклонился доброму человеку; товарищи тоже ему кланяются... Плачем... И то дорого, что припасами наделил, а еще пуще того дорого, что

доброе слово услышали. До сих пор шли, от людей прятались, потому знаем: смерть нам от людей предстоит, больше ничего. А тут пожалели нас.

Ну, на радостях-то чуть было беды себе не наделали.

Как отъехала вольная команда, ребята наши повеселели. Володька даже в пляс пустился, и сейчас мы весь свой страх забыли. Ушли мы в падь, называемая та падь Дикманская, потому что немец-пароходчик Дикман в ней свои пароходы строил... над рекой... Развели огонь, подвесили два котла, в одном чай заварили, в другом уху готовим. А дело-то уж и к вечеру подошло, глядишь, и совсем стемнело, и дождик пошел. Да нам в то время дождик, у огня-то за чаем, нипочем показался.

Сидим себе, беседуем, как у Христа за пазухой, а о том и не думаем, что от нас на той стороне городские огни виднеются, стало быть, и наш огонь из городу тоже видать. Вот ведь до чего наш брат порой беспечен бывает: по горам шли, тайгой, так и то всякого шороху пугались, а тут против самого города огонь развели и беседуем себе, будто так оно и сле-

дует.

На счастье наше, жил в то время в городе старичок чиновник. Был он в прежнее время в N тюремным смотрителем. А в N тюрьма большая, народу в ней перебивало страсть, и все того старика поминали добром. Вся Сибирь Самарова знала, и как сказали мне недавно ребята, что помер он в третьем годе, то я нарочно к попу ездил, полтину за помин души ему отдал, право! Добрейшей души старичок был, царствие ему небесное, только ругаться любил... Такой был ругатель, просто беда. Кричит, кричит, и ногами топает, и кулаки сжимает, а никакого страху от него не было. Уважали ему, конечно, во всякое время, потому что был старик справедливый. Никогда от него арестанту обиды не было, никогда ничем не притеснял, копейкой артельной не прибытчился, кроме того, что добровольно артель за его добродетель награждала. Не забывали, надо правду говорить, и его арестанты, потому что семья у него была немалая... Имел доход порядочный...

В то время старичок этот был уж в отставке и жил себе в Николаевске на спокойе, в соб-

ственном домишке. И по старой памяти все он с нашими ребятами из вольной команды дружбу водил. Вот сидел он тем временем у себя на крылечке и трубку покуривал. Курит трубку и видит: в Дикманской пади огонек горит. «Кому же бы это, думает, тот огонек развести?»

Проходили тут двое из вольной команды, позвал он их и спрашивает:

«Где ноне ваша команда рыбу ловит? Неужто в Дикманской пади?»

«Нет, – говорят те, – не в Дикманской пади. Ноне им повыше надо быть. Да и то, никак, вольной команде нонче в город возвращаться».

«То-то вот и я думаю... А видите, вон огонек за рекой горит?»

«Видим».

«Кому же у того огня быть? Как по-вашему?»

«Не можем знать, Степан Савельич. Какие-нибудь проходящие».

«То-то, проходящие... Нет у вас, подлецов, догадки о своем брате подумать, все я об вас обо всех думай... А слышали, что исправник

третьего дня про соколинцев-то сказывал? Видали, мол, их недалече... Не они ли это, дурачки, огонь развели?»

«Может статья, Степан Савельич. Не диво, что и они развели».

«Ну, плохо ж их дело! Вот ведь, подлецы, чего делают!.. Не знаю, исправник-то в городе ли? Коли не вернулся еще, так скоро вернется; увидит этот огонь, сейчас команду нарядит. Как быть? Жаль ведь мерзавцев-то: за Салтанова им всем своих голов не сносить! Снаряжай-ка, ребята, лодку...»

Вот сидим мы у огня, уши дожидаемся – давно горячего не видали. А ночь темная, с окияну тучи надвинулись, дождик моросит, по тайге в овраге шум идет, а нам и любо... Нашему-то брату, бродяжке, темная ночь – родная матушка; на небе темнее – на сердце веселее.

Только вдруг татарин у нас уши насторожил. Чутки они, татары-то, как кошки. Прислушался и я, слышу: будто кто тихонько по реке веслом плещет. Подошел ближе к берегу, так и есть: крадется под кручей лодочка, гребцы на веслах сидят, а у рулевого на лбу кокар-

да поблескивает.

«Ну, говорю, ребята, пропали наши головы... Исправник!»

Вскочили все, котлы опрокинули – в тайгу!.. Не приказал я ребятам врозь разбежаться. Посмотрим, мол, что еще будет: может, гурьбой-то лучше спасемся, если их мало. Притаились за деревьями, ждем. Пристает лодка к берегу, выходят на берег пятеро. Один засмеялся и говорит:

«Что, дурачки, разбежались? Небось выйдете все – я на вас такое слово знаю. Видишь, удалые ребята, а бегают, как зайцы!»

Сидел рядом со мной Дарьин за кедрой.

«Слышь, говорит, Василий? Чудное дело: голос у исправника будто знакомый».

«Молчи, говорю, что еще будет. Немного их».

Вышел тут один гребец вперед и спрашивает:

«Эй вы, не бойтесь!.. Кого вы в здешнем остроге знаете?»

Притаили мы дух, не откликаемся.

«Да что вы это, лешие! – окликает тот опять. – Сказывайте, кого вы в здешнем остро-

ге знаете, может, и нас узнаете тоже».

Отозвался я.

«Да уж знаем ли, нет ли, а только если б век вас не видать, может, и нам, и вам лучше бы было. Живьем не дадимся».

Это я товарищам признак подал, чтобы готовились. Их всего пятеро – сила-то наша. Беда только, думаю, как начнут из револьверов палить – в городе-то услышат. Ну, да уж заодно пропадать. Без бою все-таки не дадимся.

Тут старик сам заговорил:

«Ребята, говорит, неужто никто из вас Самарова не знает?»

Дарьин опять меня толкнул:

«Верно! Кажись, это N-ской смотритель... А что, – спрашивает громко, – вы, ваше благородие, Дарьина знавали ли когда?»

«Как, мол, не знать, – старостой у меня в N находился. Федотом, кажись, звали».

«Я самый, ваше благородие. Выходи, ребята! Это отец наш».

Тут все мы вышли.

«Что же, мол, ваше благородие, неужто вы нас ловить выехали? Так мы на это никак не надеемся».

«Дураки вы! Пожалел я вас, олухов. Вы это что же с великого-то ума надумали, прямо против города огонь развели?»

«Обмокли, говорим, ваше благородие. Дождик».

«Дожди-ик? А еще называетесь бродяги! Чай, не размокнете. Счастлив ваш бог, что я раньше исправника вышел на крылечко, трубку-то покурить. Увидел бы ваш огонь исправник, он бы вам нашел место, где обсушиться-то... Ах, ребята, ребята! Не очень вы, я вижу, остры, даром, что Салтанова поддели, кан-нальи этакие! Гаси живее огонь да убирайтесь с берега туда вон, подальше, в падь. Там хоть десять костров разводи, подлецы!»

Ругается старик, а мы стоим вокруг, слушаем да посмеиваемся. Потом перестал кричать и говорит:

«Ну, вот что: привез я вам в лодке хлеба печеного да чаю кирпича три. Не поминайте старика Самарова лихом. Да если даст бог счастливо отсюда выбраться, может, доведется кому в Тобольске побывать – поставьте там в соборе моему угоднику свечку. Мне, старику, видно, уж в здешней стороне помирать,

потому что за женой дом у меня взят... Ну и стар уж... А тоже иногда про свою сторону вспоминаю. Ну а теперь прощайте. Да еще совет мой вам: разбейтесь врозь. Вас теперь сколько?»

«Одиннадцать», – говорим.

«Ну и как же вы не дураки? Ведь про вас теперь, чай, в Иркутске знают, а вы так всю партию и прете».

Сел старик в лодку, уехал, а мы ушли подалее в падь, чай вскипятили, сварили уху, раздували припасы и распрощались – старика-то послушались.

Мы с Дарьиным в паре пошли. Макаров пошел с черкесами. Татарин к двум бродягам присоединился; остальные трое тоже кучкой пошли. Так больше мы и не видались. Не знаю, все ли товарищи живы или помер кто. Про татарина слышал, будто тоже сюда прислан, а верно ли – не знаю.

В ту же ночь, еще на небе не зарилось, мы с Дарьиным мимо Николаевска тихонько шмыгнули. Одна только собака на ближней заимке взлаяла.

А как стало солнце всходить, мы уж верст

десяток тайгой отмахали и стали опять к дороге держать. Тут вдруг слышим – колокольчик позванивает. Прилегли мы тут за кусточком, смотрим, бежит почтовая тройка, и в телеге исправник, закрывшись шинелью, дремлет.

Перекрестились мы тут с Дарьиным: слава те, господи, что вечер его в городе не было. Чай, нас ловить выезжал.

VIII

Огонь в камельке погас. В юрте стало тепло, как в нагретой печи. Льдины на окнах начали таять, и из этого можно было заключить, что на дворе мороз стал меньше, так как в сильные морозы льдина не тает и с внутренней стороны, как бы ни было тепло в юрте. Ввиду этого мы перестали подбавлять в камелек дрова, и я вышел наружу, чтобы закрыть трубу.

Действительно, туман совершенно рассеялся, воздух стал прозрачнее и несколько мягче. На севере из-за гребня холмов, покрытых черною массой лесов, слабо мерцая, подымались какие-то белесоватые облака, быстро

пробегающие по небу. Казалось, кто-то тихо вздыхал среди глубокой холодной ночи, и клубы пара, вылетающие из гигантской груди, бесшумно проносились по небу от края и до края и затем тихо угасали в глубокой синеве. Это играло слабое северное сияние.

Поддавшись какому-то грустному обаянию, я стоял на крыше, задумчиво следя за слабыми переливами сполоха. Ночь развернулась во всей своей холодной и унылой красе. На небе мигали звезды, внизу снега уходили вдаль ровною пеленой, чернела гребнем тайга, синели дальние горы. И от всей этой молчаливой, объятый холодом картины веяло в душу снисходительною грустью, – казалось, какая-то печальная нота трепещет в воздухе: «Далеко, далеко!»

Когда я вернулся в избу, бродяга уже спал, и в юрте слышалось его ровное дыхание.

Я тоже лег, но долго еще не мог заснуть под впечатлением только что выслушанных рассказов. Несколько раз сон, казалось, опускался уже на мою разгоряченную голову, но в эти минуты, как будто нарочно, бродяга начинал ворочаться на лавке и тихо бредил. Его

грудной голос, звучащий каким-то безотчетно-смутным ропотом, разгонял мою дремоту, и в воображении одна за другой вставали картины его одиссеи. По временам, когда я начинал забываться, мне казалось, что над мной шумят лиственницы и кедры, что я гляжу вниз с высокого утеса и вижу белые домики кордона в овраге, а между моим глазом и белою стеною реет горный орел, тихо взмахивая свободным крылом. И мечта уносила меня все дальше и дальше от безнадежного мрака тесной юрты. Казалось, меня обдавал свободный ветер, в ушах гудел рокот океана, садилось солнце, залегали синие мѳроки, и моя лодка тихо качалась на волнах пролива.

Всю кровь взбудоражил во мне своими рассказами молодой бродяга. Я думал о том, какое впечатление должна производить эта бродяжья эпопея, рассказанная в душной каторжной казарме, в четырех стенах крепко запертой тюрьмы. И почему, спрашивал я себя, этот рассказ запечатлевается даже в моем уме – не трудностью пути, не страданиями, даже не «лютою бродяжьей тоской», а только поэзией вольной волюшки? Почему на меня

пахнуло от него только призывом раздолья и простора, моря, тайги и степи? И если меня так зовет она, так манит к себе эта безвестная даль, то как неодолимо должна она призывать к себе бродягу, уже испившего из этой отравленной неутолимимым желанием чаши?

Бродяга спал, а мои мысли не давали мне покоя. Я забыл о том, что привело его в тюрьму и ссылку, что пережил он, что сделал в то время, когда «перестал слушаться родителей». Я видел в нем только молодую жизнь, полную энергии и силы, страстно рвущуюся на волю... Куда?

Да, куда?..

В смутном бормотании бродяги мне слышались неопределенные вздохи о чем-то. Я забылся под давлением неразрешимого вопроса, и над моим изголовьем витали сумрачные грезы... Село вечернее солнце. Земля лежит громадная, необъятная, грустная, вся погруженная в тяжелую думу. Нависла молчаливая, тяжелая туча... Только край неба отсвечивает еще потухающими лучами зари да где-то далеко, под задумчиво синеющими горами, стоит огонек...

Что это: родное пламя давно оставленного очага или блудящий огонь над ожидающей во мраке могилой?..

Заснул я очень поздно.

IX

Когда я проснулся, было уже, вероятно, часов одиннадцать. На полу юрты, прорезавшись сквозь льдины, играли косые лучи солнца. Бродяги в юрте не было.

Мне нужно было съездить по делам в слободу, поэтому я запряг коня в маленькие саночки и выехал из своих ворот, направляясь вдоль улицы селения. День был яркий и сравнительно теплый. Мороз стоял градусов около двадцати, но... все в мире относительно, и то самое, что в других местах бывает в развал зимы, мы здесь воспринимали как первое дыхание наступавшей весны. Клубы дыма, дружно поднимаясь изо всех слободских юрт, не стояли прямыми, неподвижными столбами, как бывает обыкновенно в большие морозы, – их гнуло к западу, веял восточный ветер, несущий тепло с Великого океана.

Слобода почти наполовину населена

ссылными татарами, и так как в тот день у татар был праздник, то улица имела довольно оживленный вид. То и дело где-нибудь скрипели ворота, и со двора выезжали дровни или выбегали рысцой верховые лошади, на которых, раскачиваясь в стороны, сидели хмельные всадники. Эти поклонники Магомета не особенно строго блюдают запрещение Корана, и потому как верховые, так и пешеходы выписывали вдоль и поперек улицы самые причудливые зигзаги. Порой какой-нибудь пугливый конек кидался в сторону слишком круто, дровни опрокидывались, лошадь мчалась вдоль улицы, а хозяин подымал целую тучу снеговой пыли собственной фигурой, волочась на вожжах. Не сдержать коня и вывалиться с дровней – это во хмелю может случиться со всяким; но для «хорошего татарина» позорно выпустить из рук вожжи, хотя бы при таких затруднительных обстоятельствах.

Но вот прямая, как стрела, улица приходит в какое-то особенное суетливое оживление. Ездоки приворачивают к заборам, пешие стоняются, татарки в красных чадрах, нарядные

и пестрые, стоняют ребят по дворам. Из юрт выбегают любопытные, и все поворачивают лица в одну сторону.

На другом конце длинной улицы появилась кучка всадников, и я узнал бега, до которых и якуты, и татары большие охотники. Всадников было человек пять, они мчались как ветер, и когда кавалькада приблизилась, то впереди я различил серого конька, на котором вчера приехал Багылай. С каждым ударом копыт пространство, отделявшее его от скакавших сзади, увеличивалось. Через минуту все они промчались мимо меня как ветер.

Глаза татар сверкали возбуждением, почти злобой. Все они на скаку размахивали руками и ногами и неистово кричали, отдавшись всем корпусом назад, почти на спины лошадям. Один Василий скакал «по-расейски», пригнувшись к лошадиной шее, и изредка издавал короткие свистки, звучащие резко, как удары хлыста. Серый конек почти ложился на землю, распластываясь в воздухе, точно летящая птица.

Сочувствие улицы, как всегда в этих случа-

ях, склонилось на сторону победителя.

– Эх, удалой молодца! – вскрикивали в восторге зрители, а старые конокрады, страстные любители дикого спорта, приседали и хлопали себя по коленам в такт ударам лошадиных копыт.

В половине улицы Василий догнал меня, возвращаясь на взмыленном коне обратно. Посрамленные соперники плелись далеко сзади.

Лицо бродяги было бледно, глаза горели от возбуждения. Я заметил, что он уже «выпивши».

– Закутил! – крикнул он мне, наклоняясь с коня, и взмахнул шапкой.

– Дело ваше... – ответил я.

– Ничего, не сердись!.. Кутить могу, а ум не пропью никогда. Между прочим, перемены мои ни под каким видом никому не отдавай! И сам просить стану – не давай! Слышишь?

– Слышу, – ответил я холодно, – только уж вы, пожалуйста, пьяным ко мне не приходите.

– Не придем, – ответил бродяга и хлестнул коня концом повода. Конек захрапел, взвил-

ся, но, отскакав сажени три, Василий круто остановил его и опять нагнулся ко мне.

– Конек-то золото! Об заклад бился. Видели вы, как скачет? Теперича я с татар что захочу, то за него и возьму. Верно тебе говорю, потому татарин хорошего коня обожает до страсти!

– Зачем же вы его продаете? На чем будете работать?

– Продаю – подошла линия!

Он опять хлестнул коня и опять удержал его.

– Собственно, потому, как встретил я здесь товарища. Все брошу. Эх, мил-лай! Посмотри вон, татарин едет, вон на чалом жеребчике... Эй ты, – крикнул он ехавшему сзади татарину. – Ахметка! Подъезжай-ка сюда.

Чалый жеребчик, играя головой и круто забирая ногами, подбежал к моим саночкам. Сидевший на нем татарин снял шапку и поклонился, весело ухмыляясь. Я с любопытством взглянул на него.

Плутоватая рожа Ахметки вся расцветала широкою улыбкой. Маленькие глазки весело сверкали, глядя на собеседника с плутовской

фамильярностью. «Мы, брат, с тобой понимаем друг друга, – как будто говорил каждому этот взгляд. – Конечно, я плут, но ведь в том-то и дело, не правда ли, чтобы быть плутом ловким?» И собеседник, глядя на это скуластое лицо, на веселые морщинки около глаз, на оттопыренные тонкие и большие уши, как-то особенно и потешно торчавшие врозь, невольно усмехался тоже. Тогда Ахметка убеждался, что его поняли, удовлетворялся и снисходительно кивал головой в знак солидарности во взглядах.

– Товарища! – кивнул он головой на Василия. – Вместе бродяга ходил.

– А теперь-то ты где же проживаешь?.. Я что-то раньше в слободе тебя не видал.

– За бумагам пришел. Приискал ходим, спирту таскаем.[17]

Я взглянул на Василия. Он потупился под моим взглядом и подобрал поводья лошади, но потом поднял опять голову и вызывающе посмотрел на меня горящими глазами. Губы его были крепко сжаты, но нижняя губа заметно вздрагивала.

– Уйду с ним в тайгу... Что на меня так

смотришь? Бродяга я, бродяга!..

Последние слова он произнес уже на скаку. Через минуту только туча морозной пыли удалялась по улице вместе с частым топотом лошадиных копыт.

Через год Ахметка опять приходил в слободу «за бумагам», но Василий больше не возвращался.

1885

Федор Бесприютный

Из рассказов о бродягах

I

Пешая этапная партия подымалась по трактовой дороге на «возгорок».

По обе стороны дороги кучки елей и лиственниц взбегали кверху оживленной кудрявой зеленью. На гребне холма они сдвинулись гуще, стали стеной тайги, но на склоне меж деревьев и ветвей виднелась даль, расстилавшаяся лугами, сверкавшая кое-где полоской речной глади, затянутая туманами в низинах и болотах...

Вечерело. На землю налегала прохлада; кругом все как-то стихло, темнело, заволакивалось синевой, и только кусок широкой дороги меж зеленью елей и лиственниц весь будто шевелился, кишел серыми арестантскими фигурами, звенел кандалами.

Партия растянулась почти на версту. Арестанты разбрелись по сторонам, избегая дорожной пыли, которую взбивала главная мас-

са, двигавшаяся по тракту. Впереди всех, в голове отряда, шли кандалные; телеги с женщинами, детьми и больными перемешались с пешеходами. По опушкам придорожной тайги слышались голоса, хотя и не особенно оживленные. Партия шла вольно; солдаты частью спали в телегах, свесив оттуда ноги в сапогах бураками, частью же мирно беседовали друг с другом, беспечно покуривая на ходу «цигарки» из простой бумаги с махоркой; офицера совсем не было видно. Партия шла на слово старосты Федора, по прозвищу «Бесприютного»...

Голова партии дотянулась уже до вершины холма. Федор Бесприютный взошел туда и, остановившись на гребне, откуда дорога падала книзу, окинул взглядом пройденный путь, и темневшую долину, и расползшуюся партию. Затем он выпрямился и крикнул арестантам:

– Ну, подтягивайся, ребята, подтягивайся! Недалече уже! Хлестни лошадей, подводы! Хлестни лошадей... Ближе!..

Под влиянием этого окрика партия зашевелилась быстрее.

Из кустов выбегали арестанты, телеги встряхнулись, и сапоги бураками заболтались на рысях в воздухе.

Серые разбросанные кучки, оживлявшие дорогу, стягивались в одну плотную массу, которая катилась кверху, туда, где, рисуясь на холодевшем небе, виднелась фигура высокого сторбленного человека.

II

Обок дороги шел по траве молодой человек, одетый не в арестантское, а в свое собственное платье. Уже это обстоятельство выделяло его из остальной серой массы: его клетчатые брюки, запыленные ботинки, круглая шляпа котелком, из-под которой выбивались мягкие белокурые волосы, синие очки – все это как-то странно резало глаз, выступая на однообразном фоне партии. Но, помимо этого, фигура была несколько странна: молодой человек в круглой шляпе шел ровным шагом, выступая немного по-журавлиному, как ходят люди, выработавшие свою походку в кабинете. Теперь он, видимо, сознавал, что он уже не в кабинете, и прилаживал свой шаг

к ходу партии. Ему это удавалось, и он был доволен, что сказывалось во всей его фигуре. Он не просто шел, а как бы свершал нечто важное, и это сознание придавало всей солидно и широко шагавшей фигуре оттенок неотразимого комизма. Черты его лица были тонки, губы легко складывались в какую-то нервную, несколько кривую, но все же очень добрую улыбку. Но синие глаза всегда глядели серьезно, задумчиво, а высокий лоб придавал верхней части лица характер спокойной, ничем не возмутимой мысли.

Его отношения к партии тоже были отмечены характером двойственности и противоречий. «Барину» полагалась подвода, но он ею никогда не пользовался, и партия завладела телегой для своих надобностей. Его присутствие как будто игнорировалось, но вместе с тем, когда чудной барин подходил к кому-нибудь одному или к целой кучке арестантов, люди как будто смущались и робели. Когда думали, что он не видит, то подталкивали друг друга локтями и смеялись, но всякий, на ком останавливался этот задумчивый взгляд, как-то терялся и будто чувствовал, что где-то

что-то не ладно.

– Почему вы делаете то или другое? – спрашивал он иногда об артельных порядках, далеко не всегда, по его мнению, соответствовавших справедливости.

– Да ведь оно уже заведено, – мямлили арестанты.

Молодой человек задумывался и через несколько минут произносил:

– Но ведь это несправедливо.

– Д-да уж... не очень чтобы правильно, что говорить...

– Значит, надо переменить, – замечал молодой человек, как бы удивляясь, что логическая победа далась так легко, даже без спора.

– Да ведь как уж... не нами заведено... невозможно менять, – возражали арестанты, и губы молодого человека нервно вздрагивали. Он смотрел на людей своим испытующим взглядом, как будто разыскивая в них что-то затерянное. Этот взгляд очень смущал партию: все чувствовали, что этот барин в сущности «младенец», но вместе с тем чувствовали также, что среди них есть человек, который обдумывает каждый их поступок, чуть

не каждое слово. Это стесняло партию, но никто не чувствовал против барина недоброжелательства. Вначале выходили иногда споры, так как он сам решительно отказывался подчиняться тем правилам, о которых шла речь как о несправедливых и неразумных. Но впоследствии на молодого человека махнули рукой. Даже более – смеясь за глаза над баринном как над юродивым, партия незаметно меняла тон своих отношений. Цинизм и разгул стихали порой не в силу сознания, но просто потому, что ощущение пристального анализирующего взгляда разлагало непосредственные чувства грубой толпы и умеряло широту размаха.

Так этот странный человек совершал свой путь с людьми и вместе одинокий. Он вместе с другими выходил поутру с этапа и вечером, усталый, запыленный, приходил на другой, всю дорогу думая о чем-то, наблюдая, порой дополняя свои размышления расспросами. Вопросы были непонятны арестантам, а когда, получив ответ, он кивал головой, будто утверждаясь в своей догадке, собеседники переглядывались друг с другом. А молодой чело-

век шел опять своей дорогой, не глядя по сторонам, весь поглощенный какой-то внутренней работой.

Теперь рядом с молодым человеком, держась за его руку, шел мальчик лет пяти, одетый не совсем по росту. Рукава какой-то кацавейки были завернуты на детских руках, талия перевязана белым платком; таким же платком перевязан подбородок, большой картуз с обширным козырьком, из-под которого глядели простодушные синие глаза ребенка. Он старался шагать широко, чтобы не отставать от остальных.

– Так тебя, значит, зовут Мишей? – спрашивал молодой человек, глядя вперед и о чем-то думая.

– Мишей, – повторил мальчик.

– Чей же ты?

– Мамкин... Вот, – указал ребенок на одну из телег, где сидела женщина с ребенком на руках. Она кормила ребенка грудью и в то же время следила взглядом за Мишей, который разговаривал с «барином». Эта женщина припкнула к партии на одном из ближайших этапов, недавно оправившись от болезни.

– Куда же вы идете? – спросил опять молодой человек.

– К тятке идем, – ответил мальчик с детской беспечностью в тоне.

– А кто твой тятка?

Этот вопрос несколько затруднил мальчишку.

– Тятка-то? – переспросил он.

– Да... кто твой тятка?

– Тятка!.. – ответил мальчик просто, с полной уверенностью, что этим сказано все, что нужно.

– Глупый, не умеешь барину ответить, – наставительно вмешался шедший невдалеке чахлый арестант и как-то снисходительно-заискивающе улыбнулся барину.

– Глуп еще, не понимает, – пояснил он за ребенка, пользуясь случаем, чтобы вступить в разговор. – А ты говори: посельщик, мол, тятка, вот кто.

Мальчишка вскинул глазами на говорившего и, как будто недоумевая, почему к имени его тятки прибавляют незнакомое слово, опустил опять глаза и проговорил угрюмо:

– Нет, тятка он...

Семенов (так звали молодого человека) утвердительно кивнул головой, как будто находя ответ вполне удовлетворительным.

– Глупый младенец, дозвоьте вам сказать, – вмешался опять чахлый арестант тем же заискивающим тоном. Он тоже примкнул к партии недавно. Если бы не это обстоятельство, он знал бы, что Семенов если и барин, то не такой, от которого можно пожить. Но, не успев узнать этого, чахлый арестант все время терся около «барина», подыскивая удобный случай для униженной просьбы в надежде получить полтину-другую ради своего сиротства. Теперь он желал помочь в том же смысле младенцу.

– Кабы ты не глуп был, – наставлял он, – ты бы сказал барину: к посельщику, мол, идем... должна наша жизнь быть теперича самая несчастная, вот что.

Семенов нервно повел плечами и, повернувшись к арестанту, сказал:

– Идите, пожалуйста, своей дорогой.

Чахлый арестант съежился и отошел в сторону, а мальчишка, еще ниже опустив голову, повторил упрямо:

– К тятке, к тятке...

– Верно, – сказал молодой человек, и в его голове зароились невеселые мысли.

«Да, – думал он, шагая вдоль дороги, – вот целая программа жизни в столкновении двух взглядов на одного и того же человека: тятка и поселщик... Для других это – поселщик, может быть, вор или убийца, но для мальчишки он – отец, и больше ничего. Ребенок по-прежнему ждет от него отцовской ласки, привета и наставления в жизни. И так или иначе, он найдет все это... Каковы только будут эти наставления?..»

Молодой человек оглядел бойко шагавшего мальчишку своим задумчивым взглядом.

«Да, – продолжал он размышлять, – вот она, судьба будущего человека. Она поставила уже мальчишку на дорогу. Тятка и поселщик... Две координаты будущей жизни... Любовь сына, послушание отцу – две добродетели, из которых может выработаться целая система пороков. Житейский парадокс, и этот парадокс, быть может, воплотится в какую-нибудь мрачную фигуру, которая возникнет из этого мальчика с такими синими гла-

зами...»

Дальнейшая нить размышлений молодого человека была прервана окриком арестантского старосты. Партия зашевелилась, и Семенов посадил Мишу на телегу рядом с матерью. Сам он на мгновение остановился и посмотрел в том направлении, где виднелась фигура Бесприютного. Казалось, фигура эта вновь вызвала в его голове новую нить размышлений.

III

Трудно сказать почему, но именно эта минута, именно этот кусок пути запечатлелся в его памяти с особенной яркостью, и каждый раз, когда он вспоминал впоследствии о Федоре Бесприютном, в его воображении тотчас оживали холмик, и расстилавшиеся у его подножья луга, тихо лежавшие под лучами заката, и холодок близкой ночи, и высокий силуэт человека, стоявшего вверху... И этот голос, звучавший своеобразным, странным призывом.

«Близко!..» Что же близко? – Этап, один из многих сотен этапов на расстоянии тысяче-

верстного длинного и трудного пути! Странное утешение! Солнце закатывается, день уходит, партия тянется по дороге. И завтра, и через неделю, и через месяц – то же солнце увидит тех же людей на такой же, только, быть может, еще более трудной дороге, – что за дело? Что за дело, если путь бесконечно длинен, если он пролегает через знойное лето и через холодную страшную сибирскую зиму? Что за дело, если старик, который теперь еле выносит летнее путешествие, Наверное, не вынесет осеннего. Что за дело, если ребенок, рожденный на этапе весной, умрет на другом этапе осенью. Что за дело и до того, что в конце пути для тех, кто его выдержит, лежит каторжный труд или горькая доля изгнания!

Что за дело! Солнце садится, и отдых близок! – вот что слышалось Семенову в голосе вожака арестантской партии.

Молодой человек ускоренной, но ровной походкой обогнал телеги и подошел к Федору.

– Скоро придем? – спросил он.

– Недалече, – ответил Федор. – Вот в эту падушку[18] спустимся да опять на узгорочек подыдемся. Там от кривой сосны за поворо-

том всего полверсты будет.

– Да уж Бесприютный знает, – льстиво заговорил тот же чахлый арестант, поспевший за барином. – Чать, Бесприютному этой дорожкой не впервой иттить.

Арестант, очевидно, хотел польстить опытному бродяге, но суровое лицо Бесприютного с резкими чертами, с морщинами около глаз осталось таким же неподвижно суровым. Он осматривал внимательным взглядом свою ватагу. Он знал, конечно, что в партии, которую он вел, не может быть побега. Он дал слово начальнику, партия дала слово ему. Ценой этого слова партия покупает известные вольности: возможность по временам снимать кандалы, зайти вперед, прилечь в тени, пока подойдут остальные, отправить в какую-нибудь деревушку, в стороне от тракта, несколько человек за сбором подаяния и т. д. И, дорожа этими вольностями, арестанты свято блюдут данное слово, строго следя друг за другом. Но, не опасаясь побегов, Бесприютный боялся, что «шпанка» разбредется по лесу, пожалуй, кое-кто заблудится и отстанет, и таким образом партия явится к этапу не в полном соста-

ве. А этого он не любил. Он дорожил своею репутацией; ему было бы неприятно, если бы про Бесприютного сказали, что у него в партии беспорядок.

Но этого не случилось; все были налицо; вот, звеня кандалами, подходят «каторжане»; громыхая, подъезжают подводы с женщинами и детьми; сгрудившись плотной кучей, всходят на пригорок пешие арестанты. И Бесприютный, окончив осмотр, опять двинулся вперед своей развалистой, характерной походкой бродяги.

Шестьдесят верст «на круг» в сутки – такая была эта походка. Так идет человек, у которого нет ближайшей цели. Он не торопится, чтобы прийти до ночи, чтобы не опоздать к обедне в храмовой праздник, чтобы поспеть к базару. Он просто – идет. Дни, недели, месяцы... По хорошей и по дурной дороге, в жару и слякоть, гольцами и тайгой, и ровною Барабинскою степью бродяга все идет к своей неопределенной далекой цели... Он не торопится, потому что торопиться всю жизнь невозможно. Самое страстное, самое горячее стремление в эти долгие месяцы и годы уля-

жется в привычные, размеренные, бессознательно рассчитанные движения. Туловище подается вперед, будто хочет упасть, но следующий шаг несет его дальше, и так, покачиваясь на ходу, уставившись перед собой глазами, согнув спину с котелком и котомкой, отмеривает бродяга шаг за шагом эти бесконечные и бесчисленные версты... Эта ровная, неторопливая, хотя и довольно быстрая походка входит в привычку, и теперь, когда Семенов смотрел на фигуру шедшего впереди Бесприютного, ему виделось в этой сгорбленной фигуре что-то роковое, почти символическое. Молодой человек опять кивнул головой. «Понимаю, – подумал он, – выражение этой походки состоит в том, что человек не идет по своей воле, а как будто отдается с полным фатализмом неведомому пространству».

Серые халаты с тузами и буквами на плечах вообще нивелируют всю эту массу. В первое время свежему человеку все эти люди кажутся будто на одно лицо, точно бесконечное повторение одного и того же тюремного экземпляра. Но это только первое время. Затем вы начинаете под однообразной одеждой за-

мечать бесконечные различия живых физиономий; вот на вас из-под серой шапки глядят плутоватые глаза ярославца; вот добродушно хитрый тверитянин, не переставший еще многому удивляться и то и дело широко раскрывающий голубые глаза; вот пермяк с сурово и жестко зарисованными чертами; вот золотушный вятчанин, прицокивающий смягченным говором. Вы начинаете различать под однообразной оболочкой и разные характеры, и сословия, и профессии – все это выступает, точно очертания живого ландшафта из-под серого тумана.

Но, смотря на Бесприютного, трудно было решить – что это за человек, кем был он раньше, пока не надел серого халата. Тогда как на большинстве арестантов казенное платье сидело как-то неуклюже, не ладилось, топорщилось и слезало – на Бесприютном все было впору, сидело ловко, точно на него шито. Большие руки, дюжая фигура, грубоватые движения... как будто крестьянин. Но ни одно движение не обличало в нем пахаря. Не было заметно и меццанской юркости, ни сноровки бывшего торговца. Кто же он? Семенов долго

задавался этим вопросом, но наконец теперь, поняв по-своему «выражение» его походки, он решил, что перед ним бродяга.

Бродяга – и ничего больше! Все характерные движения покрывались одной этой бродяжной походкой. Глаза Федора глядели не с мужицкой наивностью, в них заметна была своего рода интеллигентность. Ни роду, ни племени, ни звания, ни сословия, ни ремесла, ни профессии – ничего не было у этого странного человека. Он, как и мальчишка, с которым Семенов только что беседовал, пошел в Сибирь за отцом, бывшим крестьянином. Рос он дорогой, окреп в тюрьме, в первом побеге с отцом возмужал и закалился. Тюрьма и ссылка воспитали этого человека и наложили на него свой собственный отпечаток. Пройти столько, сколько прошел бродяга, видеть столько людей, сколько он видел, – это своего рода школа, и она-то дала ему этот умный наблюдательный взгляд, эту немужицкую улыбку. Но эта школа была трагически односторонняя: люди, которых он изучал, были не те, что живут полной человеческой жизнью; это были арестанты, которые только *идут*, ко-

торых только *гонят*. Правда, во время бродяжества он сталкивался и с сибиряками, жил по деревням и на заимках. Но опять и тут настоящая жизнь для бродяги была закрыта. Его дом – не изба, а баня на задах; его отношения к людям – милость или угроза. Он знал, в какой стороне чалдон живет мирный и мягкосердный; в каких деревнях бабы ревут ревя, слышав заунывный напев «Милосердной», [19] и где бродяге надо идти с опаской; знал он, где для бродяжки готов хлеб «на полчке» и где встретят горбача винтовкой. Но жизнь семьи, круговая работа крестьянского года, житейские радости, печали и заботы – все это катилось стороной, все это миновало бродягу, как минует быстрое живое течение оставленную на берегу продырявленную и высохшую от солнца лодку.

Эти характерные бродяжьи черты в Федоре Бесприютном соединились с замечательной полнотой, и немудрено: ведь он не знал другой жизни – жизнь сибирской дороги владела его душевным строем безраздельно. Но, кроме этих характеристических черт, было в фигуре Бесприютного еще что-то, сразу выде-

лявшее его из толпы. Каждая профессия имеет своих выдающихся личностей.

Бесприютный представлял такую личность бродяжьей профессии. Каторжная, скорбная дорога овладела в его лице недюжинной, незаурядной силой.

В волосах Федора уже виднелась седина. На лбу прошли морщины; резкие морщины обрамляли также глаза, глядевшие из глубоких впадин каким-то особенным выдержанным взглядом. Казалось, человек, смотрящий этим странным взглядом, знает о жизни нечто очень горькое... Но он таит про себя это знание, быть может сознавая, что оно под силу не всякому, и, быть может, именно в этом сдержанном выражении, глядевшем точно из-за какой-то завесы на всякого, к кому обращался Федор Бесприютный с самыми простыми словами, скрывалась главная доля того обаяния, которое окружало вожака арестантской партии.

– Бесприютный знает! Бесприютный зря слова не скажет, – говорили арестанты.

И каждое слово человека, глядевшего этим спокойным, сдержанным, знающим взгля-

дом, приобретало в глазах толпы особенную авторитетность. Ко всякому самому простому слову Федора (он был вообще неразговорчив), кроме прямого его значения, присоединялось еще нечто... Нечто неясное и смутное прикасалось к душе слушателя, что-то будило в ней, на что-то намекало. Что это было, – слушатель не знал, но он чувствовал, что Федор Бесприютный что-то «знает»... Знает, но не скажет, и поэтому в каждом его слове слышалось нечто большее обыкновенного смысла этого слова.

В лицо он знал в партии всех, но друзей и товарищей у него не было. Ближе других сошлись с ним два человека, но и с теми соединяли его особые отношения. Первым был старый бродяга, Хомяк, вторым – барин.

Бродяга Хомяк был дряхлый старик. Сколько ему было лет – сказать трудно, но он не мог уже ходить и «следовал» на подводе. Одна из телег, именно та, на которой помещался старик, служила предметом особенных попечений старосты. Он сам настилал в ней солому, прилаживал сиденье, сам выносил с этапа и усаживал старого бродягу. В продолжение

пути он то и дело подходил к этой телеге и по долгу шел рядом с нею. Никто не слышал, чтобы они разговаривали друг с другом. Бесприютный только пощупывал сиденье и шел, держась за переплет телеги. Хомяк сидел, свесив ноги, боком к лошадям и смотрел неизменно перед собою неподвижным взглядом. Его руки лежали на коленях, ноги бессильно болтались, спина была сгорблена. Густая шапка только наполовину седых волос странно обрамляла темное обветренное лицо, на котором тусклые глаза совсем терялись, что придавало лицу выражение особенного бесстрастия. Картина за картиной менялись, появляясь и исчезая, но эти выцветшие глаза смотрели на все одинаково равнодушно. Старик мог видеть и слышать, но как будто не хотел уже ни глядеть, ни прислушиваться. Он мог говорить, но до сих пор Семенов ни разу еще не слышал звуков его голоса. От всей фигуры веяло каким-то замогильным безучастием; на было в ней даже ни одной черты страдания: в холод и жар, в дождь и непогоду он сидел одинаково сгорбившись и по временам только постукивал пальцем одной руки по другой.

Это было единственным проявлением жизни в этой старчески невозмутимой фигуре.

Арестанты говорили, что Федор Бесприютный приходится Хомяку товарищем по прежним бродяжествам.

IV

На одной из телег среди всякой арестантской рухляди лежал белый чемоданчик, принадлежавший Семенову. Иногда на этапе он просил старосту принести чемодан, чтобы переменить белье и взять что нужно, и Федор, исполнявший очень внимательно все его просьбы, обыкновенно сам приносил просимое. Этот чемодан и послужил первым поводом для их сближения.

За несколько дней до описываемого случая молодой человек попросил принести чемодан. Федор принес и отошел было, как всегда, пока молодой человек разобрался, но, оглянувшись как-то, староста увидал, что Семенов открыл одну из крышек и стал разбирать книги. Вынув одну из них, он закрыл чемодан и лег с книжкой на нарах. Федор посмотрел несколько секунд будто в нерешительности,

потом подошел к Семенову и сказал:

– Книжки у вас?

– Книжки, – ответил Семенов и, взглянув на Федора из-за страницы, спросил: – А вы читаете?

– Мерекаю самоучкой, – сказал бродяга, приседая у чемодана и без спроса открывая крышку. Семенов смотрел на это, не говоря ни слова. Федор стал раскрывать одну книгу за другой, просматривая заглавия и иногда прочитывая кое-что из середины. При этом его высокий лоб собирался в морщины, а губы шевелились, несмотря на то, что он читал про себя. Видно было, что чтение стоило ему некоторого усилия.

– Нельзя ли и мне какой-нибудь книжечки почитать? – спросил он, продолжая перелистывать книги одну за другой.

Молодой человек приподнялся.

– Возьмите, – сказал он живо и как будто обрадовавшись, – не знаю только, найдете ли вы что-нибудь интересное.

– Ну, ничего, – сказал снисходительно бродяга, – все-таки время провести. Конечно, и в книгах тоже... настоящего нету.

– Настоящего? – удивился Семенов. – Как это странно! Каждая книга говорит о каком-нибудь одном предмете, и, если бы у меня их было побольше, вы, вероятно, нашли бы, что вам нужно.

Бродяга слегка усмехнулся, и в его глазах промелькнул мгновенно огонек, опять в них засветилось такое выражение, как будто бродяга знает и по этому предмету кое-что, но возражать не желает.

– Читал я их, – продолжал он, помолчав и по-прежнему рассматривая книги, – немало читал. Конечно, есть занятные истории, да ведь, поди, не все и правда... Вот тоже у поселенца одного, из раскольников, купил я раз книжку; называется эта книжка «Ключ к таинствам природы»... Говорил он, в ней будто все сказано как есть...

– Ну и что же?

– Да нет, толку мало. Неотчетливо пишет этот сочинитель. Читаешь, читаешь, в голове затрещит, а ничего настоящего не понимаешь. Вечная единица, треугольники там, высшая сила... а понять ничего невозможно. Конечно, я человек темный, а все же, думаю, об-

ман это, больше ничего.

– Я тоже думаю, что вам попало не то, что нужно...

– То-то и я думаю. Надо чем-нибудь кормиться хоть бы и сочинителям.

Перебирая книги одну за другой, он вдруг со вниманием остановился на одном заглавии.

– Это что же такое? – сказал он, поворачивая заглавие.

Это были «Вопросы о жизни и духе» Льюиса.

– Это насчет чего? – спросил бродяга, с любопытством осматривая со всех сторон книгу.

Молодой человек затруднился ответом. Если заглавие непонятно, то что же сказать в объяснение? Как пояснить содержание трактата о сложных «проклятых» вопросах, над которыми, быть может, никогда не задумывался этот человек, с трудом разбирающий по складам?

– О жизни и духе!.. – задумчиво повторил между тем бродяга и опять с видом удивления стал поворачивать книгу во все стороны, осматривая и корешок, и коленкорный пере-

плет, и даже самый шрифт. Казалось, он удивлялся, что книга с таким заглавием так проста на вид. Быть может, он ожидал встретить «вопросы о духе» в каком-нибудь фолианте, переплетенном в старинный сафьян.

– Это насчет жизни и, например, о душе?.. Так, что ли?

– Да, – ответил молодой человек нерешительно.

Бродяга пытливо посмотрел на него.

– И все тут сказано?.. явственно?..

– Как вам сказать?.. конечно, все, что мог сказать этот писатель. Но явственно ли?.. Знаете что! Лучше возьмите какую-нибудь другую книжку.

Бродяга с живостью отдернул книгу, к которой молодой человек протянул было руку.

– Нет уж, разрешьте мне этой книжки почитать... Ежели тут насчет души и о прочем...

– Извольте, – неохотно ответил молодой человек. – Если встретится вам что-нибудь непонятное, слово какое-нибудь, выраженье, я с удовольствием постараюсь вам разъяснить...

– Нет, что выражение, выражение ничего

не составляет. Конечно, мало ли их, слов-то непонятных. Ну да все же прочитаешь раз, прочитаешь другой, оно и видно, к чему что идет. Так можно?

– Можно.

– Спасибо, – сказал он и опять взглянул в книгу. – «Вопросы о жизни и духе», – прочитал он еще раз с расстановкой. – Должно быть, она самая!..

Он встал, но, подымаясь, раскрыл книгу на предисловии и зашевелил губами, прочитывая кое-что на выдержку. Одна фраза остановила на себе его внимание. Что-то вроде удовлетворения мелькнуло в его лице и в глазах, когда он взглянул на молодого человека.

– Вот, – сказал он, ткнув пальцем в одно место, и затем прочитал: – «Наш век страстно ищет веры». Это верно, – подтвердил он с какой-то наивной авторитетностью, махнув головой.

Молодой человек усмехнулся.

– Верно, – подтвердил бродяга, – сколько теперича этих самых молоканов да штундистов с партиями гонят. И что ни дальше, то больше. Ну, спасибо. Эту книгу я теперича

беспременно прочитаю.

И он ушел.

Когда наступила ночь, в камере этапа не спали только два человека. Бесприютный, полулежа на нарах, при свете сального огарка поворачивал страницу за страницей. Лицо его выражало сильное, почти болезненное напряжение мысли, морщины на лбу углубились, и по временам, когда бродяга отрывался от книги и, устремив глаза в потолок, старался вдуматься в прочитанное, – на лице его явно виднелось страдание.

Не спал и молодой человек. Лежа под открытым окном – это было его любимое место, – заложив руки за голову, он задумчиво следил за читавшим. Когда бродяга углублялся в книгу и лицо его становилось спокойнее, на лице молодого человека тоже выступало спокойное удовлетворение, когда же лоб бродяги сводился морщинами и глаза мутились от налегавшего на его мысли тумана, молодой человек беспокоился, приподымался с подушки, как будто порываясь вмешаться в тяжелую работу.

Он был утомлен дневным переходом. Все

члены были от усталости, и он чувствовал потребность в успокоении. Но голова его горела, глаза тоже были охвачены будто кольцами лихорадочного жара, он беспокойно метался каждый раз, когда шелест перекидываемой страницы долетал до его слуха среди сонных звуков камеры.

«Что-то он найдет в моей книге, – думал он, – этот наивный вопрошатель? Найдет ли хоть частицу того, что ему нужно?»

И молодому человеку глава за главой вспоминалась вся книга. Живучесть проклятых вопросов... Определение метафизики. Метод научный, метод эмпирический, метэмпирический метод... Что же тут почерпнет этот самоучка, что он поймет во всех этих определениях, зачем ему вся эта история бесплодных исканий, это блуждание за заблудившимися в бесконечном лабиринте?

Молодой человек смотрел теперь на труд мыслителя с особенной точки зрения; он хотел представить себе, что может почерпнуть из него человек, незнакомый со специальной историей человеческой мысли, и он метался беспокойно, боясь, не дал ли он просившему

камень вместо хлеба. Эта работа внимания и воображения утомила Семенова. Голова его отяжелела, тусклый свет огарка стал расплываться в глазах, темная фигура маячила точно в тумане.

V

И приснился молодому человеку странный сон. Видел он густой темный лес ночью... Во мраке качались гигантские ветви, старые стволы стояли, точно великаны-призраки, и ни одна звезда не заглядывала в чащу, ни один луч не освещал темноты. Толпа людей билась в этом лесу, разыскивая, где выход к вольному простору и свету. Долго шла толпа, расчищая путь, прорубая просеки, прокладывая в лесу дороги. Куда вести эти дороги, так ли направлены просеки, кратчайшим ли путем приведут они к выходу, туда, где солнце золотит нивы, — люди не знают. Лишь только бледная заря разольется по лесной глуши, люди встанут ото сна и поведут дальше работу. Сзади за ними теряется в бесконечном лесу пройденный путь, вперед призывает работа, и пот выступает на лбу, и ноют усталые чле-

ны, а люди рубят деревья, стелют мосты, жгут и уничтожают чащу. Ночной отдых сменяет усталость дневной работы. Приходит смерть, и люди ложатся в могилы, в темноте чащи, обращаясь головами туда, откуда – они верят – свет светит и лежит страна, которую они ищут. Там ли она, так ли направили они свою тяжелую работу – они не знают. Знают другие. Им известно только, что они тяжело трудились, что заслужили отдых, чтобы завтра трудиться опять, или смерть, чтобы успокоиться навеки.

Толпа спит спокойным трудовым сном. Но в ней есть люди, которых члены не ноют, над которыми сон не налег так тяжело, как над остальными, потому что их работа легче. У них были глаза острее, слух чутче, и потому они не рубили дерев, не копали землю лопатами, не настиляли мостов. Они проверяли пути, они ходили вперед, они ставили позади вехи и вечно думали о той стране простора и света, куда стремились. Иногда они подымались на высокие деревья... Но оттуда только бесконечное море древесных вершин колыхалось и шумело листвой... То самое море, на

дне которого, там назади – в тесных могилах – полегло столько людей, искавших выхода... И люди спускались опять в чащу, исследовали и меряли путь, а сердца их нередко сжимались от боли, их душу тяготило чувство ответственности, но члены их не ныли и ноги не подкашивались от утомления.

И вот раз в глухую полночь они поднялись от сна и, оставив спящую толпу, пошли в чащу. Одних неодолимо влекло вперед представление о стране простора и света, других манил мираж близости этой страны, третьим надоело тянуться с «презренной толпой, которая только и знает, что спать да работать руками», четвертым казалось, что все идут не туда, куда надо. Они надеялись разыскать путь своими одинокими усилиями и, вернувшись к толпе, сказать ей: вот близкий путь. Желанный свет тут, я его видел...

И эти люди пошли, а толпа еще спит. До зари далеко, кругом темно. Далеко зашли ушедшие, и многим уже не вернуться. Они сбивались с пути, возвращались, встречались друг с другом и расходились опять. Они менялись опытом своих неудач и успехов, они ставили

свои вежи, делали свои зарубки, условные знаки, понятные другим искателям. Иногда кто-нибудь из них натыкался на какой-нибудь символ, смысл которого не давался пониманию. Тогда сходились другие и по большей части разглядывали знак: знамение неведомой гибели и незнакомой доселе опасности. И так прошло много дней и ночей. Толпа осталась где-то далеко, продолжая прежде намеченный путь, а те, что ушли вперед, – всё шли, у них выработался свой условный язык, свои знаки...

И вот в одну ночь, когда отдыхавшая толпа спала, как прежде, еще один человек поднялся задолго до зари и, беспокойно оглядевшись, тоже пустился в чащу. И чаща замкнулась за ним. Он искал пути, как и другие, но был один. Ему непонятен условный язык. Он остановился у громадного столетнего дерева и, подняв свой фонарь, с тоской рассматривает зарубку... Знак, когда-то высеченный твердой рукой, стоит перед ним неведомым иероглифом, и, несмотря на это указание, чаща стоит вокруг него полная прежней тайны, и мрак кажется еще глубже, лесная глушь еще

враждебнее и страшнее... Зачем он поднялся, что его разбудило?

Молодой человек спал плохо. Он метался, и весь этот сон проходил в его мозгу, как это нередко бывает, то в виде образов, то будто написанный где-то, то как воспоминание о чем-то рассказе, звучавшем в его ушах и отдававшимся в сердце скорбными нотами какого-то незнакомого голоса... Только лицо человека, стоявшего перед знаком на дереве, вдруг встало в его воображении с такой знакомой яркостью, что он проснулся и окинул камеру мутным взглядом... Действительность не сразу овладела сознанием. В обширной камере вповалку спала толпа, и один человек склонился у самого огарка над книгой с выражением тоскующего недоумения...

Молодой человек быстро отвернулся. В нем шевельнулась досада. «Что это такое, – думал он, – или я в самом деле становлюсь болел и начинаю бредить?.. Чем я виноват и что мне за дело?.. Я не бросал спящей толпы, я не уходил от нее в чащу, и, наконец, не я и разбудил этого человека... Не я виновен, что путь мысли труден, что они не понимают

условных знаков на пути... Я сам родился где-то на глухом бездорожье и сам вынужден искать пути в глухой чаще...»

И молодой человек заснул...

Между тем бродяга прекратил чтение; он посидел некоторое время отуманенный, с выражением разочарования, затем оглядел книжку со всех сторон удивленным и насмешливым взглядом, точно удивляясь, как мог он ждать от нее чего-либо и тратить на нее так много времени... Если бы молодой человек видел все это, то его сон был бы менее спокоен и на его лице едва ли горела бы улыбка...

На следующий день была дневка, затем опять два дня пути с остановками только для ночлегов, и опять дневка. Все это время Бесприютный не заговаривал о книге и как будто избегал Семенова.

VI

Когда теперь на гребне холма Семенов подошел к старосте, на лице Бесприютного виднелось сдержанное и холодное выражение.

– Ну, как вам понравилась книга? – спросил молодой человек.

– Ничего, книга хорошая, – сказал Федор, но в его тоне слышалось полное осуждение книги; он говорил о ней так же, как отзывался раньше о тех, которые помогают «провести время»; вслед за тем он неожиданно заговорил о другом предмете:

– Которая в этой книге вложена карточка, – это кто такие вам приходятся?

Семенов вспомнил, что действительно он вложил в книгу фотографию и, забыв об этом, после не мог разыскать карточку.

– Это, должно быть, моя сестра, – ответил он.

– Сестра, – проговорил Бесприютный задумчиво, и Семенова поразили особенный тон, каким звучало в устах бродяги это слово; казалось, все, что можно соединить любовного

и нежного с идеальным представлением о сестре, – все вылилось в голосе Бесприютного. – Сестра... так... у меня тоже есть сестра... две сестры было...

– Было? А теперь?

– Да, чай, и теперь есть.

– Вы их давно не видали?

– Давно. Мальчонкой по улице вместе бегивали. С тех пор... Чай, теперь такая же, как и ваша. Только моя – крестьянка. Ну, да ведь все равно это... Все ведь равно – я говорю?

Семенов невольно посмотрел в лицо Бесприютного при этом повторенном вопросе. Суровые черты бродяги будто размякли, голос звучал тихо, глубоко и как-то смутно, как у человека, который говорил не совсем сознательно, поглощенный страстным созерцанием. Семенову казалось тоже странным, что бродяга говорит о сестре, тогда как у него были сестры, как будто представление о личности стерлось в его памяти и он вспоминал только о том, что и у него есть сестра, как и у других людей.

– А мальчик, – спросил он опять, – чать, сын-ок ейный?

– Да.

– Вам значит – племянник?

– Конечно.

– Чать, и у моей тоже... племянник... – сказал он по-прежнему тихо и с тем же затуманенным взглядом.

Пройдя несколько сажений, он встряхнулся и резко вернулся к началу разговора.

– Не совсем и эта книга хороша. Не договаривает сочинитель.

– Чего не договаривает? – удивился Семенов.

– Нет настоящего... – И, видя, что молодой человек ждет пояснений, Бесприютный заговорил серьезно и с расстановками: – Не договаривает!.. Да!.. Как то есть надо понимать. Вот у вас племянник. Чать, у него отец с матерью?

– Да.

– Ну, подрастет, станут наставлять... потом в школу, потом к ремеслу аль к месту. Верно?

– Конечно, – ответил молодой человек, недоумевая, к чему клонится этот разговор.

– Ну вот. Это ведь всегда так. Взять хоть скотину: гонят ее, например, по дороге к око-

лице. Станет теленок брыкаться, с дороги со- скакивать, сейчас его пастух опять на дорогу гонит. Он вправо – он его справа кнутиком, он влево – его и слева. Глядишь – и привык, придет в возраст, уж он ни вправо, ни влево, а прямо идет, куда требуется. Верно ли?

– Верно.

– То-то. Так вот и с человеком все равно. Только бы с малых лет не сбился, на линию стал. А уж там, на какую линию его установи- ли, – не собьется.

– Это верно все, но к чему вы это говори- те?..

– А к тому и говорю, что племянник-то ваш, я вижу, сытенький мальчик, и притом с отцом, с матерью. Поставят его на дорогу, на- учат, и пойдет он себе жить благородно, по- божьему. А вот Мишка, с которым вы сейчас шли, с малых лет все по тюрьмам да на посе- лении. Так же и я вот: с самых с тех пор, как пошел за отцом да как мать померла, я, мо- жет, и человека хорошего не видал и слова хорошего не слышал. Откуда мне было в поня- тие войти? Верно ли я говорю?

– Что же дальше?

– Ну вот! Может, спросили бы меня теперь, я бы согласнее в младых летах свою жизнь кончить, чем этак-то жить. И верно, что согласился бы. Так ведь у меня никто не спрашивал, а сам я был без понятия... Положи сейчас кусок хлеба, пущай мимо голодная собака бежит. Ведь должна она этот хлеб схватить. Ну, так и я. Вот и вырос. Жить мне негде, к работе не приучен. Идешь по бродяжеству – тут всего бывало: где подают, ну а где и сам промышляешь. Помню это в первый раз мы с отцом да со стариком вон с тем шли. Оголодали. Вот подошли ночью к амбару, в амбаре оконце. Ломать ежели амбар – услышат. Подсадил меня отец к оконцу: «Ну-ко, говорит, пробуй, Федька, пролезет ли голова. Голова пролезет, так и весь пролезешь». А мне боязно: в амбаре-то темно, да еще, может, и чалдон сторожит где-ни-то за углом. А тоже послушаться не смею. Сунул голову. «Не лезет», – говорю (а голова-то ведь лезет!). Вот и слышу, говорит отец Хомяку: «А что, брат Хомяк, ничего не поделаешь, – видно, ломать придется». – «Плохо, – тот отвечает, – услышат на заимке или собака взлает. Народ здесь – варвар –

убьют». – «Да ведь как быть, – отец отвечает, – мочи моей нет. Ведь я вторые сутки не ел, вчерась свой кусок мальчонке отдал...» Повернулось у меня сердце, куда и страх девался. Сунул голову в оконце. «Тятка, кричу, тятка! Голова-то пролезла!» Ну, вот... А там и пошло; со временем все больше да больше... Вот она – наука-то моя. Поставили меня на линию тоже... А теперь должен я за это отвечать?.. Это как?

– Что же, – заметил Семенов, – если бы вас судили судом присяжных, то, вероятно, все это приняли бы во внимание...

Но тотчас он понял, что сказал ужасную глупость. Бесприютный окинул его быстрым взглядом, в котором он прочел удивление, а затем что-то вроде пренебрежения. И тотчас точно луч блеснул в уме молодого человека: он сообразил теперь, о какой ответственности говорил бродяга, в чем этот человек сомневался, чего добивался от книги.

– Продолжайте, – сказал Семенов, – я ошибся, но теперь понимаю.

По-видимому, бродяга убедился, что недоумение действительно рассеяно.

– Каждый человек поставлен на линию, – подтвердил он, – вот что. Как же теперь понимать, за что отвечать человеку? Шел два года назад арестант один, так тот так понимает, что ничего этого нет. Помер человек, и конечно. Больше ничего. Все одно – как вот дерево: растет, качается, рождается от него другая лесина. Потом, например, упадет, согниет на земле – и нету... И растет из него трава. Ну, опять на это я тоже не согласен...

Он прошел несколько шагов молча и опять, как Семенову показалось сначала, заговорил о постороннем:

– Третий раз я бежал в ту пору. Отец у меня уже помер, товарища не было, пошел один. Ну, скучно было. Тайгой иду, и все вспоминается, как мы тут с отцом шли. Только раз ночью бреду себе знакомой тропкой, запоздал шибко, до ночлега. Хотел в шалашике ночевать, который шалаш мы с отцом когда-то вместе строили. Только подхожу к шалашику – гляжу: огонек горит, и сидит у огонька старик бродяга. Исхудалый, глаза точно у волка. Кидает он на огонь сучья, сам к огню тянется, дрожит. Одним словом, оголодал, и оде-

жа на нем рваненькая. Почитай, нагишом совсем... Вот хорошо, я даже этому случаю шибко обрадовался, – думаю, товарища встретил. Покормил я его, чем богат, чайком обогрел. Посидели, потолковали, – спать!.. Лег я, халат под голову положил... полежал – слышу: встанет мой старик, из шалаша вон выходит. «Куда?» – спрашиваю. «Да так, говорит, не спится что-то. Пойду к ручью, водицы в котелок возьму да сучьев натаскаю: завтра пораньше чай варить. Да ты что же, молодец, головой-то под самый навес уткнулся, – чай, ведь душно...» А меня покойник отец учил: случится, говорит, с незнакомым человеком ночевать, пуще всего голову береги. В живот хоть, может, и ткнет, все же труднее убить. А по голове ничего не стоит. Вот я, хоть насчет старика этого и в уме у меня не было, а все же завет отцовский берегу. «Ничего, говорю, в привычку мне этак, и комар не ест». Хорошо!.. Ушел старик к ручью, не идет да не идет. Ночь, помню, темная была, на небе тучи, да еще и неба сквозь дерев не видать. Огонек у входа эдак дымит, потрескивает, да листья шелестят. Тихо. Вот лежал я, лежал – и

вздремнул, да не очень крепко. Только слышу – вдруг отец меня окликает: «Федор, не спи!» Так это будто издалека слышно. Открыл я глаза, гляжу опять – огонек дымит да ветка качается. Я опять заснул. Только слышу опять, будто идет кто к шалашу и даже так, что вижу – за огоньком эдак кто-то стоит. И опять: «Эй, Федор, не спи!» Вот я опять и проснулся. Что, думаю, такое это? Ну, как за день я сильно притомился, то и не могу вовсе проснуться – глаза так и слипаются. Заснул опять, да, видно, еще того крепче. Прошло сколько-то времени. Опять слышу – подходит отец, стал в дверях шалашика, руки эдак упер, сам наклонился ко мне в дыру-то: «Слышь, Федор, не спи, а заснешь – навеки!» Да таково явственно сказал, что сон с меня все соскочил. Гляжу: нет никого, огонек погас, почитай, вовсе, по листьям дождик шумит. И будто за костром кто-то маячит – так помаячил и исчез. Поднял я голову: «Что бы это, думаю, могло обозначать? Видно, неспроста. А где, мол, старик проходящий, что это он в дождь по тайге ходит?» И вдруг опять кто-то крадется тихонько к шалашу. Подошел

этот старик, остановился у самого того места, куда я головой улегся, потом слышу – шарит осторожно, хворост разворачивает. Встал я незаметно, выхожу из шалашика. «Что это, мол, ты делаешь, почтенный?» А у него, под леца, уже и шелеп изготовлен: в тайге вырезал здоровенную корягу... Да, вот оно дело какое. Как же теперь надо понимать: ведь уж это явственно ко мне отец приходил с того свету. Кабы с другим было – может быть, и не поверил, а ведь со мной...

Несколько шагов они прошли молча.

– Рассказать вам, что после у меня с этим стариком вышло? – спросил бродяга, кинув искоса взгляд на молодого человека.

– Расскажите.

– Да, вот я вам расскажу, а вы подумайте, как оно бывает иногда. Потому: вы еще молоды. Книжек-то вы читали много, ну а все же пожили бы с мое, увидали бы такое, чего и в книжках нету. Вот, когда услышал старик такие мои слова, – сейчас бросил свою корягу, сел к огню и говорит: «Ну, бей, говорит, ты человек молодой и в силе. Мне с тобой не справиться, а без одежды да без пищи я все равно в

тайге смерть приму. Так уж лучше сразу...» Посмотрел я на старика этого: ноги у него в кровь изодраны, одежонка рваная, промок, дрожит весь; борода лохматая, лицо худое, а глаза горят, все равно как угли. Видно, лихо-манка к нему привязалась не на шутку. Жалко мне его стало. «Ты что же это, говорю, на подлости пошел? Я тебя хотел заместо товарища взять, весь бы запас разделил пополам, а ты что задумал?» – «Не хватит, – говорит старик, – все одно на двух-то...» А запасу, правду сказать, и у меня было немного. Тайгой этой идти надо было еще дён шесть, а то и больше, а мне одному-то на три дня в силу хватит. Ну, думал себе, ягодой, мол, станем пробавляться да корнем – как-нибудь выберемся. А как увидел его поступки, тут уж какое товарищество, конечно... Однако отделил сколько-то сухарей, да чаю, да табаку немного и говорю: «Бери! Я на тебе зла не помню». Взял он, сгреб все обеими руками, сам на меня глазами уставился – не стану ли отнимать... Вижу я: в глазах у него точно огонь бегаёт. Даже страшно. Собрался я, подвязал котомку и котелок – пошел. Прошел сколько-то,

оглядываюсь: старик мой тоже собирается. Завязал все кое-как в узел, айда за мной... Верите, сколько я с ним муки принял, так это и рассказать невозможно. Ни отдохнуть, ни поспать – сейчас он тут как тут. Видели вы летом слепую муху, как она к скотине привяжется? Ну, так и этот старик. И ведь не думайте, нисколько моего добра не помнил: чуть, бывало, прилягу к ночи, прислушаюсь: уж он тут... крадется в тайге и все с корягой. Как только поспевал за мной – удивительно! Я иду скоро, как могу, а он не отстает, да и только. Вот подошел я к нему раз и говорю: «Что тебе надо? Отстань, а коли не отстанешь, тут и жизни твоей конец...» Хотел запугать, да где тут! Отошел я версты три, к вечеру дело было, и думаю: «Дай схоронюсь за дерево, обожду», а сам огонек разложил небольшой в другом месте, подальше. Только, этак через полчаса времени, гляжу, выходит мой старик на тропку... идет, как медведь, переваливается, глаза горят, сам носом по воздуху так и водит. Завидел мой огонек и сейчас в тайгу, да стороной-то, да крадучись, так и ползет к огню с корягой... Что мне тут делать: парень я моло-

дой, непривычный, кругом, может, на сколько верст души человеческой нету, только лес один, на сердце и без того тоскливо, а тут этот старик увязался. Заревел я тут, просто сказать, по-бабьи, да ну бежать. Бежал, бежал, сколько было мочи; наконец притомился, лег и заснул. Сколько-то проспал, просыпаюсь – опять старик тут. Впоследствии времени уж он и стыд потерял. Я к нему усовещевать, а он на меня с корягой так и кидается, так и насквакивает. Ах, ты, господи! Выбился я на вторые сутки из сил, вижу: либо мне, либо ему не жить. Стал супротив его на тропке, дожидаться. Увидел он, что я стою, да, видно, не испугался: так сослепу с корягой и лезет. А я стою, голосом реву, слезами плачу, вышел уже из всякого терпения, нет моей мочи. Подскочил он ко мне, замахнулся – бац шелепом по голове. Изловчился-таки достать порядочно... Ну, тут уж я ожесточился, вырвал корягу, ударил раз и другой... Да тут же и сам свалился, заснул. Ночью проснулся – так мне и кажется, что опять старик крадется в тайге потихоньку. Да нет: лежит на тропке, не шевельнется. Схватил я тут котомку да опять бежать. Ни

сна, ни отдыху; иду-иду, а самому кажется, что никогда мне из этой тайги не выйти; и все сзади будто старик идет, сопит, переваливается, нагоняет... Как уж я вышел к деревне – и сам не знаю: подняли меня сибиряки у поскотины замертво... Да, так вот оно, дело-то... Иной человек и век проживет без греха. Сходит к празднику в церковь, оттуда домой придет, о божественном разговаривает с детьми, потом пообедаёт, ложится спать... Совесть, думает, чиста у меня, не как у прочих других. А между прочим, может, и совесть потому у него чистая, что горя он не видал да на линию такую поставлен. А вот моя линия совсем другая... И совесть у меня нечиста, а иной раз так даже и места себе не найду... И по сию пору, бывает, старик этот не даёт мне покою. Потому что, не иначе, думаю я, только что был он тогда вроде как в горячке. А я его, больного человека, убил... Как же теперь, по вашему-то: должен я за это отвечать или нет?..

VII

Не дожидаясь ответа, Бесприютный вдруг сошел с дороги и остановился. Невдалеке виднелась уже кривая сосна. Этапные проходили мимо, и староста занялся счетом людей, не обращая более внимания на молодого человека, который остановился с ним рядом.

Последняя телега поравнялась с ними. На ней сидело несколько женщин, и старый Хомяк глядел с нее своими оловянными глазами. Староста подошел к телеге.

– Что, старичок божий, хорошо ли сидеть-то? – спросил он, взявшись, по обыкновению, за переплет телеги.

Старые губы прошамкали что-то невнятное.

– Стар дедушка, – сказал Семенов.

– Не очень, должно быть, – насмешливо возразил Федор. – Год назад еще его в Одессе отодрали. Ничего – выдержал. Стало быть, еще молодец.

– Что вы это, Федор, говорите?

– То и говорю, что было. По закону, оно конечно, не надо бы, да про закон вспомнили,

когда уже всыпали. Ну, что же тут поделаешь – назад не вернешь.

Старый Хомяк закачал головой, его морщинистое лицо пришло в движение, глаза заморгали, и в первый раз Семенов услышал его голос. Он повернулся к Бесприютному, уставился на него глазами и сказал:

– Ничего не поделаешь, парень! Да, ничего не поделаешь.

Он говорил ровным дребезжавшим голосом, бесстрастным, как его тусклый взгляд, хотя, по-видимому, находился в состоянии оживления, на какое только был способен. Долго еще шамкали и двигались бескровные губы, голова шевелилась, даже полуседые волосы, торчавшие из-под шапки, казалось, задорно поднимаются, и среди невнятного шамканья слышалась все та же фраза:

– Ничего не поделаешь!

При этом Бесприютного старик называл парнем или малым, вероятно, по старой памяти.

– То-то и я говорю, ничего не поделаешь, всыпали, так уж назад не высыпешь, – ответил Федор с выражением грубоватой насмеш-

ки; была ли это действительно насмешка, или под ней скрывались горечь и участие, Семенов не мог разобрать. Резкие черты Федора были довольно грубы, и не особенно подвижная обветренная физиономия плохо передавала тонкие оттенки выражения.

За поворотом от кривой сосны действительно открылся и этап. Высокий частокол с зубчатым гребнем скрывал крышу здания; лес подступал к нему с трех сторон. Невдалеке, под темной стеной тайги, небольшая деревушка искрилась несколькими красными огоньками, между тем как дома уже терялись в тумане. Невеселый сибирский пейзаж охватывал кругом печальные здания этапа; вечерний сумрак делал картину еще грустнее, но партия весело и шумно огибала угол частокола и входила в отворенные ворота: ужин манил изголодавшихся, широкие нары – усталых.

Один Бесприютный не изменил походки, не прибавил шагу. Он только окинул этап быстрым, угрюмым взглядом, как бы желая убедиться, что все осталось без перемен с тех пор, как он был здесь в последний раз.

Все было по-прежнему, только разве лес несколько отступил от частокола, оставив пни и обнажив кочковатое болото, да частокол еще более потемнел, да караулка еще более покосилась. И бродяга отвел глаза от знакомого здания. Да, все здесь в порядке... здания сгибаются от старости, как и люди, старые окна глядят так же тускло, как и старые очи... Он знал это и прежде.

Посмотрев еще раз кругом на оставшуюся сзади только что пройденную дорогу, на темнеющий лес, на огоньки деревушки, на стаю ворон, кружившихся и каркавших над болотом, и проводив в ворота последнюю телегу, на которой сидел Хомяк, староста сам вошел во двор этапа, где уже слышались шум голосов и суэта располагавшейся на ночевку партии.

VIII

Первая суета стихла в старом этапном здании. Места заняты, споры об этих местах покончены. Арестанты лежат на нарах, сидят кучками, играют в три листика, иные уже дремлют. Из отдельных, «семейных», камер слышится крик ребят, матери баюкают грудных детей, а в окна и открытые двери глядит сырая, но теплая сибирская ночь, и полная луна всплывает красноватым шаром над зубцами частокола.

Часа через полтора после прибытия партии два арестанта-кашевара внесли в общую камеру на шесте ушат со щами. Бесприютный вошел вместе с ними из кухни и стал у стола, чтобы наблюдать за раздачей партии горячей пищи. Арестанты засуетились, разбились на кучки. Каждая кучка посылала от себя человека с посудой, который, подходя к столу, проносил: пятеро, четверо, шестеро – и соответственно с этим получал пять, шесть, четыре больших ложки щей. Больные и женщины, кормившие грудью детей, имели при раздаче преимущество, и Бесприютный внимательно

и деловито следил за правильностью разда-
чи.

В это время в ночном воздухе, там, за огра-
дой, слышался топот приближавшейся к
этапу тройки. Тройка катила лихо, но под ду-
гой заливался не почтовый колокольчик, а
бились и «шаркотали» бубенцы.

– Эй, подтянись, ребята, смирно! – высунул-
ся головой один из караульных. – Чай, это ин-
спектор приехал.

Среди арестантов произошло невольное
движение, которое Бесприютный прекратил
спокойным замечанием:

– Подходи, ребята, подходи, полно!

И раздача продолжалась прежним поряд-
ком, а Бесприютный стоял у стола с тем же
равнодушным видом человека, мало заинте-
ресованного всем происходящим.

Раздача еще не совсем кончилась, когда на
пороге, выступая из темноты, появилась пол-
ная фигура немолодого уже полковника.

– Здорово, ребята! – сказал он тем бодрым
и добродушно-веселым тоном, которым при-
ветствуют обыкновенно подчиненную толпу
добрые и благодушные начальники.

– Желаем здоровья, ваше скородие, – нестройно ответили в камере, и арестанты повстали с мест, с ложками в руках. Иные стали вылезать из-под нар.

– Оставь, ребята, оставь, ничего! – махнул он рукой, входя в камеру. За ним вошел начальник этапа, болезненный и худой офицер, да еще два-три молоденьких прапорщика конвойной команды. Фельдфебель, молодецкато выпятив грудь, вынырнул из темноты и мгновенно прилип к косяку вытянутой фигурой.

– Хлеб-соль, ребята! – продолжал полковник, обходя кругом средних нар. – Не имеете ли претензий?

– Никак нет, ваше скородие, – слышались опять голоса.

– Ну и отлично, ребятушки! А каковы у вас щи? Хороши ли? – И с этими словами он направился к тому концу, где стоял Бесприютный у опорожненного почти ушата. Полковник среди раздававшейся толпы арестантов шел тяжеловатой, но свободной походкой человека, который знает, что эта толпа уже заранее к нему расположена, что на него обра-

щены одобрительные взгляды. Казалось, он испытывал самодовольное чувство от сознания, что он добрый начальник, что он знает, как можно говорить с этими преступными людьми, что он умеет с ними ладить.

Староста стоял на своем месте, и его глаза по-прежнему следили за ложкой разливальщика, причем ни один мускул не шевельнулся при входе и приближении начальника. На мгновение только его быстрый испытующий взгляд остановился на толстой фигуре полковника с тем же выражением, с каким он исследовал за несколько часов перед тем покосившиеся этапные постройки. Казалось, расплывшаяся и несколько обрюзгая фигура инспектора доставила бродяге материал для нового, хотя и не неожиданного заключения. Затем он равнодушно отвел глаза и занялся своим делом.

Но полковник, заметивший бродягу еще на половине своего пути, оказал ему более внимания. Он прибавил шагу, потом, приблизившись, быстро и внезапно остановился, причем ножны его сабли с размаху ударили по коротким ногам. Откинув назад голову с

широким добродушным лицом, он взглянул на бродягу из-под громадного козырька и хлопнул себя рукой по бедру.

– Панов! Бесприютный! Да, никак, это ты!

– Я самый, – ответил бродяга, опять кидая на полковника равнодушный короткий взгляд.

– Вот! Сразу узнал, – не без самодовольства обратился полковник к следовавшей за ним кучке подчиненных. – А ведь имейте в виду: уже более двадцати лет я его не встречал. Так, что ли? Да ты меня, братец, узнал ли?

– Как не признать, – ответил Бесприютный спокойно и затем прибавил: – Да! Чать, не менее двадцати-то лет...

– Двадцать, двадцать, я тебе верно говорю! Уж я не ошибусь, – у меня, братец, память! Да. Имейте в виду, господа, – это было два года спустя после моего поступления на службу, как мы с ним встретились первый раз. Как же! Мы с ним старые знакомцы. Много, братец, много воды утекло.

– Так точно, ваше высокородие, – ответил бродяга равнодушно. Казалось, он не видел особенных причин к тому, чтобы радоваться

и этой встрече, и вызванным ею воспоминаниям.

– Ну, каково поживаешь, братец, каково поживаешь? – И добряк полковник присел на угол нары с очевидным намерением удостоить бродягу благосклонным разговором.

Бесприютный ничего не ответил, но это не остановило словоохотливого полковника. Повернувшись в свободной и непринужденной позе фамильярничавшего начальника к стоящим за ним офицерам, он сказал, указывая через плечо на бродягу большим пальцем:

– Русская поговорка, гора, дескать, с горой не сходится!.. Да-с... Вот она, судьба-то, сводит. Имейте в виду, господа, двадцать лет назад я вел партию в первый раз. Понимаете, молодой прапорщик, первый мундир, эполеты, одним словом – начинал карьеру. А он в то время бежал во второй раз и был пойман. Он молодой, и я молодой... Оба молодые люди у порога, так сказать, жизни... И вот судьба сводит опять... Знаете, для ума много, так сказать... Понимаете, для размышления...

Почувствовав некоторое затруднение в точной формулировке тех философских за-

ключений, которые теснились под его форменной фуражкой, полковник быстро повернулся опять к бродяге и измерил его с ног до головы пристальным и любопытным взглядом.

Фигура Бесприютного как-то потемнела; он насупился и как будто слегка растерялся. Но полковник, не замечавший, по-видимому, ничего, кроме своего собственного прекраснодушия, продолжал осматривать своего собеседника и при этом слегка покачал головой.

– Постарел, братец, постарел. А что! Я, брат, слышал, что ты с тех пор еще несколько раз бегал. Небось раз десять пускался, а?

– Тринадцать раз, – глухо ответил Панов.

– Ай-ай-ай. Имейте в виду, – повернулся опять полковник к молодым офицерам, – и все неудачно!

Инспектор покачал опять головой с видом глубокого сожаления. И это сожаление было совершенно искренно. Конечно, в то время, когда он конвоировал партию, и после, будучи начальником этапа, он не только не отпустил бы Панова на волю, но даже, пожалуй, усилил бы в иных случаях надзор за ловким

бродягой. Конечно, и теперь в случае побега он постарался бы с особенным усердием устроить облаву, потому что этого требовали прямые интересы его службы. Но ведь Панов-Бесприютный мог убежать не у него (у него вообще не бегали); он мог уйти с каторги или поселения, и, в этом случае встретившись с ним где-нибудь на тракту, полковник без сомнения дал бы ему рубль на дорогу и проводил бы старого знакомца добрыми пожеланиями. Теперь он искренно жалел человека, с которым его связывали воспоминания о давнем прошлом. Когда он начинал свою карьеру молодым урядником конвойной команды, Бесприютный начинал карьеру бродяги, и теперь в сердце полковника ожили давние приятные ощущения. Он был тогда молод, усики только что пробились над губой и доставляли ему такое же удовольствие, как и новый мундир и погоны; все это наполняло его жизнь радостью и блеском. С тех пор он подвигался вперед и вперед по ровной, проторенной и верно расчищенной дороге. Молодому прапорщику жизнь представлялась целой лестницей повышений. Если во столько-то

лет он достигнет чина поручика, то, наверно, умрет полковником... а при успехе... Теперь полковник оглядывался назад, на пройденное пространство и видел с удовольствием, что он ушел гораздо дальше, чем это представлялось безусому фендрику: вот он еще бодр и крепок, а уже достиг высшего предела своих молодых мечтаний. Он уже полковник, и все, чего удастся еще добиться по службе, будет сверхсметным подарком судьбы. И старик инспектор был доволен своей трезвой, благоразумной, уравновешенной жизнью; у него была семья; сына он поставил сразу гораздо выше, чем стоял сам при начале пути; дочери он дал приданое, потому что он не пьяница и не картежник, как многие другие. А исполнив все это, он спокойно сомкнет глаза перед последним часом, потому что и *там*, в другом мире, его формуляр – в этом он твердо убежден – заслужит полное одобрение.

Да, вот какова его жизнь! А ведь не все умеют так устраивать ее. Полковник испытывал в глубине сердца – под сожалением к бродяге – еще то особенное чувство, которое заставляет человека тем более ценить свой

уютный угол, свой очаг, когда он вспоминает об одиноком и усталом путнике, пробирающемся во тьме под метелью и ветром безвестной и нерадостной тропой.

Хорошо полковнику, согревшему свою жизнь светом общепризнанных солидных добродетелей. А вот он – старый бродяга – стоит перед ним, сгорбившись, в том же сером халате, с тем же тузом на спине, с сединой в волосах, с угрюмой лихорадкой во взгляде. Да, карьера Панова, связанная в воспоминании полковника с началом его собственной карьеры, – не удалась. Несмотря на всю силу и удаль, несмотря на то, что имя Панова гремит по всему тракту, что об его ловкости и влиянии сложились целые легенды, что его имя от Урала и до Амура известно всем гораздо более, чем знают имя полковника, даже в районе его служебного влияния, – все же к этому имени всюду прибавляется один эпитет – несчастного, незадачливого бродяги.

Полковник опять повернулся к своим спутникам, и во взгляде, который он бросил им, заключалось целое невысказанное наставление. Наставление, очевидно, было понятно,

потому что молоденький урядник, державший в руках новенькую папаху с кокардой, тоже посмотрел на бродягу и покачал головой; за ним так же укоризненно покачали головами два его сотоварища. Только один смотритель этапа, худой, с раздражительным и угрюмым лицом, не обращал на слова философствовавшего начальника никакого внимания, и вся его фигура обличала по меньшей мере равнодушие и пассивное неодобрение. Впрочем, может быть, это происходило оттого, что Степанов, немолодой уже поручик, и вообще-то не вполне соответствовал видам начальства, получал частые выговоры, а теперь, кажется, был еще вдобавок с похмелья.

– Удалось ли хоть побывать на родине? – спросил опять полковник бродягу.

– До своей губернии доходил два раза, – говорит бродяга и затем добавляет глуше: – В своем месте не бывал ни разу.

– Ай-ай-ай! – закачал опять головой полковник, и затем, усевшись поудобнее на нарах, он положил локти на коленях и, сложив руки ладонями, подался туловищем вперед, как человек, располагающийся побеседовать

подольше. Раздача была кончена, ушат убрали, у Бесприютного не было больше дела у стола, но он стоял на том же месте. Теперь у него не было уже того равнодушно-горделивого вида, как прежде. Окруженный кучей арестантов, стоявших на почтительном отдалении, бродяга стоял с несколько растерянным видом прямо перед сидевшим в свободной позе инспектором.

– Ну, – произнес тот, усевшись, – скажи ты мне, куда ты все бегаешь?

Бродяга еще больше растерялся, и, если бы полковник был несколько наблюдательнее, у него, вероятно, не хватило бы духу продолжать свой допрос. Но он принадлежал к числу тех людей, для которых самодовольное прекраснотушие застилает все происходящее перед их глазами. В этом была его несомненная сила, и Бесприютный как-то растерянно ответил:

– Да как же, ваше высокородие, в свою сторону хочется все...

– Так! – сказал полковник. – А давно ли ты оттуда?

– Дитёй оттуда, ваше высокородие.

– Отец твой ведь помер в Сибири?.. Ну а мать-то жива?

– Нету. Ранее еще померла, без матери вырос, – сказал Бесприютный, и затем как-то робко, будто высказывая последний аргумент и вместе боясь за него перед лицом этого беспощадно-здравомыслящего человека, он добавил: – Сестра у меня родная...

– Сестра! Пишет она тебе письма?

– Где уж писать!

– Может, и она умерла давно.

– Две было, – протестует бродяга.

– Ну, пусть. Ну, допустим, обе они живы. Так ведь они теперь замужем, своя семья у них, дети. И вдруг явишься ты, беспаспортный, беглый из Сибири... Думаешь – обрадуются? Что им с тобой делать?.. Имейте в виду, господа, – повернулся опять полковник с своим поучением к молодежи, – я знаю этих людей: чем опытнее бродяга, чем больше исходил свету, тем глупее в житейских делах.

Было что-то ужасное в этой простой сцене. В голосе полковника звучала такая полная уверенность, что, казалось, сама практическая жизнь говорила его устами, глядела из

его несколько заплывших глаз; между тем опытный бродяга, тот самый Бесприютный, который пользовался у сотен людей безусловным авторитетом, стоял перед ним и бормотал что-то, как школьник. Лица обступивших эту группу арестантов были угрюмы. На одной из нар сидел в своей обычной позе Хомяк, и даже он как будто прислушивался к громкому голосу полковника и к тихим ответам Бесприютного.

– Эх, вы! – махнул полковник рукой. – Недаром говорится: горбатого исправит могила!

И затем, переменив тон, он добавил благодушно:

– А постарел ты, братец, сильно постарел. Да и то сказать, все к могиле идем. И я не тот, что был: женился, пятеро детей; старший учение кончает, дочь невеста... Вон меньший карапуз во дворе играет.

Взгляд Бесприютного, который он поднял на полковника, стал как-то тяжел и мутен. Но полковник теперь не глядел на бродягу. Полковник знал про себя, что он добр, что его любят арестанты «за простоту». Вот и теперь он

приехал сюда со своим мальчишкой, и семилетний ребенок играет на дворе с собакой среди снующей по двору кандальной толпы. Прислушавшись, инспектор различил среди наступившей в камере тишины игривое урчание собаки во дворе и звонкий детский смех.

– Васька, эй, Васька! – крикнул полковник.

– Василь Ваныч, – повторил почтительно стоявший у дверей фельдфебель.

На пороге открытой двери появился краснощекий мальчуган в синей косоворотке и военной фуражке. Свет керосиновой лампы на мгновение заслепил его голубые глаза; мальчик с улыбкой закрыл их рукавом, но затем, разглядев отца, он бросился к нему с веселым смехом среди расступающихся арестантов. Физиономия старого полковника расплылась благодушной улыбкой; с нее исчезли последние признаки философского глубокомыслия; он поставил около себя своего любимца и, положив ему на голову свою руку, повернул лицо мальчика к бродяге.

– Вон какой растет, – произнес он. – Это у меня самый младший, а ведь тогда, как мы с тобой в первый-то раз шли, я еще сам молоко-

сос был.

Мальчика не пугала серая толпа, окружавшая его со всех сторон в этой камере, – он привык к этим лицам, привык к звону кандалов, и не одна жесткая рука каторжника или бродяги гладила его белокурые волосы. Но, очевидно, в лице одиноко стоявшего перед отцом его человека, в его воспаленных глазах, устремленных с каким-то тяжелым недоумением на отца и на ребенка, было что-то особенное, потому что мальчик вдруг присмилел, прижался к отцу головой и тихо сказал:

– Папа, пойдем отсюда!.. Папочка!..

– В самом деле пора. Мальчишка набегался за день, поневоле спать захочет. Ну, Бесприютный, прощай. Спокойной ночи, ребята, счастливый путь!

– Вам также, – слышалось откуда-то несколько голосов. Ближайшие арестанты молчали.

Кажется, мальчик на этот раз, по счастливому инстинкту, оказался благоразумнее опытного и «знающего этот народ» инспектора. Когда отец и сын направились к выходу,

Бесприютный провожал их горящими глазами; лицо его сделалось страшно, он скрипел крепко стиснутыми зубами.

IX

Утомленный дневным переходом, Семенов заснул скоро и, вероятно, очень крепко, потому что очень долго шум, стоявший в камере, не мог его разбудить. Однако мало-помалу крепкий сон стал переходить в беспокойство, потом над ним нависло какое-то дремотное полусознание. Молодой человек слышал неприятный гул голосов, сквозь который прорывался то чей-то оклик, то клочок песни, и опять все эти звуки удалялись, тонули, чтобы опять выделиться с беспокоящею резкостью. Особенно неприятным казался ему один голос, звучавший громче других. Он как будто узнавал его сквозь сон, и от этого ему еще более не хотелось проснуться, не хотелось убедиться в том, что он не ошибся.

– Пей, мамка, пей!.. Эй, жги, нажигай, молодка!

Семенов открыл отяжелевшие веки, и в сизом тумане душевой камеры перед ним обри-

совалось красное лицо с горящими глазами. Кто-то сидел на нарах, обнявшись с пьяной простоволосой арестанткой, которая покачивалась и, нагло ухмыляясь по временам, заводила пьяную песню. Большинство арестантов спало, но в центре камеры шла попойка. Увидев все это, Семенов тотчас же опять сомкнул глаза, и двоившееся сознание затуманилось. «Это был только сон», – думалось ему во сне об этой картине из действительности.

Но вдруг шум усилился. Молодой человек проснулся и некоторое время не мог отдать себе отчета в том, что перед ним происходило, – в камере кто-то плакал, как-то дико и с причитаниями. Это был голос Бесприютного, и к нему примешивались пьяные причитания арестантки.

– Феди-инька, горемышно-ой!.. О-ох-ох-хо-о-о!..

И пьяная простоволосая баба тянулась руками, стараясь приподнять голову Бесприютного, припавшего к нарам, а сам Бесприютный как-то глухо и протяжно ревел. Это не был плач пьяного человека и не прерывистое рыдание мгновенно прорвавшегося горя. Это

был именно протяжный грудной рев, как-то безнадежно, ужасающе ровный, долгий, которому, казалось, не будет конца. В камере воцарилось гробовое молчание. Арестанты приподнимались на нарах; недоумевающие лица обращались к Бесприютному, и на них виднелось общее выражение испуга.

Вдруг Бесприютный поднял голову и обвел взглядом всю камеру. Казалось, водка не оказала на него обычного действия: его глаза не затуманились, черты не расплылись. Напротив, бледное лицо стало как будто суше и резче, а взгляд горел.

Он тяжело приподнялся, опираясь руками на нары, и все искал кого-то блуждающим взором. Вдруг он увидел Семенова, который смотрел на бродягу вдумчиво и с участием. Во взгляде Бесприютного мелькнуло определенное выражение.

– А, барин! – крикнул вдруг Бесприютный, подаваясь всем могучим корпусом вперед, и скверное циничное ругательство сорвалось с его языка. – Ва-апро-сы, – продолжал с горькой язвительностью, – я, брат, и сам спрашивать мастер... Нет, ты мне скажи: за что я от-

вечать должен – вот что. А то ва-апросы! На
цигарки я твою книгу искурил... ха-ха!.. Се-
естра! У меня у самого сестра.

И опять ругательства полились уже по ад-
ресу сестры, на этот раз еще более циничные
и ожесточенные. Казалось, он чувствовал осо-
бое, злобное наслаждение, втоптывая в грязь
свою мечту о мифической сестре; и вместе с
тем безумный огонь в его глазах разгорался
еще сильнее, а из груди вырывался сухой ка-
шель, похожий на глухие стоны.

Он замолчал и опустил голову. Когда он
поднял ее, выражение лица изменилось.

– Из лесу выйду, – заговорил он опять, гля-
дя куда-то в пространство тоскующим взгля-
дом, – люди этта в полях копошатся, чего-то
работают, стараются... А я гляжу на них, точ-
но волк из кустов... А что делают, для чего
стараются... не знаю!..

Гробовое молчание камеры, казалось, ста-
ло еще глубже. Освещенная сальным огар-
ком, она вся замерла, хотя не спал в ней ни-
кто, и отрывистые жалобы и проклятия бро-
дяги с какою-то тяжелою отчетливостью па-
дали в испуганную, взволнованную и сочув-

ственную толпу. Даже пьяная арестантка прекратила свои причитания и уставилась на Бесприютного мутным застывшим взглядом.

Вдруг среди тишины раздался дребезжащий голос старого Хомяка. Уже несколько минут назад старик, кряхтя и охая, медленно сполз с нары и направился к Федору. Теперь он остановился по другую сторону нар и произнес своим обычным тоном:

– Ничего не поделаешь, парень... Д-да!..

И затем прибавил с более определенным выражением:

– Терпи, Федор, терпи, паренек. Ничего не поделаешь.

Помутившийся от внутренней боли взгляд Федора повернулся к Хомяку.

– А ты, старый сыч! Молчи, поротая собака!.. Что? Думаешь, и я эдак же? И меня в девяносто лет... пороть... Н-нет же!.. – стукнул он кулаком по нарам так, что дерево затрещало, и в то же мгновение в камере началась невообразимая возня. Семенов видел только, как в руках Бесприютного сверкнуло что-то, как ближайšie арестанты кинулись на него. Завязалась борьба. Федор рвался и бился, как бе-

шениый зверь, но толпа, без вражды и гнева, но с молчаливым испугом настойчиво боролась с одним человеком. Более робкие повскакали на нарах, крестясь и вздыхая.

Наконец толпа осилила. Несколько тел грузно рухнулись на пол.

– Берегись, братцы, ножик!

Отнятый у Панова и кинутый чьей-то рукой из толпы ножик с лязгом упал на пустые нары. Из груди Бесприютного вырвался стон, и затем он только храпел и глухо рыдал. Его вязали.

– Господи, царица небесная, – пугливо причитал чахлый арестант, глядевший на всю эту сцену широко раскрытыми лихорадочными глазами.

Когда, привлеченные шумом, в открытые настежь двери камеры вошли конвойные солдаты, все было кончено. Панов, весь опутанный веревками, принесенными наскоро со двора, где висело белье, уже лежал на нарах. Он глухо рычал и безумно озирался, крепко стиснув губы, на которых виднелась красноватая пена. Лицо страшно побледнело, и на нем резко виднелись черные огромные

глаза, в которых теперь исчезло всякое выражение. С какой-то ужасающей размеренностью бродяга поворачивал голову, останавливая взгляд на ком-нибудь из арестантов. По всем вероятностям, он никого не видел; однако когда молодой человек почувствовал на себе этот упорный взгляд, ему сделалось жутко.

Понемногу разговоры стихли; усталые, измученные борьбой арестанты улеглись по нарам, оставив около связанного троих караульных. Хомяк подошел было к нему, но, увидев его, Федор заметался так враждебно, что старик отошел. Кряхтя и охая, он уселся в обычной позе невдалеке от Федора, но так, что тот не мог его видеть, и все стихло. В окна глядела ночь, свеча нагорела и вздрагивала, по временам стонал и ворочался связанный бродяга да храпел уже кое-кто из арестантов. Молодой человек тоже забылся, но его дремота странно сливалась с бодрствованием: он все время сознавал на себе тяжелый взгляд лежавшего насупротив бродяги.

Много ли времени прошло таким образом, сказать было бы трудно, но вдруг молодой человек встрепенулся, и его дремоты мгновенно

но как не бывало. Прямо против него на нарах сидел Федор, по-прежнему опутанный веревками, но теперь его глаза смотрели сознательно.

– Барин, а барин! – тихо звал Семенова бродяга, и этот тихий возглас разбудил молодого человека. По-видимому, его услышал также старый Хомяк. Он раскрыл глаза и, тяжело кряхтя, спустился с лавки. Остальные арестанты крепко спали; спали даже приставленные к Федору караульные, прислонившись спинами к колонке и низко свесив головы.

Хомяк подошел к Федору, вздохнул и сказал со старческим сожалением:

– Эх, паренек, паренек!..

Покачав головой и вздохнув, он прибавил обычную сентенцию:

– Что тут поделаешь, терпи! – и затем стал развязывать дрожащими руками веревки.

– Барин, помоги развязать, – сказал Федор Семенову.

Тот подошел и, вынув перочинный ножик, разрезал веревку в нескольких местах. Лицо бродяги было бледно; глаза глядели хотя и

угрюмо, но совершенно сознательно, так что молодой человек нисколько не колебался исполнить обращенную к нему просьбу Бесприютного. Последний встал на ноги, кивнул головой и, потупясь, быстро вышел из камеры. Протягивая перед собой руки, пошел за ним и Хомяк.

Молодой человек посмотрел им вслед и затем, улегшись на нары, выглянул в окно. На дворе было темно. Две фигуры медленно ходили взад и вперед, о чем-то разговаривая. Семенов не слышал слов, и только грудной голос Бесприютного долетал до его слуха. Казалось, бродяга жаловался на что-то, изливая перед стариком наболевшую душу. Временами среди этой речи дребезжали старческие ответы, в которых молодому человеку слышалась неизменная безнадежная формула смирения перед судьбой.

Наконец Федор подвел старика к стене, подстлал свой халат и уложил старого бродягу. А сам уселся на ступенях крыльца, так что молодому человеку была видна вся его фигура.

И долго сидел этот человек, опустив голову и не шевелясь, и молодой человек, крепко

прижавшись горячей головой к холодному железу решеток, смотрел на него и думал.

А ночь все лежала над двором, безмолвная и темная.

Х

Этапный двор казался угрюм и неприветлив. Ровная с прибитой пылью площадка замыкалась забором. Столбы частокола, поднявшись рядами, встали угрюмой тенью между взглядом и просторною далью. Зубчатый гребень как-то сурово рисовался на темной синеве ночного неба. Двор казался какой-то коробкой... в тени смутно виднелся ворот колодца и еще неясные очертания каких-то предметов. Глухое бормотание и дыхание спящих арестантов неслись из открытых окон...

Сверху темнота налегла на эту коробку плотной непроницаемой крышкой. Где-то далеко в вышине, взглядевшись, молодой человек различил неясные очертания белесоватого облака, тихо плывшего над этой коробкой. Но очертания были нежны, смутны; казалось, этот бесцветный призрак облака тонул и те-

рвался в густой темноте, наводя своим неопределенным движением грустные, тоскливые грезы...

И молодому человеку показалось в эту темную безлунную ночь, что весь мир замкнулся для него этой зубчатой стеной... Весь мир сомкнулся, затих и замер, оградившись частоколом и захлопнувшись синеватою тьмою неба. И никого больше не было в мире... Был только он да эта темная неподвижно сидевшая на ступеньках фигура... Молодой человек отрешился от всего, что его волновало гневом, надеждами, запросами среди шума и грохота жизни, которая где-то катилась там... далеко... за этими стенами...

Это было когда-то давно. Теперь ему ни до чего не было дела, кроме одной мрачной и неподвижной фигуры...

И по неясной для него самой аналогии в его воспоминании наряду с этой темной фигурой возникала другая, вставал в душе эпизод далекого детства.

Отца его все любили. Он был добр и великодушен – сердит, да отходчив. За обиду он вознаграждал всегда очень щедро, и многие

сами напрашивались на обиду, чтобы потом воспользоваться великодушием сожаления. Однажды отец нанял молодого лакея. Говорили, что это сирота, что ему выпало счастье в виде места у доброго барина. Это был странный человек, не похожий на остальную дворню, чуткий и гордый. Отец вспылил как-то, разгневался и при всех ударил молодого лакея. Потом оказалось, что отец был совершенно не прав. Семенов вспоминал болезненное, горькое, исполненное недоумения выражение на лице оскорбленного. На другой день молодой слуга ушел. Связал свои вещи в узелок, надел узелок на палку, вышел за ворота и тихо, не оглянувшись, ушел по дороге. Мальчик долго глядел, и на глазах его были слезы, потому что он не знал, откуда пришел этот Павел и куда он ушел, он знал только, что ему было плохо и будет еще хуже... Но он ушел, потому что над ним совершена несправедливость. Отец предлагал ему денег, извинялся перед ним, уговаривал его, но он, отвернув глаза в сторону, твердил одно: «Прощайте, пан, пойду». И пошел.

Но раньше чем уйти, всю ночь до утра он

просидел на крыльце, и мальчик долго смотрел на него из окна. Павел сидел точь-в-точь так, как теперь сидел бродяга: опустив голову, не двигаясь, точно будто он окаменел или спит непробудным тяжелым сном. Он не спал, а только тосковал о том, что добрый человек, которого все любили и которого он тоже начал любить, совершил над ним жестокую неизгладимую несправедливость... И мальчик никогда не мог забыть этого ночного часа, и этой фигуры, и совершенной над этим человеком несправедливости. Он не примирился с нею, и даже теперь, когда он вспоминал об отце, к его любви и к его грусти примешивалось воспоминание о тяжелой, неизгладимой и неизглаженной неправде.

И вот опять такая же ночь и такая же фигура. Но теперь не отец виноват в тяжелой неправде... Виноват кто-то другой, тоже любимый и тоже для многих других великодушный и щедрый... Жизнь над бродягой совершила эту страшную несправедливость...

И молодой человек с горечью отворачивался от того, что называют жизнью, яркой, веселой, сверкающей, гремящей, живой и

неудержимо катящей свои волны. Душа одного человека – это целый мир, и вот этот мир в душе бродяги отравлен тяжелой неправдой. За что?

Теперь эта душа открылась перед молодым человеком; он понял, чего искал бродяга своим темным умом; понял, что и перед человеком с грубыми чертами могут вставать проклятые вопросы. Жизнь оскорбила этого человека – вот он восстал, и он ставит эти вопросы, обращая их к жизни, требуя у нее ответа.

То, что другим дается как подарок, с рождения, что составляет как бы воздух, которым грудь дышит даже без сознания этого блага, то для бродяги – иллюзия. «У меня тоже сестра!» *То же*, как и у других, как у всех людей!.. Да, в устах бродяги это только иллюзия, это надежда, миф, идеал. *Как у всех!* Бродяга мечтал о том, чтобы быть, *как все*, мечтал наивно, и эта мечта разбивалась, как все недостижимые иллюзии.

Уйти? Но куда же? Павел – тот вскинул свою палку на плечи, шел, шел по прямой дороге, все уменьшаясь, мелькнул беленькой точкой у самого леса, который составлял для

мальчика грань видимого мира. Мелькнул еще раз и скрылся. Будет ли ему там хорошо или дурно, найдет ли он там забвение горькой обиды, спокойствие, счастье или тягчайшие, еще более жестокие обиды?..

Сегодня, после того как последние иллюзии жизни разбиты практическим полковником, бродяга тоже пытался *уйти*, совсем расчитаться с жизнью. Но куда бы он ушел? Что встретил бы там, за краем видимого мира?.. За что он должен ответить и кто перед ним ответит? Забвение ждет его или награда за страдания? Или в самом деле – ничего, этот мир – душа человека, мир, отравленный ядом незаслуженного страдания, – промелькнул и исчезнет, оставив в общем балансе природы одно ничем не вознагражденное, ничем не уравновешенное страдание?..

Вот как понимал молодой человек теперь все вопросы бродяги, его поиски в книгах, его иллюзии. Вот о чем он думал, глядя с переполненным сердцем на темную неподвижную фигуру.

О чем же в эту ночь думал сам бродяга? Быть может, он ни о чем теперь не думал, а

только ощущал в сердце тяжесть от обломков разбитых надежд и боялся пошевелиться, чтобы вместе с ним не зашевелилась глухая тоска. И потому он сидел, опустив голову и с закрытыми глазами.

А между тем ночь бежала и убегала своим обычным путем, и мир начинал пробуждаться. Жизнь тихо, неслышно, но неуклонно прокрадывалась на маленький дворик. Сначала темная крышка, плотно надвинувшаяся сверху, стала будто приподыматься. Дыхание утра легко развеяло сумрачную серую тьму ночи... Небо засинело, стало прозрачнее, взгляд молодого человека уходил все дальше и дальше ввысь. Мир сверху раздвигался, маня синим простором.

Потом розовые лучи разлились по небу с восточной стороны и, смешавшись с сумерками, заиграли на зубцах часокола. Это розовое сияние упало вниз на землю, где прежде лежала густая тень, мягко легло на дерево колодца, на прибитую росую пыль, заиграло в капельках на траве и разливалось все обильнее и дальше.

Затем белая тучка выглянула краем из-за

зубцов частокола. Она будто заглянула во двор и понеслась вверх, все выше и выше. За ней другая, третья. И чем быстрее неслись они, играя и переливая лучами, тем яснее было видно, как они высоко, как бесконечно велик свод...

Встрепенувшись от холода и росы, жаворонок, спавший за кочкой вне ограды, вдруг поднялся от земли и, кинувшись вверх, точно камень, брошенный сильной рукой, посыпал оттуда яркой, нежной, веселой трелью. И вслед за тем мысль молодого человека перешагнула за ограду, и опять сверкающий, манящий, живой мир развернулся перед его воображением. Он увидел, как тихо колышутся ветки елей под дуновеньем утреннего ветра. Там вьется меж деревьев еще спокойная и безмолвная дорога, там ручей журчит и бормочет под белой пеленой утреннего тумана. И речка, и луга, и горы – все встало в воображении молодого человека и потянулось вдоль необозримой, бесконечно разнообразной перспективой.

Свежее дуновение утра коснулось также и неподвижной фигуры сидевшего на крыль-

це человека. Бесприютный вздрогнул от холода, пробежавшего по спине, повел плечами и поднял голову. Затуманенным взглядом он посмотрел на небо.

Из «семейной» камеры вдруг послышался плач ребенка, и эти неудержимые всхлипывания резко пронеслись из окна по этапному дворику. Когда ребенок смолкал на время, тогда было слышно дыхание спящих, чье-то сонное бормотание и храп. Но вскоре детский плач раздавался опять, наполняя собой тишину свежего утра.

Бледная, изможденная, вышла на крыльцо мать ребенка. Месяца два назад она родила, и теперь в дороге, несмотря на все трудности, на собственные страдания, она с материнской неутомимостью и энергией отстаивала юную жизнь. И, по-видимому, старанья не оставались безуспешны: достаточно было прислушаться к звонкому, крепкому и настойчивому крику ребенка, чтобы получить представление о здоровой груди и хороших легких.

Нельзя было того же сказать о матери. Некрасивое, испитое и изможденное лицо но-

сило следы крайнего утомления; глаза были окружены синевою; она кормила и вместе с тем вынуждена была продаваться за деньги, чтобы покупать молоко и окружить ребенка возможными в этом положении удобствами. Теперь она стояла на крыльце, слегка покачиваясь на нетвердых ногах. Она, казалось, все еще спала, и если двигалась, то лишь под впечатлением детского крика, который управлял ею, помимо ее сознания.

Бесприютный поднялся.

– Матрена! – окликнул он женщину, – тебе молока, что ли?

Женщина протерла глаза, увидела Бесприютного, и довольное, доброе выражение появилось на ее сонном лице.

– А, ты здесь, Федор? Никак, уже встал? Да, Федорушко, молочка бы ему: слышь, как заливается.

Федор направился к небольшому домику, где помещались караулка и кухня. Каждый раз с вечера он заготавливал молоко для партионных ребят, и не было еще случая, чтобы он забыл об этом. Не желая будить кашеваров, так как было еще рано, Бесприютный вышел

из кухни во двор с охапкой щепок и кастрюлькой. Через минуту синий дымок взвился кверху, и огонь весело потрескивал и разгорался. Бесприютный держал над пламенем кастрюльку, арестантка, все еще сонная, с выбившейся из-под платка косой, стояла тут же.

– Ишь, заливаается, орет, – произнес Бесприютный, – ты бы хоть грудь дала.

– Чего давать, молока ни капли нету; всю он меня высосал...

– Ишь, бутуз. В кого он такой уродился? Ась?

Арестантка слегка потупилась.

– Да, чать, в Микиту Тобольского, с ним я в ту пору жила, – ответила она грустно. – А ты, Федор, вечор пошумел маленько.

– Пошумел, – ответил Бесприютный, – на вот, тащи. Покорми дитё скорей.

Арестантка ушла. Бесприютный поднялся и прислушался, как мальчишка тянул теплое молоко, жадно ворча и чмокая. Лицо бродяги стало спокойнее.

А между тем день совсем разгорелся. Выкапилось на небо сияющее солнце, лес вздыхал

и шумел, шуршали за оградой телеги, слышно было, как весело бежали к водопою лошади, скрипел очеп колодца.

Жизнь закипала кругом и вливалась также в сердце бродяги. Его лицо было спокойно, как будто вчерашнего не бывало, как будто ожили надежды и образ мифической сестры загорелся всеми живыми красками, как те облака, что бежали в синеве небес...

Бродяга глядел своим обычным взглядом. Выражение горечи опять спряталось куда-то в глубь его спокойных, задумчивых глаз, и в движениях явилась привычная уверенность авторитетного старосты.

Он разбудил кашеваров, потом вошел в общую камеру.

– Ну, вставай, ребята, вставай. Переход ноньче дальний.

– А много ли?

– Тридцать верст до лукояновского этапа. Тише, ребята, не возись, – добавил он, взглянув в сторону, где было место молодого человека. – Барин вон заснул... Чай, всю ночь не спал – не буди! Уходить станем, тогда побудим.

Действительно, молодой человек спал. Он вздыхал полной грудью; чистое бледное лицо было спокойно, и ветер, врываясь в окно, слегка шевелил его белокурые волнистые волосы...

1886

Река играет Эскизы из дорожного альбома

I

Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я.

Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. Закинув несколько голову, я мог видеть в вышине темную деревянную церковку, наивно глядевшую на меня из-за зеленых деревьев, с высокой кручи. Вправо, в нескольких саженях от меня, стоял какой-то незнакомый шалаш, влево – серый неуклюжий столб с широкою дощатою крышей, с кружкой и с доской, на которой было написано:

Пожертвуйте проходящий на колоколо господне.

А у самых моих ног плескалась река.

Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Давно уже он прорывался к моему созна-

нию беспокоящим шепотом, точно ласкающий, но вместе беспощадный голос, который подымает на заре для неизбежного трудового дня. А вставать так не хочется...

Я опять закрыл глаза, чтоб отдать себе, не двигаясь, отчет в том, как это я очутился здесь, под открытым небом на берегу плещущей речки, в соседстве этого шалаша и этого столба с простодушным обращением к проходящим.

Понемногу в уме моем восстановились предшествующие обстоятельства. Предыдущие сутки я провел на Святом озере, у невидимого града Китежа, толкаясь между народом, слушая гнусавое пение нищих слепцов, останавливаясь у импровизованных алтарей под развесистыми деревьями, где беспоповцы, скитники и скитницы разных толков пели свои службы, между тем как в других местах, в густых кучках народа, кипели страстные религиозные споры. Ночь я простоял всю на ногах, сжатый в густой толпе у старой часовни. Мне вспомнились утомленные лица миссионера и двух священников, кучи книг на аналое, огни восковых свечей, при помо-

щи которых спорившие разыскивали нужные тексты в толстых фолиантах, возбужденные лица «раскольников» и «церковных», встречавших многоголосым говором каждое удачное возражение. Вспомнилась старая часовня с раскрытыми дверями, в которые виднелись желтые огоньки у икон, между тем как по синему небу ясная луна тихо плыла и над часовней, и над темными, спокойно шептавшимися деревьями. На заре я с трудом протолкался из толпы на простор и, усталый, с головой, отяжелевшей от бесплодной схоластики этих споров, с сердцем, сжимавшимся от безотчетной тоски и разочарования, – поплелся полевыми дорогами по направлению к синей полосе приветлужских лесов, вслед за вереницами расходившихся богомольцев. Тяжелые, нерадостные впечатления уносил я от берегов Святого озера, от невидимого, но страстно взыскуемого народом града... Точно в душном склепе, при тусклом свете угасающей лампадки, провел я всю эту бессонную ночь, прислушиваясь, как где-то за стеной кто-то читает мерным голосом заупокойные молитвы над заснувшей навеки народною

МЫСЛЬЮ.

Солнце встало уже над лесами и водами Ветлуги, когда я, пройдя около пятнадцати верст лесными тропами, вышел к реке и тотчас же свалился на песок, точно мертвый, от усталости и вынесенных с озера суровых впечатлений.

Вспомнив, что я уже далеко от них, я бодро отряхнулся от остатков дремоты и привстал на своем песчаном ложе.

II

Дружеский шепот реки оказал мне настоящую услугу. Когда, часа три назад, я укладывался на берегу, в ожидании ветлужского парохода, вода была далеко, за старую лодкой, которая лежала на берегу кверху днищем; теперь ее уже взмывало и покачивало приливом. Вся река торопилась куда-то, пенилась по всей своей ширине и приплескивала почти к самым моим ногам. Еще полчаса, – будь мой сон еще несколько крепче, – и я очутился бы в воде, как и эта опрокинутая лодка.

Ветлуга, очевидно, разыграла. Несколько дней назад шли сильные дожди: теперь из

лесных дебрей выкатился паводок, и вот река вздулась, заливая свои веселые зеленые берега. Резвые струи бежали, толкались, кружились, свертывались воронками, развивались опять и опять бежали дальше, отчего по всей реке вперегонку неслись клочья желтовато-белой пены. По берегам зеленый лопух, схваченный водою, тянулся из нее, тревожно размахивая не потонувшими еще верхушками, между тем как в нескольких шагах, на большой глубине, и лопух, и мать-мачеха, и вся зеленая братия стояли уже безропотно и тихо... Молодой ивняк, с зелеными нависшими ветвями, вздрагивал от ударов зыби.

На том берегу весело кудрявились ракиты, молодой дубнячок и ветлы. За ними темные ели рисовались зубчатою чертой: далее высились красивые осокори и величавые сосны. В одном месте, на вырубке, белели кладки досок, свежие бревна и срубы, а в нескольких саженьях от них торчала из воды верхушка затонувших перевозных мостков... И весь этот мирный пейзаж на моих глазах как будто оживал, переполняясь шорохом, плеском и звоном буйной реки. Плескались шаловли-

вые струи на стрежне, звенела зыбь, ударяя в борта старой лодки, а шорох стоял по всей реке от лопавшихся то и дело пушистых ключев пены, или, как ее называют на Ветлуге, речного «цвету».

И казалось мне, что все это когда-то я уже видел, что все это такое родное, близкое, знакомое: река с кудрявыми берегами и простая сельская церковка над кручей, и шалаш, даже приглашение к пожертвованию на «колоколо господне», такими наивными каракулями глядевшее со столба...

*Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда... —*

невольню вспомнились мне слова поэта.

— Гляжу я, братец, вовсе тебя заплескивает река-те. Это домой ходил. Иду назад, а сам думаю: чай, проходящего-те у меня поняла уж Ветлуга. Крепко же спал ты, добрый человек!

Говорит сидящий у шалаша на скамеечке мужик средних лет, и звуки его голоса тоже мне как-то приятно знакомы. Голос басистый, грудной, немного осипший, будто с сильного похмелья, но в нем слышатся ноты такие же непосредственные и наивные, как и эта церковь, и этот столб, и на столбе надпись.

— И чего только делает, гляди-кося, чего только делает Ветлуга-то наша... Ах ты! Беды ведь это, право беды...

Это перевозчик Тюлин. Он сидит у своего шалаша, понунив голову и как-то весь опустившись. Одет он в ситцевой грязной рубаше и синих пестрядинных портах. На босу ногу надеты старые отопки. Лицо моложавое, почти без бороды и усов, с выразительными чертами, на которых очень ясно выделяется особая ветлужская складка, а теперь, кроме

того, видна сосредоточенная угрюмость добродушного, но душевно угнетенного человека...

– Унесет у меня лодку-те... – говорит он, не двигаясь и взглядом знатока изучая положение дела. – Беспременно утащит.

– А тебе бы, – говорю я, разминаясь, – вытащить надо.

– Коли не надо. Не миновать, что не вытащить. Вишь, чего делает, вишь, вишь... Н-ну!

Лодка вздрагивает, приподнимается, делает какое-то судорожное движение и опять беспомощно ложится по-прежнему.

– Тю-ю-ю-ли-ин! – доносится с другого берега призывной клич какого-то путника. На вырубке, у съезда к реке, виднеется маленькая-маленькая лошаденка, и маленький мужик, спустившись к самой воде, отчаянно машет руками и вопит тончайшею фистулой: – Тю-ю-ю-ли-ин!..

Тюлин все с тем же мрачным видом смотрит на вздрагивающую лодку и качает головой.

– Вишь, вишь ты – опять!.. А вечер еще, гли-кося, дальше мостков была вода-те... По-

гляди, за ночь чего еще наделат. Беды́, озор-
ная речушка! Это учнет играть и учнет иг-
рать, братец ты мой...

– Тю-ю-ю-ли-ин, леш-ша-ай! – звенит и об-
рывается на том берегу голос путника, но на
Тюлина этот призыв не производит ни ма-
лейшего впечатления. Точно этот отчаянный
воплъ – такая же обычная принадлежность
реки, как игривые всплески зыби, шелест де-
ревьев и шорох речного «цвету».

– Тебя ведь это зовут! – говорю я Тюлину.

– Зовут, – отвечает он невозмутимо, тем же
философски-объективным тоном, каким го-
ворил о лодке и проказах реки. – Иванко, а
Иванко! Иванко-о-о́!

Иванко, светловолосый парнишка лет де-
сяти, копает червей под крутояром и так же
мало обращает внимания на зов отца, как
тот – на вопли мужика с того берега.

В это время по крутой тропинке от церкви
спускается баба с ребенком на руках. Ребенок
кричит, завернутый с головой в тряпки. Дру-
гой – девочка лет пяти – бежит рядом, хвата-
ясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сер-
дитое. Тюлин становится сразу как-то еще

угрюмее и серьезнее.

– Баба идет, – говорит он мне, глядя в другую сторону.

– Ну? – говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительным и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно: для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная, усталая баба с двумя детьми – две воюющие стороны.

– Чё еще нукаешь? Что тебе, бабе, нужно? – спрашивает Тюлин.

– Чё-инó, спрашивает еще... Лодку давай! Чай, через реку ходу-то нету мне, а то бы не стала с тобой, с путаником, и баить...

– Ну-ну! – с негодованием возражает перевозчик. – Что ты какá сильна пришла. Разговаривашь...

– А что мне не разговаривать! Залил шары-те... Чего только мир смотрит, пьяницы-те наши, давно бы тебя, негодя пьяного, с перевозу шутнуть надо. Давай, слышь, лодку-те!

– Лодку? Эвон парень тебя перемахнет... Иванко, а Иванко, слышь? Иванко-о!.. А вот я сейчас вицей его, подлеца, вытяну. Слышь,

проходящий!..

Тюлин поворачивается ко мне.

– Ну-ко ты мне, проходящий, вицю дай, хар-ро-шую!

И он, с тяжелым усилием, делает вид, что хочет приподняться. Иванко мгновенно кидается в лодку и хватает весла.

– Две копейки с нее. Девку так! – командует Тюлин лениво и опять обращается ко мне: – Беда моя: голову всеё разломило.

– Тю-ю-ли-ин! – стонет опять противоположный берег. – Перево-о-о́з!..

– Тятька, а тятка! Паром кричат вить, – говорит Иванко, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности везти бабу.

– Слышу. Давно уж зеват, – спокойно подтверждает Тюлин. – Сговорись там. Может, еще и не надо ему... Может, еще и не поедет... Отчего бы такое голову ломит? – обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия.

Угадать причину нетрудно: от бедняги Тюлина водкой несет, точно из полуштофа, и даже до меня, на расстоянии двух сажень, то и

дело доносятся острые струйки перегару, смешиваясь с запахом реки и береговой зелени.

– Кабы выпил я, – говорит Тюлин в раздумье, – а то не пил.

Голова его опускается еще ниже.

– Давно не пью я... Положим, вчера выпил...

И опять Тюлин погружается в глубокое раздумье.

– Кабы много... Положим, довольно я выпил вчера... Так ведь сегодня не пил!

– Так это у тебя, видно, с похмелья, – пробую я вывести его на настоящую дорогу.

Тюлин смотрит на меня долго, серьезно и чрезвычайно вдумчиво. Догадка, очевидно, показалась ему не лишеною основания.

– Разве-либо от этого. Нонче немного же выпил я.

Пока таким образом Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путем подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса.

– Тю-ю-ю... – чуть слышно летело оттуда, из-за шороха речных струек.

– Разве-либо от этого. Это ты, братец, должно быть, верно сказал. Пью я винище это, лакаю, братец, лакаю.

IV

Между тем тщетно вопивший мужик смолкает и, оставив лошадь с телегой на том берегу, переправляется к нам вместе с Иванком, для личных переговоров. К удивлению моему, он самым благодушным образом здоровается с Тюлиным и садится рядом на скамейку. Он значительно старше Тюлина, у него седая борода, голубые, выцветшие, как и у Тюлина, глаза, на голове грешневик, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка.

– Страдаешь? – спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирической.

– Голову, братец, всё разломило. И от чего бы?

– Винища поменьше пей.

– Разве-либо от этого. Вот и проходящий тоже баит.

– А лодку у тебя, гляди, унесет.

– Как не унести. Просто-таки и унесет.

Оба смотрят несколько времени, как вздрагивает, точно в агонии, опрокинутая лодка.

– Давай паром, што ли, – ехать надо.

– Да тебе надо ли еще ехать-то? Чай, в Красиху пьянствовать?..

– А ты уж накрутился...

– Выпито. Голову всеё разломило, беды! А ты, может, лучше не езди.

– Чудак! Чай, у меня дочка там выдана. Звали к празднику. И баба со мной.

– Ну, баба, так, стало быть, не миновать ехать, видно. Э-эх, шестов нет.

– Как нет? Чё хлопаешь зря? Эвона шесты-те!

– Коротки. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь: приплескиват Ветлуга-те.

– А ты что же, чудак, шестов не запас, коли видишь, что приплескиват?.. Иванко, сгоняй за шестами-те, парень!

– Сходил бы сам, – говорит Тюлин, – тяжёлы вить.

– Ты сходи, – твое дело!

– Не мне ехать, – тебе!

И оба мужика, да и Иванко третий, спокой-

но остаются на местах.

– Ну-ко я его, подлеца, вицей вытяну... – опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставанья. – Проходящий! да-ко ты мне вицю...

Иванко с громким гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору, к селу.

– Не донесет, – говорит мужик.

– Тяжелы вить! – подтверждает Тюлин.

– А ты бы добежал хоть встречу-те, – советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося на верху угора с длинными шестью.

– И то хотел сказать тебе: добеги-кось.

Оба сидят и глядят.

– Евстигне-е-й! Лешай!.. – слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос.

– Баба кричит, – говорит мужик с некоторым беспокойством.

Тюлин сохраняет равнодушие: баба далеко.

– А как у меня мерин сорвется да мальчонку с бабой ушибет... – говорит Евстигней.

– А резва лошадь-то?

– Беды́.

– Ну, так очень просто может ушибить. Да ты бы, послушай, тово... назад бы. Что тебе ехать-то, какá надобность?

– Ах, чудак! Да нешто не видишь: с бабой собрался. Как можно, что не ехать!

Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает наконец шесты и с ревом кидает их на берег. Все готово, Тюлину приходится приниматься за работу.

– Эй, проходящий! – обращается он ко мне как-то одобрительно. – Ну-ко, послушай, и ты с нами на паром! А то, видишь вот, больно уж река-те наша резва.

Мы все взошли на скрипучий дощатый паром; Тюлин – последний. По-видимому, он размышлял несколько секунд, поддаваясь соблазну: уж не достаточно ли народу и без него. Однако все-таки взошел, шлепая по воде, потом с глубокою грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенной ко всем вообще:

– Э-эх! Чалки-те, чалки никто и не отвязал. Н-ну!

– Да ведь ты, Тюлин, последний взошел на паром. Тебе бы и надо отвязать, – протестую я.

Он не отвечает, косвенно признавая, быть может, всю справедливость этого замечания, и так же лениво, с тою же беспросветною скорбью спускается в воду, чтоб отвязать чалки.

Паром заскрипел, закачался и поплыл от берега. Перевозный шалаш, опрокинутая лодка, холмик с церковью мгновенно, будто подхваченные неведомою силой, уносятся от нас, а мысок с зеленою подмытою ивой летит нам навстречу. Тюлин поглядел на мелькающий берег, почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом.

– Несет вить.

– Несет, – ответил мужик, с натугой налегая на чегень правым плечом.

– Пылко несет.

– Да ты что стал? Что не пхаешься?

– Поди пхнись. С левого-те борту не маячит.

– Ну?

– То-то и ну!

Мужик ожесточенно сунул свой шест и

чуть не бултыхнулся в воду, – его чегень тоже не достал до дна, Евстигней остановился и сказал выразительно:

– Подлец ты, Тюлин!

– Сам такой! Пошто лаешься?

– За што тебе деньги плочены, подлая фигура?

– Поговори!

– Пошто длинных шестов не завел?

– Заведёны.

– Да што нету их?

– Дома. Нешто мальчонка приволокет... двадцати-то четвертей?

– Говорю: подлой ты человек.

– Ну-ну! Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!

Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея. Он снимает грешневик и скребет голову.

– Куда ж мы теперича? К Козьме Демьяну (в Козьмо-Демьянск) сплывем аль уж как?..

Действительно, резвое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше. Кругом, обгоняя нас, бегут, лопаются и пузырятся хлопья «цвету». Перед глазами мелькает мысок с подмытою ивой и остается позади. Назади, далеко, осталась вырубка с новенькою избушкой из свежего лесу, с маленькою телегой, которая теперь стала еще меньше, и с бабой, которая стоит на самом берегу, кричит что-то и машет руками.

– Куда ж мы теперича? Эх беды́, право, беды́, – безнадежно, глядя на бабу, говорит Евстигней.

Положение действительно довольно критическое. Шест уходит вглубь, не маяча, то есть не доставая дна.

Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигнея, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно подымать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее, тверже.

– Иванко, держи по плёсу! – командует он сыну. Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ.

– Садись в грёби, Евстигней.

– Да у тебя еще есть ли грёби-то? – сомневается тот.

– Поговори со мной!

На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне.

– Проходящий, лезь и ты... в тую ж фигуру.

Я сажусь «в тую ж фигуру», то есть прилаживаюсь к правому веслу так же, как Евстигней у левого. Команда нашего судна, таким образом, готова. Иванко, на лице которого совершенно исчезло выражение несколько гнусавой беспечности, смотрит на отца заискрившимися, внимательными глазами. Тюлин сует шест в воду и ободряет сына: «Держи, Иванко, не зевай, мотри». На мое предложение – заменить мальчика у руля – он совершенно не обращает внимания. Очевидно, они полагаются друг на друга.

Паром начинает как-то вздрагивать...

Вдруг шест Тюлина касается дна. Небольшой «огрудок» дает возможность «пихаться» на расстоянии десятка сажен.

– Вались на перевал, Иванко, вали-ись на перевал! – быстро, сдавленным голосом командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста.

Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. Судно «рыскнуло», но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте.

– Крепí! – командует Тюлин.

Иванко завязывает руль бечевкой, паром окончательно «ложится на перевал», мы налегаем на весла. Тюлин могучим толчком подает паром наперерез течению, и через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром «ходом» подается кверху.

Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением.

– Эх, парень, – говорит он, мотая головой, –

кабы на тебя да не винище, – цены бы не было. Винище тебя обманывают...

Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк.

– Гребь, гребь... Загребывай, проходящий, поглубже, не спи! – говорит он лениво, а сам вяло тычет шестом с расстановкой и с прежним уныло-апатичным видом. По ходу парама мы чувствуем, что теперь его шест мало помогает нашим веслам. Критическая минута, когда Тюлин был на высоте своего признанного перевознического таланта, миновала, и искра в глазах Тюлина угасла вместе с опасностью.

Около двух часов поднимались мы все-таки кверху, а если бы Тюлин не воспользовался последним «огрудком», паром унесло бы на узкий прямой плёс, и его не достать бы оттуда в двое суток. Так как пристать в обычном месте было невозможно, – мостки давно затопило, – то Тюлин пристаёт к глинистому крутояру, зачаливая за ветлы. Начинается спуск телеги. Мы с Евстигнеем хлопочем около этого дела. Тюлин равнодушно смотрит на наши хлопоты, а баба, давно истратившая на ветер

все негодующие слова, сидит, не двигаясь, на возу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостытели ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к «негодям-мужикам» и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги.

Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.

– Ну-ко, ну-ко, хлесни ее, резвую, по заду, – советует Тюлин, несколько оживляясь.

Горячая лошадь подбирает зад и прыгает с берега. Минута треска, стукотни и грохота, как будто все проваливается сквозь землю. Что-то стукнуло, что-то застонало, что-то треснуло, лошадь чуть не сорвалась в реку, изломав тонкую загородку, но наконец воз установлен на качающемся и дрожащем пароме.

– Что, цела? – спрашивает Тюлин у Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу.

– Цела! – с радостным изумлением отвечает тот.

Баба сидит, как изваяние.

– Ну? – недоумевают и Тюлин. – А думал я:

беспременно бы ей надо сломаться.

– И то... вишь, какá крутоярина.

– Чё-ино! Самая такá круча, что ей бы сломаться надо... Э-эх, а чалки-те опять никто не отвязал! – кончает Тюлин с тою же унылой укоризной и лениво ступает на берег, чтоб отвязать чалки. – Ну, загребывай, проходящий, загребывай, не спи!

Через полчаса тяжелой работы веслами, криков: «навались», «ложись в перевал» и «крепи», – мы наконец подходим к шалашу. С меня пот льет, от непривычки, градом...

– Проси с Тюлина косушку, – говорит полусутя Евстигней.

Но Тюлин, видимо, не расположен к шуткам. Долговременное пребывание на берегу безлюдной реки, продолжительные унылые размышления о причинах никогда не прекращающейся тяжелой похмельной хворости – все это, очевидно, располагает к серьезному взгляду на вещи. Поэтому он уставился в меня своими тусклыми глазами, в которых начинает медленно проблескивать что-то вроде глубокого размышления, и сказал радушно:

– Причалим – поднесу... И не одну, слышь,

поднесу, – добавляет он конфиденциально, понижая голос, причем в лице его явственно проступает если не удовольствие, то, во всяком случае, мгновенное забвение тяжелых похмельных страданий.

А с горы, по неудобной дороге, уже сползают два воза.

– Едут... – скорбно говорит перевозчик.

– Да еще, может быть, не поедут, – утешаю я, – может быть, у них не важное дело.

Я иронизирую, но Тюлин не понимает иронии, быть может, потому, что сам он весь проникнут каким-то особенным бессознательным юмором. Он как будто разделяет его с этими простодушными кудрявыми березами, с этими корявыми ветлами, со взывавшей рекой, с деревянной церковкой на пригорке, с надписью на столбе, со всею этой наивно ветлужской природой, которая все улыбается мне своею милою, простодушною и как будто давно знакомою улыбкой...

Как бы то ни было, но на мое насмешливое замечание Тюлин отвечает совершенно серьезно:

– Ежели без товару, само собой, обождут.

Неужто повезу? Голову всеё разломило...

VI

Парохода все нет. Говорят, за час до прихода он будет еще «кричать» где-то, на одной из вышележащих пристаней, но когда часа через три, пошатавшись по селу и напившись чаю, я подхожу опять к берегу, о пароходе ничего не известно. Река продолжает играть и даже разыгралась совсем не на шутку. Тюлин тащится к своему шалашу по колени в воде, лениво шлепая босыми ногами по зеленой потопшей траве; он весь мокрый, широкие штаны липнут к его ногам, мешая идти; сзади, на чалке, тащится за Тюлиным давешняя старая лодка, которую, согласно предсказанию знатока-перевозчика, унесло-таки течением.

– Что, Тюлин, здоров ли?

– Слава богу. Не крепко чтой-то. Давай на ту сторону поедем.

– Зачем?

– Вишь, склёка вышла. Плоты Ивахински река разметывать хочет.

– Тебе-то что же?.. Разве забота?

– А гляди-ко, Ивахин четвертуху волокет. Да что четвертуха! Тут, брат, и полуведром поступишься...

К берегу торопливою походкой приближался со стороны села мужчина лет сорока пяти, в костюме деревенского торговца, с острыми, беспокойными глазами. Ветер развевал полу его чуйки, в руке сверкала посуда с водкой. Подойдя к нам, он прямо обратился к Тюлину:

– Что, приплескиват?

– Беды! – ответил Тюлин. – Чай, сам видишь.

– А плотишки у меня поняла уж?

– Подхватыват, да еще не под силу. А гляди, подымет. Лодку у меня даве слизнула, – в силу, в силу бегом догнал за перелеском...

– Ну?

– То-то. Вишь, вымок весь до нитки.

– Ах ты! – отчаянно сказал купец, ударив себя по бедру свободною рукой. – Не оглянись, – плоты у меня размечет. Что убытку-то, что убытку! Ну и подлец народ у нас живет! – обратился он ко мне.

– Чего бы я напрасно лаял православных, –

заступился за своих Тюлин. – Чай, у вас ряда была...

– Была.

– На песок возить?

– То-то на песок.

– Ну-к на песке и есть, не в другом месте.

– Да ведь, подлецы вы этакие, река песок-то уж покрывает!

– Как не покрыть, – покроет. К утру, что есть, следу не оставит.

– Вот видишь! А им бы, подлецам, только песни горланить. Ишь орут! Им горюшка мало, что хозяину убыток...

Оба смолкли. С того берега, с вырубки, от нового домика неслись нестройные песни. Это артель васюхинцев куражилась над мелким лесоторговцем-хозяином. Вчера у них был расчет, причем Ивахин обсчитал их рублей на двадцать. Сегодня Ветлуга заступилась за своих деток и выиграла на руку артели. Теперь хозяин униженно кланялся, а артель не ломила шапок и куражилась.

– Ни за сто рублей! Узнаешь, как жить с артелью! Мы тя научим...

Река прибывала. Ивахин струсил. Кинув-

шись в село, он наскоро добыл четверть и поклонился артели. Он не ставил при этом никаких условий, не упоминал о плотах, а только кланялся и умолял, чтобы артель не попомнила на нем своей обиды и согласилась испить «даровую».

– Да ты, такой-сякой, не финти, – говорили артельщики. – Не заманишь!

– Ни за сто рублей не полезем в реку.

– Пуцай она, матушка, порезвится да поиграет на своей волюшке.

– Пуцай покидат бревнушки, пуцай поразмечет. Поди собирай!

Но четверть все-таки выпили и завели песни. Голоса неслись из-за реки нестройные, дикие, разудалые, и к ним примешивался плеск и говор буйной реки.

– Важно поют! – сказал Тюлин с восторгом и завистью.

Ивахину, кажется, песня нравилась меньше. Он слушал беспокойно, и глаза его смотрели растерянно и тоскливо. Песня шумела бурей и, казалось, не обещала ничего хорошего.

– Много ли недодал вчера? – спросил

Тюлин просто.

Ивахин почесался и, не отрывая беспокойного взгляда с того места, откуда неслись нестройные звуки, ответил так же просто:

– Об двух красных спорились.

– Много же, мотри! Как бы, слушай, бока не намяли.

По лицу Ивахина было видно, что предположение не кажется ему невероятным.

– Хоть бы плоты-те повыволокли, – сказал он с глубокою тоской.

– Чать, выволокут, – успокоил Тюлин.

– Поговори им, – заискивающе сказал торговец. – Мол, боле не приплескиват, назад, мол, к ночи пойдет.

Тюлин ответил не сразу; взгляд его приковался к посудине, и, помолчав, он сказал сластолюбиво:

– Другую четверть волокешь?

– Другую.

– Споишь и третью. Перевезти, что ль?

– Вези!

Лодка была на середине, когда ее заметили с того берега. Песня сразу грянула еще сильнее, еще нестройнее, отражаясь от зеленой

стены крупного леса, к которому вплоть подошла вырубка. Через несколько минут, однако, песня прекратилась, и с вырубки слышался только громкий и такой же нестройный говор. Вскоре Ивахин опять стрелой летел к нашему берегу и опять устремился с новою посудиною на ту сторону. Лицо у него было злое, но все-таки в глазах проглядывала радость.

К закату солнца вся артель «убилась» за ивахинскими плотами. Под звуки унылой «Дубинушки» бревна выкатывали на берег и руками втаскивали на подъемы. Скоро весь ивахинский лес высился в клады на крутояре, недоступный для шаловливой реки.

Потом опять загремела песня. Мокрые, усталые, артельщики допивали последнюю четверть. Ивахин, потный, злой, но все-таки еще более довольный, переправился в последний раз на нашу сторону и умчался к селу; ветер размахивал полами его сибирки, а в обеих руках были посудины, на этот раз пустые.

Тюлин, еще более унылый, провожал его долгим взглядом.

– Ну что, побили? – спросил я у него.

Он перевел взгляд на меня и спросил:

– Кого?

– Да Ивахина.

– Не, что его бить...

Я с удивлением посмотрел на Тюлина, и в моем уме блеснула внезапная и неожиданная догадка: физиономия Тюлина припухла, а под глазом стоял фонарь, очевидно новейшего происхождения.

– Тюлин, голубчик!

– Ну, что?

– Отчего у тебя синяк?

– Синяк... Да отчего ему быть, синяку?

– Да ведь тебя, Тюлин, должно быть, били.

– Кто меня бил?

– Артельщики.

Тюлин задумчиво посмотрел мне прямо в глаза и сказал:

– Разве-либо от этого... Да, слышь, и били-то не очень шибко.

Пауза, взгляд на меня, и во взгляде мелькающая догадка:

– Разве-либо не Парфен ли это меня саданул?..

– Пожалуй, что и Парфен, – опять помогаю я медленному процессу нового приближения

к истине.

– Беспременно Парфен. Такой, скажу тебе, вредный мужичишко, – завсегда норовит как бы нибудь человека испортить...

Вопрос оказался достаточно разъясненным. Мне, правда, очень хотелось еще разузнать, каким образом гнев артели так неожиданно изменил свое направление и артельная гроза, вместо Ивахина, обрушилась на совершенно нейтральную тюлинскую физиономию, но в это время с другого берега опять слышался призыв:

– Тю-ю-юли-ин!..

Тюлин не повернул даже головы и лениво направился к шалашу, сказав мне на ходу:

– Кличут. Смахать бы тебе, а? Живым бы духом.

Но вдруг он насторожился, повернулся и ожил. На берегу, несмотря на сумерки, можно было разглядеть красные рубахи. Это артельщики звали Тюлина и, кажется, самым заманчивым образом махали руками.

– Зовут ведь? – радостно сказал он, вопрошительно глядя на меня.

– Разумеется, зовут. Опять побьют, пожа-

луй...

– Не, што ты, бог с тобой. Не может быть! Угостить меня артели желательно, вот што! На мировую, значит...

И Тюлин с удивительною живостью кинулся к берегу.

Связав зачем-то две лодки – нос к корме, – он сел в переднюю и быстро отпихнулся от берега, не оставив на этой стороне ни одной.

VII

Я понял эту невинную хитрость, когда услышал в сумерках скрип воза, съезжавшего с горы. Воз неторопливо подъехал к реке. Лошадь фыркнула несколько раз и, откинув уши, уставилась с удивленным видом на изменившуюся до неузнаваемости смиренницу Ветлугу.

От воза отделился мужик, подошел к самой воде, посмотрел, почесался и обратился ко мне:

– Перевозчик где?

– Вон... – указал я на светлую полосу, взрвавшую темную поверхность реки уже на середине.

Он взгляделся туда, опять помотал головой, прислушался к песням васюхинцев и стал поворачивать воз.

– И подлый же мужичок здешний перевозчик живет, – сказал он, впрочем, довольно спокойно. – Гляди, ведь и лодки все уволок... Всю ночь его теперь отсюда не достанешь.

Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился:

– Проходящие будете?

– Проходящий.

– Не с озера ли?

– С озера.

– Так. Много теперича народу идет. Завтра, что есть, и то еще пойдут... Эх, как река-то пылит, беды! Ежели теперь нам с вами на паром... Да нет, не управиться... Ночевать, видно. А вы не к пароходу ли?

– К пароходу.

– Ну, на заре, раньше не будет. Ночевать, видно, и вам.

Он поставил за шалашом телегу и пустил на береговой откос стреноженную лошадь. Через несколько минут за шалашом закурился дым.

Тюлин, очевидно, приучил свою публику к терпению.

Солнце давно спряталось за горами и лесами, над Ветлугой опустились сумерки, синие, теплые, тихие. Наш огонек разгорался, дым подымался прямо кверху. Было как-то даже странно это спокойствие воздуха наряду с торпливым и буйным движением на реке, которая все продолжала приплескивать. С того берега все неслись песни, и мне казалось, что я различаю фистулу Тюлина в общей разногласице. На одном из недалних холмов один за другим вспыхивали огни соседней деревеньки. Днем я не замечал ее, – так ее серые избы и темные крыши сливались с общими тонами пейзажа... Теперь она выступила красивой стайкой огоньков на темной верхушке холма, а кое-где четырехугольники крыш вырезывались в синеве неба.

Это – деревня Соловьиха. Мой новый знакомый от нечего делать рассказал мне некоторые небезынтересные черты из жизни ее обитателей. Народ в Соловьихе живет предприимчивый и гордый; в окрестностях соловьихинцы слынут «воришканами». Случи-

лось моему новому знакомому остановиться в селе Благовещении, у дьячка. Дело было зимой, к вечеру. Сидят за столом. Вдруг кто-то стук-стук в оконце. Выглянул дьячок: стоит за окном Иван Семенов, сосед-старичок, и на ночлег просится. «Да что ты, чай, тебе до дому всего с версту?» – «С версту, мол, с версту, да мимо Соловьихи идти. Как бы опять к пролубли не свели».

Оказалось, что между этим старичком и соловьихинцами установились совершенно своеобразные отношения. Как только старик разживется деньгами, так непременно напьется на селе, а как напьется, так и начнет хвастать: имею у себя «катеньку» в кармане. Пойдет после этого домой, его соловьихинцы и переймут на реке, да прямо к проруби.

– Хошь в пролубь?

Ну, разумеется, не хочет. Они и не неволят, – отдай только им «катеньку». Он отдает, делать нечего. Они опять:

– Хошь в пролубь?

– Не желаю, братцы.

– Так никому, гляди, не бай. Не скажешь, что ли?

– Не скажу!

– Заклянись!

– Чтоб мне, – говорит, – на сим месте провалиться, коли скажу единой душе.

И не говорит. Сколько раз этак его ловили, – надоело ему, перестал вечером мимо Соловьи ходить, особенно когда выпивши, а не сказал никому. «Водили, говорит, к пролуби соловьихинцы», а кто именно – ни за что не скажет.

После этого рассказа я с особым любопытством взглянул на деревеньку «воришканов». Ну, где, думалось мне, кроме Ветлуги, встретите вы такую непосредственность и простоту приемов, и такое благородное доверие к чужому слову, и такую простодушную уверенность в возможности «провалиться на сим месте» в случае нарушения клятвы?.. Мой новый знакомый, сам «ветлугай», уверял, что другой этакой деревни нет нигде больше по всей реке. В Марьине промышляли года три назад «красноярками», [20] – ну, это дело другое. А положите в незапертой избе деньги, уходите на сутки, – никто не тронет.

– Как же все-таки соловьихинцы?

– Такой у них, позвольте сказать, обычай...

Ну, где еще, думалось мне опять, найдется такая терпимость к чужим обычаям?.. И огоньки Соловьихи мигали приветливо и простодушно: «нигде, ни-где»...

– Вот и у Тюлина, – сказал я, улыбаясь, – тоже обычай.

– Верно! Подлец мужичок, будь он проклят! А и то надо сказать: дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна: тут он себя покажет... Другому бы ни за что в водополь с перевозом не управиться. Для этого случая больше и держим...

– Мир беседе!

– Милости просим!

К нашему огоньку с берестяными кошелками за спиной, с посошками в руках подошли два странника. Один из них, скинув котомку, внимательно поглядел на меня и сказал:

– Этого мы человека видели.

– Немудрено, – ответил я.

– На Люнде были?

– Был.

– Там и видели. По усердию или обет был

даден владычице?

– По усердию. А вы?

– Мы к празднику ходили, стало быть, к сродникам.

– Что ж, садитесь к огоньку.

– Да нам бы на перевоз, – дó дому недалече.

К утру и дошел бы я.

– Да, на перевоз!.. – вмешался мой знакомый. – Тюлин последнюю ладью уволок. На пароме разве?

– Где!.. Больно река взыграла.

– Да и шестов длинных нет.

Другой из новоприбывших подошел усталым шагом к берегу, и тотчас же над рекой раздалось громко, протяжно:

– Тю-ю-ли-ин! Лодку дава-а-ай!

Отклик покатился по реке, будто подхваченный быстрым течением. Игривая река, казалось, несет его с собой, перекидывая с одной стороны на другую меж заснувшими во мгле берегами. Отголоски убегали куда-то в вечернюю даль и замирали тихо, задумчиво, даже грустно, – так грустно, что, прислушавшись, странник не решился в другой раз потревожить это отдаленное вечернее эхо.

– Шабаш! – сказал он и, махнув рукой, вернулся к нашему огоньку.

– А парню-то и до дому рукой подать, – сказал первый из моих знакомых, – и всего-то версты четыре, из Песошной! Слыхали про песочинцев? – спросил он с лукавой усмешкой.

– Нет, я в здешних местах не бывал.

– У них, у песочинцев, тоже опять свой нрав. Что ни город, то, говорят люди, норов, что ни деревня, то обычай. Соловьихинцы, – я вот рассказывал, – любят так, чтоб чужое взять, а уж песочницы – те свое беречь мастера. Это годов, может, пять назад пошли семеро песочинцев в село Благовещение железо чинить: лемеха там, сошники, серпы и прочее деревенское орудие. Ну, починили, идут назад к реке и сумы с железом в руках несут. А река, как вот и теперь же, приплескивает сильно, играет, да еще ветер по реке ходит, волну раскачал. А лодка-то, известно, вертячая. «А что, братцы вы мои, – говорит один, – как лодку у нас ковырнет, ведь железо-то, пожалуй, утопнет. Давай, робяты, кошели к себе привяжем, кабы железо не потопить». – «И то,

мол, дело!» Так и сделали. К реке шли – железо в руках несли; в лодку садиться – давай на себя навязывать. Выехали на середину, река лодку-те и начни заливать, лодка и опрокинься. Ну, железо-то крепко к спинам привязано, – не потерялось. Так вместе с железом хозяева ко дну и пошли, все семеро!.. Что, парень, аль не правду я баю?

Песочинец не возражал, и, при свете огонька, на всех трех лицах моих собеседников лежала одна и та же добродушно-насмешливая улыбка, с особенною ветлужскою складкой, живо напоминавшею мне Тюлина.

– Ну а вы-то откуда? – спросил я у старика, который видел меня на Люнде.

– А я, господин, сам по себе. Без роду-племени, бездомный человек, солдатская кость.

– А все-таки родом с Ветлуги?

– С нее, матушки. Не одну путину сгонял по ней смолоду. Да и после царской службы вот уж пятнадцатый год околачиваюсь.

Солдатского в этом старике было очень мало: только разве некоторая спокойная уверенность речи, да еще старый засаленный картуз с какими-то едва заметными кантами и боль-

шим надорванным козырем. Из-под козыря глядели и искрились порой серые глаза, а около усов ютилась чуть заметная улыбка. Голос у старого солдата был очень приятный, грудной, с «перекатцем», выдававшим прежнего лихого песельника, но теперь уже значительно осипшим от старости, от речной сырости, а может, и от «винища». Как бы то ни было, слушать этот голос с юмористической ноткой и глядеть на ветлужскую усмешку старого солдата было очень приятно, и я вспомнил теперь, что действительно мы встречались с ним на озере. В разгар самого горячего спора на тему: «с татем, с разбойником, кольми паче с еретиком не общайся», – когда обе стороны засыпали друг друга текстами и разными тонкостями начетчицкой диалектики, – этот старичок, с надорванным козырем и искрящимися глазами, вынырнув внезапно в самой середине, испортил всю беседу, рассказав очень просто и без всяких текстов простой житейский случай. Рассказ произвел на большинство сильное отрезвляющее впечатление; начетчики отнеслись к нему с явным пренебрежением. Как бы то ни

было, беседа была решительно испорчена, и толпа разошлась, унося, быть может, не одно проснувшееся сомнение...

– Помилуйте, бабий разговор, просторечие, – сказал мне с неудовольствием один из начетчиков. – Нешто это от Писания?

– Да это кто такой, не Ефим ли? – спросил другой, подошедший к концу разговора.

– Он.

– Пустой мужичонко, ветлугай. В работниках у нас живал. Писания не знает. Евангелие одно читал... – и говоривший махнул рукой.

Ефим-ветлугай только улыбался своею особенною улыбкой, неизвестно к чему относящеюся: к предмету ли разговора, к слушателям или, быть может, к самому ему, пустому мужичонку, бездомнику, солдатской косточке... Как бы то ни было, мне казалось, что в рассказе ветлугая я слышал первое еще на Светлояре живое слово.

Теперь мы опять завели разговор на ту же тему: о Люнде, о Светлояре и Китеже, об уреневцах. Среди многочисленных и разноверных групп, собирающихся на Светлояре, приносящих туда каждая свои книги, свои напе-

вы и свою веру, в особенности выделяются урневские начетчики, устраивающие каждый год свой импровизированный алтарь под одним и тем же старым дубом, на склоне холма. В то время как около австрийского священника, в полуманатейке и с длинными косами впереди ушей, едва-едва набирается десяток молящихся, – около урневского дуба стоит тесная большая толпа. Меня поразили суровые, надменные лица этих начетчиков. Тут были женщины в темных скитских платьях, какой-то очень длинный субъект с резкими чертами, молодой мальчишка с сумой нищего, с лицом, покрытым оспой, и лохматый юродивый... Они читали и пели по очереди однообразными, гнусавыми голосами, совершенно притом не обращая внимания на все окружающее. Между тем как представители других толков охотно вступали в споры, – урневцы держались свысока, пренебрежительно и на вопросы совсем не отвечали. Казалось, для них во всем мире не существовало уже ничего заслуживающего хотя бы малейшего снисхождения и вся святость сосредоточивалась на этом небольшом островке, заня-

том их тесно сомкнутыми «стриженными гуменцами» и оглашаемом их унылыми напевами.

– Очень уж высоко сами себя держат, – говорил Ефим. – Народ, нечего сказать, просужий, трезвый народ, а только нашему брату у них неловко.

– Почему это?

– Тоскливо. Наша вера, прямо сказать, много веселее, – ответил за Ефима хозяин воза.

Молчавший до сих пор песочинец при этих словах улыбнулся как-то радостно и сказал:

– Бывал ведь я у них. Больно, братцы, чудно!

– А что?

– Да так. Эitto нанялся я у них зимусь к одному: брусу из лесу выволокчи. Приехали мы с молодым хозяином на моей лошаде ночью. Наутро проснулся я, а темно еще – дело зимнее. Гляжу: старуха светец засвечает, потом молиться хочет образам. Образа-те хорошие, крашóные. Ну, думаю, и мне пора: помолюсь, дай-ка, и я да лошадь пойду снаряжать. Лезу тихонько с полатей, стал за ей, давай себе

креститьца. Как тут она обернись. Увидела меня и руками замахала: «Ты, говорит, что это делаешь?» – «А что, мол, – молитьца было похотел». – «Погоди», – говорит. «Чего годить? – самая пора». – «Погоди, мол, после». Ну, после, дак и после, опять я полез на полати. Отмолилась она, свечки погасила, убрала; гляжу опять: малое время погода, старче с печки лезет, свою икону тацит на божницу, свою и свечку зажигат. Я опять с полатаей. Думаю, теперь и мне можно. Только нацелился лоб перекрестить, старичишка меня за руку лап! «Ты што это?» – «На вот!.. да я, мол, было молитьца целился». – «Погоди, говорит, не годится тебе». Вот оказия! Опять, видно, на полати лезть. Ну, чего будет!.. Тут опять молодица слезат, с молодым хозяином в боковушке свечку затеплили. У тех икон нету, – одно распятьё. Я живым духом к ним, опять себе нацеливаюсь. Давай, думаю, хоть на распятье помолюсь.

– Ну, дóпустили, что ль? – спросил один из заинтересованных слушателей, видя, что рассказчик остановился.

– Не! Што вы думаете? – и тут не

дóпустили! Отмолились сами, потом зовут: теперь, говорят, иди, молись себе. Взошел я в боковушку, а там голые стены. Они и распятъё-то уволокли... Ах ты, шут вас задави! Что мне тут с вами грешить, думаю себе. Не надо! Я лучше, коли так, дорогой поеду, на солнышко господне помолюсь.

– Три веры в одном дому! – заметил солдат.

– Три и есть. Обедать время пришло. Ну, посадили меня, доброго молодця, честь честью. Опять старики с дочкой вместе, нам с молодым хозяином на особицу, да еще, слышь, обоим чашки-те разные. Тут уж мне за беду стало. «Ах вы, говорю, такие не эдакие. Вы не то што меня бракуете, вы и своего-то мужика бракуете». – «А потому, – старуха баит, – и бракуем, што он по Русе ходит, с вашим братом, со всяким поганым народом, нахлебается...» Вот и поди ты, как они об нас понимают!

– Д-да, – подтвердил хозяин воза, лежавший уже с руками, заложенными за голову. – Видишь ты, какé грозны живут... А сами-те, бесстыдники! Тепериче у нас, поблизу, в де-

ревне два брата; один, стало быть, в солдаты ушел, другой его бабу к себе взял. Это невестку-то, стало быть, да еще чижолую. Другой со службы вернулся, тоже долго не думал: родну-те сестру прежней жены к себе. Да слышь: два брата на двух сестрах женаты, да мальчонке-то солдат и дядей родным, да чуть ли и тяткой не приходится. Так вот этим не брезгуют. Охо-хо-хо-ó... Не спать ли пора?

Водворилось ненадолго молчание.

– Смешица по Русе пошла, – раздался через минуту простодушный голос песочинца.

– Давно уж это, – сказал, укладываясь, солдат, – не со вчерашнего дни.

– Чё не давно? Вот теперича молока на опять...

– Ну, эти иная статья, другого роду. Спи-ложись, пустого не бай!

Но песочинец, объятый размышлением о «смешице», которая пошла «по святой Русе», долго еще не мог улечься. Он сидел, ковырял веткой в огне и, увидя, что я тоже не сплю, кивнул лукаво в сторону Ефима и произнес:

– Особа статья, говорит... Чего не особа статья! Сам с ними водитця, богам нашим мо-

литьца не стал, молоко по пятницам жрет. Сам видывал, а то бы и баить не надо...

И он тоже стал прилаживаться на песочке.

VIII

Я поднялся и посмотрел кругом.

Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась, звезды тихо, задумчиво мигали над Ветлугой. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к немолчному шороху все прибывающей реки. Поверхность ее была темна, не видно было даже «цвету», только кой-где мерцали, растягивались и тотчас исчезали на бегущих струях дрожащие отражения звезд, да порой игривая волна вскакивала на берег и бежала к нам, сверкая в темноте пеной, точно животное, которое резвится, пробегая мимо человека...

Артель все еще бушевала на другом берегу, но песня, видимо, угасала, как наш костер, в который никто не подбрасывал больше хворосту. Голосов становилось все меньше и меньше: очевидно, не одна уж удалая головушка полегла на вырубке и в кустарнике.

Порой какой-нибудь дикий голосина выносился удалее и громче, но ему не удавалось уже воспламенить остальных, и песня гасла.

Я тоже улегся рядом со спящими ветлугами, любуясь звездным небом, начинавшим загораться золотыми отблесками подымавшейся за холмами луны. А с горы, тихо скрипявая, спускался опять запоздалый воз, подходили пешеходы и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув раза два лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военной хитростью перевозчика Тюлина.

Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. Столб с надписью то выделялся, окрашенный огнем костра, то утопал в темноте.

На той стороне, за рекой, запевал соловей.

.....

.....

– Перево-о́з!

– Перевоз, перевоз, перрево-о́-оз!

– Эй, перевоз-чик, живей – э-эй!

– Го-го-го-го-о-о!..

Громкие крики, раздавшиеся шумно, вне-

запно, резко и звонко, точно труба на заре, разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у огонька. Крики наполняли, казалось, землю и небо, отдаваясь в мирно спавших лощинах и заводях Ветлуги. Ночные странники просыпались и протирали глаза; песочинец, которого вчера так сконфузил его собственный скромный оклик заснувшей реки, теперь глядел с каким-то испугом и спрашивал:

– Что такое? С нами крестная сила, что такое?

Начинало светать, река туманилась, наш костер потух. В сумерках по берегу виднелись странные группы каких-то людей. Одни стояли вокруг нас, другие у самой воды кричали перевозчика. Невдалеке стояла телега, запряженная круглою сытою лошадыю, спокойно ждавшею перевоза.

Я тотчас же узнал урневцев... Тут были и третьеводнишние скитницы в темных одеждах, и длинный субъект с мрачным лицом, и рябой нищий, и лохматый «юрод», и еще какие-то личности в том же роде.

Теперь они стояли вокруг нашего, лежавшего вповалку, табора, глядя на нас с бесцере-

монным любопытством и явным пренебрежением. Мои спутники как-то сконфуженно пожимались и, в свою очередь, глядели на новоприбывших не без робости. Мне почему-то вдруг вспомнились английские пуритане и индепенденты времен Кромвеля. Вероятно, эти святые так же надменно смотрели на простодушных грешников своей страны, а те отвечали им такими же сконфуженными и безответными взглядами.

– Эй, вы, ветлугай-водохлёбы! Где перевозчик?

– Перевоз, перевоз, перре-во-óз!..

Можно было подумать, что целая армия вторглась в мирные владения беспечного перевозчика. Голоса урневцев гремели и раскатывались над рекой, которая теперь, казалось, быстро и сконфуженно убегала от погрома, вся опять желтовато-белая от «цвету». Эхо долго и далеко перекатывало эти крики.

«Ну-ка, – думалось мне, – устоит ли и теперь тюлинский стоицизм?»

К моему удивлению, взглянув на реку, я увидел в утренней мгле лодочку Тюлина уже на середине. Очевидно, философ-первозчик

тоже находился под обаянием грозных уреневских богатырей и теперь греб изо всех сил. Когда он пристал к берегу, то на лице его виднелась сугубая угнетенность и похмельная скорбь; это не помешало ему, однако, быстро побежать на гору за длинными шестами.

Наш табор тоже зашевелился. Хозяева ночевавших возов вели за чёлки лошадей и торопливо запрягали, боясь, очевидно, что уреневцы не станут дожидаться и они опять останутся на жертву тюлинского самовластия.

Через полчаса нагруженный паром отвалил от берега.

У потухшего костра мы остались вдвоем с Ефимом, который разгребал пальцами золу, чтобы закурить угольком носогрейку.

– А вы что же не переправились заодно?

– Ну их, не люблю, – ответил он, раскуривая. – Мне не к спеху, – пойду себе по росе... А вот вам так, пожалуй, пора собираться: слышите, пароход сверху бежит.

Через минуту и я мог уже различить гулкие удары пароходных колес, а через чет-

верть часа над мысом появился белый флаг, и «Николай» плавно выбежал на плёсо, мигая бледнеющими на рассвете огнями и ведя запаленную сбоку большую баржу.

Солдат услужливо подал меня в тюлинской лодочке на борт парохода и тотчас же сам вынырнул в ней из-за кормы, направляясь к тому берегу, где грузный паром высаживал уреневцев.

Солнце давно золотило верхушки приветлужских лесов, а я, бессонный, сидел на верхней палубе и любовался все новыми и новыми уголками, которые с каждым поворотом щедро открывала красавица река, еще окутанная кое-где синеватою мглой.

И я думал: отчего же это так тяжело было мне там, на озере, среди книжных народных разговоров, среди «умственных» мужиков и начетчиков, и так легко, так свободно на этой тихой реке, с этим стихийным, безалаберным, распущенным и вечно страждущим от похмельного недуга перевозчиком Тюлиным? Откуда это чувство тяготы и разочарования, с одной стороны, и облегчения – с другой? Отчего на меня, тоже книжного человека, от

тех веет таким холодом и отчужденностью, а этот кажется таким близким и так хорошо знакомым, как будто в самом деле

*Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда...*

Милый Тюлин, милая, веселая, шаловливая, взыгравшая Ветлуга! Где же это и когда я видел вас раньше?

1891

Ат-Даван[21]

Из сибирской жизни

I

— Ну! уж и дор-рога! – сказал мой спутник, Михайло Иванович Копыленков. – Самая эта проклятая путина, хуже которой уж и быть невозможно... Правду ли я говорю ай нет?

К сожалению, Михайло Иванович говорил совершенную правду. Мы ехали вниз по Лене. По всей ширине ее торчали в разных направлениях огромные льдины, по-местному «торосья», которые сердитая быстрая река швыряла осенью друг на друга в борьбе со страшным сибирским морозом. Но мороз наконец победил. Река застыла, и только гигантские торосья, целый хаос огромных льдин, нагроможденных в беспорядке друг на друга, задавленных внизу или кинутых непонятным образом кверху, остались безмолвным свидетелем титанической борьбы, да кое-где еще зияли длинные, никогда не замерзающие полы-

нии, в которых прорывались и кипели быстрые речные струи. Над ними тяжело колыхались холодные клубы пара, точно в полыньях действительно был кипяток.

А с обеих сторон над этим причудливым ледяным хаосом стояли молчаливые огромные Ленские горы. Жидкая листвень цеплялась по склонам, широко раскидывая корни, но камень не дает ей расти, и склоны усеяны сплошь густою древесною падалью. Ближе вы увидите трупы деревьев, запорошенных снегом, с вырванными из почвы, судорожно скрюченными корнями. Дальше эти подробности исчезают, а к вершине горы склон покрыт валежником, точно густою сеткой. Упавшие деревья кажутся бесчисленными иглами, точно хвои в сосновом лесу, а между ними, еще живые, тянутся такие же прямые, такие же тонкие и жалкие лиственницы, пытающие счастье над трупами предков. И только на ровной, будто обрезанной, вершине лес сразу становится гуще и тянется длиною, темною, траурною каймой над белым скатом берега.

И так на десятки, на сотни верст!.. Целую

неделю уже наш возок ныряет жалкою точкою между торосьями, колыхаясь, точно лодочка на бурном море... Целую неделю я гляжу на полосу бледного неба меж высокими берегами, на белые склоны с траурной каймой, на «пади» (ущелья), таинственно выползающие откуда-то из тунгусских пустынь на простор великой реки, на холодные туманы, которые тянутся без конца, свиваются, развертываются, теснятся на сжатых скалами поворотах и бесшумно втягиваются в пасти ущелий, будто какая-то призрачная армия, расходящаяся на зимние квартиры. Тишина томит душу. И только по временам по реке ухнет вдруг тяжелым стоном треснувший лед, зашипит, как пролетающее ядро, отдастся эхом, как пушечный выстрел, пронесется куда-то далеко назад, в оставленные нами пустынные извилины Лены, и долго еще звенит отголосками и умирает, пугая воображение причудливыми, внезапно воскресающими дальними стонами.

Мне было грустно. Мой спутник томился и нервничал. Возок наш то и дело кидало с боку на бок, и уже не раз он опрокидывался со-

всем. При этом, к великой досаде Михайла Ивановича, случилось все как-то так, что валились мы неизменно в его сторону. Это было естественно, но все же причиняло ему большое неудовольствие. Однако случись иначе, мне грозила бы серьезная опасность, тем более что в таких случаях он, с своей стороны, не делал ни малейших усилий. Только крикнет, бывало, и деловито обращается к ямщику:

– Подымай!

Ямщик, как ни трудно, подымает, и мы едем далее.

Мне казалось, что уж месяц отделяет меня от Якутска, из которого мы выехали всего дней шесть назад, и чуть не целая жизнь от ближайшей цели путешествия, Иркутска, до которого осталось более двух тысяч верст.

Едем мы тихо: сначала нас держали неистовые морозные метели, теперь держит Михайло Иванович. Дни коротки, но ночи светлы, полная луна то и дело глядит сквозь морозную мглу, да и лошади не могут сбиться с проторенной «по торосу» узкой дороги. И однако, сделав станка два или три, мой спут-

ник, купчина сырой и рыхлый, начинает основательно разоблачаться перед камельком или железной печкой, без церемонии снимая с себя лишнюю и даже вовсе не лишнюю одежду.

– Что вы, Михайло Иванович! – пытаюсь я протестовать в таких случаях. – Станок бы еще можно сегодня...

– Куда к шуту торопиться-то? – отвечает Михайло Иванович. – Чайком ополоснуть утробу-те, да на боковую.

Есть, «полоскаться» чаем и спать – все это Михайло Иванович мог производить в размерах поистине изумительных и все это совершал тщательно, с любовью, почти с благоговением.

Однако, кроме этого, у него были еще и другие соображения.

– Народ здесь, – говорил он таинственно, – на копейку до чрезвычайности, братец ты мой, жаден. Бедовый самый народ, потому что золотом набалован.

– Ну, золото-то далеко, да и не слышно ничего такого о здешних местах.

– А вот как нас с тобой ограбят, так и услы-

шишь, да поздно... Чудак! – прибавлял он, быстро впадая в «сердце», – какая это есть сторона, не знаешь, что ли? Это тебе не Расея! Гора, да падь, да полынья, да пустыня... Самое гиблое место.

Вообще Михайлу Ивановичу «здешняя сторона» не внушала ничего, кроме искреннего омерзения и брезгливости. Все здесь, начиная с угрюмой природы и людей и кончая бессловесною тварью, не избегало с его стороны самой придирчивой критики. Он знал только одно: здесь, если «пофартит», можно скоро и крупно разжиться («в день человеком сделаешься»), и поэтому жил здесь уже несколько лет, зорко выглядывая случай и стремясь неуклонно к известному «пределу», после которого намеревался вернуться «во свою сторону», куда-то к Томску. В этом отношении он напоминал человека, которому за известное вознаграждение предложили пробежать голым по сильному морозу. Михайло Иванович согласился, и вот теперь он бежит, ухая и пожимаясь, к своему пределу. Только бы добежать, только бы схватить, а там... пропадай хоть пропадом вся эта гиблая сторона, – Ми-

хайло Иванович не пожалеет.

В данное время, кажется, он уже значительно приблизился к пределу и, быть может, именно поэтому ужасно нервничал: а что, дескать, ежели именно теперь кто-нибудь у него схваченное-то и вырвет?.. Михайло Иванович, о котором я слышал много рассказов, рекомендовавших в самом ярком свете его предприимчивость, доходившую до дерзости в начале здешней карьеры, – теперь трусил, как баба, и мне поневоле приходилось из-за этого проводить с ним скучнейшие вечера и долгие ночи на пустынных станках угрюмой и безлюдной Лены.

В один из таких морозных вечеров я был взбужден испуганным восклицанием Михайла Ивановича. Оказалось, что мы оба заснули в возке, и когда проснулись, то увидели себя на льду, под каменистым берегом, в совершенно безлюдной местности. Колокольчика не было слышно, возок стоял неподвижно, лошади были распряжены, ямщик исчез, и Михайло Иванович протирает глаза с испугом и удивлением.

Вскоре, однако, недоумение наше рассеялось. Я вгляделся в ровный каменный берег, уходивший стеной вдаль и искрившийся под лучами полного месяца. Невдалеке тропинка исчезла в расселинах скал, а прямо над головой свесился высокий крест якутской могилы. Хотя могила на берегу, даже и совсем пустынном, не редкость в том краю, так как якут старается лечь на вечный покой непременно на возвышенности, у воды, в таких местах, где много дали и простора, – но все же я узнал Ат-Даванскую станцию, которую заметил уже в первую свою поездку. Красный сла-

нец с причудливыми слоями, напоминая какие-то неведомые письмена, ровный, будто искусственно сложенный обрыв, жидкие лиственницы, якутская могила с крестом и срубом и, наконец, длинная пелена белого дыма, тихо нависшая с берега над рекой, – все это вспомнилось мне сразу. Здесь нет въезда, берег представляет отвесную стену, и потому зимой сани оставляют на реке, а лошадей приводят узкой тропой прямо на лед. Михайло Иванович тоже скоро успокоился, тем более что на тропинке уже мелькали фонари.

Через минуту мы были наверху, на станции.

Маленькая станционная комната была натоплена; от раскаленной железной печи так и пыхало сухим жаром. Две сальные свечи, оплывшие от теплоты, освещали притязательную обстановку полуякутской постройки, обращенной в станцию. Генералы и красавицы чередовались на стенах с объявлениями почтового ведомства и патентами в черных рамах, сильно засиженных мухами. Вся обстановка обнаруживала ясно, что станция кого-то ждала, и мы не имели оснований при-

писать все эти приготовления себе.

– Вот, братец ты мой, и чудесно! – радостно говорил Михайло Иванович, принимаясь за переметы со всякою дорожною снедью. – Эка теплота-то благодатная! Тут уж шабаш, ночуем беспременно! Эй, кто там!.. писарь, что ли? Самоварчик бы нам да кипяточку для пельменей...

– Ну, нет, Михайло Иванович, – попытался я возразить, – еще рано. До N доедем, а там и ночлежничать можно.

– Лошадей, милостивый государь, нет, – слышался сзади меня дребезжащий, слащавый и как будто робеющий голос.

Я оглянулся. В комнату входил небольшой круглый человечек неопределенного возраста, одетый довольно оригинально. Кургузый сюртучок, клетчатые панталоны, пикейный жилет, сорочка с манжетами и даже старинною плойкой, цветной галстук с золотыми мухами по зеленому полю – все это слегка уже полинявшее, слежалое, как будто надетое по случаю, напоминало о каких-то давно прошедших временах. На ногах у вошедшего были тяжелые валенки, наряду с которыми кур-

гузый немецкий костюм выглядел очень комично. Впрочем, маленький человечек не сознавал, по-видимому, этого контраста и выступал щеголевато, мелкими, «щепоткими» шагами.

Физиономия незнакомца, как и вся фигура, была какая-то серенькая, тоже как будто слегка подержанная или лежалая, а теперь приглаженная и почищенная для случая. В улыбке, в серых глазах, в тоне голоса заметна была претензия на некоторую культурность. Маленький человечек как будто хотел показать, что он видал лучшие дни, знает «обращение» и при других обстоятельствах стоял бы с нами на равной ноге. Но вместе с тем он как-то сжимался и робел, как будто его слишком часто осаживали, и он боялся того же от нас.

– Как же нет лошадей? – возразил я, посмотрев в книгу, выложенную, по-видимому, недавно на видном месте. – Две тройки должны быть на станции.

– Так точно, – покорно ответил он, – должны находиться. Только, собственно... как бы вам, милостивый государь, объяснить...

Он замялся.

– Пожалейте меня, господа проезжающие, не требуйте, – произнес он вдруг чрезвычайно жалобным и приниженно-просящим голосом.

– Но почему же это? – удивился я.

– Экие вы, право! – с неудовольствием вмешался Михайло Иванович, успевший уже стащить с себя даже брюки. – Почему да почему? Ну, куда вы торопитесь? Дети у вас, что ли, плачут?.. Видишь ведь, братец ты мой, человек слезно просит – значит, причина!

– Так точно-с, – обрадовался незнакомец и обратился к Копыленкову с сочувственной улыбкой, обдергивая полы своего пиджака, – так точно-с, как вы изволили заметить: неужели без причины стану чинить господам проезжающим задержку? Никогда-с!

Последнее слово он произнес как-то даже гордо, выпрямился при этом и обдернул пиджак.

– Ну, хорошо, – сказал я, сдаваясь тем охотнее, что понимал невозможность вытянуть моего быстро разоблачившегося спутника из этой теплой комнаты на трескучий вечерний мороз. – Но все же объясните вашу причину,

если это не тайна...

Сочувственная улыбка озарила все лицо маленького человечка. Он увидел, что дело сладилось, и намеревался ответить мне с видимою благосклонностью, но вдруг насторожился. Снаружи, с реки, сквозь треск железной печурки, слышался звон.

Дверь отворилась, староста, полуякут по наружности, осторожно вошел в комнату, тщательно запер дверь и сказал:

– Почта́ келлэ, Василь Спиридоныч...

– А, почта! – успокоился старичок. – Ну, бар-антах (ступай), чтоб живо!.. Сейчас иду, извините меня, почтенные господа...

Он вышел. Станция переполнилась движением. Хлопали двери, скрипели ступени, ящики таскали баулы и сумки, суетливый звон уводимых и перепрягаемых на льду троек теснился каждый раз в отворяемую дверь, ящики кричали друг на друга по-якутски и ругались на чистом русском диалекте, доказывая этим свое российское происхождение...

III

Через несколько минут в комнату не вошел, а вбежал какой-то человек небольшого роста в сильно потертой казенной шинели, в якутском малахае и обвязанный шарфом. Он вбежал так торопливо, как будто за ним кто гонится, и тотчас же направился к железной печке.

Скинув шинель, он остался в какой-то жиденькой шубке на кроличьем меху, сильно похожей на женскую кацавейку; когда же снял и шубку, то под ней оказался старый, изорванный под мышками мундир почтового ведомства.

Действительно, это был почтальон, так торопливо убежавший от мороза, который на протяжении длинного перегона, видимо, одержал над ним значительные победы. Бедный молодой человек рвал с себя настывшие одеяния, как будто в них засел целый рой пчел, и, не снимая еще малахая и шарфа, быстро скинул с ног валенки, которые и уложил подошвами к печке. Снятие шарфа и малахая заняло более времени. Якуты и карымы

не носят бороды и усов. Это вошло уже в эстетические привычки, но объясняется чисто климатическими условиями: бедняга почтальон, по-видимому, дорожил этими атрибутами, и теперь жидкая бороденка и такие же усики, которыми он, быть может, пленял где-нибудь в Киренске какую-нибудь заезжую невесту из семьи состоятельного поселенца, превратились в одну сосульку, плотно соединившую его голову с малахаем и шарфом. Нужно было немало времени, пока наконец представитель почтового ведомства, совавший голову чуть не в самое пламя и разминавший льдины полужастывшими пальцами, предстал перед нами в своем настоящем виде: молодое, но значительно отекшее лицо, беспокойные, но тусклые глаза, испуганная подвижность во всей фигуре, короткий и узкий мундир, лопнувший по швам, и заячьи чулки на ногах.

– Че! – отряхнулся он. – Темны берть, мороз улахан (очень холодно, большой мороз)... Дозвольте рюмочку, господа!

– Угощайся, – ответил Копыленков благодушно. – Несчастный ты самый человек.

Глаза молодого человека как-то опять испуганно заморгали. Холодное сожаление купца только ярче напомнило ему холод дороги, и проглоченная рюмка пролетела, будто льдинка. Вследствие этого он налил другую и отправил вслед за первой. Только тогда испуганное выражение начало исчезать с лица бедного малого.

– Верно, – сказал он. – Собачья жизнь... Да и морозы же стоят, удивительное дело...

– Одежонка у тебя – ой-ой плоха. Не по здешнему месту.

– Одежа ничего. А впрочем... на восемь рублей не очень нацеголяешь...

Почта пробегает по этому огромному тракту один раз в неделю. Зимой трехтысячный путь она делает в девятнадцать дней, летом, конечно, дольше. Осенью и весной, когда Лена еще не стала или уже тронулась и ледоход мешает движению лодок, почту везут в переметных суммах верхами. Целый караван вьючных лошадей жметса тогда между рекой и каменными горами, то огибая, по брюхо лошади в воде, какую-нибудь выдавшуюся скалу, то карабкаясь по каменистым тропинкам, то

мелькая на вершинах чуть не под облаками. Трудно себе представить занятие, требующее большей выносливости, присутствия духа, терпения и здоровья... Три тысячи верст!.. Ямщикам тоже трудно, но ямщики давно вернулись по домам и отдыхают в ожидании редкого проезжающего, порой даже до следующей почты, а почтальон опять трясется в седле, или качается на бурной волне огромной реки, или коченеет, забившись меж кожаными баулами в санях. И это при обычных почтовых окладах...

Правда, почтальон изобретает еще посторонние средства. В Иркутске он запасается бочонком дешевой водки, которую продает на станках писарям и ямщикам, купит только что вышедшие календари, возьмет на комиссию пачку лубочных картин. Все художественные произведения, обильно украшающие стены станков, ему обязаны доставкой своей в эти далекие страны. Он совершенствует эстетические взгляды полуякутов-станочников, водворяя на стенах гравированные портреты получивших где-то премию красавиц, он содействует популярности генералов,

он же развенчивает их, заменяя старых героев новейшими... Однако эта полезная деятельность мало скрашивает судьбу горемыки-почтальона, и если он остается жив в своей плохой одежонке среди необычайных морозов, то приписывает это главным и даже исключительным образом водке, которой выпивает на каждой станции огромное количество без всяких видимых последствий, благо она достается ему дешево и доставляет даже некоторый, – право же, невинный при этих условиях, – доход...

От него же главным образом этот трехтысячный тракт, с его почти единственными обитателями-станочниками, узнает новости, совершающиеся в далеком мире.

Такой-то подвижник почтового ведомства стоял теперь у железной печки, с подогнутыми от холода ногами, протянув руки к пламени и кидая жадные взгляды на наши бутылки.

– А это у вас коньяк?.. Коньячку я еще хвачу, – произносил он вдруг с робкою фамильярностью, подбежал к столу, налил, опрокидывал и опять убежал к огню все с тем же видом

человека, испуганного внутренним ознобом.

– Слышь, почта, давай чайком побалуем-ся, – предложил Копыленков.

– Невозможно, господа почтенные, – тороплюсь. Слушай, парень, – дружески обратился он к вошедшему в эту минуту писарю, – поберегайся! Едет ведь...

Старичок вздохнул.

– Что бог даст! Ждем давно, хоть бы уж как-нибудь скорее...

– Теперь живо. Мне бы вот как-нибудь улететь, не напоротся бы. Да где, не уйти – догонит! Хорошо, если на дороге где-нибудь...

– Тебе-то что?

– Да все от греха подальше. А слышь, парень, про жалобы-то узнал ведь...

– Ну?

– То-то... Сказывают, осатанел, беда!

– Авось бог милостив. Мы не жаловались...

– Да вы это про кого? – спросил Копыленков.

– Арабин, курьер... Теперь из Верхоянска обращается.

– Так-так-так! Вот почему у тебя и лошадей-то не оказалось. Понял! А вдруг бы мы у

тебя лошадей-то последних и взяли....

– Совершенно верно-с... Судите сами: придут они сюда, и вдруг я им объявлю: нет лошадей! Что же это-с... Ведь тогда им здесь ночевать-с...

Копыленков захохотал.

– Ну, он тебя, братец, за ночь-то съест и с пиджаком с твоим.

Почтальон тоже засмеялся, как-то порывисто, закинув голову назад. Старичок постарался улыбнуться, но больше из вежливости. Глаза его были задумчивы и озабочены.

– Бог знает, бог знает... Прошлый раз убедил царица небесная... Скотиной все-таки назвал.

– Удостоил?

– Да-с. Это что ж... Конечно, по прежнему времени, состоявши в чине коллежского секретаря, мог обижаться... Ну, между прочим, в настоящем ничтожном положении обязан терпеть... Вы самоварчик изволили приказывать? – спохватился он вдруг. – Ах, боже мой, что же я-с... Сейчас будет готово, – два самовара у нас. Ежели в случае приедет, и ему подадим... Сейчас...

IV

Через несколько минут нестарая еще и довольно красивая женщина, при входе которой почтальон опять закинул голову и засмеялся своим прерывистым смехом, а писарь стал как-то особенно серьезен, внесла небольшой самоварчик и принялась уставлять чайную посуду. Мы пригласили к чаю старичка и почтальона. Последний отказался и так же быстро, как прежде скидал с себя, стал натягивать свои не совсем высохшие одеяния. Писарь тоже пытался отказаться из приличия, но затем, на вторичное приглашение, согласился, видимо польщенный.

– С превеликим удовольствием разделяю компанию, – сказал он и затем, застегнув пиджак на все пуговицы и взявшись рукой за спинку стула, поклонился и произнес:

– В таком случае считаю за честь рекомендоваться: Кругликов, Василий Спиридонов, бывший коллежский секретарь... Приятно приобрести знакомство.

– Значит, служил? – спросил Копыленков.

– Так точно-с, по комиссариатской части,

во флоте-с.

Почтальон облачился, сунул нам всем на прощание руку, еще раз сказал: «А это спирт у вас? Хвачу-ка еще спирту!» – хватил и торопливо выбежал на мороз. Я оделся и вышел за ним.

Нужно было подойти к обрыву у могилы с наклонившимся крестом, чтоб увидеть почту внизу.

Река, загроможденная белым торосом, слегка искрилась под серебристым и грустным светом луны, стоявшей над горами. С того берега, удаленного версты на четыре, ложилась густая неопределенная тень, вдали неясно виднелись береговые сопки, покрытые лесом, уходившие все дальше и дальше, сопровождая плавные повороты Лены... Становилось и жутко, и грустно при виде этой огромной ледяной пустыни.

Почта – три тройки – двинулась, колокольчики сразу, как-то сбивчиво и шумно, заговорили под моими ногами, как будто ободряя друг друга. Три черных пятна, точно фантастические многосоставные животные, шевельнулись по снегу и замелькали между то-

росьями, становясь все меньше и меньше. Их давно уже не было видно, а звон все стоял такой же ясный в морозном, точно стеклянном, воздухе... Каждый колокольчик говорил по-своему: расстояние уменьшало только силу, но не ясность звука. Потом все исчезло внезапно, только торосья искрились фантастическим хаосом, да сопки тихо спали в тени, и какие-то неясные грезы передвигались под дальними берегами.

Чуть не все население станка провожало почту... На бедном Ат-Даване, приютившемся под каменными горами, этот пролет редкой почты – целое событие.

Но станок ждал и томился ожиданием еще другого события.

Когда почта исчезла и звон затих, гурьба ямщиков, тихо подымавшихся с реки, прошла мимо меня, разговаривая по-якутски. Мне трудно было разобрать эти тихие речи, однако я понял, что говорят они не о том, кто уехал, а о ком-то, кто должен приехать сверху. При этом имя «Арыбын-тойона» раза два коснулось моего слуха.

Я остался еще на берегу, привлекаемый

грустным очарованием. Воздух был неподвижен и полон какой-то чуткой, кристаллической ясности, не нарушаемый теперь ни одним звуком, но как будто застывший в пугливом ожидании. Стоит опять треснуть льдине, и морозная ночь вся содрогнется, и загудит, и застонет. Камень оборвется из-под моей ноги – и опять надолго наполнит чуткое молчание сухими и резкими отголосками...

Мороз все крепчал. Здание станции, которое наполовину состояло из юрты и только наполовину из русского сруба, сияло огнями. Из трубы над юртой целый веник искр торопливо мотался в воздухе, а белый густой дым поднимался сначала кверху, потом отгибался к реке и тянулся далеко, до самой ее середины... Льдины, вставленные в окна, казались, горели сами, переливаясь радужными оттенками пламени...

Я еще раз окинул взглядом окружающую картину, полную захватывающей грусти, и пошел в избу.

В ямщицкой огромный камелек, плотно сбитый из глины, зиял, точно раскрытая огненная пасть сказочного чудовища. Огонь с невероятной силой рвался в трубу, как будто целая река пламени струилась кверху. Наклонные стены юрты то тесно сдвигались, охваченные багряным отблеском, то утопали чуть заметно во тьме; тогда юрта казалась огромной пещерой с темными сводами. Группа огненных же фигур, будто только что отлитых из не остывшего еще металла, сомкнулась полукругом около камина. В середине, уставившись на огонь задумчивыми глазами и опершись подбородком на руки, сидел молодой станочник с резко инородческими чертами, представитель этого странного, наполовину объякутевшего населения средней Лены. Из горла его лились, примешиваясь к шипению и треску пламени, странные – то протяжные, то истерически прерывистые – звуки. Это была якутская песня-импровизация, – песня, в которой только привычное ухо может уловить признаки своеобразной гармо-

нии. «Господи боже, – подумал я невольню, – как только не выражается человеческое чувство!..» Но так как красота все-таки в самом чувстве, то есть своя доля красоты и в этом диком гортанном, прерывистом завывании, похожем то на плач, то на шум ветра в диком ущелье... Достаточно было взглянуть на бронзовые лица станочников Ат-Давана, чтобы убедиться в присутствии захватывающего и поглощающего душевного движения, царившего в грязной, неприветливой юрте.

Молодой станочник пел, остальные слушали, изредка поощряя певца резкими, произвольными короткими восклицаниями. Мы имеем свои песни, записанные, положенные на ноты, в которых более сложное чувство кристаллизовалось в постоянную форму. Дикая тайга, каменистые тропинки над Леной, угрюмый и сиротливый Ат-Даван имеют свои песни. Они не записаны, не выработаны, не гармоничны и довольно грубы, но зато каждая из них рождается по первому призыву, отзывается, как эолова арфа, своею незаконченною и незакругленною гармонией на каждое дуновение горного ветра, на каж-

дое движение суровой природы, на каждое трепетание бедной впечатлениями жизни... Певец-станочник пел об усилившемся морозе, о том, что Лена стреляет, что лошади забились под утесы, что в камине горит яркий огонь, что они, очередные ямщики, собрались в числе десяти человек, что шестерка коней стоит у коновязей, что Ат-Даван ждет Арабын-тойона, что с севера, от великого города, надвигается гроза и Ат-Даван содрогается и трепещет...

Песенный якутский язык отличается от обиходного приблизительно так же, как наш славянский от нынешнего разговорного. Песенный язык родился где-то далеко, в неведомых глубинах Средней Азии, откуда великое смешение народов бросило жалкий осколок какого-то племени на дальний северо-восток. Он сохранил на севере пышные образы и краски далекого юга. От севера же, от пугливого морозного воздуха, в котором треск льдины вырастает в пушечный выстрел, а падение ничтожного камня гремит, как обвал, песня приобрела пугливую склонность к чудовищным гиперболам, к гигантским устра-

шающим преувеличениям. Вот почему, надо думать, якутский Иванушка, бедный сиротина Эр-Соготох, в своих горестных странствиях натывается то и дело на сказочных молодцов, самый меньший из которых обладает икрами в обхват старой лиственницы, а глаза его весят по пяти фунтов.

Я стал в тени, не замеченный, и слушал песню станочника об Арабын-тойоне... Арабин, Арабин!.. Я где-то слышал эту фамилию. Мне стоило значительного усилия отодвинуть от себя сказочную фигуру, и из-за нее в моей памяти выдвинулась другая. В Иркутске, в знакомом доме, я несколько раз встречал – правда, мимолетно – казацкого хорунжего с этой фамилией. Это был человек ничем не выдававшийся, молчаливый, слегка даже застенчивый тою особою застенчивостью, которою отличаются болезненно самолюбивые люди. Я едва заметил его тогда, но потом слышал, что он чем-то обратил на себя внимание тогдашнего генерал-губернатора и что его употребляют для «особых поручений». Неужели это он? Неужели это о нем я слышу теперь по всему пути – о нем, чье имя едва

различалось в иркутской толпе?.. Он уже третий раз пролетает по Лене в качестве курьера, и каждый раз толки о нем долго не смолкают на пустынной реке. На станциях он вел себя как человек, на единичные усилия которого возложено усмирение бунтующего края. Врывался, как ураган, бушевал, наводил панический ужас, грозил пистолетом и... забывал всюду платить курьерские прогоны. Вероятно, благодаря этим приемам он исполнял поручения в сроки, удивлявшие самых привычных людей, и начальство отличало его еще более. «Курьер» стало кличкой и чуть не постоянной профессией Арабина. Скромный и застенчивый в Иркутске, он становился совершенно другим, лишь только выезжал из города. Быть искренно убежденным, что всякая власть сильнее всякого закона, и чувствовать себя целые недели единственным представителем власти на огромных пространствах, не встречая нигде ни малейшего сопротивления, – от этого может закружиться голова и посильнее головы казачьего хорунжего.

И она действительно кружилась. В последний проезд он уже скакал через редкие горо-

да (Киренск, Верхоленск и Олекму), стоя в повозке и размахивая над головой красным флагом. В этом было что-то фантастическое: две тройки мчались, как птицы, с смертельным ужасом в глазах, ямщик походил на мертвеца, застывшего на облучке с вожжами в руках; седок стоял, сверкал глазами и размахивал флагом... Местные власти покачивали головами, обыватели разбегались. В этот проезд Арабин отметил свой путь таким количеством павших лошадей, воплей и жалоб, прорвавшихся наконец наружу, что почтовое начальство сочло необходимым вмешаться. Забегая вперед, скажу только, что из-за Арабина поссорились два ведомства, что непосредственное начальство курьера вынуждено было все-таки отказаться от его услуг, но, снабженный отличными рекомендациями, он перешел на службу еще дальше на восток и там, на Амуре, застрелил, наконец, наповал станционного смотрителя. Тогда об Арабын-тойоне заговорили даже в России, и только тогда узнали, что судить, в сущности, некого, так как знаменитый курьер был уже... вполне сумасшедшим.

Такова дальнейшая история грозного и несчастного Арабын-тойона, ожидаемого в эту ночь на далеком Ат-Даване. Вот о ком скрипела и завывала унылая якутская песня в ямщицкой юрте.

VI

В станционной комнате Михайло Иванович в одном белье сидел за столом. Кругликов помещался напротив в позе значительно более свободной, чем прежде. По наивному оживлению, сверкавшему в простодушно-хищных глазах моего спутника, я сразу увидел, что ему удалось уже завязать один из тех разговоров, до которых он был великий охотник. Это были именно разговоры чисто биографического и отчасти стяжательного характера: кто, где и каким образом сумел нажить деньгу. Все подробности наживательских драм имели для него какую-то особенную, обаятельную прелесть. Кругликов давал эти подробности охотно и с объективным спокойствием человека, глядящего на все это со стороны, глазами наблюдателя.

– Так, говоришь, прогорел? – спрашивал

Михайло Иванович, наклоняясь через стол.

– До основания-с! – ответил Кругликов и подул на блюдечко с чаем. – Совсем-с, так что, с позволения вашего сказать, в рубашке одной остался, да и та чужая.

– Ах ты, братец мой, какой человек пропал!

– Пропал? Ну, это зачем же-с! Где же такому человеку пропасть! По здешним-то местам, я говорю, да такой голове...

– Действительно, шельма, естественная. Говоришь, поправился?

– Да еще как поправился!..

– Ну, дела!.. Чем же он взялся-то?

Кругликов поставил блюдечко и загнул палец:

– Первым делом – женится он вторично на вдове с капиталцем. Капитал, положим, ничтожный...

– Постой! Говоришь: женится! А первая-то померла, что ли?

– Живехонька-с! Это ничего не составляет.

– Ай-ай-ай!.. Н-н-ну-с? Что ты, братец, мямлишь, говори далее!

– Ну-с, и стал легонечко поторговывать на

приискал спиртом.

– Спир-том?.. Ну, нет, ноне, брат, на спирту далеко не уедешь. Ноне, брат, на спиртовом-то деле тюрьму себе заработаешь, а богат не станешь. Не прежние времена...

– Ах, нет, позвольте-с, это вы напрасно! Спиртовое дело, оно само по себе, а ежели при этом *пшеничка*...[22]

– Ну, вот это так! ежели ловкому человеку...

– Этот ловок. Шире-дале, шире-дале, и взошел он в копейку настоящую.

Михайло Иваныч хлопнул себя рукой по колену.

– Ах ты, братец мой! Вот голова, так голова... Пей еще! – предложил он радушно, когда г-н Кругликов положил пустой стакан на блюдечко в знак того, что он доволен, но выпьет еще, если его попросят (опрокинуть стакан и положить на него огрызок сахару – значило бы отказаться окончательно). – Пей! А что касающее должности, не сомневайся. Определю, будешь доволен. Я, братец, люблю разговорчивых людей. Только уж ты скажи мне, по правде-истине: хмелем зашибаешься?

Господин Кругликов посмотрел ему прямо в глаза ясным взглядом и ответил:

– Пью-с... Пьяницей или, сказать, пропойцей себя не полагаю-с, а пью-с... Но спросите: почему пью? – потому, что нахожусь в горести после прежней благополучной жизни. Вот и Иван Александрович – наверно, изволите знать, прииски у него богатейшие были – говорит, бывало: «Зачем, Кругликов, пьешь? Тебе бы, при твоём уме, вовсе бы касаться не надо... Почерк имеешь прекрасный, экипирован прилично, сам себя ведешь аккуратно... Тебе бы какое место можно занимать, только не касайся вина!» Так вот нет, сердце не дозволяет... «Иван Александрович», – говорю ему...

Господин Кругликов заволновался. По-видимому, он забыл, кому и по какому поводу он делал эти излияния, и, ударив себя в грудь, продолжал:

– Иван Александрович, благодетель, не суди! Господи! Да я бы смолу, – понимаешь ты? – с-смолу бы кипящую пил, ежели бы мог иной раз себе облегчение получить, – забвение горести! Смолу-у!.. Боже мой, создатель!

за что ты судьбу мою в эту гиблущую сторону закинул?.. Хлеба пуд – четыре с полтиной, говядина – восемь рублей! Ни покою, ни пицци...

– Это верно, – поддержал Михайло Иванович, – корма-то здесь дороги, нечего говорить.

– Эх, нет, не то! – с тоской заговорил вдруг маленький писарь, и эта тоска глубоко щемящею нотой прорвалась в его голосе, промелькнула в лице, изменяла всю несколько комичную его фигуру. – Не то-с... Сердце закипает во мне, размышление одолевает...

– Задумываешься? – перебил Михайло Иванович с каким-то пугливым участием.

– Бывает! – угрюмо сознался Кругликов.

– Ах, братец! Ты как-нибудь тово... брось... Самое это плохое дело. У меня, брат, смолоду тоже было; насилу отец-покойник выгнал. После женитьбы и то еще, бывало, нет-нет да и засосет... На свет не глядел бы от мыслей этих... Последнее дело!

– Чего хуже! Поверите: иной раз ночью проснешься, опомнишься: «А где-то ты рожден, Василий Спиридонов, в коих местах юность свою провел?.. А ныне где жизнь влачишь?..» Морозище трещит за стеной или

вьюга воет... К окну, в окне – слепая льдина...
Отойдешь и сейчас к шкапу. Наливаю, пью...

– Легче?

– В голову ударит, – ну и омрачит отчасти...
Затуманит, потому – настойка у меня... Водка
настояна крепчайшая... А настоящего облег-
чения не вижу.

– Вот оно дело какое! И верно, что лучше
бросить... Займись делом, оно, брат, тоже по
голове-то ударит не хуже настойки... А скажи
ты мне вот что: за что тебя сюда-то уперли?

Этот вопрос, предложенный с такою гру-
бою внезапностью, прошел еще раз по всей
фигуре г-на Кругликова, и еще раз она преоб-
разилась, теряя в моих глазах прежний отте-
нок комизма. Казалось, какая-то искра проби-
вается из-под давно потухшего, но еще не
остывшего вполне пепелища.

Он как-то подернулся, потупился, и его го-
лос, когда он спросил позволения налить себе
рюмку, стал глуше.

– Дозволите?

– Угощайся!

Он налил, осмотрел рюмку на свет, как
будто ища там ответа на мучительный во-

прос, выпил ее залпом и сказал:

– За любовь-с.

Михайло Иванович разинул рот от удивления. Я должен сказать, что заявление г-на Кругликова, высказанное с такою краткою решительностью, было так неожиданно, что заставило и меня взглянуть на него с удивлением. Кругликов, казалось, и сам понимал, что своими словами произвел значительную сенсацию.

– Да говори ты, братец, толком! – сказал наконец Михайло Иванович с досадой.

– Что ж, я правду говорю, – ответил Кругликов, – так как, собственно, из любви к одной девице в начальника своего, статского советника Латкина, дважды из пистолета палил.

Это было уже слишком.

Михайло Иванович окаменел и смотрел на своего собеседника какими-то бессмысленными, мутными глазами. Он походил на путника, который, пробеседовав часа два с самым любезным, хотя и случайно встреченным попутчиком, и совершенно очарованный его прекрасными качествами, вдруг узнает, что перед ним не кто другой, как *celebrissime*[23]

Ринальдо Ринальдини.

– Из пистолета? – протянул он растерянно. – Как же это так? Да ты верно ли говоришь: из пистолета?

– Так точно-с. Пистолет настоящий.

– Палил?

– Два раза.

– Да ведь это, братец ты мой, такое дело, такое... самое, сказать тебе, политическое...

– Что тут поделаете! Судите меня, как знаете... Любовь-с.

– Да вы расскажите, Василий Спиридонович, как эта вся история вышла... – обратился я к г-ну Кругликову.

– Да, – поддержал мою просьбу и Копыленков, – что ж, братец, расскажи, расскажи, – ничего! Что уж тут... Удивительно!

VII

Господин Кругликов, отхлебнув последний глоток чаю, опрокинул стакан, положил на доньшко кусок сахара и отодвинул все это от себя. После этих приготовлений налил себе рюмку и опять посмотрел на свет. Я сожалел в эту минуту, что я не живописец и не могу изобразить сложных ощущений, совместившихся на оригинальном лице ат-даванского станционного писаря, освещенном оплывшими сальными свечами. Круглый облик, пепельные, аккуратно причесанные волосы с чем-то вроде кока впереди, подстриженные котлетками бакенбарды и бритый подбородок. В серых глазах, внимательно глядевших рюмку на свет, можно было бы прочесть и предвкушаемое удовольствие, и тщеславную гордость заинтересовавшего слушателей рассказчика, и искреннюю горечь разбитой жизни и жгучих воспоминаний. Он, запрокинув голову, выцедил рюмку коньяку, поставил ее на стол, обтер губы истрепанным фуляровым платком и обратился к рассказу:

– Моя биография жизни, почтенные госпо-

да, очень печальная... Чувствительный человек может окончательно все понимать, а другие смеются-с... Впрочем, это все равно-с...

Он горько улыбнулся, все еще несколько рисуясь, и затем спросил:

– Не случилось ли кому из вас, почтенные господа, бывать в Кронштадте?

– Это где? – спросил Копыленков.

– Вблизи Петербурга, часа два паровой езды-с, портовый город.

– Я бывал, – сорвалось у меня.

– Бывали-с? В самом Кронштадте-с?

Кругликов живо повернулся ко мне, и глаза его сверкнули оживлением.

– Да, бывал и даже жил несколько месяцев.

– Великолепный город! Порт, крепость, твердыня-с, оплот, окно в Европу-с... Превосходный город, уголок Санкт-Петербурга!

– Да, город хороший.

– Ах, как можно, как можно! Этакого другого города... да где вы найдете? Помилуйте. А правда ли-с, что теперь, говорил мне как-то проезжий офицер, на Екатерининской улице чугунная мостовая положена?

– Верно.

– Красота, должно быть!.. А пристани-с, Купеческая стенка, форт Павел, форт Константин...

Он увлекался. Моя мысль тоже как-то мгновенно перенеслась с угрюмой Лены в Кронштадт, где я провел несколько радостных месяцев еще студентом... Меня, как и Кругликова, охватили воспоминания: плескала морская волна, сливающаяся с невскою, свистел пароход, длинная дамба гудела под копытами извозчичьих лошадей, везущих публику с только что приставшего парохода, сновали катера, баркасы, дымились пароходы... Белые ялики с стройно взмахивающими веслами, грузные броненосцы, шпиц немецкой кирки, улицы, перерезанные каналами доков, где среди зданий, точно киты, неведомо как попавшие в середину города, стоят огромные морские громады с толстыми мачтами, каменные дома, бульвары, казармы, блеск и роскошь уголка столицы... И опять – лес мачт в синем небе, купеческая гавань, отлогая коса и шум морского прибоя... Синяя даль, сверкающие гребни волн и грузные форты, выступившие далеко в море... Облака,

чайки с белыми крыльями, легкий катер с сильно наклонившимся парусом, тяжелая чухонская лайба, со скрипом и стоном режущая волну, и дымок парохода там, далеко из-за Толбухина маяка, уходящего в синюю западную даль... в Европу!..

Иллюзию нарушил, во-первых, новый выстрел замерзшей реки. Должно быть, мороз принимался к ночи не на шутку. Звук был так силен, что ясно слышался сквозь стены станционной избушки, хотя и смягченный. Казалось, будто какая-то чудовищная птица летит со страшною быстротой над рекою и стонет... Стон приближается, растет, проносится мимо и с слабеющими взмахами гигантских крыльев замирает вдали.

Копыленков нервно вздрогнул и затем, как это часто бывает после испуга, с досадой накинулся на Кругликова.

– Ну, так что же, – сказал он нетерпеливо, – родом ты, что ли, из этого самого городу? Начал, так уж говори толком, не мямли!

– Да-с, родом, – отрезал Кругликов с гордостью. – На Сайдашной улице и свет увидал. Сайдашную изволите знать? У отца моего в

этой улице собственный дом находился, может, стоит еще и поныне. А родитель мой, надо сказать, хотя и из ластовых был, но место имел доходное и, понятное дело, сыну тоже дал порядочного ходу. Образованием не очень увлекался, ограничиваясь начатками грамоты и почерком, но как и сам я был молодой человек аккуратный, по службе исполнительен и у начальства несколько на виду по причине родителя, то и стоял я, могу сказать, на лучшей линии... Да-с, по началу судьбы моей не того можно было ожидать, чем я ныне постигнут. Ясное утро и печальный закат-с...

– Не ропщи! – наставительно произнес Копыленков.

– Ну-с, итак... сказал я вам, милостивые мои государи, что у родителя был собственный дом на Сайдашной улице. А в этой же улице, насупротив, несколько этак наискосок, проживал товарищ моего отца, тоже из ластовых и, по выслуге, занимал место и еще того доходнее...

– А какое? – не вытерпел Михайло Иванович.

– В порту, где происходят ремонт и постройка морского флота судов. Оклады тогда шли не очень чтобы сказать большие, но сторонний доход по тому времени выпадал обильно, – просто было! Можете судить по тому, что с должности редкий день уходили не обмотавшись...

– То есть это что же, насчет чего?.. – недоумевающе спросил Копыленков, для которого, как знатока по части самых разнообразных доходов, эта форма оказалась непонятной.

– Это, видите, в чем состоит. Судно морского флота не то, что ваши паузки. Наружность само собой, крепление там, ванты, рангоут и прочее, но еще внутренняя отделка требует материалу дорогого и тонкого. Великолепие, блеск и даже, можно сказать, комфорт... Ну-с, так вот, в материальных складах материй этих, лионского бархату, аглицких разных шелков... горы... Теперь представьте: надо ему уходить с должности домой; снимает он сюртук, берет кусок шелковой материи, обернет вокруг корпуса, опять одевается, уходит. Пришел домой, разматывает его жена, как ка-

тушку какую, – вот и приобрел!

– Важная штука!.. Только как же их там не щупают, на выходе-то?

Как можно! Рабочих, конечно, обыскивают у ворот, а с господами и обращение другое, на доверчивом начале.

– Ничего, можно дела делать... Только надо умному быть. Ежели на жадного человека, который не знает меры, – живо пропасть можно. Все-таки ведь казна!

– Будьте добры, продолжайте, – в свою очередь, перебил я, видя, что теперь увлекается уж Копыленков.

– Да-с, конечно, дело не в этом. А что просто было – это верно. Просто, просто, а только что просвещения было в нашем кругу мало, а дикости много... Из-за этого я и крест теперь несу. Видите ли, была у этого папашина товарища дочка, на два года меня моложе, по восемнадцатому году, красавица! И умна... Отец в ней души не чаял, и даже ходил к ней студент – обучением занимался. Сама напросилась, – ну а отец любимому детищу не перечил. Подвернулся студент, человек умный, ученый и цену взял недорогую, – учи!

– Напрасно, – сказал вскользь Копыленков. – Баловство! Женскому полу это ни к чему...

– Ну-с, а я был той девице, Раисе Павловне, нареченный жених. Родители наши приятели были, мы почти что и выросли вместе, и задумали отцы между собою так, чтобы непременно меня на ней женить. И мы, с своей стороны, имели друг к другу чувствительное расположение. Сначала-то, знаете, дружба, играем, бывало, вместе, а потом уж и серьезно. От родителей препятствия не видели и имели постоянно друг с дружкой обращение.

– Грех вышел? – забежал вперед Михайло Иванович.

– Никакого греха! – отрезал Кругликов холодно. – И в мыслях не было, – оба младенцы чистые. Рая до чтения была охотница, так вот в этом больше и время проводили. Сначала Гуаки там, рыцари разные, Францыль Венециян, – чувствительные истории!.. Пустяки, конечно, а нравилось: маркграфиня, например, бранденбургская, принцесса баварская, и при всем этом свирепый сераскир... Все та-

кое-этакое... Возвышенные персоны-с и все насчет любви и верности упражняются и претерпевают приключения... Конечно, головы молодые! У меня все-таки служба, а она управится по домашности, как минута свободная – сейчас в комнате своей с ногами на диванчик, в платочек завернется и читает. Под вечер – я с должности вернусь – гулять идем, под ручку-с. В Кронштадте известно какое гулянье: на крепостной вал, на Купеческую стенку, бывало, ходим, на море смотрим... Она мне и рассказывает, что за день-то прочитала. Говорит, говорит, потом и задумается.

«Вот, Васенька, говорит, какие на свете бывали любовники... Вот бы и нам с тобой этак же. Можешь ли ты в испытании, например, верность сохранить?.. Вдруг бы ко мне какой-нибудь свирепый сераскир присватался?»

Ну, я, конечно, с своей стороны:

«Могу-то я могу, да только ведь нам, говорю, ни к чему, если нас хоть завтра по родительскому приказу в соборе обвенчают...»

Смеюсь, конечно, потому что каждый день в канцелярию хожу, так и то обращение в све-

те имею, а она – дитё.

«Видишь, говорит, вон у маяка парусок бежит?»

«Вижу, бриг из-за границы идет».

«А что, говорит, может, на этом корабле пират едет: кинется вдруг, город спалит, тебе копьем грудь пронзит, меня в плен...»

Задрожит сама, испугается, жметесь ко мне. Ну, я ее опять успокою:

«Что ты, бог с тобой! Это бриг идет голландский или там аглицкой, с хлопком. Мало ли их, эгличей этих, и сейчас по улицам ходит. Конечно, буянят иной раз, так ведь и в участок недолго».

«Да, – говорит и Рая, – наша жизнь есть совсем другая... Вот и студент, Дмитрий Орестович, тоже все смеется... А мне, говорит, что-то скучно...» – И вздохнет.

Ну, подошло время уже и о свадьбе думать. Начали отцы о приданом поговаривать. Вот раз мой отец и говорит: «Женить – так женить, нечего откладывать! Я, говорит, своему даю шесть тысяч, ты сколько?»

«И я, – Раин родитель отвечает, – столько же, вместе составит двенадцать – куда им

больше?»

«Нет, – мой опять говорит, – не так! Сам подумай: мой Вася может время от времени в чины взойти, а твоя дочь какая есть, такая и останется, только что стареть будет. Тебе бы по-настоящему и десять тысяч дать не обидно...»

Слово за слово – заспорили. Тот человек горячий, а уж моего-то родителя будто муха укусила: укрепился на своем, и только. Гвоздит одно, не спускает ни копейки. Ну, тот, разумеется, осердился...

«Когда так, говорит, когда ты своего щенка над моей Раичкой на целых четыре тысячи превознес, так не надо ничего! За генерала дочку отдам, не твоему пащенку чета!»

– Нашла, значит, коса на камень, – засмеялся Копыленков.

Кругликов взглянул на него с каким-то удивлением, как будто не расслышал, и продолжал:

– Ох-хо-хо! Так-то вот из пустяков началось. Надо же вам сказать, что начальник наш, действительно, на Раю начал умильным оком поглядывать. Он хотя, скажем, не пол-

ный генерал был, да мы-то в правлении всегда его вашим превосходительством звали. Сам приказал: «Для чужих я, говорит, может, и меньше полковника, а своим подчиненным я бог и царь!»

– А что ты думаешь?.. И верно! – опять вставил Копыленков. – До бога высоко, до царя далеко, а он тебя тут завсегда ухватит... Это он правильно!

– В летах он был преклонных, бездетный вдовец, и заметьте, сколько ни сватал из равных себе, – никто за него не отдавал: наружности был самой скаредной... Ну и пала ему на глаз моя Раичка. Разумеется, она и не знала, тем более что я уж считался женихом. Из себя – дело прошлое – был хорош, росту хоть небольшого, да лицом приятен, усики там, волосы всегда напوماжены и щегольнуть любил... Да и отец-то ее сначала все-таки жалел единственную дочку. А тут как забрало его за живое, встал на дыбы, захрапел и сейчас мне от дому отказ, как шест, а генералу надежду подал... О-ох! И стала у нас в Сайдашной улице генеральская карета прокатываться...

Глаза Кругликова стали влажны, искра из-

под пепла пробилась яснее. К сожалению, он тотчас же залил ее новой рюмкой водки. Рюмка, подносящая рюмку, сильно дрожала, водка плескалась и капала на пикейную жилетку.

– А там и чаще! Пешком уж стал заходить и подарки носить. А уж я-то на порог ступить не смею: вдруг я туда, а генерал там сидит... Убиваюсь... Вот однажды иду с должности мимо одного дома, где студент этот, учитель, квартировал, – жил он во флигелечке, книгу сочинял да чучелы делал. Только гляжу, сидит на крылечке, трубочку сосет. И теперь, рассказывают, в чинах уже больших по своей части, а все трубки этой из рта не выпускает... Станный, конечно, народ – ученые люди...

Кругликов улыбнулся тихой улыбкой, встал, пошарил в какой-то шкатулке в своей темной клетушке и вынес старую книгу.

– Вот, – сказал он, – посмотрите...

Я взглянул, и на меня пахнуло давно прошедшим. Книга была издания 60-х годов, полуспециального содержания по естествознанию. Она целиком принадлежала тому обще-

ственному настроению, когда молодое у нас изучение природы гордо выступало на завоевание мира. Мир остался незавоеванным, но из-под схлынувшей свежей волны взошло все-таки много побегов. Между прочим, движение это дало нам немало славных имен. Одно из этих имен – хотя, быть может, и не из первых рядов – стояло на обложке книги.

– Они-с, Дмитрий Орестович, сочинили, – сказал Кругликов, тщательно завертывая книгу в какой-то почтовый бланк. Очевидно, он хранил ее с гордостью, как одно из своих самых лестных воспоминаний о невозвратном прошлом.

– Да, так иду мимо него, слышу, окликает: «Эй, вы, господин Венецыян, подите-ка сюда!»

Подошел я: вижу, что меня зовет... Шутник был.

«Что вам угодно-с?»

«Что вы это, говорит, маркграфиню-то бранденбургскую совсем, что ли, бросили? Ведь убивается».

Посмотрел на меня этак с головы до ног... «И то, говорит, как об этаким храбром рыцаре не убиваться...»

Вижу я, что это насмешка, а все-таки человек он был души добрейшей. Рая тоже сначала очень его боялась, потому что все больше смешком да срывом, а после очень хвалила. Я не обижаюсь и говорю ему:

«Что мне делать, Дмитрий Орестович, научите!»

«А вы, говорит, не знаете?»

«То-то, не знаю».

«Ну, так и я тоже не знаю... А все-таки должен вам передать, что Раиса Павловна ждет вас сегодня в сумерки у себя. Отца не будет, свирепый сераскир тоже в Тамбов уехал. Прощайте!»

«Посоветуйте, Дмитрий Орестович, как мне быть!»

«Ну, нет, говорит, я вам в этом деле не советчик. Я вот советовал Раисе Павловне, чтоб она бросила за окно всех сераскиров, да и Венецияна одного кстати туда же... Не слушает; а вам что и советовать...»

Грустно мне тогда, признаться, сделалось. «Что, думаю, ему в самом-то деле надо мною смеяться? Чем же я хуже других-прочих женихов, только что вот несчастлив: невеста

моя начальнику приглянулась. Так опять это вина не моя». Ну, потом вспомнил, что идти вечером с Раей повидаться, и повеселел.

В сумерки пробрался к ней... Кинулась мне Раиса Павловна на шею и заплакала. Посмотрел я на нее, не узнал. И та – и не та. Побледнела, осунулась, глаза большие, смотрит совсем по-иному. А красота... неописанная! Стукнуло у меня сердце-то. Не моя это Раинька, другая девица какая-то. А обнимает: «Вася, говорит, ми...лый, же...ланный, говорит, пришел, говорит, не за...был, не бр...»

Внезапно прилив слез подступил к глазам Кругликова, горло его сжалось спазмами. Он встал, отошел к стене и простоял несколько времени лицом к какому-то почтовому объявлению.

Взглянув на Михайла Ивановича, я с великим изумлением заметил, что и без того рыхлые черты этого не особенно сентиментального человека тоже как-то размякли, распустились и глаза усиленно моргали.

– Что уж это, – произнес он растроганно, – до чего чувствительная, право, история!.. Ну-ка ты, бедняга, чебурахни стаканчик! Ниче-

го, брат, что делать! Жизнь ваша, братец, юдоль...

Кругликов стыдливо подошел, налил, выпил и обтер лицо фуляром.

– Простите, господа почтенные, не могу... В последний раз я тогда Раичку свою обнимал. С этих пор уже она для меня Раиса Павловна стала, рукой не достать... воспоминание и святыня-с... Недостойн...

– Ну, ну, – защищался Копыленков от нового припадка чувствительности, – ты уж, братец, как-нибудь того, как-нибудь досказывай дальше. Что уже тут...

– Ну, просидели мы вечер этот. Раиса Павловна повеселела маленько.

«Полно, говорит, кого это мы, в самом деле, хороним. Ничего! укрепляйся, Васенька! Видно, и наше время настало. Помнишь ли, говорит, наш разговор на валу? Вот оно по-моему и вышло; свирепый-то сераскир – ведь это, говорит, сам Латкии и есть».

И засмеялась, а за нею я... Часто это у нас бывало; она, как солнышко из-за тучи, проясняется – ну и я, на нее глядя...

«Смотри, говорит, Васенька, укрепись; по-

кажем, какая может быть наша любовь; ты только не сдавайся, а уж я-то не сдамся. Погоди, какую я вещь намеренно купила...»

Вынимает из комода пистолетик. Так, небольшая штучка, – ну, да ведь все-таки оружие огнестрельное, не шутка. У меня даже в пятки вступило... Вот под конец вечера я эту штучку-то у нее из стола взял да тихонечко в пальто, в карман боковой, и спрятал... Спрятал, да так и забыл, да и она-то не хватилась... Сам на следующий день иду к родителю. Сидел он у себя, чертежи делал, судно они новое строили... Увидел меня, повернулся, в глаза не смотрит... Э-эх! чуял ведь, что сына губит из-за гордости своей... Да, видно, судьба!..

«Что, говорит, надо?» Я в ноги. Куда тут! и слушать не хочет. Встал я тогда и говорю: «Ну, когда так, то я нахожусь в совершенных моих летах. Женюсь без приданого».

А родитель у меня, надо заметить, хладнокровен был. Шею имел покойник короткую, и доктора сказали, что может ему от волнения крови произойти внезапная кончина. Поэтому кричать там или ругаться шибко не люби-ли. Только, бывало, лицо нальется, а голос и

не дрогнет.

«Вот, говорит, что: дурак ты, Васька, право, дурак! Говоришь, а не сделаешь... А я скажу, так уж будет по-моему. Помни это: при твоих совершенных летах я тебя отдеру, как сидорову козу...»

«Не может быть, говорю, я чиновник».

«Не веришь? Ладно».

Отворил окно, поманил пальцем... Жили у нас во дворе, во флигелечке, два брата – бомбардиры отставные, здоровенные, подлецы, усищи у каждого по аршину, морды красные... Сапожничали: где починить, где подметку подкинуть, где и новую пару сшить, а более насчет пьянства. Вошли в комнату, стали у косяков, только усами водят, как тараканы: не перепадет ли? Отец подносит по рюмочке.

«Вот, говорит, вам, господа бомбардиры, шнапсу на первый раз. Посмотрите вот на этого молодца хорошенько. Можете ли вы его моей родительскою рукой высечь?..»

Посмотрел тут младший бомбардир на старшего, а тот отвечает:

«Родительской рукой завсегда можно, – за-

кон дозволяет».

«Ну, имейте в виду на будущее время. Как сигнал выкину, сейчас вы, говорит, его на буксир, клади в дрейф, грузи с кормовой части!.. Ну, ступайте все трое!»

Прихожу после того на службу, а там говорят: начальник звал. Вхожу. Сидит на кресле один в кабинете, искоса на меня смотрит, пальцами по столу этак барабанит, молчит. Потом повернулся, поманил к себе ближе, опять на меня смотрит.

«Вы, говорит, что это... Мечтаете?»

«Помилуйте, отвечаю, ваше превосходительство, кажется, со всем усердием служу и ничуть не мечтаю. Смею ли я?..»

«Нет, говорит, я не превосходительство во все... Не стесняйтесь, молодой человек. Нынче это, говорит, в моде-с. Такие времена, что начальство нипочем! Вы, кажется, имеете намерение жениться?»

«Это, говорю, ваше превосходительство, в моем возрасте и притом с дозволения начальства дело законное».

«Так, так... А кого имеете в виду?»

Замялся я. Погрозил он пальцем и говорит:

«Вот видишь, Кругликов, совесть у тебя против начальства не чиста, небось замялся... Ну, брось, забудь об этой девице думать, отринь, говорит, всякое помышление, получше тебя жених найдется. Ступай!»

Вышел я из кабинета, слезы у меня так и текут. В канцелярии и то удивляются. Должно быть, говорят, ведомости перепутал. А уж какие тут ведомости – свет мне не мил: тут – начальник, домой придешь – бомбардиры выбегают из флигеля, на окно к отцу смотрят, нет ли сигнала... Просто некуда стало податься, и что мне делать, не знаю, потому что выходу себе не вижу. Извожусь... Отец уж сам стал замечать и бомбардирам запретил меня тревожить. Выскочили они раз за сигналом, так я весь задрожал, рухнулся оземь, изо рта пена пошла. Ну, отец видит, что испортил меня тиранством, велел оставить, подумывать стал, сделался осторожнее. А гордость-то все-таки осталась... Царствие небесное! Пока жив был, не оставлял меня. Писал три раза в год и деньги сюда посылал. Перед смертью письмо прислал: «Простишь ли, сын мой, что я тебя несчастным сделал?..» Бог простит, конечно.

Меня-то вот... меня-то никто не простил...

– Ну? – прервал опять Копыленков тяжелое, хотя и недолгое молчание, и Кругликов продолжал рассказ:

– Враг-то мой видит, что я ослаб, тут и вздумал насесть. Через неделю этак или маленько поболее зовут меня к начальнику. Встречает серьезно.

«Одевайся! Помни, говорит, Кругликов, что мне нужны подчиненные, которые бы со всею преданностью... А кто, говорит, не предан, такие терпимы быть не могут...»

– Понятное дело! – одобрил эту сентенцию Копыленков. Кругликов опять пропустил это замечание мимо ушей и продолжал:

– Ну, сели мы... сели-с и поехали... А куда именно поехали, так этого я, милостивые мои господа, подумать не мог... В Сайдашнюю улицу, к Раисе Павловне...

– Зачем? – невольно вырвалось у меня.

Кругликов посмотрел на меня с выражением, в котором смешивалась старая печаль и тщеславие.

– Сватом-с, – ответил он не без гордости.

– Бог знает, что вы это рассказываете нам,

Василий Спиридонович!

– Нет, не бог знает что-с, а истинную правду... Потому что, видите ли-с... Раиса Павловна пожелала. «Если же, говорит, вы можете так утверждать, что он от меня отступился, то присылайте его сватом...»

– Ну и девка же... Ах, бедовая! – не выдержал опять Копыленков.

– И вы пошли? – спросил я с невольной укоризной.

– Да ведь повез... – застенчиво ответил рассказчик и затем с внезапной резкостью повернулся к Копыленкову: – А вы, милостивый государь, не можете ничего понимать! Замечания делаете, а понятия чувств не имеете-с.

– Очень нужно еще и понимать-то тебя, – отразил неожиданную атаку озадаченный купец.

– Ну и м-м-малчи-те-с, – отрезал Кругликов каким-то скрипучим голосом и опять повернулся ко мне.

– Да, милостивый государь... Как изволите справедливо говорить-с, я и поехал... По-ехал-с... После тоже везли меня, для объявления приговора... называется публичная

казнь, на площади-с... А было мне все-таки легче. Верьте мне, легче было... А все-таки поехал-с. Люди видели, как мы оба в Сайдашной улице выходили из кареты. Генерал были сумрачны, а уж на мне-то и лица не было... Да!.. И все-таки поехал-с, милостивый государь! Судите об этом, как ваше понятие дозволяет, а поехал-с... Что делать!.. Только входим мы в переднюю, а навстречу как раз Дмитрий Орестович, студент. Увидел нас, остановился, поглядел на меня и говорит: «Ну, так и знал. Хорош, нечего сказать, принц венецианский... И свирепый сераскир тут же», – это про генерала.

Кругликов вздохнул и улыбнулся.

– Резкий человек был, бесстрашной породы. Генерал так даже позеленел и говорит ему: «Я вам, молодой человек, не сераскир! Не сераскир-с, а государя моего статский советник! Прошу не забывать-с...» Дмитрий Орестович повели этак плечом и говорят: «Ну, там какой бы ни было, а что напрасно беспокоитесь, это верно». И вышел, а генерал повернулся ко мне: «Помни, говорит, ты это: никогда я тебе этого не забуду, ни-ког-да-с...» Вот,

милостивые господа, какова правда на свете... Студент нагрубил, а Кругликов отвечай!..

Однако, между тем, прошли мы гостиную, входим к Раисе Павловне... Сидит моя Рая, генеральская невеста, глаза наплаканные, большие, прямо так на меня и уставилась... Опустил я глаза... Неужто, думаю, это она, моя Раинька? Нет, не она, или вот на горе стоит, на какой-нибудь высочайшей... Ну, стал я у порога, а генерал к ручке подошел. «Вот, говорит, вы, королевна моя, сомневались, а он и приехал!..»

Приподнялась она, оперлась руками на столик, глядит на меня, будто узнать не может. Генерал тоже повернулся, смотрят оба, а я... стою в Раиной комнате... у порога-с.

«Васенька...» – хотела, видно, сказать что-то, потом откинулась на кушетку и засмеялась...

«А что, говорит, можете вы его в лакеи к себе определить?» Генерал и обрадовался: «Могу, говорит, если вы, моя королевна, пожелаете...»

«Что ж, говорит, возьмите, только жалованьем, говорит, не обижайте...»

У г-на Кругликова что-то вдруг сдавило горло. Он опустил голову, скрывая от нас лицо, и в комнате водворилось молчание. Даже Копыленков только глядел на писаря широко открытыми, как будто удивленными глазами, не смея нарушить тишину, наполненную тяжким сознанием глубокого человеческого унижения...

Наконец Кругликов перевел дух и посмотрел на меня каким-то свинцовым, тусклым взглядом.

– Вот тут-то, – сказал он с расстановкой, – вот в эту самую минуту, в меня, милостивый государь, и вступило. Точно я ото сна очнулся. Гляжу: комната знакомая, будто сейчас еще мы в ней с Раичкой вечером сидели. На кушетке сидит сама она, лицо закрыла, перед ней генерал семенит, а рядом столик открытый... И вспомнилось мне вдруг, как я оттуда пистолетик вынул. Да ведь он, думаю, и теперь в пальто у меня в кармане лежит... Повернулся тихонечко, вышел в переднюю. Пистолетик в боковом кармане прикорнул, будто вот дожидается. Вынул я его и, помню, даже засмеялся.

Пошел опять назад, гороплюсь, как бы, думаю, генерал-то лицом к двери не повернулся... Повернись он, кажись, ничего бы этого не было. Да нет, Раиса Павловна плачут, лицо закрыли, генерал руки от лица отымает. Вошел я, Раиса Павловна отняла руку, взглянула да так и замерла. А я... ступил два шага... только бы, думаю, не повернулся... И раз-раз в него... сзади...

– Убил? – в ужасе приподнялся Копыленков.

– Нет, не убил, – с вздохом облегчения, как будто весь рассказ лежал на нем тяжелым бременем, произнес Кругликов. – По великой ко мне милости господней выстрелы-то оказались слабые, и притом в мягкие части-с... Упал он, конечно, закричал, забарахтался, завизжал... Раиса к нему кинулась, потом видит, что он живой, только ранен, и отошла. Хотела ко мне подойти... «Васенька, говорит, бедный... Что ты наделал?..» – потом от меня... кинулась в кресло и заплакала.

«Господи, говорит, сзади... подкрался... какая низость... Уйдите, говорит, оба, оставьте меня...» И все пуще да пуще и плачет, и смеет-

ся... Истерика! А тут и люди сбежались. Ну, дальше-то известно что: арестовали.

– Ну, выпьем! – сказал Копыленков. – Все, что ли? Очень уж страшно. Ах, братец ты мой! И отчаянные же вы, право, отчаянные!.. Как это вы можете только...

– Сужден старым судом, без снисхождения. Может быть, теперь бы... муку бы мою во внимание взяли, что я был человек измученный... А тогда всякая была вина виновата. Услали. Отец в год постарел на десять лет, осунулся, здоровьем ослаб, места лишился, а я вот тут пропадаю.

– А Раиса Павловна?

Господин Кругликов встал, вошел в свою каморку, снял со стены какой-то портрет в вычурной рамке, сделанной с очевидно нарочитым старанием каким-нибудь искусным поселенцем, и принес его к нам. На портрете, значительно уже выцветшем от времени, я увидел группу: красивая молодая женщина, мужчина с резкими, характерными чертами лица, с умным взглядом серых глаз, в очках, и двое детей.

– Неужели это?..

– Они-с, – сказал Кругликов почтительно. – Раиса Павловна. А это их супруг, Дмитрий Орестович. Не забывают. К новому году жду письма-с. И портрет этот прислали по униженной моей просьбе, да и... деньгами когда... то же самое...

Он говорил почтительно, как будто это была не та Рая, с которой он некогда читал о королевнах Ренцывенах и Францылях Венецианских. Только когда он указывал на старшую девочку, тоненькую, светловолосую, с большими мечтательными глазами, то голос его опять слегка дрогнул.

– Похожа... две капли воды Раиса Павловна девочкой-с.

Он быстро взял портрет, к которому потянулся было заинтересованный Копыленков, унес в свою комнату и долго стоял там у стены, как прежде перед почтовым объявлением.

Вся фигура в кургузом пиджачке нервно вздрагивала...

VIII

После этого никакие уже разговоры не клеились. Сторож принес в печку дров, в ямщицкой юрте огромный камелек тоже весь заставили дровами, так как огонь разводится на всю ночь. Пламя разгорелось и трещало. В приоткрытую дверь все еще виднелись у огня фигуры ямщиков, лежавших вокруг камелька на скамьях.

Ат-Даван успокоился на ночь.

Господин Кругликов отвел нам соседнюю комнату, где Копыленков тотчас же заснул. Станционная комната осталась незанятой.

– Для Арабина? – спросил я.

– Да, – как-то особенно угрюмо ответил Кругликов.

Женщина, прислуживавшая нам, вероятно, давно спала; поэтому г-н Кругликов хлопотал сам: он накидал в самовар мелкого льду, бросил углей и поставил его, на случай, у камелька. Потом принялся убирать со стола, причем не преминул, уставляя бутылки, выпить еще рюмку какого-то напитка. Он становился все более мрачен, но, казалось, сон со-

всем не имел над ним власти.

Наконец на Ат-Даване все смолкло. Только по временам снаружи трещал мороз да в потемневших комнатах, по которым пробежали теперь только трепетные красноватые отблески пламени, слышались глухие шаги и шлепанье валенок, а порой тихо звенела рюмка и булькала наливаемая жидкость. Г-н Кругликов, которому расшевелившиеся воспоминания, по-видимому, не давали заснуть, как-то тоскливо совался по станции, вздыхал, молился или ворчал что-то про себя.

Я забылся...

.....

.....

Когда я очнулся, была все еще глухая ночь, но Ат-Даван весь опять жил, сиял и двигался. Со двора несся звон, хлопали двери, бегали ямщики, фыркали и стучали копытами по скрипучему снегу быстро проводимые под стенами лошади, тревожно звенели дуги с колокольцами, и все это каким-то шумным потоком стремилось со станции к реке.

В соседней комнате г-н Кругликов не торопясь зажигал свечи; серная спичка сначала

кинула синеватый, мертвенный свет, потом вдруг загорелась и осветила комнату.

Господин Кругликов поднес ее к светильне, зажег свечу и повернулся. Перед ним невдалеке стояла новая фигура: человек в оленьей дохе с капюшоном, запорошенный снегом. Из-под оленьего мешка глядели два черных глаза, слегка скошенные, как у карыма, виднелось бледное лицо, тонкий нос и длинные, черные, опущенные книзу усы. По этим чертам я узнал Арабын-тойона, которого с таким тихим трепетом и смирением ждал Ат-Даван уже несколько дней. И в то же время это был мой знакомый, казацкий хорунжий, незначительный и застенчивый в Иркутске.

По-видимому, первый выход обещал, что все сойдет благополучно. Арабин, очевидно, сильно устал, может быть, от дороги, а может быть также – от роли грозного Арабын-тойона... Казалось, он хочет просто отдохнуть, напиться чаю, прилечь... Теперь он стоял, слегка опустившись, с сонным лицом, в ожидании света. Только по временам в мутных глазах загоралось нетерпение... Зато с г-ном

Кругликовым произошла резкая перемена: он совсем не был похож на того маленького, невзрачного и смешного человечка, который еще вчера униженно просил пожалеть его и не требовать лошадей. Теперь он был угрюм, серьезен и сдержан. Движения его были неторопливы и полны какой-то решимости. Он даже как будто вырос. По-видимому, вчерашний рассказ, большое количество водки, пары которой только проходили через его голову, разгоряченную старыми растревоженными воспоминаниями, и ночь без сна, – все это не прошло для г-на Кругликова даром.

– Черт возьми! – произнес Арабин нетерпеливо. – Шевелись там!

– Покорнейше прошу потише, здесь проезжающие, – спокойно отвечал Кругликов.

Арабин снимал свою шапку, и когда снял ее, то в его черных глазах сверкнуло что-то вроде изумления. Однако он все еще, по-видимому, старался удержаться.

– Самовар! – буркнул он, кидая доху и сядя к столу.

– Готов.

– Лошадей!

– Пожалуйте прогоны.

Голова Арабина, низко остриженная, с тонкими, слегка торчащими по-монгольски ушами, повернулась тревожно и живо. В глазах сверкнуло уже что-то порезче простого удивления. Он поднялся и произнес опять:

– Лошадей, живо!

– Прогоны пожалуйте, – с каким-то вызывающим спокойствием отрезал г-н Кругликов.

Вблизи меня что-то зашевелилось. Проснувшийся Копыленков, полусидя на кровати, старался без шума натянуть какую-то принадлежность костюма с таким видом, будто на станции начинался пожар или неприятельское нашествие. Его шея была вытянута, простодушно-хитрые глаза сверкали в полутьме от испуга и любопытства.

– Н-ну, что-то будет, – наклонясь вдруг ко мне, прошептал он, – беда!.. И отчаянный же этот Кругликов... Помни, братец ты мой, мы с тобой ничего не видали – в свидетели еще попадешь...

Только теперь, после этих слов, я сообразил положение вещей... Спрашивать у г-на

Арабина, известного и грозного Арабын-тойона, прогоны, да еще таким решительным тоном, да еще как условие подачи лошадей, – это была со стороны смиренного, приютившегося под дикими горами Ат-Давана неслыханная дерзость. Арабин вскочил, сердито дернул к себе сумку, выхватил какую-то бумагу и порывисто швырнул ее Кругликову. По всему было видно, что он, усталый и разбитый, хочет удержаться в известных пределах, что ему теперь тяжела и неприятна роль грозного Арабын-тойона в этот поздний час, на теплом и освещенном Ат-Даване. Но он не хотел также платить прогоны, тем более что эта тихая, смиренная Лена имеет одну особенность: заплати г-н Арабин на Ат-Даване – и его престиж сразу падет, и уже всюду, на протяжении трех тысяч верст, ямщики от станка до станка разнесут известие, что улахан Арабын-тойон сдался и платит... И всюду уже с него неотступно потребуют тоже прогонов. Он, вероятно, надеялся еще, что Кругликов забыл, кто он такой, и бумага ему напомнит. Но вышло еще хуже.

Кругликов, все так же не торопясь, развер-

нул бумагу, прочитал ее внимательно, долго переводил глаза от строки к строке и потом сказал:

– Здесь вот сказано: «на четверку лошадей за установленные прогоны». А вы берете шестерку под две повозки и не изволите платить прогонов. Незаконно-с...

Голос его звучал тоже спокойно, но он как будто разнесся по всему Ат-Давану. Шум, которым был полон станок, приостановился, ямщики теснились с робким интересом к дверям, ведущим из ямщицкой в горницы. Копыленков притаил дыхание.

Арабин встрепенулся, окинул станок вспыхнувшим взглядом, выпрямился, стукнул кулаком по столу, и по лицу его пробежало злое выражение.

– Молчать! – крикнул он. – Это что... бунт?

– Никакого бунту-с, а по закону. По указу его императорского величества. Что, в самом деле, до коих пор...

Кругликов не успел окончить. Сильный удар свалил его с ног... Арабин кинулся было к лежащему...

Я вбежал в ту комнату и остановился. Ара-

бин стоял против меня, удивленный моим неожиданным появлением. Это, вероятно, спасло и Кругликова, и самого Арабина от дальнейших последствий его исступления. Бледное лицо его подергивалось, в глазах бегало что-то беспокойное и больное. Казалось, казацкий хорунжий, забывший на Лене о том, что он только казацкий хорунжий, и сам уже отвык представлять себя иначе, как Арабын-тойоном, могучим и грозным, с головой выше приленских сопок. И вдруг мое появление перенесло его в Иркутск, в низкую комнату, где голова хорунжего далеко не достигала потолка и не поднималась выше десятков других, самых обыкновенных голов.

Однако Ат-Даван не заметил ни этой растерянности, ни этого душевного движения. Он видел только удар, видел, что писарь лежал на полу. Двери из ямской захлопнулись, на дворе опять началась беготня. Из нашей комнаты слышался притворный храп Михайла Ивановича...

Очевидно, бунт в Ат-Даване прекратился, и Арабын-тойон остался для Ат-Давана тем же могучим и грозным, о котором недавно пела

песня.

Через несколько мгновений Кругликов поднялся с полу, и тотчас же мои глаза встретились с его глазами. Я невольно отвернулся. Во взгляде Кругликова было что-то до такой степени жалкое, что у меня сжалось сердце, – так смотрят только у нас на Руси!.. Он встал, отошел к стене и, прислонясь плечом, закрыл лицо руками. Фигура опять была вчерашняя, только еще более убитая, приниженная и жалкая.

Женщина торопливо внесла самовар, искаса и с жалостью кинув на хозяина быстрый взгляд... Арабин, тяжело дыша, уселся за самовар.

– Я вам пок-кажу бунтовать! – ворчал он. Дальше разобрать было трудно. Слышно было, однако, какое-то упоминание о «свидетелях», которым г-н Арабин советовал отправиться ко всем чертям, о чести мундира и еще что-то в том же роде.

IX

Между тем в полутьме нашей комнаты Михайло Иванович Копыленков спешно заканчивал свой туалет. Через несколько минут он появился в дверях, одетый, застегиваясь, покашливая и стараясь изобразить на лице приветливую улыбку. Арабин взглянул на это неожиданное появление с выражением сердитого недоумения. По-видимому, он не мог понять сразу, что нужно этому улыбающемуся, подпрыгивающему на ходу и кланяющемуся незнакомцу, однако приятные улыбки и поклоны озадачивали его и предупреждали вспышку не утихшей еще свирепости. Он подносил слегка дрожащею рукой блюдце с горячим чаем и искоса недоброжелательно следил за маневрами Копыленкова.

– Вам что надо? – вдруг отчеканил он резко, ставя блюдце на стол.

Копыленков чуть-чуть дрогнул, но тотчас же опять принял прежнее выражение подловатой любезности.

– Собственно, ничего-с. Почтение засвидетельствовать... Не изволили признать, вид-

но... У Лев Степановича, у горного исправника, если изволите вспомнить, имели разговор и даже-с... дельце одно происходило...

– А-а! Ну, так, – произнес Арабин, опять принимаясь за чай. – Теперь помню.

– Именно-с, – обрадовался Копыленков. – А могу побеспокоить вопросом, по какому поручению изволите?..

– Не ваше дело!

– Это справедливо, – смиренно согласился Михайло Иванович. – Может, касающее секрету...

Бедняга не мог понять, что самое упоминание об Иркутске, о горном исправнике, обо всех этих будничных делах не могло быть приятно Арабын-тойону, все еще находившемуся в эпическом, сказочном мире.

– Справедливо-с, – в раздумье еще раз произнес Копыленков и, чтобы удержать позицию, прибавил: – Сердиться изволили тут мало-мало... Да уж истинно, что в здешних местах ангел – и тот рассердится. Верно.

Он покосился в сторону Кругликова и вздохнул:

– Необразованность!

Однако и это не помогло. Арабин не обратил на него внимания, допил стакан, вынул книжку, что-то записал в ней, потом торопливо оделся, рванулся к двери, потом остановился, взглянул, нет ли в дверях кого-либо из ямщиков, и, будто обдумав что-то, вдруг резким движением швырнул деньги. Две бумажки мелькнули в воздухе, серебро со звоном покатилося на пол, Арабин исчез за дверью, и через минуту колокольчики бешено забились на реке под обрывом.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что все мы, трое безмолвных свидетелей этой сцены, не сразу сообразили, что это значит. Как всегда в денежных вопросах, первый, однако, догадался Копыленков.

– Уплатил! – произнес он с величайшим изумлением. – Слышь ты, Кругликов? Ведь это, смотри, прогоны. Ах ты, братец мой!.. Вот так история!

Из ямщиков никто не был свидетелем этой уступки со стороны грозного Арабын-тойона.

Х

Поздним утром следующего дня мы с Копыленковым опять усаживались в свой возок. Мороз не уменьшался. Из-за гор, синевших в морозном тумане за рекой, бледными столбами прорывались лучи восходящего солнца. Лошади бились, и ямщики с трудом удерживали озябшую тройку.

На Ат-Даване было грустно, серо и тихо. Кругликов, подавленный обрушившеюся вчера невзгодой, угнетенный и приниженный, проводил нас до саней, вздрагивая от холода, похмелья и печали. Он с каким-то подобострастием подсаживал Копыленкова, запахивал его ноги кошмой, задергивал пологом.

– Михаил Иванович, – произнес он с робкою мольбой, – будьте благодетель, не забудьте насчет местечка-то. Теперь уж мне здесь не служить! Сами видели, грех какой вышел...

– Хорошо, хорошо, братец! – как-то неохотно ответил Копыленков.

В эту минуту ямщики, державшие лошадей, расскочились в стороны, тройка подхватила с места, и мы понеслись по ледяной до-

роге. Обрывистый берег убежал назад, туманные сопки, на которые я глядел вчера, – таинственные и фантастические под сиянием луны, – надвигались на нас теперь хмурые и холодные.

– Ну, что ж, Михаил Иванович, – спросил я, когда тройка побежала ровнее, – доставите вы ему место?

– Нет, – ответил Копыленков равнодушно.

– Но почему же?

– Вредный человек-с, самый опасный, да!.. Вы вот рассудите-ка об его поступках. Ну, захотел он тогда, в Кронштадте-то в этом, начальника уважить – и уважь! Отказался бы вчистую от невесты и был бы век свой счастлив. Мало ли их, невестов этих. От одной отступился – взял другую, только и было. А его бы за это человеком сделали. Нет, он, вот посмотрите, как уважил... из пистолета! Ты, братец, суди по человечеству: ну, кому это может быть приятно? И что это за поведение за такое?.. Сегодня он вас этак уважил, а завтра меня.

– Да ведь это давно было. Теперь он не тот.

– Нет, не скажи! Слышал, чай, как он вчера

с Арабиным-то разговаривал?..

– Я слышал: требовал прогоны, – это его обязанность.

Копыленков повернулся с досадой ко мне.

– Ведь вот умный ты человек, а простого дела не понимаешь. Прогоны!.. Нешто он ему одному не платил? Чай, он, может, сколько тысячей верст ехал, нигде не платил. На вот, ему одному подавай, велика птица!

– Обязан платить.

– Обязан! Кто его обязал-то, не вы ли с Кругликовым со своим?

– Закон, Михайло Иванович.

– За-а-кónн... То-то вот и он вчера заладил: закон. Да он знает ли еще какое это слово: «закон»?

– Какое?

– А такое: раз ты его скажи, десять раз про себя поддержи, пока не спросят. А то, вишь ты, развеличался: «Закон, по закону!..» Дубина ты, а не закон тебе! Нашелся тоже большой человек – начальнику законы указывать...

Видя, что Михайло Иванович начинает сердиться свыше всякой меры, и опасаясь, чтоб окончательно не испортить дела, я по-

пробовал зайти, в интересе Кругликова, с другой стороны.

– Однако вспомните, Михаил Иванович, ведь вы же ему обещали.

– Мало ли что обещал... Разжалобился, оттого и обещал...

– Подымай! – крикнул вдруг Михайло Иванович, так как возок, скользя с наклонной льдины, опять опрокинулся, и опять Михайло Иванович очутился подо мной.

Пришлось выйти. Вероятно, в этом месте борьба реки с морозом была особенно сильна: огромные белые, холодные льдины обступили нас кругом, закрывая перспективу реки. Только по сторонам дикие и даже страшные в своем величии горы выступили резко из тумана, да вдали, над хаотически нагроможденным торосом, тянулась едва заметная белая струйка дыма...

Это, должно быть, и был Ат-Даван.

1892

Марусина заимка

Очерки из жизни в далекой стороне

I. Уголок

Мы ехали верхами по долине Амги. Лошади бежали тихою «хлынью» по колеям якутской дороги.

Эти дороги совсем не похожи на русские, укатанные телегами и лежащие «скатертью» между зелеными полосами. Здесь дороги утаптываются лишь копытами верховых лошадей. Две глубокие борозды, отделенные межником, по которому растет высокая трава, лежат в середине. Они одинаково глубоки и рисуются ясными линиями пыльного дна. Если едут двое – они плетутся рядом под ленивые разговоры о наследных происшествиях, о покосах или приезде начальства. Трое в ряд ездят уже гораздо реже, четверо уже выстраиваются двумя парами, одна за другой. Поэтому несколько пар боковых дорожек намечаются все слабее и слабее, теряясь едва за-

метными линиями в буйной траве.

Травы в этот год были роскошные. Якут, ехавший навстречу, виднелся нам за поворотом лишь своей остроконечной шапкой, приподнятыми рукавами своего кафтана, и порой только встряхивалась над зеленой стеной голова его лошади. Он разминулся с нами, обменявшись обычными приветствиями, и, прибавив шагу, скоро совсем исчез среди волнующегося зеленого моря...

Солнце висело над дальней грядой гор. И летом оно стоит в этих местах невысоко, но светит своими косыми лучами почти целые сутки, восходя и заходя почти в одном месте. Земля, разогреваемая спокойно, но постоянно, не успевает значительно охладиться в короткую ночь, с ее предутренним туманом, и в полдень северное лето пышет жаром и сверкает своей особенной прелестью, тихой и печальной...

Дальние горы, обвеянные синеватою мглою, реяли и, казалось, расплавлились в истоме. Легкий ветер шевелил густые травы, пестревшие разноцветными ирисами, кашкой и какими-то еще бесчисленными желты-

ми и белыми головками. Нашим лошадям стоило повернуть головы, чтобы схватить, даже не нагибаясь, пук сочной травы с межника, – и они бежали дальше, помахивая зажатými в губах роскошными букетами. Кое-где открывались вдруг небольшие озерки, точно клочки синего неба, упавшие на землю и оправленные в изумрудную зелень... И от всей этой тихой красоты становилось еще печальнее на сердце. Казалось, сама пустыня тоскует о чем-то далеком и неясном в задумчивой истоме своего короткого лета.

Мы миновали небольшую кучку юрт, расположившихся на холме над озером, и зеленый луг опять принял нас в свои молчаливые объятия. Горы другого берега уже не туманились, а проступали осками каменистых оврагов, нащетинившихся остроконечными верхушками лиственниц. Слева все ближе подступали холмы, разделенные узкими луговинками, и пади, по которым струились тихие речки амгинского бассейна. По этим речкам ходили «вольно, нехранимо» табуны кобылиц, принадлежащие якутским «богатырям» родовичам, успевшим и здесь, на лоне

почти девственной природы, захватить лучшие уголки божией земли.

По временам в ущельях глухо раздавался топот конских копыт, и табун, одичавший и отъевшийся на жирных травах, выскакивал из пади на луговину, привлеченный ржанием наших лошадей. Кобылицы, подняв уши и охорашиваясь, выказывали явное любопытство, но вожак-жеребец, тотчас же вытянув, как рассерженный гусь, свою длинную шею и почти волоча по траве роскошную гриву, — делал широкий круг около стада, вспугивая легкомысленных красавиц и загоняя их обратно. Когда кобылы, не смея послушаться и делая вид, что они сами очень напуганы, скрывались опять за речкой, в глубине ущелья, сторожевой жеребец выбегал оттуда обратно и, все тряся головой и расстилая гриву, грозно подбегал к нам, зорко и пытливо высматривая наши намерения. Наши лошади вздрагивали от нетерпеливого желания завязать дружеские или враждебные отношения с себе подобными, и нам приходилось тогда усиленно прибегать к нагайкам. Жеребец, проводив неведомых гостей с полверсты, весело возвра-

щался обратно к своему гарему, а наши лошади уныло опускали головы и ленивою хлынью продолжали бежать по роскошным пустынным лугам. Становилось еще скучнее, тихая и безмолвная красота пустыни томила еще больше, молчание ее еще гуще насыщалось какими-то реющими, как туман, желаниями и образами. Глаз беспокойно искал чего-то в смеющихся даях. Но навстречу попался только ленивый дымок юрты над озером, или якутская могила – небольшой сруб вроде избушки с высоким крестом – загадочно смотрела с холма над водой, обвеянная грустным шепотом деревьев...

– Посмотрите-ка, – сказал вдруг мой товарищ, задерживая повод разбежавшейся лошади.

Мы давно ехали узкой дорожкой, две-три колеи которой чуть-чуть взрезали зеленую целину роскошного луга. Где-то мы сбились, очевидно, с проезжей дороги, но мало заботились об этом, так как горы того берега легко могли служить нам указанием. Теперь навстречу нам выросла молодая ярко-зеленая

лесок, над вершинами которого уже исчезали меловые скалы. Наша дорожка внезапно вбежала в пространство, обнесенное с двух сторон городьбой, кое-где даже плетнем, не часто употребляемыми в этих местах, и вскоре дымок засинел перед нами на зеленой стене леса.

Мы оглядывались с удивлением: пашни, хотя и нечастые, составляют, однако, обычное явление в этих недалгих улусах, но огородов якуты совсем еще не знают. Кое-где, правда, проезжая по наслегам, мы встречали клочки земли, старательно обнесенные высоким палисадом или тыном и напоминавшие вдали от жилья кладбища или старые языческие мольбища, огражденные от взоров посторонних. Но это были только наслежные огороды. Один из губернаторов, прекрасодушный немец, большой знаток и любитель огородничества, предписал строжайшими циркулярами, чтобы по всем наслегам были заведены огороды. Якуты в точности исполнили волю начальства – отвели по клочку земли и обнесли крепчайшими частоколами, оставив лишь один вход, запиравшийся на замок, ключ от

которого вручался особому выборному лицу. Дальше, однако, дело не шло. Губернатора давно уже нет, но до сих пор тщательно огражденные пустые участки свидетельствуют об его попечениях. Следы межников и грядок давно исчезли под необыкновенно буйной порослью белены и чертополоха, защищенных от лугового ветра...

Теперь перед нами лежал настоящий, отлично разделанный огород. Высокие грядки уже зеленели ботвой картофеля и кудрявыми султанчиками моркови. Бледно-зеленая капустаная рассада торчала рядами в неглубоких лунках, еще темных от обильной поливки. По кольям навивался горох, в небольшом срубе примитивного парника уютно зеленели побеги огурцов, видимо тщательно оберегаемых от утренних коротких, но резких заморозков. Невдалеке волновалась нивка колосившейся озими.

Но что всего более удивило нас – это небольшая избушка, стоявшая посреди этого заколдованного уголка. Это была не юрта с наклонными стенами и не сибирский «амбар» с прямым срубом и плоской земляной

крышей, а настоящая малорусская хатка с соломенной стрехой и тщательно обмазанными стенами. Только окна частью из слюды, частью из осколков стекла, вставленных в узорно вырезанную берестяную рамку, отличали это жилье от какой-нибудь черниговской или полтавской «хатынки». Изумленный неожиданностью взгляд невольно искал колеса с семьей аиста на крыше и высокого «журавля» криницы. Но вместо аистов над поляной носились северные орлы с пронзительным криком молодого жеребенка, а в кринице, видимо, не было надобности: в нескольких десятках саженой за избушкой, тяжело отражая безоблачное небо, лежало небольшое озерко. На середине его, точно раскиданные кем-то черные комья, дремала стайка уток, беспечно уткнув головы под крыльями...

Утки были дикие, лес был лиственничный, сибирский, чуждый и этой хатке, с ее соломенной крышей, и этим грядкам...

Мой товарищ, природный украинец, приподнялся на стременах, и лицо его даже слегка покраснело под слоем загара. Он смотрел

кругом, но никого и ничего не было видно. Ветер тихо шевелил соломою крыши, чуть-чуть шелестела тайга, и жалобный переливчатый крик орленка или коршуна один резко нарушал тишину. Казалось, вот-вот сейчас дрогнет что-то и вся эта иллюзия малороссийского хуторка на дальнем севере расплывется, как дымное марево...

– Эй, а хто тут в бога вируе? – крикнул мой спутник на родном языке, на котором, впрочем, не говорил при мне еще ни разу.

Что-то зашуршало под тыном, вплоть около нас.

– Ой, лішенько! – сказал как будто испуганный женский голос, и худощавое молодое лицо с черными глазами вдруг поднялось над заплотом. Лицо было смугло, голова повязана по-малорусски «кичкою», глаза быстрые, живые и несколько дикие смотрели с выражением любопытства и испуга. Было ясно, что женщина, застигнутая врасплох появлением незнакомых людей, нарочно притаилась под плетнем в надежде укрыться от непрошенных гостей.

– Здоровеньки були, – весело сказал мой

товарищ.

Незнакомка кивнула головой, и в ее выразительных глазах любопытство ясно пересилило испуг. Она поднялась над заплотом и наклонилась, оглядывая нас быстрым сверкающим взглядом, от голов до копыт наших лошадей... По-видимому, этот осмотр не разъяснил ей ничего: ее тревога не усилилась и не рассеялась, а любопытство оставалось неудовлетворенным. Но в ее черных глазах все-таки мелькало скорее нерасположение. Видимо, смуглянка надеялась, что мы спросим, как выехать на проезжую дорогу, и отправимся своим путем далее.

Но мы не торопились и к тому же были слишком заинтересованы.

– Чья эта хатка? – спросил мой товарищ.

– А вам на що? – ответила незнакомка вопросом и неохотно прибавила: – Ну, Степана та моя.

«Что же вам еще нужно и почему вы не уезжаете?» – как будто говорил ее неприветливый взгляд.

Но имя Степана заинтересовало нас еще больше. Мы уже не раз слышали об этом посе-

ленце, слышали также, что у него отличное хозяйство и красивая хозяйка. Об этом рассказывал, между прочим, в один из своих приездов в слободу заседатель Федосеев, человек добродушный, веселый и порядочно распущенный. Он считался, между прочим, большим донжуаном. Однако на игривую шутку почтового смотрителя на этот раз он слегка покраснел, как-то озабоченно поднял брови и покачал головой.

– Ну, нет, батюшка, ошиблись, – сказал он серьезно. – У них там, на озере, настоящая... настоящая... как это, господа, говорится по-книжному?..

– Идиллия? – подсказал кто-то из нас.

– Ну, вот-вот! Да и Степашка этот из себя молодец. Сюда попал за бродяжество, а видно, что ухорез. В случае чего – головы, подлец, не пожалеет... И притом считает себя как бы в законе...

– Медведь их, что ли, в тайге обвенчал, – не унимался смотритель.

– Черт их знает... По бродячеству, говорит, венчаны... Обряд будто бы тоже какой-то...

– Уж будто вы так и отступились? – сказал

смотритель насмешливо. Федосеев наморщил брови, покраснел и с досадой пожал плечами.

В пустынных местах удельный вес человека, в особенности человека хоть чем-нибудь выделяющегося, – вообще больше, и имя Степана «с озера» или с «Дальней заимки» произносилось в слободе с оттенком значительности и уважения. «Мы с Степаном довольно знакомы», – хвастливо говорили поселенцы, а якуты весело кивали головами: «Истебан биллем» (Степана знаем)... Совершенно понятно, что теперь, когда мы случайно попали к этому человеку, нам не хотелось уезжать от его заимки, не познакомившись с хозяином.

– А где же сам Степан? – спросил я, оглядываясь и подыскивая предлог остаться.

– Немá Степана. У слободу поехал, – ответила молодая женщина как-то торопливо. – Не скоро и воротится...

И ее черные глаза впились в мой верблюжий кафтан с разводами на полях, какие носят приискатели. Казалось, человек в таком кафтане в особенности не мог рассчитывать на ее снисходительность.

– Ну, езжайте с богом, – закончила она бес-

церемонно. – Немá и немá Степана. Где ж мне его взять... А вам здесь оставаться не можна.

Мы переглянулись с товарищем, и он уже было тронул лошадь, как вдруг на озере, на другом берегу, грянул выстрел. Взвился белый дымок, утки, скорее изумленные, чем испуганные, тяжело подымались над водой, взмахивая серповидными крыльями, с трудом уносившими грузные тела. Орлята заржали неистово и злорадно; по озеру, оживляя сонную поверхность, засверкали круги, и на минуту тревожная суэта наполнила весь этот тихий угол.

Но только на минуту. Круги скоро улеглись, вода выгладилась, стая уток скрылась за верхушками леса... Только на самой середине неподвижно лежали две убитые птицы, а от берега отчаливал небольшой плот. Стрелок торопливо толкался шестом, по временам прикрывая глаза рукою и глядя из-под ладони по направлению к нам.

– Эге!.. Скоро же Степан вернулся из слободы, – засмеялся мой товарищ. Но молодая женщина, нисколько не сконфузившись, пожала плечами и посмотрела на нас откровенно.

но неприязненным взглядом.

Между тем стрелок, подобрав уток, причалил к берегу, соскочил с плота и торопливо направился к нам, перескакивая через городьбу и шагая через грядки. Подойдя на несколько шагов, он отдал женщине ружье и кинул на землю уток.

– Милости просим, господа, – сказал он, вежливо снимая шапку. – Слезайте с коней.

– Да нам тут объявили, что вас нет дома, – сказал мой спутник, улыбаясь. Степан посмотрел на женщину быстрым и гневным взглядом, но она встретила этот взгляд беззаботно и вызывающе.

– Опять ты, Маруся, за старое... Дура, – грубо сказал Степан. – Ну, ставь чайник, живее... Птицу возьми! Пожалуйте, господа! Мы хорошим людям рады...

Женщина быстро нагнулась и подняла птицу, а затем еще раз окинула нас своим диким взглядом. По-видимому, какой-то оттенок в обращении Степана заставил ее задуматься, и только мой кафтан по-прежнему внушал сомнение. В конце этого вторичного осмотра она все-таки улыбнулась, вскинула

на плечи ружье, и ее стройный стан быстро замелькал между грядками. Босые загорелые ноги, видневшиеся из-под короткой юбки, привычно и ловко ступали по глубоким и узким огородным межам.

– Извините, господа! Дикая она у меня, – сказал Степан с оттенком самодовольства, заметив, что мы любуемся его Марусей. – Она, видите, думала, что вы – приискатели.

– А если бы приискатели? Так что же?

– Звали тут меня... в приисковую партию, – ответил он, глядя как-то в сторону... – Дайте-ка я ваших лошадей привяжу. Пожалуйста вот сюда.

И он пошел впереди, ведя в поводу лошадей. Это был человек высокого роста, с широкими плечами и стройным тонким станом. У него были светло-голубые глаза, светло-русые волосы и почти совсем белые усы, странно выделявшиеся на сильно загорелом красном лице. Его можно было бы назвать красавцем, если бы не тусклость точно задернутого чем-то взгляда и не эти слишком уже светлые усы на темном лице. Губы у него были полные, с какой-то странною складкой – грубоватой и

портившей довольно благоприятное общее впечатление. Во всей фигуре чувствовалось что-то уже как бы надломленное, не вполне нормальное, хотя и сильное. Родом он, как оказалось после, был с Дона.

II. «Бродяжий брак»

Через полчаса мы лежали на сочной траве, невдалеке от избушки. На земле потрескивал костер, и в железном котле закипала вода.

Кругом опять вошла в колею жизнь пустыни. Орлята и коршуны заливались своим свистом и ржанием, переливчатым и неприятным, по ветвям лиственниц ходил ленивый шорох, и утки, забыв или даже не зная о недавней тревоге, опять лежали черными комьями на гладкой воде озера.

Маруся, казалось, готова была примириться с нами. Она вступила в роль хозяйки, поставила чайник и уселась было около Степана, ожидая, пока вода закипит у огня. При этом исподлобья она взглядывала на нас с выражением застенчивого любопытства. Но мой товарищ, в свою очередь окинув ее присталь-

НЫМ ВЗГЛЯДОМ, СКАЗАЛ:

– А вы, землячка, кажется, из-под Чернигова? Или с Полтавщины?

Молодая женщина вся вздрогнула, как от внезапного удара. По лицу ее пробежала резкая судорога, она с ненавистью взглянула на неосторожного допросчика и быстро поднялась на ноги. При этом она нечаянно толкнула чайник и, не обращая внимания на то, что вода лилась на угли, скрылась в дверях избы.

Степан слегка нахмурился и, поправив чайник, сказал:

– Теперь уж не подойдет... И чай пить не станет... Напрасно спросили.

И, поправив несколько заглохший огонь, он прибавил задумчиво:

– Всегда вот этак. Теперь я уже и не спрашиваю... Плачет... Или ударится о землю... Пена изо рта, как есть порченая! Так и сам не знаю, – откуда она родом...

Он замолчал. Фигура молодой женщины мелькнула около избышки и скрылась в другом конце огорода. Через некоторое время оттуда донесся мотив какой-то песни. Маруся пела про себя, как будто забыв о нашем при-

сутствии. Песня то жужжала, как веретено в тихий вечер, то вдруг плакала отголосками какой-то рвущей боли... Так мне, по крайней мере, казалось в ту минуту.

– Марья! – крикнул было Степан. – Ну, иди, что ли! Что в самом деле: не съели тебя...

Женщина не ответила, но песня смолкла. Всем нам стало томительно и неловко.

– Эх... некстати маленько спросили, – сказал опять Степан. – Может, обошлось бы. Она ведь у меня занятная... Иной раз разойдется, песни заиграет...

– А когда вы с нею встретились? – спросил я, чтобы поддержать разговор. – И если вам не неприятно, расскажите, как это вы венчались бродяжьим браком?

– Слышали, значит? – спросил Степан, встрепенувшись. – Нет, что же... У меня этого нет... Да что! Здесь такая сторона: никому нет дела! Я даже письма из дому получал...

В его лице появились признаки оживления. Видимо, воспоминания, на которые навел его мой вопрос, не были ему неприятны. Он только оглянулся в сторону Маруси и сказал, немного понижая голос:

– Если вам рассказать, например, всю историю, как мы с нею сошлись, то это даже очень любопытно... Дело-то, если говорить по порядку, начинается с каторги. Значит, ранней весной выбежали мы с товарищем с Н-ских рудников. Только снег прошел... Речки еще играли. Ну, сначала скрывались поблизости, в тайге, подобно как звери. Бедствовали сильно. Потом выбились-таки на дорогу, к Чите подходить стали, месяца уже через полтора. Дождь, помню, шел с ночи... А дождь перестанет – туман... Так на горах и висит. Ну, дело по бродяжеству привычное. Идем, отряхаемся. Дождь, дескать, вымочит, ветер высушит. Наплевать! Третий тут еще к нам прикомандировался, бродяжка тоже... Иваном назвался. Только верст этак, может, на десять от городу вдруг из тумана двое на нас: «Стой, что за люди?» Потом посмотрели и говорят: «Нет, не те. Также варначье, да нам на этот раз не надобны. Черт с вами». И побежали дальше. Опомнились мы, перекрестились... «А ведь это, братцы, – говорит нам товарищ, – тревога! Непременно из замка кто-нибудь убежал. Надо нам с дороги-то податься в сторону». –

«Давайте, – я говорю, – пойдём лучше за нами. Эти не тронули, а на других наткнёмся, ещё бог знает...» Ну и пошли мы в ту самую сторону, куда эти двое побежали...

А в эту ночь, действительно, Маруся ещё с подругой одной – из острога убежали. Редкость это, конечно, что женщины бегут, ну, тут, правда, помощь им была... В Читку пришли они в партии. Сами знаете, каково женщине в нашем быту...

– Да, подлость большая! – угрюмо сказал мой товарищ.

– Каторга верховодит, – пояснил Степан. – Продаёт баб, как скотину, в карты на майда не проигрывают, из полы в полу сдают. Ну а она вдобавок – бедовая, непокорлива. И теперь знак есть: ножиком один пырнул. Как уж там было, бог её знает, только слюбилась с одним... Тот ухарь был тоже, в обиду уже не давал. Вместе и в Забайкалье пришли. Ему на поселение, ей – в каторгу, только он так порешил, что им не расставаться. Ну, они две с подругой – в лазарет слегли, под видом болезни, а он билет взял и уже около тюрьмы рыщет... Сговорились. Лазарет к тому же по случаю пе-

рестройки был за оградой... У Даши тоже друг был, высидочный, и тоже с нею бежать надумал. Вот раз эта Даша и говорит надзирателю: «Принеси четверть вина». – «Рад бы, говорит, принести, да без старшого нельзя». А старшой... сказать вам...

Он запнулся, слегка покраснел, кинул быстрый взгляд в ту сторону, где мелькала над грядками фигура Маруси... Она полола, и до нас опять долетало жужжание ее тихой песни. Степан некоторое время молчал, наткнувшись в рассказе на неожиданное препятствие. Мы не решались торопить его.

– Ну! – сказал он наконец, потрянув головой. – Что уж тут, сами понимаете: каторга не свой брат. Так уж... что было, чего не было... только в этот вечер пошел у них в камере дым коромыслом: обошли, околдовали, в лоскуложили и старшого, и надзирателя, и фершала. Старшой так, говорили, и не очухался... Сами знаете, баба с нашим братом что может сделать... А тут о головах дело пошло... При том же – сонного в хмельное подсыпали...

Он остановился и затем продолжал уже свободнее:

– А на дворе дождь... Так и хлыщет, пылит, ручьи пошли. Мы эту погоду клянем в поле, а им самое подходящее дело. Темно. Дождь по крыше гремит, часовой в будку убрался да, видно, задремал. Окна без решеток. Выкинули они во двор свои узелки, посмотрели: никто не увидал. Полезли и сами... Шли всю ночь. На заре вышли к реке, куда им было сказано, смотрят, а там – никого!

Друзья-то, значит, сплоховали! Сошлись к вечеру у притонщика да, может, вспомнили, что теперь в лазарете делается. Ну, с горя хватили. Известно, слабость. Там еще бутылочку... Захмелели, да так, подумайте, и проспали ночь!.. На заре прокинулись: в городе уже тревога, выйти нельзя!

Так они от них и потерялись. Этим ждать нельзя, тем нельзя выйти. Перешли они реку, пошли тайгой на милость божию. А мы на тот случай тоже от греха сошли с дороги, идем лесными тропками. Стали опять на дорогу выбиваться, только третий товарищ отстал: прошлогоднюю ягоду все искал под кустами. Догоняет он нас и говорит: «Послушайте, братцы, что я скажу вам: тут вот две женщи-

ны в тайге сидят и плачут». – «Что ты, бог с тобой, каким тут женщинам быть». – «Не знаю, говорит, только юбки на них серые, арестантские». Удивились мы, а тут смотрим: вышли и они на тропу и остановились. Испугались, конечно. Ну, только все-таки мы пошли, они за нами. И подойти боятся, и отстать страшно...

Мы идем, смеемся себе. Выбились на проселок. Дождь кончился, от нас на солнышке пар валит. Встретили сибиряка, трубочки закурили, потом сошли в овражек и сели. Они подошли, остановиться-то уж им неловко, идут мимо, потупились.

«Здравствуйте, говорим, красавицы». – «Здравствуйте». – «Кто вы такие будете?» – «Поселки... Идем в такую-то волость».

И называют, действительно, волость, которая впереди. Научены. Ну, однако, я спрашиваю дальше: «Где же вы судились?» – «В Ирбите». – «А за что?» – «За бродяжество. От мужей». – «Ну, уж это, говорю, извините, неправильно. Ежели бы вы в Ирбите судились за бродяжество, то надо вам не на поселение, а в каторгу. В Камышлове – дело другое». Слово

за слово, спутались они, заплакали. «Не обижайте, говорят, нас, господа!» – «Мы обижать никогда не согласны. Сами обижены, ну только понимаем мы так, что из-за вас была тревога. Как же теперь: хотите с нами дальше идти?» – «Нам, говорят, с вами вместе никак нельзя... Идите вы вперед, мы уж как-нибудь, ежели не хотите обижать, за вами. Потому что мы не какие-нибудь и могут нас наши друзья догнать...»

Пошли мы этак. Идем впереди трое, я и говорю: «Вот что, господа. Ежели придется так, что нам этих женщин взять себе – как быть: их две, нас трое». Вот Иван, который после пристал, и говорит: «Берите себе, ребята, мне не надо. Мне и одному трудно, и годы не те. Не интересуюсь я. Они вместе шли, вы тоже вместе, вам и кстати. А я, может, отстану скоро». Справедливый был бродяга, нечего сказать. Ну, это, говорим, хорошо. Без спору. Теперь нам двоим разбираться. «Ты, говорю, товарищ, как хочешь?» – «Насчет чего?» – «Которую взял бы?» – «А ты?» – «Обо мне речь впереди. Говори сам». – «Ну, я, говорит, ту, которая повыше». Вот дело. Мне-то, признаться,

Марья сразу в глаз пала...

Пошли. Они за нами идут. Конечно, дело женское. Нам и для них стараться надо. Запас вышел. В деревни, на заимки заходим, под окнами милостыню просим, кондаки эти тянем. Добываем и на себя, и на них. Чай станем варить – вместе сойдемся. Ночевать – уж они где-нибудь захоронятся... Шли этаким родом с неделю. Стали к Селенге подходить. Перевалили в одном месте через гору. Смотрим: на бережку люди сидят, дымок у них; видно, что бродяги, плот готовят, человек шесть. Вот Иван подозвал женщин и говорит: «Глупо вы это делаете: друзья ваши, может, попались, может, запили, след потеряли. Теперь, ежели в артель ничьи войдете, ведь это грех выйдет из-за вас. Хотите с этими людьми дальше идти – говорите». Ну, они, конечно, видят, что это правда. Со старыми друзьями дело разохлось... Притом же, обзнакомились мы. Когда пошутим, когда посмеемся. Видят, что мы с ними по-благородному, не пьяницы, не буяны. Говорят: согласны.

Так мы и к артели этой пристали. Те нам рады: река быстрая, плыть трудно.

– А насчет женщин как же? – спросил мой товарищ.

– Что ж насчет женщин? – ответил Степан. – Пришли мы к ним уже не чужие... При том же артель.

– Ну, в тюрьмах тоже артели, – сказал тот скептически. – Знаем мы артели ваши!

– Знаете, да, видно, не все, – несколько обиженно ответил Степан. – Конечно, в тайге, с глазу на глаз... Тут иной подлец из-за бродней товарища не пожалеет. Ну, что касается в артели, да если есть старики... Вы вот послушайте дальше. Тут, можно сказать, дело у нас помудренее вышло, невесть как и расхлебывать-то пришлось бы... А обошлось благородно.

Сгоношили мы немаленький плот, – рассказчик опять повернулся ко мне, – поплыли вниз по реке. А река дикая, быстрая. Берега – камень, да лес, да пороги. Плыдем на волю божию день, и другой, и третий. Вот на третий день к вечеру причалили к берегу, сами в лощине огонь развели, бабы наши по ягоды пошли. Глядь, сверху плывет что-то. Сначала будто бревнушко оказывает, потом ближе да

ближе – плотишко. На плоту двое, веслами машут, летит плотик, как птица, и прямо к нам.

«Здравствуйте, говорят».

«Здравствуйте».

«Можно к вашему огню присесть?»

«Садитесь, если вы добрые люди...»

«Мы, говорят, вашего поля ягоды. Гонимся за вами сколько время, насилу догнали».

«Что же вам за надобность? Мы вас не знаем».

«Может, кто и признает... Все ли вы тут в сборе?»

«Не все в сборе: две женщины вот по ягоды пошли».

«Ну, подождем. Придут они – мы свое дело скажем».

Посидели, поговорили о разном. О деле ни слова. Как тут глядим: идут и наши женщины из лесу. Только стали к берегу подходить, гляжу я: встала моя Марья как вкопанная. Лицо белее рубашки. Дарья посмотрела, только руками всплеснула.

«Ну, вот, – говорят гости, – спросите теперь у этих женщин, знают ли они нас? Может, от-

рекутся».

Признаться, упало у меня сердце: ежели, думаю, теперь отдать мне ее другому, лучше не жить...

Дарья, посмелее, вышла вперед и говорит:

«Не отрекаюсь. Вы с нами в партии шли, из тюрьмы вызволяли. Зачем потеряли?»

«Мы потеряли, другие нашли. Чья находка? – говорит один повыше. – Вас тут семеро, нас двое... Какая будет ваша правда? Посмотрим мы, а отступиться не согласны».

Я говорю: «Мы, братцы, тоже не отступимся. Будь что будет». Ну, старики нас развели и говорят: «Вот что. Вы, ребята, к нам недавно пристали, а тех и вовсе не знаем. Но как у нас артель, то надо рассудить по совести. Согласны ли? А не согласны, – артель отступится. Ведайтесь, как знаете...»

Мы, делать нечего, согласились, те тоже. Стали старики судить, Иван с ними. Те говорят: «Мы с ними в партии шли. На майдане купили, деньги отдали, из тюрьмы вызволяли». Мы опять свое: «Верно, господа, так. А зачем вы их потеряли? Мы с ними, может, тысячу верст прошли не на казенных хлебах, как

вы. По полсутки под окнами клянчили. Себя не жалели. Два раза чуть в острог не попали, а уж им-то без нас верно, что не миновать бы каторги».

Старики послушали наши споры, потом потолковали между собой и говорят нам:

«Все ли вы, ребята, с этими женщинами на поселении жить соглашаетесь или дорогой идти, потом бросить?»

Мы, конечно, говорим: согласны жить.

«Ну, так мы, дескать, вот как обсудили. Майдан теперь вспоминать ни к чему. Это дело тюремное, на воле этот закон не действует. Из тюрьмы вы их вызволяли, так опять след потеряли от своей слабости. Опять это ни к чему. Ни на которую сторону не тянет. Спросим теперь самих женщин».

– Догадались все-таки! – усмехнулся мой товарищ.

– Это, конечно... правильно, – сказал Степан. – Ну, призвали женщин. Даша заплакала: «Ежели бы вы, говорит, след не потеряли. Мы сколько время шли с ними, они нас не обижали...» А Марья вышла вперед и поклонилась в пояс.

«Ты мне, говорит, в тюрьме за мужа был. Купил ты меня, да это все равно. Другому бы досталась, руки бы на себя наложила. Значит, охотой к тебе пошла... За любовь твою, за береженье в ноги тебе кланяюсь... Ну, а теперь, говорит, послушай, что я тебе скажу: когда я уже из тюрьмы вышла, то больше по рукам ходить не стану... Пропил ты меня в ту ночь, как мы в кустах вас дожидались, и другой раз пропьешь. Ежели б старики рассудили тебе отдать, только б меня и видели...»

Тот только потупился, слова не сказал. Видят, что дело их не выгорело. Один и говорит: «Я теперь в свою волость пойду», а другой: «Мне идти некуда. Одна дорога – бродяжья. Ну, только нам теперь вместе идти нехорошо. Прощайте, господа». Взяли котелки, всю свою амуницию, пошли назад. Отошли вверх по реке верст пяток, свой огонек развели.

Долго я ночью не спал, на их огонек глядел. Темною ночью огонь кажется близехонько. Думаю: на сердце у него нехорошо теперь. Если человек отчаянный, то, может, огонь у него горит, а он берегом крадется... Ну, однако, ничего. Наутро – еще гор из-за тумана не

видно – мы уж плот свой спустили...

Он замолчал.

– Ну а как же вы сюда-то вместе попали?

– Это уже дело проще. Зимовали у сибиряка в работниках. На другую весну опять пошли. Довел я ее до Пермской губернии. В Камышлове арестовались, показали на одно имя... Судят за бродяжество в каторгу, а за переполнением мест – в Якутскую область. В партии уже вместе шли, все равно муж и жена...

III. Пахарь Тимоха

Долгий летний день все еще горел своим спокойным светом, только в воздухе чувствовалось постепенное охлаждение. Зной удалялся незаметно вместе с блеском и яркостью красок.

Степан предложил поохотиться на гусей. Мой товарищ согласился. Я отказался и пошел от скуки пройтись по лесу. В лесу было тихо и спокойно, стоял серый полумрак стволов, и только вверху играли еще лучи, светило небо и ходил легкий шорох. Я присел под лиственницей, чтобы закурить папиросу, и,

пока дымок тихо вился надо мною, отгоняя больших лесных комаров, меня совершенно незаметно охватила та внезапная сладкая и туманная дремота, которая бывает результатом усталости на свежем воздухе.

Меня разбудили чьи-то мелкие шаги. Между стволов мелькала фигура Марьи; в руках у нее был платок с завязанным в нем горшком и хлебом. Очевидно, она несла кому-то ужин.

Кому же? Значит, население этого уголка не ограничивается Степаном и Марусей... Есть кто-то третий. И в самом деле, трудно было представить, что весь этот уголок разделан руками только двух человек. Для этого нужно было много упорного труда и своего рода творчества. Я вспомнил, каким тусклым и безучастным взглядом Степан смотрел на свои владения... Едва ли он играл в этом творчестве особенно видную роль. На всем здесь лежала печать Маруси, ее личности и ее родины. Но все-таки этого было недостаточно. Нужна была еще чья-то упорная сила, чьи-нибудь крепкие мускулы...

Фигура женщины исчезла между стволами. Я выкурил еще папиросу и пошел в том

же направлении, интересуясь этим неведомым третьим обитателем хутора.

Вскоре передо мной мелькнула лесная вырубка. Распаханная земля густо чернела жирными бороздами, и только островками зелень держалась около больших, еще не выкорчеванных пней. За большим кустом, невдалеке от меня, чуть тлелись угли костра, на которых стоял чайник. Маруся сидела вполоборота ко мне. В эту минуту она распустила на голове платок и поправляла под ним волосы. Покончив с этим, она принялась есть.

С ней был еще кто-то, но за кустом мне его не было видно.

Один мой знакомый, считавший себя знатоком женщин, сделал шутливое замечание, что любовь крестьянской женщины легко узнать по тому, с кем она охотнее ест. Это замечание внезапно мелькнуло у меня в голове при взгляде на спокойное лицо Маруси. С нами она была дика и неприступна; теперь в ее позе, во всех ее движениях сквозила интимность и полная свобода.

Мое положение невольного соглядатая показалось мне не совсем удобным, и потому,

отступя несколько шагов по мягкому мху, я вышел на полянку в таком месте, где меня сразу могли заметить.

Мои подозрения рассеялись тотчас же, как только, приблизясь, я разглядел собеседника Маруси.

Это был человек, которому даже при пыльном воображении трудно было навязать роль соперника удалого Степана. В то время как на последнем все было чисто и даже, пожалуй, щеголевато, — работник весь оброс грязью: пыль на лице и шее размокла от пота, рукав грязной рубахи был разорван, истертый и измызганный олений треух беззаботно покрывал его голову с запыленными волосами, обрезанными на лбу и падавшими на плечи, что придавало ему какой-то архаический вид. Такими рисуют древних славян. Возраст его определить было бы трудно: сорок, сорок пять, пятьдесят, а может быть, и значительно менее: это была одна из тех кряжистых фигур, покрытых как будто корою, сквозь которую не проступит ни игра и сверкание молодости, ни тусклая старость. Глаза, выцветшие, полинялые от солнца и непогоды, едва выделя-

лись на сером лице, и, только приглядевшись, можно было заметить в них искру добродушного лукавства.

Плохие якутские торбасишки он снял на время отдыха, и огромные ступни его торчали как-то нелепо из-под синих дабовых штанов.

– Хлеб-соль! – сказал я, кланяясь.

Он смотрел на меня несколько секунд, не отвечая, и потом сказал:

– Милости просим, хлеба кушать...

– Можно присесть?

– Садись, не просидишь места.

Маруся не обратила на меня никакого внимания. Незнакомец зачерпнул несколько раз ложкой из горшка и, еще рассмотрев меня с деловитым любопытством, спросил:

– Из каких местов будете? Расейские?

Я назвал свою губернию.

– Это что же, под Киевом?

– Да.

– Далече же, – произнес он и, отложив ложку, перекрестился. – Спасибо, хозяйка.

– А вы откуда родом?

– Мы-то? Мы калуцкие.

– А здесь давно?

– Здесь-то... Да уж, как тебе сказать, годов десятка полтора будет.

– Давно! – вырвалось у меня невольно.

– А мне, так будто и недавно. Поживешь сам годов с пяток, а там и не заметишь... Объявляли, скажем, манифесты. Мне хоть сейчас ступай куда хоть, хоть в Иркутской... Да куда пойдешь? Далеко!

Мне опять вспомнился Степан, выбежавший из каторги, прошедший с Марусей всю Сибирь, и я с невольным жутким чувством посмотрел на этого человека, напоминавшего обомшелый пенёк, выкинутый волной на неприветливую отмель.

Он вынул из кармана кисет и трубку и потом взял из пепелища горячий уголь, который, казалось, нисколько не жег его руку...

– Куда пойдешь? – сказал он, выпуская дым изо рта, и мне стало еще более жутко от этой безнадежности, потерявшей даже свою горечь... – Нет, брат, попал сюда, тут и косточки сложишь...

Он посмотрел на меня из-за клубов дыма, и какая-то мысль залегла где-то в неясной

глубине его серых глаз.

– Этаким же вот Ермолаев был, когда мы с ним в дальнем улусе встретились. Молодой... Я, говорит, здесь не заживусь... Не зажился; теперь уж борода седая...

И он опять посмотрел на меня.

– Вы это о каком Ермолаеве говорите? О Петре Ивановиче? – спросил я.

– Ну, ну, знакомцы, видно?

– Встречались.

Он откинулся спиной на пень и принял позу человека, наслаждающегося отдыхом.

– Да... жили мы с ним, – сказал он, вспоминая что-то. – Душевный человек. Ну! чудак... А не говорил он тебе про меня?

– Нет, не говорил...

– Про Тимоху-то?.. Как мы с ним в улусе землю зачали пахать?

– Нет, не говорил. А вы расскажите сами.

– Рассказать тебе?.. Пожалуй, еще не пове-ришь...

– Расскажи, – вдруг тихо и застенчиво вмешалась Маруся...

– Любит, – сказал Тимофей, усмехнувшись в сторону Маруси. – Все одно – сказку ей рас-

сказывай...

Он затянулся махоркой, посмотрев кверху, где тихо качались верхушки лиственниц и плыли белые облака, и сказал:

– Да... и верно, что сказка. Поди, в нашей деревне тоже не поверят, какие народы есть у белого царя. Значит... пригнали меня в наслег, в самый дальней по округе. А Пётра-то Иваныч там уже. Сидит... в юртешке в махонькой, да книжку читает...

В глазах рассказчика мелькнул чуть заметный насмешливый огонек.

– Ну, я, конечно, русскому человеку рад: «Здравствуйте, говорю, ваше благородие». Потому вижу: обличье барское. «Какое, говорит, я благородие. Такой же, говорит, жиган, как и вы». – «Ну, это, говорю, спасибо на добром слове. А как вас величать?» – «Пётра, говорит, Иваныч. А вас?» – А я, говорю, Тимофей, просто сказать, Тимоха, дело мое мужицкое». – «Нет, говорит, не идет это...» Чудак!.. Так и пошло у нас: я ему – Пётра Иванович... А он мне: Тимофей Аверьянович!.. А генеральской сын... Ну, хорошо. Напоил меня чаем, потом сел на ороне, смотрит на меня. Я на него смот-

рю... «Что же, говорит, теперь мы с тобой, Тимофей Аверьянович, делать будем?» – «Не знаю, говорю, Пётра Иванович. Кабы так что лошадь, да соха, да семена – землю бы пахать, чего боле! Да, вишь, нет ничего. Палкой ее не сковыряешь, песком не засеешь». – «Это бы, говорит, ничего. Об лошади дело малое, соху, пожалуй, тоже – хоть далеко – достанем. Да я сроду не пахивал». – «Это, говорю, ничего. Ты не умеешь, я умею. Уродит бог, оба сыты будем. Земли, слышь, много, земля, я поглядел, хороша».

В это время издалека донесся звук выстрела.

– Постреливает твой-то... хозяин, – сказал Тимоха с юмором, обратясь к Марусе. Мне показалось, что по лицу молодой женщины прошла какая-то тень.

– Ну, – продолжал Тимофей, – купил он лошадь, за сошником да лемехом за двести верст смахал. Сладил и соху, выбрали местечко под лесом. Здесь лес хороший, сладкий. У сосны, брат, прямо тебе скажу, никогда не паши, потому – сосновая игла едучая. А листовень много слаще... Поехал мой Пётра Ива-

ныч за семенами к скопцам, а тут как раз и ударь дожжиком, да те-еплым. Снег-то мигом съело, пошла из земли трава. Так тебе и лезет, все одно на опаре. Ну, думаю: когда так, то, видно, зевать нечего. Помолился да на зорьке выехал с сошкой... Налей-ка ты мне, хозяйка, еще чашечку.

Марья налила в чашку густого кирпичного чаю, подала Тимофею и тотчас же уставилась в него своими странными черными глазами. Тимофей налил чай на блюдце и поставил на траву, рядом с собой.

– Побился я этот день порядочно, – продолжал он, – земля-те сроду не пахана, конь якутской дикой; не то что на него надеяться: чуть зазевался, уж он норовит порскнуть в лес, да и с сохой. Известно: каковы хозяева, такова и животная. Ну, однако, обломал я его: руки вожжами мало из плеч не вытянул, а все-таки к вечеру с четверть десятины места отпластал. Посмотрел на пашенку – сердце в груди зыграло: значит, сподобил господь в пустыне пашенку поднять. Лежит моя полоска на взлобочке – бархат... Однако пора пришла и шабашить. Дело субботнее: в нашей, мол, де-

ревне, пожалуй, уже и к вечерням ударили. И ведь вот, братец мой, чудесное дело: только я это подумал, – слышу, – и верно ударило. Раз, другой, третий... этак вот из-за лесу наносит – звон, да и только. Снял я шапку лоб перекрестить, да вдруг и вспомнил: с нами сила крестная. Да ведь здесь и церкви-то верст, почитай, на пятьсот нету!..

Из груди Маруси вылетел долгий вздох.

– Ну, пошабашил все-таки, приехал домой. А изба наша, тебе сказать – юртенка, недалеко была за перелеском, с версту не более от пашни. Подъезжаю, – а у моей юрты два верхние якута сидят. Лошадей к лесине подвязали, сами на бревне беседуют, дожидаются. Раньше тоже тут все вертелись. Я, значит, пашу, а они, ухастые, кругом рыщут да смотрят. Ну, мне будто ни к чему: не на разбой выехал, на пашню. Смотри, кому охота. Подъехал, честь честью, здороваются, я тоже. Зовут на муняк (сходка) к тойонше. Сказать вам по порядку, так была в нашем улусе за начальника баба, по-ихнему тойонша, вдова родовича богатыря. Ну, язва! Все, значит, что мы ни делаем, ей известно. Я борозду кончил,

другую веду, уж ей обсказали. И значит, зовет меня к себе. Ладно, мне что: зовет, надо идти. Наутро, праздничное дело, рубаху чистую надел, иду к ней, потому все-таки, как бы там ни было, начальница считается. Прихожу. Кругом юрты лошадей навязано много. Сама на дворе сидит... Поклонился я, стал в стороне: что, мол, будет. Забалакали они по-своему, ничего, будь прокляты, не поймешь. Потом зовет меня ближе.

«Ты, говорит, нюча (русский), чего это делать задумал?»

«Ну, мол, известно чего: землю пашу». Значит, я ей говорю по-своему, по-русски, а старик якут переводит.

«Не моги, говорит, ты этого делать. Мы, говорит, хоть об этом заведении слыхивали, но, однако, в наших местах не дозволим».

«Как же, я говорю, не позволите? Ежели нам земля отведена, то, стало быть, я ей хозяин, глядеть мне на нее, что ли?»

«Землю, говорит, мы тебе отвели для божьего дела: коси, что бог сам на ней уродит, а портить не моги».

Вот и подумайте, какое ихнее понятие! Ну,

однако, вижу, стоят кругом родовичи, ждут, что ихней бабе русский человек может от себя соответствовать. «Это, я говорю, вы вполне неправильно объясняете, потому как бог велел трудиться».

«Трудись, говорит. Мы тоже, говорит, без труда не живем. Когда уже так, то согласнее мы тебе дать корову и другую с бычком, значит, для разводу. Коси сено, корми скотину, пользуйся молоком и говядиной. Только греха, говорит, у нас этого не заводи».

«Какой грех?» – говорю.

«Как же, говорит, не грех? Бог, говорит, положил так, что на тебе, например, сверху кожа, а под ней кровь. Так ли?»

«Так, мол, это правильно».

«Ежели тебе кожу снять да в нутро положить, а внутренность, например, обернуть наружу, ты что скажешь?»

«Это, говорю, вы надо мной, русским человеком, не можете никак...»

«А ты, говорит, что над землей-то делаешь? Вы, говорит, русские люди, больно хитры, – бога не боитесь... Бог, значит, положил так, что трава растет кверху, черная земля

внизу и коренья в земле. А вы, говорит, божье дело навыворот произвели: коренья кверху, траву закапываете. Земля-те изболит, травы родить нам не станет, как будем жить?» Вот видишь ты, куда повернула! Говори ты с ними, с поганью. Если бы я грамотный был... После-то уж мне сказал священник: «Ты бы, говорит, им от Писания: в поте лица твоего снеси хлеб. А откуда хлебу быть, ежели землю не пахать». Видишь ты вот: на все слово есть, да не всегда его вспомнишь... Так вот и я на тот случай ничего не мог насупротив сказать, сбила меня колдунья словами. «Мне, говорю, с вами и говорить не надобно: потому вы не те слова выражаете... У вас свой климат, значит, якутской, у меня климат руськой. Я от своего климату не отстану, и Пётра Иваныч тоже». Признаться, вступило в меня в ту пору маленько, потому досада. Сердце загорелось, главное дело, что ответить не могу. Потолкал кое-кого порядочно, даром, что много их было. «Вот, говорю, подлецы вы, нечисть лесная! Сколько вас ни есть, выходи!» Известно, народ не хлебный: молоко, да мясо, да рыба тухлая. А у нас с Пётром-то Иванычем хлеб все-

таки не переводился. Хлебному человеку – десятерых на одну руку...

– Ну и что же?

– Ну, порастолкал, ушел. Думаю так – что жизни решусь, а от своего, значит, климату не отступлюсь. Только бы Пётра Иваныч скорее вернулся. Пришел домой, лошадь напоил-накормил, богу на солнушко помолился, спать лег пораньше, топор около себя на случай положил... Ну, правду скажу: ночь без малого всю не спал: только задремишь – почувится что-нибудь... будто крадется кто... Один ведь, – кругом лесище... притом еще, как все-таки окровянил я одного, другого, так как бы, думаю, по этому случаю греха не сделали... Концы тоже спрятать недолго. Приедет мой Пётра Иваныч, где, мол, Тимофей-то свет Аверьяныч мой... А Тимохи, ау! – и след простыл.

Он остановился, чтобы отхлебнуть чаю. Видимо было, что собственный рассказ расшевелил Тимоху. Глаза его искрились, лицо стало тоньше и умнее... У каждого из нас есть свой выдающийся период в жизни, и теперь Тимофей развертывал перед нами свою героическую поэму.

Мой взгляд случайно упал на Марусю. Она как будто застыла вся в волнении и ожидании.

– В силу солнушка дождался, – продолжал Тимофей. – Ну, ободняло, выкатилось солнушко, встал я, помолился, лошадь напоил в озере, запрег. Выезжаю из-за лесу, к пашенке... Что, мол, за притча: пашни-то, братцы, моей как не бывало.

Из груди Маруси вырвался долгий вздох, почти стон... Ее лицо выражало необыкновенное, почти страдальческое участие, и мне невольно вспомнилась... Дездемона, слушавшая рассказы Отелло об его похождениях среди варваров. Тимофей, с неожиданным для меня инстинктом рассказчика, остановился, поковырял в трубке и продолжал, затянувшись:

– С нами, мол, крестная сила. Где же пашня моя? Заблудился, что ли? Так нет: место знакомое и прикол стоит... А пашни моей нет, и на взлобочке трава оказывается зеленая... Не иначе, думаю, колдовство. Нашаманили, проклятая порода. Потому – шаманы у них, сам знаешь, язвительные живут, сила у дьяволов

большая. Навешает сбрую свою, огонь в юрте погасит, как вдарит в бубен, пойдет бесноваться да кликать, тут к нему нечисть эта из-за лесу и слетается.

– Маты божая! – простонала Маруся.

Тимофей, довольный, посмотрел на нее, и его серые глаза еще больше заискрились...

– Сотворил я крестное знамение, подъезжаю все-таки поближе... Что ж ты думаешь: она, значит, бабища эта, ночью с воскресенья на понедельник народ со всего наслега сбילה... Я сплю, ничего не чаю, а они, погань, до зари над моей полоской хлопочут: все борозды как есть дочиста руками назад повернули: травой, понимаешь ты, кверху, а кореньем книзу. Издали-то как быть луговина. Примята только.

Маруся засмеялась. Смех ее был резкий, звонкий, прерывистый и неприятно болезненный. Несколько раз она как-то странно всхлипнула, стараясь удержаться, и, глядя на нервную судорогу ее лица, я понял, что все пережитое нелегко далось этой моложавой красавице. Тимофей посмотрел на нее с каким-то снисходительным вниманием. Она вся по-

краснела, вскочила и, собрав посуду, быстро ушла в лес. Ее стройная фигура торопливо, будто убегая, мелькала между стволами. Тимофей проводил ее внимательным взглядом и сказал:

– Э-эх, Марья, Марья! Пошла теперь... захоронится куда-нито, в самую глушь.

– Отчего? – спросил я.

– Поди ты! Нельзя смеяться-то ей. Как засмеется, то потом плакать. Об землю иной раз колотится... Порченная, что ли, шут ее разберет.

Я не мог разобрать, сочувствие слышалось в его тоне, сожаление или равнодушное презрение к порченной бабе. И сам он казался мне неопределенным и странным, хотя от его бесхитростного рассказа о полоске, распаханной днем, над которой всю ночь хлопочут темные фигуры дикарей, на меня повеяло чем-то былинным... «Что это за человек, – думал я невольно, – герой своеобразного эпоса, сознательно отстаивающий высшую культуру среди низшей, или автомат-пахарь, готовый при всех условиях приняться за свое нехитрое дело?»»

Несколько минут я ворочал в голове этот вопрос, но ответа как-то ниоткуда не получалось. Только легкий, протяжный и как будто мечтательный шорох тайги говорил о чем-то, обещал что-то, но вместо ответа веял лишь забвением и баюкающей дремотой... И фигура Тимохи глядела на меня без всякого определения...

– Тимофей, – обратился я к нему после некоторого молчания. – Что же, после этого вы бросили хозяйничать?

– Где бросить. Нешто можно это, чтобы бросить... Спахали опять, заборонили, я ружьем пригрозил. Ну, все-таки одолели, проклятая сила. Главное дело, – заседателя купили. Перевели нас с Пётром Иванычем в другой улус, поближе к городу. Тут ничего, жили года два...

В глазах его опять засветился насмешливый огонек, и он сказал после короткого молчания:

– Потом разошлись. Не вышло, видишь ты, у нас дело-то. Я ему, значит, говорю: «Ты, выходит, Пётра Иванович, хозяин, я работник. Положь жалованье». А он говорит: «Я на это

не согласен. Мы, говорит, будем товарищи, все пополам».

– Ну и что же? – спросил я с интересом.

– Да что: говорю – не вышло.

Он поглядел перед собой и заговорил отрывисто, как будто история его отношений к Ермолаеву не оставила в нем цельного и осмысленного впечатления...

– Отдал Ивану телку... шести месяцев. Я говорю: «Ты это, Пётра Иванович, зачем телку отдал?» – «Да ведь у него, говорит, нет, а у нас три». – «Хорошо, я говорю. Пущай же у нас три. Мы наживали... Он себе наживи!» Сердится! «Ты, говорит, мужик, значит, хресьянин. Должон, говорит, понимать». – «Ну, я говорю, ты, Пётра Иванович, ученый человек, а я телку отдавать не согласен...» – Ушел от него... К князю в работники нанялся...

– А за что вы сюда попали? – спросил я, видя, что этот предмет, очевидно, исчерпан.

– Мы-то? – Он взглянул на меня с оттенком недоумения, как человек, которому трудно перевести внимание на новый предмет разговора. – Мы, значит, по своему делу, по хресьянскому. Главная причина из-за земли. Ну

и опять, видишь ты, склёка. Они, значит, так, мир, значит, этак. Губернатор выезжал. «Вы, говорит, сроки пропустили...» Мы говорим: «Земля эта наша, деды пахали, кого хошь спроси... Зачем нам сроки?» Ничего не примает, никаких то есть резонов...

– Жена, дети остались у вас на родине?

– То-то, вот видишь ты. Жена, значит, померла у меня первым ребенком. Дочку-то бабушка взяла. Мир, значит, и говорит: «Ты, Тимоха, человек, выходит, слободной». Ну, оно и того... и сошлось этак-то вот.

Он, очевидно, не хотел вдаваться в дальнейшие подробности, да, впрочем, и без рассказа дело было ясно. Мир, бессильный перед формальным правом, решил прибегнуть к «своим средствам». Тимофей явился исполнителем... Красный петух, посягательство на казенные межевые знаки, может быть, удар слесгой «при исполнении обязанностей», может быть, выстрел в освещенное окно из темного сада...

– Вы, значит, попали сюда за мир, – сказал я.

– То-то... выходит так, что за мир... Видишь

ТЫ ВОТ.

– А мир вам не помогает в ссылке?

Он посмотрел на меня с недоумением.

– Мир-от? Да, я чаю, наши и не знают, где моя головушка.

– Да вы разве писем не писали?

– Я, брат, неграмотный. В Расее писал мне один человек, да, видно, не так что-нибудь. Не потрафил... А отсель и письмо-то не дойдет. Где поди! Далеко, братец мой! Гнали, гнали – и-и, боже ты мой!.. Каки письма! Этто, годов с пять, человек тут попадал, от нашей деревни недалёной. «Скажите, говорит, Тимофею, дочку его замуж выдали...» Правда ли, нет ли... Я, брат, и не знаю. Может, зря.

Он сидел рядом со мной, завязывая обувь, и говорил удивительно равнодушно... Я глядел на него искоса, и мне казалось только, что его выцветшие от зноя и непогод серые глаза слегка потускнели. Некоторое время мы оба помолчали. Думал ли он о далекой родине, о дочке, вышедшей неведомо за кого замуж, о мире, который не знает, где теперь «слободный человек» Тимоха, пострадавший за общее дело. Может быть, теперь никто, да-

же родная дочь, не вспоминает о нем в родной деревне, где такие же Тимохи в эту самую минуту тоже ходят за своими сохами на своих пашнях. И кто-нибудь пашет полоску Тимохи, давно поступившую в мирское равнение, как выравнивается круг на воде от брошенного камня... Был Тимоха, и нет Тимохи... Только разве у старухи матери порой защемит сердце и слеза покатится из глаз. И то едва ли: старуха, пожалуй, на погосте...

– То-то, – сказал он, помолчав. – Грешим, грешим... А много ли и всего-то земли надо? Всего, братец, три аршина.

Я понял, что для Тимохи не было утешения и в сознании, что он пострадал за общее дело: мир оставался миром, земля землей, грех грехом, его судьба ни в какой связи ни с какими большими делами не состояла...

И опять смутный звон леса затянул для меня все более определенные впечатления.

– Так и живете все? – спросил я через несколько минут.

– Так вот и живу в работниках на чужедальной стороне.

– Неужто нельзя было во столько времени

устроить своего хозяйства?

Он почесал в голове.

– Оно, скажем, того... Просто сказать тебе... оно бы можно... И женился бы. Да, видишь ты, слабость имею. Денег нет, оно и ничего. А с деньгами-то горе...

Он виновато улыбнулся.

– Четвертый год у Марьи живу. Хлеб ем, чего надо – купит... Не обидит... Не баба – золото! – прибавил он, внезапно оживляясь. – Даром что порченная... Кабы эта баба да в другие руки...

– А Степан?

– Что Степан! Вон, слышь, постреливает. На это его взять. Птицу тебе влёт сшибет, на озере выждет, пока две-три в ряд выплывут, – одной пулькой и снижет... Верно!

Он засмеялся, как взрослый человек, рассказывающий о шалостях ребенка.

– Ухорез, что и говорить. За удалство и сюда-те попал. С каторги выбежал, шестеро бурят напали – сам-друг от них отбил, вот он какой. Воин. Пашня ли ему, братец, на уме? Ему бы с Абрашкой с Ахметзяновым ста-каться – они бы делов наделали, нашумели

бы до моря, до кияну... Или бы на прииска... На приисках, говорит, я в один день человеком стану, все ваше добро продам и выкуплю... И верно, – давно бы ему на приисках либо в остроге быть, кабы не Марья.

Он помолчал и через некоторое время прибавил тише:

– Венчаться хотят... Все она, Марья, затевает. Они, положим, по бродяжеству вроде как венчаны.

Косая пренебрежительная улыбка мелькнула на его лице, и он продолжал:

– Круг ракитова кусточка, видно... Ну, ей это, видишь ты, недостаточно, желает у попа.

– Да ведь он бродяга!

– То-то и оно: непомнящий; имени-звания не объясняет. Она то же самое. Ну, да ведь... не Расея. Знаешь сам, какая здесь сторона. Гляди, за бычка и перевенчает какой-нибудь.

Он неодобрительно вздохнул и покачал головой.

– А все Марья... Не хочется как-нибудь, хочется по-хорошему... Ну, да ничего, я ей говорю, у вас не выдет... Хошь венчайся, хошь не венчайся, толку все одно ничего!.. Слышь,

опять выпалил...

– А вы, Тимофей, не любите Степана, – сказал я.

Он как будто не понял.

– Что мне его любить? Не красная девушка... По мне, что хошь... Хошь запали с четырех концов заимку...

И, окончив обувание, он встал на ноги.

– Нутра настоящего нет... человек не натуральный. Работать примется, то и гляди, лошадь испортит. Дюжой, дьявол! Ломит, как медведь. Потом бросит, умается... Работник!

Он понизил голос и сказал:

– Этто Абрашка-татарин приезжал. Она его ухватом из избы... А потом поехал я на болото мох брать, гляжу: уж они вдвоем, Степашка с татаринном, по степе-то вьются, играют... Коней менять хочут. А у Абрашки и конек-то, я чаю, краденой.

Через несколько минут он уже ходил за сохой, внимательно налегая на ручку.

– Ну, ну, не робь, – поощрял он лошадь, – вылазий, милая, копайся... Н-нет, вр-решь, – возражал он кому-то, с усилием налегая на соху, когда какой-либо крепкий, не перегни-

ший корень стремился выкинуть железо из борозды. Дойдя опять до меня, он вдруг весь ослабился радостной улыбкой.

– Пашаничку на тот год посеем. Гляди, как пашаничка вымахнет... Земля-то – сахар!

Он весь преобразился. Очевидно, в этой идее потонули для него все горькие воспоминания и тревоги, которые я расшевелил своими расспросами... И опять он пошел от меня своей бороздой, ласково покрикивая на лошадь... Скрипела соха, слышался треск кореньев, разрываемых железом, и стихийный говор леса примешивался к моим размышлениям о Тимохе, подсказывая какие-то свои непонятные речи.

У выхода из лесу, на самой опушке, взгляд мой остановила странная молодая лиственница. Несколько лет назад деревцо, очевидно, подверглось какому-то нападению: вероятно, какой-нибудь враг положил свои личинки в сердцевину, – и рост дерева извратился: оно погнулось дугой, исказилось. Но затем, после нескольких лет борьбы, тонкий ствол опять выпрямился, и дальнейший рост шел уже безукоризненно в прежнем направлении: внизу

опадали усохшие ветки и сучья, а вверху, над изгибом буйно и красиво разрослась корона густой зелени.

И мне показалось, что я понял тихую драму этого уголка. Таким же стремлением изломанной женской души держится весь этот маленький мирок: оно веет над этой полумалорусской избушкой, над этими прозябающими грядками, над молоденькой березкой, тихо перебирающей ветками над самой крышей (березы здесь редки – и ее, вероятно, пересадила сюда Маруся). Оно двигает вечного работника Тимоху и сдерживает буйную удаль Степана.

IV. Белая ночь

Матово-белая, свежая ночь лежала над лугами, озером и спящей избушкой, когда я внезапно проснулся на открытом сеновале.

– Вы не спите? – спросил меня товарищ.

– Недавно проснулся.

– Ничего не слышали?

– Нет, а что?

– Мне показалось, будто кто плакал. Вероятно, хозяйка.

– Может быть, вам почудилось?

– Едва ли. Этот Степан, должно быть, жох.

Как по-вашему?

– Вы с ним были дольше, чем я. Я только и слышал его рассказ.

– Бродяжья идиллия, – сказал он саркастически. – Вы уже, конечно, записали... Хотел бы я знать, есть ли тут хоть слово правды!

– Отчего же?

– Ну, да я знаю: у вас они все «искру проявляют». Вот и этот еще тоже с искрой, должно быть.

Он приподнялся и посмотрел на лежавшего рядом Тимоху, который, забившись лицом

в сено, храпел и вздрагивал, точно в агонии. Очевидно, этот храп не давал спать моему товарищу и, кажется, разбудил и меня. Должен сознаться, что и в позе Тимохи, и в его богатырском храпе мне тоже чудилось в эту минуту какое-то сознательное, самодовольное нахальство, как будто насмешка над нашей нервной деликатностью.

В тоне моего товарища я уловил знакомую ноту. Пустынные места и постоянное ограниченное общество, вне родственных и живых интересов, развивают особое, болезненное настроение. Разнообразие человеческой личности развертывается только навстречу разнообразию среды: без этого она застаивается и тускнеет. В таком настроении бородавка на щеке постоянного товарища, знакомый тон его голоса, слишком хорошо известные мнения вызывают глухое нерасположение, даже злобу. Припадки глубокой ипохондрии – специфическая болезнь пустынных мест, – и мы по взаимному договору старались не тревожить друг друга в такие минуты.

Поэтому, не отвечая ни слова на саркастические замечания товарища, в другое время

относившегося к людям с большим добродушием и снисходительностью, я сошел с сеновала и направился к лошадям. Они ходили в загородке и то и дело поворачивались к воде, над которой, выжатая утренним холодком, висела тонкая пленка тумана. Утки опять сидели кучками на середине озера. По временам они прилетали парами с дальней реки и, шлепнувшись у противоположного берега, продолжали здесь свои ночные мистерии...

Я пустил лошадей к воде. Обе они вошли в озеро по грудь и пили с жадностью, порой разбрызгивая воду, как бы сознательно наслаждаясь ее изобилием. По временам они подымали морды и начинали прислушиваться к чему-то в тишине белой ночи. Я тоже невольно вслушался. Из-под тихого шелеста тайги чуть внятно проступал какой-то протяжный далекий звон... По мере того как чуткое ухо ловило его яснее, он принимал все более определенные, хотя и призрачные формы: то будто мерно звенел знакомый с детства колокол в родном городе, то гудел фабричный свисток, который я слышал из своей студенческой квартиры в Петербурге... А за ними вста-

вал целый ряд таких же призраков-звуков, странно тревоживших душу каким-то щемящим очарованием.

Избушка тихо спала, тайга спокойно шевелилась и вздыхала. И вдруг какое-то жуткое по своей определенности ощущение – бессознательный вывод из накопившихся впечатлений – встало в моем воображении... Что слышится обитателям этого угла в голосах пустынной ночи или когда кругом завоет зимняя метель? Какие призраки шлет им эта чуткая, будто насторожившаяся тишина пустыни? Куда она зовет их, к чему она их манит, что обещает? Удастся ли Марусе удержать завязавшуюся жизнь этого поселка, или прав лаконический Тимоха со своими пессимистическими предсказаниями: все это не настоящее, раз сломанной душе уже не выпрямиться и чуткая враждебность пустыни одолеет ее усилия?..

В избушке скрипнула дверь. На пороге показался Степан. Он постоял несколько секунд, посмотрел на небо, потом лениво пошел в лес, захватив предварительно узду. Через несколько минут послышался резкий топот,

и Степан выехал из лесу на буланом жеребчике. Лошадь бежала как-то капризно и резво; подъехав к берегу озера, Степан спрыгнул на бегу и, напоив коня, привязал его к городьбе. Когда затем он опять подошел к берегу, глаза его были тусклы, точно чем-то завешены. Он остановился и стоял над водой молча и неподвижно. Вероятно, его тоже захватили таинственные голоса пустынной ночи. Через минуту он вздрогнул, как будто от холода...

– Свежо! – сказал я, чтобы привлечь его внимание. Он оглянулся, но как будто даже не сразу заметил меня. Потом так же машинально подошел и сел рядом со мной на бревне. Мне показался он странным, как будто даже больным. Вчера в нем было заметно оживление человека, потянувшегося навстречу новому знакомству. Теперь он покорно, без мысли отдавался какому-то внутреннему настроению...

По верхушкам леса потянулся гул от предутреннего ветра... Деревья сначала загорючили глубоким хором, потом гул рассыпался на отдельные голоса, пошептался и начал стихать.

Степан повернулся в сторону леса, как только что на мой оклик.

– Ветер, – сказал он с тем же малоосмысленным выражением и вдруг посмотрел на меня взглядом, полным глубокой тоски.

– Мочи нет, – сказал он с приливом внезапной откровенности. – Поверите, никакой возможности моей...

– Что же такое, Степан? – спросил я с невольным участием.

– Выйдешь на озеро... все эта тайга шумит... Кругом пусто... Да еще вот эти проклятые.

С неожиданной яростью он схватил ком сухой грязи и кинул в туман, лежавший над озером. Там, точно сквозь матовое стекло, виднелись неясные, увеличенные контуры птиц. Когда комок шлепнулся среди них, в туманной дымке слегка зашевелились грузные очертания...

Однако резкое движение и плеск на озере, по-видимому, несколько привели его в себя. Он сел опять и опустил голову на руки.

– Трудно здесь жить, господин...

– Ну, что ж, Степан. Вам бы и в самом деле

на прииски.

– Маруся не идет.

– Ну, вы бы на зиму уходили, а летом опять сюда... Зарабатывали бы там, и в хозяйстве подспорье. А здесь Маруся с Тимофеем справятся.

Он повернулся ко мне и долго глядел в глаза, как будто что-то выпытывая.

– Нет, господин... Это нельзя... Это уже значит... кончено...

Потом, помолчав, он спросил:

– А вы Тимофея откуда знаете?

– Вчера был у него на расчистке.

– И Марья там была?

– Была.

– Ну-ну! Вы не смотрите на него, на Тимофея. Парень не простяк...

И опять ко мне повернулись светлые глаза на еще более потемневшем лице. В них теперь ясно проступило выражение ненависти. Я подумал, что это та же знакомая нам болезнь пустынных мест и ограниченного общества... Только враждебные чары пустыни произвели уже более глубокие опустошения в буйной и требующей сильных движений ду-

ше. В эту минуту из троих обитателей заимки к настроению Степана я почувствовал наиболее близости и симпатии.

Опять скрипнула дверь, показалась Маруся. Потом неуклюжая фигура Тимохи сползла по лестнице с сеновала. Маруся принялась доить коров, Тимоха запряг лошадь и привез к огороду огромное полубочье воды для поливки. Замычали коровы и телята, на заимке начинался день... Небо над верхушками гор слабо окрашивалось, но мы находились еще в длинной тени, покрывшей всю равнину... Кроме того, по небу развесилась топкая подвижная пелена тумана...

Часа через полтора мы выехали с заимки втроем. Степан ехал с нами. У его седла висели большие кожаные переметы – очевидно, его путь был не близок. Лицо его было опять спокойно, даже весело.

Доехав до проезжей дороги, он указал нам наше направление, а сам повернул к реке. Через некоторое время мы увидели на другой стороне ее небольшую темную точку, подымавшуюся по меловым уступам крутого берега.

– Зачем это его понесло за Нелькан? – задумчиво спросил мой товарищ.

– А вы знаете, что он поехал туда?

– Да. Говорит – к попу. Врет, должно быть! Какие у него дела с попами? Правду сказать, подозрительна мне вся эта идиллия.

– Думаю, что вы ошибаетесь, – сказал я, не вступая, однако, в спор. Мне вспомнились слова Тимофея о желании Маруси. В той стороне, куда ехал теперь Степан, лежали дальние якутские улусы, а затем – тунгусская пустыня, в которой нет ни церквей, ни приходов в нашем смысле... Кое-где только, в тайге, стоят наглухо заколоченные часовенки, открывающиеся к редким приездам священников. Эти бродячие пастыри постоянно объезжают свое стадо, рассеянное на невообразимых пространствах, венчая супругов, у которых давно бегают дети, крестя подростков и отпевая умерших, кости которых давно истлели в земле. Удаленность от епархии и постоянные узаконенные обычаем отступления от канонических правил делают их особенно снисходительными к разного рода формальным препятствиям, и я догадался, что, вероят-

но, Степан направляется к такому попу, прикочевавшему, быть может, к границе своего огромного прихода, чтобы удовлетворить заветному желанию Маруси.

Скоро темная точка на горной тропе исчезла... Наши лошади бежали опять колеями якутской дороги, срывая сочную траву с луговыми цветами...

V. Война

Я ничего не узнал о результате переговоров Степана с попом.

Степан и Марья были два раза в слободе и останавливались у нас, как уже знакомые. Степан оживлялся на людях, Маруся была по-прежнему молчалива и необщительна. Год выдался плохой, хлеб во многих местах побило ранними заморозками, но у Маруси все уродилось хорошо. Ее огурцы, которые она солила каким-то особенным способом, пользовались известностью даже в городе, и случилось – за ними приезжали нарочные казаки за полтора верст. Этому не следует удивляться: расстояния совсем не пугают в этих дальних, редко населенных местах. Один аме-

риканский путешественник по Сибири с удивлением рассказывал в своей книге, как однажды около Колымска его нагнал посланный губернатором казак, чтобы почтительно вручить ему портсигар и круг мороженого масла, забытые им на станции в Якутске. А от Якутска до Колымска более полутора тысяч верст!

Впрочем, по большей части Маруся сбывала свои продукты поляку-торговцу, который торопился доставить их приискателям. Дела свои она вела спокойно, деловито и твердо.

– Кремень баба! – говорил о ней торговец, причем в тоне его слышалось благоволение к красивой смуглянке и уважение к хорошей хозяйке.

Степан без особого дела бродил по слободе, заходил к татарам и приценивался к лошадям, делая вид, что хочет выменять своего буланка. Иной раз он возвращался к ночи чуть-чуть навеселе, но не пьяный. Вообще я приглядывался к своим гостям и спрашивал себя с удивлением: неужели то, что мелькнуло передо мной в белую ночь на дальнем озере, – только моя фантазия?..

Между тем незаметно подходила осень. Уже с августа утренники крепко стискивали землю. К середине дня она едва успевала оттаять под косыми лучами солнца, как уж с ранних сумерек ее опять начинало примораживать. Воздух был чист и прозрачен, звуки неслись отчетливо, ясно, далеко, копыта лошадей звонко стучали по голой, но уже скованной земле...

В один из таких дней телега Маруси и Степана опять остановилась у наших ворот. День был холодный и ясный, кроме того, была суббота, и на улице виднелись кучки татар. Прямо против нашего двора, на завалинке, сидел мой сосед, татарин Абрашка, тот самый, которого Маруся выпроводила от себя ухватом. Он был навеселе и как-то иронически окликнул Степана, когда тот стал снимать жерди наших ворот. В татарской фразе мне послышалось также имя Маруси.

Молодая женщина сохранила презрительное молчание. По ее лицу можно было подумать, что она даже не слышала. Но лицо Степана внезапно вспыхнуло, белокурые усы и брови выступили резко и неприятно. Он ни-

чего не ответил и стал вводить лошадь в открытую городьбу.

Абрашка громко засмеялся. Его поддержали сидевшие рядом соседи.

Абрам Ахметзянов был человек в своем роде замечательный. Как сам он, так и его жена Гарифа, которую, впрочем, в слободе называли Марьей, совсем не были похожи на монголов. У него было круглое лицо, очень смуглое, правда, но с мягкими правильными чертами, и большие, ласкающие, добрые глаза... Она же представляла из себя типическую русскую красавицу, несколько располневшую, с бойким и, что называется, «бедовым» взглядом. Абрашка любил ее до безумия, но про нее говорили, что она нередко ему изменяла. Однажды ночью, вернувшись неожиданно домой, он зачем-то стрелял около своей юрты. Говорили на другой день, что меховая шапка некоего Абдула Сабитуллина оказалась простреленною дробинами и что только густо вышитая тубетейка спасла его лысую голову. Сабитуллин был богатый старик... Некоторое время он опасался ходить мимо избы Абрама, а однажды последний, неожиданно встретясь

с ним на улице, кинулся на него, как кошка. Старого Абдула едва вырвали из рук иступленного Абрашки. Но я видел Абрама и Марью на третий день после выстрела: она держала себя с таким же сознанием своей опьяняющей, чувственной красоты, а он смотрел на нее таким же покорно влюбленным взглядом.

Он пользовался репутацией самого отчаянного головореза и ловчайшего вора. Я долго не хотел верить этому. Он был нашим ближайшим соседом и нередко оказывал мне и моим товарищам соседские услуги. При этом в глазах его светилось такое простодушное расположение, что я не мог примирить с этим молву об его подвигах. Только однажды, после какого-то нового двусмысленного происшествия с Марьей, он сильно пил несколько дней и пришел ко мне под вечер возбужденный и несколько дикий.

Некоторое время он сидел на лавке, глухо стонал, покачивался и глядел перед собой мутным взглядом. Потом взгляделся в меня и, как будто узнавая, где находится, сказал:

– А! вот это я у кого. Так! Слушай, русский,

что я тебе буду говорить.

– Говори, Абрам, что тебе нужно?

– Уезжаете вечером... приезжаете ночью...

Дом бросаете пусто...

– Так что же?

– Тронули у вас что-нибудь татаре?

– Нет, не тронули.

– Водки поставь... Одну бутылку. Выпей, брат, с Абрашкой!..

– Нет, Абрам, – ответил я по возможности спокойно. – Водки я не поставлю.

– Почему не поставишь?

– Ты сам знаешь: мы к вам водку пить не ходим. Чаю, если хочешь, заварю, а откупаться от вас мы не станем.

В глазах Абрама промелькнуло сознание.

– Что ты! Брат! – сказал он как-то страстно. – Неужто, сохрани бог, я за этим. Абрам Ахметзянов не каплужник... Пьян только Абрашка. Сердце загорелось... водки надо... много водки надо. А Марья, брат, не дает...

Последнюю фразу он произнес каким-то жалким шепотом. Потом, внезапно поднявшись, он подошел ко мне, положил руку мне на плечо и, крепко сжав его, наклонил ко мне

свое пылающее лицо. Глаза его были такие же добрые, только стали как будто больше и искрились почти восторженно...

– Что вы за люди? – сказал он. – Я не знаю, что вы за люди... А я вот какой человек... Ах, бр-рат!.. Ежели бы мне не Марья... давно бы я себе каторгу заработал!

Я был поражен глубиной и непосредственностью этого восклицания. Тут была и тоска о пропадающей удали, и глубочайшая нетронутая уверенность, что, каковы бы там ни были еще люди и взгляды, все-таки наиболее стоящий человек тот, кто смело носитя по самым крутым стремнинам жизни... Только оступись... попадешь прямо на каторгу.

Только в эту минуту я понял настоящим образом Ахметзянова со всей его «невинной» преступностью, – право, я не подыщу тут другого слова... С этими взглядами Абрам вырос и сжился. Он чувствует в себе силы для крупной роли в родной сфере, а между тем приходится тратить их на мелкие подвиги баранты и воровства, в то время как его имя могло греметь наравне с именами Никифорова и Черкеса – весьма известных в те годы на Лене

спиртоносов и хищников золота... Я понял также, почему Тимоха ставил имя Степана рядом с Абрашкой... В жизни обоих «бабы» играли почти одинаковую роль, и, как это часто бывает, Абрам Ахметзянов презирал Степана за то самое, за что, вероятно, презирал и себя...

В этот самый день Степан все-таки зашел к Ахметзянову, который занимался корчемством. Ушел он туда в отсутствие Марьи, но она вернулась от торговца раньше. В лице ее я заметил какое-то нервное беспокойство. Она ждала, тревожно прислушиваясь, и внезапно вздрогнула, когда снаружи донесся к нам глухой смешанный шум.

Я вышел на двор и увидел Степана. Необыкновенно возбужденный, он быстро шел от избы Абрама. Видимо, он сейчас выдержал свалку с кучкой татар, которые скалили зубы и смеялись вдогонку.

Дойдя до середины улицы, он обернулся и погрозил кулаком.

– Посмеетесь вы у меня, погодите! – бормотал он, уже войдя в наш двор и не обращая внимания на меня.

Не заходя в избу, он вывел плохо отдохнувшую лошадь и стал запрягать ее в телегу.

– Куда вы так торопитесь, Степан? – спросил я.

– Надо домой... Только вот как бы снег не застиг. – Он глазами указал на небо.

Я тоже взглянул кверху. Едва перевалив через цепь отлогих холмов на северо-западе, – к нам ползло тяжелое свинцовое облако. Оно было громадно и странно своим одиночеством на холодном и ясном небе. Вверху резко отграниченное, точно спина огромного животного, внизу оно спустило несколько темных отростков, которые тихо, зловеще шевелились, опускаясь все ниже, точно чудовище перебирало гигантскими щупальцами. Но что было всего страннее, – облако ползло совсем низко над землей, вздрагивая, как будто теряя силы в своем полете и готовое упасть на слободу всей своей грузной массой...

Слобожане уже обратили на него внимание. В юртах хлопали двери, люди выбегали с любопытством или тревогой. Впрочем, аборигены смотрели на небо довольно спокойно, но татары и особенно киргизы волновались и

переговаривались громко и тревожно. Полу-сумасшедший киргиз, живший невдалеке, прицелился из ружья и выстрелил...

Облако, все так же вздрагивая, как будто с напряжением, раскинулось уже над крайними юртами слободки. Все кругом потемнело и потускло. Все притихли, когда над нашими головами, тихо волнуясь и шевеля мгlistыми отростками, темно-свинцовое, с опаловыми просветами, проползало туманное чудовище, готовое, казалось, задеть за крыши притихшей слободки... Через несколько минут оно пронеслось над рекой. Плотные очертания тучи закрыли оскалины и леса горного берега... Когда туча исчезла за гребнем, — на уступах, точно нарисованные гигантскою кистью, белели густые полосы снега...

Я очнулся точно после странного сна... Над слободкой опять играли последние лучи скупого осеннего солнца... Люди еще волновались, громко обсуждая значение странного явления. В дверях нашей избы стояла Маруся с омертвевшим, испуганным лицом... Она опять показалась мне постаревшей и изменившейся... Увидев, что Степан запряг ло-

шадь, она наскоро собрала свои пожитки и, не прощаясь, не глядя на меня, как будто болезненно стыдясь показать свое лицо, вышла из избы и села в телегу.

Я попробовал было остановить их. Мой товарищ на время уехал, в юрте было довольно свободно, а я чувствовал себя одиноким, но Степан отказался наотрез.

– Нет, господин! – сказал он, выводя лошадь. – Теперь начнутся метели, пора пойдет темная... А я, кстати, с татарами тут расплевался...

Он ударил лошадь и, проехав по широкой улице, спустился с луга. Там мне еще некоторое время виднелась телега с двумя темными фигурами, постепенно утопавшими в сумерках.

А пора, действительно, начиналась темная. Осень круто поворачивала к зиме; каждый год в этот промежуток между зимой и осенью в тех местах дуют жестокие ветры. Бурные ночи полны холода и мрака. Тайга кричит не переставая; в лугах бешено носятся столбы снежной колючей пыли, то покрывая, то опять обнажая замерзшую землю.

И вместе с темнотой, с бурями и метелью в слободе и окрестностях водворилась тревога.

Почти половину населения слободки составляли татары, которые смотрели на этот сезон с своей особой точки зрения. Мерзлая земля не принимает следов, а сыпучий снег, переносимый ветром с места на место, – тем более... Поэтому то и дело, выходя ночью из своей юрты, я слышал на татарских дворах подозрительное движение и тихие сборы... Фыркали лошади, скрипели полозья, мелькали в темноте верховые... А наутро становилось известно о взломанном амбаре «в якутах» или ограблении какого-нибудь якутского богача.

Якуты старались защищаться, иногда мстить. Один мой приятель, полуякут Сергей, знакомивший меня на первых порах с особенностями местной жизни, так характеризовал взаимные отношения слободы и ее окрестностей в это темное время:

– Война! Татар у джякут воровай, джякут у татар воровай... взад-вперед.

Но в сущности полной взаимности в этих отношениях не было. Якуты – народ мирный

и робкий: они старались только защищаться. Правда, стоило татарской лошади забежать в улус, подальше от слободы, и она тотчас же попадала в якутский котел на общую пирушку. Но в остальном якуты ограничивались защитой, почти всегда неумелой и трусливо-наивной. Их одинокие разбросанные юрты переживали весь ужас беззащитного ожидания. Проезжая иной раз ночью по наслежным дорогам, можно было услышать вдруг отчаянные вопли, точно где-то режут сразу несколько человек. Это население юрты, в которой две или три семьи сошлись на долгую холодную зиму, предупреждало неведомого путника, едущего мимо по темной дороге, о том, что они не спят и готовы к защите. Только эти угрозы производили скорее впечатление испуга, почти мольбы. Порой за ними следовали беспорядочные, такие же испуганные выстрелы в воздух. Все это, разумеется, было только на руку предприимчивым и смелым татарам, выжидавшим, пока якуты настреляются и накричатся, и тогда они тихо, но свободно шли на добычу.

А осень все злилась, снег все носился во

тьме, гонимый ветром, стучал в наши маленькие окна, и кругом нашей юрты по ночам все слышалось тихое движение то в одном, то в другом татарском дворе. Мой верный Цербер, которого я брал к себе в юрту из чувства одиночества, то и дело настораживал уши и ворчал особенным образом – как природные якутские собаки ворчат только на татар или поселенцев...

Я чувствовал себя, в своей юрте на отшибе, в своеобразном положении, точно на острове, кругом которого в мглистом туманном море кипела своеобразная деятельность пиратов. Порой я догадывался, кто именно из моих добрых соседей выезжает «в якуты» на промысел или в лес с добычей, которую необходимо спрятать... Порой во мне закипало глухое негодование...

Однажды в слободу, занесенные снегом, постукивая перед собой палками, вошли слепые старик со старухой. Это были несчастные, бездомные старики, ходившие по богатым якутам и зарабатывавшие пропитание помолом зерна на ручных мельницах, на каких, вероятно, мололи еще рабыни Одиссея.

Такая мельница есть в каждой якутской юрте. На стойке, в половину человеческого роста, укреплен неподвижно небольшой жерновой камень. Другой свободно ходит над ним на железном стержне и цевке. Длинная палка, одним концом укрепленная у потолка, другим может вращать верхний камень. Человек вертит ею жернов, засыпая горстью зерна в отверстие. Камни тихо и скучно жужжат, мука медленно, почти незаметно струится на стол кругом жернова. За помол пуда платят от пятнадцати до двадцати копеек.

Этой работой старики долго копили деньги и наконец купили себе теплые шубы и одеяла в виде мешков на зиму и на старость. Это была для них настоящая драгоценность, о которой они долго мечтали. Я видел, как летом они выносили свои сокровища и вытряхивали из них пыль. Разложив их на земле, старик нащупывал левой рукой место, а правой ударял гибким прутом. По инстинкту слепого он редко ошибался, но все-таки порой удар попадал по кисти... Потом он передвигал руку и ударял рядом... Эту же работу старики исполняли у других, когда не было помола.

Теперь они шли по улице, озябшие и несчастные. Слезы текли из слепых глаз старухи и замерзли на лице. Старик шел с какой-то горестной торжественностью и, постукивая палкой по мерзлой земле, поднимал лицо высоко, как будто глядя в небо слепыми глазами. Оказалось, что они шли «делать бумагу» в управе. В эту ночь из амбара якута, у которого они зимовали, украли их сокровища, стоившие нескольких лет тяжелого труда...

Выходили слобожане, выходили татары и смотрели на эту чету и слушали переходивший из уст в уста рассказ. Абрам тоже стоял у своих ворот и смотрел на стариков своими добрыми ласкающими глазами.

– Здравствуй, – окликнул он меня, – что идешь мимо, не говоришь?

Я как-то невольно повернулся и подошел к нему вплоть.

– Слушай, Абрам, – сказал я. – Хорошо это? Он посмотрел немного вкось и ответил обычным ласковым голосом:

– Брат! Не я ведь это сделал.

И потом, поглядев вслед старикам, он при-

бавил задумчиво:

– Видно, положили свое добро с хозяйским вместе...

– Не отдадите ли теперь? – усмехнулся я желчно...

Абрам не сказал ничего. Но через несколько дней он как-то встретился мне на улице. С ним рядом шел незнакомый татарин, длинный, как жердь, и тощий, как скелет. Поравнявшись со мной, Абрам под влиянием какой-то внезапной мысли вдруг шагнул в сторону и очутился передо мной.

– Слушай, теперь я тебе буду говорить, – сказал он. – Вот этого татарина пригнали в наслег. Жена померла дорогой... четверо детей... ничего нет... голодом сидели, топиться нечем...

– Правда! – глухо сказал высокий татарин и мотнул головой. Но мне не нужно было его подтверждения: голод и застывшее отчаяние глядели у него из глубины впалых глаз, а от темного лица веяло каким-то смертельным равнодушием.

– Просил, кланялся на собрании... Наконец принес детей в управу и кинул, как щенят: де-

лайте, что хотите. Хошь, говорит, бросьте в воду...

– Сама сюда гулял, – пояснил татарин.

– Понял ты мое слово? – спросил Абрам, глядя на меня загоревшимся, пылающим взглядом. Я понял, что это ответ на мой упрек по поводу стариков и что в слободе прибавился еще один предприимчивый человек.

Но это было, как я сказал, несколько дней спустя. В тот вечер я возвращался домой весь еще под впечатлением слепого горя обокраденных стариков. Ночь спускалась ненастная и бурная. Кругом юрты все гудело, над крышей отчаянно бился хвост искр и дыма, которые ветер нетерпеливо выхватывал из трубы и стлал по земле. На втором дворе, куда я пошел, чтобы дать лошади сена, мой Серый метался, как бешеный. Сначала и от меня он кинулся в испуге, но потом подошел, храпя и вздрагивая, и положил мне голову на плечо. Он стриг ушами и в испуге прислушивался к протяжному крику тайги, налетавшему с темных холмов и ущелий.

А кругом бесновалась какая-то волнистая муть, быстро мчавшаяся с холмов за реку...

Слобода притаилась под метелью, как вообще привыкла притаиваться под всякой невзгодой. По временам только среди белого хаоса мелькал вдруг сноп искр из трубы или в прореху метели открывалось и опять исчезало смиренно светившееся оконце...

Я начинал понимать в эту минуту настроение наших деревень, то смиренно выносящих непокрытую наглость любого молодца, освободившегося от совести и страха, то прибегающих к зверскому самосуду толпы, слишком долго испытывавшей смиренный трепет... Половина слободки держит в таком трепете не только другую, большую половину, но и все окрестности. И вот теперь, в эту метель, то в той, то в другой юрте робко скрипит дверь, — хозяева осторожно выглядывают, — что это стучит у амбара, грабитель или непогода? А где-то плачут двое обездоленных стариков, и на много верст кругом раздаются бессмысленные вопли и не менее бессмысленные выстрелы запуганных людей... И я стою здесь среди метели... Я не пловец в этом море, моего места нет в этой борьбе; я здесь не умею ступить ни шагу. И казалось мне, что

нигде, во всем этом затянутом метелью, беззащитном мире нет никого, кто встал бы смело и открыто за свое право... Те, казалось мне, кто хотел бы что-нибудь сделать, – неумелы, бессильны, малодушны. А те, кто могут, – не хотят... Каждый только дрожит за себя, и нет никого, кто бы понял, что его дело – часть общего дела...

С этими мыслями я вернулся в свою юрту, но не успел еще раздеться, как моя собака беспокойно залаяла и кинулась к окну. Чья-то рука снаружи смела со стекла налипший снег, и в окне показалось усатое лицо одного из моих соседей, ссыльного поляка Козловского.

– Спите себе! – сказал он шутливо. – А лошадь-то где?

Я наскоро оделся и выбежал наружу. Первой моей мыслью было, что лошадь мою угнали. Но это оказалось неверно. Испуганная метелью и непривычным одиночеством, она перепрыгнула через высокую городьбу и побежала в луга. Козловскому сообщил об этом Абрам, видевший, как лошадь промчалась мимо его двора. Оба они были уверены, что

она убежала за реку в якутские наслеги. В спокойное время это было не особенно опасно, но теперь якуты могли счесть лошадь татарской... Приходилось тотчас же ехать на поиски. Козловский дал мне свою лошадь, а на другой вызвался сам ехать со мною...

Это был крестьянин, замешанный в восстании и отбывший каторгу. После этого многие из его товарищей возвратились на родину, а он, попав в эти дальние места, почувствовал, как и Тимоха, что это очень далеко и что ему отсюда уже нет возврата. Он женился на слобожанке-полуякутке, его девочки говорили только по-якутски, а сам он пахал землю, продавал хлеб, ездил зимой в извоз и глядел на жизнь умными, немного насмешливыми глазами. Ему казалось смешным многое в прошлом и настоящем, а между прочим и то, что он, Козловский, хотел когда-то спасти свое отечество, и что он живет в этой смешной стороне с пятидесятиградусными морозами, и что его собственная жена полуякутка, и что его дети лепечут на чужом для него языке. К нам он чувствовал какое-то снисходительное расположение, любил молча слушать

наши споры, но при этом всегда под его огромными усами шевелилась мягкая насмешливая улыбка...

– Помяните мое слово, – сказал он мне, когда мы тронулись в путь, – эту ночь татары опять собираются за добычей... Плачут якутские амбары.

– Почему вы думаете?

– Абрашка ладит сани и две верховые во дворе. А вы еще скажите – слава богу: Абрам спал бы, лошадь бы вашу не увидел... В какую только сторону поедут?..

Дорога наша подбежала к реке и прижалась к береговым утесам. Место было угрюмое и тесное, справа отвесный берег закрыл нас от метели. Отдаленный гул слышался только на далеких вершинах, а здесь было тихо и тепло. Зато тьма лежала так густо, что я едва различал впереди мою белую собаку. Лошади осторожно ступали по щебню...

Вдруг Козловский наклонился и остановил за повод мою лошадь.

– Тише, – сказал он. – Слышите?

Я прислушался, и мне показалось, что с другого берега реки, которая здесь была очень

узка, неслось к нам, точно эхо, осторожное постукивание копыт.

– Вот проклятые! – сказал он с оттенком удовольствия в голосе. – Взялись за ум!

– Что это значит? – спросил я.

– Якутский караул. Прослышали, видно, якутье, что татары собираются... ждут гостей... Эх! Вот только неприятно: как бы нас за татар не приняли. Пожалуй, сдуру грохнет который из ружья... Эй, догор! – крикнул он по-якутски. – Не попалась ли вам тут серая лошадь?

Шаги на той стороне стихли, но, когда мы подъехали к броду, на темной реке послышалось шлепанье и появились какие-то силуэты. Через несколько минут к нам приблизился всадник, ведя в поводу серую лошадь. Когда он подъехал вплотную, я с удивлением узнал Степана.

– Как вы тут очутились? – спросил я с невольной радостью.

– Да так... дело тут... у якутов, – ответил он уклончиво. – Гляжу: лошадь знакомая переправляется. Поймал уже на том берегу... думаю: надо обождать маленько, может, хватит-

тесь, приедете... А это кто с вами? – спросил он, наклоняясь в седле и вглядываясь в моего спутника.

– Человек божий, обшитый кожей, – ответил мазур своим веселым голосом. – Поехал вот с ними, думаю: может, бог даст, и моя конячка найдется.

– Тоже пропала? Когда? – спросил Степан.

– Да уже года два... Убежала с покосу, да еще, подлая, поселенца на себе унесла. Лошадь – бог с ней. Боюсь, как бы за поселенца не ответить.

Мне показалось, что шутка Козловского немного задела Степана, и, чтобы прекратить разговор, я поблагодарил за услугу и спросил:

– А вам не по пути в слободу? Переночевали бы у меня.

– Нет, – ответил Степан... – Я тут... к приятелю...

– Абрашка тоже к приятелю наладился, – насмешливо кинул Козловский, когда мы тронулись в обратный путь. Степан, отъехавший на некоторое расстояние, остановился было, как будто с целью спросить или сказать что-то, но затем ударил лошадь и съехал с берега.

– Счастье людям! – сказал Козловский, весело ухмыляясь. – У других воруют, вам возвращают. Один вор увидел, как лошадь сбегала, другой поймал...

– Ну, Степан не вор, – сказал я.

– Разумеется... А как вы думаете: кого он тут дожидается? У Абрашки с утра конь на привязи, у Абясова, у Сайфуллы, у Ахмета... Черт их бей, всех. Давайте скорее выезжать из узкого места, как бы не встретиться.

– Но ведь с татарами Степан в ссоре?..

– Ну, мужик с бабой тоже весь день ссорились. А, глядишь, к ночи помирятся...

Замечания Козловского поразили меня самым неприятным образом. Мне импонировала уверенность, с какой он читал все среди этой темной ночи, точно в открытой книге... И действительно, его предсказание оправдалось. Выехав из-за последнего берегового утеса в луга, мы вдруг наткнулись на несколько темных верховых фигур. Они сначала остановились, как будто в нерешительности...

– Что, нашел своего серого? – сказал один из них, и по голосу я узнал Абрама. – Скоро же! Я думал, до утра проездишь.

Потом, когда они отъехали несколько саженей, он повернул лошадь, догнал нас и сказал своим ласковым, приятным голосом:

– Вот что, парень... Мы ведь соседи... Не рассказывайте никому, что нас здесь видели...

– Нам какая надобность, – утрюмо ответил Козловский, не останавливаясь.

Остальную дорогу мы ехали молча. Меня тяготило положение этого невольного, почти дружественного нейтралитета, который выпадал на нашу долю... Может быть, Козловский думал то же.

VI. Степан

Проснувшись на следующий день, я сначала считал всю эту ночную поездку просто сном. Только кинутое беспорядочно на полу седло и не успевшее высохнуть верхнее платье убедили меня в действительности моего маленького приключения...

Несмотря на то, что все окна были занесены снегом, я чувствовал, что день стал светлее вчерашнего. У дверей лаяла собака, и, когда, наскоро надев валенки, я впустил ее, она радостно подбежала к постели и, положив на

край холодную морду, глядела на меня с ласковым достоинством, как будто напоминая, что и она разыскивала со мною лошадь, которая теперь ржала на дворе, привязанная в наказание к столбу...

Настроение у меня было бодрое, радостное. Однако скоро под этим настроением оказалась какая-то маленькая змейка, которая шевелилась и шипела, напоминая о чем-то отравляющем и печальном...

– Да! Это о Степане, – вспомнил я внезапно...

«Неужто Козловский прав? – подумал я с ощущением острой грусти... – Неужели Степан оказал мне услугу именно потому, что ожидал татар? Не выдержал наконец говора своей тайги, прозаической добродетели своей Маруси и ровной невозмутимости Тимохи?.. Захотелось опять шири и впечатлений? Что мудреного? Ведь вот даже мое легкое приключение освежило и обновило мое настроение, застоявшееся от тоски и одиночества...

Что же теперь станет делать Маруся? Как пойдет ее жизнь? Бурные сцены или покорные слезы?.. Примирение и подчинение или

разрыв? Неужели тихая заимка на дальнем озере превратится в склад краденых вещей и в передаточный пункт конокрадства? Уйдет ли при этом Тимоха или будет делать свое дело, не вмешиваясь в хозяйские дела? И скоро ли нагрянут на заимку власти из Якутска и для Марьи со Степаном опять пойдут этапы, тюрьмы, новые попытки побегов? А на заимке воцарится запустение и Марусины грядки зарастут наподобие губернаторских огородов?..»

В моих сенях послышался топот, в дверь хлынула струя свежего воздуха, и в юрту вошел Козловский. Он был несколько похож на гнома: небольшого роста с большой головой; белокурая борода была не очень длинна, но толстые пушистые и обмерзшие теперь усы висели, как два жгута. Серовато-голубые глаза сверкали необыкновенным добродушием и живым, мягким юмором.

– Ну, вставайте, – сказал он, усмехаясь. – Давайте чаю. Новости расскажу.

– Что такое?

– В слободе что делается, – страх! – говорил он, отряхая на пол белые комки свежего сне-

Га.

И, опять весело засверкав глазами, он сказал:

– Смотрите: татары теперь скажут, что непременно это вы сделали! А я с вами, помните, не был!..

Затем он рассказал новость, поразившую слободу как громом. Оказалось, что в эту ночь татары предпринимали один из очень смелых набегов на юрту зажиточного якута, именно в том направлении, куда мы вчера ездили. Очень часто якуты знали заранее о сборах татар, но последние почти всегда направляли их внимание в ложную сторону. На этот раз, однако, смельчаки встретили противников готовыми. Когда, оставив лошадей в определенном месте, они стали подходить к амбару, навстречу им раздался дружный ружейный огонь, и в то же время другой отряд якутов кинулся к татарским лошадям. Бросившись назад, татары успели отбить двух лошадей, а две, и притом лучшие, остались военной добычей победителей. Садясь попеременно на оставшихся коней, четверо татар с позором притащились в слободу едва на заре...

В числе потерпевших был и Абрам Ахметзянов. Каурого конька, которым он гордился, как лучшим бегуном в слободе, теперь в его дворе не было.

Слобода кишела, точно муравейник. Двери то и дело хлопали в наклонных стенах юрт, соседи и соседки перебегали от двора к двору, кое-где татары громко ругались друг с другом. Татарское население слободы было самое разношерстное. Тут были и киргизы, и ачинские татары из азиатской степи, и старинные поселенцы Иркутской губернии. Всех их привела сюда, выбросив из более или менее мирной среды их соотечественников, не заглушенная культурой страсть к баранте. Здесь их объединили религия и нужда, – но и в их среде были подразделения, вражда и ссоры. Теперь, при этом поражении, деморализация среды сказалась с особенной силой: татары закидывали друг друга упреками и подозрениями в измене. Они не могли себе представить, чтобы трусливые и недогадливые якуты могли провести эту кампанию по своей инициативе.

– А знаете что, – задумчиво сказал мне Коз-

ловский, когда мы сидели за чаем. – Вы пока никому не говорите о Степане.

– Почему?.. Не ждете ли вы, что начнется следствие?

– Ка-кое следствие! А все-таки помолчите.

И он прибавил, улыбаясь:

– Я его святому должен поставить свечку...

Кажется, вчера я его обидел напрасно.

– Так вы думаете, что это он... помогал якутам?

– Ага! А по-вашему, якутье сами бы так распорядились? Никогда! Уж был у них кто-нибудь за генерала!.. Ну, теперь пойдет потеха!

Действительно, с этих пор якуты переменялись, как будто кто вдохнул небывалое мужество в сердца этих робких и запуганных людей. Абрам Ахметзянов с товарищами выезжал ночью на место своей неудачи, и, остановясь в отдалении, они кричали и грозили, требуя возвращения лошадей; но якуты только звали их подойти поближе, а на следующую ночь, как было известно в слободе, – устроили засаду у брода. Но удалой Абрашка уже не решился выехать туда вторично, и угрозы татар остались неисполненными...

За первой неудачей последовали дальнейшие. Два раза якуты ловили воров на месте и, связанных, отвозили в город, провожая их на всякий случай целыми отрядами. Такими же отрядами являлись они иной раз в слободу, представляя в «правление» ясные указания и улики. Проезжая по улицам мимо татарских домов, якуты держались насмешливо и гордо, посмеиваясь и вызывая.

Теперь татары уже боялись отлучаться в улусы даже днем, а отдельные татарские семьи, поселенные среди якутов, покидали места поселения и стягивались к слободе. Якуты прекратили им всякие пособия, которые выдавали прежде. При этом, разумеется, пострадали и мирные татары, к которым все-таки относились подозрительно, опасаясь сношений с соотечественниками.

В это именно время Абрам остановил меня указанием на злополучного татарина, бросившего своих голодных детей...

Борьба, видимо, обострялась. Обоюдное ожесточение росло. Прежде татары воровали, но убийств не было. Теперь они шли уже на все, и при перестрелках бывали раненые с

той и другой стороны. Был и еще один косвенный результат наследной войны: кражи в самой слободе значительно участились.

Однажды Козловский пришел к нам, видимо озабоченный, и сказал, улыбаясь и почесывая в голове:

– Нельзя ли, господа, как-нибудь... удержать этого вашего приятеля?

– Что такое? Какого приятеля?

– Да якутского генерала. Беда ведь это: прежде, когда татары ездили в якуты, – у нас хоть воровали, да все-таки жить было можно. А ведь теперь – съедят начисто. Эту ночь сломали два амбара...

Один из амбаров принадлежал смотрителю почтовой станции. Это была жалкая станция, конечный пункт почтовой дороги, которая не шла дальше слободы и куда почта приходила раз в две недели. Но смотритель имел все-таки чин и в некоторых торжественных случаях надевал даже шпажонку. К неприкосновенности почтовой корреспонденции он относился весьма своеобразно и считал себя в полном праве присланные кому-нибудь из поселенцев (чаще всего скопцам) золотые за-

менять тем же количеством кредиток. Но, конечно, о взломе своего амбара он тотчас же послал самые энергические жалобы в областной город.

Между тем имя Степана, хотя ни мы, ни Козловский ничего не говорили о нем, было на всех устах. В слободе об этом сначала говорили шепотом, в виде догадок, потом с уверенностью. Теперь даже дети на улицах играли в войну, причем одна сторона представляла татар, другая якутов под предводительством Степана... А по улусам, у камельков, в долгие вечера о белоглазом русском уже складывалась чуткая, протяжная былина, олонхо...

Мы, конечно, тоже с большим интересом относились и к эпизодам этой небывалой борьбы, и к новой роли нашего знакомца. Мой желчный товарищ хотя и объяснял все дело личными счетами Степана с Абрашкой, но все-таки переменил о нем свое мнение.

– Как бы там ни было, а молодчина! Проявляет искру, здоровую искру проявляет...

– Да, чем только это кончится? – озабоченно прибавлял Козловский. – На собрании ре-

шили на ночь наряжать большие караулы. Придется и вам, господа, из-за приятеля померзнуть...

В конце ноября, в ясный зимний день, в слободу явились гости. Утром, возвращаясь из поездки в город, приехал тунгусский поп. Вскоре после этого у наших ворот остановились санки, в которых сидели Маруся и Тимоха. Их сопровождали три верховых якута, — может быть, случайно, но всем это показалось чем-то вроде почетного эскорта, которым наслег снабдил жену своего защитника. Маруся была одета по-праздничному, и в ее лице показалось мне что-то особенное.

А под вечер того же дня по дороге из города опять слышался колокольчик. День был не почтовый: значит, ехало начальство. Зачем? Этот вопрос всегда вызывал в слободе некоторую тревогу. Природные слобожане ждали какой-нибудь новой раскладки, татары в несколько саней потянулись зачем-то к лесу, верховой якут поскакал за старостой... Через полчаса вся слобода была готова к приему начальства...

Приехал заседатель Федосеев и тотчас по-

сле приезда пригласил нас к себе на въезжую избу. Передав нам несколько писем, он попросил других присутствующих удалиться и сам запер за ними дверь. Подойдя затем к столу, он расстегнул форменный сюртук, как будто ему было душно, и стал набивать себе трубку. Он был, казалось, в каком-то затруднении и даже в некотором замешательстве.

Это был местный уроженец из казаков, человек средних лет, отличный служака, превосходно знавший местные условия. Из личных его особенностей мы знали его слабость к выпивке – из слободы его иногда увозили, уложив в повозку почти без сознания, – и к книжным словам, которые он коллекционировал с жадностью любителя и вставлял, не всегда кстати, в свою речь. Человек он, впрочем, был в общем добрый, и все его любили. С нами он был не в близких, но все же в хороших отношениях.

Набив трубку и закурив ее от сальной свечи, горевшей на столе, он некоторое время усиленно затягивался и наконец сказал:

– У меня к вам, господа, дело, так сказать... партикулярное. Я буду с вами говорить пря-

МО: ВЫ ЗНАКОМЫ С ЭТИМ ПОСЕЛЕНЦЕМ ИЗ БРОДЯГ, СТЕПАНОМ?

– С Дальней заимки? Да, знакомы.

– Так!.. Пожалуйста, не думайте что-нибудь такое... Он, кажется, у вас останавливается, приезжая в слободу?

– Да, нередко.

Заседатель засосал свою трубку, как будто в данную минуту это для него было самым важным делом, и сказал:

– Странный человек!

– Чем же собственно?

– Да как же, помилуйте: вмешивается не в свои дела, распоряжается тут в наслеггах, как начальство, заварил кашу...

Он встал со стула, видимо в дурном расположении духа, и, беспокожно пройдясь по комнате, сказал уже с явным неудовольствием:

– Помилуйте, что же это такое. Прежде был самый спокойный улус – теперь не проходит недели без происшествия. Там стреляют, там ранили человека, там поймали татарина, волокут в город. Только и слышишь: где происшествие? В участке Федосеева. Гнездо ка-

кое-то.

Я начинал понимать настроение заседателя. Каждая профессия имеет свою специфическую точку зрения. Семен Алексеевич Федосев не мог не знать, что каждый год окрестные наслегии являлись ареной той же борьбы. Но прежде одна сторона относилась к ней пассивно. Взломан амбар, уведена лошадь, зарезана корова, поступает жалоба, виновные не найдены... Дело предается воле божией, даже не доходя до города; в каждый свой приезд в слободу он приканчивал несколько таких дел простой подписью под заранее составленными постановлениями о прекращении дел «за необнаружением виновных»... Это и значило, что в его участке было все спокойно. Теперь каждое дело приобретало громкую огласку, доставлялись пойманные с поличным, происходили перестрелки; толки о необычайном обострении борьбы наслегов с татарами обращали внимание. Проникнув в эту сущность дела, я невольно улыбнулся.

– Позвольте, – сказал я, – но ведь Степан не ворует и не грабит, а защищает и некоторым образом содействует обнаружению винов-

НЫХ.

Семен Алексеевич уселся и посмотрел на меня в упор.

– Ну, вот-вот. Это самое... Это-то вот и есть, как сказать... центр... именно: центр вопроса... Скажите, пожалуйста: бродяга, непомнящий, обыкновенный, извините, варнак... Откуда у него вдруг эти... эти...

– Идеи, – подсказал я, догадываясь, куда клонится его мысль.

– Идеи-то, идеи, но, как это еще?..

– Рыцарские.

– Ну, вот-вот, – сказал он с облегчением, и лицо его несколько просветлело. – Вот в городе – извините, я уже буду говорить прямо – и рассуждают: из простого варнака делается вдруг этакой, знаете, необыкновенный, как его?.. Ринальдо Ринальдини своего рода. Как? Почему? Откуда? Книг он не читает... Разными этими идеями не занимается... Очевидно, тут действует (он искоса посмотрел на нас) *постороннее влияние...*

– Прибавьте, Семен Алексеевич, «вредное», – сказал я улыбаясь.

Он слегка поперхнулся дымом своей труб-

ки.

– То есть я, конечно, не говорю... Это очень благородно... Даже, можно сказать, аль... аль... труистично... Ну, да!.. Но согласитесь сами...

И, стукнув себя чубуком несколько раз по затылку, он произнес с большим оживлением:

– Вот где у нас эта защита сидит, вот-с! То и гляди, из Иркутска запрос прискачет на курьерских... Кто заседатель в участке? Как мог допустить такое положение вещей!.. А ч-черт! А я только тем и виноват против других, что у меня тут... не угодно ли... защитник угнетенных явился...

Его отчаяние было так искренно и комично, что оба мы с товарищем не могли удержаться от откровенной улыбки.

Заметив это, Федосеев сам улыбнулся.

– Ну, хорошо, господа! Все это верно-с и справедливо! Донельзя справедливо! До не плюс утра![24] Признаюсь вам откровенно: сам в городе говорил, что останусь в дураках... А все-таки вот у Петриченки амбар сломали...

– Ну, это еще не самое печальное из бедствий... Почему это, Семен Алексеевич, вам амбар Петриченки дороже крестьянских или якутских?

– Сломают еще ваш, потом примутся за другие. Да если подумать так, по человечеству... так ведь больше им и делать нечего.

– Ну, положим, – работники они отличные.

– На чем работать? – уныло сказал заседатель, принимаясь набивать другую трубку. – Областное правление завалено их просьбами об отводе земли... Просьбы совершенно законные...

– Отчего же их не удовлетворяют?

– Откуда? Вы знаете, что у слобожан у самих земли немного. Насилу удалось склонить крестьян уступить по три четверти десятины покоса... Что такое три четверти десятины?

Он закурил и заговорил в совершенно другом тоне, просто и уже действительно вполне партикулярно:

– По закону нельзя поселять ссыльных больше чем на одну треть против местного населения. А их тут теперь почти столько, сколько слобожан. Где же взять земли?

– Вот об этом в городе и следовало подумывать.

– А, батюшка, думали! Даже писали много раз, потому что это ведь не от нас. «Для удобства надзора поселить в одном месте при слободе...» Вот вам и удобство надзора.

– Повторять... добиваться.

– Повторяемо было многократно!.. (Он махнул рукой с видом полной безнадежности.) А теперь я вот вам прямо скажу: всех захваченных якутами татар мы выпустили.

– Да? А ведь, кажется, улики полные.

– Тюрьма еще полнее. Недавно прислали партию спиртоносов из отряда Никифорова. Эти молодцы в Олекминской тайге дали правильное сражение приисковым казакам. Это поважнее якутских амбаров. А в остроге яблоку упасть некуда... Эх, господа, господа!.. Надо судить по человечеству... Мы тут так опутаны... Приезжай сейчас какой-нибудь ревизор из того же Иркутска: мы тут в «нарушениях», как в паутине... А если бы разобрать хорошенько, по человечеству...

Расстались мы совершенно дружески. Мы объяснили заседателю, что наше влияние ед-

ва ли должно быть принимаемо в расчет в этом случае...

– А ведь сразил он вас, признайтесь, – сказал дорóгой мой товарищ, молчавший почти все время нашего разговора.

– Признаюсь охотно, – ответил я. – Действительно, вторая половина нашей беседы произвела на меня сильное впечатление.

– И главное, чем сразил, – продолжал мой приятель, – вы говорили то, что должен был говорить он, а он – то, что, в сущности, должны были сказать вы...

И это было вполне справедливо. Короткий разговор с заседателем отбросил опять мое настроение в область того нейтралитета, который по какому-то инстинкту признала за нами сама среда... Но что же делать? Живому человеку трудно ограничиться ролью свидетеля, когда жизнь кругом кипит борьбой... Печать? корреспонденции? освещение общих условий? Долго, далеко, неверно!..

Остальную дорогу мы оба шли молча. По сторонам тихо переливались огни сквозь ледяные окна... Слободка кончала обычным порядком свой бесхитростный день, не задава-

ясь ни думами, ни вопросами... Она жила, как могла, и нам выпала роль безучастных свидетелей этой жизни. И никогда еще эта роль не казалась мне такой тяжелой...

На улице нас остановил Козловский, который дожидался у своих ворот, чтобы узнать о результатах переговоров наших с заседателем. Умный поляк выслушал внимательно наш рассказ и сказал с убеждением:

– А что вы думаете: ей-богу, это правда! Что нужно этому Степану, в самом деле? Какое у него шило сидит, что он эту кашу заварил? Не поверю я, что это он из-за якутов.

Я рассказал то, что знал сам. Вспомнил Дальнюю заимку, болезненный приступ Степана ночью над озером, его жалобы на пустоту жизни, его порывания на прииски, от которых его удерживало упорное сопротивление Маруси...

– Мудрено все это, – задумчиво сказал Козловский и прибавил решительно: – Ну, помните мое слово, долго это все равно не протянется... А я был у вас: там теперь поп в гостях... Чего они святить собираются?

Я догадывался, о чем шли переговоры с

бродячим священником, и мы в некоторой нерешительности остановились невдалеке от нашей освещенной юрты, чтобы не мешать этим переговорам, решавшим участь Маруси. Вечер был морозный, но безветренный и тихий, и мы думали еще пройтись по улице или даже уйти на время к Козловскому, как вдруг дверь нашей юрты открылась и из нее вышел Тимоха. Его приземистая фигура, в полушубке и неизменном треухе, вся облитая холодным светом луны, показалась мне как-то особенно устойчивой, кряжистой и крепкой. Когда он поравнялся с нами, в морозном воздухе пронеслась струйка винного запаха.

– Куда вы это, Тимофей? – спросил я.

– Да что, братцы... Сам не знаю: запрягать, что ли... Ведь уж дело-то видно: ни черта не выйдет. Не бывать, видно, плешатому кудрявым.

– О чем вы это говорите?

– Да все о том же. Она, конечно, хочет, чтобы как по-хорошему, как, словом сказать, у людей. А ему бы, лодырю, играть... Нельзя ему без Абрашки и быть.

– Да ведь они с Абрамом теперь на ножах?

– То-то и я говорю... Не мытьем, так катаньем... Всю татарскую силу поднял. Чужих, вишь ты, амбаров жалко... Свой-то убережешь ли, говорю, Степанушко... Сказано: ненатуральный человек... Игрун!

Потом, наклонясь к нам, он прибавил тише:

– Дело-то, почитай, на мази было. Бычка да двух телок уж я к якутам свел на станцию. Попу, значит, мимо ехать, – взял бы. Да денег пятнадцать рублей. Все ведь припасла Марья-то... А ни к чему.

– Отчего же?

– Да вот по тому самому: боек очень. Теперь об нем не то что... в городе молва идет. Обвенчай эдакого хахаля, – будешь у праздника. Чай, тоже не о двух головах хоть и поп этот...

В это время дверь юрты открылась опять, и на пороге появилась высокая фигура, вся в мехах и с посохом в руке. Это был священник. Я уже раз видел у знакомых эту своеобразную фигуру, всю проникнутую колоритом холодной и дикой пустыни. Родом с далекой Камчатки, настоящий подвижник своей трудной

миссии, он разучился даже говорить полными предложениями и выражался кратко, однословно, но по-своему определенно и сильно. Никогда я не видел человека, который бы мог пить так много и притом без всяких последствий. Другие собеседники валялись кругом один за другим, а он продолжал, все такой же крепкий и молчаливый. Только черные глаза его немного разгорались, а лицо чуть-чуть бледнело. На многое он смотрел слишком упрощенно, но мне казалось, что под этой грубой оболочкой бьется недурное сердце...

Заметив нашу группу во дворе, он подошел близко и сказал с грубоватым простодушием, отрубая слова:

– Плачет. Глупая. Жаль. Баба хорошая.

– Баба как есть... Хоть в Расею возьми, – отозвался Тимоха.

– Мог бы, обвенчал бы. Не венчаны. Побожилась. Верю. За грех не почитаю. Имена ты, господи, веси... А мне пятнадцать рублей деньги...

– Как не деньги! – убежденно поддержал опять Тимоха. – По здешним местам где возь-

мешь?

– Так в чем же дело, батюшка? – спросил я.

– Нельзя... Человек заметен. Не тот человек.

– Правильно! – подтвердил Тимоха.

– И ей не такого бы. Жаль. Ну, нельзя.

Он сунул нам свою огромную руку и пошел к воротам, кидая по белому снегу гигантскую черную тень.

– Ха-а-роший батька, – сказал Тимофей с какой-то особенной теплотой в голосе...

Он пошел к лошадям, а мы вошли в свою юрту. Здесь еще ярко пылал огонь, на столе виднелись пустые бутылки и остатки угощения. Маруся лежала за перегородкой, уткнувшись лицом в изголовье...

Прошло минут двадцать. За перегородкой усилились глухие сдержанные стоны... Мы начинали уже бояться какого-нибудь болезненного припадка, но в это время, к общему облегчению, вошел Тимоха и сказал как-то просто и решительно:

– Ну, хозяйка! У меня лошади готовы. Едем, что ли.

В его грубом голосе я различил непривыч-

но мягкую ласковую ноту.

– Куда же это вы, на ночь глядя? – сказал мой товарищ. – Да и опасно, смотрите.

– Чего это? – спросил Тимофей. – Это ты насчет татар? Эва! Чего им от нас нужно. Не-ет! Нас не тронут. А в случае чего, у меня дубина. Ну, полно тебе, хозяйка! Вставай! Домой надо.

За перегородкой несколько секунд еще стояло молчание, потом Маруся поднялась как-то вдруг, и ее фигура появилась в темном четырехугольнике двери. Ее праздничная одежда была слегка измята, лицо искажено мучительной судорогой и, как мне показалось, выражением глубокого, мучительного стыда... Тимоха помог ей одеться. Она застенчиво поклонилась нам, и они вышли...

На следующее утро мы стояли с Козловским у ворот, разговаривая о событиях прошедшего дня... День был сравнительно мягкий, градусов пятнадцать, что для тех мест соответствует нашей оттепели, и на улице виделось немало народу...

Вдруг мы заметили около середины длинной слободской улицы какое-то оживление.

Лаяли собаки, выбегали люди, стайка татарчат бежала за всадником, ехавшим по самой середине улицы почти шагом.

– А ведь это, смотрите, Степан, – сказал, вглядываясь, Козловский.

Я сначала не поверил, но стоявший рядом слобожанин Сергей, обладавший чисто рысьей дальностью, с уверенностью подтвердил мнение поляка.

– Ну, смелая шельма, – сказал с одобрением Козловский. – Едет себе среди дня, как ни в чем не бывало. Пьяный, должно быть... Вот будет штука, если увидит Абрашка.

Абрашка в это время колол дрова. Заинтересованный шумом, он равнодушно вышел за ворота, пригляделся и вдруг со всех ног кинулся в дом. Через минуту дверь отворилась. Мне показалось, что оттуда мелькнуло дуло ружья, но тотчас же дверь захлопнулась опять. Не прошло и минуты, как из юрты появилась красивая жена Абрама, а за ней – сам Абрам покорно шел с пустыми руками...

Толпа за Степаном росла. Он ехал не торопясь, конь порывался и играл под ним, пугаясь шума и толкотни, но Степан сдерживал

его и, казалось, не обращал внимания на все происходившее. Мне показалось, что он действительно несколько пьян. Я заметил, что в толпе было больше всего татар. Слобожане и якуты, наоборот, скрывались в юрты. Степан испытывал еще раз участь героя, оставляемого в трудную минуту теми самыми людьми, которые всего больше ему удивлялись. Сергей тоже с замешательством почесался...

– Уйти, однако, – сказал он, озираясь; но наше присутствие и любопытство пересилило, и он остался.

Степан тотчас же заметил Абрашку и его жену, которые двинулись ему навстречу. Я подумал даже, вспомнив при этом Тимоху, что вся эта бравада Степана имела главным образом в виду Абрашкину юрту и ворота, мимо которых ему приходилось ехать. Заметив своего противника, Степан нервно дернул повод, но затем в лице его показалось легкое замешательство и как будто растерянность. Он, вероятно, ждал чего-нибудь более бурного.

Между тем красивая татарка шла прямо на лошадь плавной походкой полной женщи-

ны, – и Степану пришлось остановиться. Толпа тоже остановилась, но было видно, что это просто толпа любопытных. Вдруг среди нее послышался дружный смех, после двух или трех слов Марьи, сказанных по-татарски.

– Что она сказала? – спросил я.

– Ничего, – ответил Сергей, тоже улыбаясь. – Она говорит: «Здорово, Степанушка...», больше ничто не сказал...

– А он разве понимает по-татарски?

– Тюрьма сидел с ними... Знает.

Толпа опять захохотала.

– Что такое? – спросил я опять.

– Ничего, – ответил мой переводчик. – Конфузил больно... Ты, говорит, якутской вера...

– А теперь что?

Он слушал и переводил мне, пока Степан тихо прокладывал себе путь среди толпы, а Марья, держась немного поодаль, продолжала свои язвительные речи.

Через некоторое время к ней присоединился Абрам. Он говорил страстно и все повышал голос.

– А! Че! – восклицал Сергей при каждой новой фразе. – Больна конфузил.

– Да что же такое? – спрашивал я с нетерпением.

– Ты, говорит, с нами хлеб ел.

– Ты, говорит, с нами спал вместе.

– Ты, говорит, нам считался все одно брат.

– Ты, говорит, за джякут заступил, за нас не заступил...

– Тебе, говорит, джякут лучше татарина стал...

– Ты, говорит, научил поганых якутов украсть моего каурка...

Я слушал с удивлением перевод этих речей, в которых, в сущности, не было ничего, кроме изложения действительных фактов. Все, что тут говорилось, была правда, все это было хорошо известно и нам, и Степану, и всей слободе. И я не мог понять, почему эта толпа торжествовала над этим человеком, которому стоило только поднять голову и сказать несколько слов. Я так и ждал, что Степан остановит коня и крикнет:

– Да, я сделал все это и опять сделаю... Собаки!..

Но Степан не говорил этого. Наоборот, его глаза, еще недавно дерзко искавшие опасно-

сти и кидавшие вызов, – теперь потупились; он густо покраснел, причем резко выступили опять светлые усы и брови, и, по-видимому, все свое внимание сосредоточил на мундштуке коня, как будто ехал над пропастью. Конь по временам, видимо, просился, поднимал голову и, оскалив зубы и брызжа пеной, тряс над головами шнырявших перед ним татарчат своей красивой головой с страдальческим выражением.

Марья уверенно шла немного в стороне и впереди и продолжала выкрикивать нараспев с какой-то проникающей страстностью... Такая же страстность и такая же изумительная уверенность в своей правоте слышалась в тоне Абрамки. Его прекрасные глаза горели и, казалось, метали искры, а голос звенел и заражал глубокой искренностью негодования.

Голоса мужа и жены становились все возбужденнее, смех толпы все громче. Опасаясь, что в случае задержки все это может кончиться какой-нибудь катастрофой, я быстро перебежал через небольшую площадку и стал открывать свои ворота, в уверенности, что Степан едет к нам, и с намерением у своих во-

рот заступиться за него и остановить толпу.

И действительно, он уже стал было поворачивать за угол городьбы, как вдруг произошло что-то совсем неожиданное. Красавица татарка, державшая себя всегда с таким солидным достоинством, вдруг выступила вперед и перед всеми сделала по направлению к Степану бесстыдный жест...

Толпа неистово загоготала.

На наш взгляд, такой поступок опозорил бы только женщину; но я замечал много раз, что простые люди принимают это наоборот, как самое тяжкое оскорбление своей личности. И действительно, Степан вздрогнул, конь его, казалось, сейчас кинется на татарку. Но он удержал его, подняв на дыбы. Толпа шарахнулась, расчистив путь, и через минуту Степан исчез за околицей в туче снежной пыли под грохот и улюлюканье торжествующей толпы.

Увы! Это была полная нравственная победа одной стороны и поражение другой. Победа уверенного в себе и цельного в своей простодушной непосредственности злодея над неуверенной и стыдящейся себя добродее-

Телью...

.....
.....

Недели через две мы с товарищем решили съездить на Дальнюю заимку. Обоим нам хотелось повидать Степана и, прямо или косвенно, выразить ему свое сочувствие.

Выехав задолго еще до рассвета, мы только к ночи подъехали к Дальней заимке.

Теперь трудно было узнать эту местность. Кругом все было занесено снегом, тайга стояла вся белая, за нею, едва золотясь краями на лунном свете, высились скалы, озеро лежало под снегом и только у берега высились мерзлые края проруби.

Малорусская хатка стояла пустая, с белыми обмерзшими окнами. За нею виднелась небольшая юрта с наклонными стенами, казавшаяся кучей снега. Летом я не обратил на нее внимания. Теперь в ее окнах переливался огонь, а из трубы высоко и прямо подымался белый столб дыма, игравший своими бледными переливами в лучах месяца.

Все было бело, бледно и прозрачно. Злой лай собаки приветствовал нас еще издали, и

навстречу нам вышел, скрипнув дверью, Тимоха. В руках у него была здоровенная дубина. Очевидно, он полагался на нее более, чем на ружье.

Маруся приняла нас с грустной приветливостью, все-таки стыдясь чего-то и отворачивая лицо. Степана не было...

В юрте даже как-то незаметно было его отсутствие. Все было тесновато, но уютно, и, по-видимому, Маруся с работником жили довольно удобно... Они ничего еще не знали о происшествии в слободе. Степан домой не являлся. Очевидно, его жизнь начала отделяться от жизни Дальней заимки.

Пришлось все-таки рассказать Марусе о причине нашего посещения.

– Ну, теперь закрутит и еще пуще, – сказал Тимоха.

На шитье, с которым в это время сидела Маруся, капнула слеза... Она зашивала Тимохину рубаху...

Еще недели через две мы узнали, что Степан ушел на прииски.

VII. Заключение

Прошло года полтора. В самом начале осени приехал заседатель Федосеев. Отдав нам письма и газеты, он попросил нас присесть и сказал:

– Да, кстати. Какое неприятное происшествие.

– Что такое?

– На Дальней заимке... Какой-то там Тимофей у них... Работник, что ли, черт его знает...

– Да, работник.

– Ранен или ранил себя по неосторожности. Вообще, таинственная история. Вы ничего не слышали?

– Нет, не слышали. Тяжело?

– Нет, легко. Уже поправляется. Я узнал стороной – они сами скрывают. Что, Степан у вас не бывал?

– Нет, он давно на приисках.

– Приходил не так давно за паспортом... Но, по нашим сведениям, он ушел опять недели за две до происшествия...

И вдруг, переходя в «партикулярный» тон, он сказал:

– Между нами сказать, – я уверен, что это его рук дело.

И, лукаво засмеявшись, прибавил:

– Вот оно, – женское сердце! Помните, я-то распинался: любовь... как это еще... идиллия, верность. И ведь работник-то, заметьте, рожа несказанная... Настоящий... Ну, как это?.. Ква... Ква...

– Квазимодо...

– Ну, вот-вот. Я ведь прямо оттуда. Отобрал показания.

– Что же?

– Сам, говорит, по нечаянности; ружьем баловался... Но рана такая, что этого никоим образом допустить нельзя... Понимаете?

– А тюрьма у вас переполнена?

– Как селедок в бочке, – сказал он, махнув рукой. – К тому же... Только уж это, пожалуй-ста, вполне партикулярно, между нами!

Он оглянулся на запертую дверь и прибавил:

– Пришлось бы, пожалуй, и другое дело подымать... А жаль батьку, батька-то простяк...

– Неужели бродяжий брак? – спросил я.

– А вы почему догадались?

– Я знал об их намерении венчаться. Значит, все-таки Степану удалось это устроить?

– Как Степану?

– А то кому же?

– Ну, там кто устраивал, не знаю. А только обвенчался все же он, работник этот... На кого, подумайте, променяла! Тот все-таки был действительно молодец!

Мне вспомнилась пророческая вражда Степана и его отзыв о хитрости работника. А между тем я и теперь был уверен, что роль Тимохи была, как всегда, пассивная: наверное, Маруся просто женила его на себе... Изломанная, смятая какой-то бурей, она стремилась восстановить в себе женщину и хозяйку. Для этого ей нужно было ее хозяйство, весь этот уголок. Для хозяйства нужен хозяин. Все это – лишь внешняя оболочка, в которую, как улитка, пряталась больная женская душа.

А впрочем... Кто знает? Иногда мне вспоминалось время, проведенное нами на заимке, рассказ Тимофея, горящие глаза Маруси и почти страдальческое участие ее к этому рассказу. И мне приходило в голову, что, быть

может, в ней, стремившейся восстановить в себе крестьянку, этот Тимоха, так полно сохранивший в себе все особенности пахаря, мог задеть и другие сердечные струны...

Все это, однако, показалось мне слишком туманным и сложным, чтобы делиться этими соображениями с заседателем Федосеевым.

Недавно я получил из тех мест длинное письмо. Моя знакомая отвечала подробно на мои вопросы о местах и людях.

«...О Степане мне трудно было узнать что-нибудь. О нем все как-то забыли. Марья же (по мужу Захарова) живет на „Дальней заимке“. Это место пользуется некоторой известностью, и начальство охотно поселяет там русских, на которых можно рассчитывать как на земледельцев. Пожалуй, что это начало будущего значительного поселения. У Марьи два сына, один – подросток, отличный работник. Оба говорят по-малорусски лучше, чем по-русски. Тимофей тоже хороший работник, но, по общему мнению, настоящая хозяйка – Марья. Впрочем, она выказывает ему наружные знаки почтения. Иногда он напивается и

под пьяную руку поколачивает ее. Она охотно рассказывает об этом, как будто гордится побоями „своего мужа“, или, как она называет, „чоловіка“... В смехе Маруси ничего особенного незаметно... Вообще она, по-видимому, человек вполне нормальный».

«Выпрямилась», – подумал я по прочтении этого письма. Мне опять вспомнилась молодая искалеченная лиственница... Даже эти побои... Вероятно, Марье приходит при этом в голову, что, – не будь всего того, что вырвало ее из родной среды, – какой-нибудь «чоловік Тиміш» где-нибудь в своей губернии так же напивался бы, так же куражился, так же поколачивал бы ее в родной деревне... На то он «чоловік», свой, родной, «законный».

У всякого свои понятия о счастье....

Во времена моей юности один товарищ рассказал мне следующую историю. Как-то, лишившись уроков, он дошел до крайней нужды и не ел почти два дня. В это время ему предложили работу. Он вяло шел по улицам на приглашение и думал, что вряд ли в силах будет исполнить заказ. Вот если бы задаток!.. Хоть рубль... именно рубль!.. И вдруг в его во-

ображении с необыкновенной яркостью нарисовалась желтенькая бумажка. С этим заманчивым образом в уме он слушал объяснение заказчика. В заключение тот сам предложил задаток и протянул... десять рублей. Студент вяло посмотрел на бумажку. Это было не то, что ему нужно.

– Рупь... – сказал он с выражением тупой жадности в голосе.

– Но позвольте...

– Рупь, рупь, рупь, – повторял он настойчиво. Заказчик пожал плечами, студент получил желаемое. И в эту минуту он был счастлив...

Маруся тоже отвоевала у судьбы свой рубль и – значит, тоже счастлива.

Известия эти доставили мне чувство некоторого удовлетворения, героические усилия молодого надломленного существа не пропали даром. Но когда я гляжу теперь на несколько пожелтевших листочков, на которых я тогда набросал в коротких чертах рассказ Степана, – сердце у меня сжимается невольным сочувствием. И сквозь благополучие Дальней заимки хочется заглянуть в без-

вестную судьбу беспокойного, неудовлетворившегося, может быть давно уже погибшего человека...

1899

Мороз

I

Мы ехали берегом Лены на юг, а зима догоняла нас с севера. Однако могло показаться, что она идет нам навстречу, спускаясь сверху, по течению реки.

В сентябре под Якутском было еще довольно тепло, на реке еще не было видно ни льдинки. На одной из близких станций мы даже соблазнились чудесною лунною ночью и, чтобы не ночевать в душной юрте станочника, только что смазанной снаружи (на зиму) еще теплым навозом, – легли на берегу, устроив себе постели в лодках и укрывшись оленьими шкурами. Ночью мне показалось, однако, что кто-то жжет мне пламенем правую щеку. Я проснулся и увидел, что лунная ночь еще более побелела. Кругом стоял иней, иней покрыл мою подушку, и это его прикосновение казалось мне таким горячим. Моему товарищу, спавшему в одной лодке со мною, – снилось, вероятно, то же самое. Луна светила

ему прямо в лицо, и я видел ужасные гримасы, появлявшиеся на нем то и дело. Сон его был крепок и, вероятно, очень мучителен. В это время в соседней лодке встал другой мой спутник, приподняв дохи и шкуры, которыми он был покрыт. Все было бело и пушисто от изморози, и весь он казался белым привидением, внезапно возникшим из холодного блеска инея и лунного света.

– Бр-р... – сказал он. – Мороз, братцы...

Лодка под ним колыхнулась, и от ее движения на воде послышался звон, как бы от разбиваемого стекла. Это в местах, защищенных от быстрого течения, становились первые «забереги», еще тонкие, сохранившие следы длинных кристаллических иголок, ломавшихся и звеневших, как тонкий хрусталь... Река как будто отяжелела, почувствовав первый удар мороза, а скалы вдоль горных берегов ее, наоборот, стали легче, воздушнее. Покрытые инеем, они уходили в неясную, озаренную даль, искрящиеся, почти призрачные...

Это был первый привет мороза в начале длинного пути... Привет веселый, задорный,

почти шуточный.

По мере того как мы медленно и с задержками подвигались далее к югу, – зима все крепла. Целые затоны стояли уже, покрытые пленкой темного девственно-чистого льда, и камень, брошенный с берега, долго катился, скользя по гладкой поверхности и вызывая странный, все повышавшийся переливчатый звон, отражаемый эхом горных ущелий. Далее лед, плотно схватив уже края реки и окрепшие «забереги», противился быстрому течению. Мороз все продолжал свои завоевания, забереги расширялись, и каждый шаг в этой борьбе отмечался чертой изломанных льдинок, показывавших, где еще недавно было живое течение, отступившее опять на сажень-другую к середине...

Потом кое-где на берегах лежал уже снег, резко оттеняя темную, тяжелую речную струю. Еще дальше – мелкие горные речки присоединялись к этой борьбе. Постепенно прибывая от истоков, они то и дело взламывали свой лед в устьях и кидали его в Лену, загромаждая свободное течение и затрудняя ее собственную борьбу с морозом... Черты из-

ломов на реке становились все выше; льдины, выбрасываемые течением на края заберегов, – все толще. Они образовали уже настоящие валы, и порой нам было видно с берега, как среди этих валов начиналось тревожное движение... Это река сердито кидала в скывавшие ее неподвижные ледяные укрепления свободно еще двигавшимися по ее стрежню льдинами, пробивала бреши, крошила лед в куски, в иглы, в снег, но затем опять в бессилии отступала, а через некоторое время оказывалось, что белая черта излома продвинулась еще дальше, полоса льда стала шире, русло сузилось...

Чем дальше, тем эта борьба становилась упорнее и грандиознее. Река швыряла уже не тонкие льдины, а целые огромные глыбы так называемого тороса, которые громоздились друг на друга в чудовищном беспорядке. Картина становилась все безотраднее. Ближе к берегам торос уже застыл безобразными массами, а в середине он все еще ворочался тяжелыми, беспорядочными валами, скрывая от глаз застывающее русло, как одичалая толпа закрывает место казни. Вся природа, каза-

лось, была полна испуга и печального, почти торжественного ожидания. Пустынные ущелья горных берегов покорно отражали сухой треск ломающихся ледяных полей и тяжелое кряхтение изнемогающей реки.

Еще через некоторое время темная струя в середине тоже побелела: по ней, тихо ворочаясь, сталкиваясь, шурша, – густо плыли белые льдины сплошного ледохода, готового окончательно стиснуть присмирившее и обессилившее течение.

II

Однажды с небольшого берегового мыса мы увидели среди этих тихо передвигавшихся ледяных масс какой-то черный предмет, ясно выделявшийся на бело-желтом фоне. В пустынных местах все привлекает внимание, и среди нашего маленького каравана начались разговоры и догадки.

– Ворона, – сказал кто-то.

– Медведь, – возражал другой ямщик.

Мнения разделились. Одним черная точка казалась не больше вороны, другим – не меньше медведя: отдаленное однообразие

этих белых подвижных масс, лениво проплы-
вавших между высокими горами, – совершен-
но извращало перспективу.

– Откуда же взяться медведю на середине
реки? – спросил я у ямщика, высказавшего
предположение о медведе.

– С того берега. В третьем годе медведица
вон с того острова переправилась с тремя
медвежатами.

– Нонче тоже зверь с того берега на наш
идет. Видно, зима будет лютая...

– Мороз гонит, – прибавил третий.

Весь наш караван остановился у мыса,
ожидая приближения заинтересовавшего
всех предмета. Белая ледяная каша между тем
тихо подвигалась к нам, и было заметно, что
черная точка на ней меняет место, как бы
действительно переправляясь по льдинам к
нашему берегу.

– А ведь это, братцы, козуля, – сказал нако-
нец один из ямщиков.

– Две, – прибавил другой, взглядевшись.

Действительно это оказались горные козы
и действительно их было две. Теперь нам уже
ясно были видны их темные изящные фигур-

ки среди настоящего ледяного ада. Одна была побольше, другая поменьше. Может быть, это были мать и дочь. Вокруг них льдины бились, сталкивались, вертелись и крошились; при этих столкновениях в промежутках что-то кипело и брызгало пеной, а нежные животные, насторожившись, стояли на большой сравнительно льдине, подобрав в одно место свои тоненькие ножки...

– Ну, что будет! – сказал молодой ямщик с глубоким интересом.

Огромная льдина, плывшая впереди той, на которой стояли козы, стала как будто замедлять ход и потом начала разворачиваться, останавливая движение задних. От этого вокруг животных поднялся вновь целый ад разрушения и плеска. Льдины становились вертикально, лезли друг на друга и ломались с громким, как выстрелы, треском. По временам между ними открывалась и смыкалась опять темная глубь. На мгновение два жалких темных пятнышка совсем было исчезли в этом хаосе, но затем мы тотчас же заметили их на другой льдине. Опять собрав свои тонкие, дрожащие ножки, козы стояли на другой

ледяной площадке, готовые к новому прыжку. Это повторилось несколько раз, и каждый прыжок с рассчитанной неуклонностью приближал их к нашему берегу и удалял от противоположного.

Можно было уже проследить план умных животных. Невдалеке от нас конец мыса выступал острым краем в реку, и здесь льдины, разгоняемые течением, разбивались с особенной силой. Зато более отдаленные, избегавшие линии удара, тотчас же подхватывались отраженной струей и уносились опять к другому берегу реки. Старшая из двух коз, видимо руководившая переправой, с каждым прыжком, очевидно, направлялась на этот мысок, гремевший от напора ледохода... Видела ли она нас или нет, – но наше присутствие она явно не принимала в соображение. Мы тоже стояли на самом мысу неподвижно, и даже большая остроухая и хищная станочная собака, увязавшаяся за нами, очевидно, была заинтересована совершенно бескорыстно исходом этих смелых и трагически-опасных эволюций... Совсем уже близко от берега, в десятке саженей от целой кучки людей, козы

все так же были поглощены только столкновением льдин и своими прыжками. Когда льдина, на которой они стояли, тихо кружась, подошла к роковому месту, – у нас даже захватило дыхание... Мгновение... Сухой треск, хаос обломков, которые вдруг поднялись кверху и поползли на обледенелые края мыса, – и два черных тела легко, как брошенный камень, метнулись на берег, поверх этого хаоса.

Они были уже на берегу. Но на другой стороне косы была темная полоса воды, а проход загоразивала кучка людей. Однако умное животное не задумалось ни на минуту. Я заметил взгляд ее круглых глаз, глядевших с каким-то странным доверием, и затем она понеслась сама и направила младшую прямо к нам. Станочная собака, большой мохнатый Полкан, сконфуженно посторонилась, когда старшая коза, загоразивая младшую, пробежала мимо нее, почти коснувшись боком ее мохнатой шерсти. Собака только поджала хвост и задумчиво отбежала в сторону, как будто озадаченная собственным великодушием и опасаясь, что мы истолкуем его в невы-

годном для нее смысле. Но мы одобряли ее сдержанность и только радостно смотрели кверху, где два стройных тела мелькали на лету, распластываясь над верхушками скал...

III

Эту станцию с нами вместе ехал случайным попутчиком Иван Родионович Сокольский, начальник разведочной приисковой партии. Когда-то какая-то буря занесла его в далекую Сибирь, и он уже не старался вырваться отсюда, втянувшись в богатую своеобразными впечатлениями жизнь приискового разведчика. Это был человек крупный, с обветренным лицом, седеющей гривой волос и как бы застывшими чертами, нелегко выдававшими душевные движения. Его чувства, казалось, так же скрывались под невыразительной физиономией, как течение реки под льдами. В его кошеве (в которой эту станцию я ехал с ним вместе) лежало ружье в чехле из лосиной кожи, и хотя он стоял рядом и ему стоило только протянуть руку, чтобы вынуть ружье, — он не сделал этого движения. Его твердые серые глаза все время не отрывались от

животных, и мне в первый раз в течение нашего – недолгого, впрочем, – знакомства показалось, что в этих серых глазах мелькает что-то не совсем холодное и не совсем загрубевшее.

Когда весь этот маленький эпизод закончился благополучно, мы все уселись опять и наш караван двинулся далее, растянувшись под каменистым берегом. Все мы были настроены как-то весело, и все обсуждали смелый подвиг животного, сумевшего сохранить такое самообладание среди стольких опасностей.

– Впрочем, – сказал я, улыбаясь, – кое-что надо отнести и на наш счет. Можно подумать, что мороз имеет свойство пробуждать добрые чувства.

– Из чего вы это заключаете? – спросил Сокольский серьезно.

– Из совершенно необычного поведения этого Полкана, а также, простите сопоставление, – вашего собственного: ваше ружье осталось в чехле.

– Да, – ответил приискатель. – Это правда. Эти бедные животные на наших глазах пре-

одолели столько опасностей, и, я думаю, даже Полкану было совестно закончить все это простым убийством на берегу... Заметили вы, с каким самоотвержением старшая закрыла младшую от собаки?.. Всякий ли человек делает это при таких обстоятельствах?

– Всякая мать, я думаю... – сказал я, улыbnувшись. – Вообще, мне кажется, на вас этот маленький эпизод произвел сильное действие.

Лицо Сокольского носило следы внутреннего волнения, глаза глядели с мягкой грустью.

– Да, – ответил он задумчиво. – Это напомнило мне одну историю и одного человека... Вот вы сказали о действии мороза и о добрых чувствах. Нет, мороз – это смерть. Думали ли вы, что в человеке может замерзнуть, например... совесть?

– И даже весь человек может превратиться в льдину, то есть перестанет быть человеком, – ответил я, опять улыbnувшись. Настроение моего спутника казалось мне все более загадочным.

– Нет, – ответил он с той же странной мяг-

кой грустью. – Нет, гораздо раньше. Вот я расскажу вам, если хотите... Кстати, и было это почти в этих самых местах. Я вот еду теперь с вами, и мне кажется, что... я переживаю начало моего рассказа, а вы поедете дальше и встретите его продолжение...

IV

Это было в 18... таком-то году. В то время я только что получил место и ехал с товарищем на прииск. Осень, как и нынешняя, сильно запоздала, зима медлила, и мы подвигались очень тихо. Здесь вот приблизительно мы так же встретили первый ледоход. Дальше лед все крепче схватывал реку, течение становилось все уже, потом оно стало прерываться заторами. Вот посмотрите сами, что это такое... В одном месте густо сталкиваются огромные льдины и загораживают течение. Река нагромождает их все больше, ломает лед, образует пороги, ревет, беснуется... Кругом на целые версты стоит гул и грохот... Потом лед опять прорвется и сплывет вниз, а на середине реки мало-помалу остаются только полыньи, над которыми носится густой пар,

прохваченный морозом.

Я ехал с товарищем – поляком из ссыльных. Он участвовал в известном восстании на кругобайкальской дороге и был ранен. Усмиряли их тогда жестоко, и у него на всю жизнь остались на руках и ногах следы железа: их вели в кандалах без подкандалников по морозу... От этого он был очень чувствителен к холоду... И вообще существо это было хлипкое, слабое – в чем душа, как говорится... Но в этом маленьком теле был темперамент прямо огромный. И вообще весь он был создан из странных противоречий... Фамилия его была Игнатович...

Сокольский задумался, и некоторое время мы ехали в молчании. Молчание это длилось долго, и я хотел уже напомнить моему спутнику о продолжении рассказа, как вдруг он опять повернулся ко мне.

– ...Боюсь, что я не сумею вам передать, что это была за натура... Идеалист и романтик, воспитанный на Красинском, Словацком и Мицкевиче. Нам, русским, всегда было чуждо это настроение, эти... как бы сказать... экзотические преувеличения, что ли. Есть у Миц-

кевича одно стихотворение: кто-то, какое-то огромное я головой поднялось в надзвездные высоты... Кругом головы венец из солнц, руки он возложил на звезды, и их хоры, как клавиши, звучат созданной им мировой симфонией... В этом роде... Я всегда оставался холоден к этим образам и с некоторым удивлением слушал, как мой приятель (мы жили с ним в Якутске около года) декламировал их с необыкновенным огнем и увлечением. И, не понимая сам ни возможности, ни красоты этих картин и этого настроения, – я все же должен был признать, что они могут будить ответные отголоски: мой маленький приятель, казалось, вырастал, голос его начинал звенеть, глаза сверкали, и... если не образы, которые мне все-таки казались ненатурально преувеличенными и странными, – то звуки его голоса заражали даже меня...

Я думаю, что это можно назвать романтизмом... Какое-то преувеличенное представление о человеке, о его «божественном начале», об его титаническом значении. Но в этом настроении моего приятеля не было цельности. Кажется, уже во время самого восстания, за

которое он и попал в Сибирь, человеческая природа повернулась к нему своими не особенно привлекательными и во всяком случае далеко не божественными сторонами... Потом было что-то и с женщиной. Когда она представляется в надзвездных высотах, созданной из лучей, – то, разумеется, обратная сторона женской натуры воспринимается с болезненной чуткостью... Как бы то ни было, на него находили порой целые полосы мизантропии. Тогда он становился почти невыносим, особенно в совместной жизни. В его взгляде, пронизывающем и холодном, виднелось что-то вроде презрения – к вам, к незнакомому прохожему, к самому себе. В эти периоды он становился материалистом и циником, говорил резкости, и... я тогда старался уйти куда-нибудь надолго, по возможности на несколько дней... Товарищ же мой с особенной заботливостью принимался ухаживать за животными...

Любовь к животным была тоже выдающейся чертой этого странного человека. Бывали целые периоды, когда наше скромное жильё положительно превращалось в лечеб-

ницу. Целую неделю он возился с замерзшей вороной, которую вернул к жизни, а больную лошадь водил в поводу на прогулку по два раза в день, не смущаясь насмешками. И замечательно, что, чем более он сердился на человека, тем более нежности отдавал животным. В конце концов, пессимист и циник (в такие периоды) по отношению к «царю природы», — он превозносил ее меньших тварей. Он не только признавал в них ум, память, соображение, совесть, но даже считал эти стороны интеллекта исключительно их принадлежностью, совершенно чуждой человеку... При этом он становился дьявольски, невыносимо остроумен и саркастичен, и порой, когда мне некуда было скрыться в периоды его мизантропии, я совершенно изнемогал под градом его парадоксов и начинал, право же, чувствовать себя действительно ниже всякого скота, в то время как какая-нибудь собака со спиной, перешибленной поленом досужего бездельника, казалась мне чуть не сознательным страдальцем и философом. Впрочем, когда эти припадки проходили, он опять оживал, опять парил под небесами и декламиро-

вал «мировые симфонии». В то время он тоже получил место на прииске чем-то вроде смотрителя материального склада... В практических вопросах я всегда имел преимущество. Я нашел ему эту должность и уговорил принять ее. Он пассивно подчинился, и мы отправились в путь, как только получили аванс. Обстоятельства наши были не особенно блестящи.

Ехали мы все-таки несколько быстрее вашего и, несмотря на то, что одежонка у нас была неважная, как-то еще не успели озябнуть настоящим образом до самой Олекмы и даже дальше. Морозы были порядочные, но озябнешь и отогреешься, а на следующий день выезжаешь как ни в чем не бывало.

За Олекмой река уже остановилась, оставались только полыньи... Однажды, проезжая мимо одной из них, мы увидели двух уток. На них нам указал ямщик кнутовищем. Трудно мне теперь передать вам это истинно жалостное зрелище. Утки были отсталые. Товарищи давно улетели, а они, застигнутые болезнью или недостатком сил для перелета, остались умирать на этой холодной реке. Пока течение

было еще свободно хоть на середине, они плавали, спасаясь как-то от ледохода; потом пространство воды все суживалось, потом остались только эти полыньи. Когда и они замерзнут, уткам предстояла гибель. Теперь они вдвоем метались по узкой полынье, охваченные холодным паром, а кругом на них смотрели вот такие же сумрачные и безучастно холодные горы.

Я помню, что ямщик смеялся, скаля свои белые зубы... Мне стало немного жутко и холодно, и я запахнулся дохой, как будто это подо мной была эта темная, холодная глубина. Но мой товарищ сразу заволновался и вспыхнул.

«Стой! – закричал он ямщику. – Неужели вы способны проехать мимо?..» – обратился он ко мне с горечью и, не ожидая, пока ямщик остановит лошадей, выскочил из кошевы, затем, скользя и падая на торосьях, кинулся к полынье.

Ямщик смеялся как сумасшедший, и я тоже не мог удержаться от улыбки при виде того, как мой товарищ, наклонившись над узкой, но длинной полыньей, старался поймать

уток. Птицы, разумеется, кинулись от него. Тогда мой маленький спутник перебежал на нижний конец полыньи, правильно рассчитав, что уток теперь понесет течением к нему, особенно когда, заинтересованный этим эпизодом, я тоже вышел на лед и погнался за ними книзу... Нырять они боялись, так как течение несло под лед. Одна из этих птиц поднялась было на воздух, но другая, потерявшая силы, а может быть, когда-нибудь подстреленная, летать не могла, она только взмахнула крыльями и осталась. Тогда и другая, сделав круг над холодными льдами реки, вернулась к своей подруге.

Я не могу вам описать, какое действие произвело это проявление великодушия на моего друга. Он стоял на льду, следя за полетом птицы, мелькавшей на фоне угрюмых гор, опущенных снегами, и, когда она самоотверженно шлепнулась в нескольких шагах на воду, с очевидным намерением разделить общую опасность, — у него на глазах появились слезы... Затем он решительно заявил, что мы можем, если угодно, ехать дальше, а он останется здесь, пока не поймает обеих уток.

Я знал, что он непременно исполнит свою угрозу, и у нас началась своеобразная охота, к которой наконец присоединился и ямщик. В результате одна птица, именно та, которая пыталась улететь, – утонула. Она нырнула из моих рук, и течением ее унесло под лед... Другая очутилась в руках ямщика. Игнатович сильно вымок, и с рукавов его дохи лилась вода.

Это было очень серьезно, так как до станции было еще не близко. Я укутал его, чем мог, но на станке мы едва оттерли его обмороженные пальцы, и целые сутки после этого мы не говорили друг с другом. Утку эту мы повезли дальше, и хотя я принимал участие в ее спасении и под конец даже увлекся этим благотворительным спортом, – но все-таки признавал, что это сентиментально и глупо, тем более что всюду наш третий пассажир вызывал справедливые, по-моему, насмешки станочников. Игнатович чувствовал это мое настроение и презирал меня.

В конце концов, утка все-таки издохла, и мы ее кинули на дороге, а сами поехали дальше. Несколько дней шел густой пушистый

снег, покрывший на три четверти аршина и лед, и землю. Он массами лежал на деревьях и порой падал с них комьями, рассыпаясь мелкою пылью в светлом воздухе.

Потом ударил мороз в тридцать, тридцать пять, сорок градусов. Потом на одной из станций мы уже видели замерзшую в термометре ртуть, и нам сказали, что так она стоит несколько дней.

Птицы замедляли полет, судорожно взмахивали крыльями и падали на землю, медведи зябли в берлогах и выходили тощие, испуганные и злые... Охотники на белок прекратили из-за этих озлобленных медведей свой промысел.

Мы тоже начали зябнуть. Вы ведь знаете, что это такое: дыхания не хватает, моргнешь глазами – между ресницами протягиваются тонкие льдинки, холод забирается под одежду, потом в мускулы, в кости, до мозга костей, как говорится – и говорится недаром... Вас охватывает дрожь, какая-то внутренняя, пронизывающая, неприятная и даже, право, унижительная... Приедешь на станцию – до полуночи едва начнешь обогреться, а наутро

трогаешься в путь и чувствуешь, что в тебе что-то ubyло, что начнешь зябнуть раньше, чем вчера, и приедешь на ночлег еще более озябший... Настроение меняется, впечатления постепенно тускнеют, люди кажутся неприятнее. Сам себе тоже становишься противен... В конце концов, закутываешься как можно плотнее, садишься поудобнее и стараешься об одном: как можно меньше движений, как можно меньше мыслей... организм инстинктивно избегает всякой траты... Сидишь, и понемногу стынешь, и ждешь с каким-то испугом, когда кончатся эти ужасные сорока-пятидесятиверстные перегоны...

Наконец мы стали приближаться к Витиму. С N-ской станции выехали мы светлым, сверкающим, снежным утром. Вся природа как будто застыла, умерла под своим холодным, но поразительно роскошным нарядом. Среди дня солнце светило ярко, и его косые лучи были густы и желты... Продираясь сквозь чащу светового бора, они играли кое-где на стволах, на ветвях, выхватывая их из белого, одноцветного и сверкающего сумрака.

Перегон был необычайно длинен. Ямщик

(им здесь ездить приходится не очень часто) сначала был очень бодр и даже пел какую-то безобразную приисковую песню... Потом и он смолк и то и дело бежал вприпрыжку рядом с санями, усиленно топая ногами и хлопая озябшими руками в рукавицах... Мой спутник, казалось, совсем застыл. Во все время он заговаривал только раз, но его голос показался мне скрипучим и неприятным, и я проворчал что-то сердитое и невнятное даже для меня самого. Потом он молчал, как закованный, и я представлял себе его лицо – с мизантропическим и противно-злым выражением. Я тоже молчал и отворачивался в сторону, чтобы изморозь от моего дыхания не попадала мне в лицо через отверстие в башлыке...

Дорога пошла лесом, полозья скрипели; лошади то и дело фыркали, и тогда ямщик останавливался и извлекал пальцами льдины из их ноздрей... Высокие сосны проходили перед глазами, как привидения, белые, холодные и как-то не оставлявшие впечатления в памяти...

Уже вечерело, последние лучи солнца, еще желтее и гуще, уходили из лесу, с трудом ка-

рабкаясь по вершинам. А внизу ровный белый сумрак как бы еще более настывал и синел. Звон колокольчика болтался густо и как-то особенно плотно, точно ударяли ложечкой по наполненному жидкостью стакану. Эти звуки тоже раздражали и тревожили нервы...

В одном месте в глаза мне попало неожиданное впечатление: невдалеке от дороги вился тонкий дымок между валежником. На пне сидел человек, и его фигура одна чернела среди общей белизны темным пятном... Над ним со всех сторон свесились мохнатые лапы лесной заросли, вверху еще освещенные солнцем, внизу уже охваченные сумраком наступающей ночи. Зрелище это промелькнуло мимо моего неподвижного взгляда... В последнее мгновение мне показалось, что фигура шевельнулась и что это имело какое-то отношение к нам, к нашему суетливому колокольчику, к нашему быстрому движению. Но я не повернул голову, не повел глазами. Видение пронеслось мимо и исчезло, и впечатления плыли к сознанию застывшие, мертвые, неподвижные, ничего в нем не будя и не шевеля воображение...

Ямщик повернулся к нам и, наклонясь, стал говорить что-то, и помню, что он смеялся. Но для меня это были только разрозненные звуки, точно звенели льдинки... Самые слова были пусты, в них для меня в ту минуту не было никаких понятий. Смех ямщика тоже не казался мне смехом и не производил на меня того впечатления, какое произвел бы при других обстоятельствах. Я просто видел неприятно-желтоватое лицо в рамке мехового малахая, два глаза с ресницами, опущенными инеем. Челюсти на этом лице двигались, рот был неприятно перекошен, и из него вылетали вместе с паром пустые звуки, как звон по стеклу... Вот и все... Мой спутник зашевелился и тоже пробормотал что-то. Кажется, он сердито торопил ямщика...

Короткий день давно угас, когда мы достигли станка и расположились на ночлег.

Помню, это была кучка лачуг, как и большинство станков – под отвесными скалами. Те, кто выбирали места для этих станков, мало заботились об удобствах будущих обитателей. N-ский станок стоял на открытой каменной площадке, выступавшей к реке, которая в

этом месте вьется по равнине, открытой прямо на север. Несколько верст далее станок мог бы укрыться за выступом горы. Здесь он стоял, ничем не прикрытый, как бы отданный в жертву страшному северному ветру.

Кроме официального названия, жители называли его еще «Холодным станком». И действительно, трудно найти что-нибудь более вызывающее представление о холоде, чем эти кучки бревен, глины и навоза на каменистой площадке, заметенные снегом и вздрагивавшие от ветра. Лес, который мы оставили позади, кончился у начала лугов в низинке и не закрывал станка, а только наполнял воздух протяжным, пугающим гулом.

Впрочем, мы рады были и этому приюту и доехали как раз вовремя, чтобы быть еще в состоянии отогреть застывшие члены. К счастью, лесу в окрестностях было довольно, не принадлежащего никому, кроме бога, поэтому скоро в камельке запылал яркий огонь, и мы, разостлав на полу одеяло и шкуры, легли прямо против пламени, проглотив наскоро по стакану чаю. Стаканы было трудно держать в заоченелых руках, но ощущение теплоты

потерялось; мы только обжигались, а не согревались кипятком и, бросив чай, заползли под свои шубы. Зубы у меня все еще стучали, озноб чувствовался даже в костях.

Хозяин, допив наш чай, угостив также сильно озябшего ямщика, подложил еще дров и скрылся в какой-то угол.

В темной избушке все затихло.

Только снаружи слышался ровный гул, как будто кто-то огромный шагал от времени до времени по окованной морозом земле. Земля глухо гудела и смолкала до нового удара... Удары эти становились все чаще и продолжительнее. По временам наша избушка тоже как будто начинала вздрагивать, и внутренность ее гудела, точно пустой ящик под ветром. Тогда, несмотря на шубы, я чувствовал, как по полу тянет холодная струя, от которой внезапно сильнее разгорался огонь и искры вылетали гуще в камин.

«Беда! – сказал в одну из таких минут хозяин, обращаясь к засыпавшему ямщику. – Как поедешь? Поднялся сивер, поземка идет».

«Да... – ответил тот. – А мороз не стал меньше... Такому ветру, – прибавил он, по-своему

коверкая русский язык, – гляди, и почта не ходит...»

«Не дай бог», – прибавил хозяин, зевая. Я понял, что это начинается сравнительно редкое явление – морозная буря, когда налетающий откуда-то ветер толкается в отяжелевший морозный воздух. Отдельные толчки и гул служили признаками первых усилий ветра, еще не могущего двинуть сгущенную атмосферу... Потом толчки стали продолжительнее, гул становился ровным, непрерывным. Охлажденный ниже сорока градусов, воздух тронулся с места и тянул, точно над нашей площадкой неслись волны бездонного океана...

Под этот шум я стал засыпать, все еще плохо сознавая происходящее и только радуясь животною радостью при мысли, что я в избе, близко к огню, что все то, что во мне так неприятно застыло и окоченело, – скоро должно оттаять и распуститься...

И действительно, что-то «оттаяло... и распустилось...».

— Как и когда оказалось, что я уже не сплю и притом совсем не сплю, — сказать я бы не мог. Я проснулся незаметно, но некоторое время мне казалось, что я еще вижу сон или что я тщательно берегу в памяти остатки сна, как бы боясь, что он исчезнет и я не успею рассмотреть в нем что-то очень важное и очень нужное. А между тем сон был самый простой.

Мне снилось, что я опять еду той же дорогой, и опять мне холодно, и опять кругом меня опущенный инеем лес, и косые лучи солнца, густые и желтые, уходят из этого леса, играя кое-где на стволах и мохнатых ветках... Только где-то за лесом что-то еще гудит глухими, стонущими ударами, как будто гонится за нашими санями.

Потом я увидел кучу деревьев, составлявших как бы беседку под мохнатыми ветвями, белыми от снега, и тонкий, как будто замирающий дымок, и около костра темную фигуру... И все это, по обычной нелогичности сна, — казалось мне острыми, колючими

льдинками, попавшими мне в грудь и холодившими сердце.

Потом я увидел еще лицо ямщика, сначала бессмысленное и лишенное выражения... Постепенно, однако, оно менялось, становилось знакомым, и под влиянием его взгляда льдинки в груди начали вдруг мучительно быстро таять. И вместе с тем я чувствовал, что беседка из ветвей в лесу встает во всех подробностях, которых я не замечал раньше, и всякая подробность обрастает в воображении особенными впечатлениями, и мне страшно взглядеться в лицо человека, как будто зашевелившегося на пне, но ямщик требует от меня, чтобы я непременно взгляделся... Я сержусь на него, но потом вижу, что это уже не ямщик, а Игнатович и что под влиянием его взгляда, полного мучительной тоски, – все то, что лежало в глубине моей памяти бесцветными холодными льдинками, вдруг растаяло...

Рассказчик остановился и, помолчав, сказал:

– Вы помните, вероятно, легендарные рассказы о полярных странах средневековых пу-

тешественников. Зимой слова замерзают и лежат мерзлыми льдинами – до тепла. А потом оттаивают и опять становятся словами... Если понимать это как метафору, в этом есть глубокий смысл. По крайней мере, в эту минуту я вдруг вспомнил слова ямщика, которые он говорил еще тогда, на дороге, и которые до этого времени лежали у меня где-то в глубине памяти лишенными смысла. Да, несомненно, он говорил тогда об этом человеке в лесу и о том, что он «убился» где-то на приисках и идет пешком от станка до станка... Только теперь эти слова вдруг оттаяли, и от них в груди у меня что-то мучительно запыло...

Я невольно застонал и раскрыл глаза. Огонь в камине почти догорел. На дворе все еще тянул ветер, надо мной наклонилось лицо моего спутника...

Никогда в моей жизни, ни прежде, ни после, я не видел ничего ужаснее этого лица, освещенного трепетным пламенем камина... Оно было совершенно искажено выражением ужаса и как будто мучительного вопроса. Нижняя челюсть его дрожала, зубы стучали

как будто от озноба...

«Что такое? Ради бога?» – сказал я, подымаясь.

«Вы не знаете? – спросил он, глядя на меня своими угасшими и помутневшими глазами. – Скажите, – разве это... был только сон?»

«Что именно?»

«То, от чего вы сейчас застонали и проснулись, – сказал он резко и затем подозрительно взглянул на меня. И, видя, что я не отвечаю, он все так же подозрительно всматривался мне в лицо: – Вы не заметили там, в лесу... человека?..»

Я промолчал и невольно отвел глаза.

«Послушайте, – заговорил он, – скажите мне что-нибудь... Я еще думаю, что это был сон... Ведь не может быть, чтобы это было наяву!.. Чтобы мы...»

«Да ведь это и был почти сон, – сказал я. – Мороз так притупляет впечатления...»

Он сделал резкое движение и сразу сел на своем месте; глаза его странно сверкнули...

«Правда?.. – сказал он жалобно и потом вдруг прибавил с какой-то дикой энергией: – Не лгите! Не изворачивайтесь... Я тоже лгал...

Я знал, что это было наяву... Мы все видели... все... Этот человек подымался, он хотел что-то крикнуть... Вы это знаете, и я знаю, и тогда знал... Вы будете подыскивать оправдания... Совесть замерзла!.. О, конечно, это всегда так бывает: стоит понизиться на два градуса температуре тела, и совесть замерзает... закон природы... Не замерзает только соображение о своих удобствах и подлое, фарисейское лицемерие... О, какая низость...»

Он схватил голову руками, и несколько секунд прошло в молчании. Наша избушка все продолжала вздрагивать, но ровный гул прекратился: опять слышались толчки, и мне положительно казалось, будто там, над рекой, лесом и ущельями размеренно шагал кто-то огромный и тяжелый...

«Да встаньте же наконец вы... негодяй! – крикнул вдруг Игнатович с дикой враждой. – Ведь мы с вами убили человека. Пон-нимаете ли вы, себялюбивое животное! Хозяин, вставай... Зови всех... Господи боже!.. Что делать, что теперь делать?..»

В освещенном пространстве около камина появилось испуганное лицо нашего хозяина.

Уже с минуту он шевелился, прислушиваясь к непонятному и тревожному разговору незнакомых проезжих людей, упоминающих об убийстве. И теперь, все еще полусонный, испуганный не столько, вероятно, словами, сколько дикой энергией, звучавшей в голосе почти помешанного человека, он быстро вскочил и стал натягивать на себя верхнюю одежду. Потом, не говоря ни слова, он открыл дверь и вышел в темноту. Ямщик, привезший нас, тоже проснулся, зевнул, сошел с своего места и подбросил поленьев в камин... Он, видимо, совсем не понимал, в чем дело. В углу заплакал ребенок, и послышался успокаивающий его женский голос.

Все это навсегда врезалось мне в память, и никогда не забыть мне этой ужасной ночи, темной избушки с тихо набравшимся в нее народом и этого протяжного гула снаружи. Знаете, порой есть что-то изумительно сознательное в голосах природы... Особенно, когда она грозит...

— **П**ослушайте, может быть, вы все-таки доскажете, что было дальше? — спросил я через некоторое время, видя, что мой спутник задумался и как будто забыл о своем рассказе, глядя прямо перед собой на освещенные солнцем горы нашего берега. Реки с ледоходом теперь не было видно. Мы ехали лугом, впереди плелись мои спутники, о чем-то весело балагуря с своим ямщиком.

— Да, простите, пожалуйста!.. — заговорил рассказчик. — Я задумался. Это очень тяжелые воспоминания, но... конечно, я доскажу... остановился я на том, что...

— Что в избу стали набираться ямщики, которых, вероятно, созвал хозяин.

— Да, да, конечно... Хозяин созвал их чуть не всех, думая, что в самом деле надо будет вязать убийц. Ямщики входили робко, зевая, крестясь, и жались к сторонке, оставляя вокруг нас пустое пространство. Скоро в углу около дверей образовалась темная куча людей, лица которых с любопытством и испугом тянулись из-за плечей стоявших впереди, гля-

дя в нашу сторону. Последним явился староста с десятскими. Перекрестясь на икону, он резко ступил прямо к нам и заговорил грубо, очевидно стараясь ободрить и себя, и станочников:

«Ну, что такое набедокурили? Винуйтесь богу, великому государю...»

Однако когда я стал разъяснять, в чем дело, в избе постепенно водворялось что-то вроде разочарования. Этим людям жилось всегда так холодно, и мой рассказ, правда бессвязный и сбивчивый, не облакался для них тем захватывающим, трагическим смыслом, какой он имел теперь для нас. Где-то в углу слышался даже смех.

«Да это Митрохин, поселенец!» – сказал кто-то.

«Верно, он... Недели, сказывают, уж три плетется с приисков. Надоели нам...»

«И верно, – вставил свое замечание привезший нас ямщик. – У нас на станке третьего дня был. Лошадь просил. Свезите, говорит, Христа ради, ноги не ходят».

«Ну, что ж не дали?» – спросил староста сурово.

«Надоело уж нам возить-то их. Да и бумаги нет... – ответил ямщик, отворачиваясь. – Была бы бумага или бы к нам привезли его, а то пешком же пришел... Как люди, так и мы...»

«Пешком пришел! Умные! То, чай, тепло было, а тут, видишь, сивер. Застынет теперь, – заседатель с доктором, небось, пешком не придут... Возить же доведется... А вы, господа, что народ зря булгачите?.. Ночное дело...»

«У него теплина была (костер)», – вставил ямщик в виде оправдания.

«Как же зря, – сказал я, чувствуя, что почва у нас начинает ускользать. – Ведь человек замерзнет... Надо помочь».

«Как поможешь?.. Ежели бог сохранит, придет, дальше свезем... Почто, Тимофей, не подобрал его?» – обратился он опять к нашему ямщику.

«Где посадил бы я? Сани махоньки, сам околел...»

«Верно и то... Трое ехали... Что ж теперь делать? Теплина была, так, может, господь упасет...»

«Постойте, – крикнул я с тоской. – Нельзя же этак... Ведь в эту минуту, может быть, че-

ловек умирает... Слышите, что делается...»

На мгновение водворилась тишина, – и опять со двора слышны были удары, точно кто размеренно и с промежутками толкает что-то в ступе. И по временам воображение при-мешивало к этому стоны... Это доносился, вероятно, звенящий гул лесных верхушек или, может быть, на реке трескался лед.

В избе слышались вздохи. Тем не менее дверь открывалась. Ямщики начинали понемногу выходить.

«Спаси господи!» – прошептал кто-то, и чей-то другой голос прибавил резко:

«Сами тоже стынем... Зима не пройдет, чтобы на ближних станках не застыл человек, а то двое. Перегон у нас лютой!»

«Третий год – Федька в этом же лесу застыл».

«В прошлом годе баба с мальчонком».

«А у меня мнук не застыл, что ли?» – злобно выкрикнул в толпе какой-то старик.

«Этому ветру почта не ходит», – опять сказал наш ямщик.

Двери скрипнули еще и еще... Народу убывало.

«Постойте, – сказал я в отчаянии. – Возьмите деньги, что ли! Десять рублей – кто согласится поехать со мною...»

В это время мой взгляд упал на лицо Игнатовича, безмолвно сидевшего на скамье у стола с совершенно помертвевшим лицом, и мне стало вдруг как-то жутко. Голос мой сорвался...

Помню, что в эту минуту староста с внезапным участием взглянул мне в лицо и сделал движение...

«Двадцать, тридцать, все, что у нас есть!» – сказал я, почти задыхаясь от волнения...

«Стойте, – крикнул староста своим грубо-решительным голосом, от которого толпа ямщиков сразу остановилась. – Никто не уходите! Слышите, люди деньги дают, а и без денег все одно надо бы. Верно, что грех!.. Надо бога вспомнить! Ну, чья очередь? Говорите, старики!..»

Толпа отхлынула от порога к середине избы... Староста стоял рядом со мною, и я теперь не сводил с него глаз. Это был мужик средних лет, рослый, смуглый, с грубыми, но приятными чертами лица и глубокими черными гла-

зами. В них виднелась решительность и как будто забота.

«Эх, господин, – сказал он мне сурово, когда среди ямщиков начался тот говор, которым открывается обыкновенно обсуждение мирского дела на сходе. – Совесть у тебя есть, а ума мало... Без денег-то бы, пожалуй, лучше было... Я уж хотел объявить наряд... Теперь пойдет „склёка“».

И действительно, началась мучительная «склёка». Вы знаете, – эти ленские ямщики составляют своеобразные ямские общины, обломки прошлых веков. Земли у них нет, и состоят они на жалованье. «Пара лошадей» составляет основание подушной раскладки, «душа» равняется части лошади, которой соответствует часть жалованья. Все доходы станка и все повинности приурочены к этому основанию... Теперь мои деньги вступали в эту раскладочную машину, и притом деньги экстренные. Предстояло разверстать их на мир, а мир должен был выставить очередных.

Поднялись споры... Прогонная плата, части лошадей, старые счета, очереди, возкадров, прогон почты, провоз заседателей и ис-

правников, сироты, кормежка арестантов – все это теперь выступило на сцену и обсуждалось горячо и всесторонне. Я несколько раз пытался остановить эти споры тоскливым напоминанием о том, что человек в это время может погибнуть, но ближайший ямщик сказал мне с серьезной непреклонностью:

«Ничего не подделаешь, не мешай! Дело мирское... помешаешь, хуже...»

Споры продолжались. Решение все еще не выяснялось... Снаружи неся все тот же злоеущий гул...

Наконец вмешался староста, которому как будто сообщалось мое нетерпение. Он лучше меня, конечно, знал ту разверсточную машину, которая так шумно действовала перед нашими глазами, и видел, что пока она сделает точно и справедливо свое дело, – пройдет еще немало времени... И вот он выступил вперед, одним окриком остановил шум, потом повернулся к иконе и перекрестился широким крестом. Кое-где в толпе руки тоже поднялись инстинктивно для креста... Тревожная ночь производила свое действие на грубые нервы...

«Братцы, – сказал он. – Нельзя эдак-ту... Видит бог, святая владычица... Я отказываюсь. Не надо мне денег... Я еду, не в зачет, без очереди... Когда господь ежели поможет, – оставьте свои деньги, господин... Свечку, когда что, поставите...»

В толпе водворилось молчание, и через минуту один из станочников, еще недавно много споривший и горячившийся из-за какой-то неочередной «выти», – первый сказал с спокойным сочувствием:

«Ну, помоги тебе господи... Ежели охотой...»

«Дело твое...»

«Не в зачет, – твоя воля... И то сказать: душа дороже денег... Тут и сам застынешь...»

«Ишь ведь, сиверко... Господи помилуй... Верно, – почта не пойдет... Ну их, и с деньгами. Своя душа дороже...»

«Помоги тебе владычица, Софрон Семенич».

Я с безотчетным облегчением взглянул в ту сторону, где сидел Игнатович... Мне казалось, что в великодушном предложении старосты и в том, как оно было принято, – есть

что-то разрешающее и как бы оправдывающее также и нас... Но Игнатовича на этом месте уже не было.

Вскоре изба очистилась. Остались только хозяин, несколько замешкавшихся ямщиков и я. Игнатовича нигде не было видно. Ямщики говорили, что он вышел, одевшись, еще до окончания разверстки...

У меня сжалось сердце каким-то предчувствием. Я вспомнил его бледное лицо во время переговоров. Вначале на нем было обычное мизантропическое выражение с примесью злого презрения к себе и другим. Но в последнюю минуту мне запомнилось только выражение глубокой, безнадежной печали. Это было в то время, когда я предложил деньги и среди ямщиков начались споры...

Я вышел на площадку, искал и звал его, прибавляя на всякий случай, что дело сделано и что я скоро еду за человеком в лесу... Но ответа не было, в окнах встревоженного станка гасли огни, ветер тянул по-прежнему; по временам трещали стены станочных мазанок и издалека доносился стонущий звук лопающегося льда...

«Товарища кличешь? – спросил меня проходивший мимо ямщик. – Да он, чай, ушел спать в другую избу... Беспокойно было у вас... Может, попросился к шабрам».

В это время к избе подъехали широкие розвальни, запряженные парой лошадей, и староста, весь закутанный в меха, в огромных рукавицах, соскочил с них и подошел ко мне.

«Что такое? – спросил он. – Что еще?»

«Скорей, скорей, ради бога», – сказал я, охваченный нервным ознобом. У меня возникла внезапная уверенность, что я найду Игнатовича по дороге.

«Ну, нет, – сказал он. – Погоди, барин, этак нельзя. Одежда у тебя не по этому ветру. На вот, я привез тебе. Одевайся».

И он настоял, чтобы я оделся в его меха... Мы выехали почти уже на рассвете, захватив с собой еще кучу одежды на всякий случай...

Ветер был тяжелый и палящий. На небе светила полная луна, а внизу мчалась так называемая поземка.

Вы знаете, что это? Ветер подымал с земли сухой снег и нес нам навстречу ровно, беспрерывно, упорно... Это не метель, но хуже вся-

кой метели... В такую погоду всякое движение останавливается; кажется, мы действительно кой-чем рисковали в это утро. Мне потом отрезали два пальца...

– Нашли вы этого человека? – спросил я нетерпеливо, видя, что Сокольский опять остановился.

– Нашли, – ответил он как-то беззвучно... – Это было уже серым утром... Ветер стал стихать... Сел холодный туман... У него был огонь, но он давно потух. Он, вероятно, заснул... Глаза у него, впрочем, были раскрыты, и на зрачках осел иней...

– А ваш товарищ? Он действительно остался на станке?

Сокольский посмотрел на меня помутившимся и потускневшим взглядом.

– Я был глубоко убежден, что он пошел по дороге в лес, и потому всю дорогу ночью кричал и вглядывался. Староста успокаивал меня. Он, во-первых, никак не понимал, что человек может бесцельно отправиться на гибель, а во-вторых, дорога от станка была только одна, и притом широкая и обставленная вежами, так что сбиться было невозможно,

особенно в светлую все-таки ночь...

Когда мы поехали обратно, уложив нашу печальную находку и закутав в меха, было уже утро. Ветер стих, и мороз внезапно сдался. Потом вошло солнце. Следов нигде не было.

– Значит, вы ошиблись?

– Мы приехали на станок... Там его тоже не было...

Сокольский замолчал, и на растроганном грубоватом лице его проступило выражение глубокой нежности...

– Он был непрактичен и беспомощен, как ребенок, – сказал он. – Никогда он не умел найти дорогу... Выйдя из избы, он пошел спасать замерзающего, но... взял в другую сторону...

Рассказчик повернулся ко мне.

– Понимаете вы это? Взял сразу из станка в другую сторону и пошел все прямо. Дорога тут была такая же широкая, и скоро опять начинался лес. В этом густом лесу на следующий день еще сохранились в затишных местах следы. Они шли все прямо, не сворачивая. Прошел он удивительно много и... не от-

ступил ни шагу, пока...

Сокольский замолчал и довольно долго смотрел в сторону.

– Надеялся ли он спасти этого незнакомого человека?.. Не думаю. Он пошел, как был, захватив, впрочем, трут и огниво, которыми едва ли даже сумел бы распорядиться. Говорю вам – совершенный ребенок. Ему просто стало невыносимо... И еще... Мне порой приходит в голову, что он казнил в себе подлую человеческую природу, в которой совесть может замерзнуть при понижении температуры тела на два градуса... Романтик в нем казнил материалиста...

Он опять замолк.

– Вы сказали, кажется, – *подлую* человеческую природу? – сказал я через некоторое время.

Он оглянулся, как будто несколько удивленный.

– Ах, да!.. Не знаю я, не знаю!.. Просто ничего не знаю. Знаю одно, что погибают часто не те, кому бы следовало, а мы, которые остаемся...

Он не досказал, махнул рукой, и все

остальное время мы ехали молча, пока из-за откоса не показались дымки станка, на котором нам пришлось расстаться. Сокольский очень торопился к своей партии и уехал вперед, а мы поневоле ехали тише.

VII

Дня через два после этого, когда мы проезжали густым лесом, ямщик, молодой мальчишка, подросток, указал мне кнутовищем большой каменный крест в чаще, в стороне от дороги, и сказал:

– Человек тут застыл... двое... Крест поставил приискатель, Сокольской, может, знаете? Вчера проезжал. Гляди, его следы это...

Действительно, по глубокому снегу, освещенному продиравшимися сквозь чащу лучами солнца, ясно виднелись чьи-то крупные следы от дороги к кресту и обратно.

– Никогда мимо не проедет, – сказал опять ямщик, повернувшись на облучке и улыбаясь. – Всегда вылезет. Постоит-постоит, опять садится. Креститься не крестится, а, видно, молится... Когда и заплачет... Чудак, а барин хороший.

И, хлестнув лошадь, он прибавил задумчиво:

– Видно, приятели были...

1900–1901

Огоньки

Как-то давно, темным осенним вечером, случилось мне плыть по угрюмой сибирской реке. Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами мелькнул огонек.

Мелькнул ярко, сильно, совсем близко...

– Ну, слава богу! – сказал я с радостью. –
Близко ночлег!

Гребец повернулся, посмотрел через плечо на огонь и опять апатично налег на весла.

– Далече!

Я не поверил: огонек так и стоял, выступая вперед из неопределенной тьмы. Но гребец был прав: оказалось, действительно далеко.

Свойство этих ночных огней – приближаться, побеждая тьму, и сверкать, и обещать, и манить своею близостью. Кажется, вот-вот еще два-три удара веслом – и путь кончен... А между тем – далеко!..

И долго еще мы плыли по темной, как чернила, реке. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, в бесконечной дали, а огонек все стоял впереди, переливаясь и маня, – все

так же близко, и все так же далеко...

Мне часто вспоминается теперь и эта темная река, затененная скалистыми горами, и этот живой огонек. Много огней и раньше и после манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течет все в тех же угрюмых берегах, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла...

Но все-таки... все-таки впереди – огни!..

1900

В дурном обществе ***Из детских воспоминаний*** ***моего приятеля***

I. Развалины

Моя мать умерла, когда мне было шесть лет. Отец, весь отдавшись своему горю, как будто совсем забыл о моем существовании. Порой он ласкал мою маленькую сестру и по-своему заботился о ней, потому что в ней были черты матери. Я же рос, как дикое деревцо в поле, – никто не окружал меня особенною заботливостью, но никто и не стеснял моей свободы.

Местечко, где мы жили, называлось Княжье-Вено, или, проще, Княж-городок. Оно принадлежало одному захудалому, но гордому польскому роду и представляло все типические черты любого из мелких городов Юго-западного края, где, среди тихо струящейся жизни тяжелого труда и мелко-суетливого еврейского гешефта, доживают свои печальные дни жалкие останки гордого панского вели-

чия.

Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, лучшее архитектурное украшение города. Самый город раскинулся внизу над сонными, заплесневшими прудами, и к нему приходится спускаться по отлогому шоссе, загороженному традиционной «заставой». Сонный инвалид, порыжелая на солнце фигура, олицетворение безмятежной дремоты, лениво поднимает шлагбаум, и – вы в городе, хотя, быть может, не замечаете этого сразу. Серые заборы, пустыри с кучами всякого хлама понемногу перемежаются с подслеповатыми, ушедшими в землю хатками. Далее широкая площадь зияет в разных местах темными воротами еврейских «заезжих домов», казенные учреждения наводят уныние своими белыми стенами и казарменно-ровными линиями. Деревянный мост, перекинутый через узкую речушку, кряхтит, вздрагивая под колесами, и шатается, точно дряхлый старик. За мостом потянулась еврейская улица с магазинами, лавками, лавчонками, столами евреев-менял, сидящих под зонтами на тротуарах, и с наве-

сами калачниц. Вонь, грязь, кучи ребят, ползающих в уличной пыли. Но вот еще минута и – вы уже за городом. Тихо шепчутся березы над могилами кладбища, да ветер волнует хлеба на нивах и звенит унылою, бесконечною песней в проволоках придорожного телеграфа.

Речка, через которую перекинут упомянутый мост, вытекала из пруда и впадала в другой. Таким образом с севера и юга городок ограждался широкими водяными гладями и топями. Пруды год от году мелели, зарастали зеленью, и высокие густые камыши волновались, как море, на громадных болотах. Посредине одного из прудов находится остров. На острове – старый, полуразрушенный замок.

Я помню, с каким страхом я смотрел всегда на это величавое дряхлое здание. О нем ходили предания и рассказы один другого страшнее. Говорили, что остров насыпан искусственно, руками пленных турок. «На костях человеческих стоит старое замчище», передавали старожилы, и мое детское испуганное воображение рисовало под землей тысячи турецких скелетов, поддерживающих костля-

выми руками остров с его высокими пирами-
дальными тополями и старым замком. От это-
го, понятно, замок казался еще страшнее, и
даже в ясные дни, когда, бывало, ободренные
светом и громкими голосами птиц, мы подхо-
дили к нему поближе, он нередко наводил
на нас припадки панического ужаса, – так
страшно глядели черные впадины давно вы-
битых окон; в пустых залах ходил таинствен-
ный шорох: камешки и штукатурка, отрыва-
ясь, падали вниз, будя гулкое эхо, и мы бежа-
ли без оглядки, а за нами долго еще стояли
стук, и топот, и гоготанье.

А в бурные осенние ночи, когда гиган-
ты-тополи качались и гудели от налетавшего
из-за прудов ветра, ужас разливался от старо-
го замка и царил над всем городом. «Ой-вей-
мир!» – пугливо произносили евреи; богобояз-
ненные старые мещанки крестились, и даже
наш ближайший сосед, кузнец, отрицавший
самое существование бесовской силы, выходя
в эти часы на свой дворик, творил крестное
знамение и шептал про себя молитву об упо-
коении усопших.

Старый, седобородый Януш, за неимением

квартиры приютившийся в одном из подвалов зámка, рассказывал нам не раз, что в такие ночи он явственно слышал, как из-под земли неслись крики. Турки начинали вонзиться под островом, стучали костями и громко укоряли панов в жестокости. Тогда в залах старого зámка и вокруг него на острове брякало оружие, и паны громкими криками сзывали гайдуков. Януш слышал совершенно ясно, под рев и завывание бури, топот коней, звяканье сабель, слова команды. Однажды он слышал даже, как покойный прадед нынешних графов, прославленный на вечные веки своими кровавыми подвигами, выехал, стуча копытами своего аргмака, на середину острова и неистово ругался: «Молчите там, лайдаки, пся вяра!»

Потомки этого графа давно уже оставили жилище предков. Большая часть дукатов и всяких сокровищ, от которых прежде ломились сундуки графов, перешла за мост, в еврейские лачуги, и последние представители славного рода выстроили себе прозаическое белое здание на горе, подальше от города. Там протекало их скучное, но все же торжествен-

ное существование в презрительно-величавом уединении.

Изредка только старый граф, такая же мрачная развалина, как и замо́к на острове, появлялся в городе на своей старой английской кляче. Рядом с ним, в черной амазонке, величавая и сухая, проезжала по городским улицам его дочь, а сзади почтительно следовал шталмейстер. Величественной графине суждено было навсегда остаться девой. Равные ей по происхождению женихи, в погоне за деньгами купеческих дочек за границей, малодушно рассеялись по свету, оставив родовые замо́ки или продав их на слом евреям, а в городишке, расстилавшемся у подножия ее дворца, не было юноши, который бы осмелился поднять глаза на красавицу-графиню. Завидев этих трех всадников, мы, малые ребята, как стая птиц, снимались с мягкой уличной пыли и, быстро рассеявшись по дворам, испуганно-любопытными глазами следили за мрачными владельцами страшного замо́ка.

В западной стороне, на горе, среди истлевших крестов и провалившихся могил, стояла давно заброшенная униатская часовня. Это

была родная дочь расстилавшегося в долине собственно обывательского города. Некогда в ней собирались, по звону колокола, горожане в чистых, хотя и не роскошных кунтушах, с палками в руках вместо сабель, которыми гремела мелкая шляхта, тоже являвшаяся на зов звонкого униатского колокола из окрестных деревень и хуторов.

Отсюда был виден остров и его темные громадные тополи, но замо́к сердито и презрительно закрывался от часовни густою зеленью, и только в те минуты, когда юго-западный ветер вырывался из-за камышей и налетал на остров, тополи гулко качались, и из-за них проблескивали окна, и замо́к, казалось, кидал на часовню угрюмые взгляды. Теперь и он, и она были трупы. У него глаза потухли, и в них не сверкали отблески вечернего солнца; у нее кое-где провалилась крыша, стены осыпались, и, вместо гулкого, с высоким тоном, медного колокола, совы заводили в ней по ночам свои зловещие песни.

Но старая, историческая рознь, разделявшая некогда гордый панский замо́к и мещанскую униатскую часовню, продолжалась и по-

сле их смерти: ее поддерживали копошившиеся в этих дряхлых трупах черви, занимавшие уцелевшие углы подземелья, подвалы. Этими могильными червями умерших зданий были люди.

Было время, когда старый замок служил даровым убежищем всякому бедняку без малейших ограничений. Все, что не находило себе места в городе, всякое выскочившее из колеи существование, потерявшее, по той или другой причине, возможность платить хотя бы и жалкие гроши за кров и угол на ночь и в непогоду, – все это тянулось на остров и там, среди развалин, преклоняло свои победные головушки, платя за гостеприимство лишь риском быть погребенными под грудями старого мусора. «Живет в замке» – эта фраза стала выражением крайней степени нищеты и гражданского падения. Старый замок радушно принимал и покрывал и перекатную голь, и временно обнищавшего писца, и сиротливых старушек, и безродных бродяг. Все эти существа терзали внутренности дряхлого здания, обламывая потолки и полы, топили печи, что-то варили, чем-то пита-

лись, – вообще, отправляли неизвестным образом свои жизненные функции.

Однако настали дни, когда среди этого общества, ютившегося под кровом седых руин, возникло разделение, пошли раздоры. Тогда старый Януш, бывший некогда одним из мелких графских «официалистов», выхлопотал себе нечто вроде владетельной хартии и захватил бразды правления. Он приступил к преобразованиям, и несколько дней на острове стоял такой шум, раздавались такие вопли, что по временам казалось, уж не турки ли вырвались из подземных темниц, чтобы отомстить утеснителям. Это Януш сортировал население развалин, отделяя овец от козлиц. Овцы, оставшиеся по-прежнему в замке, помогали Янушу изгонять несчастных козлиц, которые упирались, выказывая отчаянное, но бесполезное сопротивление. Когда, наконец, при молчаливом, но, тем не менее, довольно существенном содействии будочника порядок вновь водворился на острове, то оказалось, что переворот имел решительно аристократический характер. Януш оставил в замке только «добрых христиан», то есть католиков,

и притом преимущественно бывших слуг или потомков слуг графского рода. Это были все какие-то старики в потертых сюртуках и «чамарках», с громадными синими носами и суковатыми палками, старухи крикливые и безобразные, но сохранившие на последних ступенях обнищания свои капоры и салопы. Все они составляли однородный, тесно сплоченный аристократический кружок, взявший как бы монополию признанного нищенства. В будни эти старики и старухи ходили, с молитвой на устах, по домам более зажиточных горожан и среднего мещанства, разнося сплетни, жалуясь на судьбу, проливая слезы и кляпча, а по воскресеньям они же составляли почтеннейших лиц из той публики, что длинными рядами выстраивалась около костелов и величественно принимала подачки во имя «пана Иисуса» и «паньны Богоматери».

Привлеченные шумом и криками, которые во время этой революции неслись с острова, я и несколько моих товарищей пробрались туда и, спрятавшись за толстыми стволами тополей, наблюдали, как Януш, во главе целой армии красноносых старцев и безобразных

мегер, гнал из зámка последних, подлежащих изгнанию, жильцов. Наступал вечер. Туча, нависшая над высокими вершинами тополей, уже сыпала дождиком. Какие-то несчастные темные личности, запахиваясь изорванными донельзя лохмотьями, испуганные, жалкие и сконфуженные, совались по острову, точно кроты, выгнанные из нор мальчишками, стараясь вновь незаметно шмыгнуть в какое-нибудь из отверстий зámка. Но Януш и мегеры с криком и ругательствами гоняли их отовсюду, угрожая кочергами и палками, а в стороне стоял молчаливый будочник, тоже с увесистою дубиной в руках, сохранявший вооруженный нейтралитет, очевидно, дружественный торжествующей партии. И несчастные темные личности поневоле, понурясь, скрывались за мостом, навсегда оставляя остров, и одна за другой тонули в слякотном сумраке быстро спускавшегося вечера.

С этого памятного вечера и Януш, и старый зámок, от которого прежде веяло на меня каким-то смутным величием, потеряли в моих глазах всю свою привлекательность. Бывало, я любил приходить на остров и хотя издали

любоваться его серыми стенами и замше-
ною старою крышей. Когда на утренней заре
из него выползали разнообразные фигуры, зе-
вавшие, кашлявшие и крестившиеся на солн-
це, я и на них смотрел с каким-то уважением,
как на существа, облеченные тою же таин-
ственностью, которою был окутан весь замо-
к. Они спят там ночью, они слышат все, что там
происходит, когда в огромные залы сквозь
выбитые окна заглядывает луна или когда в
бурю в них врывается ветер. Я любил слу-
шать, когда, бывало, Януш, усевшись под то-
полями, с болтливостью 70-летнего старика,
начинал рассказывать о славном прошлом
умершего здания. Перед детским воображени-
ем вставали, оживая, образы прошедшего, и в
душу веяло величавою грустью и смутным со-
чувствием к тому, чем жили некогда понурые
стены, и романтические тени чужой старины
пробегали в юной душе, как пробегают в вет-
ренный день легкие тени облаков по светлой
зелени чистого поля.

Но с того вечера и замо-
к, и его бард яви-
лись передо мной в новом свете. Встретив ме-
ня на другой день вблизи острова, Януш стал

зывать меня к себе, уверяя с довольным видом, что теперь «сын таких почтенных родителей» смело может посетить зámок, так как найдет в нем вполне порядочное общество. Он даже привел меня за руку к самому зámку, но тут я со слезами вырвал у него свою руку и пустился бежать. Зámок стал мне противен. Окна в верхнем этаже были заколочены, а низ находился во владении капоров и салопов. Старухи выползали оттуда в таком непривлекательном виде, льстили мне так приторно, ругались между собой так громко, что я искренно удивлялся, как это строгий покойник, усмирявший турок в грозные ночи, мог терпеть этих старух в своем соседстве. Но главное – я не мог забыть холодной жестокости, с которою торжествующие жильцы зámка гнали своих несчастных сожителей, а при воспоминании о темных личностях, оставшихся без крова, у меня сжималось сердце.

Как бы то ни было, на примере старого зámка я узнал впервые истину, что от великого до смешного один только шаг. Великое в зámке поросло плющом, повиликой и мхами,

а смешное казалось мне отвратительным, слишком резало детскую восприимчивость, так как ирония этих контрастов была мне еще недоступна.

II. Проблематические натуры

Несколько ночей после описанного переворота на острове город провел очень беспокойно: лаяли собаки, скрипели двери домов, и обыватели, то и дело выходя на улицу, стучали палками по заборам, давая кому-то знать, что они настороже. Город знал, что по его улицам в ненастной тьме дождливой ночи бродят люди, которым голодно и холодно, которые дрожат и мокнут; понимая, что в сердцах этих людей должны рождаться жестокие чувства, город насторожился и навстречу этим чувствам посылал свои угрозы. А ночь, как нарочно, спускалась на землю среди холодного ливня и уходила, оставляя над землею низко бегущие тучи. И ветер бушевал среди ненастья, качая верхушки деревьев, стуча ставнями и напевая мне в моей постели о десятках людей, лишенных тепла и приюта.

Но вот весна окончательно восторжествовала над последними порывами зимы, солнце высушило землю, и вместе с тем бездомные скитальцы куда-то схлынули. Собачий лай по ночам утомился, обыватели перестали стучать по заборам, и жизнь города, сонная и однообразная, пошла своею колеей. Горячее солнце, выкатываясь на небо, жгло пыльные улицы, загоняя под навесы юрких детей Израиля, торговавших в городских лавках; «факторы» лениво валялись на солнцепеке, зорко выглядывая проезжающих; скрип чиновничьих перьев слышался в открытые окна присутственных мест; по утрам городские дамы сновали с корзинами по базару, а под вечер важно выступали под руку со своими благоверными, подымая уличную пыль пышными шлейфами. Старики и старухи из замка чинно ходили по домам своих покровителей, не нарушая общей гармонии. Обыватель охотно признавал их право на существование, находя совершенно основательным, чтобы кто-нибудь получал милостыню по субботам, а обитатели старого замка получали ее вполне респектабельно.

Только несчастные изгнанники не нашли и теперь в городе своей колеи. Правда, они не слонялись по улицам ночью; говорили, что они нашли приют где-то на горе, около униатской часовни, но как они ухитрились пристроиться там, никто не мог сказать в точности. Все видели только, что с той стороны, с гор и оврагов, окружавших часовню, спускались в город по утрам самые невероятные и подозрительные фигуры, которые в сумерки исчезали в том же направлении. Своим появлением они возмущали тихое и дремливое течение городской жизни, выделяясь на сереньком фоне мрачными пятнами. Обыватели косились на них с враждебной тревогой; они, в свою очередь, окидывали обывательское существование беспокойно-внимательными взглядами, от которых многим становилось жутко. Эти фигуры нисколько не походили на аристократических нищих из замка, — город их не признавал, да они и не просили признания; их отношения к городу имели чисто боевой характер: они предпочитали ругать обывателя, чем льстить ему, — брать самим, чем выпрашивать. Они или же-

стоко страдали от преследований, если были слабы, или заставляли страдать обывателей, если обладали нужною для этого силой. При- том, как это встречается нередко, среди этой оборванной и темной толпы несчастливцев встречались лица, которые по уму и талан- там могли бы сделать честь избраннейшему обществу зámка, но не ужились в нем и пред- почли демократическое общество униатской часовни. Некоторые из этих фигур были отме- чены чертами глубокого трагизма.

До сих пор я помню, как весело грохотала улица, когда по ней проходила согнутая уны- лая фигура старого «профессора». Это было тихое, угнетенное идиотизмом существо, в старой фризовой шинели, в шапке с огром- ным козырьком и почерневшею кокардой. Ученое звание, как кажется, было присвоено ему вследствие смутного предания, будто где- то и когда-то он был гувернером. Трудно себе представить создание более безобидное и смирное. Обыкновенно он тихо бродил по улицам, по-видимому, без всякой определен- ной цели, с тусклым взглядом и понуренною головой. Досужие обыватели знали за ним

два качества, которыми пользовались в видах жестокого развлечения. «Профессор» вечно бормотал что-то про себя, но ни один человек не мог разобрать в этих речах ни слова. Они лились, точно журчание мутного ручейка, и при этом тусклые глаза глядели на слушателя, как бы стараясь вложить в его душу неуловимый смысл длинной речи. Его можно было завести, как машину; для этого любому из факторов, которому надоело дремать на улицах, стоило подозвать к себе старика и предложить какой-либо вопрос. «Профессор» покачивал головой, вдумчиво вперив в слушателя свои выцветшие глаза, и начинал бормотать что-то до бесконечности грустное. При этом слушатель мог спокойно уйти или хотя бы заснуть, и все же, проснувшись, он увидел бы над собой печальную темную фигуру, все так же тихо бормочущую непонятные речи. Но, само по себе, это обстоятельство не составляло еще ничего особенно интересного. Главный эффект уличных верзил был основан на другой черте профессорского характера: несчастный не мог равнодушно слышать упоминания о режущих и колющих ору-

диях. Поэтому, обыкновенно, в самый разгар непонятной элоквенции, слушатель, вдруг поднявшись с земли, вскрикивал резким голосом: «Ножи, ножницы, иголки, булавки!» Бедный старик, так внезапно пробужденный от своих мечтаний, взмахивал руками, точно подстреленная птица, испуганно озирался и хватался за грудь. О, сколько страданий остаются непонятными долговязым факторам лишь потому, что страдающий не может внушить представления о них посредством здорового удара кулаком! А бедняга-«профессор» только озирался с глубокою тоской, и невыразимая мука слышалась в его голосе, когда, обращая к мучителю свои тусклые глаза, он говорил, судорожно царапая пальцами по груди:

– За сердце, за сердце крючком!.. за самое сердце!..

Вероятно, он хотел сказать, что этими криками у него истерзано сердце, но, по-видимому, это-то именно обстоятельство и способно было несколько развлечь досужего и скучающего обывателя. И бедный «профессор» торопливо удалялся, еще ниже опустив голову,

точно опасаясь удара; а за ним гремели раскаты довольного смеха, и в воздухе, точно удары кнута, хлестали все те же крики:

– Ножи, ножницы, иголки, булавки!

Надо отдать справедливость изгнанникам из зámка: они крепко стояли друг за друга, и если на толпу, преследовавшую «профессора», налетал в это время с двумя-тремя оборванцами пан Туркевич или в особенности отставной штык-юнкер Заусайлов, то многих из этой толпы постигала жестокая кара. Штык-юнкер Заусайлов, обладавший громадным ростом, сизо-багровым носом и свирепо выкаченными глазами, давно уже объявил открытую войну всему живущему, не признавая ни перемирий, ни нейтралитетов. Всякий раз после того, как он натыкался на преследуемого «профессора», долго не смолкали его бранные крики; он носился тогда по улицам, подобно Тамерлану, уничтожая все, попадавшееся на пути грозного шествия; таким образом он практиковал еврейские погромы, задолго до их возникновения, в широких размерах; попадавшихся ему в плен евреев он всячески истязал, а над еврейскими дамами совершал

гнуности, пока, наконец, экспедиция braveго штык-юнкера не кончалась на съезжей, куда он неизменно водворялся после жестоких схваток с бунтарями. Обе стороны проявляли при этом немало геройства.

Другую фигуру, доставлявшую обывателям развлечение зрелищем своего несчастья и падения, представлял отставной и совершенно спившийся чиновник Лавровский. Обыватели помнили еще недавнее время, когда Лавровского величали не иначе, как «пан писарь», когда он ходил в вицмундире с медными пуговицами, повязывая шею восхитительными цветными платочками. Это обстоятельство придавало еще более пикантности зрелищу его настоящего падения. Переворот в жизни пана Лавровского совершился быстро: для этого стоило только приехать в Князь-Вено блестящему драгунскому офицеру, который прожил в городе всего две недели, но в это время успел победить и увезти с собою белокурую дочь богатого трактирщика. С тех пор обыватели ничего не слышали о красавице Анне, так как она навсегда исчезла с их горизонта. А Лавровский остался со всеми

своими цветными платочками, но без надежды, которая скрашивала раньше жизнь мелкого чиновника. Теперь он уже давно не служит. Где-то в маленьком местечке осталась его семья, для которой он был некогда надеждой и опорой; но теперь он ни о чем не заботился. В редкие трезвые минуты жизни он быстро проходил по улицам, потупясь и ни на кого не глядя, как бы подавленный стыдом собственного существования; ходил он оборванный, грязный, обросший длинными, нечесаными волосами, выделяясь сразу из толпы и привлекая всеобщее внимание; но сам он как будто не замечал никого и ничего не слышал. Изредка только он кидал вокруг мутные взгляды, в которых отражалось недоумение: чего хотят от него эти чужие и незнакомые люди? Что он им сделал, зачем они так упорно преследуют его? Порой, в минуты этих проблесков сознания, когда до слуха его долетало имя панны с белокурою косой, в сердце его поднималось бурное бешенство; глаза Лавровского загорались темным огнем на бледном лице, и он со всех ног кидался в толпу, которая быстро разбежалась. Подобные

вспышки, хотя и очень редкие, странно подзадоривали любопытство скучающего безделья; немудрено поэтому, что, когда Лавровский, потупясь, проходил по улицам, следовавшая за ним кучка бездельников, напрасно старавшихся вывести его из апатии, начинала с досады швырять в него грязью и камнями.

Когда же Лавровский бывал пьян, то как-то упорно выбирал темные углы под заборами, никогда не просыхавшие лужи и тому подобные экстраординарные места, где он мог рассчитывать, что его не заметят. Там он садился, вытянув длинные ноги и свесив на грудь свою победную головушку. Уединение и водка вызывали в нем прилив откровенности, желание излить тяжелое горе, угнетающее душу, и он начинал бесконечный рассказ о своей молодой загубленной жизни. При этом он обращался к серым столбам старого забора, к березке, снисходительно шептавшей что-то над его головой, к сорокам, которые с бабьим любопытством подскакивали к этой темной, слегка только копошившейся фигуре.

Если кому-либо из нас, малых ребят, удавалось выследить его в этом положении, мы тихо окружали его и слушали с замиранием сердечные длинные и ужасающие рассказы. Волосы становились у нас дыбом, и мы со страхом смотрели на бледного человека, обвинявшего себя во всевозможных преступлениях. Если верить собственным словам Лавровского, он убил родного отца, вогнал в могилу мать, заморил сестер и братьев. Мы не имели причин не верить этим ужасным признаниям; нас только удивляло то обстоятельство, что у Лавровского было, по-видимому, несколько отцов, так как одному он пронзал мечом сердце, другого изводил медленным ядом, третьего топил в какой-то пучине. Мы слушали с ужасом и участием, пока язык Лавровского, все более заплетаясь, не отказывался, наконец, произносить членораздельные звуки и благодетельный сон не прекращал покаянные излияния. Взрослые смеялись над нами, говоря, что все это враки, что родители Лавровского умерли своей смертью, от голода и болезней. Но мы чуткими ребячьими сердцами слышали в его стогах искреннюю ду-

шевную боль и, принимая аллегории буквально, были все-таки ближе к истинному пониманию трагически свихнувшейся жизни.

Когда голова Лавровского опускалась еще ниже и из горла слышался храп, прерываемый нервными всхлипываниями, – маленькие детские головки наклонялись тогда над несчастным. Мы внимательно вглядывались в его лицо, следили за тем, как тени преступных деяний пробегали по нем и во сне, как нервно сдвигались брови и губы сжимались в жалостную, почти по-детски плачущую гримасу.

– Уб-бью! – вскрикивал он вдруг, чувствуя во сне беспредметное беспокойство от нашего присутствия, и тогда мы испуганною стаей кидались врозь.

Случалось, что в таком положении сонного его заливало дождем, засыпало пылью, а несколько раз, осенью, даже буквально заносило снегом; и если он не погиб преждевременною смертью, то этим, без сомненья, был обязан заботам о своей грустной особе других, подобных ему, несчастливцев и главным образом заботам веселого пана Туркевича, кото-

рый, сильно пошатываясь, сам разыскивал его, тормошил, ставил на ноги и уводил с собою.

Пан Туркевич принадлежал к числу людей, которые, как сам он выражался, не дают себе плевать в кашу, и в то время, как «профессор» и Лавровский пассивно страдали, Туркевич являл из себя особу веселую и благополучную во многих отношениях. Начать с того, что, не справляясь ни у кого об утверждении, он сразу произвел себя в генералы и требовал от обывателей соответствующих этому званию почестей. Так как никто не смел оспаривать его права на этот титул, то вскоре пан Туркевич совершенно проникся и сам верой в свое величие. Выступал он всегда очень важно, грозно насупив брови и обнаруживая во всякое время полную готовность сокрушить кому-нибудь скулы, что, по-видимому, считал необходимейшею прерогативой генеральского звания. Если же по временам его беззаботную голову посещали на этот счет какие-либо сомненья, то, изловив на улице первого встречного обывателя, он грозно спрашивал:

– Кто я по здешнему месту? а?

– Генерал Туркевич! – смиренно отвечал обыватель, чувствовавший себя в затруднительном положении. Туркевич немедленно отпускал его, величественно покручивая усы.

– То-то же!

А так как при этом он умел еще совершенно особенным образом шевелить своими тараканьими усами и был неистощим в прибаутках и островах, то неудивительно, что его постоянно окружала толпа досужих слушателей и ему были даже открыты двери лучшей «ресторации», в которой собирались за бильярдом приезжие помещики. Если сказать правду, бывали нередко случаи, когда пан Туркевич вылетал оттуда с быстротой человека, которого подталкивают сзади не особенно церемонно; но случаи эти, объяснявшиеся недостаточным уважением помещиков к остроумию, не оказывали влияния на общее настроение Туркевича: веселая самоуверенность составляла нормальное его состояние, так же как и постоянное опьянение.

Последнее обстоятельство составляло второй источник его благополучия, – ему доста-

точно было одной рюмки, чтобы зарядиться на весь день. Объяснялось это огромным количеством выпитой уже Туркевичем водки, которая превратила его кровь в какое-то водочное сусло; генералу теперь достаточно было поддерживать это сусло на известной степени концентрации, чтоб оно играло и бурлило в нем, окрашивая для него мир в радужные краски.

Зато, если по какой-либо причине дня три генералу не перепадало ни одной рюмки, он испытывал невыносимые муки. Сначала он впадал в меланхолию и малодушие; всем было известно, что в такие минуты грозный генерал становится беспомощнее ребенка, и многие спешили выместить на нем свои обиды. Его били, оплеывали, закидывали грязью, а он даже не старался избегать поношений; он только ревел во весь голос, и слезы градом катились у него из глаз по уныло обвисшим усам. Бедняга обращался ко всем с просьбой убить его, мотивируя это желание тем обстоятельством, что ему все равно придется помереть «собачьей смертью под забором». Тогда все от него отступались. В таком

градусе было что-то в голосе и в лице генерала, что заставляло самых смелых преследователей поскорее удаляться, чтобы не видеть этого лица, не слышать голоса человека, на короткое время приходившего к сознанию своего ужасного положения... С генералом опять происходила перемена; он становился ужасен, глаза лихорадочно загорались, щеки вваливались, короткие волосы подымались на голове дыбом. Быстро поднявшись на ноги, он ударял себя в грудь и торжественно отправлялся по улицам, оповещая громким голосом:

– Иду!.. Как пророк Иеремия... Иду обличать нечестивых!

Это обещало самое интересное зрелище. Можно сказать с уверенностью, что пан Туркевич в такие минуты с большим успехом выполнял функции неведомой в нашем городишке гласности; поэтому нет ничего удивительного, если самые солидные и занятые граждане бросали обыденные дела и примыкали к толпе, сопровождавшей новоявленного пророка, или хоть издали следили за его похождениями. Обыкновенно он прежде все-

го направлялся к дому секретаря уездного суда и открывал перед его окнами нечто вроде судебного заседания, выбрав из толпы подходящих актеров, изображавших истцов и ответчиков; он сам говорил за них речи и сам же отвечал им, подражая с большим искусством голосу и манере обличаемого. Так как при этом он всегда умел придать спектаклю интерес современности, намекая на какое-нибудь всем известное дело, и так как, кроме того, он был большой знаток судебной процедуры, то немудрено, что в самом скором времени из дома секретаря выбегала кухарка, что-то совала Туркевичу в руку и быстро скрывалась, отбиваясь от любезностей генеральской свиты. Генерал, получив даяние, злобно хохотал и, с торжеством размахивая монетой, отправлялся в ближайший кабаk.

Оттуда, утолив несколько жажду, он вел своих слушателей к домам «подсудков», видоизменяя репертуар соответственно обстоятельствам. А так как каждый раз он получал поспектакльную плату, то натурально, что грозный тон постепенно смягчался, глаза испугленного пророка умасливались, усы за-

кручивались кверху, и представление от обличительной драмы переходило к веселому водевилю. Кончалось оно обыкновенно перед домом исправника Коца. Это был добродушнейший из градоправителей, обладавший двумя небольшими слабостями: во-первых, он красил свои седые волосы черною краской и, во-вторых, питал пристрастие к толстым кухаркам, полагаясь во всем остальном на волю божию и на добровольную обывательскую «благодарность». Подойдя к исправницкому дому, выходявшему фасом на улицу, Туркевич весело подмигивал своим спутникам, кидал кверху картуз и объявлял громогласно, что здесь живет не начальник, а родной его, Туркевича, отец и благодетель.

Затем он устремлял свои взоры на окна и ждал последствий. Последствия эти были двоякого рода: или немедленно же из парадной двери выбегала толстая и румяная Матрена с милостивым подарком от отца и благодетеля, или же дверь оставалась закрытою, в окне кабинета мелькала сердитая старческая физиономия, обрамленная черными, как смоль, волосами, а Матрена тихонько задами прокра-

дывалась на съезжую. На съезжей имел постоянное местожительство бутарь Микита, замечательно набивший руку именно в обращении с Туркевичем. Он тотчас же флегматически откладывал в сторону сапожную колодку и подымался со своего сиденья.

Между тем Туркевич, не видя пользы от дифирамбов, понемногу и осторожно начал переходить к сатире. Обыкновенно он начинал сожалением о том, что его благодетель считает за чем-то нужным красить свои почтенные седины сапожною ваксой. Затем, огорченный полным невниманием к своему красноречию, он возвышал голос, подымал тон и начинал громить благодетеля за плачевный пример, подаваемый гражданам незаконным сожитием с Матреной. Дойдя до этого щекотливого предмета, генерал терял уже всякую надежду на примирение с благодетелем и потому воодушевлялся истинным красноречием. К сожалению, обыкновенно на этом именно месте речи происходило неожиданное постороннее вмешательство; в окно высовывалось желтое и сердитое лицо Коца, а сзади Туркевича подхватывал с замечатель-

ною ловкостью подкравшийся к нему Микита. Никто из слушателей не пытался даже предупредить оратора об угрожавшей ему опасности, ибо артистические приемы Микиты вызывали всеобщий восторг. Генерал, прерванный на полуслове, вдруг как-то странно мелькал в воздухе, опрокидывался спиной на спину Микиты – и через несколько секунд дюжий бутарь, слегка согнувшийся под своей ношей, среди оглушительных криков толпы, спокойно направлялся к кутузке. Еще минута, черная дверь съезжей раскрывалась, как мрачная пасть, и генерал, беспомощно болтавший ногами, торжественно скрывался за дверью кутузки. Неблагодарная толпа кричала Миките «ура» и медленно расходилась.

Кроме этих выделявшихся из ряда личностей, около часовни ютилась еще темная масса жалких оборванцев, появление которых на базаре производило всегда большую тревогу среди торговков, спешивших прикрыть свое добро руками, подобно тому, как наседки прикрывают цыплят, когда в небе покажется коршун. Ходили слухи, что эти жалкие личности, окончательно лишенные всяких ресур-

сов со времени изгнания из зámка, составили дружное сообщество и занимались, между прочим, мелким воровством в городе и окрестностях. Основывались эти слухи главным образом на той бесспорной посылке, что человек не может существовать без пищи, а так как почти все эти темные личности, так или иначе, отбились от обычных способов ее добывания и были оттерты счастливыми из зámка от благ местной филантропии, то отсюда следовало неизбежное заключение, что им было необходимо воровать или умереть. Они не умерли, значит... самый факт их существования обращался в доказательство их преступного образа действий.

Если только это была правда, то уже не подлежало спору, что организатором и руководителем сообщества не мог быть никто другой, как пан Тыбурций Драб, самая замечательная личность из всех проблематических натур, не ужившихся в старом зámке.

Происхождение Драба было покрыто мраком самой таинственной неизвестности. Люди, одаренные сильным воображением, приписывали ему аристократическое имя, кото-

рое он покрыл позором и потому принужден был скрыться, причем участвовал будто бы в подвигах знаменитого Кармелюка. Но, во-первых, для этого он был еще недостаточно стар, а во-вторых, наружность пана Тыбурция не имела в себе ни одной аристократической черты. Роста он был высокого; сильная сутуловатость как бы говорила о бремени вынесенных Тыбурцием несчастий; крупные черты лица были грубо-выразительны. Короткие, слегка рыжеватые волосы торчали врозь; низкий лоб, несколько выдававшаяся вперед нижняя челюсть и сильная подвижность личных мускулов придавали всей физиономии что-то обезьянье; но глаза, сверкавшие из-под нависших бровей, смотрели упорно и мрачно, и в них светились вместе с лукавством острая пронизательность, энергия и недюжинный ум. В то время как на его лице сменялся целый калейдоскоп гримас, эти глаза сохраняли постоянно одно выражение, отчего мне всегда бывало как-то безотчетно-жутко смотреть на гаерство этого странного человека. Под ним как будто струилась глубокая неустанная печаль.

Руки пана Тыбурция были грубы и покрыты мозолями, большие ноги ступали по-мужичьи. Ввиду этого большинство обывателей не признавало за ним аристократического происхождения, и самое большее, что соглашалось допустить, – это звание дворового человека какого-нибудь из знатных панов. Но тогда опять встречалось затруднение: как объяснить его феноменальную ученость, которая всем была очевидна. Не было кабака во всем городе, в котором бы пан Тыбурций, в назидание собиравшимся в базарные дни хохлам, не произносил, стоя на бочке, целых речей из Цицерона, целых глав из Ксенофонта. Хохлы разевали рты и подталкивали друг друга локтями, а пан Тыбурций, возвышаясь в своих лохмотьях над всею толпой, громил Катилину или описывал подвиги Цезаря или коварство Митридата. Хохлы, вообще наделенные от природы богатою фантазией, умели как-то влагать свой собственный смысл в эти одушевленные, хотя и непонятные речи... И когда, ударяя себя в грудь и сверкая глазами, он обращался к ним со словами «*Patres conscripti!*»[25] – они тоже хмурились и гово-

рили друг другу:

– Ото ж, вражий сын, як лається!

Когда же затем пан Тыбурций, подняв глаза к потолку, начинал декламировать длиннейшие латинские периоды, – усатые слушатели следили за ним с боязливым и жалостным участием. Им казалось тогда, что душа декламатора витает где-то в неведомой стране, где говорят не по-христиански, а по отчаянной жестикуляции оратора они заключали, что она там испытывает какие-то горестные приключения. Но наибольшего напряжения достигало это участливое внимание, когда пан Тыбурций, закатив глаза и поводя одними белками, донимал аудиторию продолжительною скандовкой Вергилия или Гомера. Его голос звучал тогда такими глухими загробными раскатами, что сидевшие по углам и наиболее поддавшиеся действию жидовской горилки слушатели опускали головы, свешивали длинные подстриженные спереди «чуприны» и начинали всхлипывать:

– О-ох, матиньки, та и жалобно ж, хай ему бис! – И слезы капали из глаз и стекали по длинным усам.

Нет поэтому ничего удивительного, что, когда оратор внезапно соскакивал с бочки и разражался веселым хохотом, омраченные лица хохлов вдруг прояснялись, и руки тянулись к карманам широких штанов за медяками. Обрадованные благополучным окончанием трагических экскурсий пана Тыбурция, хохлы поили его водкой, обнимались с ним, и в его картуз падали, звеня, медяки.

Ввиду такой поразительной учености пришлось построить новую гипотезу о происхождении этого чудака, которая бы более соответствовала изложенным фактам. Помирились на том, что пан Тыбурций был некогда дворовым мальчишкой какого-то графа, который послал его вместе со своим сыном в школу отцов-иезуитов, собственно на предмет чистки сапогов молодого панича. Оказалось, однако, что в то время, как молодой граф воспринимал преимущественно удары треххвостной «дисциплины» святых отцов, его лакей перехватил всю мудрость, которая назначалась для головы барчука.

Вследствие окружавшей Тыбурция тайны в числе других профессий ему приписывали

также отличные сведения по части колдовского искусства. Если на полях, примыкавших волнующимся морем к последним лачугам предместья, появлялись вдруг колдовские «закруты», то никто не мог вырвать их с большею безопасностью для себя и жнецов, как пан Тыбурций. Если зловещий «пугач»[26] прилетал по вечерам на чью-нибудь крышу и громкими криками накликал туда смерть, то опять приглашали Тыбурция, и он с большим успехом прогонял зловещую птицу поучениями из Тита Ливия.

Никто не мог бы также сказать, откуда у пана Тыбурция явились дети, а между тем факт, хотя и никем не объясненный, стоял налицо... даже два факта: мальчик лет семи, но рослый и развитой не по летам, и маленькая трехлетняя девочка. Мальчика пан Тыбурций привел, или, вернее, принес с собой с первых дней, как явился сам на горизонте нашего города. Что же касается девочки, то, по-видимому, он отлучался, чтобы приобрести ее, на несколько месяцев в совершенно неизвестные страны.

Мальчик, по имени Валек, высокий, тон-

кий, черноволосый, угрюмо шатался иногда по городу без особенного дела, заложив руки в карманы и кидая по сторонам взгляды, смущавшие сердца калачниц. Девочку видели только один или два раза на руках пана Тыбурция, а затем она куда-то исчезла, и где находилась – никому не было известно.

Поговаривали о каких-то подземельях на униатской горе около часовни, и так как в тех краях, где так часто проходила с огнем и мечом татарщина, где некогда бушевала панская «сваволя» (своеволие) и правили кровавую расправу удальцы-гайдамаки, подобные подземелья очень нередки, то все верили этим слухам, тем более, что ведь жила же где-нибудь вся эта орда темных бродяг. А они обыкновенно под вечер исчезали именно в направлении к часовне. Туда своею сонною походкой ковылял «профессор», шагал решительно и быстро пан Тыбурций; туда же Туркевич, пошатываясь, провожал свирепого и беспомощного Лавровского; туда уходили под вечер, утопая в сумерках, другие темные личности, и не было храброго человека, который бы решился следовать за ними по глинистым

обрываю. Гора, изрытая могилами, пользовалась дурной славой. На старом кладбище в сырые осенние ночи загорались синие огни, а в часовне сычи кричали так пронзительно и звонко, что от криков проклятой птицы даже у бесстрашного кузнеца сжималось сердце.

III. Я и мой отец

— Плохо, молодой человек, плохо! — говорил мне нередко старый Януш из замка, встречая меня на улицах города в свите пана Туркевича или среди слушателей пана Драба.

И старик качал при этом своею седою бородой.

— Плохо, молодой человек, — вы в дурном обществе!.. Жаль, очень жаль сына почтенных родителей, который не щадит семейной чести.

Действительно, с тех пор как умерла моя мать, а суровое лицо отца стало еще угрюмее, меня очень редко видели дома. В поздние летние вечера я прокрадывался по саду, как молодой волчонок, избегая встречи с отцом, отворял посредством особых приспособлений

свое окно, полузакрытое густою зеленью сирени, и тихо ложился в постель. Если маленькая сестренка еще не спала в своей качалке в соседней комнате, я подходил к ней, и мы тихо ласкали друг друга и играли, стараясь не разбудить ворчливую старую няньку.

А утром, чуть свет, когда в доме все еще спали, я уж прокладывал росистый след в густой, высокой траве сада, перелезал через забор и шел к пруду, где меня ждали с удочками такие же сорванцы-товарищи, или к мельнице, где сонный мельник только что отодвинул шлюзы и вода, чутко вздрагивая на зеркальной поверхности, кидалась в «лотоки» и бодро принималась за дневную работу.

Большие мельничные колеса, разбуженные шумливыми толчками воды, тоже вздрагивали, как-то нехотя подавались, точно лентясь проснуться, но через несколько секунд уже кружились, брызгая пеной и купаясь в холодных струях. За ними медленно и солидно трогались толстые валы, внутри мельницы начинали грохотать шестерни, шуршали жернова, и белая мучная пыль тучами поднималась из щелей старого-престарого мель-

ничного здания.

Тогда я шел далее. Мне нравилось встречать пробуждение природы; я бывал рад, когда мне удавалось вспугнуть заспавшегося жаворонка или выгнать из борозды трусливого зайца. Капли росы падали с верхушек трясушки, с головок луговых цветов, когда я пробирался полями к загородной роще. Деревья встречали меня шепотом ленивой дремоты. Из окон тюрьмы не глядели еще бледные, угрюмые лица арестантов, и только караул, громко звякая ружьями, обходил вокруг стены, сменяя усталых ночных часовых.

Я успевал совершить дальний обход, и все же в городе то и дело встречались мне заспанные фигуры, отворявшие ставни домов. Но вот солнце поднялось уже над горой, из-за прудов слышится крикливый звонок, сзывающий гимназистов, и голод зовет меня домой к утреннему чаю.

Вообще все меня звали бродягой, негодным мальчишкой и так часто укоряли в разных дурных наклонностях, что я, наконец, и сам проникся этим убеждением. Отец также поверил этому и делал иногда попытки за-

няться моим воспитанием, но попытки эти всегда кончались неудачей. При виде строгого и угрюмого лица, на котором лежала суровая печать неизлечимого горя, я робел и замыкался в себя. Я стоял перед ним, переминаясь, теребя свои штанишки, и озирался по сторонам. Временами что-то как будто подымалось у меня в груди; мне хотелось, чтоб он обнял меня, посадил к себе на колени и приласкал. Тогда я прильнул бы к его груди, и, быть может, мы вместе заплакали бы – ребенок и суровый мужчина – о нашей общей утрате. Но он смотрел на меня отуманенными глазами, как будто поверх моей головы, и я весь сжимался под этим непонятным для меня взглядом.

– Ты помнишь матушку?

Помнил ли я ее? О да, я помнил ее! Я помнил, как, бывало, просыпаясь ночью, я искал в темноте ее нежные руки и крепко прижимался к ним, покрывая их поцелуями. Я помнил ее, когда она сидела больная перед открытым окном и грустно оглядывала чудную весеннюю картину, прощаясь с нею в последний год своей жизни.

О, да, я помнил ее!.. Когда она, вся покрытая цветами, молодая и прекрасная, лежала с печатью смерти на бледном лице, я, как зверек, забился в угол и смотрел на нее горящими глазами, перед которыми впервые открылся весь ужас загадки о жизни и смерти. А потом, когда ее унесли в толпе незнакомых людей, не мои ли рыдания звучали сдавленным стоном в сумраке первой ночи моего сиротства?

О, да, я ее помнил!.. И теперь часто, в глухую полночь, я просыпался, полный любви, которая теснилась в груди, переполняя детское сердце, – просыпался с улыбкой счастья, в блаженном неведении, навеянном розовыми снами детства. И опять, как прежде, мне казалось, что она со мною, что я сейчас встречу ее любящую, милую ласку. Но мои руки протягивались в пустую тьму и в душу проникало сознание горького одиночества. Тогда я сжимал руками свое маленькое, больно стучавшее сердце, и слезы прожигали горячими струями мои щеки.

О, да, я помнил ее... Но на вопрос высокого, угрюмого человека, в котором я желал, но не

мог почувствовать родную душу, я съеживался еще более и тихо выдергивал из его руки свою ручонку.

И он отворачивался от меня с досадою и болью. Он чувствовал, что не имеет на меня ни малейшего влияния, что между нами стоит какая-то неодолимая стена. Он слишком любил ее, когда она была жива, не замечая меня из-за своего счастья. Теперь меня закрывало от него тяжелое горе. И мало-помалу пропасть, нас разделявшая, становилась все шире и глубже. Он все более убеждался, что я – дурной, испорченный мальчишка, с черствым, эгоистическим сердцем, и сознание, что он должен, но не может заняться мною, должен любить меня, но не находит для этой любви угла в своем сердце, еще увеличивало его нерасположение. И я это чувствовал. Порой, спрятавшись в кустах, я наблюдал за ним; я видел, как он шагал по аллеям, все ускоряя походку, и глухо стонал от нестерпимой душевной муки. Тогда мое сердце загоралось жалостью и сочувствием. Один раз, когда, сжав руками голову, он присел на скамейку и зарыдал, я не вытерпел и выбежал из

кустов на дорожку, повинуюсь неопределенному побуждению, толкавшему меня к этому человеку. Но он, пробудясь от мрачного и безнадежного созерцания, сурово взглянул на меня и осадил холодным вопросом:

– Что нужно?

Мне ничего не было нужно. Я быстро отвернулся, стыдясь своего порыва, боясь, чтоб отец не прочел его в моем смущенном лице. Убежав в чащу сада, я упал лицом в траву и горько заплакал от досады и боли.

С шести лет я испытывал уже ужас одиночества.

Сестре Соне было четыре года. Я любил ее страстно, и она платила мне такую же любовь; но установившийся взгляд на меня, как на отпетого маленького разбойника, воздвиг и между нами высокую стену. Всякий раз, когда я начинал играть с нею, по-своему шумно и резво, старая нянька, вечно сонная и вечно дравшая, с закрытыми глазами, куриные перья для подушек, немедленно просыпалась, быстро схватывала мою Соню и уносила к себе, кидая на меня сердитые взгляды; в таких случаях она всегда напоминала мне вскло-

ченную наседку, себя я сравнивал с хищным коршуном, а Соню – с маленьким цыпленком. Мне становилось очень горько и досадно. Немудрено поэтому, что скоро я прекратил всякие попытки занимать Соню моими преступными играми, а еще через некоторое время мне стало тесно в доме и в садике, где я не встречал ни в ком привета и ласки. Я начал бродяжить. Все мое существо трепетало тогда каким-то странным предчувствием, предвкушением жизни. Мне все казалось, что где-то там, в этом большом и неведомом свете, за старою оградой сада, я найду что-то; казалось, что я что-то должен сделать и могу что-то сделать, но я только не знал, что именно; а между тем навстречу этому неведомому и таинственному во мне из глубины моего сердца что-то подымалось, дразня и вызывая. Я все ждал разрешения этих вопросов и инстинктивно бегал и от няньки с ее перьями, и от знакомого ленивого шепота яблоней в нашем маленьком садике, и от глупого стука ножей, рубивших на кухне котлеты. С тех пор к прочим нелестным моим качествам прибавились названия уличного мальчишки и бродя-

ги; но я не обращал на это внимания. Я терпелся к упрёкам и выносил их, как выносил внезапно налетавший дождь или солнечный зной. Я хмуро выслушивал замечания и поступал по-своему. Шатаясь по улицам, я всматривался детски-любопытными глазами в незатейливую жизнь городка с его лачугами, вслушивался в гул проволок на шоссе, вдали от городского шума, стараясь уловить, какие вести несутся по ним из далеких больших городов, или в шелест колосьев, или в шепот ветра на высоких гайдамацких могилах. Не раз мои глаза широко раскрывались, не раз останавливался я с болезненным испугом перед картинами жизни... Образ за образом, впечатление за впечатлением ложились на душу яркими пятнами; я узнал и увидел много такого, чего не видали дети значительно старше меня, а между тем то неведомое, что подымалось из глубины детской души, по-прежнему звучало в ней несмолкающим таинственным, подмывающим, вызывающим рокотом. Когда старухи из замка лишили его в моих глазах уважения и привлекательности, когда все углы города стали мне извест-

ны до последних грязных закоулков, тогда я стал заглядываться на видневшуюся вдали, на униатской горе, часовню. Сначала, как пугливый зверек, я подходил к ней с разных сторон, все не решаясь взобраться на гору, пользовавшуюся дурной славой. Но по мере того как я знакомился с местностью, передо мною выступали только тихие могилы и разрушенные кресты. Нигде не было видно признаков какого-либо жилья и человеческого присутствия. Все было как-то смиренно, тихо, заброшено, пусто. Только самая часовня глядела, насупившись, пустыми окнами, точно думала какую-то грустную думу. Мне захотелось осмотреть ее всю, заглянуть внутрь, чтобы убедиться окончательно, что и там нет ничего, кроме пыли. Но так как одному было бы и страшно, и неудобно предпринимать подобную экскурсию, то я навербовал на улицах города небольшой отряд из трех сорванцов, привлеченных к предприятию обещанием булок и яблоков из нашего сада.

IV. Я приобретаю новое знакомство

Мы вышли в экскурсию после обеда и, подойдя к горе, стали подниматься по глинистым обвалам, взрытым лопатами жителей и весенними потоками. Обвалы обнажали склоны горы, и кое-где из глины виднелись высушенные наружу белые, истлевшие кости. В одном месте деревянный гроб выставлялся истлевшим углом, в другом – скалил зубы человеческий череп, уставясь на нас черными впадинами глаз.

Наконец, помогая друг другу, мы торопливо взобрались на гору из последнего обрыва. Солнце начинало склоняться к закату. Косые лучи мягко золотили зеленую мураву старого кладбища, играли на покосившихся крестах, переливались в уцелевших окнах часовни. Было тихо, веяло спокойствием и глубоким миром брошенного кладбища. Здесь уже мы не видели ни черепов, ни голеней, ни гробов. Зеленая свежая трава ровным, слегка склонявшимся к городу пологом любовно скрывала в своих объятиях ужас и безобразие смерти.

Мы были одни; только воробьи возились кругом, да ласточки бесшумно влетали и вылетали в окна старой часовни, которая стояла, грустно понурясь, среди поросших травой могил, скромных крестов, полуразвалившихся каменных гробниц, на развалинах которых стлалась густая зелень, пестрели разноцветные головки лютиков, кашки, фиалок.

– Нет никого, – сказал один из моих спутников.

– Солнце заходит, – заметил другой, глядя на солнце, которое не заходило еще, но стояло над горою.

Дверь часовни была крепко заколочена, окна – высоко над землею; однако при помощи товарищей я надеялся взобраться на них и взглянуть внутрь часовни.

– Не надо! – вскрикнул один из моих спутников, вдруг потерявший всю свою храбрость, и схватил меня за руку.

– Пошел ко всем чертям, баба! – прикрикнул на него старший из нашей маленькой армии, с готовностью подставляя спину.

Я храбро взобрался на нее; потом он выпрямился, и я стал ногами на его плечи. В та-

ком положении я без труда достал рукой раму и, убедясь в ее крепости, поднялся к окну и сел на него.

– Ну, что же там? – спрашивали меня снизу с живым интересом.

Я молчал. Перегнувшись через косяк, я заглянул внутрь часовни, и оттуда на меня пахнуло торжественною тишиной брошенного храма. Внутренность высокого, узкого здания была лишена всяких украшений. Лучи вечернего солнца, свободно врываясь в открытые окна, разрисовывали ярким золотом старые, ободранные стены. Я увидел внутреннюю сторону запертой двери, провалившиеся хоры, старые, истлевшие колонны, как бы покачнувшиеся под непосильною тяжестью. Углы были затканы паутиной, и в них ютилась та особенная тьма, которая залегает все углы таких старых зданий. От окна до пола казалось гораздо дальше, чем до травы снаружи. Я смотрел точно в глубокую яму и сначала не мог разглядеть каких-то странных предметов, маячивших по полу причудливыми очертаниями.

Между тем моим товарищам надоело сто-

ять внизу, ожидая от меня известий, и потому один из них, проделав ту же процедуру, какую проделал я раньше, повис рядом со мною, держась за оконную раму.

– Престол, – сказал он, взглядевшись в странный предмет на полу.

– И паникадило.

– Столик для Евангелия.

– А вон там что такое? – с любопытством указал он на темный предмет, видневшийся рядом с престолом.

– Поповская шапка.

– Нет, ведро.

– Зачем же тут ведро?

– Может быть, в нем когда-то были угли для кадила.

– Нет, это действительно шапка. Впрочем, можно посмотреть. Давай привяжем к раме пояс, и ты по нем спустишься.

– Да, как же, так и спущусь!.. Полезай сам, если хочешь.

– Ну, что ж! Думаешь, не полезу?

– И полезай!

Действуя по первому побуждению, я крепко связал два ремня, задел их за раму и, отдав

один конец товарищу, сам повис на другом. Когда моя нога коснулась пола, я вздрогнул; но взгляд на участливо склонившуюся ко мне рожицу моего приятеля восстановил мою бодрость. Стук каблука зазвенел под потолком, отдался в пустоте часовни, в ее темных углах. Несколько воробьев вспорхнули с насиженных мест на хорах и вылетели в большую прореху в крыше. Со стены, на окнах которой мы сидели, глянуло на меня вдруг строго лицо, с бородой, в терновом венце. Это склонялось из-под самого потолка гигантское распятие.

Мне было жутко; глаза моего друга сверкали захватывающим дух любопытством и участием.

– Ты подойдешь? – спросил он тихо.

– Подойду, – ответил я так же, собираясь с духом. Но в эту минуту случилось нечто совершенно неожиданное.

Сначала послышался стук и шум обвалившейся на хорах штукатурки. Что-то завозилось вверху, тряхнуло в воздухе тучею пыли, и большая серая масса, взмахнув крыльями, поднялась к прорехе в крыше. Часовня на

мгновение как будто потемнела. Огромная старая сова, обеспокоенная нашей возней, вылетела из темного угла, мелькнула, распластавшись на фоне голубого неба в полете, и шарахнулась вон.

Я почувствовал прилив судорожного страха.

– Подымай! – крикнул я товарищу, схватившись за ремень.

– Не бойся, не бойся! – успокаивал он, приготовляясь поднять меня на свет дня и солнца.

Но вдруг лицо его исказилось от страха; он вскрикнул и мгновенно исчез, спрыгнув с окна. Я инстинктивно оглянулся и увидел странное явление, поразившее меня, впрочем, больше удивлением, чем ужасом.

Темный предмет нашего спора, шапка или ведро, оказавшийся в конце концов горшком, мелькнул в воздухе и на глазах моих скрылся под престолом. Я успел только разглядеть очертания небольшой, как будто детской руки.

Трудно передать мои ощущения в эту минуту. Я не страдал; чувство, которое я испы-

тывал, нельзя даже назвать страхом. Я был на том свете. Откуда-то, точно из другого мира, в течение нескольких секунд доносился до меня быструю дробью тревожный топот трех пар детских ног! Но вскоре затих и он. Я был один, точно в гробу, в виду каких-то странных и необъяснимых явлений.

Времени для меня не существовало, поэтому я не мог сказать, скоро ли я услышал под престолом сдержанный шепот:

– Почему же он не лезет себе назад?

– Видишь, испугался.

Первый голос показался мне совсем детским; второй мог принадлежать мальчику моего возраста. Мне показалось также, что в щели старого престола сверкнула пара черных глаз.

– Что ж он теперь будет делать? – слышался опять шепот.

– А вот погоди, – ответил голос постарше.

Под престолом что-то сильно завозилось, он даже как будто покачнулся, и в то же мгновение из-под него вынырнула фигура.

Это был мальчик лет девяти, больше меня, худощавый и тонкий, как тростинка. Одет он

был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами.

Хотя незнакомец, явившийся на сцену столь неожиданным и странным образом, подходил ко мне с тем беспечно-задорным видом, с каким всегда на нашем базаре подходили друг к другу мальчишки, готовые вступить в драку, но все же, увидев его, я сильно ободрился. Я ободрился еще более, когда из-под того же престола, или, вернее, из люка в полу часовни, который он покрывал, сзади мальчика показалось еще грязное личико, обрамленное белокурыми волосами и сверкавшее на меня детски-любопытными голубыми глазами.

Я несколько отодвинулся от стены и, согласно рыцарским правилам нашего базара, тоже положил руки в карманы. Это было признаком, что я не боюсь противника и даже отчасти намекаю на мое к нему презрение.

Мы стали друг против друга и обменялись взглядами. Оглядев меня с головы до ног, мальчишка спросил:

– Ты здесь зачем?

– Так, – ответил я. – Тебе какое дело?

Мой противник повел плечом, как будто намереваясь вынуть руку из кармана и ударить меня. Я не моргнул и глазом.

– Я вот тебе покажу! – погрозил он.

Я выпятился грудью вперед.

– Ну, ударь... попробуй!..

Мгновение было критическое; от него зависел характер дальнейших отношений. Я ждал, но мой противник, окинув меня тем же испытующим взглядом, не шевелился.

– Я, брат, и сам... тоже... – сказал я, но уж более миролюбиво.

Между тем девочка, упершись маленькими ручонками в пол часовни, старалась тоже выкарабкаться из люка. Она падала, вновь приподымалась и, наконец, направилась нетвердыми шагами к мальчишке. Подойдя вплоть, она крепко ухватилась за него и, прижавшись к нему, поглядела на меня удивленным и отчасти испуганным взглядом.

Это решило исход дела; стало совершенно ясно, что в таком положении мальчишка не мог драться, а я, конечно, был слишком вели-

кодушен, чтобы воспользоваться его неудобным положением.

– Как твое имя? – спросил мальчик, глядя рукой белокурую головку девочки.

– Вася. А ты кто такой?

– Я Валеку... Я тебя знаю: ты живешь в саду над прудом. У вас большие яблоки.

– Да, это правда, яблоки у нас хорошие... не хочешь ли?

Вынув из кармана два яблока, назначавшиеся для расплаты с моею постыдно бежавшей армией, я подал одно из них Валеку, другое протянул девочке. Но она скрыла свое лицо, прижавшись к Валеку.

– Боится, – сказал тот и сам передал яблоко девочке.

– Зачем ты влез сюда? Разве я когда-нибудь лазал в ваш сад? – спросил он затем.

– Что ж, приходи! Я буду рад, – ответил я радушно. Ответ этот озадачил Валеку; он призадумался.

– Я тебе не компания, – сказал он грустно.

– Отчего же? – спросил я, огорченный грустным тоном, каким были сказаны эти слова.

– Твой отец – пан судья.

– Ну так что же? – изумился я чистосердечно. – Ведь ты будешь играть со мной, а не с отцом.

Валек покачал головой.

– Тыбурций не пустит, – сказал он, и, как будто это имя напомнило ему что-то, он вдруг спохватился: – Послушай... Ты, кажется, славный хлопец, но все-таки тебе лучше уйти. Если Тыбурций тебя застанет, будет плохо.

Я согласился, что мне, действительно, пора уходить. Последние лучи солнца уходили уже сквозь окна часовни, а до города было не близко.

– Как же мне отсюда выйти?

– Я тебе укажу дорогу. Мы выйдем вместе.

– А она? – ткнул я пальцем в нашу маленькую даму.

– Маруся? – она тоже пойдет с нами.

– Как, в окно?

Валек задумался.

– Нет, вот что: я тебе помогу взобраться на окно, а мы выйдем другим ходом.

С помощью моего нового приятеля я поднялся к окну. Отвязав ремень, я обвинил его во-

круг рамы и, держась за оба конца, повис в воздухе. Затем, отпустив один конец, я спрыгнул на землю и выдернул ремень. Валек и Маруся ждали меня уже под стеной снаружи.

Солнце недавно еще село за гору. Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки тополей на острове резко выделялись червонным золотом, разрисованные последними лучами заката. Мне казалось, что с тех пор, как я явился сюда, на старое кладбище, прошло не менее суток, что это было вчера.

– Как хорошо! – сказал я, охваченный свежестью наступающего вечера и вдыхая полною грудью влажную прохладу.

– Скучно здесь... – с грустью произнес Валек.

– Вы все здесь живете? – спросил я, когда мы втроем стали спускаться с горы.

– Здесь.

– Где же ваш дом?

Я не мог себе представить, чтобы дети могли жить без «дома».

Валек усмехнулся с обычным грустным видом и ничего не ответил.

Мы миновали крутые обвалы, так как Валек знал более удобную дорогу. Пройдя меж камышей по высохшему болоту и переправившись через ручеек по тонким дощечкам, мы очутились у подножия горы, на равнине.

Тут надо было расстаться. Пожав руку моему новому знакомому, я протянул ее также и девочке. Она ласково подала мне свою крохотную ручонку и, глядя снизу вверх голубыми глазами, спросила:

– Ты придешь к нам опять?

– Приду, – ответил я, – непременно!..

– Что ж, – сказал в раздумье Валек, – приходи, пожалуй, только в такое время, когда наши будут в городе.

– Кто это «ваши»?

– Да наши... все: Тыбурций, Лавровский, Туркевич. Профессор... тот, пожалуй, не помещает.

– Хорошо. Я посмотрю, когда они будут в городе, и тогда приду. А пока прощайте!

– Эй, послушай-ка, – крикнул мне Валек, когда я отошел несколько шагов. – А ты болтать не будешь о том, что был у нас?

– Никому не скажу, – ответил я твердо.

– Ну, вот, это хорошо! А этим твоим дуракам, когда станут приставать, скажи, что видел черта.

– Ладно, скажу.

– Ну прощай!

– Прощай.

Густые сумерки залегли над Княжьим-Веном, когда я приблизился к забору своего сада. Над замком зарисовался тонкий серп луны, загорелись звезды. Я хотел уже подняться на забор, как кто-то схватил меня за руку.

– Вася, друг, – заговорил взволнованным шепотом мой бежавший товарищ. – Как же это ты?.. Голубчик!..

– А вот, как видишь... А вы все меня бросили!..

Он потупился, но любопытство взяло верх над чувством стыда, и он спросил опять:

– Что же там было?

– Что, – ответил я тоном, не допускавшим сомнения, – разумеется, черти... А вы – трусы.

И, отмахнувшись от сконфуженного товарища, я полез на забор.

Через четверть часа я спал уже глубоким сном, и во сне мне виделись действительно

черти, весело выскакивавшие из черного люка. Валек гонял их ивовым прутиком, а Маруся, весело сверкая глазками, смеялась и хлопала в ладоши.

V. Знакомство продолжается

С этих пор я весь был поглощен моим новым знакомством. Вечером, ложась в постель, и утром, вставая, я только и думал о предстоящем визите на гору. По улицам города я шатался теперь с исключительной целью – высмотреть, тут ли находится вся компания, которую Януш характеризовал словами «дурное общество»; и если Лавровский валялся в луже, если Туркевич и Тыбурций разглагольствовали перед своими слушателями, а темные личности шныряли по базару, я тотчас же бегом отправлялся через болото, на гору, к часовне, предварительно наполнив карманы яблоками, которые я мог рвать в саду без запрета, и лакомствами, которые я берегал всегда для своих новых друзей.

Валек, вообще очень солидный и внушавший мне уважение своими манерами взрослого человека, принимал эти приношения

просто и по большей части откладывал куда-нибудь, приберегая для сестры, но Маруся всякий раз всплескивала ручонками, и глаза ее загорались огоньком восторга; бледное лицо девочки вспыхивало румянцем, она смеялась, и этот смех нашей маленькой приятельницы отдавался в наших сердцах, вознаграждая за конфеты, которые мы жертвовали в ее пользу.

Это было бледное, крошечное создание, напоминавшее цветок, выросший без лучей солнца. Несмотря на свои четыре года, она ходила еще плохо, неуверенно ступая кривыми ножками и шатаясь, как былинка: руки ее были тонки и прозрачны; головка покачивалась на тонкой шее, как головка полевого колокольчика; глаза смотрели порой так не детски грустно, и улыбка так напоминала мне мою мать в последние дни, когда она, бывало, сидела против открытого окна и ветер шевелил ее белокурые волосы, что мне становилось самому грустно, и слезы подступали к глазам.

Я невольно сравнивал ее с моей сестрой;

они были в одном возрасте, но моя Соня была кругла, как пышка, и упруга, как мячик. Она так резво бегала, когда, бывало, разыграется, так звонко смеялась, на ней всегда были такие красивые платья, и в темные косы ей каждый день горничная вплетала алую ленту.

А моя маленькая приятельница почти никогда не бегала и смеялась очень редко; когда же смеялась, то смех ее звучал, как самый маленький серебряный колокольчик, которого на десять шагов уже не слышно. Платье ее было грязно и старо, в косе не было лент, но волосы у нее были гораздо больше и роскошнее, чем у Сони, и Валек, к моему удивлению, очень искусно умел заплетать их, что и исполнял каждое утро.

Я был большой сорванец. «У этого мало-го, – говорили обо мне старшие, – руки и ноги налиты ртутью», чему я и сам верил, хотя не представлял себе ясно, кто и каким образом произвел надо мной эту операцию. В первые же дни я внес свое оживление и в общество моих новых знакомых. Едва ли эхо старой «каплицы» повторяло когда-нибудь такие

громкие крики, как в это время, когда я старался расшевелить и завлечь в свои игры Валека и Марусю. Однако это удавалось плохо. Валека серьезно смотрел на меня и на девочку, и раз, когда я заставил ее бегать со мной взапуски, он сказал:

– Нет, она сейчас заплачет.

Действительно, когда я растормошил ее и заставил бежать, Маруся, услышав мои шаги за собой, вдруг повернулась ко мне, подняв ручонки над головой, точно для защиты, посмотрела на меня беспомощным взглядом захлопнутой пташки и громко заплакала. Я совсем растерялся.

– Вот видишь, – сказал Валека, – она не любит играть.

Он усадил ее на траву, нарвал цветов и кинул ей; она перестала плакать и тихо перебирала растения, что-то говорила, обращаясь к золотистым лютикам, и подносила к губам синие колокольчики. Я тоже присмирел и лег рядом с Валеком около девочки.

– Отчего она такая? – спросил я, наконец, указывая глазами на Марусю.

– Невеселая? – переспросил Валека и затем

сказал тоном совершенно убежденного человека: – А это, видишь ли, от серого камня.

– Да-а, – повторила девочка, точно слабое эхо, – это от серого камня.

– От какого серого камня? – переспросил я, не понимая.

– Серый камень высосал из нее жизнь, – пояснил опять Валек, по-прежнему смотря на небо. – Так говорит Тыбурций... Тыбурций хорошо знает.

– Да-а, – опять повторила тихим эхом девочка, – Тыбурций все знает.

Я ничего не понимал в этих загадочных словах, которые Валек повторял за Тыбурцием, однако аргумент, что Тыбурций все знает, произвел и на меня свое действие. Я приподнялся на локте и взглянул на Марусю. Она сидела в том же положении, в каком усадил ее Валек, и все так же перебирала цветы; движения ее тонких рук были медленны; глаза выделялись глубокою синевой на бледном лице; длинные ресницы были опущены. При взгляде на эту крохотную грустную фигурку мне стало ясно, что в словах Тыбурция, – хотя я и не понимал их значения, – заключается горь-

кая правда. Несомненно, кто-то высасывает жизнь из этой странной девочки, которая плачет тогда, когда другие на ее месте смеются. Но как же может сделать это серый камень?

Это было для меня загадкой, страшнее всех призраков старого замка. Как ни ужасны были турки, томившиеся под землей, как ни грозен старый граф, усмирявший их в бурные ночи, но все они отзывались старою сказкой. А здесь что-то неведомо-страшное было налицо. Что-то бесформенное, неумолимое, твердое и жестокое, как камень, склонялось над маленькою головкой, высасывая из нее румянец, блеск глаз и живость движений. «Должно быть, это бывает по ночам», – думал я, и чувство щемящего до боли сожаления сжимало мне сердце.

Под влиянием этого чувства я тоже умерил свою резвость. Применяясь к тихой солидности нашей дамы, оба мы с Валеком, усадив ее где-нибудь на траве, собирали для нее цветы, разноцветные камешки, ловили бабочек, иногда делали из кирпичей ловушки для воробьев. Иногда же, растянувшись около нее

на траве, смотрели в небо, как плывут облака высоко над лохматою крышей старой «каплицы», рассказывали Марусе сказки или беседовали друг с другом.

Эти беседы с каждым днем все больше закрепляли нашу дружбу с Валеком, которая росла, несмотря на резкую противоположность наших характеров. Моей порывистой резвости он противопоставлял грустную солидность и внушал мне почтение своею авторитетностью и независимым тоном, с каким отзывался о старших. Кроме того, он часто сообщал мне много нового, о чем я раньше и не думал. Слыша, как он отзывается о Тыбурции, точно о товарище, я спросил:

– Тыбурций тебе отец?

– Должно быть, отец, – ответил он задумчиво, как будто этот вопрос не приходил ему в голову.

– Он тебя любит?

– Да, любит, – сказал он уже гораздо увереннее. – Он постоянно обо мне заботится, и, знаешь, иногда он целует меня и плачет...

– И меня любит и тоже плачет, – прибавила Маруся с выражением детской гордости.

– А меня отец не любит, – сказал я грустно. – Он никогда не целовал меня... Он нехороший.

– Неправда, неправда, – возразил Валек, – ты не понимаешь. Тыбурций лучше знает. Он говорит, что судья – самый лучший человек в городе и что городу давно бы уже надо провалиться, если бы не твой отец, да еще поп, которого недавно посадили в монастырь, да еврейский раввин. Вот из-за них троих...

– Что из-за них?

– Город из-за них еще не провалился, – так говорит Тыбурций, – потому что они еще за бедных людей заступаются... А твой отец, знаешь... он засудил даже одного графа...

– Да, это правда... Граф очень сердился, я слышал...

– Ну, вот видишь! А ведь графа засудить не шутка.

– Почему?

– Почему? – переспросил Валек, несколько озадаченный... – Потому что граф – не простой человек... Граф делает, что хочет, и ездит в карете, и потом... у графа деньги; он дал бы другому судье денег, и тот бы его не засудил, а

засудил бы бедного.

– Да, это правда. Я слышал, как граф кричал у нас в квартире: «Я вас всех могу купить и продать!»

– А судья что?

– А отец говорит ему: «Подите от меня вон!»

– Ну, вот, вот! И Тыбурций говорит, что он не побоится прогнать богатого, а когда к нему пришла старая Иваниха с костылем, он велел принести ей стул. Вот он какой! Даже и Туркевич не делал никогда под его окнами скандалов.

Это была правда: Туркевич во время своих обличительных экскурсий всегда молча проходил мимо наших окон, иногда даже снимая шапку.

Все это заставило меня глубоко задуматься. Валек указал мне моего отца с такой стороны, с какой мне никогда не приходило в голову взглянуть на него: слова Валека задели в моем сердце струну сыновней гордости; мне было приятно слушать похвалы моему отцу, да еще от имени Тыбурция, который «все знает»; но вместе с тем дрогнула в моем сердце и

нота щемящей любви, смешанной с горьким сознанием: никогда этот человек не любил и не полюбит меня так, как Тыбурций любит своих детей.

VI. Среди «серых камней»

Прошло еще несколько дней. Члены «дурного общества» перестали являться в город, и я напрасно шатался, скучая, по улицам, ожидая их появления, чтобы бежать на гору. Один только «профессор» прошел раза два своею сонною походкой, но ни Туркевича, ни Тыбурция не было видно. Я совсем соскучился, так как не видеть Валека и Марусю стало уже для меня большим лишением. Но вот, когда я однажды шел с опущенною головою по пыльной улице, Валека вдруг положил мне на плечо руку.

– Отчего ты перестал к нам ходить? – спросил он.

– Я боялся... Ваших не видно в городе.

– А-а... Я и не догадался сказать тебе; наших нет, приходи... А я было думал совсем другое.

– А что?

– Я думал, тебе наскучило.

– Нет, нет. Я, брат, сейчас побегу, – заторопился я, – даже и яблоки со мной.

При упоминании о яблоках Валек быстро повернулся ко мне, как будто хотел что-то сказать, но не сказал ничего, а только посмотрел на меня странным взглядом.

– Ничего, ничего, – отмахнулся он, видя, что я смотрю на него с ожиданием. – Ступай прямо на гору, а я тут зайду кое-куда, – дело есть. Я тебя догоню на дороге.

Я пошел тихо и часто оглядывался, ожидая, что Валек меня догонит; однако я успел взойти на гору и подошел к часовне, а его все не было. Я остановился в недоумении: передо мной было только кладбище, пустынное и тихое, без малейших признаков обитаемости, только воробьи чирикали на свободе, да густые кусты черемухи, жимолости и сирени, прижимаясь к южной стене часовни, о чем-то тихо шептались густо разросшеюся темной листвой.

Я оглянулся кругом. Куда же мне теперь идти? Очевидно, надо дожидаться Валека. А пока я стал ходить между могилами, присмат-

риваясь к ним от нечего делать и стараясь разобрать стертые надписи на обросших мхом надгробных камнях. Шатаюсь таким образом от могилы к могиле, я наткнулся на полуразрушенный просторный склеп. Крыша его была сброшена или сорвана непогодой и валялась тут же. Дверь была заколочена. Из любопытства я приставил к стене старый крест и, взобравшись по нему, заглянул внутрь. Гробница была пуста, только в середине пола была вделана оконная рама со стеклами, и сквозь эти стекла зияла темная пустота подземелья.

Пока я рассматривал гробницу, удивляясь странному назначению окна, на гору вбежал запыхавшийся и усталый Валек. В руках у него была большая еврейская булка, за пазухой что-то оттопырилось, по лицу стекали капли пота.

– Ага! – крикнул он, заметив меня, – ты вот где. Если бы Тыбурций тебя здесь увидел, то-то бы рассердился! Ну, да теперь уж делать нечего... Я знаю, ты хлопец хороший и никому не расскажешь, как мы живем. Пойдем к нам!

– Где же это, далеко? – спросил я.

– А вот увидишь. Ступай за мной.

Он раздвинул кусты жимолости и сирени и скрылся в зелени под стеной часовни; я последовал туда за ним и очутился на небольшой плотно утоптанной площадке, которая совершенно скрывалась в зелени. Между стволами черемухи я увидел в земле довольно большое отверстие с земляными ступенями, ведущими вниз. Валек спустился туда, приглашая меня за собой, и через несколько секунд мы оба очутились в темноте, под зеленью. Взяв мою руку, Валек повел меня по какому-то узкому сырому коридору, и, круто повернув вправо, мы вдруг вошли в просторное подземелье.

Я остановился у входа, пораженный невиданным зрелищем. Две струи света резко лились сверху, выделяясь полосами на темном фоне подземелья; свет этот проходил в два окна, одно из которых я видел в полу склепа, другое, подальше, очевидно, было пристроено таким же образом; лучи солнца проникали сюда не прямо, а прежде отражались от стен старых гробниц; они разливались в сыром

воздухе подземелья, падали на каменные плиты пола, отражались и наполняли все подземелье тусклыми отблесками; стены тоже были сложены из камня; большие широкие колонны массивно вздымались снизу и, раскинув во все стороны свои каменные дуги, крепко смыкались кверху сводчатым потолком. На полу, в освещенных пространствах, сидели две фигуры. Старый «профессор», склонив голову и что-то бормоча про себя,ковырял иголкой в своих лохмотьях. Он не поднял даже головы, когда мы вошли в подземелье, и если бы не легкие движения руки, то эту серую фигуру можно было бы принять за фантастическое каменное изваяние.

Под другим окном сидела с кучкой цветов, перебирая их, по своему обыкновению, Маруся. Струя света падала на ее белокурую головку, заливала ее всю, но, несмотря на это, она как-то слабо выделялась на фоне серого камня странным и маленьким туманным пятнышком, которое, казалось, вот-вот расплывется и исчезнет. Когда там, вверху, над землей, пробегали облака, затеняя солнечный свет, стены подземелья тонули совсем в тем-

ноте, как будто раздвигались, уходили куда-то, а потом опять выступали жесткими, холодными камнями, смыкаясь крепкими объятиями над крохотной фигуркой девочки. Я поневоле вспомнил слова Валека о «сером камне», высасывавшем из Маруси ее веселье, и чувство суеверного страха закралось в мое сердце; мне казалось, что я ощущаю на ней и на себе невидимый каменный взгляд, пристальный и жадный. Мне казалось, что это подземелье чутко сторожит свою жертву.

– Валек! – тихо обрадовалась Маруся, увидев брата.

Когда же она заметила меня, в ее глазах блеснула живая искорка.

Я отдал ей яблоки, а Валек, разломив булку, часть подал ей, а другую снес «профессору». Несчастный ученый равнодушно взял это приношение и начал жевать, не отрываясь от своего занятия. Я переминался и ежился, чувствуя себя как будто связанным под гнетущими взглядами серого камня.

– Уйдем... уйдем отсюда, – дернул я Валека. – Уведи ее...

– Пойдем, Маруся, наверх, – позвал Валек

сестру.

И мы втроем поднялись из подземелья, но и здесь, наверху, меня не оставляло ощущение какой-то напряженной неловкости. Валек был грустнее и молчаливее обыкновенного.

– Ты в городе остался затем, чтобы купить булок? – спросил я у него.

– Купить? – усмехнулся Валек. – Откуда же у меня деньги?

– Так как же? Ты выпросил?

– Да, выпросишь!.. Кто же мне даст?.. Нет, брат, я стянул их с лотка еврейки Суры на базаре! Она не заметила.

Он сказал это обыкновенным тоном, лежа враспяжку с заложенными под голову руками. Я приподнялся на локте и посмотрел на него.

– Ты, значит, украл?..

– Ну да!

Я опять откинулся на траву, и с минуту мы пролежали молча.

– Воровать нехорошо, – проговорил я затем в грустном раздумье.

– Наши все ушли... Маруся плакала, пото-

му что она была голодна.

– Да, голодна! – с жалобным простодушием повторила девочка.

Я не знал еще, что такое голод, но при последних словах девочки у меня что-то повернулось в груди, и я посмотрел на своих друзей, точно увидал их впервые. Валек по-прежнему лежал на траве и задумчиво следил за парившим в небе ястребом. Теперь он не казался уже мне таким авторитетным, а при взгляде на Марусю, державшую обеими руками кусок булки, у меня заныло сердце.

– Почему же, – спросил я с усилием, – почему ты не сказал об этом мне?

– Я и хотел сказать, а потом раздумал; ведь у тебя своих денег нет.

– Ну так что же? Я взял бы булок из дому.

– Как, потихоньку?..

– Д-да.

– Значит, и ты бы тоже украл.

– Я... у своего отца.

– Это еще хуже! – с уверенностью сказал Валек. – Я никогда не ворую у своего отца.

– Ну, так я попросил бы... Мне бы дали.

– Ну, может быть, и дали бы один раз, – где

же заpastись на всех нищих?

– А вы разве... нищие? – спросил я упавшим голосом.

– Нищие! – угрюмо отрезал Валек.

Я замолчал и через несколько минут стал прощаться.

– Ты уж уходишь? – спросил Валек.

– Да, ухожу.

Я уходил потому, что не мог уже в этот день играть с моими друзьями по-прежнему, безмятежно. Чистая детская привязанность моя как-то замутилась... Хотя любовь моя к Валеку и Марусе не стала слабее, но к ней примешалась острая струя сожаления, доходившая до сердечной боли. Дома я рано лег в постель, потому что не знал, куда уложить новое болезненное чувство, переполнявшее душу. Уткнувшись в подушку, я горько плакал, пока крепкий сон не прогнал своим веянием моего глубокого горя.

VII. На сцену является пан Тыбурций

— Здравствуй! А уж я думал, ты не придешь более, — так встретил меня Валеk, когда я на следующий день опять явился на гору.

Я понял, почему он сказал это.

— Нет, я... я всегда буду ходить к вам, — ответил я решительно, чтобы раз и навсегда покончить с этим вопросом.

Валеk заметно повеселел, и оба мы почувствовали себя свободнее.

— Ну, что? Где же ваши? — спросил я. — Все еще не вернулись?

— Нет еще. Черт их знает, где они пропадают.

И мы весело принялись за сооружение хитроумной ловушки для воробьев, для которой я принес с собой ниток. Нитку мы дали в руку Марусе, и когда неосторожный воробей, привлеченный зерном, беспечно заскакивал в западню, Маруся дергала нитку, и крышка захлопывала птичку, которую мы затем отпускали.

Между тем около полудня небо насупи-

лось, надвинулась темная туча, и под веселые раскаты грома зашумел ливень. Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом, подумав, что ведь Валек и Маруся живут там постоянно, я победил неприятное ощущение и пошел туда вместе с ними. В подземелье было темно и тихо, но сверху слышно было, как перекачивался гулкой грохот грозы, точно кто ездил там в громадной телеге по гигантски-сложенной мостовой. Через несколько минут я освоился с подземельем, и мы весело прислушивались, как земля принимала широкие потоки ливня; гул, всплески и частые раскаты настраивали наши нервы, вызывали оживление, требовавшее исхода.

– Давайте играть в жмурки, – предложил я.

Мне завязали глаза; Маруся звенела слабыми переливами своего жалкого смеха и шлепала по каменному полу непроторными ножонками, а я делал вид, что не могу поймать ее, как вдруг наткнулся на чью-то мокрую фигуру и в ту же минуту почувствовал, что кто-то схватил меня за ногу. Сильная рука приподняла меня с полу, и я повис в воздухе вниз головой. Повязка с глаз моих спала.

Тыбурций, мокрый и сердитый, страшнее еще оттого, что я глядел на него снизу, держал меня за ноги и дико вращал зрачками.

– Это что еще, а? – строго спрашивал он, глядя на Валека. – Вы тут, я вижу, весело проводите время... Завели приятную компанию.

– Пустите меня! – сказал я, удивляясь, что и в таком необычном положении я все-таки могу говорить, но рука пана Тыбурция только еще сильнее сжала мою ногу.

– Responde, ответствуй! – грозно обратился он опять к Валеку, который в этом затруднительном случае стоял, запихав в рот два пальца, как бы в доказательство того, что ему отвечать решительно нечего.

Я заметил только, что он сочувственным оком и с большим участием следил за моею несчастною фигурой, качавшеюся, подобно маятнику, в пространстве.

Пан Тыбурций приподнял меня и взглянул в лицо.

– Эге-ге! Пан судья, если меня не обманывают глаза... Зачем это изволили пожаловать?

– Пусти! – проговорил я упрямо. – Сейчас отпусти! – и при этом я сделал инстинктив-

ное движение, как бы собираясь топнуть ногой, но от этого весь только забился в воздухе.

Тыбурций захохотал.

– Ого-го! Пан судья изволят сердиться... Ну, да ты меня еще не знаешь. Его Тыбурций sum. [27] Я вот повешу тебя над огоньком и зажарю, как поросенка.

Я начинал думать, что действительно такова моя неизбежная участь, тем более что отчаянная фигура Валека как бы подтверждала мысль о возможности такого печального исхода. К счастью, на выручку подоспела Маруся.

– Не бойся, Вася, не бойся! – ободрила она меня, подойдя к самым ногам Тыбурция. – Он никогда не жарит мальчиков на огне... Это неправда!

Тыбурций быстрым движением повернул меня и поставил на ноги; при этом я чуть не упал, так как у меня закружилась голова, но он поддержал меня рукой и затем, сев на деревянный обрубок, поставил меня между колен.

– И как это ты сюда попал? – продолжал он допрашивать. – Давно ли?.. Говори ты! – обра-

тился он к Валеку, так как я ничего не ответил.

– Давно, – ответил тот.

– А как давно?

– Дней шесть.

Казалось, этот ответ доставил пану Тыбурцию некоторое удовольствие.

– Ого, шесть дней! – заговорил он, поворачивая меня лицом к себе. – Шесть дней – много времени. И ты до сих пор никому еще не разболтал, куда ходишь?

– Никому.

– Правда?

– Никому, – повторил я.

– Вене, похвально!.. Можно рассчитывать, что не разболтаешь и вперед. Впрочем, я и всегда считал тебя порядочным малым, встречая на улицах. Настоящий «уличник», хоть и судья... А нас судить будешь, скажи-ка?

Он говорил довольно добродушно, но я все-таки чувствовал себя глубоко оскорбленным и потому ответил довольно сердито:

– Я вовсе не судья. Я – Вася.

– Одно другому не мешает, и Вася тоже может быть судьей, – не теперь, так после... Это

уж, брат, так ведется исстари. Вот видишь ли: я – Тыбурций, а он – Валек. Я нищий, и он – нищий. Я, если уж говорить откровенно, краду, и он будет красть. А твой отец меня судит, – ну, и ты когда-нибудь будешь судить... вот его!

– Не буду судить Валека, – возразил я угрюмо. – Неправда!

– Он не будет, – вступилась и Маруся, с полным убеждением отстраняя от меня ужасное подозрение.

Девочка доверчиво прижалась к ногам этого уroda, а он ласково гладил жилистой рукой ее белокурые волосы.

– Ну, этого ты вперед не говори, – сказал странный человек задумчиво, обращаясь ко мне таким тоном, точно он говорил со взрослым. – Не говори, amice![28] Эта история ведется исстари, всякому свое, sum cuique; каждый идет своей дорожкой; и кто знает... может быть, это и хорошо, что твоя дорога пролегла через нашу. Для тебя хорошо, amice, потому что иметь в груди кусочек человеческого сердца вместо холодного камня, – понимаешь?..

Я не понимал ничего, но все же впился глазами в лицо странного человека; глаза пана Тыбурция пристально смотрели в мои, и в них смутно мерцало что-то, как будто проникавшее в мою душу.

– Не понимаешь, конечно, потому что ты еще малец... Поэтому скажу тебе кратко, а ты когда-нибудь и вспомнишь слова философа Тыбурция: если когда-нибудь придется тебе судить вот его, то вспомни, что еще в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе, – что уже тогда ты шел по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем-бесштанником и с пустым брюхом... Впрочем, пока еще это случится, – заговорил он, резко изменив тон, – запомни еще хорошенько вот что: если ты проболтаешься своему судье или хоть птице, которая пролетит мимо тебя в поле, о том, что ты здесь видел, то не будь я Тыбурций Драб, если я тебя не повешу вот в этом камине за ноги и не сделаю из тебя копченого окорока. Это ты, надеюсь, понял?

– Я не скажу никому... я... Можно мне

опять прийти?

– Приходи, разрешаю... sub conditionem[29] ... Впрочем, ты еще глуп и латыни не понимаешь. Я уже сказал тебе насчет окорока. Помни!..

Он отпустил меня и сам растянулся с усталым видом на длинной лавке, стоявшей около стенки.

– Возьми вон там, – указал он Валеку на большую корзину, которую, войдя, оставил у порога, – да разведи огонь. Мы будем сегодня варить обед.

Теперь это уже был не тот человек, что за минуту пугал меня, вращая зрачками, и не галер, потешавший публику из-за подачек. Он распоряжался, как хозяин и глава семейства, вернувшийся с работы и отдающий приказания домочадцам.

Он казался сильно уставшим. Платье его было мокро от дождя, лицо тоже; волосы слиплись на лбу, во всей фигуре виднелось тяжелое утомление. Я в первый раз видел это выражение на лице веселого оратора городских кабаков, и опять этот взгляд за кулисы, на актера, изнеможенно отдыхавшего после

тяжелой роли, которую он разыгрывал на житейской сцене, как будто влил что-то жуткое в мое сердце. Это было еще одно из тех открытий, какими так щедро наделяла меня старая униатская «каплица».

Мы с Валеком живо принялись за работу. Валек зажег лучину, и мы отправились с ним в темный коридор, примыкавший к подземелью. Там в углу были свалены куски полуистлевшего дерева, обломки крестов, старые доски; из этого запаса мы взяли несколько кусков и, поставив их в камин, развели огонь. Затем мне пришлось отступить, и Валек один умелыми руками принялся застряпню. Через полчаса на камине закипало уже в горшке какое-то варево, а в ожидании, пока оно поспеет, Валек поставил на треногий, кое-как сколоченный столик сковороду, на которой дымились куски жареного мяса.

Тыбурций поднялся.

– Готово? – сказал он. – Ну и отлично. Садись, малый, с нами, – ты заработал свой обед... Domine preceptor![30] – крикнул он затем, обращаясь к «профессору»: – Брось иголку, садись к столу.

– Сейчас, – сказал тихим голосом «профессор», удивив меня этим сознательным ответом.

Впрочем, искра сознания, вызванная голосом Тыбурция, не проявлялась ничем больше. Старик воткнул иголку в лохмотья и равнодушно, с тусклым взглядом, уселся на один из деревянных обрубков, заменявших в подземелье стулья.

Марусю Тыбурций держал на руках. Она и Валек ели с жадностью, которая ясно показывала, что мясное блюдо было для них невиданною роскошью; Маруся облизывала даже свои засаленные пальцы. Тыбурций ел с расстановкой и, повинувшись, по-видимому, неодолимой потребности говорить, то и дело обращался к «профессору» со своей беседой. Бедный ученый проявлял при этом удивительное внимание и, наклонив голову, выслушивал все с таким разумным видом, как будто он понимал каждое слово. Иногда даже он выражал свое согласие кивками головы и тихим мычанием.

– Вот, domine, как немного нужно человеку, – говорил Тыбурций. – Не правда ли? Вот

мы и сыты, и теперь нам остается только поблагодарить бога и клеванского капеллана...

– Ага, ага! – поддакивал «профессор».

– Ты это, domine, поддакиваешь, а сам не понимаешь, при чем тут клеванский капеллан, – я ведь тебя знаю... А между тем не будь клеванского капеллана, у нас не было бы жаркого и еще кое-чего...

– Это вам дал клеванский ксендз? – спросил я, вспомнив вдруг круглое добродушное лицо клеванского «пробоца», бывавшего у отца.

– У этого малого, domine, любознательный ум, – продолжал Тыбурций, по-прежнему обращаясь к «профессору». – Действительно, его священство дал нам все это, хотя мы у него и не просили, и даже, быть может, не только его левая рука не знала, что дает правая, но и обе руки не имели об этом ни малейшего понятия... Кушай, domine! Кушай!

Из этой странной и запутанной речи я понял только, что способ приобретения был не совсем обыкновенный, и не удержался, чтоб еще раз не вставить вопроса:

– Вы это взяли... сами?

– Малый не лишен проницательности, – продолжал опять Тыбурций по-прежнему, – жаль только, что он не видел капеллана; у капеллана брюхо, как настоящая сороковая бочка, и, стало быть, объедение ему очень вредно. Между тем мы все, здесь находящиеся, страдаем скорее излишнею худобой, а потому некоторое количество провизии не можем считать для себя лишним... Так ли я говорю, domine?

– Ага, ага! – задумчиво промычал опять «профессор».

– Ну вот! На этот раз вы выразили свое мнение очень удачно, а то я уже начинал думать, что у этого малого ум бойчее, чем у некоторых ученых... Возвращаясь, однако, к капеллану, я думаю, что добрый урок стоит платы, и в таком случае мы можем сказать, что купили у него провизию: если он после этого сделает в амбаре двери покрепче, то вот мы и квиты... Впрочем, – повернулся он вдруг ко мне, – ты все-таки еще глуп и многого не понимаешь. А вот она понимает: скажи, моя Маруся, хорошо ли я сделал, что принес тебе жаркое?

– Хорошо! – ответила девочка, слегка сверкнув бирюзовыми глазами. – Маня была голодна.

Под вечер этого дня я с отуманенною головой задумчиво возвращался к себе. Странные речи Тыбурция ни на одну минуту не поколебали во мне убеждения, что «воровать нехорошо». Напротив, болезненное ощущение, которое я испытывал раньше, еще усилилось. Нищие... воры... у них нет дома!.. От окружающих я давно уже знал, что со всем этим соединяется презрение. Я даже чувствовал, как из глубины души во мне подымается вся горечь презрения, но я инстинктивно защищал мою привязанность от этой горькой примеси, не давая им слиться. В результате смутного душевного процесса сожаление к Валеку и Марусе усилилось и обострилось, но привязанность не исчезла. Формула «нехорошо воровать» осталась. Но, когда воображение рисовало мне оживленное личико моей приятельницы, облизывавшей свои засаленные пальцы, я радовался ее радостью и радостью Валека.

В темной аллейке сада я нечаянно на-

ткнулся на отца. Он по обыкновению угрюмо ходил взад и вперед с обычным странным, как будто отуманенным взглядом. Когда я очутился подле него, он взял меня за плечо.

– Откуда это?

– Я... гулял...

Он внимательно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но потом взгляд его опять затуманился, и, махнув рукой, он зашагал по аллее. Мне кажется, что я и тогда понимал смысл этого жеста:

– А, все равно... Ее уж нет!..

Я солгал чуть ли не первый раз в жизни.

Я всегда боялся отца, а теперь тем более. Теперь я носил в себе целый мир смутных вопросов и ощущений. Мог ли он понять меня? Мог ли я в чем-либо признаться ему, не изменяя своим друзьям? Я дрожал при мысли, что он узнает когда-либо о моем знакомстве с «дурным обществом», но изменить этому обществу, изменить Валеку и Марусе я был не в состоянии. К тому же здесь было тоже нечто вроде «принципа»: если б я изменил им, нарушив данное слово, то не мог бы при встрече поднять на них глаз от стыда.

VIII. Осенью

Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать.

Она ни на что не жаловалась, только все худела; лицо ее все бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом.

Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены «дурного общества» бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком.

– Ты славный хлопец и когда-нибудь тоже будешь генералом, – говаривал Туркевич.

Темные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы; высокий штык-юнкер с красным носом вертел меня на воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только «профессор» по-всегдашнему был погружен в какие-то глубокие соображения, а Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам.

Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал «с семейством»

описанное выше подземелье. Остальные члены «дурного общества» жили в таком же подземелье, побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Свету здесь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стен кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие стулья. Скамейки были завалены какими-то лохмотьями, заменявшими постели. В середине, в освещенном месте, стоял верстак, на котором по временам пан Тыбурций или кто-либо из темных личностей работали столярные поделки; был среди «дурного общества» и сапожник, и корзищик, но, кроме Тыбурция, все остальные ремесленники были или дилетанты, или же какие-нибудь заморыши, или люди, у которых, как я замечал, слишком сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успешно. Пол того подземелья был закидан стружками и всякими обрезками; всюду виднелись грязь и беспорядок, хотя по временам Тыбурций за это сильно ругался и заставлял кого-нибудь из жильцов подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жилье. Я не часто заходил сюда, так как не мог привыкнуть к затхлому

воздуху, и, кроме того, в трезвые минуты здесь имел пребывание мрачный Лавровский. Он обыкновенно или сидел на лавочке, спрятав лицо в ладони и раскидав свои длинные волосы, или ходил из угла в угол быстрыми шагами. От этой фигуры веяло чем-то тяжелым и мрачным, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожителы-бедняки давно уже свыклись с его странностями. Генерал Туркевич заставлял его иногда переписывать набело сочиняемые самим Туркевичем прошения и кляузы для обывателей или же шуточные пасквили, которые потом развешивал на фонарных столбах. Лавровский покорно садился за столик в комнате Тыбурция и по целым часам выводил прекрасным почерком ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его, бесчувственно-пьяного, тащили сверху в подzemелье. Голова несчастного, свесившись, болталась из стороны в сторону, ноги бессильно тащились и стучали по каменным ступенькам, на лице виднелось выражение страдания, по щекам текли слезы. Мы с Марусей, крепко прижавшись друг к другу, смотрели на эту сцену из дальнего угла; но Валек со-

вершенно свободно шнырял между большими, поддерживая то руку, то ногу, то голову Лавровского.

Все, что на улицах меня забавляло и интересовало в этих людях, как балаганное представление, – здесь, за кулисами, являлось в своем настоящем, неприкрашенном виде и тяжело угнетало детское сердце.

Тыбурций пользовался здесь непререкаемым авторитетом. Он открыл эти подземелья, он здесь распоряжался, и все его приказания исполнялись. Вероятно, поэтому именно я не припомню ни одного случая, когда бы кто-либо из этих людей, несомненно потерявших человеческий облик, обратился ко мне с каким-нибудь дурным предложением. Теперь, умудренный прозаическим опытом жизни, я знаю, конечно, что там был мелкий разврат, грошовые пороки и гниль. Но когда эти люди и эти картины встают в моей памяти, затянутые дымкой прошедшего, я вижу только черты тяжелого трагизма, глубокого горя и нужды.

Детство, юность – это великие источники идеализма! Осень все больше вступала в свои

права. Небо все чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке; потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулом в подземельях.

Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду; впрочем, я только старался уйти незамеченным; когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постель, философски отмалчиваясь под целым градом упреков, которые лились из уст нянек и служанок.

Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся все больше хиреет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень – темное, молчаливое чудовище подземелья – продолжал без перерывов свою ужасную работу, высасывая жизнь из маленького тельца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валеком истощали все усилия, чтобы развлечь ее и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы ее слабого смеха.

Теперь, когда я окончательно сжился с

«дурным обществом», грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры; но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность, тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен, – я чувствовал, что каждый раз мое появление вызывает румянец оживления на щеках девочки. Валек обнимал меня, как брата, и даже Тыбурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слеза.

На время небо опять прояснилось; с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землей, в последний раз перед наступлением зимы, засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала; девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках ее загорался румянец; казалось, что ветер, обдававший ее своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось так недолго...

Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи...

Однажды, когда я, по обыкновению, утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из зámка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша с своей дороги, и сказал:

– Уходите! Вы просто старый сплетник!

Старик как-то заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом. Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно, зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падая точно удары хлыста.

– Не верю ни одному слову... Что вам надо от этих людей? Где доказательства?.. Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать... Молчать! это уж мое дело... Не желаю и слушать.

Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему; отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке.

Я сильно недолюбливал старого филина из

зámка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относился к моим друзьям и, быть может, также ко мне.

Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу:

– У-уф, малый, какая это неприятная новость!.. О, проклятая старая гиена.

– Отец его прогнал, – заметил я в виде утешения.

– Твой отец, малый, самый лучший из всех судей, начиная от царя Соломона... Однако знаешь ли ты, что такое *curriculum vitae*?[31] Не знаешь, конечно. Ну а формулярный список знаешь? Ну, вот видишь ли: *curriculum vitae* – это есть формулярный список человека, не служившего в уездном суде... И если только старый сыч кое-что пронюхал и сможет доставить твоему отцу мой список, то... ах, клянусь богородицей, не желал бы я попасть к судье в лапы...

– Разве он... злой? – спросил я, вспомнив отзыв Валека.

– Нет, нет, малый! Храни тебя бог подумать это об отце. У твоего отца есть сердце, он зна-

ет много... Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит; он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней берлоге... Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, которого имя – закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока закон спит себе на полках; когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу: «А ну-ка, судья, не возьмись ли нам за Тыбурция Драба или как там его зовут?» – с этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пан Тыбурций вывернется из его рук... Понимаешь ты, малый? И за это я и все еще больше уважаем твоего отца, потому что он верный слуга своего господина, а такие люди редки. Будь у закона все такие слуги, он мог бы спать себе спокойно на своих полках и никогда не просыпаться... Вся беда моя в том, что у меня с законом вышла когда-то, давно уже, некоторая суспиция... то есть, понимаешь, неожиданная ссора... ах, малый, очень это была крупная ссора!

С этими словами Тыбурций встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своею безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением страдных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций, и фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась ореолом грозной, но симпатичной силы и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство...

«Вот он какой, – думалось мне, – но все же он меня не любит».

IX. Кукла

Ясные дни миновали, и Марусе опять стало хуже. На все наши ухищрения с целью занять ее она смотрела равнодушно своими большими потемневшими и неподвижными глазами, и мы давно уже не слышали ее смеха. Я стал носить в подzemелье свои игрушки, но и они развлекали девочку только на короткое время. Тогда я решил обратиться к своей сестре Соне.

У Сони была большая кукла, с ярко раскрашенным лицом и роскошными льняными волосами, подарок покойной матери. На эту куклу я возлагал большие надежды и потому, отозвав сестру в боковую аллею сада, попросил дать мне ее на время. Я так убедительно просил ее об этом, так живо описал ей бедную больную девочку, у которой никогда не было своих игрушек, что Соня, которая сначала только прижимала куклу к себе, отдала мне ее и обещала в течение двух-трех дней играть другими игрушками, ничего не упоминая о кукле.

Действие этой нарядной фаянсовой ба-

рышни на нашу больную превзошло все мои ожидания. Маруся, которая увядала, как цветок осенью, казалось, вдруг опять ожила. Она так крепко меня обнимала, так звонко смеялась, разговаривая со своею новою знакомой... Маленькая кукла сделала почти чудо: Маруся, давно уже не сходявшая с постели, стала ходить, водя за собой свою белокурую дочку, и по временам даже бегала, по-прежнему шлепая по полу слабыми ногами.

Зато мне эта кукла доставила очень много тревожных минут. Прежде всего, когда я нес ее за пазухой, направляясь с нею на гору, в дороге мне попался старый Януш, который долго провожал меня глазами и качал головой. Потом дня через два старушка няня заметила пропажу и стала соваться по углам, везде разыскивая куклу. Соня старалась унять ее, но своими наивными уверениями, что ей кукла не нужна, что кукла ушла гулять и скоро вернется, только вызывала недоумение служанок и возбуждала подозрение, что тут не простая пропажа. Отец ничего еще не знал, но к нему опять приходил Януш и был прогнан на этот раз с еще большим гневом;

однако в тот же день отец остановил меня на пути к садовой калитке и велел остаться дома. На следующий день повторилось то же, и только через четыре дня я встал рано утром и махнул через забор, пока отец еще спал.

На горе дела опять были плохи. Маруся опять слегла, и ей стало еще хуже; лицо ее горело странным румянцем, белокурые волосы раскидались по подушке; она никого не узнавала. Рядом с ней лежала злополучная кукла с розовыми щеками и глупыми блестящими глазами.

Я сообщил Валеку свои опасения, и мы решили, что куклу необходимо унести обратно, тем более что Маруся этого и не заметит. Но мы ошиблись! Как только я вынул куклу из рук лежащей в забытьи девочки, она открыла глаза, посмотрела перед собой мутным взглядом, как будто не видя меня, не сознавая, что с ней происходит, и вдруг заплакала тихо-тихо, но вместе с тем так жалобно, и в исхудалом лице, под покровом бреда, мелькнуло выражение такого глубокого горя, что я тотчас же с испугом положил куклу на прежнее место. Девочка улыбнулась, прижала куклу к се-

бе и успокоилась. Я понял, что хотел лишиться моего маленького друга первой и последней радости ее недолгой жизни. Валек робко посмотрел на меня.

– Как же теперь будет? – спросил он грустно.

Тыбурций, сидя на лавочке с печально понуренною головой, также смотрел на меня вопросительным взглядом. Поэтому я постарался придать себе вид по возможности беспечный и сказал:

– Ничего! Нянька, наверное, уж забыла.

Но старуха не забыла. Когда я на этот раз возвратился домой, у калитки мне опять попался Януш; Соню я застал с заплаканными глазами, а нянька кинула на меня сердитый, подавляющий взгляд и что-то ворчала беззубым, шамкающим ртом.

Отец спросил у меня, куда я ходил, и, выслушав внимательно обычный ответ, ограничился тем, что повторил мне приказ ни под каким видом не отлучаться из дому без его позволения. Приказ был категоричен и очень решителен; послушаться его я не посмел, но не решался также и обратиться к отцу за позво-

лением.

Прошло четыре томительных дня. Я грустно ходил по саду и с тоской смотрел по направлению к горе, ожидая, кроме того, грозы, которая собиралась над моей головой. Что будет, я не знал, но на сердце у меня было тяжело. Меня в жизни никто еще не наказывал; отец не только не трогал меня пальцем, но я от него не слышал никогда ни одного резкого слова. Теперь меня томило тяжелое предчувствие.

Наконец меня позвали к отцу, в его кабинет. Я вошел и робко остановился у притолоки. В окно заглядывало грустное осеннее солнце. Отец некоторое время сидел в своем кресле перед портретом матери и не поворачивался ко мне. Я слышал тревожный стук собственного сердца.

Наконец он повернулся. Я поднял на него глаза и тотчас же их опустил в землю. Лицо отца показалось мне страшным. Прошло около полминуты, и в течение этого времени я чувствовал на себе тяжелый, неподвижный, подавляющий взгляд.

– Ты взял у сестры куклу?

Эти слова упали вдруг на меня так отчетливо и резко, что я вздрогнул.

– Да, – ответил я тихо.

– А знаешь ты, что это подарок матери, которым ты должен бы дорожить, как святыней?.. Ты украл ее?

– Нет, – сказал я, подымая голову.

– Как нет? – вскрикнул вдруг отец, отталкивая кресло. – Ты украл ее и снес!.. Кому ты снес ее?.. Говори!

Он быстро подошел ко мне и положил мне на плечо тяжелую руку. Я с усилием поднял голову и взглянул вверх. Лицо отца было бледно. Складка боли, которая со смерти матери залегла у него между бровями, не разгладилась и теперь, но глаза горели гневом. Я весь съежился. Из этих глаз, глаз отца, глянуло на меня, как мне показалось, безумие или... ненависть.

– Ну, что ж ты?.. Говори! – и рука, державшая мое плечо, сжала его сильнее.

– Н-не скажу, – ответил я тихо.

– Нет, скажешь! – отчеканил отец, и в голосе его зазвучала угроза.

– Не скажу, – прошептал я еще тише.

– Скажешь, скажешь!..

Он повторил это слово сдавленным голо- сом, точно оно вырвалось у него с болью и усилием. Я чувствовал, как дрожала его рука, и, казалось, слышал даже клокодавшее в гру- ди его бешенство. И я все ниже опускал голо- ву, и слезы одна за другой капали из моих глаз на пол, но я все повторял едва слышно:

– Нет, не скажу... никогда, никогда не ска- жу вам... Ни за что!

В эту минуту во мне сказался сын моего от- ца. Он не добился бы от меня иного ответа са- мыми страшными муками. В моей груди, на- встречу его угрозам, подымалось едва сознан- ное оскорбленное чувство покинутого ребен- ка и какая-то жгучая любовь к тем, кто меня пригрел там, в старой часовне.

Отец тяжело перевел дух. Я съежился еще более, горькие слезы жгли мои щеки. Я ждал.

Изобразить чувство, которое я испытывал в то время, очень трудно. Я знал, что он страшно вспыльчив, что в эту минуту в его груди кипит бешенство, что, может быть, че- рез секунду мое тело забьется беспомощно в его сильных и исступленных руках. Что он со

мною сделает? – швырнет... изломает; но мне теперь кажется, что я боялся не этого... Даже в эту страшную минуту я любил этого человека, но вместе с тем инстинктивно чувствовал, что вот сейчас он бешеным насилием разобьет мою любовь вдребезги, что затем, пока я буду жить, в его руках и после, навсегда, навсегда в моем сердце вспыхнет та же пламенная ненависть, которая мелькнула для меня в его мрачных глазах.

Теперь я совсем перестал бояться; в моей груди защекотало что-то вроде задорного, дерзкого вызова... Кажется, я ждал и желал, чтобы катастрофа, наконец, разразилась. Если так... пусть... тем лучше, да, тем лучше... тем лучше...

Отец опять тяжело вздохнул. Я уже не смотрел на него, только слышал этот вздох, – тяжелый, прерывистый, долгий... Справился ли он сам с овладевшим им исступлением, или это чувство не получило исхода благодаря последующему неожиданному обстоятельству, я и до сих пор не знаю. Знаю только, что в эту критическую минуту раздался вдруг за открытым окном резкий голос Тыбурция:

– Эге-ге!.. мой бедный маленький друг...

«Тыбурций пришел!» – промелькнуло у меня в голове, но этот приход не произвел на меня никакого впечатления. Я весь превратился в ожидание, и, даже чувствуя, как дрогнула рука отца, лежавшая на моем плече, я не представлял себе, чтобы появление Тыбурция или какое бы то ни было другое внешнее обстоятельство могло стать между мною и отцом, могло отклонить то, что я считал неизбежным и чего ждал с приливом задорного ответного гнева.

Между тем Тыбурций быстро отпер входную дверь и, остановившись на пороге, в одну секунду оглядел нас обоих своими острыми рысьими глазами. Я до сих пор помню малейшую черту этой сцены. На мгновение в зеленых глазах, в широком некрасивом лице уличного оратора мелькнула холодная и злорадная насмешка, но это было только на мгновение. Затем он покачал головой, и в его голосе зазвучала скорее грусть, чем обычная ирония.

– Эге-ге!.. Я вижу моего молодого друга в очень затруднительном положении...

Отец встретил его мрачным и удивленным взглядом, но Тыбурций выдержал этот взгляд спокойно. Теперь он был серьезен, не кривлялся, и глаза его глядели как-то особенно грустно.

– Пан судья! – заговорил он мягко. – Вы человек справедливый... отпустите ребенка. Малый был в «дурном обществе», но, видит бог, он не сделал дурного дела, и если его сердце лежит к моим оборванным беднягам, то, клянусь богородицей, лучше велите меня повесить, но я не допущу, чтобы мальчик пострадал из-за этого. Вот твоя кукла, малый!..

Он развязал узелок и вынул оттуда куклу. Рука отца, державшая мое плечо, разжалась. В лице виднелось изумление.

– Что это значит? – спросил он наконец.

– Отпустите мальчика, – повторил Тыбурций, и его широкая ладонь любовно погладила мою опущенную голову. – Вы ничего не добьетесь от него угрозами, а между тем я охотно расскажу вам все, что вы желаете знать... Выйдем, пан судья, в другую комнату.

Отец, все время смотревший на Тыбурция удивленными глазами, повиновался. Оба они

вышли, а я остался на месте, подавленный ощущениями, переполнившими мое сердце. В эту минуту я ни в чем не отдавал себе отчета, и если теперь я помню все детали этой сцены, если я помню даже, как за окном возились воробьи, а с речки доносился мерный плеск весел, – то это просто механическое действие памяти. Ничего этого тогда для меня не существовало; был только маленький мальчик, в сердце которого встряхнули два разнородных чувства: гнев и любовь, – так сильно, что это сердце замутилось, как мутятся от толчка в стакане две отстоявшиеся разнородные жидкости. Был такой мальчик, и этот мальчик был я, и мне самому себя было как будто жалко. Да еще были два голоса, смутным, хотя и оживленным говором звучавшие за дверью...

Я все еще стоял на том же месте, как дверь кабинета отворилась, и оба собеседника вошли. Я опять почувствовал на своей голове чью-то руку и вздрогнул. То была рука отца, нежно гладившая мои волосы.

Тыбурций взял меня на руки и посадил в присутствии отца к себе на колени.

– Приходи к нам, – сказал он, – отец тебя отпустит попрощаться с моей девочкой. Она... она умерла.

Голос Тыбурция дрогнул, он странно заморгал глазами, но тотчас же встал, поставил меня на пол, выпрямился и быстро ушел из комнаты.

Я вопросительно поднял глаза на отца. Теперь передо мной стоял другой человек, но в этом именно человеке я нашел что-то родное, чего тщетно искал в нем прежде. Он смотрел на меня обычным своим задумчивым взглядом, но теперь в этом взгляде виднелся оттенок удивления и как будто вопрос. Казалось, буря, которая только что пронеслась над нами обоими, рассеяла тяжелый туман, нависший над душой отца, застилавший его добрый и любящий взгляд... И отец только теперь стал узнавать во мне знакомые черты своего родного сына.

Я доверчиво взял его руку и сказал:

– Я ведь не украл... Соня сама дала мне на время...

– Д-да, – ответил он задумчиво, – я знаю... Я виноват перед тобою, мальчик, и ты постара-

ешься когда-нибудь забыть это, не правда ли?

Я с живостью схватил его руку и стал ее целовать. Я знал, что теперь никогда уже он не будет смотреть на меня теми страшными глазами, какими смотрел за несколько минут перед тем, и долго сдерживаемая любовь хлынула целым потоком в мое сердце.

Теперь я его уже не боялся.

– Ты отпустишь меня теперь на гору? – спросил я, вспомнив вдруг приглашение Тыбурция.

– Д-да... Ступай, ступай, мальчик, попроси... – ласково проговорил он все еще с тем же оттенком недоумения в голосе. – Да, впрочем, постой... пожалуйста, мальчик, погоди немного.

Он ушел в свою спальную и, через минуту выйдя оттуда, сунул мне в руку несколько бумажек.

– Передай это... Тыбурцию... Скажи, что я покорнейше прошу его, – понимаешь?.. покорнейше прошу – взять эти деньги... от тебя... Ты понял?.. Да еще скажи, – добавил отец, как будто колеблясь, – скажи, что если он знает одного тут... Федоровича, то пусть скажет,

что этому Федоровичу лучше уйти из нашего города... Теперь ступай, мальчик, ступай скорее.

Я догнал Тыбурция уже на горе и, запыхавшись, нескладно исполнил поручение отца.

– Покорнейше просит... отец... – и я стал совать ему в руку данные отцом деньги.

Я не глядел ему в лицо. Деньги он взял и мрачно выслушал дальнейшее поручение относительно Федоровича.

В подземелье, в темном углу, на лавочке лежала Маруся. Слово «смерть» не имеет еще полного значения для детского слуха, и горькие слезы только теперь, при виде этого безжизненного тела, сдавили мне горло. Моя маленькая приятельница лежала серьезная и грустная, с печально вытянутым личиком. Закрытые глаза слегка ввалились и еще резче отделились синевой. Ротик немного раскрылся, с выражением детской печали. Маруся как будто отвечала этою гримаской на наши слезы.

«Профессор» стоял у изголовья и безучастно качал головой. Штык-юнкер стучал в углу топором, готовя, с помощью нескольких тем-

ных личностей, гробик из старых досок, сорванных с крыши часовни. Лавровский, трезвый и с выражением полного сознания, убирал Марусю собранными им самим осенними цветами. Валеk спал в углу, вздрагивая сквозь сон всем телом, и по временам нервно всхлипывал.

Заключение

Вскоре после описанных событий члены «дурного общества» рассеялись в разные стороны. Остались только «профессор», по-прежнему, до самой смерти, слонявшийся по улицам города, да Туркевич, которому отец давал по временам кое-какую письменную работу. Я с своей стороны пролил немало крови в битвах с еврейскими мальчишками, терзавшими «профессора» напоминанием о режущих и колющих орудиях.

Штык-юнкер и темные личности отправились куда-то искать счастья. Тыбурций и Валеk совершенно неожиданно исчезли, и никто не мог сказать, куда они направились теперь, как никто не знал, откуда они пришли в наш город.

Старая часовня сильно пострадала от времени. Сначала у нее провалилась крыша, продавлив потолок подземелья. Потом вокруг часовни стали образовываться обвалы, и она стала еще мрачнее; еще громче завывают в ней филины, а огни на могилах темными осенними ночами вспыхивают синим зловещим светом.

Только одна могила, огороженная частоколом, каждую весну зеленела свежим дерном, пестрела цветами.

Мы с Соней, а иногда даже с отцом, посещали эту могилу; мы любили сидеть на ней в тени смутно лепечущей березы, в виду тихо сверкавшего в тумане города. Тут мы с сестрой вместе читали, думали, делились своими первыми молодыми мыслями, первыми планами крылатой и честной юности.

Когда же пришло время и нам оставить тихий родной город, здесь же в последний день мы оба, полные жизни и надежды, произносили над маленькою могилкой свои обеты.

Лес шумит

Полесская легенда

Было и былъем поросло.

I

Лес шумел...

В этом лесу всегда стоял шум – ровный, протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный и смутный, как тихая песня без слов, как неясное воспоминание о прошедшем. В нем всегда стоял шум, потому что это был старый, дремучий бор, которого не касались еще пила и топор лесного барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурою ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой; сквозь полог сосновых игол, которыми была усыпана почва, пробились яркие папоротники, пышно раскинувшиеся причудливою бахромой и стоявшие недвижимо, не шелохнув листом. В сырых уголках тянулись высокими стеблями

зеленые травы; белая кашка склонялась отяжелевшими головками, как будто в тихой истоме. А вверху без конца и перерыва тянул лесной шум, точно смутные вздохи старого бора.

Но теперь эти вздохи становились все глубже, сильнее. Я ехал лесною тропой, и, хотя неба мне не было видно, но по тому, как хмурился лес, я чувствовал, что над ним тихо подымается тяжелая туча. Время было не раннее. Между стволов кое-где пробивался еще косой луч заката, но в чащах расплзались уже мгlistые сумерки. К вечеру собиралась гроза.

На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль об охоте; впору было только добраться перед грозой до ночлега. Мой конь постукивал копытом в обнажившиеся корни, храпел и настораживал уши, прислушиваясь к гулко щелкающему лесному эху. Он сам прибавлял шаг к знакомой лесной сторожке.

Залаяла собака. Между поредевшими стволами мелькают мазаные стены. Синяя струйка дыма вьется под нависшею зеленью; покосившаяся изба с лохматою крышей приюти-

лась под стеной красных стволов; она как будто вращается в землю, между тем как стройные и гордые сосны высоко покачивают над ней своими головами. Посредине поляны, плотно примкнувшись друг к другу, стоит кучка молодых дубов.

Здесь живут обычные спутники моих охотничьих экскурсий – лесники Захар и Максим. Но теперь, по-видимому, обоих нет дома, так как никто не выходит на лай громадной овчарки. Только старый дед, с лысою головой и седыми усами, сидит на завалинке и ковыряет лапоть. Усы у деда болтаются чуть не до пояса, глаза глядят тускло, точно дед все вспоминает что-то и не может припомнить.

– Здравствуй, дед. Есть кто-нибудь дома?

– Эге! – мотает дед головой. – Нет ни Захара, ни Максима, да и Мотря побрела в лес за коровой... Корова куда-то ушла, – пожалуй, медведи... задрали... Вот оно как, нет никого!

– Ну, ничего. Я с тобой посижу, обожду.

– Обожди, обожди, – кивает дед, и, пока я подвязываю лошадь к ветви дуба, он всматривается в меня слабыми и мутными глазами. Плох уж старый дед: глаза не видят и руки

трясутся.

– А кто ж ты такой, хлопче? – спрашивает он, когда я подсаживаюсь на завалинке.

Этот вопрос я слышу в каждое свое посещение.

– Эге, знаю теперь, знаю, – говорит старик, принимаясь опять за лапоть. – Вот старая голова, как решето, ничего не держит. Тех, что давно умерли, помню, – ой, хорошо помню! А новых людей все забываю... Зажился на свете.

– А давно ли ты, дед, живешь в этом лесу?

– Эге, давненько! Француз приходил в царскую землю, я уже был.

– Много же ты на своем веку видел. Чай, есть чего рассказать.

Дед смотрит на меня с удивлением.

– А что же мне видеть, хлопче? Лес видел... Шумит лес, шумит и днем, и ночью, зимою шумит и летом... И я, как та деревина, век прожил в лесу и не заметил... Вот и в могилу пора, а подумаю иной раз, хлопче, то и сам смекнуть не могу: жил я на свете или нет... Эге, вот как! Может, и вовсе не жил...

Край темной тучи выдвинулся из-за густых вершин над лесною поляной; ветви за-

мыкавших поляну сосен закачались под дуновением ветра, и лесной шум пронесся глубоким усилившимся аккордом. Дед поднял голову и прислушался.

– Буря идет, – сказал он через минуту. – Это вот я знаю. Ой-ой, заревет ночью буря, сосны будет ломать, с корнем выворачивать станет!.. Заиграет лесной хозяин... – добавил он тише.

– Почему же ты знаешь, дед?

– Эге, это я знаю! Хорошо знаю, как дерево говорит... Дерево, хлопче, тоже боится... Вот осина, проклятое дерево, все что-то лопочет, – и ветру нет, а она трясется. Сосна на бору в ясный день играет-звенит, а чуть подыметя ветер, она загудит и застонет. Это еще ничего... А ты вот слушай теперь. Я хоть глазами плохо вижу, а ухом слышу: дуб зашумел, дуба уже трогает на поляне... Это к буре.

Действительно, кучка невысоких, коряжистых дубов, стоявших посредине поляны и защищенных высокою стеною бора, помахивала крепкими ветвями, и от них несся глухой шум, легко отличаемый от гулко-го звона сосен.

– Эге! слышишь ли, хлопче? – говорит дед с детски-лукавой улыбкой. – Я уже знаю: тронуло этак вот дуба, значит, хозяин ночью пойдет, ломать будет... Да нет, не сломает! Дуб – дерево крепкое, не под силу даже хозяину... вот как!

– Какой же хозяин, деду? Сам же ты говоришь: буря ломает.

Дед закивал головой с лукавым видом.

– Эге, я ж это знаю!.. Нынче, говорят, такие люди пошли, что уже ничему и не верят. Вот оно как! А я ж его видел, вот как тебя теперь, а то еще лучше, потому что теперь у меня глаза старые, а тогда были молодые. Ой-ой, как еще видели мои глаза смолоду!..

– Как же ты его видел, деду, скажи-ка?

– А вот, все равно, как и теперь: сначала сосна застонет на бору... То звенит, а то стонать начнет: о-ох-хо-о... о-хо-о! – и затихнет, а потом опять, потом опять, да чаще, да жалостнее. Эге, потому что много ее повалит хозяин ночью. А потом дуб заговорит. А к вечеру все больше, а ночью и пойдет крутить: бегаёт по лесу, смеется и плачет, вертится, пляшет и все на дуба налегает, все хочется вырвать... А

я раз осенью и посмотрел в оконце; вот ему это и не по сердцу: подбежал к окну, таррах в него сосновою корягой; чуть мне все лицо не искалечил, чтоб ему было пусто; да я не дурак – отскочил. Эге, хлопче, вот он какой сердитый!..

– А каков же он с виду?

– А с виду он все равно, как старая верба, что стоит на болоте. Очень похож!.. И волосы – как сухая омела, что вырастает на деревьях, и борода тоже, а нос – как здоровенный сук, а морда корявая, точно поросла лишаями. Тьфу, какой некрасивый! Не дай же бог ни одному крещеному на него походить... Ей-богу! Я таки в другой раз на болоте его видел, близко... А хочешь, приходи зимой, так и сам увидишь его. Взойди туда, на гору, – лесом та гора поросла, – и полезай на самое высокое дерево, на верхушку. Вот оттуда иной день и можно его увидеть: идет он белым столбом поверх лесу, так и вертится сам, с горы в долину спускается. Побежит, побежит, а потом в лесу и пропадет. Эге!.. А где пройдет, там след белым снегом устилает... Не веришь старому человеку, так когда-нибудь сам посмотри.

Разболтался старик. Казалось, оживленный и тревожный говор леса и нависшая в воздухе гроза возбуждали старую кровь. Дед кивал головой, усмехался, моргал выцветшими глазами.

Но вдруг будто какая-то тень пробежала по высокому, изборожденному морщинами лбу. Он толкнул меня локтем и сказал с таинственным видом:

– А знаешь, хлопче, что я тебе скажу?.. Он, конечно, лесной хозяин – мерзенная тварюка, это правда. Крещеному человеку обидно увидеть такую некрасивую харю. Ну, только надо о нем правду сказать: он зла не делает... Пошутить с человеком пошутит, а чтоб лихо делать, этого не бывает.

– Да как же, дед, ты сам говорил, что он тебя хотел ударить корягой?

– Эге, хотел-таки! Так то ж он рассердился, зачем я в окно на него смотрю, вот оно что. А если в его дела носа не совать, так и он такому человеку никакой пакости не сделает. Вот он какой, лесовик!.. А знаешь, в лесу от людей страшнее дела бывали... Эге, ей-богу!

Дед наклонил голову и с минуту сидел в

молчании. Потом, когда он посмотрел на меня, в его глазах, сквозь застлавшую их тусклую оболочку, блеснула как будто искорка проснувшейся памяти.

– Вот я тебе расскажу, хлопче, лесную нашу быватьщину. Было тут раз, на самом этом месте, давно... Помню я, ровно сон, а как зашумит лес погромче, то и все вспоминаю... Хочешь, расскажу тебе, а?

– Хочу, хочу, деду! Рассказывай.

– Так и расскажу же, эге! Слушай вот!

II

У меня, знаешь, батько с матерью давно померли, я еще малым хлопчиком был... Покинули они меня на свете одного. Вот оно как со мною было, эге! Вот громада и думает: «Что же нам теперь с этим хлопчиком делать?» Ну и пан тоже себе думает... И пришел на этот раз из лесу лесник Роман, да и говорит громаде: «Дайте мне этого хлопца в сторожку, я его буду кормить... Мне в лесу веселее, и ему хлеб...» Вот он как говорит, а громада ему отвечает: «Бери!» Он и взял. Так я с тех самых пор в лесу и остался.

Тут меня Роман и выкормил. Ото ж человек был какой страшный, не дай господи!.. Росту большого, глаза черные, и душа у него темная из глаз глядела, потому что всю жизнь этот человек в лесу один жил: медведь ему, люди говорили, все равно, что брат, а волк – племянник. Всякого зверя он знал и не боялся, а от людей сторонился и не глядел даже на них... Вот он какой был – ей-богу, правда! Бывало, как он на меня глянет, так у меня по спине будто кошка хвостом поведет... Ну а человек был все-таки добрый, кормил меня, нечего сказать, хорошо: каша, бывало, гречневая всегда у него с салом, а когда утку убьет, так и утка. Что правда, то уже правда, кормил-таки.

Так мы и жили вдвоем. Роман в лес уйдет, а меня в сторожке запрет, чтобы зверюка не съела. А после дали ему жинку Оксану.

Пан ему жинку дал. Призвал его на село, да и говорит: «Вот что, говорит, Ромасю, женись!» Говорит пану Роман сначала: «А на какого же мне биса жинка? Что мне в лесу делать с бабой, когда у меня уж и без того хлопца есть? Не хочу я, говорит, жениться!» Не

привык он с девками возиться, вот что! Ну, да и пан тоже хитрый был... Как вспомню про этого пана, хлопче, то и подумаю себе, что теперь уже таких нету, – нету таких панов больше, – вывелись... Вот хоть бы и тебя взять: тоже, говорят, и ты панского роду... Может, оно и правда, а таки нет в тебе этого... настоящего... Так себе, мизерный хлопчик, больше ничего.

Ну, а тот настоящий был, из прежних... Вот, скажу тебе, такое на свете водится, что сотни людей одного человека боятся, да еще как!.. Посмотри ты, хлопче, на ястреба и на цыпленка: оба из яйца вылупились, да ястреб сейчас вверх норовит, эге! Как крикнет в небе, так сейчас не то что цыплята – и старые петухи забегают... Вот же ястреб – панская птица, а курица – простая мужичка...

Вот, помню, я малым хлопчиком был: vezet мужики из лесу толстые бревна, человек, может быть, тридцать. А пан один на своем конике едет да усы крутит. Конек под ним играет, а он кругом смотрит. Ой-ой! завидят мужики пана, то-то забегают, лошадей в снег сворачивают, сами шапки снимают. После

сколько бьются, из снега бревна вывозят, а пан себе скачет, – вот ему, видишь ты, и одному на дороге тесно! Поведет пан бровью – уже мужики боятся, засмеется – и всем весело, а нахмурится – все запечалится. А чтобы кто пану мог перечить, того, почитай, и не бывало.

Ну а Роман, известно, в лесу вырос, обращения не знал, и пан на него не очень сердился.

– Хочу, – говорит пан, – чтоб ты женился, а зачем, про то я сам знаю. Бери Оксану.

– Не хочу я, – отвечал Роман, – не надо мне ее, хоть бы и Оксану! Пускай на ней черт женится, а не я... Вот как!

Велел пан привести канчуки, растянули Романа, пан его спрашивает:

– Будешь, Роман, жениться?

– Нет, – говорит, – не буду.

– Сыпьте ж ему, – говорит пан, – в мотню, [32] сколько влезет.

Засыпали ему-таки немало; Роман на что уж здоров был, а все ж ему надоело.

– Бросьте уж, – говорит, – будет-таки! Пускай же ее лучше все черти возьмут, чем мне за бабу столько муки принимать. Давайте ее

сюда, буду жениться!

Жил на дворе у пана доезжачий, Опанас Швидкий. Приехал он на ту пору с поля, как Романа к женитьбе заохачивали. Услышал он про Романову беду – бух пану в ноги. Таки упал в ноги, целует...

– Чем, – говорит, – вам, милостивый пан, человека мордовать, лучше я на Оксане женюсь, слова не скажу...

Эге, сам таки захотел жениться на ней. Вот какой человек был, ей-богу!

Вот Роман было обрадовался, повеселел. Встал на ноги, завязал мотню и говорит:

– Вот, – говорит, – хорошо. Только что бы тебе, человече, пораньше немного приехать? Да и пан тоже – всегда вот так!.. Не расспросить же было толком, может, кто охотой женится. Сейчас схватили человека и давай ему сыпать! Разве, говорит, это по-христиански так делать? Тьфу!..

Эге, он порой и пану спуску не давал. Вот какой был Роман! Когда уж осердится, то к нему, бывало, не подступайся хотя бы и пан. Ну а пан был хитрый! У него, видишь, другое на уме было. Велел опять Романа растянуть

на траве.

– Я, – говорит, – тебе, дураку, счастья хочу, а ты нос воротишь. Теперь ты один, как медведь в берлоге, и заехать к тебе не весело... Сыпьте ж ему, дураку, пока не скажет: довольно!.. А ты, Опанас, ступай себе к чертовой матери. Тебя, говорит, к обеду не звали, так сам за стол не садись, а то видишь, какое Роману угощенье? Тебе как бы того же не было.

А Роман уж и не на шутку осердился, эге! Его дуют-таки хорошо, потому что прежние люди, знаешь, умели славно канчука́ми шкуру спускать, а он лежит себе и не говорит: довольно! Долго терпел, а все-таки после плюнул:

– Не дождет ее батько, чтоб из-за бабы христианину вот так сыпали, да еще и не считали. Довольно! Чтоб вам руки поотсыхали, бисова дворня! Научил же вас черт канчуками работать! Да я ж вам не сноп на току, чтоб меня вот так молотили. Коли так, так вот же, и женюсь.

А пан себе смеется.

– Вот, – говорит, – и хорошо! Теперь на свадьбе хоть сидеть тебе и нельзя, зато плясать

будешь больше...

Веселый был пан, ей-богу, веселый, эге? Да только после скверное с ним случилось, не дай бог ни одному крещеному. Право, никому такого не пожелаю. Пожалуй, даже и жиду не следует такого желать. Вот я что думаю...

Вот так-то Романа и женили. Привез он молодую жинку в сторожку; сначала все ругал да попрекал своими канчуками.

– И сама ты, – говорит, – того не стоишь, сколько из-за тебя человека мордовали.

Придет, бывало, из лесу и сейчас станет ее из избы гнать:

– Ступай себе! Не надо мне бабы в сторожке! Чтоб и духу твоего не было! Не люблю, – говорит, – когда у меня баба в избе спит. Дух, – говорит, – нехороший.

Эге!

Ну а после ничего, притерпелся. Оксана, бывало, избу выметет и вымажет чистенько, посуду расставит: блестит все, даже сердцу весело. Роман видит: хорошая баба, – помаленьку и привык. Да и не только привык, хлопче, а стал ее любить, ей-богу, не лгу! Вот какое дело с Романом вышло. Как пригляделся хоро-

шо к бабе, потом и говорит:

– Вот спасибо пану, добру меня научил. Да и я ж таки неумный был человек: сколько канчукóв принял, а оно, как теперь вижу, ничего и дурного нет. Еще даже хорошо. Вот оно что!

Вот прошло сколько-то времени, я и не знаю, сколько. Слегла Оксана на лавку, стала стонать. К вечеру занедужилось, а наутро проснулся я, слышу: кто-то тонким голосом «квилит».[33] Эге! – думаю я себе, – это ж, видно, «диты́на» родилась. А оно вправду так и было.

Недолго пожила диты́на на белом свете. Только и жила, что от утра до вечера. Вечером и пицать перестала... Заплакала Оксана, а Роман и говорит:

– Вот и нету диты́ны, а когда ее нету, то незачем теперь и попа звать. Похороним под сосною.

Вот как говорит Роман, да не то, что говорит, а так как раз и сделал: вырыл могилку и похоронил. Вон там старый пень стоит, громом его спалило... Так то ж и есть та самая сосна, где Роман диты́ну зарыл. Знаешь, хлоп-

че, вот же я тебе скажу: и до сих пор, как солнце сядет и звезда-зорька над лесом станет, летает какая-то пташка, да и кричит. Ох, и жалобно квилит пташина, аж сердцу больно! Так это и есть некрещеная душа, – креста себе просит. Кто знающий человек, по книгам учился, то, говорят, может ей крест дать, и не станет она больше летать... Да мы вот тут в лесу живем, ничего не знаем. Она летает, она просит, а мы только и говорим: «Геть-геть, бедная душа, ничего мы не можем сделать!» Вот заплачет и улетит, а потом и опять прилетает. Эх, хлопче, жалко бедную душу!

Вот выздоровела Оксана, все на могилку ходила. Сядет на могилке и плачет, да так громко, что по всему лесу, бывало, голос ее ходит. Это она так свою диты́ну жалела, а Роман не жалел диты́ну, а Оксану жалел. Придет, бывало, из лесу, станет около Оксаны и говорит:

– Молчи уж, глупая ты баба! Вот было бы о чем плакать! Померла одна диты́на, то, может, другая будет. Да еще, пожалуй, и лучшая, эге! Потому что та еще, может, и не моя была, я же таки и не знаю. Люди говорят... А это бу-

дет моя.

Вот уже Оксана и не любила, когда он так говорил. Перестанет, бывало, плакать и начнет его нехорошими словами «лаять». Ну, Роман на нее не сердился.

– Да и что же ты, – спрашивает, – лаешься! Я же ничего такого не сказал, а только сказал, что не знаю. Потому и не знаю, что прежде ты не моя была и жила не в лесу, а на свете, промежду людей. Так как же мне знать? Теперь вот ты в лесу живешь, вот и хорошо. А таки говорила мне баба Федосья, когда я за нею на село ходил: «Что-то у тебя, Роман, скоро дитына поспела!» А я говорю бабе: «Как же мне таки знать, скоро ли или нескоро?..» Ну а ты все же брось голосить, а то я осержусь, то еще, пожалуй, как бы тебя и не побил.

Вот Оксана полагает, полагает его, да и перестанет. Она его, бывало, и поругает, и по спине ударит, а как станет Роман сам сердиться, она и притихнет, – боялась. Приласкает его, обоймет, поцелует и в очи заглянет... Вот мой Роман и угомонится. Потому... видишь ли, хлопче... Ты, должно быть, не знаешь, а я, старик, хотя сам не женивался, а все-таки видал

на своем веку: молодая баба дюже сладко целуется, какого хочешь сердитого мужика может она обойти. Ой-ой!.. Я же таки знаю, каковы эти бабы. А Оксана была гладкая такая молодлица, что теперь я уже что-то таких больше не вижу. Теперь, хлопче, скажу тебе, и бабы не такие, как прежде. Вот раз в лесу рожок затрубил: тра-та, тара-тара-та-та-та!.. Так и разливается по лесу, весело да звонко. Я тогда малый хлопчик был и не знал, что это такое; вижу птицы с гнезд поднимаются, крылом машут, кричат, а где и заяц пригнул уши на спину и бежит что есть духу. Вот я и думаю: может, это зверь какой невиданный так хорошо кричит. А то же не зверь, а пан себе на конике лесом едет, да в рожок трубит; за паном доезжачие верхом и собак на сворах ведут. А всех доезжачих красивее Опанас Швидкий, за паном в синем казакине гарцует, шапка на Опанасе с золотым верхом, конь под ним играет, рушница за плечами блестит, и бандура на ремне через плечо повешена. Любил пан Опанаса, потому что Опанас хорошо на бандуре играл и песни был мастер петь. Ух, и красивый же был парубок этот Опанас, страх

красивый! Куда было пану с Опанасом равняться: пан уже и лысый был, и нос у пана красный, и глаза, хоть веселые, а все не такие, как у Опанаса. Опанас, бывало, как глянет на меня, – мне, малому хлопчику, и то смеяться хочется, а я же не девка. Говорили, что у Опанаса отцы и деды запорожские козакки были, в Сечи козаковали, а там народ был все гладкий да красивый, да проворный. Да ты сам, хлопче, подумай: на коне ли со «списой»[34] по полю птицей летать или топором дерево рубить, это ж не одно дело...

Вот я выбежал из хаты, смотрю: подъехал пан, остановился, и доезжачие стали; Роман из избы вышел, подержал пану стремя: ступил пан на землю. Роман ему поклонился.

– Здорово! – говорит пан Роману.

– Эге, – отвечает Роман, – да я ж, спасибо, здоров, чего мне делается? А вы как?

Не умел, видишь ты, Роман пану как следует ответить. Дворня вся от его слов засмеялась и пан тоже.

– Ну, и слава богу, что ты здоров, – говорит пан. – А где ж твоя жинка?

– Да где ж жинке быть? Жинка, известно, в

хате...

– Ну мы и в хату войдем, – говорит пан, – а вы, хлопцы, пока на траве ковер постелите да приготовьте нам все, чтобы было чем молодых на первый раз поздравить.

Вот и пошли в хату пан и Опанас, и Роман без шапки за ним, да еще Богдан – старший доезжачий, верный панский слуга. Вот уж и слуг таких теперь тоже на свете нету: старый был человек, с дворней строгий, а перед паном, как та собака. Никого у Богдана на свете не было, кроме пана. Говорят, как померли у Богдана батько с матерью, попросился он у старого пана на тягло и захотел жениться. А старый пан не позволил, приставил его к своему паничу: тут тебе, говорит, и батько, и мать, и жинка. Вот выносил Богдан панича и выходил и на коня выучил садиться, и из ружья стрелять. А вырос панич, сам стал пановать, старый Богдан все за ним следом ходил, как собака. Ох, скажу тебе правду: много того Богдана люди проклинали, много на него людских слез пало... все из-за пана. По одному панскому слову Богдан мог бы, пожалуй, родного отца в клочки разорвать...

А я, малый хлопчик, тоже за ними в избу побежал: известное дело, любопытно. Куда пан повернулся, туда и я за ним.

Гляжу, стоит пан посередь избы, усы гладит, смеется. Роман тут же топчется, шапку в руках мнет, а Опанас плечом об стенку уперся, стоит себе, бедняга, как тот молодой дубок в непогоду. Нахмурился, невесел...

И вот они трое повернулись к Оксане. Один старый Богдан сел в углу на лавке, свесил чуприну, сидит, пока пан чего не прикажет. А Оксана в углу у печки стала, глаза опустила, сама раскраснелась вся, как тот мак середь ячменю. Ох, видно, чуюла небóга, что из-за нее лихо будет. Вот тоже скажу тебе, хлопче: уже если три человека на одну бабу смотрят, то от этого никогда добра не бывает – непременно до чуба дело дойдет, коли не хуже. Я ж это знаю, потому что сам видел.

– Ну, что, Ромасю, – смеется пан, – хорошую ли я тебе жинку высватал?

– А что ж? – Роман отвечает. – Баба как баба, ничего!

Повел тут плечом Опанас, поднял глаза на Оксану и говорит про себя:

– Да, – говорит, – баба! Хоть бы и не такому дурню досталась.

Роман услышал это слово, повернулся к Опанасу и говорит ему:

– А чем бы это я, пан Опанас, вам за дурня показался? Эге, скажите-ка!

– А тем, – говорит Опанас, – что не сумеешь жинку свою уберечь, тем и дурень...

Вот какое слово сказал ему Опанас! Пан даже ногою топнул, Богдан покачал головою, а Роман подумал с минуту, потом поднял голову и посмотрел на пана.

– А что ж мне ее беречь? – говорит Опанасу, а сам все на пана смотрит. – Здесь, кроме зверя, никакого черта и нету, вот разве милостивый пан когда завернет. От кого же мне жинку беречь? Смотри ты, вражий козаче, ты меня не дразни, а то я, пожалуй, и за чуприну схвачу.

Пожалуй-таки и дошло бы у них дело до потасовки, да пан вмешался: топнул ногой, – они и замолчали.

– Тише вы, – говорит, – бисовы дети! Мы же сюда не для драки приехали. Надо молодых поздравлять, а потом, к вечеру, на болото охо-

титься. Айда за мной!

Повернулся пан и пошел из избы; а под деревом доезжачие уж и закуску сготовили. Пошел за паном Богдан, а Опанас остановил Романа в сенях.

– Не сердись ты на меня, братику, – говорит козак. – Послушай, что тебе Опанас скажет: видел ты, как у пана в ногах валялся, сапоги у него целовал, чтоб он Оксану за меня отдал? Ну, бог с тобой, человече... Тебя покрутил, такая, видно, судьба! Так не стерпит же мое сердце, чтоб лютый враг опять и над ней, и над тобой потешался. Гей-гей! Никто того не знает, что у меня на душе... Лучше же я и его, и ее из рушницы вместо постели уложу в сырую землю...

Посмотрел Роман на козака и спрашивает:

– А ты, козаче, часом «с глузду не съехал»?

[35]

Не слышал я, что Опанас на это стал Роману тихо в сенях говорить, только слышал, как Роман его по плечу хлопнул.

– Ох, Опанас, Опанас! Вот какой на свете народ злой да хитрый! А я же ничего того, живучи в лесу, и не знал. Эге, пане, пане, лихо

ты на свою голову затеял!..

– Ну, – говорит ему Опанас, – ступай теперь и не показывай виду, пуще всего перед Богданом. Неумный ты человек, а эта панская собачка хитра. Смотри же: панской горелки много не пей, а если отправит тебя с доезжачими на болото, а сам захочет остаться, веди доезжачих до старого дуба и покажи им объездную дорогу, а сам, скажи, напрямик пойдешь по лесу... Да поскорее сюда возвращайся.

– Добре, – говорит Роман. – Соберусь на охоту, рушницу не дробью заряжу и не «леткой» на птицу, а доброю пулей на медведя.

Вот и они вышли. А уж пан сидит на ковре, велел подать фляжку и чарку, наливает в чарку горелку и подчивает Романа. Эге, хороша была у пана и фляжка и чарка, а горелка еще лучше. Чарочку выпьешь – душа радуется, другую выпьешь – сердце скачет в груди, а если человек непривычный, то с третьей чарки и под лавкой валяется, коли баба на лавку не уложит.

Эге, говорю тебе, хитрый был пан! Хотел Романа напоить своею горелкой допьяна, а еще такой и горелки не бывало, чтобы Рома-

на свалила. Пьет он из панских рук чарку, пьет и другую, и третью выпил, а у самого только глаза, как у волка, загораются, да усом черным поводит. Пан даже осердился.

– Вот же вражий сын, как здорово горелку хлещет, а сам и не моргнет глазом! Другой бы уж давно заплакал, а он, глядите, добрые люди, еще усмехается...

Знал же вражий пан хорошо, что если уж человек от горелки заплакал, то скоро и совсем чуприну на стол свесит. Да на тот раз не на такого напал.

– А с чего ж мне, – Роман ему отвечает, – плакать? Даже, пожалуй, это нехорошо бы было. Приехал ко мне милостивый пан поздравлять, а я бы таки и начал реветь, как баба. Слава богу, не от чего мне еще плакать, пускай лучше мои вороги плачут...

– Значит, – спрашивает пан, – ты доволен?

– Эге! А чем мне быть недовольным?

– А помнишь, как мы тебя канчуками сватали?

– Как-таки не помнить! Ото ж и говорю, что неумный человек был, не знал, что горько, что сладко. Канчук горек, а я его лучше ба-

бы любил. Вот спасибо вам, милостивый пане, что научили меня, дурня, мед есть.

– Ладно, ладно, – пан ему говорит. – Зато и ты мне послужи: вот пойдешь с доезжачими на болото, настреляй побольше птиц, да непременно глухого тетерева достань.

– А когда ж это пан нас на болото посылает? – спрашивает Роман.

– Да вот выпьем еще. Опанас нам песню споет, да и с богом.

Посмотрел Роман на него и говорит пану:

– Вот уж это и трудно: пора не ранняя, до болота далеко, а еще вдобавок и ветер по лесу шумит, к ночи будет буря. Как же теперь такую сторожкую птицу убить?

А уж пан захмелел, да во хмелю был крепко сердитый. Услышал, как дворня промеж себя шептаться стала, говорят, что, мол, «Романова правда, загудет скоро буря», – и осердился. Стукнул чаркой, повел глазами, – все и стихли.

Один Опанас не испугался; вышел он, по панскому слову, с бандурой песни петь, стал бандуру настраивать, сам посмотрел сбоку на пана и говорит ему:

– Опомнись, милостивый пане! Где же это видано, чтобы к ночи, да еще в бурю, людей по темному лесу за птицей гонять?

Вот он какой был смелый! Другие, известное дело, панские «крепаки», боятся, а он – вольный человек, козацкого рода. Привел его небольшим хлопцем старый козак-бандурист с Украины. Там, хлопче, люди что-то на шумели в городе Умани. Вот старому козаку выкололи очи, обрезали уши и пустили его такого по свету. Ходил он, ходил после того по городам и селам и забрел в нашу сторону с поводырем, хлопчиком Опанасом. Старый пан взял его к себе, потому что любил хорошие песни. Вот, старик умер, – Опанас при дворе и вырос. Любил его новый пан, тоже и терпел от него порой такое слово, за которое другому спустили бы три шкуры.

Так и теперь: осердился было сначала, думали, что он козака ударит, а после говорит Опанасу:

– Ой, Опанас, Опанас. Умный ты хлопец, а того, видно, не знаешь, что меж дверей не надо носа совать, чтобы как-нибудь не захлопнули...

Вот он какую загадал загадку! А козак таки сразу и понял. И ответил козак пану песней. Ой, кабы и пан понял козацкую песню, то, может быть, его пани над ним не разливалась слезами.

– Спасибо, пане, за науку, – сказал Опанас, – вот же я тебе за то спою, а ты слушай.

И ударил по струнам бандуры.

Потом поднял голову, посмотрел на небо, как в небе орел ширяет, как ветер темные тучи гоняет. Наставил ухо, послушал, как высокие сосны шумят.

И опять ударил по струнам бандуры.

Эй, хлопче, не довелось тебе слышать, как играл Опанас Швидкий, а теперь уж и не услышишь! Вот же и не хитрая штука бандура, а как она у знающего человека хорошо говорит. Бывало, пробежит по ней рукою, она ему все и скажет: как темный бор в непогоду шумит, и как ветер звенит в пустой степи по бурьяну, и как сухая травинка шепчет на высокой козацкой могиле.

Нет, хлопче, не услышать уже вам настоящую игру! Ездят теперь сюда всякие люди, такие, что не в одном Полесье бывали, но и в

других местах, и по всей Украине: и в Чигирине, и в Полтаве, и в Киеве, и в Черкасах. Говорят, вывелись уж бандуристы, не слышно их уже на ярмарках и на базарах. У меня еще на стене в хате старая бандура висит. Выучил меня играть на ней Опанас, а у меня никто игры не перенял. Когда я умру, – а уж это скоро, – так, пожалуй, и нигде уже на широком свете не слышно будет звона бандуры. Вот оно что!

И запел Опанас тихим голосом песню. Голос был у Опанаса негромкий, да «сумный», [36] – так, бывало, в сердце и льется. А песню, хлопче, козак, видно, сам для пана придумал. Не слышал я ее никогда больше, и когда после, бывало, к Опанасу пристану, чтобы спел, он все не соглашался.

– Для кого, – говорит, – та песня пелась, того уже нету на свете.

В той песне козак пану всю правду сказал, что с паном будет, и пан плачет, даже слезы у пана текут по усам, а все же ни слова, видно, из песни не понял.

*Ох, не помню я эту песню,
помню только немного.*

*Пел козак про пана про Ивана:
Ой, пане, ой, Иване!..
Умный пан много знает...
Знает, что ястреб в небе летает,
ворон побивает...
Ой, пане, ой, Иване!..
А того ж пан не знает,
Как на свете бывает, —
Что у гнезда и ворона ястреба по-
бивает...*

Вот же, хлопче, будто и теперь я эту песню слышу и тех людей вижу: стоит козак с бандурой, пан сидит на ковре, голову свесил и плачет; дворня кругом столпилась, поталкивают один другого локтями; старый Богдан головой качает... А лес, как теперь, шумит, и тихо да сумно звенит бандура, а козак поет, как пани плачет над паном над Иваном:

*Плачет пани, плачет,
А над паном над Иваном черный
ворон кричит.*

Ох, не понял пан песни, вытер слезы и говорит:

– Ну, собирайся, Роман! Хлопцы, садитесь на коней! И ты, Опанас, поезжай с ними, – бу-

дет уж мне твоих песен слушать!.. Хорошая песня, да только никогда того, что в ней поется, на свете не бывает.

А у козака от песни размякло сердце, зату-манились очи.

– Ох, пане, пане, – говорит Опанас, – у нас говорят старые люди: в сказке правда и в песне правда. Только в сказке правда – как железо: долго по свету из рук в руки ходило, заржавело... А в песне правда – как золото, что никогда его ржа не ест... Вот как говорят старые люди!

Махнул пан рукой.

– Ну, может, так в вашей стороне, а у нас не так... Ступай, ступай, Опанас, – надоело мне тебя слушать.

Постоял козак с минуту, а потом вдруг упал перед паном на землю:

– Послушай меня, пане! Садись на коня, поезжай к своей пани: у меня сердце недоброе чует.

Вот уж тут пан осердился, толкнул козака, как собаку, ногой.

– Иди ты от меня прочь! Ты, видно, не козак, а баба! Иди ты от меня, а то как бы с то-

бой не было худо... А вы что стали, хамово племя? Иль я не пан вам больше? Вот я вам такое покажу, чего и ваши батьки от моих батьков не видали!

Встал Опанас на ноги, как темная туча, с Романом переглянулся. А Роман в стороне стоит, на рушницу облокотился как ни в чем не бывало.

Ударил козак бандурой об дерево! – бандура вдребезги разлетелась, только стон пошел от бандуры по лесу.

– А пускай же, – говорит, – черти на том свете учат такого человека, который разумную раду не слушает... Тебе, пане, видно, верного слуги не надо.

Не успел пан ответить, вскочил Опанас в седло и поехал. Доезжачие тоже на коней сели. Роман вскинул рушницу на плечи и пошел себе, только, проходя мимо сторожки, крикнул Оксане:

– Уложи хлопчика, Оксана! Пора ему спать. Да и пану стотовь постелю.

Вот скоро и ушли все в лес вон по той дороге; и пан в хату ушел, только панский конь стоит себе, под деревом привязан. А уж и тем-

неть начало, по лесу шум идет, и дождик на-
крапывает, вот-таки совсем, как теперь... Уло-
жила меня Оксана на сеновале, перекрестила
на ночь... Слышу я, моя Оксана плачет.

Ох, ничего-то я тогда, малый хлопчик, не
понимал, что кругом меня творится! Свернул-
ся на сене, послушал, как буря в лесу песню
заводит, и стал засыпать.

Эге! Вдруг слышу, кто-то около сторожки
ходит... подошел к дереву, панского коня от-
вязал. Захрапел конь, ударил копытом; как
пустится в лес, скоро и топот затих... Потом
слышу, опять кто-то по дороге скачет, уже к
сторожке. Подскакал вплоть, соскочил с седла
на землю и прямо к окну.

– Пане, пане! – кричит голосом старого Бог-
дана. – Ой, пане, отвори скорей! Вражий козак
лихо задумал, видно: твоего коня в лес отпу-
стил.

Не успел старик договорить, кто-то его сза-
ди схватил. Испугался я, слышу – что-то упало...

Отворил пан двери, с рушницей выскочил,
а уж в сенях Роман его захватил, да прямо за
чуб, да об землю... Вот видит пан, что ему ли-

хо, и говорит:

– Ой, отпусти, Ромасю! Так-то ты мое добро помнишь?

А Роман ему отвечает:

– Помню я, вражий пане, твое добро и до меня и до моей жинки. Вот же я тебе теперь за добро заплачу...

А пан говорит опять:

– Заступись, Опанас, мой верный слуга! Я ж тебя любил, как родного сына.

А Опанас ему отвечает:

– Ты своего верного слугу прогнал, как собаку. Любил меня так, как палка любит спину, а теперь так любишь, как спина палку... Я ж тебя просил и молил, – ты не послушался...

Вот стал пан тут и Оксану просить:

– Заступись ты, Оксана, у тебя сердце доброе.

Выбежала Оксана, всплеснула руками:

– Я ж тебя, пане, просила, в ногах валялась: пожалей мою девичью красу, не позорь меня, мужнюю жену. Ты же не пожалел, а теперь сам просишь... Ох, лишенько мне, что же я сделаю?

– Пустите, – кричит опять пан, – за меня вы

все погибнете в Сибири...

– Не печалься за нас, пане, – говорит Опанас, – Роман будет на болоте раньше твоих доезжачих, а я, по твоей милости, один на свете, мне о своей голове думать недолго. Вскину рушницу за плечи и пойду себе в лес... Наберу проворных хлопцев и будем гулять... Из лесу станем выходить ночью на дорогу, а когда в село забредем, то прямо в панские хоромы. Эй, подымай, Ромасю, пана, вынесем его милость на дождик.

Забился тут пан, закричал, а Роман только ворчит про себя, как медведь, а козак насмеяется. Вот и вышли.

А я испугался, кинулся в хату и прямо к Оксане. Сидит моя Оксана на лавке – белая, как стена...

А по лесу уже загудела настоящая буря: кричит бор разными голосами, да ветер воет, а когда и гром полыхнет. Сидим мы с Оксаной на лежанке, и вдруг слышу я, кто-то в лесу застонал. Ох, да так жалобно, что я до сих пор, как вспомню, то на сердце тяжело станет, а ведь уже тому много лет...

– Оксано, говорю, голубонько, а кто ж это

там в лесу стонет?

А она схватила меня на руки и качает.

– Спи, – говорит, – хлопчику, ничего! Это так... лес шумит...

А лес и вправду шумел, ох, и шумел же! Просидели мы еще сколько-то времени, слышу я: ударило по лесу будто из рушницы.

– Оксано, – говорю, – голубонько, а кто ж это из рушницы стреляет?

А она, небога, все меня качает и все говорит:

– Молчи, молчи, хлопчику, то гром божий ударил в лесу.

А сама все плачет и меня крепко к груди прижимает, баюкает: «Лес шумит, лес шумит, хлопчику, лес шумит...»

Вот я лежал у нее на руках и заснул...

А наутро, хлопче, прокинулся, гляжу: солнце светит, Оксана одна в хате одетая спит. Вспомнил я вчерашнее и думаю: это мне такое приснилось.

А оно не приснилось, ой, не приснилось, а было направду. Выбежал я из хаты, побежал в лес, а в лесу пташки щебечут и роса на листьях блестит. Вот добежал до кустов, а там и

пан, и доезжачий лежат себе рядом. Пан спокойный и бледный, а доезжачий седой, как голубь, и строгий, как раз будто живой. А на груди и у пана, и у доезжачего кровь.

.....

.....

– Ну а что же случилось с другими? – спросил я, видя, что дед опустил голову и замолк.

– Эге! Вот же все так и сделалось, как сказал козак Опанас. И сам он долго в лесу жил, ходил с хлопцами по большим дорогам, да по панским усадьбам. Такая козаку судьба на роду была написана: отцы гайдамачили, и ему то же на долю выпало. Не раз он, хлопче, приходил к нам в эту самую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало дома. Придет, бывало, посидит и песню споет, и на бандуре сыграт. А когда и с другими товарищами заходил, – всегда его Оксана и Роман принимали. Эх, правду тебе, хлопче, сказать, таки и не без греха тут было дело. Вот придут скоро из лесу Максим и Захар, посмотри ты на них обоих: я ничего им не говорю, а только кто знал Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на которого похож, хотя они уже тем людям не

сыны, а внуки... Вот же какие дела, хлопче, бывали на моей памяти в этом лесу...

А шумит же лес крепко, – будет буря!

III

Последние слова рассказа старик говорил как-то устало. Очевидно, его возбуждение прошло и теперь сказывалось утомление: язык его заплетался, голова тряслась, глаза слезились.

Вечер спустился уже на землю, в лесу потемнело, бор волновался вокруг сторожки, как расходившееся море; темные вершины колыхались, как гребни волн в грозную непогоду.

Веселый лай собак возвестил приход хозяев. Оба лесника торопливо подошли к избушке, а вслед за ними запыхавшаяся Мотря пригнала затерявшуюся было корову. Наше общество было в сборе.

Через несколько минут мы сидели в хате; в печи весело трещал огонь; Мотря собрала «вечерять».

Хотя я не раз видел прежде Захара и Максима, но теперь я взглянул на них с особен-

ным интересом. Лицо Захара было темно, брови срослись над крутым низким лбом, глаза глядели угрюмо, хотя в лице можно было различить природное добродушие, присущее силе. Максим глядел открыто, как будто ласкающими серыми глазами; по временам он встряхивал своими курчавыми волосами, его смех звучал как-то особенно заразительно.

– А чи не рассказывал вам старик, – спросил Максим, – старую бывальщину про нашего деда?

– Да, рассказывал, – отвечал я.

– Ну, он всегда вот так! Лес зашумит покрепче, ему старое и вспоминается. Теперь всю ночь никак не заснет.

– Совсем мала диты́на, – добавила Мотря, наливая старику щей. Старик как будто не понимал, что речь идет именно о нем. Он совсем опустил, по временам бессмысленно улыбался, кивая головой; только когда снаружи налетал на избушку порыв бушевавшего по лесу ветра, он начинал тревожиться и наставлял ухо, прислушиваясь к чему-то с испуганным видом.

Вскоре в лесной избушке все смолкло.

Тускло светил угасающий каганец,[37] да сверчок звонил свою однообразно-крикливую песню... А в лесу, казалось, шел говор тысячи могучих, хотя и глухих голосов, о чем-то грозно перекликавшихся во мраке. Казалось, какая-то грозная сила ведет там, в темноте, шумное совещание, собираясь со всех сторон ударить на жалкую, затерянную в лесу хибарку. По временам смутный рокот усиливался, рос, приливал, и тогда дверь вздрагивала, точно кто-то, сердито шипя, напирает на нее снаружи, а в трубе ночная вьюга с жалобной угрозой выводила за сердце хватющую ноту. Потом на время порывы бури смолкали, роковая тишина томила робеющее сердце, пока опять подымался гул, как будто старые сосны стоваривались сняться вдруг с своих мест и улететь в неведомое пространство вместе с размахами ночного урагана.

Я забылся на несколько минут смутною дремотой, но, кажется, не надолго. Буря выла в лесу на разные голоса и тоны. Каганец вспыхивал по временам, освещая избушку. Старик сидел на своей лавке и шарил вокруг себя рукой, как будто надеясь найти кого-то

поблизости. Выражение испуга и почти детской беспомощности виднелось на лице бедного деда.

– Оксано, голубонько, – расслышал я его жалобный ропот, – а кто же это там в лесу стонет?

Он тревожно пошарил рукой и прислушался.

– Эге! – говорил он опять, – никто не стонет. То буря в лесу шумит... Больше ничего, лес шумит, шумит...

Прошло еще несколько минут. В маленькие окна то и дело заглядывали синеватые огни молнии, высокие деревья вспыхивали за окном призрачными очертаниями и опять исчезали во тьме среди сердитого ворчания бури. Но вот резкий свет на мгновение затмил бледные вспышки каганца, и по лесу раскатился отрывистый недалекий удар.

Старик опять тревожно заметался на лавке.

– Оксано, голубонько, а кто ж это в лесу стреляет?

– Спи, старик, спи, – послышался с печки спокойный голос Мотри. – Вот всегда так: в

бурю по ночам все Оксану зовет. И забыл, что Оксана уж давно на том свете. Ох-хо!

Мотря зевнула, прошептала молитву, и вскоре опять в избушке настала тишина, прерываемая лишь шумом леса да тревожным бормотанием деда:

– Лес шумит, лес шумит... Оксано, голубонько...

Вскоре ударил тяжелый ливень, покрывая шумом дождевых потоков и порывания ветра, и стоны соснового бора...

1886

Слепой музыкант

ЭТЮД

От автора

К шестому изданию[38]

Чувствую, что пересмотр и дополнения в повести, выдержавшей уже несколько изданий, являются неожиданными и требуют некоторого объяснения. Основной психологический мотив этюда составляет инстинктивное, органическое влечение к свету. Отсюда душевный кризис моего героя и его разрешение. И в устных, и в печатных критических замечаниях мне приходилось встречать возражение, по-видимому, очень основательное: по мнению возражающих, этот мотив отсутствует у слепорожденных, которые никогда не видели света и потому не должны чувствовать лишения в том, чего совсем не знают. Это соображение мне не кажется правильным: мы никогда не летали, как птицы, однако все знают, как долго ощущение полета сопровождает детские и юношеские сны. Дол-

жен, однако, признаться, что этот мотив вошел в мою работу, как априорный, подсказанный лишь воображением. Только уже несколько лет спустя после того, как мой этюд стал выходить в отдельных изданиях, счастливый случай доставил мне во время одной из моих экскурсий возможность прямого наблюдения. Фигуры двух звонарей (слепой и слепорожденный), которые читатель найдет в гл. VI, разница их настроений, сцена с детьми, слова Егора о снах – все это я занес в свою записную книжку прямо с природы, на вышке колокольни Саровского монастыря Тамбовской епархии, где оба слепые звонаря, быть может, и теперь еще водят посетителей на колокольню. С тех пор этот эпизод – по моему мнению, решающий в указанном вопросе – лежал на моей совести при каждом новом издании моего этюда, и только трудность братья снова за старую тему мешала мне ввести его раньше. Теперь он составил самую существенную часть добавлений, вошедших в это издание. Остальное явилось попутно, так как, – раз тронув прежнюю тему, – я уже не мог ограничиться механической вставкой,

и работа воображения, попавшего в прежнюю колею, естественно отразилась и на прилегающих частях повести.

25 февраля 1898 г.

Глава первая

I

Ребенок родился в богатой семье Юго-западного края, в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытии, но, когда в комнате раздался первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с закрытыми глазами в своей постели. Ее губы шептали что-то, и на бледном лице с мягкими, почти детскими еще чертами появилась гримаса нетерпеливого страдания, как у балованного ребенка, испытывающего непривычное горе.

Бабка наклонилась ухом к ее что-то тихо шептавшим губам.

– Отчего... отчего это он? – спрашивала больная едва слышно.

Бабка не поняла вопроса. Ребенок опять закричал. По лицу больной пробежало отраже-

ние острого страдания, и из закрытых глаз скользнула крупная слеза.

– Отчего, отчего? – по-прежнему тихо шептали ее губы.

На этот раз бабка поняла вопрос и спокойно ответила:

– Вы спрашиваете, отчего ребенок плачет? Это всегда так бывает, успокойтесь.

Но мать не могла успокоиться. Она вздрагивала каждый раз при новом крике ребенка и все повторяла с гневным нетерпением:

– Отчего... так... так ужасно?

Бабка не слыхала в крике ребенка ничего особенного и, видя, что мать говорит точно в смутном забытии и, вероятно, просто бредит, оставила ее и занялась ребенком.

Юная мать смолкла, и только по временам какое-то тяжелое страдание, которое не могло прорваться наружу движениями или словами, выдавливалось из ее глаз крупные слезы. Они просачивались сквозь густые ресницы и тихо катились по бледным, как мрамор, щекам. Быть может, сердце матери почуяло, что вместе с новорожденным ребенком явилось на свет темное, неисходное горе, которое на-

висло над колыбелью, чтобы сопровождать новую жизнь до самой могилы.

Может быть, впрочем, это был и действительный бред. Как бы то ни было, ребенок родился слепым.

II

Сначала никто этого не заметил. Мальчик сгядел тем тусклым и неопределенным взглядом, каким глядят до известного возраста все новорожденные дети. Дни уходили за днями, жизнь нового человека считалась уже неделями. Его глаза прояснились, с них сошла мутная поволока, зрачок определился. Но дитя не поворачивало головы за светлым лучом, проникавшим в комнату вместе с веселым щебетаньем птиц и с шелестом зеленых буков, которые покачивались у самых окон в густом деревенском саду. Мать, успевшая оправиться, первая с беспокойством заметила странное выражение детского лица, остававшегося неподвижным и как-то не по-детски серьезным.

Молодая женщина смотрела на людей, как испуганная горлица, и спрашивала:

– Скажите же мне, отчего он такой?

– Какой? – равнодушно переспрашивали посторонние. – Он ничем не отличается от других детей такого возраста.

– Посмотрите, как странно ищет он что-то руками...

– Дитя не может еще координировать движений рук с зрительными впечатлениями, – ответил доктор.

– Отчего же он смотрит все в одном направлении?.. Он... он слеп? – вырвалась вдруг из груди матери страшная догадка, и никто не мог ее успокоить.

Доктор взял ребенка на руки, быстро повернул к свету и заглянул в глаза. Он слегка смутился и, сказав несколько незначащих фраз, уехал, обещая вернуться дня через два.

Мать плакала и билась, как подстреленная птица, прижимая ребенка к своей груди, между тем как глаза мальчика глядели все тем же неподвижным и суровым взглядом.

Доктор, действительно, вернулся дня через два, захватив с собой офтальмоскоп. Он зажег свечку, приближал и удалял ее от детского глаза, заглядывал в него и, наконец, сказал с смущенным видом:

– К сожалению, сударыня, вы не ошиблись... Мальчик, действительно, слеп, и притом безнадежно...

Мать выслушала это известие с спокойной грустью.

– Я знала давно, – сказала она тихо.

III

Семейство, в котором родился слепой мальчик, было немногочисленно. Кроме названных уже лиц, оно состояло еще из отца и «дяди Максима», как звали его все без исключения домочадцы и даже посторонние. Отец был похож на тысячу других деревенских помещиков Юго-западного края: он был добродушен, даже, пожалуй, добр, хорошо смотрел за рабочими и очень любил строить и перестраивать мельницы. Это занятие поглощало почти все его время, и потому голос его раздавался в доме только в известные, определенные часы дня, совпадавшие с обедом, завтраком и другими событиями в том же роде. В этих случаях он всегда произносил неизменную фразу: «Здорова ли ты, моя голубка?» – после чего усаживался за стол и уже почти ничего не говорил, разве изредка сообщал

что-либо о дубовых валах и шестернях. Понятно, что его мирное и незатейливое существование мало отражалось на душевном складе его сына. Зато дядя Максим был совсем в другом роде. Лет за десять до описываемых событий дядя Максим был известен за самого опасного забияку не только в окрестностях его имения, но даже в Киеве «на Контрактах».[39] Все удивлялись, как это в таком почтенном во всех отношениях семействе, каково было семейство пани Попельской, урожденной Яценко, мог выдаться такой ужасный братец. Никто не знал, как следует с ним держаться и чем ему угодить. На любезности панов он отвечал дерзостями, а мужикам спускал своеволие и грубости, на которые самый смиренный из «шляхтичей» непременно бы отвечал оплеухами. Наконец, к великой радости всех благомыслящих людей, дядя Максим за что-то сильно осердился на австрийцев и уехал в Италию: там он примкнул к такому же забияке и еретику – Гарибальди, который, как с ужасом передавали паны помещики, побратался с чертом и в грош не ставит самого Папу. Конечно, таким образом Максим наве-

ки погубил свою беспокойную схизматическую душу, зато «Контракты» проходили с меньшими скандалами, и многие благородные мамы перестали беспокоиться за участь своих сыновей.

Должно быть, австрийцы тоже крепко осердились на дядю Максима. По временам в «Курьерке», исстари любимой газете панов помещиков, упоминалось в реляциях его имя в числе отчаянных гарибальдийских сподвижников, пока однажды из того же «Курьерка» паны не узнали, что Максим упал вместе с лошадьёю на поле сражения. Разъяренные австрийцы, давно уже, очевидно, точившие зубы на заядлого волынца (которым, чуть ли не одним, по мнению его соотечественников, держался еще Гарибальди), изрубили его, как капусту.

– Плохо кончил Максим, – сказали себе паны и приписали это специальному заступничеству св. Петра за своего наместника. Максима считали умершим.

Оказалось, однако, что австрийские сабли не сумели выгнать из Максима его упрямую душу и она осталась, хотя и в сильно попор-

ченном теле. Гарибальдийские забияки вынесли своего достойного товарища из свалки, отдали его куда-то в госпиталь, и вот, через несколько лет, Максим неожиданно явился в дом своей сестры, где и остался.

Теперь ему было уже не до дуэлей. Правую ногу ему совсем отрезали, и потому он ходил на костыле, а левая рука была повреждена и годилась только на то, чтобы кое-как опираться на палку. Да и вообще он стал серьезнее, утомонился, и только по временам его острый язык действовал так же метко, как некогда сабля. Он перестал ездить на «Контракты», редко являлся в общество и большую часть времени проводил в своей библиотеке за чтением каких-то книг, о которых никто ничего не знал, за исключением предположения, что книги совершенно безбожные. Он также писал что-то, но так как его работы никогда не являлись в «Курьерке», то никто не придавал им серьезного значения.

В то время, когда в деревенском домике появилось и стало расти новое существо, в коротко остриженных волосах дяди Максима уже пробивалась серебристая проседь. Плечи

от постоянного упора костылей поднялись, туловище приняло квадратную форму. Странная наружность, угрюмо сдвинутые брови, стук костылей и клубы табачного дыма, которыми он постоянно окружал себя, не выпуская изо рта трубки, – все это пугало посторонних, и только близкие к инвалиду люди знали, что в изрубленном теле бьется горячее и доброе сердце, а в большой квадратной голове, покрытой щетиной густых волос, работает неутомная мысль.

Но даже и близкие люди не знали, над каким вопросом работала эта мысль в то время. Они видели только, что дядя Максим, окруженный синим дымом, просиживает по временам целые часы неподвижно, с отуманенным взглядом и угрюмо сдвинутыми густыми бровями. Между тем изувеченный боец думал о том, что жизнь – борьба и что в ней нет места для инвалидов. Ему приходило в голову, что он навсегда выбыл уже из рядов и теперь напрасно загружает собою фурштат; ему казалось, что он рыцарь, выбитый из седла жизнью и поверженный в прах. Не малодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленно-

му червяку; не малодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования?

Пока дядя Максим с холодным мужеством обсуждал эту жгучую мысль, соображая и сопоставляя доводы за и против, перед его глазами стало мелькать новое существо, которому судьба судила явиться на свет уже инвалидом. Сначала он не обращал внимания на слепого ребенка, но потом странное сходство судьбы мальчика с его собственной заинтересовало дядю Максима.

– Гм... да, – задумчиво сказал он однажды, искоса поглядывая на мальчишку, – этот малый тоже инвалид. Если сложить нас обоих вместе, пожалуй, вышел бы один лядащий человечешко.

С тех пор его взгляд стал останавливаться на ребенке все чаще и чаще.

IV

Ребенок родился слепым. Кто виноват в его несчастье? Никто! Тут не только не было и тени чьей-либо «злой воли», но даже самая причина несчастья скрыта где-то в глубине таинственных и сложных процессов жизни.

А между тем при всяком взгляде на слепого мальчика сердце матери сжималось от острой боли. Конечно, она страдала в этом случае, как мать, отражением сыновнего недуга и мрачным предчувствием тяжелого будущего, которое ожидало ее ребенка; но, кроме этих чувств, в глубине сердца молодой женщины щемило также сознание, что *причина* несчастья лежала в виде грозной *возможности* в тех, кто дал ему жизнь... Этого было достаточно, чтобы маленькое существо с прекрасными, но незрячими глазами стало центром семьи, бессознательным деспотом, с малейшей прихотью которого сообразовалось все в доме.

Неизвестно, что вышло бы со временем из мальчика, предрасположенного к беспредметной озлобленности своим несчастьем и в котором все окружающее стремилось развить эгоизм, если бы странная судьба и австрийские сабли не заставили дядю Максима поселиться в деревне, в семье сестры.

Присутствие в доме слепого мальчика постепенно и нечувствительно дало деятельной мысли изувеченного бойца другое направле-

ние. Он все так же просиживал целые часы, дымя трубкой, но в глазах, вместо глубокой и тупой боли, виднелось теперь вдумчивое выражение заинтересованного наблюдателя. И чем более присматривался дядя Максим, тем чаще хмурились его густые брови, и он все усиленнее пыхтел своею трубкой. Наконец однажды он решился на вмешательство.

– Этот малый, – сказал он, пуская кольцо за кольцом, – будет еще гораздо несчастнее меня. Лучше бы ему не родиться.

Молодая женщина низко опустила голову, и слеза упала на ее работу.

– Жестоко напоминать мне об этом, Макс, – сказала она тихо, – напоминать без цели...

– Я говорю только правду, – ответил Максим. – У меня нет ноги и руки, но есть глаза. У малого нет глаз, со временем не будет ни рук, ни ног, ни воли...

– Отчего же?

– Пойми меня, Анна, – сказал Максим мягче. – Я не стал бы напрасно говорить тебе жестокие вещи. У мальчика тонкая нервная организация. У него пока есть все шансы развить остальные свои способности до такой

степени, чтобы хотя отчасти вознаградить его слепоту. Но для этого нужно упражнение, а упражнение вызывается только необходимостью. Глупая заботливость, устраняющая от него необходимость усилий, убивает в нем все шансы на более полную жизнь.

Мать была умна и потому сумела победить в себе непосредственное побуждение, заставлявшее ее кидаться сломя голову при каждом жалобном крике ребенка. Спустя несколько месяцев после этого разговора мальчик свободно и быстро ползал по комнатам, настораживая слух навстречу всякому звуку и, с какою-то необычною в других детях живостью, ощупывал всякий предмет, попадавший в руки.

V

Мать он скоро научился узнавать по походке, по шелесту платья, по каким-то еще, ему одному доступным, неуловимым для других признакам: сколько бы ни было в комнате людей, как бы они ни передвигались, он всегда направлялся безошибочно в ту сторону, где она сидела. Когда она неожиданно брала его на руки, он все же сразу узнавал, что

сидит у матери. Когда же его брали другие, он быстро начинал ощупывать своими ручонками лицо взявшего его человека и тоже скоро узнавал няньку, дядю Максима, отца. Но если он попадал к человеку незнакомому, тогда движения маленьких рук становились медленнее: мальчик осторожно и внимательно проводил ими по незнакомому лицу, и его черты выражали напряженное внимание; он как будто «вглядывался» кончиками своих пальцев.

По натуре он был очень живым и подвижным ребенком, но месяцы шли за месяцами, и слепота все более налагала свой отпечаток на темперамент мальчика, начинавший определяться. Живость движений понемногу терялась; он стал забиваться в укромные уголки и сидел там по целым часам смирно, с застывшими чертами лица, как будто к чему-то прислушиваясь. Когда в комнате бывало тихо и смена разнообразных звуков не отвлекала его внимания, ребенок, казалось, думал о чем-то с недоумелым и удивленным выражением на красивом и не по-детски серьезном лице.

Дядя Максим угадал: тонкая и богатая нервная организация мальчика брала свое и восприимчивостью к ощущениям осязания и слуха как бы стремилась восстановить до известной степени полноту своих восприятий. Всех удивляла поразительная тонкость его осязания. По временам казалось даже, что он не чужд ощущения цветов; когда ему в руки попадали ярко окрашенные лоскутья, он дольше останавливался на них свои тонкие пальцы, и по лицу его проходило выражение удивительного внимания. Однако со временем стало выясняться все более и более, что развитие восприимчивости идет главным образом в сторону слуха.

Вскоре он изучил в совершенстве комнаты по их звукам: различал походку домашних, скрип стула под инвалидом-дядей, сухое, размеренное шоркание нитки в руках матери, ровное тикание стенных часов. Иногда, ползая вдоль стены, он чутко прислушивался к легкому, не слышному для других шороху и, подняв руку, тянулся ею за бегавшею по обоям мухой. Когда испуганное насекомое снималось с места и улетало, на лице слепого яв-

лялось выражение болезненного недоумения. Он не мог отдать себе отчета в таинственном исчезновении мухи. Но впоследствии и в таких случаях лицо его сохраняло выражение осмысленного внимания; он поворачивал голову в ту сторону, куда улетала муха, — изощренный слух улавливал в воздухе тонкий звон ее крыльев.

Мир, сверкавший, двигавшийся и звучащий вокруг, в маленькую головку слепого проникал главным образом в форме звуков, и в эти формы отливались его представления. На лице застывало особенное внимание к звукам: нижняя челюсть слегка оттягивалась вперед на тонкой и удлинившейся шее. Брови приобретали особенную подвижность, а красивые, но неподвижные глаза придавали лицу слепого какой-то суровый и вместе трогательный отпечаток.

VI

Третья зима его жизни приходила к концу. На дворе уже таял снег, звенели весенние потоки, и вместе с тем здоровье мальчика, который зимой все прихварывал и потому всю ее провел в комнатах, не выходя на воздух,

стало поправляться.

Вынули вторые рамы, и весна ворвалась в комнату с удвоенной силой. В залитые светом окна глядело смеющееся весеннее солнце, качались голые еще ветки буков, вдали чернели нивы, по которым местами лежали белые пятна тающих снегов, местами же пробивалась чуть заметною зеленью молодая трава. Всем дышалось вольнее и лучше, на всех весна отражалась приливом обновленной и бодрой жизненной силы.

Для слепого мальчика она врывалась в комнату только своим торопливым шумом. Он слышал, как бегут потоки весенней воды, точно вдогонку друг за другом, прыгая по камням, прорезаясь в глубину размякшей земли; ветки буков шептались за окнами, сталкиваясь и звеня легкими ударами по стеклам. А торопливая весенняя капель от нависших на крыше сосуллек, прихваченных утренним морозом и теперь разогретых солнцем, стучала тысячью звонких ударов. Эти звуки падали в комнату, подобно ярким и звонким камешкам, быстро отбивавшим переливчатую дробь. По временам сквозь этот

звон и шум окрики журавлей плавно проносились с далекой высоты и постепенно смолкали, точно тихо тая в воздухе.

На лице мальчика это оживление природы сказывалось болезненным недоумением. Он с усилием сдвигал свои брови, вытягивал шею, прислушивался и затем, как будто встревоженный непонятною суетой звуков, вдруг протягивал руки, разыскивая мать, и кидался к ней, крепко прижимаясь к ее груди.

– Что это с ним? – спрашивала мать себя и других. Дядя Максим внимательно вглядывался в лицо мальчика и не мог объяснить его непонятной тревоги.

– Он... не может понять, – догадывалась мать, улавливая на лице сына выражение болезненного недоумения и вопроса.

Действительно, ребенок был встревожен и беспокоен: он то улавливал новые звуки, то удивлялся тому, что прежние, к которым он уже начал привыкать, вдруг смолкали и куда-то терялись.

VII

Хаос весенней неурядицы смолк. Под жаркими лучами солнца работа природы вхо-

дила все больше и больше в свою колею, жизнь как будто напрягалась, ее поступательный ход становился стремительнее, точно безразошедшегося поезда. В лугах зазеленела молодая травка, в воздухе носился запах березовых почек.

Мальчика решили вывести в поле, на берег ближней реки.

Мать вела его за руку. Рядом на своих костылях шел дядя Максим, и все они направлялись к береговому холмику, который достаточно уже высушили солнце и ветер. Он зеленел густой муравой, и с него открывался вид на далекое пространство.

Яркий день ударил по глазам матери и Максима. Солнечные лучи согревали их лица, весенний ветер, как будто взмахивая невидимыми крыльями, сгонял эту теплоту, заменяя ее свежую прохладой. В воздухе носилось что-то опьяняющее до неги, до истомы.

Мать почувствовала, что в ее руке крепко сжалась маленькая ручка ребенка, но опьяняющее веяние весны сделало ее менее чувствительной к этому проявлению детской тревоги. Она вздыхала полною грудью и шла

вперед, не оборачиваясь; если бы она сделала это, то увидела бы странное выражение на лице мальчика. Он поворачивал открытые глаза к солнцу с немым удивлением. Губы его раскрылись; он вдыхал в себя воздух быстрыми глотками, точно рыба, которую вынули из воды; выражение болезненного восторга пробивалось по временам на беспомощно-растерянном личике, пробежало по нем какими-то нервными ударами, освещая его на мгновение, и тотчас же сменялось опять выражением удивления, доходящего до испуга и недомелого вопроса. Только одни глаза глядели все тем же ровным и неподвижным, незрячим взглядом.

Дойдя до холмика, они уселись на нем все трое. Когда мать приподняла мальчика с земли, чтобы посадить его поудобнее, он опять судорожно схватился за ее платье; казалось, он боялся, что упадет куда-то, как будто не чувствуя под собой земли. Но мать и на этот раз не заметила тревожного движения, потому что ее глаза и внимание были прикованы к чудной весенней картине.

Был полдень. Солнце тихо катилось по си-

нему небу. С холма, на котором они сидели, виднелась широко разлившаяся река. Она пронесла уже свои льдины, и только по временам на ее поверхности плыли и таяли кое-где последние из них, выделяясь белыми пятнышками. На поемных лугах стояла вода широкими лиманами; белые облачка, отражаясь в них вместе с опрокинутым лазурным сводом, тихо плыли в глубине и исчезали, как будто и они таяли, подобно льдинам. Временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце. Дальше за рекой чернели разорванные нивы и парили, застилая реюющею, колеблющеюся дымкой дальние лачуги, крытые соломой, и смутно зарисовывавшуюся синюю полосу леса. Земля как будто вздыхала, и что-то подымалось от нее к небу, как клубы жертвенного фимиама.

Природа раскинулась кругом, точно великий храм, приготовленный к празднику. Но для слепого это была только необъятная тьма, которая необычно волновалась вокруг, шевелилась, рокотала и звенела, протягиваясь к нему, прикасаясь к его душе со всех сторон неизведанными еще, необычными впечатлени-

ями, от наплыва которых болезненно билось детское сердце.

С первых же шагов, когда лучи теплого дня ударили ему в лицо, согрели нежную кожу, он инстинктивно поворачивал к солнцу свои незрячие глаза, как будто чувствуя, к какому центру тяготеет все окружающее. Для него не было ни этой прозрачной дали, ни лазурного свода, ни широко раздвинутого горизонта. Он чувствовал только, как что-то материальное, ласкающее и теплое касается его лица нежным, согревающим прикосновением. Потом кто-то прохладный и легкий, хотя и менее легкий, чем тепло солнечных лучей, снимает с его лица эту негу и пробегает по нем ощущением свежей прохлады. В комнатах мальчик привык двигаться свободно, чувствуя вокруг себя пустоту. Здесь же его охватили какие-то странно сменявшиеся волны, то нежно ласкающие, то щекочущие и опьяняющие. Теплые прикосновения солнца быстро обмахивались кем-то, и струя ветра, звеня в уши, охватывая лицо, виски, голову до самого затылка, тянулась вокруг, как будто стараясь подхватить мальчика, увлечь его куда-то в пространство,

которого он не мог видеть, унося сознание, навевая забывчивую истому. Тогда-то рука мальчика крепче сжимала руку матери, а его сердце замирало и, казалось, вот-вот совсем перестанет биться.

Когда его усадили, он как будто несколько успокоился. Теперь, несмотря на странное ощущение, переполнившее все его существо, он все же стал было различать отдельные звуки. Темные ласковые волны неслись по-прежнему неудержимо, и ему казалось, что они проникают внутрь его тела, так как удары его всколыхавшейся крови подымались и опускались вместе с ударами этих волн. Но теперь они приносили с собой то яркую трель жаворонка, то тихий шелест распутившейся березки, то чуть слышные всплески реки. Ласточка свистела легким крылом, описывая невдалеке причудливые круги, звенели мошки, и над всем этим проносился порой протяжный и печальный окрик пахаря на равнине, понукавшего волов над распахиваемой полоской.

Но мальчик не мог схватить этих звуков в их целом, не мог соединить их, расположить

в перспективу. Они как будто падали, проникая в темную головку, один за другим, то тихие, неясные, то громкие, яркие, оглушающие. По временам они толпились, одновременно неприятно смешиваясь в непонятную дисгармонию. А ветер с поля все свистел в уши, и мальчику казалось, что волны бегут быстрее и их рокот застигает все остальные звуки, которые несутся теперь откуда-то с другого мира, точно воспоминание о вчерашнем дне. И по мере того, как звуки тускнели, в грудь мальчика вливалось ощущение какой-то щекочущей истомы. Лицо подергивалось ритмически пробегавшими по нем переживаниями; глаза то закрывались, то открывались опять, брови тревожно двигались, и во всех чертах пробивался вопрос, тяжелое усилие мысли и воображения. Не окрепшее еще и переполненное новыми ощущениями сознание начинало изнемогать; оно еще боролось с нахлынувшими со всех сторон впечатлениями, стремясь устоять среди них, слить их в одно целое и таким образом овладеть ими, победить их. Но задача была не по силам темному мозгу ребенка, которому недо-

ставало для этой работы зрительных представлений.

И звуки летели и падали один за другим, все еще слишком пестрые, слишком звонкие... Охватившие мальчика волны вздымались все напряженнее, налетая из окружающего звеневшего и рокотавшего мрака и уходя в тот же мрак, сменяясь новыми волнами, новыми звуками... быстрее, выше, мучительнее подымали они его, укачивали, баюкали... Еще раз пролетела над этим тускнеющим хаосом длинная и печальная нота человеческого окрика, и затем все сразу смолкло.

Мальчик тихо застонал и откинулся назад на траву. Мать быстро повернулась к нему и тоже вскрикнула: он лежал на траве, бледный, в глубоком обмороке.

VIII

Дядя Максим был очень встревожен этим случаем. С некоторых пор он стал выписывать книги по физиологии, психологии и педагогике и с обычной своей энергией занялся изучением всего, что дает наука по отношению к таинственному росту и развитию детской души.

Эта работа завлекала его все больше и больше, и поэтому мрачные мысли о непригодности к житейской борьбе, о «червяке, пресмыкающемся в пыли», и о «фурштате» давно уже незаметно улетучились из квадратной головы ветерана. На их месте воцарилось в этой голове вдумчивое внимание, по временам даже розовые мечты согревали стареющее сердце. Дядя Максим убеждался все более и более, что природа, отказавшая мальчику в зрении, не обидела его в других отношениях; это было существо, которое отзывалось на доступные ему внешние впечатления с замечательною полнотою и силой. И дяде Максиму казалось, что он призван к тому, чтобы развить присущие мальчику задатки, чтоб усилием своей мысли и своего влияния уравновесить несправедливость слепой судьбы, чтобы вместо себя поставить в ряды бойцов за дело жизни нового рекрута, на которого без его влияния никто не мог бы рассчитывать.

«Кто знает, – думал старый гарибальдиец, – ведь бороться можно не только копьем и саблей. Быть может, несправедливо обиженный

судьбою подымет со временем доступное ему оружие в защиту других, обездоленных жизнью, и тогда я не даром проживу на свете, изувеченный старый солдат...»

Даже свободным мыслителям сороковых и пятидесятих годов не было чуждо суеверное представление о «таинственных предначертаниях» природы. Немудрено поэтому, что, по мере развития ребенка, выказывавшего недюжинные способности, дядя Максим утвердился окончательно в убеждении, что самая слепота есть лишь одно из проявлений этих «таинственных предначертаний». «Обездоленный за обиженных» – вот девиз, который он выставил заранее на боевом знамени своего питомца.

IX

После первой весенней прогулки мальчик пролежал несколько дней в бреду. Он то лежал неподвижно и безмолвно в своей постели, то бормотал что-то и к чему-то прислушивался. И во все это время с его лица не сходило характерное выражение недоумения.

– Право, он глядит так, как будто старается понять что-то и не может, – говорила молодая

мать.

Максим задумывался и кивал головой. Он понял, что странная тревога мальчика и внезапный обморок объяснялись обилием впечатлений, с которыми не могло справиться сознание, и решил допускать к выздоравливавшему мальчику эти впечатления постепенно, так сказать, расчлененными на составные части. В комнате, где лежал больной, окна были плотно закрыты. Потом, по мере выздоровления, их открывали на время, затем его водили по комнатам, выводили на крыльцо, на двор, в сад. И каждый раз, как на лице слепого являлось тревожное выражение, мать объясняла ему поражавшие его звуки.

– Рожок пастуха слышен за лесом, – говорила она. – А это из-за щебетания воробьиной стаи слышен голос малиновки. Аист клекочет на своем колесе.[40] Он прилетел на днях из далеких краев и строит гнездо на старом месте.

И мальчик поворачивал к ней свое лицо, светившееся благодарностью, брал ее руку и кивал головой, продолжая прислушиваться с вдумчивым и осмысленным вниманием.

Х

Он начинал расспрашивать обо всем, что привлекало его внимание, и мать или, еще чаще, дядя Максим рассказывали ему о разных предметах и существах, издававших те или другие звуки. Рассказы матери, более живые и яркие, производили на мальчика большее впечатление, но по временам впечатление это бывало слишком болезненно. Молодая женщина, страдая сама, с растроганным лицом, с глазами, глядевшими с беспомощною жалобой и болью, старалась дать своему ребенку понятие о формах и цветах. Мальчик напрягал внимание, сдвигал брови, на лбу его являлись даже легкие морщинки. Видимо, детская головка работала над непосильною задачей, темное воображение билось, стремясь создать из косвенных данных новое представление, но из этого ничего не выходило. Дядя Максим всегда недовольно хмурился в таких случаях, и, когда на глазах матери являлись слезы, а лицо ребенка бледнело от сосредоточенных усилий, тогда Максим вмешивался в разговор, отстранял сестру и начинал свои рассказы, в которых, по воз-

возможности, прибегал только к пространственным и звуковым представлениям. Лицо слепого становилось спокойнее.

– Ну а какой он? большой? – спрашивал он про аиста, отбивавшего на своем столбе ленивую барабанную дробь.

И при этом мальчик раздвигал руки. Он делал это обыкновенно при подобных вопросах, а дядя Максим указывал ему, когда следовало остановиться. Теперь он совсем раздвинул свои маленькие ручонки, но дядя Максим сказал:

– Нет, он еще гораздо больше. Если бы привести его в комнату и поставить на полу, то голова его была бы выше спинки стула.

– Большой... – задумчиво произнес мальчик. – А малиновка – вот! – и он чуть-чуть развел сложенные вместе ладони.

– Да, малиновка такая... Зато большие птицы никогда не поют так хорошо, как маленькие. Малиновка старается, чтобы всем было приятно ее слушать. А аист – серьезная птица, стоит себе на одной ноге в гнезде, озирается кругом, точно сердитый хозяин на работников, и громко ворчит, не заботясь о том,

что голос у него хриплый и его могут слышать посторонние.

Мальчик смеялся, слушая эти описания, и забывал на время о своих тяжелых попытках понять рассказы матери. Но все же эти рассказы привлекали его сильнее, и он предпочитал обращаться с расспросами к ней, а не к дяде Максиму.

Глава вторая

I

Темная голова ребенка обогащалась новыми представлениями; посредством сильно изоциренного слуха он проникал все дальше в окружающую его природу. Над ним и вокруг него по-прежнему стоял глубокий, непроницаемый мрак; мрак этот навис над его мозгом тяжелою тучей, и хотя он залег над ним со дня рождения, хотя, по-видимому, мальчик должен был свыкнуться с своим несчастьем, однако детская природа по какому-то инстинкту беспрестанно силилась освободиться от темной завесы. Эти, не оставлявшие ребенка ни на минуту бессознательные порывы к незнакомому ему свету отпечатлевались на

его лице все глубже и глубже выражением смутного страдающего усилия.

Тем не менее бывали и для него минуты ясного довольства, ярких детских восторгов, и это случалось тогда, когда доступные для него внешние впечатления доставляли ему новое сильное ощущение, знакомили с новыми явлениями невидимого мира. Великая и могучая природа не оставалась для слепого совершенно закрытою. Так, однажды, когда его свели на высокий утес над рекой, он с особенным выражением прислушивался к тихим всплескам реки далеко под ногами и с замиранием сердца хватался за платье матери, слушая, как катились вниз обрывавшиеся из-под ноги его камни. С тех пор он представлял себе глубину в виде тихого ропота воды у подножья утеса или в виде испуганного шороха падавших вниз камешков.

Даль звучала в его ушах смутно замиравшею песней; когда же по небу гулко перекапывался весенний гром, заполняя собой пространство и с сердитым рокотом теряясь за тучами, слепой мальчик прислушивался к этому рокоту с благоговейным испугом, и

сердце его расширилось, а в голове возникало величавое представление о просторе поднебесных высот.

Таким образом, звуки были для него главным непосредственным выражением внешнего мира; остальные впечатления служили только дополнением к впечатлениям слуха, в которые отливались его представления, как в формы.

По временам, в жаркий полдень, когда вокруг все смолкало, когда затихало людское движение и в природе устанавливалась та особенная тишина, под которой чувствуется только непрерывный, бесшумный бег жизненной силы, на лице слепого мальчика являлось характерное выражение. Казалось, под влиянием внешней тишины из глубины его души подымались какие-то ему одному доступные звуки, к которым он будто прислушивался с напряженным вниманием. Можно было подумать, глядя на него в такие минуты, что зарождающаяся неясная мысль начинает звучать в его сердце, как смутная мелодия песни.

Ему шел уже пятый год. Он был тонок и слаб, но ходил и даже бегал свободно по всему дому. Кто смотрел на него, как он уверенно выступал в комнатах, поворачивая именно там, где надо, и свободно разыскивая нужные ему предметы, тот мог бы подумать, если это был незнакомый человек, что перед ним не слепой, а только странно сосредоточенный ребенок с задумчивыми и глядевшими в неопределенную даль глазами. Но уже по двору он ходил с большим трудом, постукивая перед собой палкой. Если же в руках у него не было палки, то он предпочитал ползать по земле, быстро исследуя руками попадавшиеся на пути предметы.

III

Был тихий летний вечер. Дядя Максим сидел в саду. Отец, по обыкновению, захлопотался где-то в дальнем поле. На дворе и кругом было тихо; селение засыпало, в людской тоже смолк говор работников и прислуги. Мальчика уже с полчаса уложили в постель.

Он лежал в полудремоте. С некоторых пор у него с этим тихим часом стало связываться странное воспоминание. Он, конечно, не ви-

дел, как темнело синее небо, как черные верхушки деревьев качались, рисуясь на звездной лазури, как хмурились лохматые «стрехи» стоявших кругом двора строений, как синяя мгла разливалась по земле вместе с тонким золотом лунного и звездного света. Но вот уже несколько дней он засыпал под каким-то особенным, чарующим впечатлением, в котором на другой день не мог дать себе отчета.

Когда дремота все гуще застилала его сознание, когда смутный шелест букв совсем стихал и он переставал уже различать и дальний лай деревенских собак, и щелканье соловья за рекой, и меланхолическое позвякивание бубенчиков, подвязанных к пасшемуся на лугу жеребенку, – когда все отдельные звуки ступшеывались и терялись, ему начинало казаться, что все они, слившись в одну стройную гармонию, тихо влетают в окно и долго кружатся над его постелью, навевая неопределенные, но удивительно приятные грезы. Наутро он просыпался разнеженный и обращался к матери с живым вопросом:

– Что это было... вчера? Что это такое?..

Мать не знала, в чем дело, и думала, что ребенка волнуют сны. Она сама укладывала его в постель, заботливо крестила и уходила, когда он начинал дремать, не замечая при этом ничего особенного. Но на другой день мальчик опять говорил ей о чем-то приятно тревожившем его с вечера.

– Так хорошо, мам, так хорошо! Что же это такое?

В этот вечер она решилась остаться у постели ребенка подольше, чтобы разъяснить себе странную загадку. Она сидела на стуле, рядом с его кроваткой, машинально перебирая петли вязанья и прислушиваясь к ровному дыханию своего Петруся. Казалось, он совсем уже заснул, как вдруг в темноте послышался его тихий голос:

– Мама, ты здесь?

– Да, да, мой мальчик...

– Уйди, пожалуйста, он не боится тебя и до сих пор его нет. Я уже совсем было заснул, а этого все нет...

Удивленная мать с каким-то странным чувством слушала этот полусонный, жалобный шепот... Ребенок говорил о своих сонных

грезам с такою уверенностью, как будто это что-то реальное. Тем не менее мать встала, наклонилась к мальчику, чтобы поцеловать его, и тихо вышла, решившись незаметно подойти к открытому окну со стороны сада.

Не успела она сделать своего обхода, как загадка разъяснилась. Она услышала вдруг тихие, переливчатые тоны свирели, которые неслись из конюшни, смешиваясь с шорохом южного вечера. Она сразу поняла, что именно эти нехитрые переливы простой мелодии, совпадавшие с фантастическим часом дремоты, так приятно настраивали воспоминания мальчика.

Она сама остановилась, постояла с минуту, прислушиваясь к задушевым напевам мало-русской песни, и, совершенно успокоенная, ушла в темную аллею сада к дяде Максиму.

«Хорошо играет Иохим, – подумала она. – Странно, сколько тонкого чувства в этом грубоватом на вид „хлопе“».

IV

А Иохим действительно играл хорошо. Ему нипочем была даже и хитрая скрипка, и было время, когда в корчме, по воскресеньям,

никто лучше не мог сыграть «казака» или веселого польского «краковяка». Когда, бывало, он, усевшись на лавке в углу, крепко притиснув скрипку бритым подбородком и ухарски заломив высокую смушковую шапку на затылок, ударял кривым смычком по упругим струнам, тогда редко кто в корчме мог усидеть на месте. Даже старый одноглазый еврей, аккомпанировавший Иохиму на контрабасе, одушевлялся до последней степени. Его неуклюжий «струмент», казалось, надрывается от усилий, чтобы поспеть своими тяжелыми басовыми нотами за легкими, певучими и прыгающими тонами Иохимовой скрипки, а сам старый Янкель, высоко подергивая плечами, вертел лысой головой в ермолке и весь подпрыгивал в такт шаловливой и бойкой мелодии. Что же говорить о крещеном народе, у которого ноги устроены исстари таким образом, что при первых звуках веселого плясового напева сами начинают подгибаться и притопывать.

Но с тех пор как Иохиму полюбилась Марья, дворовая девка соседнего пана, он что-то не залюбил веселую скрипку. Правда, что

скрипка не помогла ему победить сердце вострой девки и Марья предпочла безусую немецкую физиономию барского камердинера усатой «пыке»[41] хохла-музыканта. С тех пор его скрипки не слышали более в корчме и на вечерницах. Он повесил ее на колышке в конюшне и не обращал внимания на то, что от сырости и его нерадения на любимом прежде инструменте то и дело одна за другой лопались струны. А они лопались с таким громким и жалобным предсмертным звоном, что даже лошади сочувственно ржали и удивленно поворачивали головы к ожесточившемуся хозяину.

На место скрипки Иохим купил у прохожего карпатского горца деревянную дудку. Он, по-видимому, находил, что ее тихие, задушевные переливы больше соответствуют его горькой судьбе, лучше выразят печаль его отвергнутого сердца. Однако горская дудка обманула его ожидания. Он перебрал их до десятка, пробовал на все лады, обрезал, мочил в воде и сушил на солнце, подвешивал на тонкой бечевочке под крышей, чтобы ее обдувало ветром, но ничто не помогало: горская дуд-

ка не слушалась хохлацкого сердца. Она свистела там, где нужно было петь, взвизгивала тогда, когда он ждал от нее томного дрожания, и вообще никак не поддавалась его настроению. Наконец он осердился на всех бродячих горцев, убедившись окончательно, что ни один из них не в состоянии сделать хорошую дудку, и затем решился сделать ее своими руками. В течение нескольких дней он бродил с насупленными бровями по полям и болотам, подходил к каждому кусту ивы, перебирал ее ветки, срезал некоторые из них, но, по-видимому, все не находил того, что ему было нужно. Его брови были по-прежнему угрюмо сдвинуты, и он шел дальше, продолжая розыски. Наконец он попал на одно место, над лениво струившеюся речкой. Вода чуть-чуть шевелила в этой заводи белые головки кувшинок, ветер не долетал сюда из-за густо разросшихся ив, которые тихо и задумчиво склонились к темной, спокойной глубине. Иохим, раздвинув кусты, подошел к речке, постоял с минуту и как-то вдруг убедился, что именно здесь он найдет то, что ему нужно. Морщины на его лбу разгладились. Он вынул

из-за голенища привязанный на ремешке складной ножик и, окинув внимательным взглядом задумчиво шептавшиеся кусты ивняка, решительно подошел к тонкому, прямому стволу, качавшемуся над размытою кручей. Он зачем-то щелкнул по нему пальцем, посмотрел с удовольствием, как он упруго закачался в воздухе, прислушался к шепоту его листьев и мотнул головой.

– Ото ж воно самэсенькое, – пробормотал Иохим с удовольствием и выбросил в речку все срезанные ранее прутья.

Дудка вышла на славу. Высушив иву, он выжег ей сердце раскаленной проволокой, прожег шесть круглых отверстий, прорезал наискось седьмое и плотно заткнул один конец деревянной затычкой, оставив в ней косяую узенькую щелку. Затем она целую неделю висела на бечевке, причем ее грело солнцем и обдавало звонким ветром. После этого он старательно выстругал ее ножом, почистил стеклом и крепко обтер куском грубого сукна. Верхушка у нее была круглая, от середины шли ровные, точно отполированные грани, по которым он выжег с помощью изо-

гнутых кусочков железа разные хитрые узоры. Попробовав ее несколькими быстрыми переливами гаммы, он взволнованно мотнул головой, крикнул и торопливо спрятал в укромное местечко около своей постели. Он не хотел делать первого музыкального опыта среди дневной суеты. Зато в тот же вечер из конюшни полились нежные, задумчивые, переливчатые и дрожащие трели. Иохим был совершенно доволен своей дудкой. Казалось, она была частью его самого; звуки, которые она издавала, лились будто из собственной его согретой и разнеженной груди, и каждый изгиб его чувства, каждый оттенок его скорби тотчас же дрожал в чудесной дудке, тихо срывался с нее и звучно несся вслед за другими, среди чутко слушавшего вечера.

V

Теперь Иохим был влюблен в свою дудку и праздновал с ней свой медовый месяц. Днем он аккуратно справлял обязанности конюха, водил лошадей на водопой, запрягал их, выезжал с «паней» или с Максимом. По временам, когда он заглядывал в сторону соседнего села, где жила жестокая Марья, тоска

начинала сосать его сердце. Но с наступлением вечера он забывал обо всем мире, и даже образ чернобровой девушки застилался будто туманом. Этот образ терял свою жгучую определенность, рисовался перед ним в каком-то смутном фоне и лишь настолько, чтобы придавать задумчиво-грустный характер напевам чудесной дудки.

В таком музыкальном экстазе, весь изливаясь в дрожащих мелодиях, лежал Иохим в конюшне и в тот вечер. Музыкант успел совершенно забыть не только жестокую красавицу, но даже потерял из вида собственное существование, как вдруг он вздрогнул и приподнялся на своей постели. В самом патетическом месте он почувствовал, как чья-то маленькая рука быстро пробежала легкими пальцами по его лицу, скользнула по рукам и затем стала как-то торопливо ощупывать дудку. Вместе с тем он услышал возле себя чье-то быстрое, взволнованное, короткое дыхание.

– Цур тобі, пек тобі! – произнес он обычное заклинание и тут же прибавил вопрос: – Чертове чи боже? – желая узнать, не имеет ли он дела с нечистою силой.

Но тотчас же скользнувший в открытые ворота конюшни луч месяца показал ему, что он ошибся. У его койки стоял слепой панич и жадно тянулся к нему своими ручонками.

Через час мать, пожелавшая взглянуть на спящего Петруся, не нашла его в постели. Она испугалась сначала, но вскоре материнская сметка подсказала ей, где нужно искать пропавшего мальчика. Иохим очень сконфузился, когда, остановившись, чтобы сделать передышку, он неожиданно увидел в дверях конюшни «милостивую пани». Она, по-видимому, уже несколько минут стояла на этом месте, слушая его игру и глядя на своего мальчика, который сидел на койке, укутанный в полушубок Иохима, и все еще жадно прислушивался к оборванной песне.

VI

С тех пор каждый вечер мальчик являлся к Иохиму в конюшню. Ему не приходило и в голову просить Иохима сыграть что-нибудь днем. Казалось, дневная суэта и движение исключали в его представлении возможность этих тихих мелодий. Но как только на землю опускался вечер, Петрусь испытывал лихора-

дочное нетерпение. Вечерний чай и ужин служили для него лишь указанием, что желанная минута близка, и мать, которой как-то инстинктивно не нравились эти музыкальные сеансы, все же не могла запретить своему любимцу бежать к дударю и просиживать у него в конюшне часа два перед сном. Эти часы стали теперь для мальчика самым счастливым временем, и мать с жгучей ревностью видела, что вечерние впечатления владеют ребенком даже в течение следующего дня, что даже на ее ласки он не отвечает с прежнею безраздельностью, что, сидя у нее на руках и обнимая ее, он с задумчивым видом вспоминает вчерашнюю песню Иохима.

Тогда она вспомнила, что несколько лет назад, обучаясь в киевском пансионе пани Радецкой, она, между прочими «приятными искусствами», изучала также и музыку. Правда, само по себе это воспоминание было не особенно сладких, потому что связывалось с представлением об учительнице, старой немецкой девице Клапс, очень тощей, очень прозаичной и, главное, очень сердитой. Эта чрезвычайно желчная дева, очень искусно

«выламывавшая» пальцы своих учениц, чтобы придать им необходимую гибкость, вместе с тем с замечательным успехом убивала в своих питомцах всякие признаки чувства музыкальной поэзии. Это пугливое чувство не могло выносить уже одного присутствия девицы Клапс, не говоря об ее педагогических приемах. Поэтому, выйдя из пансиона и даже замужем, Анна Михайловна и не подумала о возобновлении своих музыкальных упражнений. Но теперь, слушая хохла-дударя, она чувствовала, что вместе с ревностью к нему в ее душе постепенно пробуждается ощущение живой мелодии, а образ немецкой девицы тускнеет. В результате этого процесса явилась просьба пани Попельской к мужу выписать из города пианино.

– Как хочешь, моя голубка, – ответил образцовый супруг. – Ты, кажется, не особенно любила музыку.

В тот же день послано было письмо в город, но пока инструмент был куплен и привезен из города в деревню, должно было пройти не менее двух-трех недель.

А между тем из конюшни каждый вечер

звучали мелодические призывы, и мальчик кидался туда, даже не спрашивая уже позволения матери.

Специфический запах конюшни смешивался с ароматом сухой травы и острым запахом сыромятных ремней. Лошади тихо жевали, шурша добываемыми из-за решетки ключьями сена; когда дударь останавливался для передышки, в конюшню явственно доносился шепот зеленых буков из сада. Петрик сидел, как очарованный, и слушал.

Он никогда не прерывал музыканта, и только когда тот сам останавливался и проходило две-три минуты в молчании, немое очарование сменялось в мальчике какою-то странною жадностью. Он тянулся за дудкой, брал ее дрожащими руками и прикладывал к губам. Так как при этом в груди мальчика захватывало дыхание, то первые звуки выходили у него какие-то дрожащие и тихие. Но потом он понемногу стал овладевать немудреным инструментом. Иохим располагал его пальцы по отверстиям, и хотя маленькая ручонка едва могла захватить эти отверстия, но все же он скоро свыкся с звуками гаммы. При

этом каждая нота имела для него как бы свою особенную физиономию, свой индивидуальный характер; он знал уже, в какой отверстии живет каждый из этих тонов, откуда его нужно выпустить, и порой, когда Иохим тихо перебирал пальцами какой-нибудь несложный напев, пальцы мальчика тоже начинали шевелиться. Он с полной ясностью представлял себе последовательные тоны расположенными по их обычным местам.

VII

Наконец, ровно через три недели, из города привезли пианино. Петя стоял на дворе и внимательно слушал, как суетившиеся работники готовились нести в комнату привозную «музыку». Она была, очевидно, очень тяжелая, так как, когда ее стали подымать, телега трещала, а люди кряхтели и глубоко дышали. Вот они двинулись размеренными, тяжелыми шагами, и при каждом таком шаге над их головами что-то странно гудело, ворчало и позванивало. Когда странную музыку ставили на пол в гостиной, она опять отозвалась глухим гулом, точно угрожая кому-то в сильном гневе.

Все это наводило на мальчика чувство, близкое к испугу, и не располагало в пользу нового неодушевленного, но вместе сердитого гостя. Он ушел в сад и не слышал, как установили инструмент на ножках, как приезжий из города настройщик заводил его ключом, пробовал клавиши и настраивал проводочные струны. Только когда все было кончено, мать велела позвать в комнату Петю.

Теперь, вооружившись венским инструментом лучшего мастера, Анна Михайловна заранее торжествовала победу над нехитрою деревенскою дудкой. Она была уверена, что ее Петя забудет теперь конюшню и дударя и что все свои радости будет получать от нее. Она взглянула смеющимися глазами на робко вошедшего вместе с Максимом мальчика и на Иохима, который просил позволения послушать заморскую музыку и теперь стоял у двери, застенчиво потупив глаза и свесив чуприну. Когда дядя Максим и Петя уселись на кушетку, она вдруг ударила по клавишам пианино.

Она играла пьесу, которую в пансионе пани Радецкой и под руководством девицы

Клапс изучила в совершенстве. Это было что-то особенно шумное, но довольно хитрое, требовавшее значительной гибкости пальцев; на публичном экзамене Анна Михайловна стяжала этой пьесой обильные похвалы и себе, и особенно своей учительнице. Никто не мог сказать этого наверняка, но многие догадывались, что молчаливый пан Попельский пленился панной Яценко именно в ту короткую четверть часа, когда она исполняла трудную пьесу. Теперь молодая женщина играла ее с сознательным расчетом на другую победу: она желала сильнее привлечь к себе маленькое сердце своего сына, увлеченного хохлацкою дудкой.

Однако на этот раз ее ожидания были обмануты: венскому инструменту оказалось не по силам бороться с куском украинской вербы. Правда, у венского пианино были могучие средства: дорогое дерево, превосходные струны, отличная работа венского мастера, богатство обширного регистра. Зато и у украинской дудки нашлись союзники, так как она была у себя дома, среди родственной украинской природы.

Прежде чем Иохим срезал ее своим ножом и выжег ей сердце раскаленным железом, она качалась здесь, над знакомою мальчику родною речкой, ее ласкало украинское солнце, которое согревало и его, и тот же обдавал ее украинский ветер, пока зоркий глаз украинца-дударя подметил ее над размытою кручей. И теперь трудно было иностранному пришельцу бороться с простою местною дудкой, потому что она явилась слепому мальчику в тихий час дремоты, среди таинственного вечернего шороха, под шелест засыпавших буков, в сопровождении всей родственной украинской природы.

Да и пани Попельской далеко было до Иохима. Правда, ее тонкие пальцы были и быстрее, и гибче; мелодия, которую она играла, сложнее и богаче, и много трудов положила девица Клапс, чтобы выучить свою ученицу владеть трудным инструментом. Зато у Иохима было непосредственное музыкальное чувство, он любил и грустил и с любовью своей, и с тоской обращался к родной природе. Его учила несложным напевам эта природа, шум ее леса, тихий шепот степной травы, за-

думчивая, родная, старинная песня, которую он слышал еще над своею детскою колыбелью. Да, трудно оказалось венскому инструменту победить хохлацкую дудку. Не прошло и одной минуты, как дядя Максим вдруг резко застучал об пол своим костылем. Когда Анна Михайловна повернулась в ту сторону, она увидела на побледневшем лице Петрика то самое выражение, с каким в памятный для нее день первой весенней прогулки мальчик лежал на траве.

Иохим участливо посмотрел на мальчика, потом кинул пренебрежительный взгляд на немецкую музыку и удалился, стучая по полу гостиной своими неуклюжими «чоботьями».

VIII

Много слез стоила бедной матери эта неудача, – слез и стыда. Ей, «милостивой пани» Попельской, слышавшей гром рукоплесканий «избранной публики», сознавать себя так жестоко пораженной, и кем же? – простым конюхом Иохимом с его глупою свистелкой! Когда она вспоминала исполненный пренебрежения взгляд хохла после ее неудачного концерта, краска гнева заливала ее ли-

цо, и она искренно ненавидела «противного хлопа».

И, однако, каждый вечер, когда ее мальчик убегал в конюшню, она открывала окно, облокачивалась на него и жадно прислушивалась. Сначала слушала она с чувством гневного пренебрежения, стараясь лишь уловить смешные стороны в этом «глупом чирикании»; но мало-помалу – она и сама не отдавала себе отчета, как это могло случиться, – глупое чириканье стало овладевать ее вниманием, и она уже с жадностью ловила задумчиво-грустные напевы. Спohватившись, она задала себе вопрос, в чем же их привлекательность, их чарующая тайна, и понемногу эти синие вечера, неопределенные вечерние тени и удивительная гармония песни с природой разрешили ей этот вопрос.

«Да, – думала она про себя, побежденная и завоеванная в свою очередь, – тут есть какое-то совсем особенное, истинное чувство... чарующая поэзия, которую не выучишь по нотам».

И это было правда. Тайна этой поэзии состояла в удивительной связи между давно

умершим прошлым и вечно живущей, и вечно говорящею человеческому сердцу природой, свидетельницей этого прошлого. А он, грубый мужик в смазных сапогах и с мозолистыми руками, носил в себе эту гармонию, это живое чувство природы.

И она сознавала, что гордая «пани» смиряется в ней перед конюхом-хлопом. Она забывала его грубую одежду и запах дегтя, и сквозь тихие переливы песни вспоминалось ей добродушное лицо, с мягким выражением серых глаз и застенчиво-юмористической улыбкой из-под длинных усов. По временам краска гнева опять прилиwała к лицу и вискам молодой женщины: она чувствовала, что в борьбе из-за внимания ее ребенка она стала с этим мужиком на одну арену, на равной ноге, и он, «хлоп», победил.

А деревья в саду шептались у нее над головой, ночь разгоралась огнями в синем небе и разливалась по земле синею тьмой, и, вместе с тем, в душу молодой женщины лилась горячая грусть от Иохимовых песен. Она все больше смирялась и все больше училась постигать нехитрую тайну непосредственной и чи-

стой, безыскусственной поэзии.

IX

Да, у мужика Иохима истинное, живое чувство! А у нее? Неужели у нее нет ни капли этого чувства? Отчего же так жарко в груди и так тревожно бьется в ней сердце и слезы поневоле подступают к глазам?

Разве это не чувство, не жгучее чувство любви к ее обездоленному, слепому ребенку, который убегает от нее к Иохиму и которому она не умеет доставить такого же живого наслаждения?

Ей вспомнилось выражение боли, вызванное ее игрой на лице мальчика, и жгучие слезы лились у нее из глаз, и по временам она с трудом сдерживала подступавшие к горлу и готовые вырваться рыдания.

Бедная мать! Слепота ее ребенка стала и ее вечным, неизлечимым недугом. Он казался и в болезненно преувеличенной нежности, и в этом всю ее поглотившем чувстве, связавшем тысячью невидимых струн ее изболевшее сердце с каждым проявлением детского страдания. По этой причине то, что в другой вызвало бы только досаду, — это странное со-

перничество с хохлом-дударем, – стало для нее источником сильнейших, преувеличенно-жгучих страданий.

Так шло время, не принося ей облегчения, но зато и не без пользы: она начала сознавать в себе приливы того же живого ощущения мелодии и поэзии, которое так очаровало ее в игре хохла. Тогда в ней ожила и надежда. Под влиянием внезапных приливов самоуверенности она несколько раз подходила к своему инструменту и открывала крышку с намерением заглушить певучими ударами клавишей тихую дудку. Но каждый раз чувство нерешимости и стыдливого страха удерживало ее от этих попыток. Ей вспоминалось лицо ее страдающего мальчика и пренебрежительный взгляд хохла, и щеки пылали в темноте от стыда, а рука только пробегала в воздухе над клавиатурой с боязливою жадностью...

Тем не менее, изо дня в день какое-то внутреннее сознание своей силы в ней все возрастало, и, выбирая время, когда мальчик играл перед вечером в дальней аллее или уходил гулять, она садилась за пианино. Первыми опытами она осталась не особенно довольна; ру-

ки не повиновались ее внутреннему пониманию, звуки инструмента казались сначала чуждыми овладевшему ею настроению. Но постепенно это настроение переливалось в них с большею полнотою и легкостью; уроки хохла не прошли даром, а горячая любовь матери и чуткое понимание того, что именно захватывало так сильно сердце ребенка, дали ей возможность так быстро усвоить эти уроки. Теперь из-под рук выходили уже не трескучие мудреные «пьесы», а тихая песня, грустная украинская думка звенела и плакала в темных комнатах, размягчая материнское сердце.

Наконец она приобрела достаточно смелости, чтобы выступить в открытую борьбу, и вот, по вечерам, между барским домом и Иохимовой конюшней началось странное состязание. Из затененного сарая с нависшею соломенною стрехой тихо вылетали переличатые трели дудки, а навстречу им из открытых окон усадьбы, сверкавшей сквозь листву буков отражением лунного света, неслись певучие, полные аккорды фортепиано.

Сначала ни мальчик, ни Иохим не хотели

обращать внимания на «хитрую» музыку усадьбы, к которой они питали предубеждение. Мальчик даже хмурил брови и нетерпеливо понукал Иохима, когда тот останавливался.

– Э! играй же, играй!

Но не прошло и трех дней, как эти остановки стали все чаще и чаще. Иохим то и дело откладывал дудку и начинал прислушиваться с возрастающим интересом, а во время этих пауз и мальчик тоже заслушивался и забывал понукать приятеля. Наконец Иохим произнес с задумчивым видом:

– Ото ж як гарно... Бач, яка воно штука...

И затем, с тем же задумчиво-рассеянным видом прислушивающегося человека, он взял мальчика на руки и пошел с ним через сад к открытому окну гостиной.

Он думал, что «милостивая пани» играет для собственного своего удовольствия и не обращает на них внимания. Но Анна Михайловна слышала в промежутках, как смолкла ее соперница-дудка, видела свою победу, и ее сердце билось от радости.

Вместе с тем ее гневное чувство к Иохиму

улеглось окончательно. Она была счастлива и сознавала, что обязана этим счастьем ему: он научил ее, как опять привлечь к себе ребенка, и если теперь ее мальчик получит от нее целые сокровища новых впечатлений, то за это оба они должны быть благодарны ему, мужику-дударю, их общему учителю.

Х

Лед был сломан. Мальчик на следующий день с робким любопытством вошел в гостиную, в которой не бывал с тех пор, как в ней поселился странный городской гость, показавшийся ему таким сердито-крикливым. Теперь вчерашние песни этого гостя подкупили слух мальчика и изменили его отношение к инструменту. С последними следами прежней робости он подошел к тому месту, где стояло пианино, остановился на некотором расстоянии и прислушался. В гостиной никого не было. Мать сидела с работой в другой комнате на диване и, притаив дыхание, смотрела на него, любуясь каждым его движением, каждою сменой выражения на нервном лице ребенка.

Протянув издали руки, он коснулся поли-

рованной поверхности инструмента и тотчас же робко отодвинулся. Повторив раза два этот опыт, он подошел поближе и стал внимательно исследовать инструмент, наклоняясь до земли, чтобы ощупать ножки, обходя кругом по свободным сторонам. Наконец его рука попала на гладкие клавиши.

Тихий звук струны неуверенно дрогнул в воздухе. Мальчик долго прислушивался к исчезнувшим уже для слуха матери вибрациям и затем, с выражением полного внимания, тронул другую клавишу. Проведя после этого рукой по всей клавиатуре, он попал на ноту верхнего регистра. Каждому тону он давал достаточно времени, и они, один за другим, колыхаясь, дрожали и замирали в воздухе. Лицо слепого, вместе с напряженным вниманием, выражало удовольствие; он, видимо, любовался каждым отдельным тоном, и уже в этой чуткой внимательности к элементарным звукам, составным частям будущей мелодии, сказывались задатки артиста.

Но при этом казалось, что слепой придавал еще какие-то особенные свойства каждому звуку: когда из-под его руки вылетала ве-

селяя и яркая нота высокого регистра, он подымал оживленное лицо, будто провожая кверху эту звонкую летучую ноту. Наоборот, при густом, чуть слышном и глухом дрожании баса он наклонял ухо; ему казалось, что этот тяжелый тон должен непременно низко раскатиться над землей, рассыпаясь по полу и теряясь в дальних углах.

XI

Дядя Максим относился ко всем этим музыкальным экспериментам только терпимо. Как это ни странно, но так явно обнаружившиеся склонности мальчика порождали в инвалиде двойственное чувство. С одной стороны, страстное влечение к музыке указывало на несомненно присущие мальчику музыкальные способности и, таким образом, определяло отчасти возможное для него будущее. С другой – к этому сознанию примешивалось в сердце старого солдата неопределенное чувство разочарования.

«Конечно, – рассуждал Максим, – музыка тоже великая сила, дающая возможность владеть сердцем толпы. Он, слепой, будет собирать сотни разряженных франтов и барынь,

будет им разыгрывать разные там... вальсы и ноктюрны (правду сказать, дальше этих „вальсов“ и „ноктюрнов“ не шли музыкальные познания Максима), а они будут утирать слезы платочками. Эх, черт возьми, не того бы мне хотелось, да что же делать! Малый слеп, так пусть же станет в жизни тем, чем может. Только все же лучше бы уж песня, что ли? Песня говорит не одному неопределенно разнеживающемуся слуху. Она дает образы, будит мысль в голове и мужество в сердце».

– Эй, Иохим, – сказал он одним вечером, входя вслед за мальчиком к Иохиму. – Брось ты хоть один раз свою свистелку! Это хорошо мальчишкам на улице или подпаску в поле, а ты все же таки взрослый мужик, хоть эта глупая Марья и сделала из тебя настоящего теленка. Тьфу, даже стыдно за тебя, право! Девка отвернулась, а ты и раскис. Свистишь, точно перепел в клетке!

Иохим, слушая эту длинную рацею раздосадованного пана, ухмылялся в темноте над его беспричинным гневом. Только упоминание о мальчишках и подпаске несколько расшевелило в нем чувство легкой обиды.

– Не скажите, пане, – заговорил он. – Такую дуду не найти вам ни у одного пастуха в Украине, не то что у подпаска... То все свистелки, а это... вы вот послушайте.

Он закрыл пальцами все отверстия и взял на дудке два тона в октаву, любуясь полным звуком. Максим плюнул.

– Тьфу, прости боже! совсем поглупел парубок! Что мне твоя дуда? Все они одинаковые – и дудки, и бабы, с твоей Марьей на придачу. Вот лучше спел бы ты нам песню, коли умеешь, – хорошую старую песню.

Максим Яценко, сам малоросс, был человек простой с мужиками и дворней. Он часто кричал и ругался, но как-то необидно, и потому к нему относились люди почтительно, но свободно.

– А что ж? – ответил Иохим на предложение пана. – Пел когда-то и я не хуже людей. Только, может, и наша мужицкая песня тоже вам не по вкусу придется, пане? – уязвил он слегка собеседника.

– Ну, не брешу по-пустому, – сказал Максим. – Песня хорошая – не дудке чета, если только человек умеет петь как следует. Вот

послушаем, Петрусю, Иохимову песню. Поймешь ли ты только, малый?

– А это будет «хлопская» песня? – спросил мальчик. – Я понимаю «по-хлопски».

Максим вздохнул. Он был романтик и когда-то мечтал о новой сечи.

– Эх, малый! Это не хлопские песни... Это песни сильного, вольного народа. Твои деды по матери пели их на степях по Днепру и по Дунаю, и на Черном море... Ну, да ты поймешь это когда-нибудь, а теперь, – прибавил он задумчиво, – боюсь я другого...

Действительно, Максим боялся другого непонимания.

Он думал, что яркие образы песенного эпоса требуют непременно зрительных представлений, чтобы говорить сердцу. Он боялся, что темная голова ребенка не в состоянии будет усвоить картинного языка народной поэзии. Он забыл, что древние баяны, что украинские кобзари и бандуристы были по большей части слепые! Правда, тяжкая доля, увечье заставляли нередко брать в руки лиру или бандуру, чтобы просить с нею подаяния. Но не все же это были только нищие и ремесленники.

ки с гнусавыми голосами, и не все они лишились зрения только под старость. Слепота застигает видимый мир темною завесой, которая, конечно, ложится на мозг, затрудняя и угнетая его работу, но все же из наследственных представлений и из впечатлений, получаемых другими путями, мозг творит в темноте свой собственный мир, грустный, печальный и сумрачный, но не лишенный своеобразной, смутной поэзии.

XII

Максим с мальчиком уселись на сене, а Иохим прилег на свою лавку (эта поза наиболее соответствовала его артистическому настроению) и, подумав с минуту, запел. Случайно или по чуткому инстинкту выбор его оказался очень удачным. Он остановился на исторической картине:

*Он, там на горі, тай женці
жнуть.*

Всякому, кто слышал эту прекрасную народную песню в надлежащем исполнении, наверное, врезался в памяти ее старинный мотив, высокий, протяжный, будто подерну-

тый грустью исторического воспоминания. В ней нет событий, кровавых сеч и подвигов. Это и не прощание козака с милой, не удалой набег, не экспедиция в чайках по синему морю и Дунаю. Это только одна мимолетная картина, всплывшая мгновенно в воспоминании украинца, как смутная греза, как отрывок из сна об историческом прошлом. Среди будничного и серого настоящего дня в его воображении встала вдруг эта картина, смутная, туманная, подернутая тою особенною грустью, которая веет от исчезнувшей уже родной старины. Исчезнувшей, но еще не бесследно! О ней говорят еще высокие могилы-курганы, где лежат козацкие кости, где в полночь загораются огни, откуда слышатся по ночам тяжелые стоны. О ней говорит и народное предание, и смолкающая все более и более народная песня:

*Ой, там на горі, тай жєнци
жнуть,
А по-під горою, по-під зеленою
Козаки идуть!..
Козаки идуть!..*

На зеленой горе жнецы жнут хлеб. А под

горой, внизу, идет казачье войско.

Максим Яценко заслушался грустного напева. В его воображении, вызванная чудесным мотивом, удивительно сливающимся с содержанием песни, всплыла эта картина, будто освещенная меланхолическим отблеском заката. В мирных полях, на горе, беззвучно наклоняясь над нивами, виднеются фигуры жнецов. А внизу бесшумно проходят отряды один за другим, сливаясь с вечерними тенями долины.

*По переду Дорошенко
Веде свое вiйсько, вiйсько запо-
рожське
Хорошенько.*

И протяжная нота песни о прошлом колыхнется, звенит и смолкает в воздухе, чтобы зазвенеть опять и вызвать из сумрака все новые и новые фигуры.

XIII

Мальчик слушал с омраченным и грустным лицом. Когда певец пел о горе, на которой жнут жнецы, воображение тотчас же переносило Петруся на высоту знакомого ему утеса. Он узнал его потому, что внизу плещет-

ся речка чуть слышными ударами волны о камень. Он уже знает также, что такое жнецы, он слышит позвякивание серпов и шорох падающих колосьев.

Когда же песня переходила к тому, что делается под горой, воображение слепого слушателя тотчас же удаляло его от вершин в долину...

Звон серпов смолк, но мальчик знает, что жнецы там, на горе, что они остались, но они не слышны, потому что они высоко, так же высоко, как сосны, шум которых он слышал, стоя под утесом. А внизу, над рекой, раздается частый ровный топот конских копыт... Их много, от них стоит неясный гул там, в темноте, под горой. Это «идут козаки».

Он знает также, что значит козак. Старика «Хведька», который заходит по временам в усадьбу, все зовут «старым козаком». Он не раз брал Петруся к себе на колени, гладил его волосы своею дрожащею рукой. Когда же мальчик по своему обыкновению ощупывал его лицо, то осязал своими чуткими пальцами глубокие морщины, большие обвисшие вниз усы, впалые щеки и на щеках старче-

ские слезы. Таких же козаков представлял себе мальчик под протяжные звуки песни там, внизу, под горой. Они сидят на лошадях такие же, как «Хведько», усатые, такие же сгорбленные, такие же старые. Они тихо подвигаются бесформенными тенями в темноте и так же, как «Хведько», о чем-то плачут, быть может, оттого, что и над горой и над долиной стоят эти печальные, протяжные стоны Иохимовой песни, – песни о «необачном козачине», что променял молодую женку на походную трубку и на боевые невзгоды.

Максиму достаточно было одного взгляда, чтобы понять, что чуткая натура мальчика способна откликнуться, несмотря на слепоту, на поэтические образы песни.

Глава третья

I

Благодаря режиму, который был заведен по плану Максима, слепой во всем, где это было возможно, был предоставлен собственным усилиям, и это принесло самые лучшие результаты. В доме он не казался вовсе беспомощным, ходил всюду очень уверенно, сам убирал свою комнату, держал в известном порядке свои игрушки и вещи. Кроме того, насколько это было ему доступно, Максим обращал внимание на физические упражнения: у мальчика была своя гимнастика, а на шестом году Максим подарил племяннику небольшую и смирную лошадку. Мать сначала не могла себе представить, чтоб ее слепой ребенок мог ездить верхом, и она называла затею брата чистым безумием. Но инвалид пустил в дело все свое влияние, и через два-три месяца мальчик весело скакал в седле рядом с Йохимом, который командовал только на поворотах.

Таким образом слепота не помешала правильному физическому развитию, и влияние

ее на нравственный склад ребенка было по возможности ослаблено. Для своего возраста он был высок и строен; лицо его было несколько бледно, черты тонки и выразительны. Черные волосы оттеняли еще более белизну лица, а большие темные, малоподвижные глаза придавали ему своеобразное выражение, как-то сразу приковывавшее внимание. Легкая складка над бровями, привычка несколько подаваться головой вперед и выражение грусти, по временам пробегавшее какими-то облаками по красивому лицу, — это все, чем сказалась слепота в его наружности. Его движения в знакомом месте были уверенны, но все же было заметно, что природная живость подавлена и проявляется по временам довольно резкими нервными порывами.

II

Теперь впечатления слуха окончательно получили в жизни слепого преобладающее значение, звуковые формы стали главными формами его мысли, центром умственной работы. Он запоминал песни, вслушиваясь в их чарующие мотивы, знакомился с их содержа-

нием, окрашивая его грустью, весельем или раздумчивостью мелодии. Он еще внимательнее ловил голоса окружающей природы и, сливая смутные ощущения с привычными родными мотивами, по временам умел обобщить их свободной импровизацией, в которой трудно было отличить, где кончается народный, привычный уху мотив и где начинается личное творчество. Он и сам не мог отделить в своих песнях этих двух элементов: так цельно слились в нем они оба. Он быстро заучивал все, что передавала ему мать, учившая его игре на фортепиано, но любил также и Иохимову дудку. Фортепиано было богаче, звучнее и полнее, но оно стояло в комнате, тогда как дудку можно было брать с собой в поле, и ее переливы так нераздельно сливались с тихими вздохами степи, что порой Петрусь сам не мог отдать себе отчета, ветер ли навевает издалека смутные думы, или это он сам извлекает их из своей свирели.

Это увлечение музыкой стало центром его умственного роста; оно заполняло и разнообразило его существование. Максим пользовался им, чтобы знакомить мальчика с исто-

рией его страны, и вся она прошла перед во-
ображением слепого, сплетенная из звуков.
Заинтересованный песней, он знакомился с
ее героями, с их судьбой, с судьбой своей ро-
дины. Отсюда начался интерес к литературе,
и на девятом году Максим приступил к пер-
вым урокам. Умелые уроки Максима (кото-
рому пришлось изучить для этого специальные
приемы обучения слепых) очень нравились
мальчику. Они вносили в его настроение но-
вый элемент – определенность и ясность,
уравновешивавшие смутные ощущения му-
зыки.

Таким образом, день мальчика был заплот-
нен, нельзя было пожаловаться на скудость
получаемых им впечатлений. Казалось, он
жил полною жизнью, насколько это возмож-
но для ребенка. Казалось также, что он не со-
знает и своей слепоты.

А между тем какая-то странная, недетская
грусть все-таки сквозила в его характере.
Максим приписывал это недостатку детского
общества и старался пополнить этот недоста-
ток.

Деревенские мальчики, которых пригла-

шали в усадьбу, дичились и не могли свободно развернуться. Кроме непривычной обстановки, их немало смущала также и слепота «панича». Они пугливо посматривали на него и, сбившись в кучу, молчали или робко перешептывались друг с другом. Когда же детей оставляли одних в саду или в поле, они становились развязнее и затевали игры, но при этом оказывалось, что слепой как-то оставался в стороне и грустно прислушивался к веселой возне товарищей.

По временам Иохим собирал ребят вокруг себя в кучу и начинал рассказывать им веселые присказки и сказки. Деревенские ребята, отлично знакомые и с глуповатым хохлацким чертом, и с плутовками-ведьмами, пополняли эти рассказы из собственного запаса, и вообще эти беседы шли очень оживленно. Слепой слушал их с большим вниманием и интересом, но сам смеялся редко. По-видимому, юмор живой речи в значительной степени оставался для него недоступным, и немудрено: он не мог видеть ни лукавых огоньков в глазах рассказчика, ни смеющихся морщин, ни подергивания длинными усами.

Незадолго до описываемого времени в небольшом соседнем имении переменялся «поссесор».[42] На место прежнего, беспокойного соседа, у которого даже с молчаливым паном Попельским вышла тяжба из-за какой-то потравы, теперь в ближней усадьбе поселился старик Яскульский с женою. Несмотря на то, что обоим супругам в общей сложности было не менее ста лет, они поженились сравнительно недавно, так как пан Якуб долго не мог сколотить нужной для аренды суммы и потому мыкался в качестве «эконома» по чужим людям, а пани Агнешка, в ожидании счастливой минуты, жила в качестве почетной «покоювки» у графини Потоцкой. Когда, наконец, счастливая минута настала и жених с невестой стали рука об руку в костеле, то в усах и в чубе молодцеватого жениха половина волос были совершенно седые, а покрытое стыдливым румянцем лицо невесты было также обрамлено серебристыми локонами.

Это обстоятельство не помешало, однако, супружескому счастью, и плодом этой позд-

ней любви явилась единственная дочь, которая была почти ровесницей слепому мальчику. Устроив под старость свой угол, в котором они, хотя и условно, могли считать себя полными хозяевами, старики зажили в нем тихо и скромно, как бы вознаграждая себя этою тишиной и уединением за суетливые годы тяжелой жизни «в чужих людях». Первая их аренда оказалась не совсем удачной, и теперь они несколько сузили дело. Но и на новом месте они тотчас же устроились по-своему. В углу, занятом иконами, перевитыми плющом, у Яскульской вместе с вербой и «громницей» [43] хранились какие-то мешочки с травами и корнями, которыми она лечила мужа и приходивших к ней деревенских баб и мужиков. Эти травы наполняли всю избу особенным специфическим благоуханием, которое неразрывно связывалось в памяти всякого посетителя с воспоминанием об этом чистом маленьком домике, об его тишине и порядке и о двух стариках, живших в нем какою-то необычною в наши дни тихую жизнью.

В обществе этих стариков росла их единственная дочь, небольшая девочка, с длин-

ною русой косой и голубыми глазами, поразившая всех при первом же знакомстве какою-то странною солидностью, разлитую во всей ее фигуре. Казалось, спокойствие поздней любви родителей отразилось в характере дочери этою недетскою рассудительностью, плавным спокойствием движений, задумчивостью и глубиной голубых глаз. Она никогда не дичилась посторонних, не уклонялась от знакомства с детьми и принимала участие в их играх. Но все это делалось с такою искреннею снисходительностью, как будто для нее лично это было вовсе не нужно. Действительно, она отлично довольствовалась своим собственным обществом, гуляя, собирая цветы, беседуя со своею куклой, и все это с видом такой солидности, что по временам казалось, будто перед вами не ребенок, а крохотная взрослая женщина.

IV

Однажды Петрик был один на холмике над Орехой. Солнце садилось, в воздухе стояла тишина, только мычание возвращавшегося из деревни стада долетало сюда, смягченное расстоянием. Мальчик только что перестал

играть и откинулся на траву, отдаваясь полудремотной истоме летнего вечера. Он забылся на минуту, как вдруг чьи-то легкие шаги вывели его из дремоты. Он с неудовольствием приподнялся на локоть и прислушался. Шаги остановились у подножия холмика. Походка была ему незнакома.

– Мальчик! – услышал он вдруг возглас детского голоса. – Не знаешь ли, кто это тут сейчас играл?

Слепой не любил, когда нарушали его одиночество. Поэтому он ответил на вопрос не особенно любезным тоном:

– Это я...

Легкий удивленный возглас был ответом на это заявление, и тотчас же голос девочки прибавил тоном простодушного одобрения:

– Как хорошо!

Слепой промолчал.

– Что же вы не уходите? – спросил он затем, слыша, что непрошенная собеседница продолжает стоять на месте.

– Зачем же ты меня гонишь? – спросила девочка своим чистым и простодушно-удивленным голосом.

Звуки этого спокойного детского голоса приятно действовали на слух слепого; тем не менее, он ответил в прежнем тоне:

– Я не люблю, когда ко мне приходят...

Девочка засмеялась.

– Вот еще!.. Смотрите-ка! Разве вся земля твоя и ты можешь кому-нибудь запретить ходить по земле?

– Мама приказала всем, чтобы сюда ко мне не ходили.

– Мама? – переспросила задумчиво девочка. – А моя мама позволила мне ходить над рекой...

Мальчик, несколько избалованный всеобщей уступчивостью, не привык к таким настойчивым возражениям. Вспышка гнева прошла по его лицу нервной волной; он приподнялся и заговорил быстро и возбужденно:

– Уйдите, уйдите, уйдите!..

Неизвестно, чем кончилась бы эта сцена, но в это время от усадьбы послышался голос Иохима, звавшего мальчика к чаю. Он быстро сбежал с холмика.

– Ах, какой гадкий мальчик! – услышал он за собой искренно негодующее замечание.

На следующий день, сидя на том же месте, мальчик вспомнил о вчерашнем столкновении. В этом воспоминании теперь не было досады. Напротив, ему даже захотелось, чтоб опять пришла эта девочка с таким приятным, спокойным голосом, какого он никогда еще не слышал. Знакомые ему дети громко кричали, смеялись, дрались и плакали, но ни один из них не говорил так приятно. Ему стало жаль, что он обидел незнакомку, которая, вероятно, никогда более не вернется.

Действительно, дня три девочка совсем не приходила. Но на четвертый Петрусь услышал ее шаги внизу, на берегу реки. Она шла тихо; береговая галька легко шуршала под ее ногами, и она напевала вполголоса польскую песенку.

– Послушайте! – окликнул он, когда она с ним поравнялась. – Это опять вы?

Девочка не ответила. Камешки по-прежнему шуршали под ее ногами. В деланой беззаботности ее голоса, напевавшего песню, мальчику слышалась еще не забытая обида.

Однако, пройдя несколько шагов, незна-

комка остановилась. Две-три секунды прошло в молчании. Она перебирала в это время букет полевых цветов, который держала в руках, а он ждал ответа. В этой остановке и последовавшем за нею молчании он уловил оттенок умышленного пренебрежения.

– Разве вы не видите, что это я? – спросила она, наконец, с большим достоинством, покончив с цветами.

Этот простой вопрос больно отозвался в сердце слепого. Он ничего не ответил, и только его руки, которыми он упирался в землю, как-то судорожно схватились за траву. Но разговор уже начался, и девочка, все стоя на том же месте и занимаясь своим букетом, опять спросила:

– Кто тебя выучил так хорошо играть на дудке?

– Иохим выучил, – ответил Петрусь.

– Очень хорошо! А отчего ты такой сердитый?

– Я... не сержусь на вас, – сказал мальчик тихо.

– Ну так и я не сержусь... Давай играть вместе.

– Я не умею играть с вами, – ответил он потупившись.

– Не умеешь играть?.. Почему?

– Так.

– Нет, почему же?

– Так, – ответил он чуть слышно и еще более потупился.

Ему не приходилось еще никогда говорить с кем-нибудь о своей слепоте, и простодушный тон девочки, предлагавшей с наивной настойчивостью этот вопрос, отозвался в нем опять тупую болью.

Незнакомка поднялась на холмик.

– Какой ты смешной, – заговорила она с снисходительным сожалением, усаживаясь рядом с ним на траве. – Это ты, верно, оттого, что еще со мной не знаком. Вот узнаешь меня, тогда перестанешь бояться. А я не боюсь никого.

Она говорила это с беспечной ясностью, и мальчик услышал, как она бросила к себе в передник груды цветов.

– Где вы взяли цветы? – спросил он.

– Там, – мотнула она головой, указывая назад.

– На лугу?

– Нет, там.

– Значит, в роще. А какие это цветы?

– Разве ты не знаешь цветов?.. Ах, какой ты странный... право, ты очень странный...

Мальчик взял в руку цветок. Его пальцы быстро и легко тронули листья и венчик.

– Это лютик, – сказал он, – а вот это фиалка.

Потом он захотел тем же способом ознакомиться и со своею собеседницей: взяв левою рукой девочку за плечо, он правой стал ощупывать ее волосы, потом веки и быстро пробежал пальцами по лицу, кое-где останавливаясь и внимательно изучая незнакомые черты.

Все это было сделано так неожиданно и быстро, что девочка, пораженная удивлением, не могла сказать ни слова; она только глядела на него широко открытыми глазами, в которых отражалось чувство, близкое к ужасу. Только теперь она заметила, что в лице ее нового знакомого есть что-то необычайное. Бледные и тонкие черты застыли на выражении напряженного внимания, как-то не гармонизировавшего с его неподвижным взглядом.

Глаза мальчика глядели куда-то, без всякого отношения к тому, что он делал, и в них странно переливался отблеск закатывавшегося солнца. Все это показалось девочке на одну минуту просто тяжелым кошмаром.

Высвободив свое плечо из руки мальчика, она вдруг вскочила на ноги и заплакала.

– Зачем ты пугаешь меня, гадкий мальчишка? – заговорила она гневно, сквозь слезы. – Что я тебе сделала?.. Зачем?..

Он сидел на том же месте, озадаченный, с низко опущенною головой, и странное чувство, – смесь досады и унижения, – наполнило болью его сердце. В первый раз еще пришлось ему испытать унижение калеки; в первый раз узнал он, что его физический недостаток может внушать не одно сожаление, но и испуг. Конечно, он не мог отдать себе ясного отчета в угнетавшем его тяжелом чувстве, но оттого, что сознание это было неясно и смутно, оно доставляло не меньше страдания.

Чувство жгучей боли и обиды подступило к его горлу; он упал на траву и заплакал. Плач этот становился все сильнее, судорожные рыдания потрясали все его маленькое тело, тем

более что какая-то врожденная гордость заставляла его подавлять эту вспышку.

Девочка, которая сбежала уже с холмика, услышала эти глухие рыдания и с удивлением повернулась. Видя, что ее новый знакомый лежит лицом к земле и горько плачет, она почувствовала участие, тихо взошла на холмик и остановилась над плачущим.

– Послушай, – заговорила она тихо, – о чем ты плачешь? Ты, верно, думаешь, что я нажалуюсь? Ну, не плачь, я никому не скажу.

Слово участия и ласковый тон вызвали в мальчике еще большую нервную вспышку плача. Тогда девочка присела около него на корточки; просидев так с полминуты, она тихо тронула его волосы, погладила его голову и затем, с мягкой настойчивостью матери, которая успокаивает наказанного ребенка, приподняла его голову и стала вытирать платком заплаканные глаза.

– Ну, ну, перестань же! – заговорила она тоном взрослой женщины. – Я давно не сержусь. Я вижу, ты жалеешь, что напугал меня...

– Я не хотел напугать тебя, – ответил он,

глубоко вздыхая, чтобы подавить нервные приступы.

– Хорошо, хорошо! Я не сержусь!.. Ты ведь больше не будешь. – Она приподняла его с земли и старалась усадить рядом с собою.

Он повиновался. Теперь он сидел, как прежде, лицом к стороне заката, и когда девочка опять взглянула на это лицо, освещенное красноватыми лучами, оно опять показалось ей странным. В глазах мальчика еще стояли слезы, но глаза эти были по-прежнему неподвижны; черты лица то и дело передергивались от нервных спазмов, но вместе с тем в них виднелось недетское, глубокое и тяжелое горе.

– А все-таки ты очень странный, – сказала она с задумчивым участием.

– Я не странный, – ответил мальчик с жалобною гримасой. – Нет, я не странный... Я... я – слепой!

– Слепо-ой? – протянула она нараспев, и голос ее дрогнул, как будто это грустное слово, тихо произнесенное мальчиком, нанесло неизгладимый удар в ее маленькое женственное сердце. – Слепо-ой? – повторила она еще

более дрогнувшим голосом, и, как будто ища защиты от охватившего всю ее неодолимого чувства жалости, она вдруг обвила шею мальчика руками и прислонилась к нему лицом.

Пораженная внезапностью печального открытия, маленькая женщина не удержалась на высоте своей солидности, и, превратившись вдруг в огорченного и беспомощного в своем огорчении ребенка, она, в свою очередь, горько и неутешно заплакала.

VI

Несколько минут прошло в молчании.

Девочка перестала плакать и только по временам еще всхлипывала, перемогаясь. Полными слез глазами она смотрела, как солнце, будто вращаясь в раскаленной атмосфере заката, погружалось за темную черту горизонта. Мелькнул еще раз золотой обрез огненного шара, потом брызнули две-три горячие искры, и темные очертания дальнего леса всплыли вдруг непрерывной синеватой чертой.

С реки потянуло прохладой, и тихий мир наступающего вечера отразился на лице слепого, он сидел с опущенною головой, видимо,

удивленный этим выражением горячего сочувствия.

– Мне жалко... – все еще всхлипывая, вымолвила, наконец, девочка в объяснение своей слабости.

Потом, несколько овладев собой, она сделала попытку перевести разговор на посторонний предмет, к которому они оба могли отнестись равнодушно.

– Солнышко село, – произнесла она задумчиво.

– Я не знаю, какое оно, – был печальный ответ. – Я его только... чувствую...

– Не знаешь солнышка?

– Да.

– А... а свою маму... тоже не знаешь?

– Мать знаю. Я всегда издалека узнаю ее походку.

– Да, да, это правда. И я с закрытыми глазами узнаю свою мать.

Разговор принял более спокойный характер.

– Знаешь, – заговорил слепой с некоторым оживлением, – я ведь чувствую солнце и знаю, когда оно закатилось.

– Почему ты знаешь?

– Потому что... видишь ли... Я сам не знаю почему...

– А-а! – протянула девочка, по-видимому совершенно удовлетворенная этим ответом, и они оба помолчали.

– Я могу читать, – первый заговорил опять Петрусь, – и скоро выучусь писать пером.

– А как же ты?.. – начала было она и вдруг застенчиво смолкла, не желая продолжать щекотливого допроса. Но он ее понял.

– Я читаю в своей книжке, – пояснил он, – пальцами.

– Пальцами? Я бы никогда не выучилась читать пальцами... Я и глазами плохо читаю. Отец говорит, что женщины плохо понимают науку.

– А я могу читать даже по-французски.

– По-французски!.. И пальцами... какой ты умный! – искренно восхитилась она. – Однако я боюсь, как бы ты не простудился. Вон над рекой какой туман.

– А ты сама?

– Я не боюсь; что мне сделается!

– Ну и я не боюсь. Разве может быть, чтобы

мужчина простудился скорее женщины? Дядя Максим говорит, что мужчина не должен ничего бояться: ни холода, ни голода, ни грома, ни тучи.

– Максим?.. Это который на костылях?.. Я его видела. Он страшный!

– Нет, он нисколько не страшный. Он добрый.

– Нет, страшный! – убежденно повторила она. – Ты не знаешь, потому что не видал его.

– Как же я его не знаю, когда он меня всему учит.

– Бьет?

– Никогда не бьет и не кричит на меня...
Никогда...

– Это хорошо. Разве можно бить слепого мальчика? Это было бы грешно.

– Да ведь он и никого не бьет, – сказал Петрусь несколько рассеянно, так как его чуткое ухо слышало шаги Иохима.

Действительно, рослая фигура хохла зарисовалась через минуту на холмистом гребне, отделявшем усадьбу от берега, и его голос далеко раскатился в тишине вечера:

– Па-ны-чу-у-у!

– Тебя зовут, – сказала девочка, поднимаясь.

– Да. Но мне не хотелось бы идти.

– Иди, иди! Я к тебе завтра приду. Теперь тебя ждут и меня тоже.

VII

Девочка точно исполнила свое обещание и даже раньше, чем Петрусь мог на это рассчитывать. На следующий же день, сидя в своей комнате за обычным уроком с Максимом, он вдруг поднял голову, прислушался и сказал с оживлением:

– Отпусти меня на минуту. Там пришла девочка.

– Какая еще девочка? – удивился Максим и пошел вслед за мальчиком к выходной двери.

Действительно, вчерашняя знакомка Петруся в эту самую минуту вошла в ворота усадьбы и, увидя проходившую по двору Анну Михайловну, свободно направилась прямо к ней.

– Что тебе, милая девочка, нужно? – спросила та, думая, что ее прислали по делу.

Маленькая женщина солидно протянула ей руку и спросила:

– Это у вас есть слепой мальчик?.. Да?

– У меня, милая, да, у меня, – ответила пани Попельская, любуясь ее ясными глазами и свободой ее обращения.

– Вот, видите ли... Моя мама отпустила меня к нему. Могу я его видеть?

Но в эту минуту Петрусь сам подбежал к ней, а на крыльце показалась фигура Максима.

– Это вчерашняя девочка, мама! Я тебе говорил, – сказал мальчик, здороваясь. – Только у меня теперь урок.

– Ну, на этот раз дядя Максим отпустит тебя, – сказала Анна Михайловна, – я у него попрошу.

Между тем крохотная женщина, чувствовавшая себя, по-видимому, совсем как дома, отправилась навстречу подходившему к ним на своих костылях Максиму и, протянув ему руку, сказала тоном снисходительного одобрения:

– Это хорошо, что вы не бьете слепого мальчика. Он мне говорил.

– Неужели, сударыня? – спросил Максим с комической важностью, принимая в свою

широкую руку маленькую ручку девочки. – Как я благодарен моему питомцу, что он сумел расположить в мою пользу такую прелестную особу.

И Максим рассмеялся, поглаживая ее руку, которую держал в своей. Между тем девочка продолжала смотреть на него своим открытым взглядом, сразу завоевавшим его женоненавистническое сердце.

– Смотри-ка, Аннуса, – обратился он к сестре с странною улыбкой, – наш Петр начинает заводить самостоятельные знакомства. И ведь согласись, Аня... несмотря на то, что он слеп, он все же сумел сделать недурной выбор, не правда ли?

– Что ты хочешь этим сказать, Макс? – спросила молодая женщина строго, и горячая краска залила все ее лицо.

– Шучу! – ответил брат лаконически, видя, что своей шуткой он тронул больную струну, вскрыл тайную мысль, зашевелившуюся в предусмотрительном материнском сердце.

Анна Михайловна еще более покраснела и, быстро наклонившись, с порывом страстной нежности обняла девочку; последняя приня-

ла неожиданно-бурную ласку все с тем же ясным, хотя и несколько удивленным взглядом.

VIII

С этого дня между поссессорским домиком и усадьбой Попельских завязались ближайšie отношения. Девочка, которую звали Эвелиной, приходила ежедневно в усадьбу, а через некоторое время она тоже поступила ученицей к Максиму. Сначала этот план совместного обучения не очень понравился пану Яскульскому. Во-первых, он полагал, что если женщина умеет записать белье и вести домашнюю расходную книгу, то этого совершенно достаточно; во-вторых, он был добрый католик и считал, что Максиму не следовало воевать с австрийцами, вопреки ясно выраженной воле «отца папежа». Наконец его твердое убеждение состояло в том, что на небе есть бог, а Вольтер и вольтеринцы кипят в адской смоле, каковая судьба, по мнению многих, была уготована и пану Максиму. Однако при ближайшем знакомстве он должен был сознаться, что этот еретик и забияка – человек очень приятного нрава и большого ума, и вследствие этого поссессор пошел

на компромисс.

Тем не менее некоторое беспокойство шевелилось в глубине души старого шляхтича, и потому, приведя девочку для первого урока, он счел уместным обратиться к ней с торжественною и напыщенною речью, которая, впрочем, больше назначалась для слуха Максима.

– Вот что, Веля... – сказал он, взяв дочь за плечо и поглядывая на ее будущего учителя. – Помни всегда, что на небе есть бог, а в Риме святой его «папеж». Это тебе говорю я, Валентин Яскульский, и ты должна мне верить потому, что я твой отец, – это *primo*.

При этом последовал новый внушительный взгляд в сторону Максима; пан Яскульский подчеркивал свою латынь, давая понять, что и он не чужд науке и в случае чего его провести трудно.

– *Secundo*, я шляхтич славного герба, в котором вместе с «копной и вороной» недаром обозначается крест в синем поле. Яскульские, будучи хорошими рыцарями, не раз меняли мечи на требники и всегда смыслили кое-что в делах неба, поэтому ты должна мне верить.

Ну а в остальном, что касается orbisterrarum, то есть всего земного, слушай, что тебе скажет пан Максим Яценко, и учись хорошо.

– Не бойтесь, пан Валентин, – улыбаясь, ответил на эту речь Максим, – мы не вербуем паненок для отряда Гарибальди.

IX

Совместное обучение оказалось очень полезным для обоих. Петрусь шел, конечно, впереди, но это не исключало некоторого соревнования. Кроме того, он помогал ей часто выучивать уроки, а она находила иногда очень удачные приемы, чтобы объяснить мальчику что-либо труднопонятное для него, слепого. Кроме того, ее общество вносило в его занятия нечто своеобразное, придавало его умственной работе особый тон приятного возбуждения.

Вообще эта дружба была настоящим даром благосклонной судьбы. Теперь мальчик не искал уже полного уединения; он нашел то общение, которого не могла ему дать любовь взрослых, и в минуту чуткого душевного затишья ему приятна была ее близость. На утес или на реку они всегда отправлялись вдвоем.

Когда он играл, она слушала его с наивным восхищением. Когда же он откладывал дудку, она начинала передавать ему свои детски-живые впечатления от окружающей природы; конечно, она не умела выражать их с достаточной полнотой подходящими словами, но зато в ее несложных рассказах, в их тоне он улавливал характерный колорит каждого описываемого явления. Так, когда она говорила, например, о темноте раскинувшейся над землею сырой и черной ночи, он будто слышал эту темноту в сдержанно звучащих тонах ее робеющего голоса. Когда же, подняв кверху задумчивое лицо, она сообщала ему: «Ах, какая туча идет, какая туча темная-пре-темная!» – он ощущал сразу будто холодное дуновение и слышал в ее голосе пугающий шорох ползущего по небу, где-то в далекой высоте, чудовища.

Глава четвертая

I

Есть натуры, будто заранее предназначенные для тихого подвига любви, соединенной с печалью и заботой, – натуры, для которых эти заботы о чужом горе составляют как бы атмосферу, органическую потребность. Природа заранее наделила их спокойствием, без которого немислим будничнй подвиг жизни, она предусмотрительно смягчила в них личные порывы, запросы личной жизни, подчинив эти порывы и эти запросы господствующей черте характера. Такие натуры кажутся нередко слишком холодными, слишком рассудительными, лишенными чувства. Они глухи на страстные призывы грешной жизни и идут по грустному пути долга так же спокойно, как и по пути самого яркого личного счастья. Они кажутся холодными, как снежные вершины, и так же, как они, величавы. Житейская пошлость стелется у их ног; даже клевета и сплетни скатываются по их белоснежной одежде, точно грязные брызги с крыльев лебедя...

Маленькая знакомка Петра представляла в себе все черты этого типа, который редко вырабатывается жизнью и воспитанием; он, как талант, как гений, дается в удел избранным натурам и проявляется рано. Мать слепого мальчика понимала, какое счастье случай послал ее сыну в этой детской дружбе. Понимал это и старый Максим, которому казалось, что теперь у его питомца есть все, чего ему еще недоставало, что теперь душевное развитие слепого пойдет тихим и ровным, ничем не смущаемым ходом...

Но это была горькая ошибка.

II

В первые годы жизни ребенка Максим думал, что он совершенно овладел душевным ростом мальчика, что этот рост совершается если не под прямым его влиянием, то во всяком случае ни одна новая сторона его, ни одно новое приобретение в этой области не избегнет его наблюдения и контроля. Но когда настал в жизни ребенка период, который является переходною гранью между детством и отрочеством, Максим увидел, как неосновательны эти гордые педагогические мечтания.

Чуть не каждая неделя приносила с собой что-нибудь новое, по временам совершенно неожиданное по отношению к слепому, и когда Максим старался найти источники иной новой идеи или нового представления, появившихся у ребенка, то ему приходилось теряться. Какая-то неведомая сила работала в глубине детской души, выдвигая из этой глубины неожиданные проявления самостоятельного душевного роста, и Максиму приходилось останавливаться с чувством благоговения перед таинственными процессами жизни, которые вмешивались таким образом в его педагогическую работу. Эти толчки природы, ее даровые откровения, казалось, доставляли ребенку такие представления, которые не могли быть приобретены личным опытом слепого, и Максим угадывал здесь неразрывную связь жизненных явлений, которая проходит, дробясь в тысяче процессов, через последовательный ряд отдельных жизней.

Сначала это наблюдение испугало Максима. Видя, что не он один владеет умственным строем ребенка, что в этом строе сказывается

что-то, от него не зависящее и выходящее из-под его влияния, он испугался за участь своего питомца, испугался возможности таких запросов, которые могли бы послужить для слепого только причиной неутолимых страданий. И он пытался разыскать источник этих, откуда-то пробивающихся, родников, чтоб... навсегда закрыть их для блага слепого ребенка.

Не ускользнули эти неожиданные проблески и от внимания матери. Однажды утром Петрик прибежал к ней в необыкновенном волнении.

– Мама, мама! – закричал он. – Я *видел* сон.

– Что же ты *видел*, мой мальчик? – спросила она с печальным сомнением в голосе.

– Я видел во сне... я вижу тебя и Максима, и еще... что я все вижу... Так хорошо, так хорошо, мамочка!

– Что же еще ты видел, мой мальчик?

– Я не помню.

– А меня помнишь?

– Нет, – сказал мальчик в раздумье. – Я забыл все... А все-таки я видел, право же, видел... – добавил он после минутного молча-

ния, и его лицо сразу омрачилось. На незрячих глазах блеснула слеза...

Это повторялось еще несколько раз, и всякий раз мальчик становился грустнее и тревожнее.

III

Однажды, проходя по двору, Максим услышал в гостиной, где обыкновенно происходили уроки музыки, какие-то странные музыкальные упражнения. Они состояли из двух нот. Сначала от быстрых, последовательных, почти слившихся ударов по клавише дрожала самая высокая яркая нота верхнего регистра, затем она резко сменялась низким раскатом баса. Полубопытствовав узнать, что могли означать эти странные экзерциции, Максим заковылял по двору и через минуту вошел в гостиную. В дверях он остановился как вкопанный перед неожиданною картиной.

Мальчик, которому шел уже десятый год, сидел у ног матери на низеньком стуле. Рядом с ним, вытянув шею и поводя по сторонам длинным клювом, стоял молодой прирученный аист, которого Иохим подарил пани-

чу. Мальчик каждое утро кормил его из своих рук, и птица всюду сопровождала своего нового друга-хозяина. Теперь Петрусь придерживал аиста одною рукой, а другою тихо проводил вдоль его шеи и затем по туловищу с выражением усиленного внимания на лице. В это самое время мать, с пылающим, возбужденным лицом и печальными глазами, быстро ударяла пальцем по клавише, вызывая из инструмента непрерывно звеневшую высокую ноту. Вместе с тем, слегка перегнувшись на своем стуле, она с болезненной внимательностью вглядывалась в лицо ребенка. Когда же рука мальчика, скользя по ярко-белым перьям, доходила до того места, где эти перья резко сменяются черными на концах крыльев, Анна Михайловна сразу переносила руку на другую клавишу, и низкая басовая нота глухо раскатывалась по комнате.

Оба, и мать и сын, так были поглощены своим занятием, что не заметили прихода Максима, пока он, в свою очередь, очнувшись от удивления, не прервал сеанс вопросом:

– Аннуся! Что это значит?

Молодая женщина, встретив испытующий

взгляд брата, застыдилась, точно застигнутая строгим учителем на месте преступления.

– Вот, видишь ли, – заговорила она смущенно, – он говорит, что различает некоторую разницу в окраске аиста, только не может ясно понять, в чем эта разница... Право, он сам первый заговорил об этом, и мне кажется, что это правда...

– Ну, так что же?

– Ничего, я только хотела ему... немножко... объяснить эту разницу различием звуков... Не сердись, Макс, но, право, я думаю, что это очень похоже...

Эта неожиданная идея поразила Максима таким удивлением, что он в первую минуту не знал, что сказать сестре. Он заставил ее повторить свои опыты и, присмотревшись к напряженному выражению лица слепого, покачал головой.

– Послушай меня, Анна, – сказал он, оставшись наедине с сестрою. – Не следует будить в мальчике вопросов, на которые ты никогда, никогда не в состоянии будешь дать полного ответа.

– Но ведь это он сам заговорил первый,

право... – прервала Анна Михайловна.

– Все равно. Мальчику остается только привыкнуть со своей слепотой, а нам надо стремиться к тому, чтобы он забыл о свете. Я стараюсь, чтобы никакие внешние вызовы не наводили его на бесплодные вопросы, и если бы удалось устранить эти вызовы, то мальчик не сознавал бы недостатка в своих чувствах, как и мы, обладающие всеми пятью органами, не грустим о том, что у нас нет шестого.

– Мы грустим, – тихо возразила молодая женщина.

– Аня!

– Мы грустим, – ответила она упрямо... – Мы часто грустим о невозможном...

Впрочем, сестра подчинилась доводам брата, но на этот раз он ошибался: заботясь об устранении внешних вызовов, Максим забывал те могучие побуждения, которые были заложены в детскую душу самую природою.

IV

«Глаза, – сказал кто-то, – зеркало души». Быть может, вернее было бы сравнить их с окнами, которыми вливаются в душу впечатления яркого, сверкающего цветного

мира. Кто может сказать, какая часть нашего душевного склада зависит от ощущений света?

Человек – одно звено в бесконечной цепи жизней, которая тянется через него из глубины прошедшего к бесконечному будущему. И вот в одном из таких звеньев, слепом мальчике, роковая случайность закрыла эти окна: жизнь должна пройти вся в темноте. Но значит ли это, что в его душе порвались навеки те струны, которыми душа откликается на световые впечатления? Нет, и через это темное существование должна была протянуться и передаться последующим поколениям внутренняя восприимчивость к свету. Его душа была цельная человеческая душа, со всеми ее способностями, а так как всякая способность носит в самой себе стремление к удовлетворению, то и в темной душе мальчика жило неутолимое стремление к свету.

Нетронутыми лежали где-то в таинственной глубине полученные по наследству и дремавшие в неясном существовании «возможностей» силы, с первым светлым лучом готовые подняться ему навстречу. Но окна оста-

ются закрытыми; судьба мальчика решена: ему не видать никогда этого луча, его жизнь вся пройдет в темноте!..

И темнота эта была полна призраков.

Если бы жизнь ребенка проходила среди нужды и горя – это, быть может, отвлекло бы его мысль к внешним причинам страдания. Но близкие люди устранили от него все, что могло бы его огорчать. Ему доставили полное спокойствие и мир, и теперь самая тишина, царившая в его душе, способствовала тому, что внутренняя неудовлетворенность слышалась яснее. Среди тишины и мрака, его окружавших, вставало смутное неумолкающее сознание какой-то потребности, искавшей удовлетворения, являлось стремление оформить дремлющие в душевной глубине, не находившие исхода, силы.

Отсюда – какие-то смутные предчувствия и порывы, вроде того стремления к полету, которое каждый испытывал в детстве и которое сказывается в этом возрасте своими чудными снами.

Отсюда, наконец, вытекали инстинктивные потуги детской мысли, отражавшиеся на

лице болезненным вопросом. Эти наследственные, но не тронутые в личной жизни «возможности» световых представлений вставали, точно призраки, в детской головке, бесформенные, неясные и темные, вызывая мучительные и смутные усилия.

Природа подымалась бессознательным протестом против индивидуального «случая» за нарушенный общий закон.

V

Таким образом, сколько бы ни старался Максим устранять все внешние вызовы, он никогда не мог уничтожить внутреннего давления неудовлетворенной потребности. Самое большее, что он мог достигнуть своею осмотрительностью, это – не будить ее раньше времени, не усиливать страданий слепого. В остальном тяжелая судьба ребенка должна была идти своим чередом, со всеми ее суровыми последствиями.

И она надвигалась темною тучей. Природная живость мальчика с годами все более и более исчезала, подобно убывающей волне, между тем как смутно, но непрерывно звучащее в душе его грустное настроение уси-

ливалось, сказываясь на его темпераменте. Смех, который можно было слышать во время его детства при каждом особенно ярком новом впечатлении, теперь раздавался все реже и реже. Все смеющееся, веселое, отмеченное печатью юмора, было ему малодоступно; но зато все смутное, неопределенно-грустное и туманно-меланхолическое, что слышится в южной природе и отражается в народной песне, он улавливал с замечательной полнотой. Слезы являлись у него каждый раз на глазах, когда он слушал, как «в полі могила з вітром говорила», и он сам любил ходить в поле слушать этот говор. В нем все больше и больше вырабатывалась склонность к уединению, и когда в часы, свободные от занятий, он уходил один на свою одинокую прогулку, домашние старались не ходить в ту сторону, чтобы не нарушить его уединения. Усевшись где-нибудь на кургане в степи, или на холмике над рекой, или, наконец, на хорошо знакомом утесе, он слушал лишь шелест листьев да шепот травы или неопределенные вздохи степного ветра. Все это особенным образом гармонировало с глубиной его душевного настрое-

ния. Насколько он мог понимать природу, тут он понимал ее вполне и до конца. Тут она не тревожила его никакими определенными и неразрешимыми вопросами; тут этот ветер вливался ему прямо в душу, а трава, казалось, шептала ему тихие слова сожаления, и, когда душа юноши, настроившись в лад с окружающей тихой гармонией, размягчалась от теплой ласки природы, он чувствовал, как что-то подымается в груди, прибывая и разливаясь по всему его существу. Он припадал тогда к сыроватой, прохладной траве и тихо плакал, но в этих слезах не было горечи. Иногда же он брал дудку и совершенно забывался, подбирая задумчивые мелодии к своему настроению и в лад с тихой гармонией степи.

Понятно, что всякий человеческий звук, неожиданно врывавшийся в это настроение, действовал на него болезненным, резким диссонансом. Общение в подобные минуты возможно только с очень близкою, дружескою душой, а у мальчика был только один такой друг его возраста, именно – белокурая девочка из поссесорской усадьбы.

И эта дружба крепла все больше, отлича-

ьясь полную взаимностью. Если Эвелина вносила в их взаимные отношения свое спокойствие, свою тихую радость, сообщала слепому новые оттенки окружающей жизни, то и он, в свою очередь, давал ей... свое горе. Казалось, первое знакомство с ним нанесло чуткому сердцу маленькой женщины кровавую рану: выньте из раны кинжал, нанесший удар, и она истечет кровью. Впервые познакомившись на холмике в степи со слепым мальчиком, маленькая женщина ощутила острое страдание сочувствия, и теперь его присутствие становилось для нее все более необходимым. В разлуке с ним рана будто раскрывалась вновь, боль оживала, и она стремилась к своему маленькому другу, чтобы неустанною заботой утолить свое собственное страдание.

VI

Однажды в теплый осенний вечер оба семейства сидели на площадке перед домом, любуясь звездным небом, синевшим глубокою лазурью и горевшим огнями. Слепой, по обыкновению, сидел рядом с своею подругой около матери.

Все на минуту смолкли. Около усадьбы бы-

ло совсем тихо; только листья по временам, чутко встрепенувшись, бормотали что-то невнятное и тотчас же смолкали.

В эту минуту блестящий метеор, сорвавшись откуда-то из глубины темной лазури, пронесся яркою полосой по небу, оставив за собой фосфорический след, угасший медленно и незаметно. Все подняли глаза. Мать, сидевшая об руку с Петриком, почувствовала, как он встрепенулся и вздрогнул.

– Что это... было? – повернулся он к ней взволнованным лицом.

– Это звезда упала, дитя мое.

– Да, звезда, – прибавил он задумчиво. – Я так и знал.

– Откуда же ты мог знать, мой мальчик? – переспросила мать с печальным сомнением в голосе.

– Нет, это он говорит правду, – вмешалась Эвелина. – Он многое знает... «так»...

Уже эта все развивавшаяся чуткость указывала, что мальчик заметно близится к критическому возрасту между отрочеством и юношеством. Но пока его рост совершался довольно спокойно. Казалось даже, будто он

свыкся с своей долей, и странно-уравновешенная грусть без просвета, но и без острых порываний, которая стала обычным фоном его жизни, теперь несколько смягчилась. Но это был лишь период временного затишья. Эти роздыхи природа дает как будто нарочно; в них молодой организм устаивается и крепнет для новой бури. Во время этих затиший незаметно набираются и зреют новые вопросы. Один толчок – и все душевное спокойствие всколеблется до глубины, как море под ударом внезапно налетевшего шквала.

Глава пятая

I

Так прошло еще несколько лет. Ничто не изменилось в тихой усадьбе. По-прежнему шумели буки в саду, только их листва будто потемнела, сделалась еще гуще; по-прежнему белели приветливые стены, только они чуть-чуть покривились и осели; по-прежнему хмурились и соломенные стрехи, и даже свирель Иохима слышалась в те же часы из конюшни; только теперь уже и сам Иохим, остававшийся холостым конюхом

в усадьбе, предпочитал слушать игру слепого панича на дудке или на фортепиано – безразлично.

Максим поседел еще больше. У Попельских не было других детей, и потому слепой первенец по-прежнему остался центром, около которого группировалась вся жизнь усадьбы. Для него усадьба замкнулась в своем тесном кругу, довольствуясь своею собственною тихою жизнью, к которой примыкала не менее тихая жизнь посесорской «хатки». Таким образом Петр, ставший уже юношей, вырос, как тепличный цветок, огражденный от резких сторонних влияний далекой жизни.

Он, как и прежде, стоял в центре громадного темного мира. Над ним, вокруг него, всюду протянулась тьма, без конца и пределов: чуткая тонкая организация подымалась, как упруго натянутая струна, навстречу всякому впечатлению, готовая задрожать ответными звуками. В настроении слепого заметно сказывалось это чуткое ожидание; ему казалось, что вот-вот эта тьма протянется к нему своими невидимыми руками и тронет в нем что-то такое, что так томительно дремлет в душе

и ждет пробуждения.

Но знакомая добрая и скучная тьма усадьбы шумела только ласковым шепотом старого сада, навевая смутную, баюкающую, успокоительную думу. О далеком мире слепой знал только из песен, из истории, из книг. Под задумчивый шепот сада, среди тихих будней усадьбы, он узнавал лишь по рассказам о бурях и волнениях далекой жизни. И все это рисовалось ему сквозь какую-то волшебную дымку, как песня, как былина, как сказка.

Казалось, так было хорошо. Мать видела, что огражденная будто стеной душа ее сына дремлет в каком-то заколдованном полусне, искусственном, но спокойном. И она не хотела нарушать этого равновесия, боялась его нарушить.

Эвелина, выросшая и сложившаяся как-то совершенно незаметно, глядела на эту заколдованную тишь своими ясными глазами, в которых можно было по временам подметить что-то вроде недоумения, вопроса о будущем, но никогда не было и тени нетерпения. Попельский-отец привел имение в образцовый порядок, но до вопросов о будущем его сына

доброму человеку, конечно, не было ни малейшего дела. Он привык, что все делается само собой. Один только Максим по своей натуре с трудом выносил эту тишь, и то как нечто временное, входившее поневоле в его планы. Он считал необходимым дать душе юноши устояться, окрепнуть, чтобы быть в состоянии встретить резкое прикосновение жизни.

Между тем там, за чертой этого заколдованного круга, жизнь кипела, волновалась, бурлила. И вот, наконец, наступило время, когда старый наставник решился разорвать этот круг, отворить дверь теплицы, чтобы в нее могла ворваться свежая струя наружного воздуха.

II

Для первого случая он пригласил к себе старого товарища, который жил верстах в 70-ти от усадьбы Попельских. Максим иногда бывал у него и прежде, но теперь он знал, что у Ставрученки гостит приезжая молодежь, и написал ему письмо, приглашая всю компанию. Приглашение это было охотно принято. Старики были связаны давнею дружбой, а молодежь помнила довольно громкое некогда

имя Максима Яценка, с которым связывались известные традиции. Один из сыновей Ставрuchenка был студент киевского университета по модному тогда филологическому факультету. Другой изучал музыку в петербургской консерватории. С ними приехал еще юный кадет, сын одного из ближайших помещиков.

Ставрuchenко был крепкий старик, седой, с длинными козацкими усами и в широких козацких шароварах. Он носил кисет с табаком и трубку привязанными у пояса, говорил не иначе, как по-малорусски, и рядом с двумя сыновьями, одетыми в белые свитки и расшитые малороссийские сорочки, очень напоминал гоголевского Бульбу с сыновьями. Однако в нем не было и следов романтизма, отличавшего гоголевского героя. Наоборот, он был отличный практик-помещик, всю жизнь превосходно ладивший с крепостными отношениями, а теперь, когда эта «неволя» была уничтожена, сумевший хорошо приноровиться и к новым условиям. Он знал народ, как знали его помещики, то есть он знал каждого мужика своей деревни и у каждого мужика

знал каждую корову и чуть не каждый лиш-
ний карбованец в мужицкой мошне.

Зато, если он и не дрался с своими сыно-
вьями на кулачки, как Бульба, то все же меж-
ду ними происходили постоянные и очень
свирепые стычки, которые не ограничива-
лись ни временем, ни местом. Всюду, дома и в
гостях, по самому ничтожному поводу между
стариком и молодежью вспыхивали нескон-
чаемые споры. Начиналось обыкновенно с то-
го, что старик, посмеиваясь, дразнил «идеаль-
ных паничей»; те горячились, старик тоже
разгорячался, и тогда подымался самый нево-
образимый галдеж, в котором обеим сторо-
нам доставалось не на шутку.

Это было отражение известной розни «от-
цов и детей»: только здесь это явление сказыва-
лось в значительно смягченной форме. Мо-
лодежь, с детства отданная в школы, деревню
видела только в короткое каникулярное вре-
мя, и потому у ней не было того конкретного
знания народа, каким отличались отцы-поме-
щики. Когда поднялась в обществе волна «на-
родолюбия», заставшая юношей в высших
классах гимназии, они обратились к изуче-

нию родного народа, но начали это изучение с книжек. Второй шаг привел их к непосредственному изучению проявлений «народного духа» в его творчестве. Хождение в народ паничей в белых свитках и расшитых сорочках было тогда сильно распространено в Юго-западном крае. На изучение экономических условий не обращалось особенного внимания. Молодые люди записывали слова и музыку народных думок и песен, изучали предания, сверяли исторические факты с их отражением в народной памяти, вообще смотрели на мужика сквозь поэтическую призму национального романтизма. От этого, пожалуй, не прочь были и старики, но все же они никогда не могли договориться с молодежью до какого-либо соглашения.

– Вот послушай ты его, – говорил Ставрченко Максиму, лукаво подталкивая его локтем, когда студент ораторствовал с раскрасневшимся лицом и сверкающими глазами. – Вот, собачий сын, говорит, как пишет!.. Подумаешь, и в самом деле голова! А расскажи ты нам, ученый человек, как тебя мой Нечипор надул, а?

Старик поводил усами и хохотал, рассказывая с чисто хохляцким юмором соответствующий случай. Юноши краснели, но в свою очередь не оставались в долгу. «Если они не знают Нечипора и Хведька из такой-то деревни, зато они изучают весь народ в его общих проявлениях; они смотрят с высшей точки зрения, при которой только и возможны выводы и широкие обобщения. Они обнимают одним взглядом далекие перспективы, тогда как старые и заматерелые в рутине практики из-за деревьев не видят всего леса».

Старику не было неприятно слушать мудреные речи сыновей.

– Таки видно, что недаром в школе учились, – говаривал он, самодовольно поглядывая на слушателей. – А все же, я вам скажу, мой Хведько вас обоих и введет, и выведет, как телят на веревочке, вот что!.. Ну а я и сам его, шельму, в свой кисет уложу и в карман спрячу. Вот и значит, что вы передо мною все равно, что щенята перед старым псом.

III

В данную минуту один из подобных споров только что затих. Старшее поколение уда-

лилось в дом, и сквозь открытые окна слышно было по временам, как Ставрченко с торжеством рассказывал разные комические эпизоды и слушатели весело хохотали.

Молодые люди оставались в саду. Студент, подостлав под себя свитку и заломив смушковую шапку, разлегся на траве с несколько тенденциозною непринужденностью. Его старший брат сидел на завалинке рядом с Эвелиной. Кадет в аккуратно застегнутом мундире помещался с ним рядом, а несколько в стороне, опершись на подоконник, сидел, опустив голову, слепой; он обдумывал только что смолкшие и глубоко взволновавшие его споры.

– Что вы думаете обо всем, что здесь говорилось, панна Эвелина? – обратился к своей соседке молодой Ставрченко. – Вы, кажется, не проронили ни одного слова.

– Все это очень хорошо, то есть то, что вы говорили отцу. Но...

– Но... что же?

Девушка ответила не сразу. Она положила к себе на колени свою работу, разгладила ее руками и, слегка наклонив голову, стала рас-

смаатривать ее с задумчивым видом. Трудно было разобрать, думала ли она о том, что ей следовало взять для вышивки канву покрупнее, или же обдумывала свой ответ.

Между тем молодые люди с нетерпением ждали этого ответа. Студент приподнялся на локте и повернул к девушке лицо, оживленное любопытством. Ее сосед уставился на нее спокойным, пытливым взглядом. Слепой переменил свою непринужденную позу, выпрямился и потом вытянул голову, отвернувшись лицом от остальных собеседников.

– Но, – проговорила она тихо, все продолжая разглаживать рукой свою вышивку, – у всякого человека, господа, своя дорога в жизни.

– Господи! – резко воскликнул студент, – какое благоразумие! – Да вам, моя панночка, сколько лет, в самом деле?

– Семнадцать, – ответила Эвелина просто, но тотчас же прибавила с наивно-торжествующим любопытством: – А ведь вы думали, гораздо больше, не правда ли?

Молодые люди засмеялись.

– Если б у меня спросили мнение насчет

вашего возраста, – сказал ее сосед, – я сильно колебался бы между тринадцатью и двадцатью тремя. Правда, иногда вы кажетесь совсем-таки ребенком, а рассуждаете порой, как опытная старушка.

– В серьезных делах, Гаврило Петрович, нужно и рассуждать серьезно, – произнесла маленькая женщина докторальным тоном, опять принимаясь за работу.

Все на минуту смолкли. Иголка Эвелины опять мерно заходила по вышивке, а молодые люди оглядывали с любопытством миниатюрную фигуру благоразумной особы.

IV

Эвелина, конечно, значительно выросла и развилась со времени первой встречи с Петром, но замечание студента насчет ее вида было совершенно справедливо. При первом взгляде на это небольшое, худощавое созданище казалось, что это еще девочка, но в ее неторопливых, размеренных движениях сказывалась нередко солидность женщины. То же впечатление производило и ее лицо. Такие лица бывают, кажется, только у славянок. Правильные красивые черты зарисова-

ны плавными, холодными линиями; голубые глаза глядят ровно, спокойно; румянец редко является на этих бледных щеках, но это не та обычная бледность, которая ежеминутно готова вспыхнуть пламенем жгучей страсти, это скорее холодная белизна снега. Прямые светлые волосы Эвелины чуть-чуть оттенялись на мраморных висках и спадали тяжелой косой, как будто оттягивавшей назад ее голову при походке.

Слепой тоже вырос и возмужал. Всякому, кто посмотрел бы на него в ту минуту, когда он сидел поодаль от описанной группы, бледный, взволнованный и красивый, сразу бросилось бы в глаза это своеобразное лицо, на котором так резко отражалось всякое душевное движение. Черные волосы красивою волной склонялись над выпуклым лбом, по которому прошли ранние морщинки. На щеках быстро вспыхивал густой румянец и так же быстро разливалась матовая бледность. Нижняя губа, чуть-чуть оттянутая углами вниз, по временам как-то напряженно вздрагивала, брови чутко настораживались и шевелились, а большие красивые глаза, глядевшие ров-

ным и неподвижным взглядом, придавали лицу молодого человека какой-то не совсем обычный мрачный оттенок.

– Итак, – насмешливо заговорил студент после некоторого молчания, – панна Эвелина полагает, что все, о чем мы говорили, недоступно женскому уму, что удел женщины – узкая сфера детской и кухни.

В голосе молодого человека слышалось самодовольство (тогда эти словечки были совсем новенькие) и вызывающая ирония; на несколько секунд все смолкли, и на лице девушки проступил нервный румянец.

– Вы слишком торопитесь со своими заключениями, – сказала она. – Я понимаю все, о чем здесь говорилось, – значит, женскому уму это доступно. Я говорила только о себе лично.

Она смолкла и наклонилась над шитьем с таким вниманием к работе, что у молодого человека не хватило решимости продолжать дальнейший вопрос.

– Странно, – пробормотал он. – Можно подумать, что вы распланировали уже свою жизнь до самой могилы.

– Что же тут странного, Гаврило Петрович? – тихо возразила девушка. – Я думаю, даже Илья Иванович (имя кадета) наметил уже свою дорогу, а ведь он моложе меня.

– Это правда, – сказал кадет, довольный этим вызовом. – Я недавно читал биографию N. N. Он тоже поступал по ясному плану: в двадцать лет женился, а в тридцать пять командовал частью.

Студент ехидно засмеялся, девушка слегка покраснела.

– Ну, вот видите, – сказала она через минуту с какою-то холодной резкостью в голосе, – у всякого своя дорога.

Никто не возражал больше. Среди молодой компании водворилась серьезная тишина, под которой чувствуется так ясно недоумелый испуг: все смутно поняли, что разговор перешел на деликатную личную почву, что под простыми словами зазвучала где-то чутко натянутая струна...

И среди этого молчания слышался только шорох темнеющего и будто чем-то недовольного старого сада.

Все эти беседы, эти споры, эта волна кипучих молодых запросов, надежд, ожиданий и мнений, — все это нахлынуло на слепого неожиданно и бурно. Сначала он прислушивался к ним с выражением восторженного изумления, но вскоре он не мог не заметить, что эта живая волна катится мимо него, что ей до него нет дела. К нему не обращались с вопросами, у него не спрашивали мнений, и скоро оказалось, что он стоит особняком, в каком-то грустном уединении, тем более грустном, чем шумнее была теперь жизнь усадьбы.

Тем не менее он продолжал прислушиваться ко всему, что для него было так ново, и его крепко сдвинутые брови, побледневшее лицо выказывали усиленное внимание. Но это внимание было мрачно, под ним таилась тяжелая и горькая работа мысли.

Мать смотрела на сына с печалью в глазах. Глаза Эвелины выражали сочувствие и беспокойство. Один Максим будто не замечал, какое действие производит шумное общество на слепого, и радушно приглашал гостей навещать почаще в усадьбу, обещая моло-

дым людям обильный этнографический материал к следующему приезду.

Гости обещали вернуться и уехали. Прощаясь, молодые люди радушно пожимали руки Петра. Он порывисто отвечал на эти пожатия и долго прислушивался, как стучали по дороге колеса их брички. Затем он быстро повернулся и ушел в сад.

С отъездом гостей в усадьбе все стихло, но эта тишина показалась слепому какою-то особенной, необычной и странной. В ней слышалось как будто признание, что здесь произошло что-то особенно важное. В смолкших аллеях, отзывавшихся только шепотом буков и сирени, слепому чуялись отголоски недавних разговоров. Он слышал также в открытое окно, как мать и Эвелина о чем-то спорили с Максимом в гостиной. В голосе матери он заметил мольбу и страдание, голос Эвелины звучал негодованием, а Максим, казалось, страстно, но твердо отражал нападение женщин. С приближением Петра эти разговоры мгновенно смолкали.

Максим сознательно беспощадною рукой пробил первую брешь в стене, окружавшей

до сих пор мир слепого. Гулкая, беспокойная первая волна уже хлынула в пролом, и душевное равновесие юноши дрогнуло под этим первым ударом.

Теперь ему казалось уже тесно в его заколдованном круге. Его тяготила спокойная тишь усадьбы, ленивый шепот и шорох старого сада, однообразие юного душевного сна. Тьма заговорила с ним своими новыми обольстительными голосами, заколыхалась новыми смутными образами, теснясь с тоскливою суетой заманчивого оживления.

Она звала его, манила, будила дремавшие в душе запросы, и уже эти первые призывы сказались в его лице бледностью, а в душе — тупым, хотя еще смутным страданием.

От женщин не ускользнули эти тревожные признаки. Мы, зрячие, видим отражение душевных движений на чужих лицах и потому приучаемся скрывать свои собственные. Слепые в этом отношении совершенно беззащитны, и потому на побледневшем лице Петра можно было читать, как в интимном дневнике, оставленном открытым в гостиной... На нем была написана мучительная тревога.

Женщины видели, что Максим тоже замечает все это, но это входит в какие-то планы старика. Обе они считали это жестокостью, и мать хотела бы своими руками оградить сына. «Теплица? – что ж такое, если ее ребенку до сих пор было хорошо в теплице? Пусть будет так и дальше, навсегда... Спокойно, тихо, невозмутимо...» Эвелина не высказывала, по видимому, всего, что было у нее на душе, но с некоторых пор она переменялась к Максиму и стала возражать против некоторых, иногда совсем незначительных, его предложений с небывалою резкостью.

Старик смотрел на нее из-под бровей пытливыми глазами, которые встречались порой с гневным, сверкающим взглядом молодой девушки. Максим покачивал головой, бормотал что-то и окружал себя особенно густыми клубами дыма, что было признаком усиленной работы мысли; но он твердо стоял на своем и порой, ни к кому не обращаясь, отпускал презрительные сентенции насчет неразумной женской любви и короткого бабьего ума, который, как известно, гораздо короче волоса; поэтому женщина не может видеть даль-

ше минутного страдания и минутной радости. Он мечтал для Петра не о спокойствии, а о возможной полноте жизни. Говорят, всякий воспитатель стремится сделать из питомца свое подобие. Максим мечтал о том, что пережил сам и чего так рано лишился: о кипучих кризисах и о борьбе. В какой форме, – он не знал и сам, но упорно стремился расширить для Петра круг живых внешних впечатлений, доступных слепому, рискуя даже потрясениями и душевными переворотами. Он чувствовал, что обе женщины хотят совсем другого...

– Наседка! – говорил он иногда сестре, сердито стуча по комнате своими костылями... Но он сердился редко; большею же частью на доводы сестры он возражал мягко и с снисходительным сожалением, тем более что она каждый раз уступала в споре, когда оставалась наедине с братом; это, впрочем, не мешало ей вскоре опять возобновлять разговор. Но когда при этом присутствовала Эвелина, дело становилось серьезнее; в этих случаях старик предпочитал отмалчиваться. Казалось, между ним и молодой девушкой завязывалась какая-то борьба, и оба они еще только изучали

противника, тщательно скрывая свои карты.

VI

Когда через две недели молодые люди опять вернулись вместе с отцом, Эвелина встретила их с холодной сдержанностью. Однако ей было трудно устоять против обаятельного молодого оживления. Целые дни молодежь шаталась по деревне, охотилась, записывала в полях песни жниц и жнецов, а вечером вся компания собиралась на завалинке усадьбы, в саду.

В один из таких вечеров Эвелина не успела спохватиться, как разговор опять перешел на щекотливые темы. Как это случилось, кто начал первый, — ни она, да и никто не мог бы сказать. Это вышло так же незаметно, как незаметно потухла заря и по саду расползлись вечерние тени, как незаметно завел соловей в кустах свою вечернюю песню.

Студент говорил пылко, с тою особенною юношескою страстью, которая кидается навстречу неизвестному будущему безрасчетно и безрассудно. Была в этой вере в будущее с его чудесами какая-то особенная чарующая сила, почти неодолимая сила привычки...

Молодая девушка вспыхнула, поняв, что этот вызов, быть может без сознательного расчета, был обращен теперь прямо к ней.

Она слушала, низко наклонясь над работой. Ее глаза заискрились, щеки загорелись румянцем, сердце стучало... Потом блеск глаз потух, губы сжались, а сердце застучало еще сильнее, и на побледневшем лице появилось выражение испуга.

Она испугалась оттого, что перед ее глазами будто раздвинулась темная стена, и в этот просвет блеснули далекие перспективы обширного, кипучего и деятельного мира.

Да, он манит ее уже давно. Она не сознавала этого ранее, но в тени старого сада, на уединенной скамейке, она нередко просиживала целые часы, отдаваясь небывалым мечтам. Воображение рисовало ей яркие далекие картины, и в них не было места слепому...

Теперь этот мир приблизился к ней; он не только манит ее, он предъявляет на нее какое-то право.

Она кинула быстрый взгляд в сторону Петра, и что-то кольнуло ей сердце. Он сидел неподвижный, задумчивый: вся его фигура

казалась отяжелевшей и осталась в ее памяти мрачным пятном. «Он понимает... все», – мелькнула у нее мысль, быстрая, как молния, и девушка почувствовала какой-то холод. Кровь отлила к сердцу, а на лице она сама ощутила внезапную бледность. Ей представилось на мгновение, что она уже там, в этом далеком мире, а он сидит вот здесь, один с опущенною головой, или нет... Он там, на холмике, над речкой, этот слепой мальчик, над которым она плакала в тот вечер...

И ей стало страшно. Ей показалось, что кто-то готовится вынуть нож из ее давнишней раны.

Она вспомнила долгие взгляды Максима. Так вот что значили эти молчаливые взгляды! Он лучше ее самой знал ее настроение, он угадал, что в ее сердце возможна еще борьба и выбор, что она в себе не уверена... Но нет, – он ошибается. Она знает свой первый шаг, а там она посмотрит, что можно будет взять у жизни еще...

Она вздохнула трудно и тяжело, как бы переводя дыхание после тяжелой работы, и оглянулась кругом. Она не могла бы сказать,

долго ли длилось молчание, давно ли смолк студент, говорил ли он еще что-нибудь... Она посмотрела туда, где за минуту сидел Петр... Его не было на прежнем месте.

VII

Тогда, спокойно сложив работу, она тоже поднялась.

– Извините, господа, – сказала она, обращаясь к гостям. – Я вас на время оставлю одних.

И она пошла вдоль темной аллеи.

Этот вечер был исполнен тревоги не для одной Эвелины. На повороте аллеи, где стояла скамейка, девушка услышала взволнованные голоса. Максим разговаривал с сестрой.

– Да, о ней я думал в этом случае не менее, чем о нем, – говорил старик сурово. – Подумай, ведь она еще ребенок, не знающий жизни! Я не хочу верить, что ты желала бы воспользоваться неведением ребенка.

В голосе Анны Михайловны, когда она ответила, слышались слезы.

– А что же, Макс, если... если она... Что же будет тогда с моим мальчиком?

– Будь что будет! – твердо и угрюмо ответил старый солдат. – Тогда посмотрим; во вся-

ком случае на нем не должно тяготеть сознание чужой испорченной жизни... Да и на нашей совести тоже... Подумай об этом, Аня, – добавил он мягче.

Старик взял руку сестры и нежно поцеловал ее. Анна Михайловна склонила голову.

– Мой бедный мальчик, бедный... Лучше бы ему никогда не встречаться с нею...

Девушка скорее угадала эти слова, чем слышала: так тихо вырвался этот стон из уст матери.

Краска залила лицо Эвелины. Она невольно остановилась на повороте аллеи... Теперь, когда она выйдет, оба они видят, что она подслушала их тайные мысли...

Но через несколько мгновений она гордо подняла голову. Она не хотела подслушивать, и, во всяком случае, не ложный стыд может остановить ее на ее дороге. К тому же этот старик берет на себя слишком много. Она сама сумеет распорядиться своею жизнью.

Она вышла из-за поворота дорожки и прошла мимо обоих говоривших спокойно и с высоко поднятою головой. Максим с невольной торопливостью подобрал свой костыль,

чтобы дать ей дорогу, а Анна Михайловна посмотрела на нее с каким-то подавленным выражением любви, почти обожания и страха.

Мать будто чувствовала, что эта гордая и белокурая девушка, которая только что прошла с таким гневно вызывающим видом, пронесла с собой счастье или несчастье всей жизни ее ребенка.

VIII

В дальнем конце сада стояла старая заброшенная мельница. Колеса давно уже не вертелись, валы обросли мхом, и сквозь старые шлюзы просачивалась вода несколькими тонкими, неумолчно звеневшими струйками. Это было любимое место слепого. Здесь он просиживал целые часы на парапете плотины, прислушиваясь к говору сочившейся воды, и умел прекрасно передавать на фортепиано этот говор. Но теперь ему было не до того... Теперь он быстро ходил по дорожке с переполненным горечью сердцем, с искаженным от внутренней боли лицом.

Заслышав легкие шаги девушки, он остановился; Эвелина положила ему на плечо руку и спросила серьезно:

– Скажи мне, Петр, что это с тобой? Отчего ты такой грустный?

Быстро повернувшись, он опять зашагал по дорожке. Девушка пошла с ним рядом.

Она поняла его резкое движение и его молчание и на минуту опустила голову. От усадьбы слышалась песня:

*З-за крутої горы,
Выліталы орлы,
Выліталы, гуркоталы,
Роскоши шукалы...*

Смягченный расстоянием, молодой, сильный голос пел о любви, о счастье, о просторе, и эти звуки неслись в тишине ночи, покрывая ленивый шепот сада...

Там были счастливые люди, которые говорили об яркой и полной жизни; она еще несколько минут назад была с ними, опьяненная мечтами об этой жизни, в которой ей не было места. Она даже не заметила его ухода, а кто знает, какими долгими показались ему эти минуты одинокого горя...

Эти мысли прошли в голове молодой девушки, пока она ходила рядом с Петром по аллее. Никогда еще не было так трудно заго-

ворить с ним, овладеть его настроением. Однако она чувствовала, что ее присутствие понемногу смягчает его мрачное раздумье.

Действительно, его походка стала тише, лицо спокойнее. Он слышал рядом ее шаги, и понемногу острая душевная боль стихала, уступая место другому чувству. Он не отдавал себе отчета в этом чувстве, но оно было ему знакомо, и он легко подчинялся его благотворному влиянию.

– Что с тобой? – повторила она свой вопрос.

– Ничего особенного, – ответил он с горечью. – Мне только кажется, что я совсем лишний на свете.

Песня около дома на время смолкла, и через минуту послышалась другая. Она доносилась чуть слышно; теперь студент пел старую «думу», подражая тихому напеву бандуристов. Иногда голос, казалось, совсем смолкал, воображением овладевала смутная мечта, и затем тихая мелодия опять пробивалась сквозь шорох листьев...

Петр невольно остановился, прислушиваясь.

– Знаешь, – заговорил он грустно, – мне кажется иногда, что старики правы, когда говорят, что на свете становится с годами все хуже. В старые годы было лучше даже слепым. Вместо фортепиано тогда бы я выучился играть на бандуре и ходил бы по городам и селам... Ко мне собирались бы толпы людей, и я пел бы им о делах их отцов, о подвигах и славе. Тогда и я был бы чем-нибудь в жизни. А теперь? Даже этот кадетик с таким резким голосом, и тот, – ты слышала? – говорит: жениться и командовать частью. Над ним смеялись, а я... а мне даже и это недоступно.

Голубые глаза девушки широко открылись от испуга, и в них сверкнула слеза.

– Это ты наслушался речей молодого Ставрученка, – сказала она в смущении, стараясь придать голосу тон беззаботной шутки.

– Да, – задумчиво ответил Петр и прибавил: – У него очень приятный голос. Красив он?

– Да, он хороший, – задумчиво подтвердила Эвелина, но вдруг, как-то гневно спохватившись, прибавила резко: – Нет, он мне все не нравится! Он слишком самоуверен, и

голос у него неприятный и резкий.

Петр выслушал с удивлением эту гневную вспышку. Девушка топнула ногой и продолжала:

– И все это глупости! Это все, я знаю, подстраивает Максим. О, как я ненавижу теперь этого Максима.

– Что ты это, Веля? – спросил удивленно слепой. – Что подстраивает?

– Ненавижу, ненавижу Максима! – упрямо повторяла девушка. – Он со своими расчетами истребил в себе всякие признаки сердца... Не говори, не говори мне о них... И откуда они присвоили себе право распоряжаться чужою судьбой?

Она вдруг порывисто остановилась, сжала свои тонкие руки, так что на них хрустнули пальцы, и как-то по-детски заплакала.

Слепой взял ее за руки с удивлением и участием. Эта вспышка со стороны его спокойной и всегда выдержанной подруги была так неожиданна и необъяснима! Он прислушивался одновременно к ее плачу и к тому странному отголоску, каким отзывался этот плач в его собственном сердце. Ему вспомни-

лись давние годы. Он сидел на холме с такою же грустью, а она плакала над ним так же, как и теперь...

Но вдруг она высвободила руку, и слепой опять удивился: девушка смеялась.

– Какая я, однако, глупая! И о чем это я плачу?

Она вытерла глаза и потом заговорила расстроганым и добрым голосом:

– Нет, будем справедливы: оба они хорошие!.. И то, что он говорил сейчас, – хорошо. Но ведь это же не для всех.

– Для всех, кто может, – сказал слепой.

– Какие пустяки! – ответила она ясно, хотя в ее голосе вместе с улыбкой слышались еще недавние слезы. – Ведь вот и Максим воевал, пока мог, а теперь живет, как может. Ну и мы...

– Не говори: мы! Ты – совсем другое дело...

– Нет, не другое.

– Почему?

– Потому что... Ну да потому, что ведь ты на мне женишься, и, значит, наша жизнь будет одинакова.

Петр остановился в изумлении.

– Я?.. На тебе?.. Значит, ты за меня... замуж?

– Ну да, ну да, конечно! – ответила она с торпливым волнением. – Какой ты глупый! Неужели тебе никогда не приходило это в голову? Ведь это же так просто! На ком же тебе и жениться, как не на мне?

– Конечно, – согласился он с каким-то странным эгоизмом, но тотчас спохватился.

– Послушай, Веля, – заговорил он, взяв ее за руку. – Там сейчас говорили: в больших городах девушки учатся всему, перед тобой тоже могла бы открыться широкая дорога... А я...

– Что же ты?

– А я... слепой! – закончил он совершенно нелогично.

И опять ему вспомнилось детство, тихий плеск реки, первое знакомство с Эвелиной и ее горькие слезы при слове «слепой»... Инстинктивно почувствовал он, что теперь опять причиняет ей такую же рану, и остановился. Несколько секунд стояла тишина, только вода тихо и ласково звенела в шлюзах. Эвелины совсем не было слышно, как будто она исчезла. По ее лицу действительно пробе-

жала судорога, но девушка овладела собой, и, когда она заговорила, голос ее звучал беспечно и шутливо.

– Так что же, что слепой? – сказала она, – но ведь если девушка полюбит слепого, так и выходить надо за слепого... Это уж всегда так бывает, что же нам делать?

– Полюбит... – сосредоточенно повторил он, и брови его сдвинулись, – он вслушивался в новые для него звуки знакомого слова... – Полюбит? – переспросил он с возрастающим волнением.

– Ну да! Ты и я, мы оба любим друг друга... Какой ты глупый! Ну, подумай сам: мог ли бы ты остаться здесь один, без меня?..

Лицо его сразу побледнело, и незрячие глаза остановились, большие и неподвижные.

Было тихо; только вода все говорила о чем-то журча и звеня. Временами казалось, что этот говор ослабевает и вот-вот стихнет; но тотчас же он опять повышался и опять звенел без конца и перерыва. Густая черемуха шептала темною листвой; песня около дома смолкла, но зато над прудом соловей заводил свою...

– Я бы умер, – сказал он глухо.

Ее губы задрожали, как в тот день их первого знакомства, и она сказала с трудом слабым, детским голосом:

– И я тоже... Без тебя, одна... в далеком свете...

Он сжал ее маленькую руку в своей. Ему казалось странным, что ее тихое ответное пожатие так непохоже на прежние: слабое движение ее маленьких пальцев отражалось теперь в глубине его сердца. Вообще, кроме прежней Эвелины, друга его детства, теперь он чувствовал в ней еще какую-то другую, новую девушку. Сам он показался себе могучим и сильным, а она представилась плачущей и слабой. Тогда, под влиянием глубокой нежности, он привлек ее одною рукой, а другою стал гладить ее шелковистые волосы.

И ему казалось, что все горе смолкло в глубине сердца и что у него нет никаких порывов и желаний, а есть только настоящая минута.

Соловей, некоторое время пробовавший свой голос, зацелкал и рассыпался по молчаливому саду неистовою трелью. Девушка

встрепенулась и застенчиво отвела руку Петра.

Он не противился и, отпустив ее, вздохнул полной грудью. Он слышал, как она оправляет свои волосы. Его сердце билось сильно, но ровно и приятно; он чувствовал, как горячая кровь разносит по всем телу какую-то новую сосредоточенную силу. Когда через минуту она сказала ему обычным тоном: «Ну, теперь вернемся к гостям», он с удивлением вслушивался в этот милый голос, в котором звучали совершенно новые ноты.

IX

Гости и хозяйева собрались в маленькой гостиной; недоставало только Петра и Эвелины. Максим разговаривал со своим старым товарищем, молодые люди сидели молча у открытых окон; в небольшом обществе господствовало то особенное тихое настроение, в глубине которого ощущается какая-то не для всех ясная, но всеми сознаваемая драма. Отсутствие Эвелины и Петра было как-то особенно заметно. Максим среди разговора кидал короткие выжидающие взгляды по направлению к дверям. Анна Михайловна с

грустным и как будто виноватым лицом явно старалась быть внимательною и любезною хозяйкой, и только один пан Попельский, значительно округлевший и как всегда благодушный, дремал на своем стуле в ожидании ужина.

Когда на террасе, которая вела из сада в гостиную, раздались шаги, все глаза повернулись туда. В темном четырехугольнике широких дверей показалась фигура Эвелины, а за нею тихо подымался по ступенькам слепой.

Молодая девушка почувствовала на себе эти сосредоточенные, внимательные взгляды, однако это ее не смутило. Она прошла через комнату своею обычною ровною поступью, и только на одно мгновение, встретив короткий из-под бровей взгляд Максима, она чуть-чуть улыбнулась, и ее глаза сверкнули вызовом и усмешкой. Пани Попельская вглядывалась в своего сына.

Молодой человек, казалось, шел вслед за девушкой, не сознавая хорошо, куда она ведет его. Когда в дверях показалось его бледное лицо и тонкая фигура, он вдруг приостановился на пороге этой освещенной комнаты. Но за-

тем он перешагнул через порог и быстро, хотя с тем же полурассеянным, полусосредоточенным видом подошел к фортепиано.

Хотя музыка была обычным элементом в жизни тихой усадьбы, но вместе с тем это был элемент интимный, так сказать, чисто домашний. В те дни, когда усадьба наполнялась говором и пением приезжей молодежи, Петр ни разу не подходил к фортепиано, на котором играл лишь старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии. Это воздержание делало слепого еще более незаметным в оживленном обществе, и мать с сердечной болью следила за темной фигурой сына, терявшегося среди общего блеска и оживления. Теперь, в первый еще раз, Петр смело и как будто даже не вполне сознательно подходил к своему обычному месту... Казалось, он забыл о присутствии чужих. Впрочем, при входе молодых людей в гостиной стояла такая тишина, что слепой мог считать комнату пустою...

Открыв крышку, он слегка тронул клавиши и пробежал по ним несколькими быстрыми, легкими аккордами. Казалось, он о чем-то

спрашивал не то у инструмента, не то у собственного настроения.

Потом, вытянув на клавишах руки, он глубоко задумался, и тишина в маленькой гостининой стала еще глубже.

Ночь глядела в черные отверстия окон; кое-где из сада заглядывали с любопытством зеленые группы листьев, освещенных светом лампы. Гости, подготовленные только что смолкшим смутным рокотом пианино, отчасти охваченные веянием странного вдохновения, витавшего над бледным лицом слепого, сидели в молчаливом ожидании.

А Петр все молчал, приподняв кверху слепые глаза, и все будто прислушивался к чему-то. В его душе подымались, как расколы-хавшиеся волны, самые разнообразные ощущения. Прилив неведомой жизни подхватывал его, как подхватывает волна на морском берегу долго и мирно стоявшую на песке лодку... На лице виднелось удивление, вопрос, и еще какое-то особенное возбуждение проходило по нем быстрыми тенями. Слепые глаза казались глубокими и темными.

Одну минуту можно было подумать, что

он не находит в своей душе того, к чему прислушивается с таким жадным вниманием. Но потом, хотя все с тем же удивленным видом и все как будто не дождавшись чего-то, он дрогнул, тронул клавиши и, подхваченный новой волной нахлынувшего чувства, отдался весь плавным, звонким и певучим аккордам...

Х

Пользоваться нотами слепому вообще трудно. Они отдавливаются, как и буквы, рельефом, причем тоны обозначаются отдельными знаками и ставятся в один ряд, как строчки книги. Чтобы обозначить тоны, соединенные в аккорд, между ними ставятся восклицательные знаки. Понятно, что слепому приходится заучивать их наизусть, притом отдельно для каждой руки. Таким образом, это очень сложная и трудная работа; однако Петру и в этом случае помогала любовь к отдельным составным частям этой работы. Заучив на память по несколько аккордов для каждой руки, он сел за фортепиано, и когда из соединения этих выпуклых иероглифов вдруг неожиданно для него самого складывались стройные созвучия, это доставляло

ему такое наслаждение и представляло столько живого интереса, что этим сухая работа скрашивалась и даже увлекала.

Тем не менее между изображенной на бумаге пьесой и ее исполнением ложилось в этом случае слишком много промежуточных процессов. Пока знак воплощался в мелодию, он должен был пройти через руки, закрепиться в памяти и затем совершить обратный путь к концам играющих пальцев. Притом сильно развитое музыкальное воображение слепого вмешивалось в сложную работу заучивания и налагало на чужую пьесу заметный личный отпечаток. Формы, в какие успешно отлиться музыкальное чувство Петра, были именно те, в каких ему впервые явилась мелодия, в какие отливалась затем игра его матери. Это были формы народной музыки, которые звучали постоянно в его душе, которыми говорила этой душе родная природа.

И теперь, когда он играл какую-то итальянскую пьесу с трепещущим сердцем и переполненной душой, в его игре с первых же аккордов сказалось что-то до такой степени своеобразное, что на лицах посторонних слу-

шателей появилось удивление. Однако через несколько минут очарование овладело всеми безраздельно, и только старший из сыновей Ставрученка, музыкант по профессии, долго еще вслушивался в игру, стараясь уловить знакомую пьесу и анализируя своеобразную манеру пианиста. Струны звенели и рокотали, наполняя гостиную и разносясь по смолкшему саду... Глаза молодежи сверкали оживлением и любопытством. Ставрученко-отец сидел, свесив голову, и молчаливо скучал, но потом стал воодушевляться все больше и больше, поталкивая Максима локтем, и шептал:

– Вот этот играет, так уж играет. Что? Не правду я говорю?

По мере того как звуки росли, старый спорщик стал вспоминать что-то, должно быть свою молодость, потому что глаза его заискрились, лицо покраснело, весь он выпрямился и, приподняв руку, хотел даже ударить кулаком по столу, но удержался и опустил кулак без всякого звука. Оглядев своих молодых быстрым взглядом, он погладил усы и, наклонившись к Максиму, прошептал:

– Хотят стариков в архив... Брешут!.. В свое время и мы с тобой, братику, тоже... Да и теперь еще... Правду я говорю или нет?

Максим, довольно равнодушный к музыке, на этот раз чувствовал что-то новое в игре своего питомца и, окружив себя клубами дыма, слушал, качал головой и переводил глаза с Петра на Эвелину. Еще раз какой-то порыв непосредственной жизненной силы врывался в его систему совсем не так, как он думал... Анна Михайловна тоже кидала на девушку вопросительные взгляды, спрашивая себя: что это – счастье или горе звучит в игре ее сына... Эвелина сидела в тени от абажура, и только ее глаза, большие и потемневшие, выделялись в полумраке. Она одна понимала эти звуки по-своему: ей слышался в них звон воды в старых шлюзах и шепот черемухи в потемневшей аллее.

XI

Мотив давно уже изменился. Оставив итальянскую пьесу, Петр отдался своему воображению. Тут было все, что теснилось в его воспоминании, когда он, за минуту перед тем, молча и опустив голову, прислушивался

к впечатлениям из пережитого прошлого. Тут были голоса природы, шум ветра, шепот леса, плеск реки и смутный говор, смолкающий в безвестной дали. Все это сплеталось и звенело на фоне того особенного глубокого и расширяющего сердце ощущения, которое вызывается в душе таинственным говором природы и которому так трудно подыскать настоящее определение... Тоска?.. Но отчего же она так приятна?.. Радость?.. Но зачем же она так глубоко, так бесконечно грустна?

По временам звуки усиливались, вырастали, крепили. Лицо музыканта делалось странно суровым. Он как будто сам удивлялся новой и для него силе этих неожиданных мелодий и ждал еще чего-то... Казалось, вот-вот несколькими ударами все это сольется в стройный поток могучей и прекрасной гармонии, и в такие минуты слушатели замирали от ожидания. Но, не успев подняться, мелодия вдруг падала с каким-то жалобным ропотом, точно волна, рассыпавшаяся в пену и брызги, и еще долго звучали, замирая, ноты горького недоумения и вопроса.

Слепой смолкал на минуту, и опять в го-

стиной стояла тишина, нарушаемая только шепотом листьев в саду. Обаяние, овладевавшее слушателями и уносившее их далеко за эти скромные стены, разрушалось, и маленькая комната сдвигалась вокруг них, и ночь глядела к ним в темные окна, пока, собравшись с силами, музыкант не ударял вновь по клавишам.

И опять звуки крепили и искали чего-то, подымаясь в своей полноте выше, сильнее. В неопределенный перезвон и говор аккордов вплетались мелодии народной песни, звучавшей то любовью и грустью, то воспоминанием о минувших страданиях и славе, то молодую удалью разгула и надежды. Это слепой пробовал вылить свое чувство в готовые и хорошо знакомые формы.

Но и песня смолкала, дрожа в тишине маленькой гостиной тою же жалобною нотой неразрешенного вопроса.

XII

Когда последние ноты дрогнули смутным недовольством и жалобой, Анна Михайловна, взглянув в лицо сына, увидела на нем выражение, которое показалось ей знако-

мым: в ее памяти встал солнечный день давней весны, когда ее ребенок лежал на берегу реки, подавленный слишком яркими впечатлениями от возбуждающей весенней природы.

Но это выражение заметила только она. В гостиной поднялся шумный говор. Ставрченко-отец что-то громко кричал Максиму, молодые люди, еще взволнованные и возбужденные, пожимали руки музыканта, предсказывали ему широкую известность артиста.

– Да, это верно! – подтвердил старший брат. – Вам удалось удивительно усвоить самый характер народной мелодии. Вы сжились с нею и овладели ею в совершенстве. Но, скажите, пожалуйста, какую это пьесу играли вы вначале?

Петр назвал итальянскую пьесу.

– Я так и думал, – ответил молодой человек. – Мне она несколько знакома... У вас удивительно своеобразная манера... Многие играют лучше вашего, но так, как вы, ее не исполнял еще никто. Это... как будто перевод с итальянского музыкального языка на малорусский. Вам нужна серьезная школа, и то-

Гда...

Слепой слушал внимательно. Впервые еще он стал центром оживленных разговоров, и в его душе зарождалось гордое сознание своей силы. Неужели эти звуки, доставившие ему на этот раз столько неудовлетворенности и страдания, как еще никогда в жизни, могут производить на других такое действие? Итак, он может тоже что-нибудь сделать в жизни. Он сидел на своем стуле, с рукой, еще вытянутой на клавиатуре, и под шум разговоров внезапно почувствовал на этой руке чье-то горячее прикосновение. Это Эвелина подошла к нему и, незаметно сжимая его пальцы, прошептала с радостным возбуждением:

– Ты слышал? У тебя тоже будет своя работа. Если бы ты видел, если бы знал, что ты можешь сделать со всеми нами...

Слепой вздрогнул и выпрямился.

Никто не заметил этой короткой сцены, кроме матери. Ее лицо вспыхнуло, как будто это ей был дан первый поцелуй молодой любви.

Слепой все сидел на том же месте. Он боролся с нахлынувшими на него впечатлени-

ями нового счастья, а может быть, ощущал также приближение грозы, которая вставала уже бесформенною и тяжелою тучей откуда-то из глубины мозга.

Глава шестая

I

На другой день Петр проснулся рано. В комнате было тихо, в доме тоже не начиналось еще движение дня. В окно, которое оставалось открытым на ночь, вливалась из сада свежесть раннего утра. Несмотря на свою слепоту, Петр отлично чувствовал природу. Он знал, что еще рано, что его окно открыто — шорох ветвей раздавался отчетливо и близко, ничем не отдаленный и не прикрытый. Сегодня Петр чувствовал все это особенно ясно: он знал даже, что в комнату смотрит солнце и что если он протянет руку в окно, то с кустов посыплется роса. Кроме того, он чувствовал еще, что все его существо переполнено каким-то новым, неизведанным ощущением.

Несколько минут он лежал в постели, прислушиваясь к тихому щебетанию какой-то птички в саду и к странному чувству, нара-

тавшему в его сердце.

«Что это было со мной?» – подумал он, и в то же мгновение в его памяти прозвучали слова, которые она сказала вчера, в сумерки, у старой мельницы: «Неужели ты никогда не думал об этом?.. Какой ты глупый!..»

Да, он никогда об этом не думал. Ее близость доставляла ему наслаждение, но до вчерашнего дня он не признавал этого, как мы не ощущаем воздуха, которым дышим. Эти простые слова упали вчера в его душу, как падает с высоты камень на зеркальную поверхность воды: еще за минуту она была ровна и спокойно отражала свет солнца и синее небо... Один удар, – и она всколебалась до самого дна.

Теперь он проснулся с обновленной душой, и она, его давняя подруга, являлась ему в новом свете. Вспоминая все, что произошло вчера, до малейших подробностей, он прислушивался с удивлением к тону ее «нового» голоса, который восстановило в его памяти изображение. «Полюбила...», «Какой ты глупый!..»

Он быстро вскочил, оделся и по росистым

дорожкам сада побежал к старой мельнице. Вода журчала, как вчера, и так же шептались кусты черемухи, только вчера было темно, а теперь стояло яркое солнечное утро. И никогда еще он не «чувствовал» света так ясно. Казалось, вместе с душистою сыростью, с ощущением утренней свежести в него проникли эти смеющиеся лучи веселого дня, щекотавшие его нервы.

II

Во всей усадьбе стало как-то светлее и радостнее. Анна Михайловна как будто помолодела сама. Максим чаще шутил, хотя все же по временам из облаков дыма, точно раскаты проходящей стороной грозы, раздавалось его ворчание. Он говорил о том, что многие, по видимому, считают жизнь чем-то вроде плохого романа, кончающегося свадьбой, и что есть на свете много такого, о чем иным людям не мешало бы подумать. Пан Попельский, ставший очень интересным круглым человеком, с ровно и красиво седеющими волосами и румяным лицом, всегда в этих случаях соглашался с Максимом, вероятно принимая эти слова на свой счет, и тотчас же от-

правлялся по хозяйству, которое у него, впрочем, шло отлично. Молодые люди усмехались и строили какие-то планы. Петру предстояло доканчивать серьезно свое музыкальное образование.

Однажды осенью, когда жнива были уже закончены и над полями, сверкая золотыми нитками на солнце, лениво и томно носилось «бабье лето», Попельские всей семьей отправились к Ставрученкам. Имение Ставруково лежало верстах в семидесяти от Попельских, но местность на этом расстоянии сильно менялась: последние отроги Карпат, еще видные на Волыни и в Прибужье, исчезли, и местность переходила в степную Украину. На этих равнинах, перерезанных кое-где оврагами, лежали, утопая в садах и левадах, села, и кое-где по горизонту, давно запаханые и охваченные желтыми жнивами, рисовались высокие могилы.

Такие далекие путешествия были вообще не в обычае семьи. За пределами знакомого села и ближайших полей, которые он изучил в совершенстве, Петр терялся, больше чувствовал свою слепоту и становился раздражи-

телен и беспокоен. Теперь, впрочем, он охотно принял приглашение. После памятного вечера, когда он сознал сразу свое чувство и просыпающуюся силу таланта, он как-то смелее относился к темной и неопределенной дали, которою охватывал его внешний мир. Она начинала тянуть его, все расширяясь в его воображении.

Несколько дней промелькнули очень живо. Петр чувствовал себя теперь гораздо свободнее в молодом обществе. Он с жадным вниманием слушал умелую игру старшего Ставроченка и рассказы о консерватории, о столичных концертах. Его лицо вспыхивало каждый раз, когда молодой хозяин переходил к восторженным похвалам его собственному, необработанному, но сильному музыкальному чувству. Теперь он уже не стушевывался в дальних углах, а, как равный, хотя и несколько сдержанно, вмешивался в общие разговоры. Недавняя еще холодная сдержанность и как бы настороженность Эвелины тоже исчезла. Она держала себя весело и непринужденно, восхищая всех небывалыми прежде вспышками неожиданного и яркого веселья.

Верстах в десяти от имения находился старый N-ский монастырь, очень известный в том крае. Когда-то он играл значительную роль в местной истории; не раз его осаждали, как саранча, загоны татар, посылавших через стены тучи своих стрел, порой пестрые отряды поляков отчаянно лезли на стены, или, наоборот, козаки бурно кидались на приступ, чтобы отбить твердыню у завладевших ею королевских жолнеров... Теперь старые башни осыпались, стены кое-где заменились простым частоколом, защищавшим лишь монастырские огороды от нашествия предприимчивой мужицкой скотины, а в глубине широких рвов росло просо.

Однажды, в ясный день ласковой и поздней осени хозяева и гости отправились в этот монастырь. Максим и женщины ехали в широкой старинной коляске, качавшейся, точно большая ладья, на своих высоких рессорах. Молодые люди и Петр в том числе отправились верхами.

Слепой ездил ловко и свободно, привыкнув прислушиваться к топоту других коней и к шуршанию колес едущего впереди экипажа.

жа. Глядя на его свободную, смелую посадку, трудно было бы угадать, что этот всадник не видит дороги и лишь привык так смело отдаваться инстинкту лошади. Анна Михайловна сначала робко оглядывалась, боясь чужой лошади и незнакомых дорог, Максим посматривал искоса с гордостью ментора и с насмешкой мужчины над бабьими страхами.

– Знаете ли... – сказал, подъезжая к коляске, студент. – Мне вот сейчас вспомнилась очень интересная могила, историю которой мы узнали, роясь в монастырском архиве. Если хотите, мы свернем туда. Это недалеко, на краю села.

– Отчего же это вам приходят в нашем обществе такие грустные воспоминания? – весело засмеялась Эвелина.

– На этот вопрос отвечу после! Сворачивай к Колодке, к леваде Остапа; тут у перелаза остановишься! – крикнул он кучеру и, повернув лошадь, поскакал к своим оставшим товарищам.

Через минуту, когда рыдван, шурша колесами в мягкой пыли и колыхаясь, ехал узким проселком, молодые люди пронесли мимо

него и спешились впереди, привязав лошадей у плетня. Двое из них пошли навстречу, чтобы помочь дамам, а Петр стоял, опершись на луку седла, и, по обыкновению склонив голову, прислушивался, стараясь по возможности определить свое положение в незнакомом месте.

Для него этот светлый осенний день был темною ночью, только оживленною яркими звуками дня. Он слышал на дороге шуршание приближающейся коляски и веселые шутки встречавшей ее молодежи. Около него лошади, звеня стальными наборами уздечек, тянули головы за плетень, к высокому бурьяну огорода... Где-то недалеко, вероятно, над грядами, слышалась тихая песня, лениво и задумчиво веявшая по легкому ветру. Шелестели листья сада, где-то скрипел аист, слышалось хлопанье крыльев и крик как будто внезапно о чем-то вспомнившего петуха, легкий визг «журавля» над колодцем – во всем этом сказывалась близость деревенского рабочего дня.

И действительно, они остановились у плетня крайнего сада... Из более отдаленных

звукосвободствующим был размеренный звон монастырского колокола, высокий и тонкий. По звуку ли этого колокола, по тому ли, как тянул ветер, или еще по каким-то, может быть и ему самому неизвестным, признакам Петр чувствовал, что где-то в той стороне, за монастырем, местность внезапно обрывается, быть может над берегом речки, за которой далеко раскинулась равнина, с неопределенными, трудноуловимыми звуками тихой жизни. Звуки эти долетали до него отрывочно и слабо, давая ему слуховое ощущение дали, в которой мелькает что-то затянутое, неясное, как для нас мелькают очертания далей в вечернем тумане...

Ветер шевелил прядь волос, свесившуюся из-под его шляпы, и тянулся мимо его уха, как протяжный звон эоловой арфы. Какие-то смутные воспоминания бродили в его памяти; минуты из далекого детства, которое воображение выхватывало из забвения прошлого, оживали в виде веяний, прикосновений и звуков... Ему казалось, что этот ветер, смешанный с дальним звоном и обрывками песни, говорит ему какую-то грустную старую

сказку о прошлом этой земли, или о его собственном прошлом, или о его будущем, неопределенном и темном.

Через минуту подъехала коляска, все вышли и, переступив через перелаз в плетне, пошли в леваду. Здесь в углу, заросшая травой и бурьяном, лежала широкая, почти вросшая в землю, каменная плита. Зеленые листья репейника с пламенно-розовыми головками цветов, широкий лопух, высокий куколь на тонких стеблях выделялись из травы и тихо качались от ветра, и Петру был слышен их смутный шепот над заросшею могилой.

– Мы только недавно узнали о существовании этого памятника, – сказал молодой Ставрченко, – а между тем знаете ли, кто лежит под ним? – славный когда-то «лыцарь», старый ватажко Игнат Карый...

– Так вот ты где успокоился, старый разбойник? – сказал Максим задумчиво. – Как он попал сюда, в Колодню?

– В 17.. году козаки с татарами осаждали этот монастырь, занятый польскими войсками... Вы знаете, татары были всегда опасны-

ми союзниками... Вероятно, осажденным удалось как-нибудь подкупить мирзу, и ночью татары кинулись на козаков одновременно с поляками. Здесь, около Колодни, произошла в темноте жестокая сеча. Кажется, что татары были разбиты и монастырь все-таки взят, но козаки потеряли в ночном бою своего атамана.

– В этой истории, – продолжал молодой человек задумчиво, – есть еще другое лицо, хоть мы напрасно искали здесь другой плиты. Судя по старой записи, которую мы нашли в монастыре, рядом с Карым похоронен молодой бандурист... слепой, сопровождавший атамана в походах...

– Слепой? в походах? – испуганно произнесла Анна Михайловна, которой сейчас же представился ее мальчик в страшной ночной сече.

– Да, слепой. По-видимому, это был славный на Запорожье певец... так, по крайней мере, говорит о нем записка, излагающая на своеобразном польско-малорусско-церковном языке всю эту историю. Позвольте, я, кажется, помню ее на память: «А с ним славетный по-

эта козацкий Юрко, нигды не оставлявший Караго и от щирого сердца оным любимый. Которого убивши сила поганьская и того Юрка посекала нечестно, обычаем своей поганьской веры не маючи зваги на калецтво и великий талант до складу песенного и до gry струнной, од якои даже и волцы на степу размягчиться могли б, но пеганьцы не пошановали в ночном нападe. И тут положены рядом певец и рыцарь, коим по честным конце незаводная и вечная слава во веки аминь...»

– Плита довольно широкая, – сказал кто-то. – Может быть, они лежат здесь оба...

– Да, в самом деле, но надписи съедены мхами... Посмотрите, вот вверху булава и бунчук. А дальше все зелено от лишаяев.

– Постойте, – сказал Петр, слушавший весь рассказ с захватывающим волнением.

Он подошел к плите, нагнулся над нею, и его тонкие пальцы впились в зеленый слой лишайников на поверхности плиты. Сквозь него он прощупывал твердые выступы камня.

Так он сидел с минуту, с поднятым лицом и сдвинутыми бровями. Потом он начал читать:

«...Игнатій прозванием Карій... року божого... пострелен из сайдака стрелою татарскою...»

– Это и мы могли еще разобрать, – сказал студент.

Пальцы слепого, нервно напряженные и изогнутые в суставах, спускались все ниже.

– «Которого убивши...»

– «Сила поганьская...» – живо подхватил студент, – эти слова стояли в описании смерти Юрка... значит, правда: и он тут же под одной плитой...

– Да, – «сила поганьская», – прочитал Петр, – дальше все исчезло... Постойте, вот еще: «порубан шаблями татарскими»... кажется, еще какое-то слово... но нет, больше ничего не сохранилось.

Действительно, дальше всякая память о бандуристе терялась в широкой язве полутора-растолетней плиты...

Несколько секунд стояло глубокое молчание, нарушаемое только шорохом листьев. Оно было прервано протяжным благоговеиным вздохом. Это Остап, хозяин левады и собственник по праву давности последнего жи-

лица старого атамана, подошел к господам и с великим удивлением смотрел, как молодой человек с неподвижными глазами, устремленными кверху, разобрал ощупью слова, скрытые от зрячих сотнями годов, дождями и непогодами.

– Сыла господняя, – сказал он, глядя на Петра с благоговением. – Сыла божая открывае сліпенькому, чего зрячий не бачуть очіма.

– Понимаете ли теперь, панночка, почему мне вспомнился этот Юрко-бандурист? – спросил студент, когда старая коляска опять тихо двигалась по пыльной дороге, направляясь к монастырю. – Мы с братом удивлялись, как мог слепой сопровождать Карого с его летучими отрядами. Допустим, что в то время он был уже не кошевой, а простой ватажко. Известно, однако, что он всегда начальствовал отрядом конных козаков-охотников, а не простыми гайдамаками. Обыкновенно бандуристы были старцы нищие, ходившие от села к селу с сумой и песней... Только сегодня, при взгляде на вашего Петра, в моем воображении как-то сразу встала фигура слепого Юрка, с бандурой, вместо рушницы, за спиной и

верхом на лошади...

– И, может быть, он участвовал в битвах... В походах во всяком случае и в опасностях также... – продолжал молодой человек задумчиво. – Какие бывали времена на нашей Украине!

– Как это ужасно, – вздохнула Анна Михайловна.

– Как это было хорошо, – возразил молодой человек.

– Теперь ничего подобного не бывает, – резко сказал Петр, подъехавший тоже к экипажу. Подняв брови и насторожившись к топоту соседних лошадей, он заставил свою лошадь идти рядом с коляской... Его лицо было бледнее обыкновенного, выдавая глубокое внутреннее волнение... – Теперь все это уже исчезло, – повторил он.

– Что должно было исчезнуть – исчезло, – сказал Максим как-то холодно... – Они жили по-своему, вы ищите своего...

– Вам хорошо говорить, – ответил студент, – вы взяли свое у жизни...

– Ну и жизнь взяла у меня мое, – усмехнулся старый гарибальдиец, глядя на свои косты-

ли.

Потом, помолчав, он прибавил:

– Вздыхал и я когда-то о сечи, об ее бурной поэзии и воле... Был даже у Садыка в Турции.
[44]

– И что же? – спросили молодые люди живо.

– Вылечился, когда увидел ваше «вольное козачество» на службе у турецкого деспотизма... Исторический маскарад и шарлатанство!.. Я понял, что история выкинула уже всю эту ветошь на задворки и что главное не в этих красивых формах, а в целях... Тогда-то я и отправился в Италию. Даже не зная языка этих людей, я был готов умереть за их стремления.

Максим говорил серьезно и с какою-то искренней важностью. В бурных спорах, которые происходили у отца Ставрученка с сыновьями, он обыкновенно не принимал участия и только посмеивался, благодушно улыбаясь на апелляции к нему молодежи, считавшей его своим союзником. Теперь, сам затронутый отголосками этой трогательной драмы, так внезапно ожившей для всех над старым

мшистым камнем, он чувствовал, кроме того, что этот эпизод из прошлого странным образом коснулся в лице Петра близкого им всем настоящего.

На этот раз молодые люди не возражали, – может быть, под влиянием живого ощущения, пережитого за несколько минут в леваде Остапа, – могильная плита так ясно говорила о смерти прошлого, – а быть может, под влиянием импонирующей искренности старого ветерана...

– Что же остается нам? – спросил студент после минутного молчания.

– Та же вечная борьба.

– Где? В каких формах?

– Ищите, – ответил Максим кратко.

Раз оставив свой обычный слегка насмешливый тон, Максим, очевидно, был расположен говорить серьезно. А для серьезного разговора на эту тему теперь уже не оставалось времени... Коляска подъехала к воротам монастыря, и студент, наклонясь, придержал за повод лошадь Петра, на лице которого, как в открытой книге, виднелось глубокое волнение.

В монастыре обыкновенно смотрели старинную церковь и взбирались на колокольню, откуда открывался далекий вид. В ясную погоду старались увидеть белые пятнышки губернского города и излучины Днепра на горизонте.

Солнце уже склонялось, когда маленькое общество подошло к запертой двери колокольни, оставив Максима на крыльце одной из монашеских келий. Молодой тонкий послушник, в рясе и остроконечной шапке, стоял под сводом, держась одной рукой за замок запертой двери... Невдалеке, точно распуганная стая птиц, стояла кучка детей; было видно, что между молодым послушником и этой стайкой резвых ребят происходило недавно какое-то столкновение. По его несколько виновинственной позе и по тому, как он держался за замок, можно было заключить, что дети хотели проникнуть на колокольню вслед за господами, а послушник отгонял их. Его лицо было сердито и бледно, только на щеках пятнами выделялся румянец.

Глаза молодого послушника были как-то

странно неподвижны... Анна Михайловна первая заметила выражение этого лица и глаз и нервно схватила за руку Эвелину.

– Слепой, – прошептала девушка с легким испугом.

– Тише, – ответила мать, – и еще... Ты замечаешь?

– Да...

Трудно было не заметить в лице послушника странного сходства с Петром. Та же нервная бледность, те же чистые, но неподвижные зрачки, то же беспокойное движение бровей, настораживавшихся при каждом новом звуке и бегавших над глазами, точно щупальцы у испуганного насекомого... Его черты были грубее, вся фигура угловатее, – но тем резче выступало сходство. Когда он глухо закашлялся, схватившись руками за впалую грудь, – Анна Михайловна смотрела на него широко раскрытыми глазами, точно перед ней вдруг появился призрак...

Перестав кашлять, он отпер дверь и, оставаясь на пороге, спросил несколько надтреснутым голосом:

– Ребят нет? Кышь, проклятые! – мотнулся

он в их сторону всем телом и потом, пропуская вперед молодых людей, сказал голосом, в котором слышалась какая-то вкрадчивость и жадность:

– Звонарю пожертвуете сколько-нибудь?.. Идите осторожно, – темно...

Все общество стало подыматься по ступеням. Анна Михайловна, которая прежде колебалась перед неудобным и крутым подъемом, теперь с какою-то покорностью пошла за другими.

Слепой звонарь запер дверь... Свет исчез, и лишь через некоторое время Анна Михайловна, робко стоявшая внизу, пока молодежь, толкаясь, подымалась по извилинам лестницы, – могла разглядеть тусклую струйку сумеречного света, лившуюся из какого-то косоного пролета в толстой каменной кладке. Против этого луча слабо светило несколько пыльных, неправильной формы камней.

– Дядько, дядюшка, пустить, – раздались из-за двери тонкие голоса детей. – Пустить, дядюшка, хороший.

Звонарь сердито кинулся к двери и неистово застучал кулаками по железной обшивке.

– Пошли, пошли, проклятые... Чтоб вас громом убило! – кричал он, хрипя и как-то захлебываясь от злости...

– Слепой черт, – ответили вдруг несколько звонких голосов, и за дверью раздался быстрый топот десятка босых ног...

Звонарь прислушался и перевел дух.

– Погибели на вас нет... на проклятых... чтоб вас всех передушила хвороба... Ох, господи! Господи ты боже мой! Вскую мя оставил еси... – сказал он вдруг совершенно другим голосом, в котором слышалось отчаяние истрадавшегося и глубоко измученного человека.

– Кто здесь?.. Зачем остался? – резко спросил он, наткнувшись на Анну Михайловну, застывшую у первых ступенек.

– Идите, идите. Ничего, – прибавил он мягче. – Пойдите, держитесь за меня... Пожертвование с вашей стороны звонарю будет? – опять спросил он прежним неприятно вкрадчивым тоном.

Анна Михайловна вынула из кошелька и в темноте подала ему бумажку. Слепой быстро выхватил ее из протянутой к нему руки, и под тусклым лучом, к которому они уже успе-

ли подняться, она видела, как он приложил бумажку к щеке и стал водить по ней пальцем. Странно освещенное и бледное лицо, так похожее на лицо ее сына, исказилось вдруг выражением наивной и жадной радости.

– Вот за это спасибо, вот спасибо. Столбовка настоящая... Я думал – вы насмех... посмеяться над слепеньким... Другие, бывает, смеются...

Все лицо бедной женщины было залито слезами. Она быстро отерла их и пошла кверху, где, точно падение воды за стеной, слышались гулкие шаги и смешанные голоса опередившей ее компании.

На одном из поворотов молодые люди остановились. Они поднялись уже довольно высоко, и в узкое окно, вместе с более свежим воздухом, проникла более чистая, хотя и рассеянная струйка света. Под ней на стене, довольно гладкой в этом месте, роились какие-то надписи. Это были по большей части имена посетителей.

Обмениваясь веселыми замечаниями, молодые люди находили фамилии своих знакомых.

– А вот и сентенция, – заметил студент и прочитал с некоторым трудом: «Мнози суть начинающи, кончающи же в мале...» – Очевидно, дело идет об этом восхождении, – прибавил он шутливо.

– Понимай, как хочешь, – грубо ответил звонарь, поворачиваясь к нему ухом, и его брови заходили быстро и тревожно. – Тут еще стих есть, пониже. Вот бы тебе прочитать...

– Где стих? Нет никакого стиха.

– Ты вот знаешь, что нет, а я тебе говорю, что есть. От вас, зрячих, тоже сокрыто многое...

Он спустился на две ступеньки вниз и, пошарив рукой в темноте, где уже терялись последние слабые отблески дневного луча, сказал:

– Вот тут. Хороший стих, да без фонаря не прочитаете...

Петр поднялся к нему и, проведя рукой по стене, легко разыскал суровый афоризм, врезанный в стену каким-то, может быть более столетия уже умершим, человеком:

*Помни смертный час,
Помни трубный глас,*

*Помни с жизнью разлуку,
Помни вечную муку...*

– Тоже сентенция, – попробовал пошутить студент Ставрученко, но шутка как-то не вышла.

– Не нравится, – ехидно сказал звонарь. – Конечно, ты еще человек молодой, а тоже... кто знает. Смертный час приходит, яко тать в нощи... Хороший стих, – прибавил он опять как-то по-другому... – «Помни смертный час, помни трубный глас...» Да, что-то вот там будет, – закончил он опять довольно злобно.

Еще несколько ступеней, и они все вышли на первую площадку колокольни. Здесь было уже довольно высоко, но отверстие в стене вело еще более неудобным проходом выше. С последней площадки вид открылся широкий и восхитительный. Солнце склонилось на запад к горизонту, по низине легла длинная тень, на востоке лежала тяжелая туча, даль терялась в вечерней дымке, и только кое-где косые лучи выхватывали у синих теней то белую стену мазаной хатки, то загоревшееся рубином оконце, то живую искорку на кресте дальней колокольни.

Все притихли. Высокий ветер, чистый и свободный от испарений земли, тянулся в пролеты, шевеля веревки, и, заходя в самые колокола, вызывал по временам протяжные отголоски. Они тихо шумели глубоким металлическим шумом, за которым ухо ловило что-то еще, точно отдаленную невнятную музыку или глубокие вздохи меди. От всей расстилавшейся внизу картины веяло тихим спокойствием и глубоким миром.

Но тишина, водворившаяся среди небольшого общества, имела еще другую причину. По какому-то общему побуждению, вероятно, вытекавшему из ощущения высоты и своей беспомощности, оба слепые подошли к углам пролетов и стали, опершись на них обеими руками, повернув лица навстречу тихому вечернему ветру.

Теперь ни от кого уже не ускользнуло странное сходство. Звонарь был несколько старше; широкая ряса висела складками на тощем теле, черты лица были грубее и резче. При внимательном взгляде в них проступали и различия: звонарь был блондин, нос у него был несколько горбатый, губы тоньше, чем у

Петра. Над губами пробивались усы, и кудрявая бородка окаймляла подбородок. Но в жестах, в нервных складках губ, в постоянном движении бровей было то удивительное, как бы родственное сходство, вследствие которого многие горбуны тоже напоминают друг друга лицом, как братья.

Лицо Петра было несколько спокойнее. В нем виднелась привычная грусть, которая у звонаря усиливалась острой желчностью и порой озлоблением. Впрочем, теперь и он, видимо, успокаивался. Ровное веяние ветра как бы разглаживало на его лице все морщины, разливая по нем тихий мир, лежавший на всей скрытой от незрячих взоров картине... Брови шевелились все тише и тише.

Но вот они опять дрогнули одновременно у обоих, как будто оба слышали внизу какой-то звук из долины, не слышный никому другому.

– Звонят, – сказал Петр.

– Это у Егорья за пятнадцать верст, – пояснил звонарь. – У них всегда на полчаса раньше нашего вечерня... А ты слышишь? Я тоже слышу, – другие не слышат...

– Хорошо тут, – продолжал он мечтательно. – Особенно в праздник. Слышали вы, как я звоню?

В вопросе звучало наивное тщеславие.

– Приезжайте послушать. Отец Памфилий... Вы не знаете отца Памфилия? Он для меня нарочито эти два подголоска выписал.

Он отделился от стены и любовно погладил рукой два небольших колокола, еще не успевших потемнеть, как другие.

– Славные подголоски... Так тебе и поют, так и поют... Особенно под Пасху.

Он взял в руки веревки и быстрыми движениями пальцев заставил задрожать оба колокола мелкою мелодическою дробью; прикосновения языков были так слабы и вместе так отчетливы, что перезвон был слышен всем, но звук наверное не распространялся дальше площадки колокольни.

– А тут тебе вот этот – бу-ух, бу-ух, бу-ух...

Теперь его лицо осветилось детской радостью, в которой, однако, было что-то жалкое и больное.

– Колокола-то вот выписал, – сказал он со вздохом, – а шубу новую не сошьет. Скупой!

Простыл я на колокольне... Осенью всего хуже... Холодно...

Он остановился и, прислушавшись, сказал:

– Хромой вас кличет снизу. Ступайте, пора вам.

– Пойдем, – первая поднялась Эвелина, до тех пор неподвижно глядевшая на звонаря, точно замороженная. Молодые люди двинулись к выходу, звонарь остался наверху. Петр, шагнувший было вслед за матерью, круто остановился.

– Идите, – сказал он ей повелительно. – Я сейчас.

Шаги стихли, только Эвелина, пропустившая вперед Анну Михайловну, осталась, прижавшись к стене и затаив дыхание.

Слепые считали себя одинокими на вышке. Несколько секунд они стояли, неловкие и неподвижные, к чему-то прислушиваясь.

– Кто здесь? – спросил затем звонарь.

– Я...

– Ты тоже слепой?

– Слепой. А ты давно ослеп? – спросил Петр.

– Родился таким, – ответил звонарь. – Вот

другой есть у нас, Роман – тот семи лет ослеп... А ты ночь ото дня отличить можешь ли?

– Могу.

– И я могу. Чувствую, брезжит. Роман не может, а ему все-таки легче.

– Почему легче? – живо спросил Петр.

– Почему? Не знаешь почему? Он свет видал, свою матку помнит. Понял ты: заснет ночью, она к нему во сне и приходит... Только она старая теперь, а снится ему все молодая... А тебе снится ли?

– Нет, – глухо ответил Петр.

– То-то нет. Это дело бывает, когда кто ослеп. А кто уж так родился!..

Петр стоял сумрачный и потемневший, точно на лицо его надвинулась туча. Брови звонаря тоже вдруг поднялись высоко над глазами, в которых виднелось так знакомое Эвелине выражение слепого страдания...

– И то согрешаешь не однажды... Господи, создателю, божья мать, пречистая!.. Дайте вы мне хоть во сне один раз свет-радость увидеть...

Лицо его передернулось судорогой, и он

сказал с прежним желчным выражением:

– Так нет, не дают... Приснится что-то, забрезжит, а встанешь, не помнишь...

Он вдруг остановился и прислушался. Лицо его побледнело, и какое-то судорожное выражение исказило все черты.

– Чертенят впустили, – сказал он со злостью в голосе.

Действительно, снизу из узкого прохода, точно шум наводнения, неслись шаги и крики детей. На одно мгновение все стихло, вероятно, толпа выбежала на среднюю площадку, и шум выливался наружу. Но затем темный проход загудел, как труба, и мимо Эвелины, перегоняя друг друга, пронеслась веселая гурьба детей. У верхней ступеньки они остановились на мгновение, но затем один за другим стали шмыгать мимо слепого звонаря, который с искаженным от злобы лицом совал наудачу сжатыми кулаками, стараясь попасть в кого-нибудь из бежавших.

В проходе вынырнуло вдруг из темноты новое лицо. Это был, очевидно, Роман. Лицо его было широко, изрыто оспой и чрезвычайно добродушно. Закрытые веки скрывали

впадины глаз, на губах играла добродушная улыбка. Пройдя мимо прижавшейся к стене девушки, он поднялся на площадку. Размахнувшаяся рука его товарища попала ему сбоку в шею.

– Брат! – окликнул он приятным, грудным голосом. – Егорий, – опять воюешь?

Они столкнулись и оцупали друг друга.

– Зачем бісенят впустив? – спросил Егорий по-малорусски, все еще со злостью в голосе.

– Нехай собі, – благодушно ответил Роман... – Пташки божіі! Ось як ты их налякав. Де вы тут, бісенята...

Дети сидели по углам у решеток, притаившись, и их глаза сверкали лукавством, а отчасти страхом.

Эвелина, неслышно ступая в темноте, сошла уже до половины первого прохода, когда за ней раздались уверенные шаги обоих слепых, а сверху донесся радостный визг и крики ребят, кинувшихся целою стаей на оставшегося с ними Романа.

Компания тихо выезжала из монастырских ворот, когда с колокольни раздался первый удар. Это Роман зазвонил к вечерне.

Солнце село, коляска катилась по потемневшим полям, провожаемая ровными меланхолическими ударами, замиравшими в синих сумерках вечера.

Все молчали всю дорогу до самого дома. Вечером долго не было видно Петра. Он сидел где-то в темном углу сада, не откликаясь на призывы даже Эвелины, и прошел ощупью в комнату, когда все легли...

IV

Попельские прожили еще несколько дней у Ставрученков. К Петру по временам возвращалось его недавнее настроение, он бывал оживлен и по-своему весел, пробовал играть на новых для него инструментах, коллекция которых у старшего из сыновей Ставрученка была довольно обширна и которые очень занимали Петра – каждый со своим особенным голосом, способным выразить особенные оттенки чувства. Но все же в нем была заметна какая-то омраченность, и минуты обычного состояния духа казались вспышками на общем все более темнеющем фоне.

Точно по безмолвному уговору, никто не возвращался к эпизоду в монастыре, и вся эта

поездка как будто выпала у всех из памяти и забылась. Однако было заметно, что она запала глубоко в сердце слепого. Всякий раз, оставшись наедине или в минуты общего молчания, когда его не развлекали разговоры окружающих, Петр глубоко задумывался, и на лице его ложилось выражение какой-то горечи. Это было знакомое всем выражение, но теперь оно казалось более резким и сильно напоминало слепого звонаря.

За фортепиано, в минуты наибольшей непосредственности, в его игру часто вплетался теперь мелкий перезвон колоколов и протяжные вздохи меди на высокой колокольне... И то, о чем никто не решался заговорить, ясно вставало у всех в воображении: мрачные переходы, тонкая фигура звонаря с чахоточным румянцем, его злые окрики и желчный ропот на судьбу... А затем оба слепца в одинаковых позах на вышке, с одинаковым выражением лиц, с одинаковыми движениями чутких бровей... То, что близкие до сих пор считали личной особенностью Петра, теперь являлось общей печатью темной стихии, простиравшей свою таинственную

власть одинаково на всех своих жертв.

– Послушай, Аня, – спросил Максим у сестры по возвращении домой. – Не знаешь ли ты, что случилось во время нашей поездки? Я вижу, что мальчик изменился именно с этого дня.

– Ах, это все из-за встречи со слепым, – ответила Анна Михайловна со вздохом.

Она недавно еще отослала в монастырь две теплых бараньи шубы и деньги с письмом к отцу Памфилию, прося его облегчить по возможности участь обоих слепцов. У нее вообще было доброе сердце, но сначала она забыла о Романе, и только Эвелина напомнила ей, что следовало позаботиться об обоих: «Ах, да, да, конечно», – ответила Анна Михайловна, но было видно, что ее мысли заняты одним. К ее жгучей жалости примешивалось отчасти суеверное чувство: ей казалось, что этой жертвой она умилюстит какую-то темную силу, уже надвигающуюся мрачною тенью над головой ее ребенка.

– С каким слепым? – переспросил Максим с удивлением.

– Да с этим... на колокольне...

Максим сердито стукнул костылем.

– Какое проклятье – быть безногим чурбаном! Ты забываешь, что я не лазаю по колокольням, а от баб, видно, не добьешься толку. Эвелина, попробуй хоть ты сказать разумно, что же такое было на колокольне?

– Там, – тихо ответила тоже побледневшая за эти дни девушка, – есть слепой звонарь... И он...

Она остановилась. Анна Михайловна закрыла ладонями пылающее лицо, по которому текли слезы.

– И он очень похож на Петра.

– И вы мне ничего не сказали! Ну, что же дальше? Это еще недостаточная причина для трагедий, Аня, – прибавил он с мягким укором.

– Ах, это так ужасно, – ответила Анна Михайловна тихо.

– Что же ужасно? Что он похож на твоего сына?

Эвелина многозначительно посмотрела на старика, и он смолк. Через несколько минут Анна Михайловна вышла, а Эвелина осталась со своей всегдашней работой в руках.

– Ты сказала не все? – спросил Максим после минутного молчания.

– Да. Когда все сошли вниз, Петр остался. Он велел тете Ане (она так называла Попельскую с детства) уйти за всеми, а сам остался со слепым... И я... тоже осталась.

– Подслушивать? – сказал старый педагог почти машинально.

– Я не могла... уйти... – ответила Эвелина тихо. – Они разговаривали друг с другом, как...

– Как товарищи по несчастью?

– Да, как слепые... Потом Егор спросил у Петра, видит ли он во сне мать? Петр говорит: «не вижу». И тот тоже не видит. А другой слепец, Роман, видит во сне свою мать молодой, хотя она уже старая...

– Так! Что же дальше?

Эвелина задумалась и потом, поднимая на старика свои синие глаза, в которых теперь виднелась борьба и страдание, сказала:

– Тот, Роман, добрый и спокойный. Лицо у него грустное, но не злое... Он родился зрячим. А другой... Он очень страдает, – вдруг свернула она.

– Говори, пожалуйста, прямо, – нетерпеливо перебил Максим, – другой озлоблен?

– Да. Он хотел прибить детей и проклинал их. А Романа дети любят...

– Зол и похож на Петра... понимаю, – задумчиво сказал Максим.

Эвелина еще помолчала и затем, как будто эти слова стоили ей тяжелой внутренней борьбы, проговорила совсем тихо:

– Лицом оба не похожи... черты другие. Но в выражении... Мне казалось, что прежде у Петра бывало выражение немножко как у Романа, а теперь все чаще виден тот, другой... и еще... Я боюсь, я думаю...

– Чего ты боишься? Поди сюда, моя умная крошка, – сказал Максим с необычной нежностью. И, когда она, ослабевая от этой ласки, подошла к нему со слезами на глазах, он погладил ее шелковистые волосы своей большой рукой и сказал:

– Что же ты думаешь? Скажи. Ты, я вижу, умеешь думать.

– Я думаю, что... он считает теперь, что... все слепорожденные злые... И он уверил себя, что он тоже... непременно.

– Да, вот что... – проговорил Максим, вдруг отнимая руку... – Дай мне мою трубку, голубушка... Вон она там, на окне.

Через несколько минут над его головой взвилось синее облако дыма...

– Гм... да... плохо, – ворчал он про себя... – Я ошибся... Аня была права: можно грустить и страдать о том, чего не испытал ни разу. А теперь к инстинкту присоединилось сознание, и оба пойдут в одном направлении. Проклятый случай... А впрочем, шила, как говорится, в мешке не спрячешь... Все где-нибудь выставится...

Он совсем потонул в сизых облаках... В квадратной голове старика кипели какие-то мысли и новые решения.

V

Пришла зима. Выпал глубокий снег и покрыл дороги, поля, деревни. Усадьба стояла вся белая, на деревьях лежали пушистые хлопья, точно сад опять распустился белыми листьями... В большом камине потрескивал огонь, каждый входящий со двора вносил с собою свежесть и запах мягкого снега...

Поэзия первого зимнего дня была по-свое-

му доступна слепому. Просыпаясь утром, он ощущал всегда особенную бодрость и узнавал приход зимы по топанию людей, входящих в кухню, по скрипу дверей, по острым, едва уловимым струйкам, разбегавшимся по всему дому, по скрипу шагов на дворе, по особенной «холодности» всех наружных звуков. И когда он выезжал с Иохимом по первопутку в поле, то слушал с наслаждением звонкий скрип саней и какие-то гулкие щелканья, которыми лес из-за речки обменивался с дорогой и полем.

На этот раз первый белый день повеял на него только большею грустью. Надев с утра высокие сапоги, он пошел, прокладывая рыхлый след по девственным еще дорожкам, к мельнице.

В саду было совершенно тихо. Смерзшаяся земля, покрытая пушистым мягким слоем, совершенно смолкла, не отдавая звуков: зато воздух стал как-то особенно чуток, отчетливо и полно переноса на далекие расстояния и крик вороны, и удар топора, и легкий треск обломавшейся ветки... По временам слышался странный звон, точно от стекла, перехо-

дивший на самые высокие ноты и замиравший как будто в огромном удалении. Это мальчишки кидали камни на деревенском пруду, покрывшемся к утру тонкой пленкой первого льда.

В усадьбе пруд тоже замерз, но речка у мельницы, отяжелевшая и темная, все еще сочилась в своих пушистых берегах и шумела на шлюзах.

Петр подошел к плотине и остановился, прислушиваясь. Звон воды был другой – тяжелее и без мелодии. В нем как будто чувствовался холод помертвевших окрестностей...

В душе Петра тоже было холодно и сумрачно. Темное чувство, которое еще в тот счастливый вечер поднималось из глубины души каким-то опасением, неудовлетворенностью и вопросом, теперь разрослось и заняло в душе место, принадлежавшее ощущениям радости и счастья.

Эвелины в усадьбе не было. Яскульские собрались с осени к «благодетельнице», старой графине Потоцкой, которая непременно требовала, чтобы старики привезли также дочь.

Эвелина сначала противилась, но потом уступила настояниям отца, к которым очень энергично присоединился и Максим.

Теперь Петр, стоя у мельницы, вспоминал свои прежние ощущения, старался восстановить их прежнюю полноту и цельность и спрашивал себя, чувствует ли он ее отсутствие. Он его чувствовал, но признавал также, что и присутствие ее не дает ему счастья, а приносит особенное страдание, которое без нее несколько притупилось.

Еще так недавно в его ушах звучали ее слова, вставали все подробности первого объяснения, он чувствовал под руками ее шелковистые волосы, слышал у своей груди удары ее сердца. И из всего этого складывался какой-то образ, наполнявший его радостью. Теперь что-то бесформенное, как те призраки, которые населяли его темное воображение, ударило в этот образ мертвящим дуновением, и он разлетелся. Он уже не мог соединить свои воспоминания в ту гармоничную цельность чувства, которая переполняла его в первое время. Уже с самого начала на дне этого чувства лежало зернышко чего-то другого, и те-

перь это «другое» расстилалось над ним, как стелется грозовая туча по горизонту.

Звуки ее голоса утасли, и на месте ярких впечатлений счастливого вечера зияла пустота. А навстречу этой пустоте из самой глубины души слепого подымалось что-то с тяжелым усилием, чтобы ее заполнить.

Он хотел ее видеть!

Прежде он только чувствовал тупое душевное страдание, но оно откладывалось в душе неясно, тревожило смутно, как ноющая зубная боль, на которую мы еще не обращаем внимания.

Встреча со слепым звонарем придала этой боли остроту сознанного страдания...

Он ее полюбил и хотел ее видеть!

Так шли дни за днями в притихшей и занесенной снегом усадьбе.

По временам, когда мгновения счастья вставали перед ним, живые и яркие, Петр несколько оживлялся, и лицо его прояснялось. Но это бывало ненадолго, а со временем даже эти светлые минуты приняи какой-то беспокойный характер: казалось, слепой боялся, что они улетят и никогда уже не вернут-

ся. Это делало его обращение неровным: минуты порывистой нежности и сильного нервного возбуждения сменялись днями подавленной, беспросветной печали. В темной гостиной по вечерам рояль плакала и надрывалась глубокою и болезненною грустью, и каждый ее звук отзывался болью в сердце Анны Михайловны. Наконец худшие ее опасения сбылись: к юноше вернулись тревожные сны его детства.

Одним утром Анна Михайловна вошла в комнату сына. Он еще спал, но его сон был как-то странно тревожен: глаза полуоткрылись и тускло глядели из-под приподнятых век, лицо было бледно, и на нем виднелось выражение беспокойства.

Мать остановилась, окидывая сына внимательным взглядом, стараясь открыть причину странной тревоги. Но она видела только, что эта тревога все вырастает, и на лице спящего обозначается все яснее выражение напряженного усилия.

Вдруг ей почудилось над постелью какое-то едва уловимое движение. Яркий луч ослепительного зимнего солнца, ударявший в

стену над самым изголовьем, будто дрогнул и слегка скользнул вниз. Еще и еще... светлая полоска тихо прокрадывалась к полуоткрытым глазам, и по мере ее приближения беспокойство спящего все возрастало.

Анна Михайловна стояла неподвижно, в состоянии, близком к кошмару, и не могла оторвать испуганного взгляда от огненной полосы, которая, казалось ей, легкими, но все же заметными толчками все ближе надвигается к лицу ее сына. И это лицо все больше бледнело, вытягивалось, застывало в выражении тяжелого усилия. Вот желтоватый отблеск заиграл в волосах, затеплился на лбу юноши. Мать вся подалась вперед, в инстинктивном стремлении защитить его, но ноги ее не двигались, точно в настоящем кошмаре. Между тем веки спящего совсем приподнялись, в неподвижных зрачках заискрились лучи, и голова заметно отделилась от подушки навстречу свету. Что-то вроде улыбки или плача пробежало судорожной вспышкой по губам, и все лицо опять застыло в неподвижном порыве.

Наконец мать победила оковавшую ее чле-

ны неподвижность и, подойдя к постели, положила руку на голову сына. Он вздрогнул и проснулся.

– Ты, мама? – спросил он.

– Да, это я.

Он приподнялся. Казалось, тяжелый туман застилал его сознание. Но через минуту он сказал:

– Я опять видел сон... Я теперь часто вижу сны, но ничего не помню.

VI

Беспросветная грусть сменялась в настроении юноши раздражительной нервно-стью, и вместе с тем возрастала замечательная тонкость его ощущений. Слух его чрезвычайно обострился; свет он ощущал всем своим организмом, и это было заметно даже ночью: он мог отличать лунные ночи от темных и нередко долго ходил по двору, когда все в доме спали, молчаливый и грустный, отдаваясь странному действию мечтательного и фантастического лунного света. При этом его бледное лицо всегда поворачивалось за плывшим по синему небу огненным шаром, и глаза отражали искристый отблеск холодных лу-

чей. Когда же этот шар, все выраставший по мере приближения к земле, подергивался тяжелым красным туманом и тихо скрывался за снежным горизонтом, лицо слепого становилось спокойнее и мягче, и он уходил в свою комнату.

О чем он думал в эти долгие ночи, трудно сказать. В известном возрасте каждый, кто только изведаль радости и муки вполне сознательного существования, переживает в большей или меньшей степени состояние душевного кризиса. Останавливаясь на рубеже деятельной жизни, человек старается определить свое место в природе, свое значение, свои отношения к окружающему миру. Это своего рода «мертвая точка», и благо тому, кого размах жизненной силы проведет через нее без крупной ломки. У Петра этот душевный кризис еще осложнялся; к вопросу: «зачем жить на свете?» – он прибавлял: «зачем жить именно слепому?» Наконец в самую эту работу нерадостной мысли вдвигалось еще что-то постороннее, какое-то почти физическое давление неутоленной потребности, и это отражалось на складе его характера.

Перед Рождеством Яскульские вернулись, и Эвелина, живая и радостная, со снегом в волосах и вся обвеянная свежестью и холодом, прибежала из поссесорского хутора в усадьбу и кинулась обнимать Анну Михайловну, Петра и Максима. В первые минуты лицо Петра осветилось неожиданною радостью, но затем на нем появилось опять выражение какой-то упрямой грусти.

– Ты думаешь, я люблю тебя? – резко спросил он в тот же день, оставшись наедине с Эвелиной.

– Я в этом уверена, – ответила девушка.

– Ну а я не знаю, – угрюмо возразил слепой. – Да, я не знаю. Прежде и я был уверен, что люблю тебя больше всего на свете, но теперь не знаю. Оставь меня, послушайся тех, кто зовет тебя к жизни, пока не поздно.

– Зачем ты мучишь меня? – вырвалась у нее тихая жалоба.

– Мучу? – переспросил юноша, и опять на его лице появилось выражение упрямого эгоизма. – Ну, да, мучу. И буду мучить таким образом всю жизнь, и не могу не мучить. Я сам не знал этого, а теперь знаю. И я не виноват.

Та самая рука, которая лишила меня зрения, когда я еще не родился, вложила в меня эту злобу... Мы все такие, рожденные слепыми. Оставь меня... бросьте меня все, потому что я могу дать одно страдание взамен любви... Я хочу видеть – понимаешь? Хочу видеть и не могу освободиться от этого желания. Если б я мог увидеть таким образом мать, отца, тебя и Максима, я был бы доволен... Я запомнил бы, унес бы это воспоминание в темноту всей остальной жизни...

И он с замечательным упорством возвращался к этой идее. Оставаясь наедине, он брал в руки различные предметы, ощупывал их с небывалою внимательностью и потом, отложив их в сторону, старался вдумываться в изученные формы. Точно так же вдумывался он в те различия ярких цветных поверхностей, которые, при напряженной чуткости нервной системы, он смутно улавливал посредством осязания. Но все это проникало в его сознание именно только как различия в своих взаимных отношениях, но без определенного чувственного содержания. Теперь даже солнечный день он отличал от ночной

темноты лишь потому, что действие яркого света, проникавшего к мозгу недоступными сознанию путями, только сильнее раздражало его мучительные порывы.

VII

Однажды, войдя в гостиную, Максим застал там Эвелину и Петра. Девушка казалась смущенной. Лицо юноши было мрачно. Казалось, разыскивать новые причины страдания и мучить ими себя и других стало для него чем-то вроде потребности.

– Вот он спрашивает, – сказала Эвелина Максиму, – что может означать выражение «красный звон»? Я не могу ему объяснить.

– В чем дело? – спросил Максим коротко, обращаясь к Петру.

Тот пожал плечами.

– Ничего особенного. Но если у звуков есть цвета и я их не вижу, то, значит, даже звуки недоступны мне во всей полноте.

– Пустяки и ребячество, – ответил Максим резко. – И ты сам хорошо знаешь, что это неправда. Звуки доступны тебе в большей полноте, чем нам.

– Но что же значит это выражение?.. Ведь

должно же оно обозначать что-нибудь?

Максим задумался.

– Это простое сравнение, – сказал он. – Так как и звук, и свет, в сущности, сводятся к движению, то у них должно быть много общих свойств.

– Какие же тут разумеются свойства? – продолжал упрямо допрашивать слепой. – «Красный» звон... какой он именно?

Максим задумался.

Ему пришло в голову объяснение, сводящееся к относительным цифрам колебаний, но он знал, что юноше нужно не это. Притом же тот, кто первый употребил световой эпитет в применении к звуку, наверное, не знал физики, а между тем уловил какое-то сходство. В чем же оно заключается?

В уме старика зародилось некоторое представление.

– погоди, – сказал он. – Не знаю, впрочем, удастся ли мне объяснить тебе, как следует... Что такое красный звон, ты можешь узнать не хуже меня: ты слышал его не раз в городах, в большие праздники, только в нашем краю не принято это выражение...

– Да, да, погоди, – сказал Петр, быстро открывая пианино.

Он ударил своей умелой рукой по клавишам, подражая праздничному колокольному трезвону. Иллюзия была полная. Аккорд из нескольких невысоких тонов составлял как бы фон поглубже, а на нем выделялись, прыгая и колеблясь, высшие ноты, более подвижные и яркие. В общем это был именно тот высокий и возбужденно-радостный гул, который заполняет собою праздничный воздух.

– Да, – сказал Максим, – это очень похоже, и мы, с открытыми глазами, не сумели бы усвоить это лучше тебя. Вот, видишь ли... когда я смотрю на большую красную поверхность, она производит на мой глаз такое же беспокойное впечатление чего-то упруго-волнующегося. Кажется, будто эта краснота меняется: оставляя под собой более глубокий, темный фон, она кое-где выделяется более светлыми, быстро всплывающими и так же быстро упдающими взмахами, волнами, которые очень сильно действуют на глаз, – по крайней мере, на мой глаз.

– Это верно, верно! – живо сказала Эвели-

на. – Я чувствую то же самое и не могу долго смотреть на красную суконную скатерть...

– Так же, как иные не выносят праздничного трезвона. Пожалуй, что мое сравнение и верно, и мне даже приходит в голову дальнейшее сопоставление: существует также «малиновый» звон, как и малиновый цвет. Оба они очень близки к красному, но только глубже, ровнее и мягче. Когда колокольчик долго был в употреблении, то он, как говорят любители, вызванивается. В его звуке исчезают неровности, режущие ухо, и тогда-то звон этот зовут малиновым. Того же эффекта достигают умелым подбором нескольких подголосков.

Под руками Петра пианино зазвенело взмахами почтовых колокольчиков.

– Нет, – сказал Максим. – Я бы сказал, что это слишком красно...

– А, помню!

И инструмент зазвенел ровнее. Начавшись высоко, оживленно и ярко, звуки становились все глубже и мягче. Так звонит набор колокольцев под дугой русской тройки, удаляющейся по пыльной дороге в вечернюю без-

вестную даль, тихо, ровно, без громких взмахов, все тише и тише, пока последние ноты не замрут в молчании спокойных полей.

– Вот-вот! – сказал Максим. – Ты понял разницу. Когда-то, – ты был еще ребенком, – мать пыталась объяснить тебе звуками краски.

– Да, я помню... Зачем ты запретил нам тогда продолжать? Может быть, мне удалось бы понять.

– Нет, – задумчиво ответил старик, – ничего бы не вышло. Впрочем, я думаю, что вообще на известной душевной глубине впечатления от цветов и от звуков откладываются уже, как однородные. Мы говорим: он видит все в розовом свете. Это значит, что человек настроен радостно. То же настроение может быть вызвано известным сочетанием звуков. Вообще звуки и цвета являются символами одинаковых душевных движений.

Старик закурил свою трубку и внимательно посмотрел на Петра. Слепой сидел неподвижно и, очевидно, жадно ловил слова Максима. «Продолжать ли?» – подумал старик, но через минуту начал как-то задумчиво, будто невольно отдаваясь странному направлению

своих мыслей:

– Да, да! Странные мысли приходят мне в голову... Случайность это или нет, что кровь у нас красная. Видишь ли... когда в голове твоей рождается мысль, когда ты видишь свои сны, от которых, проснувшись, дрожишь и плачешь, когда человек весь вспыхивает от страсти, – это значит, что кровь бьет из сердца сильнее и приливает алыми ручьями к мозгу. Ну и она у нас красная...

– Красная... горячая... – сказал юноша вдумчиво.

– Именно – красная и горячая. И вот красный цвет, как и «красные» звуки, оставляет в нашей душе свет, возбуждение и представления о страсти, которую так и называют «горячею», кипучею, жаркою. Замечательно, что и художники считают красноватые тоны «горячими».

Затянувшись и окружив себя клубами дыма, Максим продолжал:

– Если ты взмахнешь рукой над своею головою, ты очертишь над ней полукруг. Теперь представь себе, что рука у тебя бесконечно длинна. Если бы ты мог тогда взмахнуть

ею, то очертил бы полукруг в бесконечном отдалении... Так же далеко видим мы над собой полушаровой свод неба; оно ровно, бесконечно и сине... Когда мы видим его таким, в душе является ощущение спокойствия и ясности. Когда же небо закроют тучи взволнованными и мутными очертаниями, тогда и наша душевная ясность возмущается неопределенным волнением. Ты ведь чувствуешь, когда приближается грозовая туча?

– Да, я чувствую, как будто что-то смущает душу...

– Это верно. Мы ждем, когда из-за туч проглянет опять эта глубокая синева. Гроза пройдет, а небо над нею останется все то же; мы это знаем и потому спокойно переживаем грозу. Так вот, небо сине... Море тоже сине, когда спокойно. У твоей матери синие глаза. У Эвелины тоже.

– Как небо... – сказал слепой с внезапно проснувшейся нежностью.

– Да. Голубые глаза считаются признаком ясной души. Теперь я скажу тебе о зеленом цвете. Земля сама по себе черна, черны или серы стволы деревьев весной; но как только

теплые и светлые лучи разогреют темные поверхности, из них ползут кверху зеленая трава, зеленые листья. Для зелени нужны свет и тепло, но только не слишком много тепла и света. Оттого зелень так приятна для глаза. Зелень – это как будто тепло в смешении с сырою прохладой: она возбуждает представление о спокойном довольстве, здоровье, но не о страсти и не о том, что люди называют счастьем... Понял ли ты?

– Н-нет... не ясно... но все же, пожалуйста, говори дальше.

– Ну, что же делать!.. Слушай дальше. Когда лето разгорается все жарче, зелень как будто изнемогает от избытка жизненной силы, листья в истоме опускаются книзу и, если солнечный зной не умеряется сырою прохладой дождя, зелень может совсем поблекнуть. Зато к осени среди усталой листвы наливаются и алеет плод. Плод краснее на той стороне, где больше света; в нем как будто сосредоточена вся сила жизни, вся страсть растительной природы. Ты видишь, что красный цвет и здесь – цвет страсти, и он служит ее символом. Это цвет упоения, греха, ярости, гнева и

мести. Народные массы во времена мятежей ищут выражения общего чувства в красном знамени, которое развевается над ними, как пламя... Но ведь ты опять не понимаешь?..

– Все равно, продолжай!

– Наступает поздняя осень. Плод отяжелел; он срывается и падает на землю... Он умирает, но в нем живет семя, а в этом семени живет в «возможности» и все будущее растение, с его будущей роскошной листвой и с его новым плодом. Семя падает на землю; а над землей низко подымается уже холодное солнце, бежит холодный ветер, несутся холодные тучи... Не только страсть, но и самая жизнь замирают тихо, незаметно... Земля все больше проступает из-под зелени своей чернотой, в небе господствуют холодные тоны... И вот наступает день, когда на эту смирившуюся и притихшую, будто овдовевшую землю падают миллионы снежинок, и вся она становится ровна, одноцветна и бела... Белый цвет – это цвет холодного снега, цвет высочайших облаков, которые плывут в недостижимом холоде поднебесных высот, – цвет величавых и бесплодных горных вершин... Это – эмблема

бесстрастия и холодной, высокой святости, эмблема будущей бесплотной жизни. Что же касается черного цвета...

– Знаю, – перебил слепой. – Это – нет звуков, нет движений... ночь...

– Да, и потому это – эмблема печали и смерти...

Петр вздрогнул и сказал глухо:

– Ты сам сказал: смерти. А ведь для меня все черно... всегда и всюду черно!

– Неправда, – резко ответил Максим, – для тебя существуют звуки, тепло, движение... ты окружен любовью... Многие отдали бы свет очей за то, чем ты пренебрегаешь, как безумец... Но ты слишком эгоистично носишься со своим горем...

– Да! – воскликнул Петр страстно, – я ношусь с ним поневоле: куда же мне уйти от него, когда оно всюду со мной?

– Если бы ты мог понять, что на свете есть горе во сто раз больше твоего, такое горе, в сравнении с которым твоя жизнь, обеспеченная и окруженная участием, может быть названа блаженством, – тогда...

– Неправда, неправда! – гневно перебил

слепой тем же тоном страстного возбуждения. – Я поменялся бы с последним нищим, потому что он счастливее меня. Да и слепых вовсе не нужно окружать заботой: это большая ошибка... Слепых нужно выводить на дорогу и оставлять там, – пусть просят милостыню. Если б я был просто нищим, я был бы менее несчастен. С утра я думал бы о том, чтобы достать обед, считал бы подаваемые копейки и боялся бы, что их мало. Потом радовался бы удачному сбору, потом старался бы собрать на ночлег. А если б это не удалось, я страдал бы от голода и холода... и все это не оставляло бы мне ни минуты и... и... от лишений я страдал бы менее, чем страдаю теперь...

– Ты думаешь? – спросил Максим холодно и посмотрел в сторону Эвелины. Во взгляде старика мелькнуло сожаление и участие. Девушка сидела серьезная и бледная.

– Уверен, – ответил Петр упрямо и жестко. – Я теперь часто завидую Егору, тому, что на колокольне. Часто, просыпаясь под утро, особенно когда на дворе метель и вьюга, я вспоминаю Егора: вот он подымается на свою вышку...

– Ему холодно, – подсказал Максим.

– Да, ему холодно, он дрожит и кашляет. И он проклиная Памфилия, который не заведет ему шубы. Потом он берет иззябшими руками веревки и звонит к заутрене. И забывает, что он слепой... Потому что тут было бы холодно и не слепому... А я не забываю, и мне...

– И тебе не за что проклинать!..

– Да! мне не за что проклинать! Моя жизнь наполнена одной слепотой. Никто не виноват, но я несчастнее всякого нищего...

– Не стану спорить, – холодно сказал старик. – Может быть, это и правда. Во всяком случае, если тебе и было бы хуже, то, может быть, сам ты был бы лучше.

Он еще раз бросил взгляд сожаления в сторону девушки и вышел из комнаты, стуча костылями.

Душевное состояние Петра после этого разговора еще обострилось, и он еще более погрузился в свою мучительную работу.

Иногда ему удавалось: он находил на мгновение те ощущения, о которых говорил Максим, и они присоединялись к его простран-

ственным представлениям. Темная и грустная земля уходила куда-то вдаль: он мерил ее и не находил ей конца. А над нею было что-то другое... В воспоминании прокатывался гулкий гром, вставало представление о шири и небесном просторе. Потом гром смолкал, но что-то там, вверху, оставалось – что-то, рождавшее в душе ощущение величия и ясности. Порой это ощущение определялось: к нему присоединялся голос Эвелины и матери, «у которых глаза, как небо»; тогда возникающий образ, выплывший из далекой глубины воображения и слишком определившийся, вдруг исчезал, переходя в другую область.

Все эти темные представления мучили и не удовлетворяли. Они стоили больших усилий и были так неясны, что в общем он чувствовал лишь неудовлетворенность и тупую душевную боль, которая сопровождала все потуги больной души, тщетно стремившейся восстановить полноту своих ощущений.

VIII

Подошла весна.

Верстах в шестидесяти от усадьбы Попельских в сторону, противоположную от

Ставрученков, в небольшом городишке была чудотворная католическая икона. Знатоки дела определили с полной точностью ее чудодейственную силу: всякий, кто приходил к иконе в день ее праздника пешком, пользовался «двадцатью днями отпущения», то есть все его беззакония, совершенные в течение двадцати дней, должны были идти на том свете насмарку. Поэтому каждый год, ранней весной, в известный день небольшой городок оживлялся и становился неузнаваем. Старая церковка принаряжалась к своему празднику первую зеленью и первыми весенними цветами, над городом стоял радостный звон колокола, грохотали «брички» панов, и богомольцы располагались густыми толпами по улицам, на площадях и даже далеко в поле. Тут были не одни католики. Слава N-ской иконы гремела далеко, и к ней приходили также негодующие и огорченные православные, преимущественно из городского класса.

В самый день праздника по обе стороны «каплицы» народ вытянулся по дороге несметною пестрою вереницей. Тому, кто посмотрел бы на это зрелище с вершины одного

из холмов, окружавших местечко, могло бы показаться, что это гигантский зверь растянулся по дороге около часовни и лежит тут неподвижно, по временам только пошевеливая матовою чешуей разных цветов. По обеим сторонам занятой народом дороги в два ряда вытянулось целое полчище нищих, протягивавших руки за подаванием.

Максим на своих костылях и рядом с ним Петр об руку с Иохимом тихо двигались вдоль улицы, которая вела к выходу в поле.

Говор многоголосной толпы, выкрикивания евреев-факторов, стук экипажей – весь этот грохот, катившийся какою-то гигантскою волной, остался сзади, сливаясь в одно непрерывное, колыхавшееся, подобно волне, рокотание. Но и здесь, хотя толпа была реже, все же то и дело слышался топот пешеходов, шуршание колес, людской говор. Целый обоз чумаков выезжал со стороны поля и, поскрипывая, грузно сворачивал в ближайший переулок.

Петр рассеянно прислушивался к этому живому шуму, послушно следуя за Максимом; он то и дело запахивал пальто, так как

было холодно, и продолжал на ходу ворочать в голове свои тяжелые мысли.

Но вдруг, среди этой эгоистической сосредоточенности, что-то поразило его внимание так сильно, что он вздрогнул и внезапно остановился.

Последние ряды городских зданий кончились здесь, и широкая трактовая дорога входила в город среди заборов и пустырей. У самого выхода в поле благочестивые руки воздвигли когда-то каменный столб с иконой и фонарем, который, впрочем, скрипел только сверху от ветра, но никогда не зажигался. У самого подножия этого столба расположились кучкой слепые нищие, оттертые своими зрячими конкурентами с более выгодных мест. Они сидели с деревянными чашками в руках, и по временам кто-нибудь затягивал жалобную песню:

– Под-дайте сліпеньким... р-а-ди Христа...

День был холодный, нищие сидели здесь с утра, открытые свежему ветру, налетавшему с поля. Они не могли двигаться среди этой толпы, чтобы согреться, и в их голосах, тянувших по очереди унылую песню, слышалась

безотчетная жалоба физического страдания и полной беспомощности. Первые ноты слышались еще довольно отчетливо, но затем из сдавленных грудей вырывался только жалобный ропот, замиравший тихую дрожью озноба. Тем не менее, даже последние, самые тихие звуки песни, почти терявшиеся среди уличного шума, достигая человеческого слуха, поражали всякого громадностью заключенного в них непосредственного страдания.

Петр остановился, и его лицо исказилось, точно какой-то слуховой призрак явился перед ним в виде этого страдальческого вопля.

– Что же ты испугался? – спросил Максим. – Это те самые счастливицы, которым ты недавно завидовал, – слепые нищие, которые просят здесь милостыню... Им немного холодно, конечно. Но ведь от этого, по-твоему, им только лучше.

– Уйдем! – сказал Петр, хватая его за руку.

– А, ты хочешь уйти! У тебя в душе не найдется другого побуждения при виде чужих страданий! Постой, я хочу поговорить с тобой серьезно и рад, что это будет именно здесь. Ты вот сердисься, что времена изменились,

что теперь слепых не рубят в ночных сечах, как Юрка-бандуриста; ты досадуешь, что тебе некого проклинать, как Егору, а сам проклинаешь в душе своих близких за то, что они отняли у тебя счастливую долю этих слепых. Клянусь честью, ты, может быть, прав! Да, клянусь честью старого солдата, всякий человек имеет право располагать своей судьбой, а ты уже человек. Слушай же теперь, что я скажу тебе: если ты захочешь исправить нашу ошибку, если ты швырнешь судьбе в глаза все преимущества, которыми жизнь окружила тебя с колыбели, и захочешь испытать участь вот этих несчастных... я, Максим Яценко, обещаю тебе свое уважение, помощь и содействие... Слышишь ты меня, Петр Яценко? Я был немногим старше тебя, когда понес свою голову в огонь и сечу... Обо мне тоже плакала мать, как будет плакать о тебе. Но, черт возьми, я полагаю, что был в своем праве, как и ты теперь в своем!.. Раз в жизни к каждому человеку приходит судьба и говорит: выбирай! Итак, тебе стоит захотеть... Хведор Кандыба, ты здесь? – крикнул он по направлению к слепым.

Один голос отделился от скрипучего хора и ответил:

– Тут я... Это вы кличете, Максим Михайлович?

– Я! Приходи через неделю, куда я сказал.

– Приду, паночку. – И голос слепца опять примкнул к хору.

– Вот, ты увидишь человека, – сказал, сверкая глазами, Максим, – который вправе роптать на судьбу и на людей. Поучись у него переносить свою долю... А ты...

– Пойдем, паничу, – сказал Иохим, кидая на старика сердитый взгляд.

– Нет, постой! – гневно крикнул Максим. – Никто еще не прошел мимо слепых, не кинув им хоть пятака. Неужели ты убежишь, не сделав даже этого? Ты умеешь только кощунствовать со своею сытою завистью к чужому голоду!..

Петр поднял голову, точно от удара кнутом. Вынув из кармана свой кошелек, он пошел по направлению к слепым. Нащупав палкою переднего, он разыскал рукою деревянную чашку с медью и бережно положил туда свои деньги. Несколько прохожих останови-

лись и смотрели с удивлением на богато одетого и красивого панича, который ощупью подавал милостыню слепому, принимавшему ее также ощупью.

Между тем Максим круто повернулся и заковылял по улице. Его лицо было красно, глаза горели... С ним была, очевидно, одна из тех вспышек, которые были хорошо известны всем, знавшим его в молодости. И теперь это был уже не педагог, взвешивающий каждое слово, а страстный человек, давший волю гневному чувству. Только кинув искоса взгляд на Петра, старик как будто смягчился. Петр был бледен, как бумага, но брови его были сжаты, а лицо глубоко взволнованно.

Холодный ветер взметал за ними пыль на улицах местечка. Сзади, среди слепых поднялся говор и ссоры из-за данных Петром денег...

IX

Было ли это следствием простуды, или раз-
решением долгого душевного кризиса, или, наконец, то и другое соединилось вместе, но только на другой день Петр лежал в своей комнате в нервной горячке. Он метался

в постели с искаженным лицом, по временам к чему-то прислушиваясь, и куда-то порывался бежать. Старый доктор из местечка щупал пульс и говорил о холодном весеннем ветре; Максим хмурил брови и не глядел на сестру.

Болезнь была упорна. Когда наступил кризис, больной лежал несколько дней почти без движения. Наконец молодой организм победил.

Раз, светлым весенним утром, яркий луч прорвался в окно и упал к изголовью больного. Заметив это, Анна Михайловна обратилась к Эвелине:

– Задерни занавеску... Я так боюсь этого света...

Девушка поднялась, чтобы исполнить приказание, но неожиданно раздавшийся в первый раз голос больного остановил ее:

– Нет, ничего. Пожалуйста... оставьте так...

Обе женщины радостно склонились над ним.

– Ты слышишь?.. Я здесь!.. – сказала мать.

– Да! – ответил он и потом смолк, будто стараясь что-то припомнить.

– Ах, да!.. – заговорил он тихо и вдруг попы-

тался подняться. – Тот... Федор приходил уже? – спросил он.

Эвелина переглянулась с Анной Михайловной, и та закрыла ему рот рукой.

– Тише, тише! Не говори: тебе вредно.

Он прижал руку матери к губам и покрыл ее поцелуями. На его глазах стояли слезы. Он долго плакал, и это его облегчило.

Несколько дней он был как-то кротко задумчив, и на лице его появлялось выражение тревоги всякий раз, когда мимо комнаты проходил Максим. Женщины заметили это и просили Максима держаться подальше. Но однажды Петр сам попросил позвать его и оставить их вдвоем. Войдя в комнату, Максим взял его за руку и ласково погладил ее.

– Ну-ну, мой мальчик, – сказал он. – Я, кажется, должен просить у тебя прощения...

– Я понимаю, – тихо сказал Петр, отвечая на пожатие. – Ты дал мне урок, и я тебе за него благодарен.

– К черту уроки! – ответил Максим с гримасой нетерпения. – Слишком долго оставаться педагогом – это ужасно оглушает. Нет, этот раз я не думал ни о каких уроках, а просто

очень рассердился на тебя и на себя...

– Значит, ты действительно хотел, чтобы?..

– Хотел, хотел!.. Кто знает, чего хочет человек, когда взбесится... Я хотел, чтобы ты почувствовал чужое горе и перестал так носиться со своим...

Оба замолчали...

– Эта песня, – через минуту сказал Петр, – я помнил ее даже во время бреда... А кто этот Федор, которого ты звал?

– Федор Кандыба, мой старый знакомый.

– Он тоже... родился слепым?

– Хуже: ему выжгло глаза на войне.

– И он ходит по свету и поет эту песню?

– Да, и кормит ею целый выводок сирот-племянников. И еще находит для каждого веселое слово и шутку...

– Да? – задумчиво переспросил Петр. – Как хочешь, в этом есть какая-то тайна. И я хотел бы...

– Что ты хотел бы, мой мальчик?..

Через несколько минут послышались шаги, и Анна Михайловна вошла в комнату, тревожно вглядываясь в их лица, видимо, взволнованные разговором, который оборвался с ее

приходом.

Молодой организм, раз победив болезнь, быстро справлялся с ее остатками. Недели через две Петр был уже на ногах.

Он сильно изменился, изменились даже черты лица, – в них не было заметно прежних припадков острого внутреннего страдания. Резкое нравственное потрясение перешло теперь в тихую задумчивость и спокойную грусть. Максим боялся, что это только временная перемена, вызванная тем, что нервная напряженность ослаблена болезнью. Однажды в сумерки, подойдя в первый раз после болезни к фортепиано, Петр стал по обыкновению фантазировать. Мелодии звучали грустные и ровные, как его настроение. Но вот, внезапно, среди звуков, полных тихой печали, прорвались первые ноты песни слепых. Мелодия сразу распалась... Петр быстро поднялся, его лицо было искажено, и на глазах стояли слезы. Видимо, он не мог еще справиться с сильным впечатлением жизненного диссонанса, явившегося ему в форме этой скрипучей и тяжелой жалобы.

В этот вечер Максим опять долго говорил с

Петром наедине. После этого проходили недели, и настроение слепого оставалось все тем же. Казалось, слишком острое и эгоистическое сознание личного горя, вносящее в душу пассивность и угнетавшее врожденную энергию, теперь дрогнуло и уступило место чему-то другому. Он опять ставил себе цели, строил планы; жизнь зарождалась в нем, надломленная душа давала побег, как захиревшее деревцо, на которое весна пахнула живительным дыханием... Было, между прочим, решено, что еще этим летом Петр поедет в Киев, чтобы с осени начать уроки у известного пианиста. При этом оба они с Максимом настояли, что они поедут только вдвоем.

Х

Теплою июльскою ночью бричка, запряженная парой лошадей, остановилась на ночлег в поле, у опушки леса. Утром, на самой заре, двое слепых прошли шляхом. Один вертел рукоятку примитивного инструмента: деревянный валик кружился в отверстии пустого ящика и терся о туго натянутые струны, издававшие однотонное и печальное жужжание. Несколько гнусавый, но приятный старче-

ский голос пел утреннюю молитву.

Проезжавшие дорогой хохлы с таранью видели, как слепцов подозвали к бричке, около которой, на разостланном ковре, сидели ночевавшие в степи господа. Когда через некоторое время обозчики остановились на водопой у криницы, то мимо них опять прошли слепцы, но на этот раз их уже было трое. Впереди, постукивая перед собою длинной палкой, шел старик с развевающимися седыми волосами и длинными белыми усами. Лоб его был покрыт старыми язвами, как будто от обжога; вместо глаз были только впадины. Через плечо у него была надета широкая тесьма, привязанная к поясу следующего. Второй был рослый детина, с желчным лицом, сильно изрытым оспой. Оба они шли привычным шагом, подняв незрячие лица кверху, как будто разыскивая там свою дорогу. Третий был совсем юноша, в новой крестьянской одежде, с бледным и как будто слегка испуганным лицом; его шаги были неуверенны, и по временам он останавливался, как будто прислушиваясь к чему-то назади и мешая движению товарищей.

Часам к десяти они ушли далеко. Лес остался синей полосой на горизонте. Крутом была степь, и впереди слышался звон разогреваемой солнцем проволоки на шоссе, пересекавшем пыльный шлях. Слепцы вышли на него и повернули вправо, когда сзади послышался топот лошадей и сухой стук кованых колес по щебню. Слепцы выстроились у края дороги. Опять зажужжало деревянное колесо по струнам, и старческий голос затянул:

– Под-дайте сліпеньким... – К жужжанию колеса присоединился тихий перебор струн под пальцами юноши.

Монета зазвенела у самых ног старого Кандыбы. Стук колес смолк, видимо, проезжающие остановились, чтобы посмотреть, найдут ли слепые монету. Кандыба сразу нашел ее, и на лице появилось довольное выражение.

– Бог спасет, – сказал он по направлению к бричке, в сиденье которой виднелась квадратная фигура седого господина, и два костыля торчали сбоку.

Старик внимательно смотрел на юношу-слепца... Тот стоял бледный, но уже успо-

коившийся. При первых же звуках песни его руки нервно забегали по струнам, как будто покрывая их звоном ее резкие ноты... Бричка опять тронулась, но старик долго оглядывался назад.

Вскоре стук колес замолк в отдалении. Слепцы опять вытянулись в линию и пошли по шоссе...

– У тебя, Юрий, легкая рука, – сказал старик. – И играешь славно...

Через несколько минут средний слепец спросил:

– По обещанию идешь в Почаев?.. Для бога?

– Да, – тихо ответил юноша.

– Думаешь, прозишь?.. – спросил тот опять с горькой улыбкой...

– Бывает, – мягко сказал старик.

– Давно хожу, а не встречал, – угрюмо возразил рябой, и они опять пошли молча. Солнце подымалось все выше, виднелась только белая линия шоссе, прямого как стрела, темные фигуры слепых и впереди черная точка проехавшего экипажа. Затем дорога разделилась. Бричка направилась к Киеву, слепцы опять свернули проселками на Почаев.

Вскоре из Киева пришло в усадьбу письмо от Максима. Он писал, что оба они здоровы и что все устраивается хорошо.

А в это время трое слепых двигались все дальше. Теперь все шли уже согласно. Впереди, все так же постукивая палкой, шел Кандыба, отлично знавший дороги и поспевавший в большие села к праздникам и базарам. Народ собирался на стройные звуки маленького оркестра, и в шапке Кандыбы то и дело звякали монеты.

Волнение и испуг на лице юноши давно исчезли, уступая место другому выражению. С каждым новым шагом навстречу ему лились новые звуки неведомого, широкого, необъятного мира, сменившего теперь ленивый и убаюкивающий шорох тихой усадьбы... Незрячие глаза расширились, ширилась грудь, слух еще обострялся: он узнавал своих спутников, добродушного Кандыбу и желчного Кузьму, долго брел за скрипучими возами чумаков, ночевал в степи у огней, слушал гомон ярмарок и базаров, узнавал горе, слепое и зрячее, от которого не раз больно сжималось его сердце... И странное дело – теперь он

находил в своей душе место для всех этих ощущений. Он совершенно одолел песню слепых, и день за днем под гул этого великого моря все более стихали на дне души личные порывания к невозможному... Чуткая память ловила всякую новую песню и мелодию, а когда дорогой он начинал перебирать свои струны, то даже на лице желчного Кузьмы появлялось спокойное умиление. По мере приближения к Почаеву банда слепых все росла.

Позднью осенью, по дороге, занесенной снегами, к великому удивлению всех в усадьбе, панич неожиданно вернулся с двумя слепцами в нищенской одежде. Кругом говорили, что он ходил в Почаев по обету, чтобы вымолить у почаевской богоматери исцеление.

Впрочем, глаза его оставались по-прежнему чистыми и по-прежнему незрячими. Но душа, несомненно, исцелилась. Как будто страшный кошмар навсегда исчез из усадьбы... Когда Максим, продолжавший писать из Киева, наконец, вернулся тоже, Анна Михайловна встретила его фразой: «Я никогда, ни-

когда не прощу тебе этого». Но лицо ее противоречило суровым словам...

Долгими вечерами Петр рассказывал о своих странствиях, и в сумерки фортепиано звучало новыми мелодиями, каких никто не слышал у него раньше... Поездка в Киев была отложена на год, вся семья жила надеждами и планами Петра...

Глава седьмая

I

В ту же осень Эвелина объявила старикам Яскульским свое неизменное решение выйти за слепого «из усадьбы». Старушка мать заплакала, а отец, помолившись перед иконами, объявил, что, по его мнению, именно такова воля божия относительно данного случая.

Сыграли свадьбу. Для Петра началось молодое тихое счастье, но сквозь это счастье все же пробивалась какая-то тревога: в самые светлые минуты он улыбался так, что сквозь эту улыбку виднелось грустное сомнение, как будто он не считал этого счастья законным и прочным. Когда же ему сообщили, что, быть

может, он станет отцом, он встретил это сообщение с выражением испуга. Тем не менее, настоящая его жизнь, проходившая в серьезной работе над собой, в тревожных думах о жене и будущем ребенке, не позволяла ему сосредоточиваться на прежних бесплодных потугах. По временам также среди этих забот в его душе поднимались воспоминания о жалобном вопле слепых. Тогда он отправлялся в село, где на краю стояла теперь новая изба Федора Кандыбы и его рябого племянника. Федор брал свою кобзу, или они долго разговаривали, и мысли Петра принимали спокойное направление, а его планы опять крепили.

Теперь он стал менее чувствителен к внешним световым побуждениям, а прежняя внутренняя работа улеглась. Тревожные органические силы уснули: он не будил их сознательным стремлением воли – слить в одно целое разнородные ощущения. На месте этих бесплодных потуг стояли живые воспоминания и надежды. Но, кто знает, – быть может, душевное затишье только способствовало бессознательной органической работе, и эти смутные, разрозненные ощущения тем

успешнее прокладывали в его мозгу пути по направлению друг к другу. Так во сне мозг часто свободно творит идеи и образы, которых ему никогда бы не создать при участии воли.

II

В той самой комнате, где некогда родился Петр, стояла тишина, среди которой раздавался только всхлипывающий плач ребенка. Со времени его рождения прошло уже несколько дней, и Эвелина быстро поправлялась. Но зато Петр все эти дни казался подавленным сознанием какого-то близкого несчастья.

Приехал доктор. Взяв ребенка на руки, он перенес и уложил его поближе к окну. Быстро отдернув занавеску, он пропустил в комнату луч яркого света и наклонился над мальчиком с своими инструментами. Петр сидел тут же с опущенной головой, все такой же подавленный и безучастный. Казалось, он не придавал действиям доктора ни малейшего значения, предвидя вперед результаты.

– Он, наверное, слеп, – твердил он. – Ему не следовало бы родиться.

Молодой доктор не отвечал и молча про-

должал свои наблюдения. Наконец он положил офтальмоскоп, и в комнате раздался его уверенный, спокойный голос:

– Зрачок сокращается. Ребенок видит несомненно.

Петр вздрогнул и быстро стал на ноги. Это движение показывало, что он слышал слова доктора, но, судя по выражению его лица, он как будто не понял их значения. Опершись дрожащею рукой на подоконник, он застыл на месте с бледным, приподнятым кверху лицом и неподвижными чертами.

До этой минуты он находился в состоянии странного возбуждения. Он будто не чувствовал себя, но вместе с тем все фибры в нем жили и трепетали от ожидания.

Он сознавал темноту, которая его окружала. Он ее выделил, чувствовал ее вне себя, во всей ее необъятности. Она надвигалась на него, он охватывал ее воображением, как будто мерясь с нею. Он вставал ей навстречу, желая защитить своего ребенка от этого необъятного, колеблющегося океана непроницаемой тьмы.

И пока доктор в молчании делал свои при-

готовления, он все находился в этом состоянии. Он боялся и прежде, но прежде в его душе жили еще признаки надежды. Теперь страх, томительный и ужасный, достиг крайнего напряжения, овладев возбужденными до последней степени нервами, а надежда замерла, скрывшись где-то в глубоких тайниках его сердца. И вдруг эти два слова: «Ребенок видит!» – перевернули его настроение. Страх мгновенно схлынул, надежда также мгновенно превратилась в уверенность, осветив чутко приподнятый душевный строй слепого. Это был внезапный переворот, настоящий удар, ворвавшийся в темную душу поражающим, ярким, как молния, лучом. Два слова доктора будто прожгли в его мозгу огненную дорогу... Будто искра вспыхнула где-то внутри и осветила последние тайники его организма... Все в нем дрогнуло, и сам он задрожал, как дрожит туго натянутая струна под внезапным ударом.

И вслед за этой молнией перед его потухшими еще до рождения глазами вдруг зажглись странные призраки. Были ли это лучи или звуки, он не отдавал себе отчета. Это бы-

ли звуки, которые оживали, принимали формы и двигались лучами. Они сияли, как купол небесного свода, они катились, как яркое солнце по небу, они волновались, как волнуется шепот и шелест зеленой степи, они качались, как ветви задумчивых буков.

Это было только первое мгновение, и только смешанные ощущения этого мгновения остались у него в памяти. Все остальное он впоследствии забыл. Он только упорно утверждал, что в эти несколько мгновений он видел.

Что именно он видел, и как видел, и видел ли действительно, — осталось совершенно неизвестным. Многие говорили ему, что это невозможно, но он стоял на своем, уверяя, что видел небо и землю, мать, жену и Максима.

В течение нескольких секунд он стоял с приподнятым кверху и просветлевшим лицом. Он был так странен, что все невольно обратились к нему, и кругом все смолкло. Всем казалось, что человек, стоявший среди комнаты, был не тот, которого они так хорошо знали, а какой-то другой, незнакомый. А тот прежний исчез, окруженный внезапно опу-

стившеюся на него тайной.

И он был с этою тайною наедине несколько кратких мгновений... Впоследствии от них осталось только чувство какого-то удовлетворения и странная уверенность, что тогда он видел.

Могло ли это быть на самом деле?

Могло ли быть, чтобы смутные и неясные световые ощущения, пробивавшиеся к темному мозгу неизвестными путями в те минуты, когда слепой весь трепетал и напрягался навстречу солнечному дню, – теперь, в минуту внезапного экстаза, всплыли в мозгу, как проявляющийся туманный негатив?..

И перед незрячими глазами встало синее небо и яркое солнце, и прозрачная река с холмиком, на котором он пережил так много и так часто плакал еще ребенком... И потом и мельница, и звездные ночи, в которые он так мучился, и молчаливая, грустная луна... И пыльный шлях, и линия шоссе, и обозы с сверкающими шинами колес, и пестрая толпа, среди которой он сам пел песню слепых...

Или в его мозгу зароились фантастическими призраками неведомые горы, и легли

вдаль неведомые равнины, и чудные прозрачные деревья качались над гладью неведомых рек, и прозрачное солнце заливало эту картину ярким светом, – солнце, на которое смотрели бесчисленные поколения его предков?

Или все это роилось бесформенными ощущениями в той глубине темного мозга, о которой говорил Максим, и где лучи и звуки откладываются одинаково весельем или грустью, радостью или тоской?..

И он только вспоминал впоследствии стройный аккорд, прозвучавший на мгновение в его душе, – аккорд, в котором сплелись в одно целое все впечатления его жизни, ощущение природы и живая любовь.

Кто знает?

Он помнил только, как на него спустилась эта тайна и как она его оставила. В это последнее мгновение образы-звуки сплелись и смешались, звеня и колеблясь, дрожа и смолкая, как дрожит и смолкает упругая струна: сначала выше и громче, потом все тише, чуть слышно... Казалось, что-то скатывается по гигантскому радиусу в беспросветную тьму...

Вот оно скатилось и смолкло.

Тьма и молчание... Какие-то смутные призраки пытаются еще возродиться из глубокого мрака, но они не имеют уже ни формы, ни тона, ни цвета... Только где-то далеко внизу зазвенели переливы гаммы, пестрыми рядами прорезали тьму и тоже скатились в пространство.

Тогда вдруг внешние звуки достигли его слуха в своей обычной форме. Он будто проснулся, но все еще стоял, озаренный и радостный, сжимая руки матери и Максима.

– Что это с тобой? – спросила мать встревоженным голосом.

– Ничего... мне кажется, что я... видел вас всех. Я ведь... не сплю?

– А теперь? – взволнованно спросила она. – Помнишь ли ты, будешь ли помнить?

Слепой глубоко вздохнул.

– Нет, – ответил он с усилием. – Но это ничего, потому что... Я отдал все это... ему... ребенку и... и всем...

Он пошатнулся и потерял сознание. Его лицо побледнело, но на нем все еще блуждал отблеск радостного удовлетворения.

Эпилог

Прошло три года.

Многочисленная публика собралась в Киев, во время «Контрактов», [45] слушать оригинального музыканта. Он был слеп, но молва передавала чудеса об его музыкальном таланте и о его личной судьбе. Говорили, будто в детстве он был похищен из зажиточной семьи бандой слепцов, с которыми бродил, пока известный профессор не обратил внимания на его замечательный музыкальный талант. Другие передавали, что он сам ушел из семьи к нищим из каких-то романтических побуждений. Как бы то ни было, контрактная зала была набита битком, и сбор (имевший неизвестное публике благотворительное назначение) был полный.

В зале настала глубокая тишина, когда на эстраде появился молодой человек с красивыми большими глазами и бледным лицом. Никто не признал бы его слепым, если б эти глаза не были так неподвижны и если б его не вела молодая белокурая дама, как говорили, жена музыканта.

– Немудрено, что он производит такое потрясающее впечатление, – говорил в толпе какой-то зоиц своему соседу. – У него замечательно драматическая наружность.

Действительно, и это бледное лицо с выражением вдумчивого внимания, и неподвижные глаза, и вся его фигура предрасполагали к чему-то особенному, непривычному.

Южно-русская публика вообще любит и ценит свои родные мелодии, но здесь даже разношерстная «контрактная» толпа была сразу захвачена глубокой искренностью выражения. Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источниками народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музыканта. Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкою струей, то поднимаясь торжественным гимном, то разливаясь задушевым грустным напевом. Казалось по временам: то буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит в траве, на кургане, навевая смутные грезы о минувшем.

Когда он смолк, гром рукоплесканий охваченной восторгом толпы наполнил громадную залу. Слепой сидел с опущенною головой, удивленно прислушиваясь к этому грохоту. Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам. Многолюдная зала мгновенно притихла.

В эту минуту вошел Максим. Он внимательно оглядел эту толпу, охваченную одним чувством, направившую на слепого жадные, горящие взгляды.

Старик слушал и ждал. Он больше, чем кто-нибудь другой в этой толпе, понимал живую драму этих звуков. Ему казалось, что эта могучая импровизация, так свободно льющаяся из души музыканта, вдруг оборвется, как прежде, тревожным, болезненным вопросом, который откроет новую рану в душе его слепого питомца. Но звуки росли, крепились, полнели, становились все более и более властными, захватывали сердце объединенной и замиравшей толпы.

И чем больше прислушивался Максим, тем яснее звучал для него в игре слепого знакомый мотив.

Да, это она, шумная улица. Светлая, гремучая, полная жизни волна катится, дробясь, сверкая и рассыпаясь тысячью звуков. Она то поднимается, возрастает, то падает опять к отдаленному, но неумолчному рокоту, оставаясь все время спокойной, красиво-бесстрастной, холодной и безучастной.

И вдруг сердце Максима упало. Из-под рук музыканта опять, как и некогда, вырвался стон.

Вырвался, прозвенел и замер. И опять живой рокот, все ярче и сильнее, сверкающий и подвижный, счастливый и светлый.

Это уже не одни стоны личного горя, не одно слепое страдание. На глазах старика появились слезы. Слезы были и на глазах его соседей.

«Он прозрел, да, это правда, – он прозрел», – думал Максим.

Среди яркой и оживленной мелодии, счастливой и свободной, как степной ветер, и как он, беззаботной среди пестрого и широкого гула жизни, среди то грустного, то величавого напева народной песни все чаще, все настойчивее и сильнее прорывалась какая-то за

душу хватающая нота.

«Так, так, мой мальчик, – мысленно ободрял Максим, – настигай их среди веселья и счастья...»

Через минуту над заколдованной толпой в огромной зале, властная и захватывающая, стояла уже одна только песня слепых...

– Подайте сліпеньким... р-ради Христа.

Но это уже была не просьба о милостыне и не жалкий вопль, заглушаемый шумом улицы. В ней было все то, что было и прежде, когда под ее влиянием лицо Петра искажалось и он бежал от фортепиано, не в силах бороться с ее разъедающей болью. Теперь он одолел ее в своей душе и побеждал души этой толпы глубиной и ужасом жизненной правды... Это была тьма на фоне яркого света, напоминание о горе среди полноты счастливой жизни...

Казалось, будто удар разразился над толпой, и каждое сердце дрожало, как будто он касался его своими быстро бегущими руками. Он давно уже смолк, но толпа хранила гробовое молчание.

Максим опустил голову и думал:

«Да, он прозрел... На место слепого и неутолимого эгоистического страдания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и людское горе, и людскую радость, он прозрел и сумеет напомнить счастливым о несчастных...»

И старый солдат все ниже опускал голову. Вот и он сделал свое дело, и он недаром прожил на свете, ему говорили об этом полные силы властные звуки, стоявшие в зале, царившие над толпой.....
.....
.....

Так дебютировал слепой музыкант.

1887–1898

Примечания

Дружками называют в Сибири ямщиков, «гоняющих» по вольному найму. (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

Шпанкой на арестантском жаргоне зовут серую арестантскую массу. (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

3

*Фарт по-сибирски – удача, дело, обещающее
выгоду. (Примеч. В. Г. Короленко.)*

[^^^]

4

Торбаса – мягкие оленьи сапоги мехом наружу.

[^^^]

5

Аласа – прогалина, лужайка в лесу.

[^^^]

6

Руга – содержание попу от прихожан, выплачиваемое деньгами и продуктами.

[^^^]

Тойон – господин, хозяин, начальник. (*Примеч. В. Г. Короленко.*)

[^^^]

8

Падь – ущелье, овраг между горами; сопка – остроконечная гора. (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

Догор – друг, приятель. (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

Якутская область в административном отношении разделяется на округа, соответствующие нашим уездам. Округ, в свою очередь, разделяется на улусы, а улусы подразделяются на наслеги. Если улус приравнять к русской волости, то наслег будет соответствовать отдельному обществу в среде волости. Деление это имеет характер отчасти родовой, отчасти административный. (*Примеч. В. Г. Короленко.*)

[^^^]

Учур – река, приток Алдана, впадающего в Лену. (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

«Сделать крышку» – на арестантском жаргоне значит убить кого-либо в среде самой тюрьмы. При этом обыкновенно на голову жертвы накидывается халат с целью заглушить ее крики. Это и есть крышка. (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

Презрительная кличка от слова «шпанка».
(Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

Кобылой называют скамью особого вида, к которой привязывают наказываемого плетьюми.
(Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

Порт Дуэ, на западном берегу Сахалина. (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

Вольную команду составляют каторжники, отбывшие положенный срок испытания. Они живут не в тюрьме, а на вольных квартирах, хотя все же и они лично, и их труд подвергаются известному контролю и обусловлены известными правилами. (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

Торговля водкой на приисках и вблизи приисков строго воспрещена, и потому в таежных приисках Ленской системы развился особый промысел – спиртоносов, доставляющих на прииски спирт в обмен на золото. Промысел чрезвычайно опасный, так как в наказание за это полагаются каторжные работы и, кроме того, дикая природа сама по себе представляет много трудностей. Множество спиртоносов гибнет в тайге от лишений и казачьих пуль, а нередко и под ножами своей же братии из других партий. Зато промысел этот выгоднее приисковой работы. *(Примеч. В. Г. Короленко).*

[^^^]

От слова *падъ* – долина. (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

«Милосердная» – арестантская песня с чрезвычайно унылым напевом. «Партионные» и бродяги запевают ее, проходя по улицам деревень и выпрашивая подаяния. (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

Красноярками называют фальшивые «бумажки». (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

Ат-Даван – станция на Лене, около трехсот верст выше Якутска. (Примеч. В. Г. Короленко.)

[^^^]

Пшеничка – золотой песок. «Торговать пшеничкой» – скупать тайным образом подъемное золото у приисковых рабочих.

[^^^]

Славнейший (*лат.*).

[^^^]

Nee plus ultra – до последней степени (*лат.*).

[^^^]

«Отцы сенаторы!» (Ред.)

[^^^]

Филин.

[^^^]

Я есмь Тыбурций. *(Ред.)*

[^^^]

Друг. (Ped.)

[^^^]

Под условием. (*Ред.*)

[^^^]

Господин наставник! *(Ред.)*

[^^^]

Краткое жизнеописание. *(Ред.)*

[^^^]

Хохлы носят холщовые штаны, вроде мешка, раздвоенного только внизу. Этот-то мешок и называется «мотнею».

[^^^]

Квилит – плачет, жалобно пищит.

[^^^]

«Списа» – копье.

[^^^]

«С глузду съехать» – сойти с ума.

[^^^]

Украинское слово *сумный* совмещает в себе понятия, передаваемые по-русски словами: грустный и задумчивый.

[^^^]

Каганец – черепок, в который наливают сало и кладут свечу.

[^^^]

В этом издании были сделаны значительные дополнения.

[^^^]

«*Контракты*» – местное название некогда славной киевской ярмарки.

[^^^]

В Малороссии и Польше для аистов ставят высокие столбы и надевают на них старые колеса, на которых птица завивает гнездо.

[^^^]

Лыка – по-малорусски ироническое название лица, физиономии.

[^^^]

В Юго-западном крае довольно развита система арендований имений: арендатор (по-местному «поссесор») является как бы управителем имения. Он выплачивает владельцу известную сумму, а затем от его предприимчивости зависит извлечение большего или меньшего дохода.

[^^^]

«Громницей» называется восковая свеча, которую зажигают в сильные бури, а также дают в руки умирающим.

[^^^]

Чайковский, украинец-романтик, известный под именем Садыка-паши, мечтал организовать козачество как самостоятельную политическую силу в Турции.

[^^^]

Напомним, что «Контрактами» называют киевскую ярмарку.

[^^^]